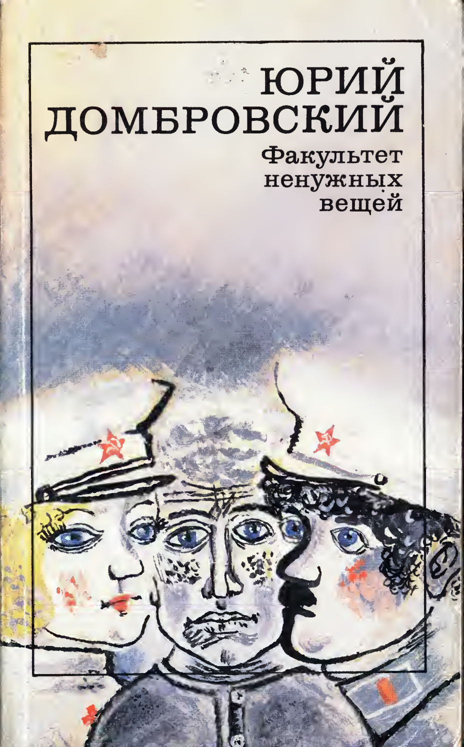

ЮРИЙ
ДОМБРОВСКИЙ
Факультет
ненужных
вещей

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

Факультет ненужных вещей

Роман



Москва
«Художественная литература»
1989

ББК 84Р7
Д66

Вступительная статья
И. ЗОЛОТУССКОГО

Обложка художника
Г. ДАУМАНА

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

Д $\frac{4702010201-339}{028(01)-89}$ без объявл.

ISBN 5-280-00907-5

ПАЛАЧИ И ГЕРОИ

Имя Юрия Домбровского (1909—1978) мало что говорит широкому читателю. Широкий читатель не виноват, не виноват в этом и Юрий Домбровский. Помню, когда в «Новом мире» появился его роман «Хранитель древностей» (1964), ни один столичный журнал и ни одна газета не взялись печатать рецензию на него, и лишь «Сибирские огни» по своей отдаленности решились на это. Широкий читатель привык к спискам, которые составляются для него еще со времен школы, которые спускают сверху манипуляторы общественного мнения, затем перенося их в учебники и хрестоматии. А имя автора «Факультета ненужных вещей» в эти списки никогда не входило, даже в «Краткую литературную энциклопедию», в ее дополнительный том оно было внесено лишь за год до того, как Юрия Домбровского не стало.

Меж тем это имя может составить гордость любой литературы.

Я впервые познакомился с ним, когда прочитал роман «Обезьяна приходит за своим черепом» (1959), про который в аннотации к недавно вышедшей книге прозы Ю. Домбровского сказано, что это роман, «обличающий поджигателей войны». Но и тогда, в шестидесятые годы, когда книги Ю. Домбровского стали прорываться сквозь заслоны цензуры, было ясно, что «Обезьяна приходит за своим черепом» не имеет никакого отношения к поджигателям войны, что здесь под видом фашистского застенка и фашистского кабинета следователя изображены застенки и кабинеты, о которых можно получить представление и без командировки в Германию, какой бы эта командировка ни была — вынужденной или творческой.

Роман «Хранитель древностей» объяснил нам это. Он объяснил, что автор располагает достаточными сведениями о тех способах и приемах, которые применялись на его родине, чтоб выколотить из человека душу и чтоб на место этой души водворить нечто такое, что является лишь тенью страха, который испытывает душа, когда ее зовут — не на Страшный суд, нет — на судилище, где председательствует дьявол, а не Бог.

Тема суда н следствня, осуждеиия и казни, судьи и обвнияемого, свндетеля и нстца составляет пафос романа «Факультет ненужных вещей», чье окончание в рукопнси помечеио 5-м марта 1975 года — датой, отсчнтывающей двадцать два года со дия смертн «отца народов», то есть с того временн, как пало господство антнхрнста, с которым сравиивает Ю. Домбровский Сталина.

В романе есть сцена, где Иоснф Виссарнонович, будучи в хорошем расположенни духа, чнтает старое дело, заведенное иа него царской охранкой. Там перечнсляются прнметы подлежащего розыску «политического» Джугашвили, и средн этнх примет выступают иеприятные для иего: оспииы иа лице, иизкнй лоб, отсутствне коренного зуба, и еще одна деталь: «иа левой иоге второй и третий пальцы сросшнеся». «Так, все верно,— думает Сталин.— Действнтельио, сросшиеся. «Примета аитихриста», как сказал ему кто-то еще в семннарнн».

Стални является в романе иесколько раз — н всякнй раз вовремя: то когда нужно бросить свет на вершииу пирамнды, у подножия которой пронсходят расстрелы н пытки, то когда его жертва — Зыбии (тот самый «храннтель древностей», интеллнгент, который был выведеи в предыдущем романе Ю. Домбровского) ищет ответы на вопрос, кто же такой Сталин. И тут пнсатель предоставляет Зыбнну очную ставку с ним. Эта очная ставка напомннает встречу Ивана Карамазова с чертом, тем более что происходнт она, как и у Достоевского, в полубреду-полусне, а Стални так же сидит в кресле перед спящим Зыбнным, как «клетчатый» перед Иваиом Карамазовым.

Поедннок Зыбин — Стални — это покуда еще поедииок теоретнческий, потом ои разрешнтся иа деле, когда Зыбии очутится в зданни алма-атннского НКВД н перед иим пройдет череда следователей, иа практнке осуществляющих теоретическне посылки вождя.

В стеиах этого заведення, где окиа занавешеиы шторами, а в кабннетах стоят кадкн с пальмами, где высоконогне секретарши и следовательинцы, похожне на амернкаиских кииозвезд, бесшумно скользят по коридорам, ослепляя белозубыми улыбкамн несчастных подследственных, где «активиый допрос» доводнт людей до обморока, до желания покончить с собой,— и пройдут часы Зыбнна, и совершатся главные событня ромаиа, где палачи и жертвы встаиут лицом к лицу.

Но кроме иих в этом протнвостояннн прнмут участне Хрнстос н Понтнй Пилат, Иуда н осуднвшнй Хрнста сииедрнон, Тацит и Сенека, нстория Рима и нерусалимский талмуд, Евангелне и апокрифы. Роман Ю. Домбровского вставляет историю правлеиня антнхриста в христнанское летосчнслеиие, рассматривая эру правлення Сталииа как антиисторню, пото-

му что она строится на принципах, на которых не может развиваться человеческое общество. Этим путем оно может идти только к самоуничтожению, к вырождению личности, к гибели культуры.

Если в романе «Хранитель древностей» культура была в некотором роде защитой и надеждой на спасение от темной ночи террора, то в «Факультете ненужных вещей» Ю. Домбровский полагается больше на личную порядочность человека, на его способность не только выжить, но и победить дьявола — победить его силой духа, силой своей слабости, как победил фарисеев, саддукеев, Каифу и синедрион Христос, согласившийся лучше принять муки на кресте, нежели отказаться от своей веры.

Это мужество человека в Сыне Бога отмечает Ю. Домбровский как самое сильное его качество, которое чувствует, между прочим, Понтий Пилат, против своей воли посылающий Христа на казнь. Он подчиняется решению синедриона только из страха, что до ушей императора Тиберия дойдет слух, будто он, Пилат, отпустил преступника, порочившего в своих проповедях кесаря.

Пилата в романе называют «председателем воентрибунала» — он тоже должен принять то окончательное решение, которое отправит человека на казнь или отпустит на волю, с той только разницей, что председатели воентрибуналов, которых нет в романе Ю. Домбровского, но которые как бы стоят за сценой, ожидая результатов следствия,— никого не милуют, а всех или посылают на смерть, или закапопачивают в лагеря.

У Пилата был выбор, у Пилата были сомнения, Пилат, наконец, понимал, как считает Ю. Домбровский, что Христос даже полезен Риму, потому что не бунтовщик, потому что верит не в революцию, не в переворот, а в то, что «человек должен переделать себя изнутри». А это для Рима не опасно, это не затрагивает власти кесаря, а значит, и его, Пилата, власти. Пилат, по крайней мере, понимает, что перед ним «праведник», он делает попытку заступиться за Христа перед саддукеями и фарисеями, и лишь прямая угроза доноса ставит его перед необходимостью умыть руки.

Судилище в Иерусалиме и страшные операции по массовому уничтожению людей через «Особые совещания», через безымянные синедрионы, которые проводят свои заседания в отсутствии обвиняемого, вынося приговор в течение минуты, слишком разнятся, хотя и тут и там правят не закон, а насилие, зависть и страх, зависть низкого к высокому, ничтожного к великому, подлого к чистому. В глазах майора Неймана, этого «мясника с лицом младенца», бывшего когда-то порученцем у наркома просвещения Луначарского, стоит ужас, выражение ужаса, которое, кажется, остеклело наве-

ки. Ои уже ие человек, ои сгусток страха, переросшего в жестокость по отиошеиию к тем, кто каждый раз иапомииает ему об этом страхе, о его палачестве, уже превратившемся в месть, в привычку уничтожать людей как скот, как забойиое быдло.

Среди обитателей здаиия иа площади Дзержииского — так определеи адрес НКВД в ромаие Ю. Домбровского — есть свои идеологи и свои исполиители, есть эитузиасты и цииики, актеры и садисты, есть подопытиые дураки и умиые заложиики. Этажи этого здаиия, по которому таскают Зыбииа, набиты комиатами, их число иасчитывает иесколько сотеи, и в каждой сидит ие восковая персоиа, а тип, характер, мастерски обрисоваииый Домбровским. Майор Хрипушии — урод с кулаками, с иабором тупейшего мата, поймаииый ловцами душ на самом дие жизии; полковиик Гуляев — чекистастматик, чадо драмкружка, сделавший своего учителя сиачала агеитом НКВД, а потом заслужеииым артистом республики; Тамара Долидзе — слушательиица курсов ГИТИСа и одиовремеиио выпускница юрфака, чья иежиая виешиость иикак ие согласуется с жестокостью, живущей в ее сердце; Роман Львович Штери, этот Смердяков оргаиов, виебрачиый сыи гестапо, любящий коиьячок и жеищин, половые удовольствия с чужими жеиами и веиециаиское стекло, иосящий в руках папку с бумагами, где тюремиые гиппократы доказывают преимущества переливаиия трупиой крови, добытой из скоичавшихся при расстрелах и пытках; и миогие другие, мелкие и средиие, заметиые и иезаметиые, которых Ю. Домбровский в иасмешку иад их профессией иазывает «аигелами в полиой аигельской форме», «аигелами-храиителями», «аигелами-архаигелами», ловко исполияющими свои роли «иа феатре истории».

Ах, если б это был театр! Если б это были сказочиые черти Булгакова, которые больше смешат, чем страшат, которые, служа сатане, служат Богу, и чьи злодеяния иаправлеиы иа вызволеиие добра. Нет, «аигелы», «херувимы» и «серафимы» в ромаие Ю. Домбровского состоят иа вооружеиии «социалистической целесообразиости», согласио которой «тот, кто сегодия поет ие с нами, тот против иас».

Закои целесообразиости, деклароваииый в ромаие сиизу доверху — от Штерна до Сталина, разрешает селекцию и умерщвлеиие, превращеиие в прах целых родов и поколеиий ради взрыва того «моста», который история иеразумио иавела между прошлым и будущим, между отцами и детьми, между правом и совестью.

Сталии в ромаие говорит, что для того чтобы построить мост, иужны годы работы и тысячи людей, а для того чтобы взорвать его, достаточио часа и десятка человек. «Вот мы и добираемся до этого десятка», — резюмирует ои свою мысль.

Ради этого устраивается в НКВД «коивейер», обеспечивается бесперебойиое ведеиие допросов, трудятся деиь и иочь

следователи и «будильники» (так называют людей, которые не дают заключенным спать), стучат машинки, множа доносы, летают по городу «ангелы», хватая новые жертвы.

Ю. Домбровский безупречно знает технологию обработки и переработки человека в условиях следствия: совершая экскурсию по этажам здания на площади Дзержинского, он проводит нас по этажам системы, которая строилась годами, теоретически и практически шлифовалась и достигла ко времени описываемых событий таких вершин саморегулирования, что ей могла бы позавидовать любая машина, любое техническое чудо XX века.

Это не просто внутренняя тюрьма и камеры, коридоры с боксами, куда впихивают заключенных, чтобы они не встретились друг с другом, кабинеты и предбанники с секретаршами — это институт бесправия, академия палачества и издевательств над правосудием, истиной и человечностью.

В этом механизме идеально воплощены черты общества, на создание которого понадобились дьявольские усилия ума и расчета, хитрости и попрания закона. Это, так сказать, венец сталинской модели жизни, где страх управляет, сортирует, возносит и низвергает, работает как мясник и как психолог, как творец и как потребитель. В страхе персонифицирована идея подавления, идея «чистки» человечества с помощью петли и плети, которая, как говорится в эпиграфе к роману, «начинает воображать, будто она гениальна».

Она гениальна, потому что ей подчиняются все — от интеллектуалов до неграмотных сторожей, от цвета нации до уголовников, от героев до трусов. Со всеми ними беседуют на первых порах чуть ли не за чашкой чая, чуть ли не заедая чай конфетами «Мишка», а потом, переходя на «активное следствие», доводят до беспамятства, до забвения себя, до положения скотины.

На этой мельнице по перемалыванию человека изготавливают муку разного помола — тут производят калек и сумасшедших, инвалидов ума и духа, отсюда перемолотая масса стекает в лагеря и пересылки, где ее окончательно превращают в пыль, в удобрение для выращивания новых поколений.

Как это делается, Ю. Домбровский показывает на примере археолога Корнилова, сослуживца Зыбина, становящегося осведомителем по кличке Овод. Прекрасная кличка для осведомителя — революционер, идеал молодежи, романтический персонаж романтического романа преображается в подсадную утку органов, у которых тоже есть нужда в героях, в неких овеянных ореолом жертвенности стукачах, иудах со знаком качества.

Еще в школе детей учат (и об этом вспоминает в романе Зыбин), что донос как понятие отрицательное — предрассудок старой морали и старого общества. Там, где власть принадле-

жит народу, это понятие меняется. Если в старое время ты доносил бы *на своих не своим*, то теперь ты ставишь в известность *своих о своих* — и в этом принципиальное отличие нового доносительства от старого. При наличии власти народа, представляющей интересы всех, и в том числе тех, на кого доносят, донос — дело благородное, он работает даже и на самого обвиняемого.

Примерно такая казуистика фигурирует и при допросах Корнилова, даже не допросах, а снятии свидетельских показаний, которые в конце концов приводят его в ряды агентов НКВД. Корнилов, уже однажды прошедший мясорубку этого учреждения и *дрогнувший*,— превосходный материал для проведения опытов по выращиванию из почти что интеллигентного человека — смеси «Передонова (герой-подонок из «Мелкого беса» Ф. Сологуба.— *И. З.*) с Павликом Морозовым». Слова эти Ю. Домбровский относит к другому действующему лицу романа, но они точно подходят и к тому Корнилову, который спустя некоторое время выйдет из стен здания на площади имени «Рыцаря Октября Железного Феликса» с особым заданием.

Корнилова покупают на иллюзии, что можно обыграть органы, одурачить следствие, представив тому ложные показания, хотя эта ложь во благо, во спасение ближнего своего, в данном случае старика Куторги. Органы дают Корнилову втянуть их в эту игру и дают ему втянуться в нее, чтоб затем, когда он совсем заиграется, предъявить ему счет. Они-то знают, что на их чековой книжке — прошлые грехи Корнилова и его страх.

И он ловится на этом страхе, как когда-то поймался на доверии к родной власти, которая не могла, не имела права его обманывать,— но обманула и поймала на червячка лжи рыбку правды. Эти слова Полония из Гамлета, которые цитирует Ю. Домбровский, сбываются и на сей раз.

Сначала Корнилова ни о чем не просят, потом просят прийти через несколько дней, потом томят отсутствием вызова, потом вызывают. И вот тут-то предлагают подписать документик, где нет ничего предосудительного, а только написано: «считаю своим долгом довести до вашего сведения». Бумажку надо подмахнуть, и ничего нет в этом дурного, потому что подозреваемый органами Куторга ни в чем не виноват, и Корнилов засвидетельствовал это. Но только слова: «считаю своим долгом довести» — смущают, ибо есть в них привкус доносительства, добровольности поставляемых НКВД сведений, которые не вырваны силою, а выданы по собственной воле и хотению.

И когда Корнилов, делая еще один шаг, приносит следователям труд Куторги об Иисусе Христе, не содержащий, по его мнению, никаких порочащих автора мыслей, этот

факт передачи тут же фиксируется, и фиксируется с примеча-иием: «материал органам представил».

А дальше все идет легче. Дальше вступает в дело техиика шулерства, и Корнилову подбрасывают под иос краплеиую карту: это бумажка, где его подзащитный утверждает, будто Корнилов при нем хулил вождя, хулил иаши порядки. И ие сопоставив слов, содержащихся в этом доносе, с тем, что говорил Куторге (а Корнилов это иа самом деле говорил, но в ином месте и другому человеку), Корнилов вновь «раскалывает-ся» и, страшась, что старик первым предал его, предает старика.

И тогда с ним говорят уже ие ласково, а строго, на него кричат, его в последний раз предупреждают, что, если он и впредь будет врать *своим*, оии ие простят его.

Вот и вся сказочка — сказочка про белого бычка, которого съели серые волки. Вторую часть романа, которая вся посвящена истории падения Корнилова, предваряет эпиграф из Гоголя: «Ои умер и сейчас же открыл глаза. Но был он уже мертвец и глядел как мертвец». Слова эти взяты из «Страшной мести» и отиосятся они к колдуиу, который предал свой род, убил дочь и внука и заслужил вечное проклятие в потомст-ве. Ибо, как пишет Ю. Домбровский, «погубивший единую душу губит весь мир, а спасший невииного спасает все челове-чество».

Каин, погубив Авеля, погубил весь род своего брата, всех, кто мог родиться от Авеля, и детей его детей. Преступлеиие, утверждает Ю. Домбровский, ие обрывается иа преступившем,— оно дает всходы в грядущих поколениях, неотмщенное, иеиаказаиное, оио сеет семеиа зла и через века.

«Вы защищаете страну? — спрашивает Зыбии следовате-ля Долидзе.— Эх вы! Каинов вы выводите! Вот что вы делаете!» История Каииа и Авеля ие раз помииается в романе. Ее помииает старый лагерник Буддо и бывший зек Куторга, отбывший свое иа Севере. Буддо говорит Зыбину: «Вас сюда (т. е. в тюрьму — *И. З.*) привел не свят дух, а человек! И человек вам известиый! Больше, чем известный: ваш лучший друг и брат». Предательства, совершаемые в «Факультете ненужных вещей» (доиос иа Куторгу, донос иа Корнилова, доиос на Зыбина), получают зеркальное отражение в беседах Куторги и Корнилова о предательстве Иудой Христа, о суде над Христом и праве на прощение людей, которое заслужил Христос своей смертью.

Куторга сравиивает философа Сеиеку, сумевшего «сбе-жать» от злодеяний своей эпохи, и Христа, который принял страдания, чтобы победить зло. Поступок Христа выше поведения Сенеки. Если Сенека теоретически пришел к выводу, что иарода иет, государя иет, государства нет и остается одна опора, на которую можно рассчитывать,—

человек, то Христос сам стал этим человеком, своим примером поддержавшим каждого из нас.

Ю. Домбровский дает понять, что христианская идея немыслима без Христа, без его человеческого поведения в условиях жестокости и беззакония. Только через своего Сына, через такого же человека, как и другие люди, живущие на земле, Бог смог найти путь к сердцу смертных.

Низводя этот сюжет на землю, в страшные условия 1937 года, Ю. Домбровский показывает, что у человека остается один выход: последовать примеру Христа. Старик Буддо — опытный лагерник, чей цинизм наращен годами пребывания за решеткой, советует Зыбину уступить следствию, сдаться, подписать все и, получив не самый большой срок, спасти свою жизнь. Но Зыбин не принимает ни пути Буддо, ни пути Корнилова, а выбирает путь чести. В лице Зыбина Юрий Домбровский изображает героя-интеллигента, бросающего вызов не только сонму палачей, не только всем этим крипушиным, штернам и несть им числа, включая Иосифа Джугашвили, а всей системе страха и сыска, какая, как ей кажется, утвердилась в истории навечно. В романе то и дело мелькают уничижительные фразы об интеллигенции: «засраная интеллигенция», «паршивая интеллигенция». И вот из среды этой интеллигенции встает человек, с которым ничего не могут поделать ни кровавый синедрион, ни иезуиты-следователи, ни вышибалы-охранники. «Я — боюсь больше всего потерять покой. Все остальное я так или этак переживу, а тут уже мне верно каюк, карачун»,— эти слова Зыбина сияют как свидетельство несгибаемости людей, воспитанных на свободолюбии Шекспира и Пушкина.

В «Факультете ненужных вещей» есть не только палачи и жертвы, не только растаптывающие и растоптанные, но есть и победители. И одним из них является Зыбин. «Мы в конце концов непременно победим»,—эти слова Р. Брэдбери Ю. Домбровский цитирует в начале романа, и они не просто декламация, не бессильная самозащита слабых, которые надеются на победу в отдаленном будущем. Да, пишет Ю. Домбровский, были и среди интеллигентов люди, которых ломали, превращали в ничто, заставляли служить уголовникам, были примеры падения, унижения, потери лица и достоинства. Опытный зек Каландарашвили рассказывает об этом Зыбину. Но и тот же Каландарашвили, который помог когда-то Сталину в годы их революционной молодости, послал в ссылку теплые вещи и валенки, а также подарил 50 рублей, теперь пишет ему из лагеря письмо, где, иронизируя над адресатом, просит вернуть долг, понимая, что это послание может привести его к гибели. Та же ирония слышна в интонации объяснительных записок Зыбина, которые он посылает на имя начальника внутренней тюрьмы, подписывая

их издевательски: «К сему Зыбии». Ои смеется иад теми, кого ие могут взять ии мольбы, ии плач, ии стоиы пытаемых. «Да пусть оии все подыхают!» — говорит прокурор Мячии об арестоваииых. Но смеха, иасмешки иад собой, такие, как ои, пережить ие могут. Им кажется иевероятиым, что кто-то в этих условиях еще может смеяться иад иими, имеющими иад душой и телом человека полиую власть. Поэтому между собой оии иазывают Зыбииа «птицей крупиой», «апостолом».

Эти «иумизматы», обирающие заключеииых и составляющие из коифискованиого имущества свои коллекции, эти простодушиые любители простодушиого искусства (в кинозале НКВД, где идут просмотры бодрых довоеииых фильмов, висят картииы «Грачи прилетели», «Девятый вал», «Алеиушка») страшио ие любят слова «госпитализация», потому что оио говорит о результатах их следствеииой практики. Когда Зыбии пробует дискутировать с иими вопрос о праве, поскольку ои сам окоичил юридический факультет, то оии, слуги права, отвечают ему: это *факультет ненужных вещей*. О том же говорит потом Зыбииу бывший адвокат Калаидарашвили: «Право одиа из цепей, которой буржуазия оковала пролетариат». Доказательству этого тезиса посвящеиа в ромаие вся деятельиость правового аппарата и таких его представителей, как Ромаи Львович Штери. Этот «мастер психологического рисуика», стряпающий романы и пьески по показаииям своих «покойиичков», являет пример палача-литератора, палача-«иителлигеита», чья «образоваииость» и «культура» служат государствеииой гильотиие.

Вопрос о культуре и ее месте в тоталитариом обществе заиимает Ю. Домбровского особо. Его герои — художиики, археологи, писатели (Зыбии, как и сам Ю. Домбровский — автор кииги о Державиие) — люди культуры, для которых свобода иеотделима от их знаиия, но им в ромаие противостоит ииая «культура», ие только уживающаяся с режимом Сталииа, ио и возиосящая его иа пьедестал как иекое иаивысшее твореиие человеческого духа. Это культура граммофоиа, в который заложеио семь или десять пластииок, играющих одиу и ту же музыку.

« — ...Я их все могу пересчитать по пальцам,— говорит Зыбии.— Вот пожалуйста: «Если враг ие сдается — его уиичтожают», «Под зиамеием Леииiа, под водительством Сталииа», «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», «Спасибо товарищу Сталииу за иаше счастливое детство», «Лучший друг учеиых, лучший друг писателей, лучший друг физкультурииков, лучший друг пожарииков — товарищ Сталии», «Самое цеииое иа земле — люди», «Кто ие с иами, тот против иас», «Идиотская болезиь — благодушие». Все это вместе иазывается «иовый, советский человек» и «черты нового, советского человека».

На стороие одной «культуры» стонт в романе «наш советский Чехов» — драматург Штерн, пищущнй монодрамы о вреднтелях, духовно переродившнхся под воздействием «гумаиных методов советского следствня», на стороне другой — художинк Калмыков, этот геиий первого раига Землн, чьн прихотливые композицин, названные «странно» н «ие совсем поиятио», соединяют в себе плотский лик «прнроды прнродствующей» с таииственным зовом, идущнм нз глубины «золотого неба астрологов», бросающим иа земиые предметы н события космический свет.

На одиой из картнн Калмыкова изображеиа красавица, жеищииа, похожая иа пальму, с тонкими рукамн н «миндальными» глазамн. И точно такая же жеищииа явится в воображеиии Зыбииа, когда ои будет смотреть иа череп убнтой много веков назад «молодой особы грациального сложення», нзвлеченной нз захоронення на берегу реки. Эта царствеииая красавица повторится потом в своей жнвой сестре — сотруднице музея Кларе, «очеиь красивой, похожей иа индуску девушке с чистым, продолговатым, матовым лнцом н черными блестящими волосами». Все этн три жеищииы олицетворяют в ромаие Ю. Домбровского достоииство и одухотвореииость красоты, ее свободу и ее бесстрашие. Ни Клара, ии возлюблеииая Зыбииа Лииа — тоже красавица — ие предадут его, а Лииа, попав в стеиы НКВД, так же посмеется иад его обитателямн, как и Зыбин.

Красота в «Факультете ненужных вещей» протнвостоит уродству «целесообразностн», ее антиэстетизму, ее иадругательству иад идеей и идеалом. Что пронсходнт с ндеей, когда она становится действительностью? — задает вопрос Ю. Домбровский н отвечает: «Очеиь миого с ней неожидаииого и неладиого происходит тогда. Появляется оиа совсем ие похожей иа себя. Иногда такие гады вместо аигелов повыползут...»

Такова оценка этнки и эстетики «социалистнческой целесообразности». В нерархни ценностей, устаиовленной этой целесообразностью, Штерн играет роль «второго Чехова», а Федор Мнхайлович Достоевский мог бы сделаться коллегой Штериа. «Я часто думаю: какой бы из иего следователь вышел! — говорит Штерн о Достоевском. — Вот с кем бы мне поработать! Он зиал, где таится преступленне! В мозгу! Мысль — преступна. Вот что ои знал!»

Достоевскнй в этнх рассуждеииях оказывается на одной доске с «Ромкой-Фомкой, ласковой смертью», безжалостно актирующнм целые партии «христоснков», как ои презрительио называет верующих людей, зачнсляя нх всех по «первой категории» (эвфемизм, означающнй на языке нового правосудня расстрел).

Хрнстос, объясняет Куторга Корнилову, мог отказаться от своих убеждений, мог сказать сннедрнону: я не Сын

Божий, я ни на что не посягаю, и синедрион проводил бы его на свободу со вздохом облегчения. И тогда в мире, как пишет Ю. Домбровский, ничего бы не состоялось. Не было бы Христа, и история бы «прошла мимо».

«А он знал,— пишет Ю. Домбровский,— что такое искушение когда-нибудь наступит и надо его преодолеть смертью, но умереть осмысленно и свободно, не как Сенека христианствующий, а как сын человеческий...» И поэтому на вопрос председателя, сын он Божий или нет, Христос ответил: да.

В этой простоте — единственность ответа и его величие.

Проза Ю. Домбровского, как ни иронична, ни разяща она, как ни направлена острием против социальных химер, не принадлежит к той литературе, которую Достоевский ввиду ее самодовольства назвал «абличительной». Это проза, где действительность, хоть и видимая через хорошо промытое стекло, часто не похожа на себя, часто уходит от взоров читателя в некую ирреальность, в некий фантастический мир, где, как на полотнах художника Калмыкова, играют отсветы судьбы и рока.

Судьба наводит Зыбина на встречу с Линой, и судьба в конце романа наводит чекиста Неймана на другую женщину — на молодую утопленницу, лежащую под брезентом на берегу реки. Когда отбрасывают брезент, Нейману предстает ее красота. «И тут мертвая,— читаем мы,— предстала перед Нейманом в такой ясной смертной красоте, в такой спокойной ясности преодоленной жизни и всей легчайшей шелухи ее, что он почувствовал, как холодная дрожь пробежала и шевельнула его волосы». И хотя, продолжает Ю. Домбровский, у Неймана не было «ничего такого затаенного», что могло бы в эту минуту перевернуть его жизнь, он все же содрогнулся и понял пустоту своей души, которой некому даже сказать: «Спаси!.. помяни, Господи, мя в царстве своем», как сказал перед смертью разбойник, распятый рядом с Христом, и был спасен.

Для Неймана такого спасения нет, ибо даже в минуты конца он не может уверовать в то, во что уверовал разбойник. «И вот тоже конец мне пришел, а с чем я остался?» — говорит он себе. Он понимал, добавляет автор, что «*там* так же пусто, как и везде, по крайней мере, для него».

«...Предается бо гробу, камнем покрывается»,— читает Яша «божий человек» молитву по утопленнице, и мы вспоминаем, что останки красавицы, погребенной в казахской степи, были найдены также под камнем, и образ этой прабабушки Клары, как называет ее Зыбин, воссоединяется с образами остальных прекрасных женщин романа, как бы образуя фронт сопротивления, фронт неподчинения красоты насилию.

Может быть, и эта несчастная женщина, которая лежит под брезентом на берегу реки, тоже погибла потому, что не

захотела покориться, не захотела уступить силе, пожелавшей победить ее. Она ушла свободной н осталась свободиой.

История воссоедниняется: преступлеиия порождают преступления, а сопротивленне н подвиги — стойкость перед лицом палачей. Роман Юрня Домбровского — ода героическому поведению иителлигенции, которую наследник тиранов прошлого Иосиф Джугашвнли не мог стереть с лица земли. И не зря на завершающих страиицах романа виовь является художник Калмыков, иаиосящий на холст пейзаж Алма-Аты н впнсывающий в иего три страиио соедииеиных судьбой фигуры, которым суждено было сыграть здесь главиую роль. Это отпущеииый на свободу по случаю падения Ежова Зыбнн, примирившнйся с участью стукача Овод-Корнилов и разбитый, уничтоженный, нзгнанный из оргаиов Неймаи.

Так на веки вечные и впечатываются оин в квадратиый кусок картоиа, как иекая тронца, без трагического триедииства которой нельзя понять страшиой эпохн. Это одна из тех эпох, когда Земля, как говорится в ромаие, «иа своем плаиетном пути заходнт в черные, затуманенные области Рака или Скорпиоиа, и жить в туче этих ядовитых испареиий стаиовится совсем уж невыиосимо».

Н. Бердяев писал о иеренессаисиости русской литературы, о том, как мало в ней радости и как сильиа жажда нскупления грехов и скорбь. «Мы творили от горя и страдаиия», — добавлял он, н это вполие относится к роману Ю. Домбровского. «Факультет ненужных вещей» — роман о «иочиой эпохе истории» (слова Н. Бердяева), об осквернении ндей гуманнзма, идей права н свободы, вывернутых иаизианку — ио в финале его иет мести, нет мстящего чувства. Ненавидя всю эту «иежить», которая терзает и мучит его народ, предрекая ей путь в пустоту, в «собачий ящик», как выражается Зыбии, Ю. Домбровский даже таким, как Неймаи, оставляет шаис иа потрясеиие, иа осозиаиие печальной участи своего существовання.

Смыкающийся с началом коиец ромаиа, одиако, говорнт о том, что события, разыгравшиеся в «Факультете неиужных вещей», еще способны повториться, и тогда его действующнм лицам придется виовь сыграть иа «феатре нстории» и, может быть, те же роли.

По отношению к Ю. Домбровскому жизнь поступила имеино так. Ои, как и его герой, выходил на свободу, но дверн тюрьмы вновь закрывались за иим. Каким он был, когда его стерегли за тюремиымн стенамн, и каким остался до конца своих дней, мы знаем теперь не по следовательским протоколам, которые если и сохранились, то вряд ли в ближайшие десятилетня сделаются доступны читателю, а по роману «Факультет иеиужиых вещей», где реет его иепобедимый дух.

Игорь Золотусский

Факультет ненужных вещей

Роман

АННЕ САМОЙЛОВНЕ БЕРЗЕР

С ГЛУБОКОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА СЕБЯ И ЗА ВСЕХ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ МНЕ ПОСВЯЩАЕТ ЭТУ КНИГУ АВТОР

Когда спросят нас, что мы делаем, мы ответим — мы вспоминаем. Да, мы память человечества, поэтому мы в конце концов непременно победим; когда-нибудь мы вспомним так много, что выроем самую глубокую могилу в мире.

(Р. Брэдбери)

Новая эра отличается от старой эры главным образом тем, что плеть начинает воображать, будто она гениальна.

(К. Маркс)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Копали археологи землю, копали-копали, да так ничего и не выкопали. А между тем кончался уже август: над прилавками и садами пронеслись быстрые косые дожди (в Алма-Ате в это время всегда дождит) и времени для работы оставалось самое-самое большее месяц.

А днем-то ведь все равно парило: большой белый титан экспедиции накалялся так, что до него не дотронешься. Идешь в гору, расплеснешь ведро, и лужа высохнет тут же, а земля так и останется сухой, глухой и седой. А однажды с одним из рабочих экспедиции приключился настоящий солнечный удар. Вот поднялся-то шум! Побежали в санчасть колхоза за носилками. Они стояли у стены, и когда Зыбин — начальник экспедиции Центрального музея Казахстана — наклонился над ними, то с серого брезента на него пахнуло йодоформом и карболкой. Он даже чуть не выронил ручку. Ведь вот: сад, ветер, запах трав и яблок, блеск и трепет листьев, на траве чуткие черные тени их, а тут больница и смерть.

Ну а потом все пошло очень быстро — больного прикрыли зеленым махрастым одеялом и стащили вниз. Все бестолково кричали: «Тише, тише! Ну чего вы его так? Это же больной!» — остановили под горой попутную пятитонку — в это время из домов отдыха все

Текст печатается по изданию: Новый мир, 1988, № 8—11. (Впервые опубликовано в 1978 году издательством JMCA-Press в Париже.)

машииы иесутся порожняком,— осторожно возиесли иосилки и поставили возле мотора — там трясет меньше,— и сейчас же два молодых землекопа, остро блесиув ботиикамн, вскочили и уселись по обе их стороны. Они уже успели где-то иагладиться, начиститься, вымыться и расчесаться. Ну а рабочий-то деиь, коиечио, пропал. Все разбрелись по саду, кое-кто пошел к речке, и оттуда, из кустов, ударила гармошка и заорала девка. Орали здесь, как и иа всех посиделках,— громко, визгливо, по-кошачьи.

— О, слышите,— с удовольствием сказал Корнилов, поднимая ослепшую, взмыленную голову.— Обрадовались! Вот работников-то мы с вами иашли, Георгий Николаевич, а? С иими как раз клад отыщем.

Их было двое. Начальник экспедиции Зыбии и археолог Корнилов. Они оба — он и Зыбин — с белыми литровыми жестяиками из-под компота стояли иад горным ледяиым потоком (это и была речка Алмаатиика) и окатывались с головы до иог.

— А, черт с иими,— сказал Зыбии.— Дня-то все равно уже нет.

— Да, конечно, черт, дня нет,— вяло согласился Корнилов и по плечи окуиулся в поток.— Но ведь это что зиачит? — продолжал ои, выныривая и отфыркиваясь.— Ведь это зиачит, что пока мы тряслись иад этим Поликарповым, кто-то уже успел сгоиять в правлеиие к Потапову за гармошкой, а это, я вам скажу, две версты вериых по горам. Я однажды посмотрел иа часы, пока шел,— полчаса, вериых две версты.

— А вы сегодия Потапова видели? — быстро спросил Зыбин.

— Видел. А как галдели, как они, черти, галдели. Один так ко мне прямо в палатку влетел. Я проявляю, так ои, скот, иарочно все настежь! «Наш товарищ доходит, а вы тут разложили свои...» Товарищ у него, черта, видишь, доходит. Очень нужен ему товарищ! — И он опять ушел по плечи в поток. Зыбии подождал, пока ои выиырнет, отфырчится, отчертыхается, разлепит глаза, и сказал:

— Надоели мы им до чертиков, Володя. Устали оии, разочаровались, изверились. («Вот-вот,— согласился Кориилов,— вот-вот, оии изверились, скоты!») А помиите, как было сиачала! Жара, дождь, а они знай грызут и грызут холм. А теперь, когда два месяца прошло впустую, ии горшка, ии рожка, иу коиечио... Ну хотя бы вы сиова скотские кости откопали, что ли.

Корнилов стоял молча и зло, докрасна растирал ледяной водой живот, грудь и шею. Движеиия у иего

были широкие и сильные. Когда Зыбин ему сказал о скотских костях, он вдруг приостановился и спросил:

— А мне, пока я в городе был, никто не звонил?

— Да нет...— скучно начал Зыбин и вдруг всплеснул руками.— Ой, звонили, два раза даже звонили! Потапов приходил за вами. Какая-то женщина звонила. Я велел ей дать музейный телефон. Ничего? Она вас застала?

У Корнилова вдруг остро блеснули глаза.

— Женщина-то? — Он схватил с большого синего валуна мохнатое полотенце и стал им быстро, ловко и весело растирать, как будто пилить, спину. Был он невысокий, загорелый, мускулистый, чернявый и очень подвижный. У него всегда все ходило: руки, спина, мускулы, губы, глаза. «Артист,— подумал Зыбин, любуясь им.— Ох артист же! Это он в Сандунах так».— Ничего, ничего, дорогой Георгий Николаевич,— бодро воскликнул Корнилов.— И не только ничего, но даже и очень, очень хорошо.— Он скомкал полотенце и бросил его в Зыбина.— Собирайтесь-ка, натягивайте новые сотельные брюки, и потопали. Директор, наверно, уж нас заждался.

Он всегда, когда был возбужден, говорил вот так: «сотельный», «потопали» или даже «увидишь — закачаешься».

— Директор? — Зыбин даже сел на валун (к этому бедламу еще и директор!).— Да разве он...

— Ну а как же,— весело и дружелюбно ответил Корнилов, с удовольствием рассматривая его полное белое лицо и светлые водянистые глаза, они даже как-то поглупели за секунду.— А как же, дорогой Георгий Николаевич? Он же вас любит, правда? Ну а если любит, то и сам приедет, и гостей привезет. Да каких гостей! Увидите — закачаетесь. Он так и сказал мне: «Ждите, я приеду». Ну-ка пошли встречать.

Они взбирались по пологому холму через кустарник. На одном уступе Зыбин вдруг остановился и ласково сказал Корнилову:

— Володя, вы посмотрите-ка туда, вон-вон туда, на дорогу.

— А что?

— Да как старинная гравюра.

Уже смеркалось. Тонкий туман стелился по уступам, и все огненно-кровавое, голубое, темно-зеленое, фиолетовое и просто белое — круглые листы осинника, уже налившиеся винным багрянцем; частые незабудки

на светлом болотистом лужке, черные сердитые тростники; влажное, очень зеленое и тоже частое и чистое, как молодой лучок, поле (с одной стороны его покачивались ажурные белые зонтики, а с другой стороны стояли высокие строгие стебли иван-чая с острыми чуткими листьями и фиолетовым цветом),— все это, погруженное в вечер и туман, смирялось, тухло, стихало и становилось тонким, отдаленным и фантастическим.

— Как старинная гравюра под прокладкой,— повторил Зыбин.

— Да вы поглядите, где вы стоите,— вдруг сердито крикнул Корнилов,— вы же сотельные брюки испортили, ой горе мое!

Зыбин залез в куст степной полыни, и она обмарала его желтой, плотно пристающей пылью.

— Да что руками, что вы все руками? — еще сердитее закричал Корнилов.— Только еще больше вотрете. Вот придем — надо будет взять сухую щетку и отдраить вас всего. Но только пусть она сама драит. Она, а не вы. А то ничего не выйдет.— Он смешливо покачал головой.— Вот комиссия, создатель. Приедут, посмотрят. Рабочие водку глушат. Одного так уж даже замертво увезли. Научный состав навеселе, а руководитель сидит без штанов в шалаше. Красотища! А научные результаты-то, а?

— А ваши косточки, Володя,— ласково сказал Зыбин.— Ваши рожки да ножки. Вот мы их и предъявим. Ведь вы их еще не зарыли?

Корнилов загадочно посмотрел на него.

— А что мне их зарывать,— сказал он.— Что их зарывать, если...

А история с костями была такая. Когда после первых робких успехов экспедиции началась полоса сплошных неудач, Корнилов по каким-то понятным одному ему приметам вдруг решил, что место, где они копают, конечно, безнадежное, но вот если приняться за небольшой пологий холмик на яблочной просеке...

— Да ведь это же погребение,— убеждал он Зыбина,— очень богатое, вероятно, даже конное погребение. Обязательно надо попробовать. Ну обязательно.

Копали долго и безнадежно. Меняли места, изрыли весь участок и под конец докопались. Отрыли преогромную ямину, полную костей. Видимо, сюда свалили остатки какого-то богатырского пиршества — персон

эдак на тысячу. Коровы, овцы, козы, лошади, свиньи! — в общем, такой груды мослаков, пожалуй, еще никто никогда не видал. Ну что ж! Отрыли и зарыли, что еще делать с костями? Но по колхозу уж пополз слушок, что ученые раскопали сапное кладбище. Что тут только поднялось! Сначала взбунтовался колхоз, затем забеспокоились дамы из дома отдыха СНК, за домом отдыха СНК зазвонил и загудел во все аппараты Наркомздрав. На место раскопок прилетела стремительная комиссия эпидемуправления с молодыми сотрудниками в пенсне, террористического вида и с ящиками с крестами, колбами, пробирками. Яму снова раскопали, обвели канатами и поставили мрачного человека с кобурой. А пока шел суд да разбор, двум парням-землекопам где-то на вечеринке просадили головы. «Сап разводите, проклятые! Вот ваш прораб нам попадется! Всем головы поотмотаем!» Головы, правда, никому не отмотали, и комиссия уехала, составив даже акт, что кости по давности времени опасности не представляют, но все равно все могло бы обернуться очень плохо, если бы не бригадир Потапов. Он — умница! — притащил на заре два ведра карболки и залил яму. Вонь, конечно, поднялась страшенная, но она сразу всех и успокоила. Несло двадцатым годом, вокзалом, бараком, сборным пунктом, пропускной камерой — то есть чем-то сугубо житейским, во всяком случае сап, вылезший из тысячелетней могилы, так не пахнет.

Директор узнал об этой истории только через месяц, когда вернулся из срочной столичной командировки. Он вызвал Зыбина и хмуро сказал (а глаза все-таки смеялись):

— Ну то, что вы казенные деньги без меня в землю зарыли, это черт с вами — «наука умеет много гитик», а что такое гитика, никто не знает, значит, и спросу нет. Ну а если вам колхозники ваши ученые головы посшибают, тогда что? Я за вас, дураков, не ответчик!

Так и стояла яма посередине сада, пахла двадцатыми годами, и, проходя мимо нее, все плевались и поминали ученых.

...Корнилов загадочно посмотрел на Зыбина.

— А что мне их зарывать? — сказал он. — Что их зарывать, если их завтра же увезут в город?

— Это зачем же? — остановился Зыбин. — На студень, что ли?

— А затем,— ответил Корнилов с великолепной легкостью,— затем, дорогой, что Ветзооинститут у нас покупает костный материал. Так вот, завтра приедет директор с профессором Дубровским, он осмотрит все, заактирует, а затем переведет нам бобики в размере затрат. Но это завтра-завтра, не сегодня, как ленивцы говорят. Это я вам так, для страха сказал, что сегодня.

Зыбин засмеялся.

— Не проходит, Володя. Фамилия подвела. Вам бы выбрать другого кого-нибудь. Профессор Дубровский месяц как арестован.

— Да это не тот, голуба моя,— ласково пропел Корнилов.— Тот историк, голуба, а это — ветеринар.

Зыбин посмотрел на Корнилова, хотел сказать что-то язвительное и вдруг осекся. Он вспомнил, что и правда Дубровских два и один из них, старший, как раз в Ветзооинституте ведает кафедрой зоологии.

— Нет, правда? — спросил он робко (коленки у него были желтые-прежелтые).

— Святая истина,— проникновенно ответил Корнилов.— Мы продали костный материал чистопородных линий скота третьего — четвертого веков. Еще не верите! Знаете что тогда? У Потапова висит натуральный Никола Мирликийский. Идемте — приложусь. Там и водка есть. Пойдемте.

Зыбин наклонился и стал резкими боковыми ударами ладоней отряхивать коленки. Корнилов стоял над ним и смотрел. Брюки Зыбина его больше не трогали.

— Вы гений,— решительно сказал наконец Зыбин, поднимая голову от своих теперь уже безнадежно замаранных темно-оливковых коленок.— Второй Остап Бендер. Выдумать такое... нет, точно гений!

— Не я,— скромно ответил Корнилов.— Я гений, я Остап Бендер, но мне принадлежит только общая идея, а воплощение ее... — он загадочно помолчал,— завтра вы сами увидите это воплощение. О, там бьют уже в рельсу. Каша готова! Идемте к Потапову. Я сказал, жди, притащу твоего ученого!

Комиссия нагрянула к концу следующего дня в двух машинах. В первой, трескучей, помятой, но известной всему городу «ЭМ-1» ехали директор и дед-столяр. Черт знает зачем везли сюда деда. Но он сидел, гордо курил и озирал окрестность. И по ту сторону и по эту. Вид у него был трезвее трезвого.

«Орел»,— подумал Зыбин.

Третьей в машине сидела высокая, очень красивая, похожая на индуску девушка с чистым, продолговатым, матовым лицом и черными блестящими волосами. Клара Фазулаевна, завотделом хранения. Она смотрела поверх машины и думала что-то совсем свое. А за «эмкой» шла еще машина — длинная, худая, желтая, стремительная, как гончая или борзая (в машинных марках Зыбин совсем не разбирался). В ней были только двое: высокий тощий старик в чесучовом костюме и полный немчик, белобрысый, нежно-веснушчатый, очкастый, в пробковом шлеме и с фотоаппаратом через плечо. Он и вел машину.

Музейная машина доехала до бугра, урча взобралась на него и остановилась, покачиваясь и порыкивая. Дед и директор соскочили. Клара осталась. Директор что-то спросил ее или сказал ей что-то (ткнул пальцем в палатки и фыркнул), но она в ответ только дернула плечиком. Оба археолога смотрели на них с вершины другого холма. Вокруг — кто с киркой, кто с лопатой — стояли рабочие. Сейчас раскапывали именно этот холм. Только теперь предполагалось, что это не цитадель, а могила вождя — курган.

— И опять полдня летят! И самые продуктивные, по холодку,— вздохнул Зыбин, смотря на дорогу.— Ну что ж, Володя, идите встречайте, а я пока сбегаю в лавочку. Раз уж деда привезли, без этого не обойдешься.— И он побежал вниз.

Корнилов секунду смотрел ему вслед, соображая, а потом крикнул:

— Но берите только водку! Шампанское есть, стоит в заводи!

— А это как же? — удивился Зыбин, останавливаясь.

— А вот так же,— отрезал Корнилов и покатился вниз.

Зыбин постоял, подумал, пожал плечами.

— С чего ж это он шампанского? — спросил он недоуменно.— Вечно чего-то он...

— А подвела,— радостно объяснил ему парень, что стоял рядом,— не приехала. Вот он и продал вам свои заготовки!

— Кто? Да ну, глупости! — резко отмахнулся Зыбин и пошел было вниз, но тут другой рабочий, Митрич, пожилой, степенный, которого бригадир Потапов втер в экспедицию (толку от него колхозу все равно было чуть), авторитетно подтвердил:

— Нет, приезжала, приезжала. Он с ней из города приехал. Машину там около реки оставили — она сама

ее вела — и сразу оба к яме. Он: «Стойте, я вам покажу — вот, вот и вот!» — взял ее зонтик да ка-ак начал шуровать, она сразу и нос в платок: «Не надо, не надо, я и так вас поняла».

Все засмеялись. «А ведь не любят они Корнилова»,— подумал Зыбин и сам не различил, приятно это ему или нет, во всяком случае в эту минуту он понял, что Корнилова можно и не любить.

— Ну а потом что? — спросил он.

— А потом они ко мне пришли: «Митрич, принимай гостей». Жена им яиченку с луком сварганила, а меня за коньяком послали. Я обратно шел, три яблока ей самых-самых, ну что ни на есть самых крупных сорвал, она даже перепугалась: «Ой, ой, какие, разве такие бывают?»

Зыбин взглянул на рабочих. Они слушали и ухмылялись.

— Да кто же она такая? — спросил Зыбин ошарашенно.— Откуда?

— Вот откуда она! — с удовольствием сказал Митрич.— Откуда — не знаю! Я ведь не прислушивался. Только я вот что понял. Она вроде где-то с вами встречалась. Или вы отдыхали вместе, или куда ездили.

— Я? Нет! — сказал Зыбин.— Этого не может быть.

— Нет, точно, точно, она вас знает, очень она интересовалась! Говорит: «Он меня теперь не узнает». А он говорит: «Узнает». Потом он сбегал, какие-то ей два черепа принес, козьи, что ли. Скатерть чистая, так он их прямо на нее! Жена ее потом в золе стирала. Потом они на речку вместе пошли... — Он помолчал и добавил: — Руки мыть!

Все дружно заржали.

— Ну ладно, Митрич, пошли, ты мне поможешь! Пока они там будут...

— А красивая,— сказал Митрич, идя за ним.— Полная! Волос желтый, лет двадцать пять, не больше! Прическа! Цепка! Часики!

Тучи разошлись, проглянуло солнце, и сразу стало очень жарко. Вообще лето было сухим. Дожди прошли только недавно — редкие, косые, мелкие дожди. Такие, если они пролетят где-нибудь около Москвы или Рязани, называются грибными. Но тут истомленная жаром земля принимала их жадно, раскрыто, всеми холмами и ложбинами предгорий, всеми гектарами бурых кашек и белых колокольчиков, пожухлыми листьями кустарников. Белые парашютики плавали в

воздухе — отцвели одуванчики. Нежизненные нежные голубые цикории на высоких, узловатых, крепких и прямых, как веревки, стеблях выгорали и становились розовато-фарфоровыми, белыми, серыми, бесцветными. Зной дрожал, как жар над самоваром. Но вовсю заливались кузнечики. В непогодь они притихали, а в солнце выбирали самые что ни на есть сухие, сожженные откосы, и все сотрясалось тогда от их стрекота, он был так убийственно ровен, что Зыбину казалось — не просто тишина, а мертвое безмолвие окружало его все эти месяцы. Но сейчас все вокруг было опять полно осколков — мелких, остро ранящих. Трава пела, стонала, стрекотала. Зыбин различал даже отдельные голоса. Кто-то отчетливо и жалобно просил: приди, приди, приди... А там, выслушав его до конца, отвечали отчетливо и сердито: нет, нет, нет! Проходя мимо зонтика, Зыбин увидел ее — зеленую, большеглазую, словно выкроенную из зелено-белого серебристого листа кукурузы кобылку. «Она? — подумал он.— Но ведь саранча не стрекочет, кажется...»

Директор с профессором Дубровским стояли посреди поляны. И Клара тоже стояла с ними.

— «Орошай вином желудок. Совершили круг созвездья. Тихо нежная цикада, притаясь, от жара стонет»,— сказал Зыбин, подходя, и стиснул Кларе руку.— Стихотворение Алкея, перевод Вересаева, собрание сочинений, том девятый. Здравствуйте, товарищи!

— Нет, с вином мы, похоже, подождем,— жизнерадостно ответил директор,— мы пока с тобой и на квас не заработали. Значит, и орошать желудок нам вроде бы не с чего. Ну, здравствуй, здравствуй, хранитель! Вот за костями к тебе приехали.

Он говорил и смотрел ему в лицо добрыми, смешливыми глазами.

— Но мы-то с вами, пожалуй, заработали,— сказала тихо Клара директору.

— Но мы-то с вами,— махнул рукой директор,— мы-то с вами, известно,— золото! Мы люди деловые, точные, с нами шутки плохи. Так.— Он обернулся к профессору.— Вот представляю — Георгий Николаевич Зыбин. Читали, наверно, его статью в «Казахстанской правде» про библиотеку. Такой скандал там наделал! А по-нашему — хранитель древности. Руководитель всех работ. А это, хранитель, Николай Федорович Дубровский, наш покупатель из Ветзоо. Ну что — уступим ему твои мослы или нет?

«Володя гений»,— подумал Зыбин, но сказал:

— Да что уступать-то? Ведь их карболкой залили. К ним и не подойдешь.

— А неважно! А совсем неважно,— энергично запел седой профессор, похожий на пастора.— Мы, дорогой коллега, их и отмочим и отмоем. И знаете, какие у нас получатся препараты! Ваша неудача для нас превеликое счастье. Такого количества костного материала чистопородных линий скота для Средней Азии начала эры нет нигде! А для Артура Германовича,— он кивнул головой в сторону ямы,— это же самый настоящий клад! Он же лошадник! Сейчас как раз пишет кандидатскую об истории киргизца и его отношении к лошади Пржевальского. Вот смотрите.— Он махнул рукой через поляну.— Видите?

Зыбин посмотрел и улыбнулся. Немчик — так он сразу окрестил его — засучил брюки и полез в яму. За ним прыгнул и Корнилов.

— И наш дурак тоже туда,— осердился директор и закричал: — Владимир Михайлович, будешь копаться в этой гадости, сейчас пошлю к титану руки отпаривать! На них, может, верно сто пудов допотопного сифилиса!

Профессор засмеялся и положил руку на плечо директора.

— Да нет, не может быть! — сказал он задумчиво.— Никак не может быть, дорогой Степан Митрофанович. Вы сами говорите, полторы тысячи лет. Какой уж тут!..— Он вдруг элегантно, чисто по-профессорски подхватил директора под руку.— Пойдемте-ка лучше посмотрим их...

...Кости лежали сплошным навалом. Сверху они были черные от карболки, но когда их ворошили, они становились белыми, желтыми, кремовыми. Видимо, сперва их долго — столетья, может быть,— обдувало ветром, мыло дождем, засыпало снегом — и вот они сделались сухими, легкими и звонкими. А в общем, в яме под тросточкой вскипало что-то похожее на груду разноцветных кружев — румяный ассистент сидел над ямой и вертел в руках лошадиный череп.

— «Терем-теремок»! — тихонько позвал его Корнилов.

— Обратите внимание,— вдруг поднял голову ассистент,— и затылок цел. И вот, смотрите-ка... — И он сунул в руки профессора лошадиный череп.

Тот взял его, повертел так и сяк и осторожно положил на землю.

— Да,— сказал он, отряхивая щелчком кончики пальцев,— все это очень, очень!! Знакомьтесь, пожалуйста. Это хозяин, Георгий Николаевич Зыбин. А это...— И он назвал имя и отчество ассистента.

Артур Германович улыбнулся и встал.

— Здравствуйте,— сказал он.— Извините, руки не подаю. Грязные. У меня для вас письмо от Полины Юрьевны. Только оно там, в машине, в портфеле. Я сейчас, если позволите...

Он с сожалением поглядел на лошадиный череп, встал и пошел. И Зыбин тоже пошел за ним. Он был так ошеломлен, что даже ничего не спросил.

«Боже мой, боже мой,— восклицало в нем что-то,— Лина. Боже ты мой, боже».

Письмо было в конверте узком и тонком, и Зыбин мгновенно вспомнил руку Лины в перчатке.

«Дорогой Георгий Николаевич, две недели я уже здесь. Ищу, ищу вас и все не могу найти. Еще в Москве узнала, что вы работаете в музее, но когда зашла туда, ваша очаровательная сотрудница ничего, кроме того, что вы где-то в экспедиции, объяснить мне не смогла. Но есть бог! Я встретилась с Владимиром Михайловичем. Он мне все и рассказал. Найдите же меня, пожалуйста. Вам это будет, наверно, куда легче, чем мне. У меня в номере есть телефон. Узнаете по справочной. Гостиница «Алма-Ата», № 42. Недели две я еще буду сидеть в нем. Мечтаю выбраться к вам в горы. Я была, правда, там раз с Владимиром Михайловичем, но без вас. Впрочем, может быть, это и хорошо, что без вас. Теперь я имею совершенно точное представление о том, где и как вы живете, а то вы бы совсем меня заговорили. Но знаете, что меня поразило насмерть? Горы! Как и море в том 35-м. Впрочем, вы, может быть, все уже и забыли. А я помню.

Жду ответа, как соловей лета.

Ваша *Лина*.

P.S. А верно, помните море? То есть — море, Анапинский музей, краб под кроватью и все остальное. Вот были-то времена, Георгий Николаевич! Подумать страшно! Так звоните же, пожалуйста. Еще раз ваша Лина».

Он сунул письмо в карман.

— Полина Юрьевна вас очень хотела видеть,— почтительно сказал Артур Германович.— Она даже

собиралась поехать с нами, мы ее даже специально еще полчаса прождали, но, вндимо, что-то там не вышло.

— Вот как? — сказал Зыбин, плохо понимая, что он говорит.— Значит, что... это... — Он не знал, что сказать н о чем спросить.

— Тут вот как все получилось,— солидно объяснил ассистент.— Владимир Михайлович привез в институт этн кости с просьбой определить и дать заключенне. Мы его, конечно, отослалн на кафедру зоологни. Тут он встретился с Полиной Юрьевной. Она тогда только что приехала и знакомилась с нашим учебным музеем. Ну, увндела этот костный матернал, поговорила с Владимиром Михайловичем и попросила все показать на месте. Приехала, посмотрела, кое-что захватила с собой в лабораторию. Потом подала докладную в ректорат н копню в Инстнтут историн Казахстана: «Обнаружен большой костный матернал домашнего скота до всякой метнзацни. Счнтаю нужным приобрести всю коллекцию». Ее поддержал профессор Дубровскнй. Деньги на это отпустили. Вот мы и прнехали посмотреть, что покупаем.

— Так,— сказал Зыбин, уже отдышавшись.— Так! Теперь я все понял.— И вдруг он страшно заторопнлся и заюлил.— Так я сейчас пойду позвоню Полине Юрьевне, а то контора закроется н... А вы, пожалуйста, идите туда. Я сейчас тоже прибегу. Вот позвоню н прибегу. Это одна минута!

В конторе горела только одна настольная лампа и счетовод сндел н уныло играл на счетах. Зыбнн вошел и, не спрашнвая разрешения, снял трубку. В трубке что-то шумело и разрывалось. Порой даже как будто доносились какие-то обрывки слов. Зыбнн несколько раз опускал и поднимал трубку, но ничего, кроме гроз и разрядов, в ней не было. А потом и это замолкло, и все заполннл ровный и какой-то пористый шум. «Как в раковине,— подумал он смутно,— как в большой морской раковине». И сейчас же ему представилось, что вот он опять идет ночью по узенькой тропинке высоким берегом и ничего вокруг нет, одна тьма, и только впереди белым круглым огнем горит какой-то фонарик, а внизу кипит, ухает и закнпает море. Однажды вот так он шел и нес в тюбетейке краба. И краб был огромный, черно-зеленый, сердитый и колючий, как кактус. «Да, тот краб был человек»,— подумал он. Но трубка продолжала шуметь, и он бросил ее на рычаг. Счетовод

щелкнул последний раз какой-то костяшкой, вздохнул и бросил счеты на стол.

— У нас телефон тугой,— сказал он с удовольствием.— Третий год вот так мучаемся. Иногда нужно срочно связаться — и никак, никак!

Зыбин посмотрел на него и вдруг, разъярясь, изо всей силы ухнул кулаком по рычагу. В трубке что-то с шумом взорвалось, лопнул какой-то пузырь, и опять зашумело. Море снова было тут.

«И какого черта мне загорелось,— подумал он, трезвея.— Нашел время». И уже почти бессознательно поднял трубку, и тут отчетливый женский голос сказал ему: «Вторая».

— Вторая, будьте добры,— крикнул он, вскакивая,— дайте Ветинститут!.. Какой номер-то? Да все равно какой! Справочную, справочную дайте!

В трубке помолчали, а потом тот же голос сказал: «Справочная не обозначена. Даю отдел кадров».

Трубку не поднимали довольно долго. Потом женский голос спросил, кого ему нужно. Он спросил, как ему разыскать Полину Юрьевну Потоцкую. «Одну минуточку»,— сказал голос. И он вдруг услышал дробный стук спешащих каблучков: тук-тук-тук. «Ее в институте звали козой»,— вспомнил он. Звякнула трубка, и ему радостно сказали: «Да». Он перевел дыхание. Она!

Это ее «да». Вот оно! Встретились! И еще одно «да» получил он от нее. Такое же радостное и искреннее, как и всегда. И столь же, как и всегда, ничего не значащее и ровно ничего не стоящее.

— Здравствуйте, Лина,— сказал он.— Это я, Георгий. Вы давно приехали?

Как только он назвал себя, она с какой-то даже обидой вскрикнула: «Ну наконец-то!..» И... Впрочем, после конца разговора он так и не мог вспомнить его начало. Помнил только, что все сразу пошло так, как будто тут не пролегали годы, встречи, разрывы, разлуки. Полностью память к нему возвратилась, только начиная с ее вопросов.

— Ну когда же вы все-таки приедете? Я очень хочу вас видеть!

— Да, господи, да когда угодно,— ответил он.— Ну хоть сейчас! — И верно, он готов был, как мальчишка, сейчас же сбежать на шоссе и вскочить в любую машину.

Она засмеялась.

— А я ведь боялась, что вы изменились. Да нет, сегодня нельзя. У вас же там наши? Вы сейчас один?

— Один,— ответил он.— А что?

— Ну а с костями что? Порядок? Все благополучно?

— Очень,— ответил он, хотя ровно ничего не сообразил — какие кости? какой порядок? — Очень, очень все благополучно,— сказал он.

— И Володя не подкачал? Ну, передайте ему мой привет. Так нам и не удалось сделать вам сюрприз. Слушайте, хранитель... Вас ведь тут хранителем прозвали. Я так смеялась... После двух я всегда свободна. Так, скажем, завтра, а?

— Отлично,— ответил он решительно.— Где?

И тут она заговорила как-то по-иному, по-старому, вот как тогда на море. Его даже в жар бросило от ее голоса.

— Да где хотите, дорогой, где вы хотите. Может, в музей к вам зайти?

— Да,— сказал он с разбегу.— Зайдите в музей.— Потом опомнился.— Постойте,— сказал он,— не надо в музей. Вот вы знаете главный вход в парк, где фонтан? Так вот у фонтана. Хорошо? — И сейчас же подумал, что нет, нехорошо, слишком уж там людно.

Но она уже ответила:

— Всегда обожала сцену у фонтана. «Пред гордою полячкой унижаться?» Блеск, как говорит Володя. Только вы уж очень не опаздывайте, а то знаете, стоять на виду у всех...— Тут ей что-то крикнули со стороны.— Видите, тут мне подсказали — молодой, красивой, одинокой. Хорошо, договорились, у фонтана. А теперь попросите к телефону моего профессора. Только скорее — нужен телефон. Здесь все интересуются его покупкой.

Чтоб как следует спрыснуть покупку, они облюбовали отличное место. Поставили стол над самым откосом. Тут к шоссе сбегал влажный песчаный косогор — не желтый, а ржаво-оранжевый, и весь до самой вершины он зарос дудками, колючим барбарисом с круглыми багровыми листьями и эдакими небольшими ладными лопушками, ровными и аккуратными, как китайские зонтики. А за шоссе начинались болота осоки, чистая и частая россыпь незабудок, бурная речка Алмаатинка, а в ней среди пены и брызг, грохота и блеска лоснился на солнце похожий на купающегося бегемота огромный черный валун. В общем, отличное место!

Тень и солнце, прохлада и свежесть.

И подходя, еще издали Зыбин услышал голос директора. Директор громыхал. Значит, кого-то громил. «Кого же это он?» — подумал Зыбин.

Он подошел, и за яблонями его никто не заметил. Все сидели и слушали. Только дед спал, независимо откинувшись головой на ствол яблони, и чуть всхрапывал. Перед Кларой на скатерти лежало несколько папиросных коробок. «Да ведь она же не курит»,— смутно подумал Зыбин. Клара молчала и играла вилкой. Рядом с Кларой сидела Даша, племянница бригадира Потапова, веснушчатая, нежно-розовая девушка. Она в этом году перешла на четвертый курс театральной студии, и Потапов никак не мог простить ей этого. Все не отрываясь смотрели на директора.

А он кончил одну тираду, выдержал этакую эффектную паузу, крякнул, подцепил на вилку колечко лука, истово прожевал его и продолжал уже иным голосом, легким и артистичным:

— И вот еще что, профессор, не думайте, что это пустяк. Сказать на лекции студентам «товарищ Сталин ошибся» — это таки настоящее государственное преступление.

«Ах вот почему они и молчат»,— подумал Зыбин и тревожно взглянул на Корнилова — сильно ли он набрался? Нет, как будто не особенно, во всяком случае, сидит, как и все.

— Но ведь не так же, не так же это было,— чуть не заплакал профессор.— Мой брат на вопрос студентов, можно ли считать, что падение Римской империи — это следствие революции рабов, ответил...

— Это не важно. Это совершенно не важно,— властно отрубил и отбросил ладонью его возражения директор.— Важно, что он сказал «нет»! Он сказал «нет», когда вождь сказал «да». А как же иначе? Что значат слова: «Не знаю, что имел в виду Иосиф Виссарионович, но факт тот, что после спартаковского восстания Рим просуществовал еще пятьсот пятьдесят лет и сделался мировой империей»? А ведь товарищ Сталин написал совершенно ясно и просто: варвары и рабы с грохотом повалили Римскую империю. Значит, вот это и есть научная истина. Так или не так?

— Это так, конечно,— уныло согласился профессор.— Но...

— Это так, конечно, но арестован ваш брат,— вдохновенно подхватил директор.— Понимаю, ах как все понимаю. Но ведь это же старая песня. «Молчи, все знаю я сама, но эта крыса мне кума». А вот у этой девушки,— он грозно, античным жестом, через весь

стол показал на Дашу,— забран ее дядя. Так что же, его брат-колхозник, ее отец, разве говорит «не верю, не может быть, не правы органы»? Нет, он говорит: «Раз взяли Петьку, значит, было за что взять». Вот так думает простой мужик-колхозник про свою родную советскую власть. А мы, интеллигенция, хитрая да лукавая... не обижайтесь, я сам из того же теста, поэтому так и говорю...

— Так ведь, Степан Митрофанович, дядю Петю взяли за клеща, за вредительство, а их брата...— несмело сказала Даша и вся вспыхнула.

— Ай-ай-ай! — закачал головой директор, сияя и поворачиваясь к ней всем корпусом.— Ах ты, такая-сякая, умница-разумница, ты что ж думаешь, что агитация с профессорской кафедры — это не вредительство? Это, милая моя, хуже, чем вредительство. Это идеологическая диверсия против ваших щенячьих душ, и мы за такие вот штучки голову будем отрывать.— Он сурово стиснул кулак.— Потому что дороже вас, веснушчатых да сопливых, у нас ничего на свете нет.

— Но, Степан Митрофанович,— профессор даже руки прижал к груди,— ведь то, что сказал брат, это же частное разъяснение специалиста-историка, которое к учению Сталина...

— А товарищ Сталин — корифей всех наук,— быстро и сурово отрезал Корнилов и взглянул на Зыбина (он один его увидел).— Ему историкам нечего там разъяснять.

— Ну да, ну да,— беспомощно оглянулся на него и залопотал профессор, уже ровно ничего не понимая.— Корифей! Я согласен! Корифей всех наук! Нечего там разъяснять! Я согласен, нечего... Но не может же всякая мелочь...

— А в учении товарища Сталина нет ничего мелкого,— так же сурово изрек Корнилов и слегка покосился на Дашу.— А дай нам волю — хитрым да лукавым интеллигентам — так мы, пожалуй...

Тут профессор уже так смешался, что даже очки уронил на стол.

— А вот ты помолчал бы,— вдруг сурово приказал директор.— Вот помолчал бы ты немного. Смотри, брат, больно языкастый стал! Договоритесь вы со своим хранителем до чего-нибудь хорошего... («Ну вот, этого еще мне не хватало»,— ошалело подумал Зыбин.) А вот вы ведь меня опять не понимаете,— повернулся он к профессору.— Тут что важно? Важно именно то, чем он меня сейчас пытался уколоть. Нет, не уколешь, дорогой. Да! Учение вождя цельно и нерасторжимо! Да!

В нем нет мелочей, сколько бы ты ни смеялся над этим! Его не об-суж-да-ют! Его у-ча-т! Понимаете, у-ча-т! Вот как в школе букварь.

«Боже мой, боже мой, что же он говорит,— подумал Зыбин,— ведь умный же мужик, а...» Он вышел из-за яблони, но заметила его только Клара.

— Мы накануне войны,— продолжал директор, помолчав, каким-то совершенно иным тоном, тихим и задумчивым,— самой страшной, беспощадной войны. Враг только и ищет, чтоб нащупать щелку в нашем сознании. Вот в их сознании,— он ткнул на Клару и Дашу,— потому что мы их — девчонок и мальчишек, детей наших,— первыми пошлем умирать за наш строй. Так что ж, мы будем разрешать, чтобы какой-то дядя отравлял их только завязавшееся сознание вот такими вот штучками? Ведь если у вождя ошибка здесь, то могут быть ошибки и дальше? Значит, он говорит не подумав, ведь так? Ну, или говорит не зная? Это тоже не лучше. Но ведь как же тогда можно считать вождем человека, который... Нет, нет, это совершенно немыслимо! Это вы, я, он, она могут ошибаться, а вождь — нет! Он не может. Он — вождь! Он должен вести, и он ведет нас. «От победы к победе», как это написано на стене вашего института. Он мудрый, великий, гениальный, всезнающий, и если мы все будем думать про него так, то мы победим. Ваш брат арестован потому, что он поставил все эти истины под сомнение, хотя бы в одном отдельном пункте. А это преступление, за него судят. Вот и все. А там уж дело органов. Может быть, верно, посчитаются с возрастом. И не говорите об этом больше никому. Прицепятся, верно, к слову да и... Ну да где же этот чертов хранитель? И никогда его нет на месте, когда нужно!

— Здесь я,— сказал Зыбин. Он пошел и сел на подвинутую ему табуретку.

И все сразу же замолчали, глядя на него.

Молчал и он, облокотясь на локоть и смотря в скатерть.

— И какую же статью предъявили вашему брату? — спросил он профессора.

Тот было открыл рот.

— Да откуда он знает? — сурово и обеспокоенно прикрикнул директор.— Идет следствие. Ладно, про это кончено! Кларочка, покажите-ка хранителю, что нам дед раздобыл, да и поедем. А выпьют они уже, похоже, одни. Это у них никогда не заржавеет!

И Клара открыла первую из лежавших перед ней папиросных коробок.

Это было золото, частички чего-то, какие-то чешуйки, какие-то краешки, пластинки, бледно-желтые, тусклые, мутные. Это было поистине мертвое золото, то самое, что высыпается из глазниц, когда отрывают вросший в землю бурый череп, что мерцает между ребер, осаживается в могиле. Словом, это было то археологическое золото, которое ни с чем никогда не смешаешь. Зыбин, забыв обо всем, молча крутил эти пластинки и бляшки. Самые крупные из них больше всего походили на желтый березовый лист. Такой же цвет, такой же широкий, тонкий, острый конус.

Он осторожно, штука за штукой, брал их в руки и опускал обратно на вату в коробочку. Да, да, это было то самое, что уже несколько раз попадало ему в руки. То шофер привез откуда-то, то буфетчица пожертвовала. Но сейчас тут, на вате, они лежали навалом.

— А вот тут серьга,— сказала Клара, открывая спичечную коробку,— смотрите, какой странный сюжет: мышь вгрызается в брюхо сидящего человека.

— Дай ему лупу, дай! — возбужденно приказал директор.

— Кусок диадемы,— продолжала Клара, открывая длинную коробку из-под сигар.— Всех кусков три. Мы захватили только один.

У Зыбина даже руки дрогнули. До того это было необычайно. Кусок состоял из ажурной золотой пластины, разделенной на два пояса. В верхнем поясе был изображен рогатый дракон с гибкой кошачьей статью и на пружинящих лапах. Он стоял извиваясь и оскалясь. Четко был вычеканен каждый клык зверя. А ниже этажом помещался козлик. Маленький шустрый козлик — теклик, как его называют тут. Он стоял на каком-то бугорке или вершинке и смотрел оттуда вдаль. Так у него были подобраны копытца, такая у него была высматривающая мордочка. Потом еще летели лебеди, поднимались фазаны и утки, порхали мелкие птахи. Отдельно, как будто на капители колонны, стоял ладный крылатый конек — только совсем не Пегас, а суховатая небольшая лошадь Пржевальского. И другой такой же конек несся по небу. На нем сидела молодая женщина. Ветер взметнул ее волосы, и они сделались похожими на шлем. И в самом изгибе всадницы чувствовалась стремительность полета, то как она врезается в гудящий воздух. Второй пояс занимало что-то длинное, тонкое, льющееся, слегка спутанное — не то водоросли, не то трава, полегшая по ветру.

И во всем этом проступала манера мастера, гениаль-

ные пальцы его, привыкшие мять, резать и чеканить. Ничего подобного Зыбин еще не встречал.

— Аналоги?— спросил Корнилов.— Китай?

Зыбин слегка пожал плечами.

— Ну а все-таки?

— Не знаю,— ответил Зыбин,— то есть, конечно, не Китай. Китайские драконы — гады, змеи, а тут рогатая кошка, балхашский тигр.

— А вы обратили внимание на дырочки внизу?— показала Клара.— Диадема кончалась покрывалом. Она ходила с закрытым лицом.

Он как бы в задумчивости посмотрел на нее.

— Златая корона с драконами и свадебная фата,— сказал он, представляя, как это выглядело бы.— Невеста. Принцесса крови и жрица.

— Шаманка,— сказал Корнилов.— Что-то похожее есть у сибирских шаманов.

— Да, может быть, и колдунья,— согласился он.— Мы это увидим по похоронному инвентарю. И конечно по черепу. Но если она уж очень молодая,— продолжал он, подумав,— то вряд ли колдунья. Хотя...— Он слегка развел руками.— Что мы знаем о них? О ней? Что она? Почти наша фантазия.

— Нет, оставьте, оставьте шанс и для колдуньи,— попросил Корнилов.— Ведь какое это чудо: молодая ведьмочка бронзового века с распущенными волосами мчится по вечернему небу на драконе. Ж-ж-ж! А от нее во все стороны галки и вороны. «Кра-кра-кра!» А за ней дым, дым бьет в глаза! И над горами — огненный след. А на ней фата и золотая корона.— Он взглянул на директора.— Ведь чудо?

— Я вот тебе!— погрозил ему пальцем и улыбнулся директор.— Ты у меня смотри, договоришься!

— Ну а место вы взяли под охрану?— спросил Зыбин.— Вы сами-то там были? Что это — курган, могила?

— Ладно,— тяжело поднялся директор.— Приедешь завтра и сам все увидишь. Придут и эти голубчики-кладоискатели! Паспорта-то их у меня в столе. Возьмешь с собой пару или тройку рабочих с лопатами! И чтоб завтра ни-ни. Пейте сегодня! Пойдемте, профессор.

— Боже мой, боже мой!— Зыбин чуть не выронил кусок диадемы.— Профессор, да ведь вас там, у телефона, ждет Полина Юрьевна. Боже мой, боже мой, как же я забыл! Пойдемте скорее, скорее!

Но профессор уже хмуро вставал с места и прятал очки.

Руки его мелко дрожали. Он опять был весь в своем — строгий, обиженный, может быть, конечно, и чуть пьяноватый: ни археологическое золото, ни рогатый дракон, ни эта ведьма его совершенно не тронули — все это было не по его ведомству.

— Вот Артур Германович уж с вами побежит скорее, скорее,— сказал он вежливо и ехидно.— А мне в мои шестьдесят пять это самое — скорее-скорее... Да и что уж бежать? — Он посмотрел на Зыбина и покачал головой.— Но как же вы так могли, а? — сказал он тяжело.— Это же дело, голубчик, дело! Мы должны были на завтра сговориться о встрече. Где теперь вот я буду искать Полину Юрьевну? Ах, как все это у вас... И потому что все скорее, скорее, скорее...

В конторе никого не было. Трубка по-прежнему лежала на столе. Но была теперь уже совершенно мертва, холодна, без голосов, без шума прибоя. И никто в ней больше не жил и не ждал.

А когда Зыбин вернулся, уже не было и машин. На гребне дороги стоял Корнилов, пошатывался и, улыбаясь, смотрел на него. В руке он держал стакан. Море сейчас ему было абсолютно по колено.

— Хм,— сказал он Зыбину.— Значит, революция рабов, да? И еще ждать мне пятьсот пятьдесят лет, а? А? А не пошли бы вы все в это самое? А?А?А?

Эти дни потом Корнилову приходилось вспоминать очень часто. Все самое непоправимое, страшное в его жизни началось именно с этого дня. А в памяти от него осталось что-то очень немногое: во-первых, яркий белый огонь керосиновой лампы под матовым шаром, ее все прикручивают и прикручивают (что-то, наверно, случилось с ГЭС). Под ним сверкает широкими гранями высокий белый самовар, а на нем чайник, белый и круглый, как свернувшийся котенок. Затем розовая Даша — тонкая, красивая, мягкая, в белом шелковом платье с красными мячиками. Она напевает и ходит по комнате. Тогда он что-то вспоминает и кричит ей: «Артистка, артистка!» Она улыбается, и все смеются тоже.

— Ну ожил,— ворчливо говорит Потапов.

А потом сразу опять темнота, тишина, умиротворенье. Пахнет каким-то соленьем, квасом и плесенью. Не то рядом стоит бочка с огурцами, не то капусту квасят. За перегородкой рукомойник: кап, кап, кап... За минуту одна капля. А когда он утром очнулся окончательно, то увидал над собой тусклое серое окно, и кто-то рядом с ним расположился на двух скамейках.

Он поднял голову. И тот тоже зашевелился. Значит, пожалуй, не спал, а следил.

— Ну как вы себя чувствуете? — спросил тот, второй, и тут он узнал Зыбина. Узнал и испугался уже по-настоящему. До этого у него в голове ничего не было, так, плыла какая-то муть, клочки какие-то, что-то туманное и нехорошее. А тут ему вдруг вспомнились все вчерашние разговоры. То есть не все, конечно, но и то, что он помнил из них, тоже было достаточно для всяческих выводов — а дальше что?

«Боже мой,— подумал он,— боже мой, вот попал-то. Я ведь кричал. Они меня вели, а я что-то такое выкрикивал. Два свидетеля. Да по закону больше их и не требуется».

— Воды дайте,— попросил он хрипло.— Что, я вчера здорово набрался?

— Да нет, чепуха,— беззаботно отмахнулся Зыбин,— мы вас сразу же сюда притащили.

— А кричал? — спросил Корнилов, замирая.

— Да кричали что-то. Пить хотите? Стойте, сейчас.

Он вышел и сейчас же вернулся с огромной эмалированной кружкой.

— Вот пейте,— сказал он, наклонясь над ним.— Сколько только можете, столько и пейте.

— Ой, что это? — Корнилов сделал глоток и оттолкнул кружку.

— Огуречный рассол. Да вы не спрашивайте, а пейте, пейте.

Он заставил его выпить чуть не половину, а потом сказал:

— Ну вот и хорошо. А теперь усните.

Ушел и кружку унес.

Потом, через полчаса, когда он уже верно спал и проснулся от скрипа двери, вошел Потапов в галошах на босу ногу, в незаправленной рубахе и встал над ним. Но он лежал вытянувшись, с закрытыми глазами, еще сонно посапывал, и тот немного постоял, постоял и ушел. А затем был какой-то мутный бред. Он не то спал, не то просто валялся в забытьи и в жару. А когда уж окончательно проснулся, было полное утро: светло, солнечно, птицы поют вовсю. В соседней комнате разговаривали и смеялись. Потапов что-то резко, но тихо выговаривал Зыбину. Тот отвечал так же тихо, но каким-то странным, не то уговаривающим, не то извиняющимся голосом. Он понял, что это говорят о нем, встал, подошел к двери, накинул крючок и прижал ухо к щели. Последние слова Потапова, которые он ухватил, были: «Вот этого я уж никак не терплю». Затем

заговорил Зыбин. Говорил он медлеино, задумчиво, как будто размышляя.

— Так ведь действительно ничего не разберешь.

— У нас вчера одного бригадира забрали,— сказал Потапов.

— Ну вот видишь, забрали бригадира. А за что? Наверное никто не знает. (Потапов что-то буркнул.) Ну вот видишь. А Владимира выслали из Ленинграда, тоже, коиечно, ни за что. Отец у него какая-то там шишка был при царе. А ведь дети за отцов не ответчики — это вождь сказал. Вот Корнилов все время настороже, нервы у него напряжеиы. Иногда, конечно, и сорвется. Затем еще одио: роем, роем, а ведь, кроме этой помойки, так ничего и не раскопали. Затем эта идиотская история с удавом. Оиа зиаешь сколько крови нам стоила. А ведь все молча переживали.

— Да он-то не молчал,— презрительио усмехнулся бригадир,— он все ходил за мной да агитировал. «В чем дело, Иван Семенович, может, мы вам чем можем помочь?» Так он мне надоел со своим сочувствием. Я однажды ему отрезал: «Отвяжись, говорю, худая жизнь, и без тебя тошио». («Ничего подобного, ничего подобного никогда не было!» — быстро подумал Кориилов.)

И вдруг тут в разговор вмешался женский голос:

— Вот вы всегда так, никому не верите. Человек в самом деле вам сочувствовал, хотел помочь, а вы...

Что-то скрипнуло — пол или табуретка.

— У меня этих самых помощничков знаешь сколько развелось? — сказал Потапов с веселым ожесточением.— Вот и ты мне помогаешь. Денно и нощно помогаешь. Как зальешься на сеновал с книжечкой...

— Ну, нашел что сказать,— засмеялся Зыбин.— Она иа сеновале как раз и работает. Вот станет великой актрисой, тогда узнаешь.

— Хм! — недобро засмеялся и заворочался Потапов.— Я и так уж все про нее знаю — что было, что есть, что будет. А тот что, все спит? Буди, буди, второй раз кипятить не будем. Ты что? Его с собой захватишь?

— Ну куда же,— отмахнулся Зыбин.— Ведь опять его растрясет дорогой, пусть уж спит.

«Э, какой ты хитренький, раньше меня хочешь с Полиной увидеться. Нет, не проходит»,— подумал Корнилов. Он кашлянул, чертыхнулся, откинул крючок и предстал перед ними. Мятый, всклокоченный, с больной головой, но, кажется, абсолютно трезвый. Предстал и увидел: стол накрыт, самовар блестит. Зыбин,

как обычно, вышагивает по комнате, Потапов сидит у окна на табуретке, а Даша у стола перетирает чашки.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал громко Корнилов.— Ух и зверский же рассол у тебя, Иван Семенович, как хватил, сразу полегчало. Лег и заснул.

— Рассол у нас мировой,— благодушно согласился Потапов.— Хозяйка его специально держит для таких случаев. Дарья, да брось ты это дело, налей ему чай, да покрепче, покрепче. Одну черноту лей. Это ему сейчас первое дело.

Даша налила ему полный до краев стакан чая — горького и черно-красного, как марганец. Он опорожнил его с двух глотков и подал Даше пустой стакан; она вновь налила доверху. Он поглядел на нее и вдруг опять увидел, что она очень красивая и ладная — этакая тоненькая, длинноногая штучка в легком платьице — и так ласково на него смотрит, так хорошо, ясно улыбается, от нее так и веет свежестью и чистотой. И ведь сразу заступилась за него, и эдак горячо, искренне. От этих мыслей ему стало так тепло, что он вдруг просто так, ни на что не надеясь, спросил: «Ну а если мне полтораста?» — и сам же первый засмеялся, показывая, что это только шутка. И произошло невероятное: Даша молча встала, подошла к буфету, вынула оттуда графин и налила ему полный тонкостенный стакан.

— Пожалуйста,— сказала она ему.

— Дарья, да ты что это? — ошалело выпучил на нее глаза Потапов.

Она, улыбаясь, посмотрела на него.

— Да вы сами, дядя Ваня, когда голова болит...

— Да ты... да ты... в самом деле, что? — зарычал, вскочил, забрызгал слюной и оскалился на нее Потапов.

Но тут вмешался Зыбин.

— Все, все! — сказал он.— Все! Сядь! Молодец, хозяйка! Пейте, Володя!

Потапов взглянул на Зыбина и смолк. С некоторых пор он вообще ему ни в чем не противоречил.

— И правда,— сказал он, хмуро отворачиваясь.— Пей, да потом опять ори, вылупя глаза. Может, и наорешь что хорошего.

Корнилов посмотрел на него, на нее, сразу потупившуюся, заалевшую, слабо улыбающуюся, вдруг осушил стакан одним глотком и стукнул его на стол.

— Во как! — сказал Потапов насмешливо.— Уж совсем впился.

И тут Даша закраснелась еще больше, поднесла ему бутерброд с килькой и сказала:

— Закусывайте!

Все это, и Даша в особенности, то, как она смотрела на него, как покорно стояла перед ним и держала тарелку, как улыбалась, взорвало его опять. Он сел и сидел, смотря на них всех, затаившийся, радостно-злой, готовый взорваться по первому поводу. Но повода-то не было. Пошел какой-то мелкий, совершенно незначительный разговор про яблоки, музей. (Потапова кто-то научил выращивать яблоки, на которых проступали совершенно ясные изображения Ленина или Сталина... Пять из этих яблок экспонировались в музее. Сейчас Потапов вырастил и хотел прислать еще три, с лозунгами и государственным гербом.) Корнилов слушал этот разговор и молча кипел, раскачиваясь на стуле. Наконец Потапов вздохнул и сказал, кивая на шкаф:

— Ну что ж, в таком случае и нам по одной разве.

— Нет, нет,— быстро ответил Зыбин и даже рукой махнул.— Мне сейчас ведь ехать надо. Ну а вы, конечно...

— Я с вами тоже поеду,— сказал Корнилов.

Зыбин вскинул на него глаза и медленно, как бы обдумывая, ответил:

— А стоит ли? Не стоит, пожалуй. Я уж в случае чего сам позвоню.

— Почему это не стоит?— спросил Корнилов, готовый кинуться в сражение.— А если у меня есть дела личные, понимаете, личные, так сказать, долг чести? Я обещал Полине Юрьевне...

— Ну как знаете, как знаете,— быстро уступил Зыбин.— Только дайте задание рабочим и поставьте кого-нибудь, ну хоть Митрича. Иван Семенович,— обернулся он к Потапову,— ты их не поторопишь? Уже пора и выезжать.

— Даша,— сказал Потапов,— сходи, милая.

И та уж подошла к двери, сняла с гвоздя косынку, как Корнилов вскочил вдруг и сказал, протягивая руку к ней:

— Сидите, сидите, я сейчас сам схожу. Нет, нет, сидите.

И выбежал.

— Слаб,— сказал Потапов, смотря ему вслед.— Эх, слаб. Ну куда таким пить?— Он посмотрел на Дашу и опять нахмурился.— Слушай, а ты с чего взяла такую волю? Смотри какая героиня! Он и так ходит как занюханный, а ты ему еще подносишь.

Она загадочно улыбнулась, и тут он совсем взвился.

— И смеяться тут нечего, дрянь ты эдакая. Тут и полсмеха даже нет. Вот найдет на него опять лунатик, начнет буровить, я тогда тебе...— Он посмотрел на Зыбина и обеспокоился уже по-настоящему.— Слушай, и ты с ним будь покороче, с ним так можно вляпаться, что и не вылезешь.

— Да что вы такое говорите?—обиженно крикнула Даша.

— То самое, что слышите,— огрызнулся Потапов.— Вот еще нашел себе пьяница заступницу. Кто он такой тебе, что ты так за него свободно рот дерешь, а? Бессовестная!—Он был не только рассержен, но и ошарашен.

— Да он просто хороший человек,— сказала Даша,— хороший, честный, он всюду правду говорит. Другие хитрят, таятся, а он прямо, без никаких.

Потапов быстро взглянул на Зыбина. Тот молчал и неотрывно смотрел на Дашу. Выражение его лица Потапов понять не смог.

— Ну, ну, что ж ты вдруг замолчала?—спросил он.— В чем же это он прав, а?

— Да во всем, во всем.— По щекам Даши уже текли слезы, и она смахнула их рукой.— Он говорит, а все молчат. Говорят одно, а думают другое. Вчера был героем, наркомом, портреты его висели, кто о нем плохо сказал, того на десять лет. А сегодня напечатали в газете пять строк—и враг народа, фашист... И опять—кто хорошо о нем скажет, того на десять лет. Ну какой же это порядок, какая же тут правда? Вот дядя Петя...

Тут Потапов так ухнул кулаком по столу, что чашки зазвенели. Он даже покраснел от злости.

— Ты про дядю Петю, дрянь такая, чтоб не сметь...— сипло зашипел он,— чтоб мне не сметь этого больше слышать... Я тебе за дядю Петю... Я тебе не тетка... Я тебя в лучшем виде... Нет, ты слышишь, ты слышишь, что она буровит?—чуть не плача повернулся он к Зыбину.— Видишь, чему он ее учит? Да за такие слова тут нас всех сразу же... и следа не найдешь.

Тут встал со стула Зыбин.

— Не кричи,— сказал он досадливо,— оглохнуть можно. Даша, вы не правы. То есть вы, может быть, правы—вообще, по-человечески, но сейчас фактически, физически, исторически и всячески—нет. Я не про дядю Петю говорю, тут, конечно, очевидная ошибка. А вот про наркомов и военачальников. Ведь вы решаете вопрос сами по себе. Просто так—может или не может? Может ли, спрашиваете вы,

большой человек, преданный делу, жертвовавший за него жизнью, а теперь победивший и осыпанный всем с головы до ног — ну деньгами, почестями, дачами, всякими такими возможностями, о которых мы и понятия не имеем,— может ли вот такой человек оказаться предателем? И отвечаете — нет, то есть никогда и ни при каких обстоятельствах. А ведь все именно и зависит от обстоятельств, от обстоятельств времени, места и образа действия. Не от вопроса — кто он? а от вопросов — когда? во имя чего? где? В сугубо мирное время, в обстановке душевного равновесия? Безусловно нет — не может он быть предателем. Во время величайших исторических сдвигов — войн, революций, переворотов — к сожалению, да, может! Вся история наполовину и состоит из таких предательств. Ведь вот Мирабо и Дантон оказались все-таки предателями. А ведь революцию делали они! А историю Азефа вы никогда не читали? Ну, начальник боевой организации партии социалистов-революционеров, хранитель самого святого из святых, вернейший из всех верных, тот, у кого ключи от царства господня, как говорят о папе римском. «Есть ли в революции какая-нибудь фигура более блестящая и крупная, чем Азеф?» — спросили члены суда его обвинителя на партийном суде над Азефом. И обвинитель ответил суду: «Нет, более блестящей фигуры в революции нету». И добавил: «Если он только не провокатор». Так вот, он все-таки оказался провокатором.

Даша молчала и слушала.

— Так что видите, насколько все это сложно.

— Для них ничего нет сложного,— буркнул Потапов,— для них все простее простого. И что ты с ней...

— Нет, говорите, говорите,— попросила Даша и даже руки сложила.

— Ведь вы вот что поймите,— продолжал Зыбин.— Дело прежде всего заключается вот в чем: что происходит с идеей, когда она становится действительностью? Очень много с ней неожиданного и неладного происходит тогда. Появляется она совсем не похожей на себя. Иногда такие гады вместо ангелов повыползут, что хочется махнуть рукой да и послать всех к шахумонаху. Ничего, мол, не вышло, просто напороли чепухи, пора кончать. Ведь вот что порой приходит в голову самым сильным и верным. Они ведь тоже люди, Даша, вот в чем их беда! Кроме того, у идеи в действительности не одно или два лица, а добрый десяток их. Только проявляются они не сразу. Вначале прекрасное личико, а потом хари, хари, хари, и как их

увидишь, иногда и жить не хочется. А кому жить не хочется, тому ровно ничего не жаль, он на все пойдет. Ставить смерть в условиях договора — умри, но не сдайся — нигде никому нельзя. Обязательно подведет, и сдастся, и тебя еще продаст.

— Говорите, говорите,— попросила снова Даша, но он больше ничего не сказал, потому что услышал скрип двери.

Оглянулся и увидел Корнилова.

— Кончайте-ка трепаться,— сказал тот грубо,— поезжайте скорее в город, там беда. Паспорта пропали.

— Какие паспорта? — удивился Зыбин.

— Те, что оставались у директора под залогом, ну этих... ну кладоискателей. Ни кладоискателей, ни паспортов. Клара звонила. Сейчас же просила приехать. Поезжайте. Я останусь тут.

Глава II

Вот что случилось в музее: перед самым выездом в горы на директора вдруг накатил приступ великодушия — с ним иногда случалось такое. Он посмотрел на кладоискателей — они стояли понурясь: отдали золото, а деньгами-то и не пахнет,— подмигнул им, сел за стол, вырвал лист из настольного блокнота и размашисто начертал:

«Бухг.

Выдать рабочим суконного завода т. т. Юмашеву и Сучкову 300 (триста) руб. в счет покупки экспонатов. Актом оформим после».

Сделал росчерк, промокнул, посмотрел, протянул записку и бодро скомандовал:

— А ну паспорта, ребята, и быстро, быстро валите в бухгалтерию, пока кассир не ушел.

Юмашев, высокий, пожилой, с сухим, желтым, длинным лицом, очень похожий на китайца — он первый обнаружил клад,— дисциплинированно вынул из пиджака книжечку в твердой зеленой обложке с золотыми буквами и положил ее на стол. Деньгам он ровно как бы и не обрадовался.

И Вася Сучков — паренек призывного возраста — поспешно вынул свою книжку и положил рядом.

— Пожалуйста,— сказал он.— Это всегда при себе.

Директор взял книжечки, посмотрел, полистал. Правильно, Василий Сучков, тринадцатого года, рабочий. Юмашев Иван Антонович, 1880 года, прописка, штамп. Юмашев женат. Сучков холост.

Директор хотел спросить что-то еще, но тут зазвонил телефон, и он бросил паспорта, поднял трубку. Говорил заместитель наркома Мирошников. Дело шло о смете. Мирошникову было что-то там непонятно и против чего-то он возражал. Пока директор вникал, Юмашев и Сучков стояли и ждали. Во время одной из пауз (Мирошников все время прерывался, чтоб что-то найти на столе и прочесть) директор обернулся и сердито спросил:

— Ну что еще?

И Юмашев деликатно ответил:

— Квитанция, товарищ директор, в моем паспорте под обложкой, на ремонт велосипеда, уж пять дней пропущено, а то завтра опять выходной.

Но тут замнаркома Мирошников нашел свой документ и заговорил. Директор крикнул Юмашеву:

— Возьми! — И Мирошникову: — Не туда смотришь, ты смотри графу — научная работа.— Отвернулся и весь ушел в трубку.

Кладоискатели достали из паспорта квитанцию и вышли.

Вот и все. Паспортов на другой день не оказалось. Вместо них лежали корочки. Позвонили в милицию, назвали фамилии. Милиция запросила адресный стол, адресный стол выписал около десятка справок, и все они оказались не те — не тот Сучков и не тот Юмашев. Тех вообще не числилось ни в Алма-Ате, ни в Каскелене, ни в Талгаре, ни в каких других пригородах. И ни на каком заводе они, конечно, тоже не работали.

— Вот так и учат дураков,— сказал директор, заканчивая рассказ.— И винить некого. Сам все отдал. Теперь как хочешь, так и ищи, хоть цыганке ручку золоти, хоть по тому черепу гадай.— И он скверно выругался.

— Это по какому же черепу? — спросил Зыбин.

Было раннее розовое утро. Еще и петухи не откричали. В парке женщины в серых халатах скребли фонтан. Стулья в кафе напротив стояли вверх ногами на столах. Пальмы вынесли на улицу. Зыбин положил акт, ничего существенного в нем не было. Просто крупным Клариным почерком сообщалось о том, что музей принял такие-то и такие-то экспонаты, обнаруженные на реке Карагалинке. Но где именно их нашли, как? Написано: рядом с останками человека. С какими же именно? Где теперь эти останки? Почему они не вписаны в акт?

— Где же он, этот череп? — спросил Зыбин.

— Да у Клары валяется, посмотри,— сердито усмехнулся директор. Он был страшно раздражен, фыркал, и ему все не терпелось что-нибудь выкинуть.— Ты ведь, кажется, колдун? Ну как же не колдун, если «Масонство» читаешь. Так вот погадай на черепе, куда наше золото уплыло.

Он быстро сделал последнюю затяжку, растер папиросу о дно пепельницы и сказал уже деловой скороговоркой:

— Ты вот что, ты иди сейчас к деду, опроси его и запиши, чтоб хоть один настоящий документ у нас был. А я наверх побегу, а то опять сейчас эти придут по мою душу.

— Кто эти?

— Ангелы! Увидишь кто! Тебя уж они никак не минуют!

И вот что рассказал дед (утренняя четвертинка уже валялась у него под верстаком).

— С нами, дураками, и сам господь бог отказался без палки толковать, учит он нас, учит, а мы... Ну, выхожу я, значит, утром из столярки. В парк, значит, выхожу. А энти самые... артисты на лавочке. Притулились. Двое — старый и молодой. Я вышел из столярки, иду, значит, по парку, а они, смотрю, на меня приглядывают. Я сразу обратил внимание, что приглядывают. Кто такие? — думаю. Вот молодой что-то того, старшего, спросил, потом встал, подходит ко мне и здоровкается. «Вы из музея?» — «Так точно».— «А вот мы кое-какие вещицы принесли».— «А вон,— говорю,— контора, туда и неси». Да и пошел себе, значит, по парку. Смотрю, он опять меня через сколько-то догоняет. «Уважаемый, а вы не взглянете?» — и платок мне сует, там вся эта премудрость и была.

— И череп тоже?

— Нет, черепка тогда не было. Я его уже опосля увидел, я сейчас до него дойду, ты не торопи! «Ну что ж,— говорю,— пойдите сдайте, заплатят».— «А возьмут?» — «Ну, может быть, в помойку выбросят. Так у нас тоже бывает». И интересуюсь — что это, у тебя в рундучке, что ли, лежало? От матери-праматери досталось? «Да нет,— говорит,— это мы сами нашли». Ну, значит, и рассказывает мне эту самую байку. Я вижу, что вещи ценные, исторически значимые, и говорю...

— Стой, стой, дед. По порядку, ты по порядку давай. Какую такую байку? Давай рассказывай. Я ж, видишь, пишу!

— Пиши, пиши, раз все уплыло из рук, тогда, значит, ты пиши. А я и так подробно. Куда же еще подробнее? Пошли охотиться на Карагалинку и отыскали все под камнем. Рассказал это и говорит опять: «Может, пойдем с нами по маленькой, у нас закуска мировая — маринка не-ежная, своего копчения». Ну я вижу — вещи ценные, исторически значимые, а ни директора, ни тебя нет, ну я для пользы дела согласился, конечно. Тот, старый, сразу же поднялся и за нами. «Что,— спрашиваю,— это твой батька, что ли?» — «Нет,— отвечает,— это наш мастер. Мы все сотрудники с одного суконного завода». Пришли, значит, в чайхану, а там за столом еще один сотрудник сидит, и перед ним три кружки. Вот у него этот черепок в сумке и был, только он ее под столом держал. Конечно, сразу он из мешка вынимает пол-литра, заказывает три пива, разливает водку и говорит: «Ну, дай бог не последнюю! Будем здоровеньки». Выпили. Хорошо! Закусь у него законная — маринка, тут он ее на газетке и разделал.

— Дед, да потом о маринке! Что они рассказали-то? Ну вот, на охоту пошли, дальше-то что?

— Тьфу! — плюнул дед.— Вот правильно мой дед говорил: с учеными говорить, это надо язык сперва наварить. Он тоже с одним таким еще до империалистической ходил по степу, вчерашний день они разыскивали, так вот ученый спросит что-нибудь, станет дед объяснять, а тот ему и говорить не дает: после каждого слова — да как же это? да что же это? да откудова же? почему же? Вот как ты сейчас. Что рассказали? Рассказали, что пошли на Карагалинку кекликов[1] бить и всю эту арматуру под камнем и обнаружили. Ну что ты выставился? Как надо еще сказать по-научному? Не арматуру, что ли?

— Да не в арматуре дело, а вот как же они поехали на Карагалинке кекликов бить? Какие же там кеклики? Это на реке Или, там — да, там кеклики есть, а на Карагалинке...

— Так ты скажи им это,— обозлился дед.— Найди их и скажи: не туда, мол, ходите. Ну, значит, наврали мне. Значит, лягушек ходили ловить.

— Ну ладно, дальше.

— А дальше дожж пошел, такой, говорит, ливень сыпанул, что мы сразу все наскрозь. Ну куда деваться? А там берега подмытые, смотрят — камень висит, смотрят — под ним пещёра. Пошли притулились, троим,

[1] Кеклик — дикая индейка. (*Здесь и далее примечания автора.— Ред.*)

понятно, тесно, стали ворохаться. Смотрят — под ногами что-то блестит.

— А как это камень висит? На чем?

— На небе! Что, не слыхал, как на небе камни висят? Вот ученые! Ну, висит над берегом, и все! Ну берег вымыло, камень выступил и висит, а под ним вроде как пещёра образовалась. Вот я тебе удивляюсь, ходишь целые дни, смотришь в землю и ничего не видишь. Здесь ведь все, все наскрозь каменья. Тут с гор одное такой сель шел, что дома выворачивало. Валит глыбина с пол этого собора и все, все скрозь валит. Я вот помню, мне тогда лет десять было, пошли мы раз с дедом в извоз — дед мой извозом занимался, в Семипалатку возы гонял, а дожж шел! — три дня и ночи дожж шел! Дед мне и говорит: «Вот, смотри, еще один день такой дожж пойдет — и...»

— Да при чем тут дед? На кой ты мне черт его суешь? Ты мне про дело говори!

— Вот дед ему не понравился! Ты мне, слышишь, черным словом про деда не смей! Я этого терпеть не могу. Я у него вырос! Ему уже под семьдесят было, а он молодую привел, вот вроде твоей — бровастая, аккуратная, быстрая! Фырк, фырк, фырк! Но только тоже без одного винта. Ну как же? Раз она за тебя, такого героя, гения, умирает, а ты с этим идолом в горах без штанов, в трусах водку трескаешь, то, конечно, винта у нее нет. Умная бы девка... да такого бы кавалера... знаешь как? Вот и сам засмеялся — значит, верно!

— Верно, верно, дед! Что правда — то правда! Умная девка такого бы кавалера...

Зыбин встал с верстака и подошел к окну. Утро стояло высокое, ясное, без тучки, без облачка. На белые стены собора было больно взглянуть. Тополя застыли, затихли и словно зажмурились от солнца.

«Тихо нежная цикада, притаясь, от жара стонет», — вспомнил он. Но цикады не стонали. День все-таки еще не установился. «Ох и жара будет сегодня», — подумал Зыбин.

Он опять сел к верстаку и задумался.

«Значит, золото и череп принесли в музей, а костей не взяли. Когда же это было? А, воскресенье! Да, да в воскресенье! И еще сказали, что все они сослуживцы. Тогда им врать было об этом вроде бы незачем. Да, пожалуй, что незачем. Но как же тогда суконный завод? Черт его знает как, но работают они, наверно, вместе. Значит, и на охоте они были тоже в общий выходной. Значит, вещи у них пролежали с неделю. Неделю они все обдумывали, вероятно, куда-то ходили

и спрашивали, но продать ничего не продали — боялись, наверно, показать золото, может быть, даже и точно еще не уверились, что золото. Вот и пришли все вместе. Это, пожалуй, понятно, а вот дальше-то как?»

— Так чем же они тебя угощали, дед? — спросил он.— Маринкой? И, говоришь, своего копчения? Это точно, что своего?

— Своего, своего,— поднял дед голову от рубанка.— Я сразу по запаху чувствую, где свое, а где фабричное. Вот попробуй, говорят, мы ее в трубе, говорят...

— Так.— Зыбин встал. «Знаменитая вещь, копченая маринка! Попробовать бы сейчас ее, да где достанешь? Ну ладно, пойду к Кларе, хоть череп посмотрю! Все, может, веселее на душе будет».

На серой инвентарной карточке было напечатано:

1. Наименование объекта.Количество ....
И от руки: *Человеческий череп.*

2. Происхождение экспоната (с обозначением фамилии нашедшего, места и обстоятельств находки) ...
И от руки: ***Найдено на реке Карагалинка под большой навесной глыбой, вместе с 300 предметами ювелирного золота (смотри карточку — № ...) за девяносто верст от суконной фабрики — более точно место находки не определено.***

3. Описание экспоната ....
И от руки: *Череп.*

Над этой графой Клара сейчас и сидела.

Зыбин хмуро поднял череп со стола. Был он небольшим, желтовато-ореховым и таким же, как орех, сухим и жестким. Челюсть лежала рядом. Зыбин заглянул в глазницы, провел пальцами по зубам, хотел что-то сказать, но вдруг дрогнул и сел.

Так прошло с полминуты. Он молча держал череп перед собой и глядел ему в глазницы.

— Ты что это? — спросил директор почти испуганно.

Это было как припадок или наваждение, что-то щелкнуло, сдвинулось с места, и вдруг нечто большое, мягкое, обволакивающее опустилось на него. Он держал в руках голову красавицы. Ей, верно, не исполнилось еще двадцати. У нее были большие черные глаза, разлетающиеся брови и маленький рот. Она ходила, высоко подняв голову.

Он повернул череп и посмотрел на него в профиль. У красавицы была тонкая светящаяся кожа. Она умела

царственно улыбаться — была горда и неразговорчива: ее считали колдуньей, ведьмой, шаманкой, а потом ее убили и забросили на край земли. И в течение многих веков лежал над ней камень тяжелый, чтоб никто ее видеть не мог. А вот сейчас он держит в руках ее мертвую голову.

— Вы написали,— сказал он,— «найден под нависшей глыбой». Это не погребенье!

Он именно сказал, а не спросил, он точно знал, что это было не погребенье, а просто дикое поле, глыба и ее тело под ней. Он сам не понимал, откуда пришло к нему Это, но Это пришло все-таки, и он знал об Этом уж все.

Клара пожала плечами.

Он еще постоял, подумал. Вот здесь были ее губы, здесь глаза, здесь уши и эти серьги в них.

— Пишите,— сказал он,— вот в этой графе пишите: «Женский череп молодой особы грациального сложения». Тут скобка: «Неполное зарастание черепных швов; не стертые жевательные плоскости; в верхней челюсти присутствуют молочные зубы». Скобка закрывается. Точка.

Он повернулся к директору.

— Все, все пока!..

— Ну что тебе рассказал особенного дед? — поспешно спросил директор.

Лицо красавицы стало меркнуть, таять и наконец погасло совсем, когда Зыбин ответил:

— Про маринку собственного копчения рассказал. Эх, поел бы я сейчас маринки собственного копчения, да где ее взять, не сезон ведь. Хотя пошли, пожалуй, Клара, на базар по маринку, а? Поищем?

— По маринку? — спросила Клара удивленно.

— По маринку, маринку,— ответил он ей нежно.

— По маринку? — вдруг рассердился директор, но тут же рассмеялся, и все тоже рассмеялись.— Ладно,— сказал директор,— по маринку потом пойдешь. Ты поднимись наверх, посмотри, что у меня там творится. Ангелы пришли. Теперь уж в полной ангельской форме. Сидят, пишут и тебя зовут. Я говорил, что тебя это не минует. Иди, не бойся. С ними не соскучишься.

А в действительности очень скучные люди сидели наверху. Пришли эти скучные люди еще вчера, заняли комнату научных работников, сперва всех выгнали, потом позвали деда, усадили и стали допрашивать. Допрашивали строго, методически, не улыбаясь и по-

стукивая карандашиком о стол. Спрашивали о том, как выглядели эти расхитители социалистической собственности (иначе как расхитителями они их не называли, потому что, сказал старший, это же Указ от седьмого восьмого, соцсобственность священна и неприкосновенна, а кто этого не понимает — тому десять лет лагеря, и после тоже его нигде не пропишут). Спрашивали они еще о том, как были одеты расхитители, что о себе рассказывали, как друг к другу обращались. Потом, когда все записали, заставили деда расписаться на каждом листе по отдельности. Потом ссыпали все бляшки и серьги в большой белый пакет и припечатали сургучом. Потом они вызвали Клару, велели этот пакет взять и сейчас же спрятать в сейф, потому что это соцсобственность, а соцсобственность священна и неприкосновенна. Они завтра придут и будут Клару допрашивать, и Клара все должна вспомнить и им сказать.

И действительно, они пришли назавтра, взяли у Клары пакет, осмотрели печати и сказали, что пока она свободна, но пусть не уходит, а сидит и ждет у себя, с ней еще будет разговор. Потом они составили акт, в котором вещи именовались изделиями из желтого металла и было сказано, что эти изделия уносятся для экспертизы в следственный отдел прокуратуры.

Зыбина они позвали именно как понятого, чтобы расписаться.

— Стойте, стойте,— сказал Зыбин и положил руку на пакет.— Так обращаться с музейными ценностями нельзя. Это вам не семечки.

Тогда младший поднял серые глаза и очень мягко, не повышая голоса, сказал:

— Это вы, кажется, забыли, что это не семечки. Будьте спокойны, что к нам попало, то уж не пропадет! Вот тут подписывайтесь. И вы, девушка, тоже.

И глаза у него были очень ясные и наглые.

— А ну-ка,— повернулся Зыбин к Кларе,— сбегайте-ка за директором. Да вы не рвите, не рвите из рук,— вдруг сказал он тихо и бешено, так, что у него даже скулы заходили.— Сейчас придет директор, он тут хозяин, а не вы и не я.

— Ну, знаете, товарищ дорогой...— начал обрадованно сероглазый, но тут другой, старший, сухо прервал его:

— Оставь. Все равно директора надо!

Директор пришел сейчас же. Наверно, Клара его и поймала на лестнице.

— В чем тут дело?— спросил он у сероглазого.— Что это такое? Кто разрешил?— Он взял пакет со

стола и гневно взглянул на Клару.— А я вот вам, друзья милые, выговор приказом сейчас закачу,— сказал он свирепо.— Как вы обращаетесь с экспонатами? Что за петрушка! Безобразие!

— Да дело-то очень простое,— ответил сероглазый с той же неуловимой мягкой наглостью, которая так и дрожала в каждом его слове, так и сочилась из каждой поры его мягкого, чистого лица.— Вещи эти мы берем для следствия. Вполне возможно, что это золото. Принесли это золото вам неизвестные, которым вы дали скрыться. Если бы вы их задержали и позвонили органам, а это вы сделать были обязаны,— он повысил голос,— то золото было бы тут. Сколько валюты лишилось государство благодаря чьему-то идиотскому благодушию (он с особым смаком произнес это слово — тогда оно было по-настоящему страшным: «Идиотская болезнь — благодушие»,— сказал вождь недавно), пока тоже неизвестно. Вот мы и проводим расследование. Вы руководитель учреждения, человек партийный, заслуженный и должны бы, кажется...

— Я еще и член ЦК и депутат Верховного Совета, гражданин хороший,— сказал директор и твердо сунул пакет Зыбину.— Держи, хранитель. Если кому-нибудь отдашь, голову с тебя долой.— Он слегка тронул за плечо старшего.— Пройдемте к вертушке,— приказал он.

Обратно он вернулся через пару минут с дедом и Кларой. Дед улыбался и был доволен, он страсть как любил строгость.

— Уф!— сказал директор и повалился в кресло.— Какие все-таки среди них попадаются... Ну тот, старый, еще так... еще человек, а вот этот, молодой да ранний... лезет в волки, а хвост собачий. А ведь все равно какой-то институт особый кончил, все про эти дела знает. Ну-ка скажи, хранитель, какие брови были у Александра Македонского? А, не знаешь. А нос у Нерона? Тоже не знаешь. Что ж ты их не спросил? Они б сразу тебе все отчеканили. Дед, какие бывают брови? Ну — как...

— Да ну их к бесу,— отмахнулся дед.— Совсем замучили — какой нос, какие брови, какие губы. У того, у другого. По порядку номеров. Что пристали? Что пристали? Как будто я половину золота к себе в сапог отсыпал.

— А ты бы им сказал — во всем виноват директор.— Директор даже стукнул кулаком по поручню кресла.— Так и отвечай всем: спрашивайте с начальства, я ничего не знаю. Нет, собственной рукой все

отдал, старый дурак! Денег выписал, болван! — воскликнул он с каким-то горьким, чуть не мазохическим вдохновением.— Вот эти триста рублей и погубили все. Они сразу почувствовали что к чему. Там ведь этого золота еще должно быть килограммы, килограммы! Чаши, кувшины, зеркала, сбруя. А, хранитель? Как ты думаешь, могло там быть еще килограмм десять?

— Дед, слушай, а я тебе буду рассказывать,— вдруг повернулся к деду Зыбин.— Значит, идут трое охотников по берегу Карагалинки, вдруг ливень. Куда спрятаться? Стали смотреть. Глядят, берег подмыт и из него глыба торчит. Степан Митрофанович, вы, кажется, эти места хорошо знаете? Вот там у вас в акте написано, что случилось это за девяносто верст от суконной фабрики, а они как будто служащие этой фабрики. Значит, они и живут рядом. Как могли они так далеко отъехать от дома? Ведь у них на все про все один день. Может, машину выпросили у директора, дичи пообещали привезти, а?

Директор покачал головой.

— Нет, туда ни на какой машине не проедешь. Я тоже там был. Глыбины, ямы, овраги. Нет, туда только пешком.

— А индейки там водятся?

— А что, разве они про индеек?.. Никаких там индеек нет. Индейки в скалах бывают. Мне они этого не говорили. Я б их сразу уличил.

— Ну вот, а деду говорили. Теперь про золото. Много золота тут, Степан Митрофанович, быть никак не могло. Это не погребенье. Под камнями в этих местах никого никогда не хоронили, и вообще никаких погребений, кроме курганных, мы тут не знаем. Значит, камень-то камнем, но женщина была не погребена, а просто положена под глыбу. Убили и бросили.

— То есть как же это? — спросил директор растерянно.— Я что-то не понимаю,— он развел руками,— кто ж ее?.. И в этом уборе еще!

Зыбин молчал.

— Стой, стой! Ведь такой наряд просто так не надевают. Такой на свадьбу надевают или еще на какую-нибудь торжественность. А если торжественность, значит, кругом люди, гости. Так как же ее могли увезти и убить, объясни.

Зыбин пожал плечами. Дед сидел в кресле и демонстративно дремал.

— Нет, это никак не может быть,— решил директор.

— Кларочка, принесите, пожалуйста, археологическую карту Алма-Атинской области,— попросил Зыбин очень ласково.— Я ее у вас тогда оставил прямо на столе.

Клара молча повернулась и вышла. Директор посмотрел ей вслед.

— Вы что это?— спросил он негромко.— Поссорились, что ли?

— Да нет, ровно ничего,— ответил Зыбин.

— То-то — ровно ничего.— Он покачал головой.— Третий день девчонка с опухшими глазами ходит. И вчера — мы к тебе приехали, а ты побежал при ней звонить своей... Уж никакой, значит, выдержки нет... Мне это не нравится, учти, пожалуйста.

— Да что я,— заикнулся Зыбин.

— Вот то-то, что все вы ничего, ничего, и получается-то очень чего! А что твой помощник вчера учудил! Это что он там орал на всю бригаду, а? Тоже ничего? Стой, я с тобой еще серьезно поговорю. Не можешь внушить дисциплину подчиненному. Набрался сопляк и начинает выяснять свои отношения с советской властью. Все прошлое уже начисто позабыто, значит? Это куда годится?

Дед вдруг открыл глаза. В таких случаях он всегда одобрял директора. Хозяин должен требовать. А иначе и дела не будет. Разве мы доброе слово понимаем?

— Молодые, глупые,— сказал он истово.— Даже выпить и то незаметно не умеют. Выпил четвертинку и вообразил, что он уже царь и бог. Начинает себя людям показывать. А вот мой дед, он каждое воскресенье...

— Подожди, я их скоро всех прижму,— пообещал директор,— и того свистуна и этого его покровителя. Тс! Тише. Вон она стучит каблучками. Кончаем разговор. Переходим на карту.

Карту разложили на столе и прикрепили кнопками. Она была как ковер — огромная, пестрая, заняла собой весь стол, и все, кроме деда, наклонились над ней. Зыбин сказал:

— Ну-с, вот вам весь бассейн Карагалинки. Пусто! За сто лет ни горшка, ни рожка. Белое пятно! На сорок верст кругом степь да степь кругом! Кто же мог в этой степи захоронить нашу маленькую ведьму? И зачем надо было сюда увозить ее труп? Но если это не погребенье, тогда что же?

И опять все трое молчали, смотрели и думали, хотя было ясно, что ничего тут уж не придумаешь. И дед тоже смотрел на карту вместе со всеми и думал и так же, как и все, ничего придумать не мог.

— Белое пятно! — повторил он раздумчиво.

— А может быть,— робко предположил директор,— это все-таки погребение, но только, понимаешь, какое-нибудь особенное. Ну, например, саркофаг! Может, охотники спрятались тогда не под глыбу, а под крышку этого саркофага. Сам-то он развалился, а крышка осталась. Может быть так, а?

Он говорил и смотрел на Зыбина — сейчас, перед картой, он безоговорочно признавал его авторитет.

— Да нет, пожалуй, так не выйдет,— покачал головой Зыбин.— Во-первых, саркофаг зарывают, а не просто ставят среди степи, во-вторых, если это саркофаг — то огромный, ведь пряталось-то под ним по меньшей мере трое. Чтоб привезти и выкопать яму для такой махины, надо человек десять по меньшей мере. А это значит, что золото утекло бы. Хоть один вор из десятерых да нашелся бы. Ведь степь-то голая, пустая. Далее, речь идет все время о глыбине, саркофаг же состоит из тесаных плит. И теперь, пожалуй, самое важное: ни о каких погребениях в саркофагах мы здесь никогда не слышали. Вот, пожалуйста, смотрите. «Топографические сведения о курганах Семиреченской и Семипалатинской областей». Семиреченская область — это мы. Так вот читаем: «Семиреченские курганы сооружены в прослойку с камнями, реже — из чистых камней». Читаем дальше: «Слой камней нередко с голову, а иногда и больше. Этот слой засыпался землей». А выглядит это так: «Курган круглый или овальный, с крутым откосом, на верху его довольно значительная площадь углубления». Все! С глыбой все это никак не спутаешь. Источник: «Известия Томского университета», книга первая, за тысяча восемьсот восемьдесят девятый год, отдел, страница сто сорок вторая — вопросы есть?

— Да, черт тебя дери,— сказал директор растерянно.— Действительно! Но все-таки что же это такое?

Зыбин пожал плечами.

— Вот что это такое! Надо во что бы то ни стало найти эту глыбину, и тогда можно будет рассуждать о том, что это такое, но во всяком случае, кажется, точно — не могила! Девушку просто увезли и убили и труп ее засунули под эту глыбу. Но вот вы правильно говорите: при чем же тут диадема? Как же удалось

убить или похитить эту молодую царевну или жрицу из дворца да еще увезти труп ее за сто километров? А что такое сто километров? Это значит скакать сутки по степи с трупом поперек седла! Или она тогда была еще живая! И почему золото цело, как на него не набрели до сих пор? Ведь лежало-то оно прямо на поверхности?— Он развел руками.— Ну кто ж тут что знает? Я, например, ничего и предположить не могу. Одно решение: надо разыскивать место.

Наступила пауза.

— Нет, это бывает,— сказал дед.— Это довольно просто бывает. Заманили молодую девку, нафулиганничали, задавили и бросили. Вот и все. У нас в станице такое тоже раз было. Убили девку. Искали-искали, а это оказался ее сосед — попов сын.

— Где ж ты теперь найдешь это место? — вздохнул директор.— Кто тебе его покажет? Вот что у нас осталось.— Он вынул зеленые корочки от паспортов и зло бросил их на стол.— Нет, видно, это дело уж окончательно потерянное. Так мне и тот, старший, сказал.— Он задумался.— Так какие все-таки были брови у Александра Македонского? — спросил он вдруг.— Не знаешь? А какие вообще брови бывают? У тебя вот какие? Не знаешь? Даже и про свои собственные брови и то не знаешь? Так вот слушай.— Он вынул записную книжку.— Брови бывают короткие, средние, длинные, прямые, дугообразные, ломаные, извилистые, сближенные, сросшиеся, щетинистые, широко расставленные, свисающие наружным концом вверх, свисающие вниз, строго горизонтальные! Ух, дыхания не хватило. Вот что значит следователь, а ты что? Вот ухо твое — ты что думаешь, это так просто ухо, и все? Дудки, брат! В нем ты знаешь сколько примет? Двадцать. В одной мочке их шесть. Вот это наука! Смотри, как они деда замучили.— Он засмеялся.— Так вот, товарищ ученый, шумишь много, а толку чуть! Оказывается, это у вас еще не наука, то есть наука, да неточная. А точная там — в сером домике.— Он встал.— Они тебе наказывали сразу после закрытия музея туда зайти. Зайди.— Он вынул из блокнота какую-то бумажку.— Вот! Товарищ Зеленин, двести сорок вторая комната. Это тот, старый. Он ничего. Придешь — позвонишь ему, вот телефон. Приемный акт на всякий случай захвати. А в случае чего — звони мне. Я сегодня буду дома сидеть.— Он поднялся с кресла и потянулся так, что хрустнули кости.— Ну, разлетаемся, товарищи. А вы, Кларочка, задержитесь-ка. Надо будет потолковать об организации хранения, а то что-то...

Клара осталась, а Зыбин подумал и пошел на базар. Была у него одна думка, и он обязательно хотел ее проверить. Вообще-то он всегда боялся толпы, тесноты, давки, скученности. «Скучно» от слова «скученно»,— говорил он не то шутя, не то совершенно серьезно. И ох как по прошлым годам он помнил эту мертвую, пропахшую креозолом скуку! Скуку ночных храпящих вокзалов, свалочную скуку товарняков, в которых ни сесть, ни лечь, и даже почти уже незапамятную скуку Чистых прудов. Это было лет двадцать назад. Первые воспоминания об этом: липы с пыльными листьями, жара, серый песок. Скука и тоска. Бульварный круг огорожен зелеными раскалившимися скамейками. И семечки, семечки, семечки... Вся земля хрустит от семечек. В середине круга оркестр, вознесенные над землей беседкой, сидят солдаты и трубят. Ниже этого круга двигается второй — няньки, бонны, мадемуазели, гувернантки — все важные, благообразные, строго улыбающиеся. На одних чепцы матерчатые, кокошники. На других черные платки с роскошными цветами из тех, что растут на обоях, мануфактурах, трактирных чайниках и подносах. Шали. Накидки. Открытые головы редко. Еще ниже третий круг, это заклещенные намертво за руку — несчастные господские дети. И он тоже господское дите, и его тоже заклещили и тащат. Солнце палит, оркестр гремит. Круг движется медленно, медленно, и не выкрутишься, не выпросишься, не убежишь. Иди чинным детским шажком с жестяным совочком в потной грязной ладошке и жди последнего, отчаянного рыка задохшейся трубы. После этого музыканты вдруг дружно опустят инструменты и закашляют, засморкаются, задвигаются, заговорят. А нянька разожмет свою клешню. Ребята из неблагородных носятся вокруг, свистят, кричат, подставляют друг другу подножку, в общем, хулиганят от всей души. Они уличные, на них всем наплевать, и они все могут. А ты ровно ничего не можешь. Ты сын благородных родителей. От этого скука, зной, все время болит голова, ноет рука от нянькиных клещей.

Зачем кружили эти няньки? Зачем ревел и надсаживался оркестр? Зачем он играл нянькам «На сопках Маньчжурии» и «Оружьем на солнце сверкая»? Ну, наверно, это все напоминало им господские разговоры о высшем свете, снимки в «Огоньке», обложку на «Солнце России», бал-маскарад с призами, гулянья в царском саду, еще что-нибудь подобное. Ведь напротив стояло белое здание с колоннами, кино «Колизей», и

там шли салонные фильмы. Вот еще с тех пор Зыбин люто возненавидел всякое многолюдство и избегал его пуще всего. Но года через два именно оно хлынуло на него потоком: революция — ночные поезда и вокзалы, теплушки, платформы! Ох, как он их хорошо узнал за эти четверть столетия!

Поэтому он и боялся толпы и только на алма-атинские рынки ходил охотно. Их было несколько: Сенной, Мучной, Никольский и наконец самый ближний, Зеленый, или Колхозный. Этот рынок был веселым, запьянцовским и даже немного юродивым местом. Его Зыбин любил больше всех других. Сюда он и пришел из музея.

Зеленый базар!

Только с первого взгляда он казался толчеей. Когда присмотришься, то поймешь — это целостный, здраво продуманный и четко сформированный организм. В нем все на своих местах. Бахчевники, например, постоянно занимают одну сторону базара. На этой стороне лошади, верблюды, ослы, телеги, грузовики. Очень много грузовиков. В грузовиках арбузы. Они лежат навалом: белые, сизые, черные, полосатые. Над ними изгибаются молодцы в майках и ковбойках — хватают один, другой, легко подбрасывают, шутя ловят, наклоняются через борт к покупателю и суют ему в ухо: «Слышишь, как трещит? Эх! Смотри, борода, денег не возьму!» — с размаху всаживают нож в черно-зеленый полосатый бок, раздается хруст, и вот над толпой на конце длинного ножа трепещет красный треугольник — алая, истекающая соком живая ткань вся в розовых жилках, клетках, крупинках и кристаллах.

— Да голова ты садовая, сейчас ты белого и за тыщу не найдешь! На! Даром даю! Бери! — кричит продавец и швыряет арбуз покупателю.

То же самое орут с телег, с арбакешек, с подмостков, просто с земли. Здесь же снуют юркие казахские девчонки с сорока косичками. Они таскают ведра и огромные медные чайники и поют, это почти стихи:

— А вот свежая холодная вода!

— Кому свежей холодной воды!

— Вода! Вода! Две копейки кружка. Подходи, Ванюшка!

Рядом мелкая розница — лоток под кисеей, под ней уже мертвые ломти — вялые, липкие, запекшиеся бурой арбузной сладостью, над ними ревет стая больших металлических лиловых мух (здесь их зовут шимпан-

скими). Тронешь ломоть — и сразу отдернешь руку: среди черных и желтых лакированных семечек замерли три или четыре хищницы с чутко подрагивающими тигриными туловищами.

— В-вот воды, воды! Кому свежей холодной воды! — заливаются чистые девчоночьи голоса, и только иногда среди них прорвется спокойный гекзаметр:

— А вот ароматные сладкие дыни! Кто купит? Ароматную сладкую дыню задаром. Кто купит?

У ароматных сладких дынь свой ряд. Они товар нежный. Их не ссыпают навалом, их раскладывают в ряд на циновках. Есть дыни круглые, четко оформившиеся, с мягкими, обтекаемыми гранями — их зовут здесь кубышками. Но больше всего они похожи на какой-то внутренний орган неведомого чудовища — почку или сердце. Мясо у них оранжево-желтое или насыщенно зеленое, как шартрез. А есть еще дыни длинные, конические, как мины или межпланетные снаряды (так в то время их рисовали в журнале «Вокруг света»). Есть дыни золотистые, как осень, как листопад, как закат в спокойной воде пруда. Есть дыни, похожие на головы огромных тропических гадов, они в пятнах, потеках, пересветах, в хищных змеиных узорах. От дынь исходит еле уловимый аромат, и каждый, кто проходит по этим рядам, дышит им. И продавцы в этом ряду тоже иные, и покупатели тут не те, что табунятся вокруг арбузных пятитонок. Продавцы в этом ряду старые, солидные люди, узбеки или казахи — аксакалы с истовыми бородами, с бурыми иконописными лицами, в черно-белых тканых тюбетейках. Они не волнуются, не бегают, не кричат, они только поют: «А вот ароматные сладкие дыни». Подходи, смотри, плати деньги и уноси. Пробовать дыни дают не всякому. Это целый ритуал. Сначала ее секут напополам, потом снимают тончайший прозрачный срез, и к лицу покупателя на острие длинного и тонкого, как жало, ножа возносится прозрачный розовый лепесток, бери в рот, соси и оценивай. И покупатель здесь свой. Около арбузов мальчишки, тетки, сезонники, шоферы, любители выпить. Арбуз, если нет ножа, просто колют о колено, а надколов, разрывают руками. Едят тут же, чавкая, истекая сладостью, урча, уходя в корку с носом, с глазами, чуть не до волос. Повсюду на земле валяются горбушки и шкурки. Дыню под мышкой уносят домой. И когда там ее положат на белое фаянсовое блюдо и поставят среди стола, то стол тоже сразу вспыхнет и станет праздничным. Такая она нежно-цветистая, такая она светящаяся, изнизанная

загаром и золотом, в общем, очень похожая на дорогую майоликовую вазу.

А дальше помидоры и лук. Лук — это пучки длинных сизо-зеленых стрел, но лук — это и клубни, выложенные в ряд. Под солнцем они горят суздальским золотом. Но обдерите золотую фольгу — и на свет выкатится сочная тугая капля невероятной чистоты и блеска, беловато-зеленая или фиолетовая. По Перельману, вода в космосе примет именно такую форму. Но фиолетовые они или зеленые, их все равно грызут тут же на месте с горячим мякишем, с серой верблюжьей солью. Они хрустят, их необыкновенная горечь и сладость захватывает дыхание, ударяет в нос, но все равно их гложут, хрупают, хрустят. «Сердитый лук», — говорят, улыбаясь и плача. «Сладкий лук, нигде нет такого лука!» Но и помидоров таких нигде нет кроме как на Зеленом базаре; они лежат в ящиках, в лотках, на прилавках — огромные, мягкие, до краев наполненные тягучей кровью, туго лоснящиеся тропические плоды. В них все оттенки и красных и желтых тонов от янтарного, кораллово-розового, смутного и прозрачного, как лунный камень, до базарно-красных грубых матрешек. Их покупают и уносят целыми лотками — круглые тугие мячики, багровые буденовки, желтые голыши. Все равно больше рубля здесь не оставишь. Около лотков с помидорами, луком и разноцветной картошкой (желтой, белой, черной, розовой, почти коралловой!) товарный лоток разделяется надвое. С одной стороны остаются ряды, а другая сторона упирается в стену. Это почтовая контора. Отсюда во все концы страны летит знаменитый алма-атинский апорт. Тут же продают ящики, свежую стружку, холстину для обшивки. В конторе зашивают, надписывают, взвешивают. То и дело мелькают быстрые, оперативные личности с молотками, гвоздодерами и химическими карандашами за ухом. На все разная такса. Одна на то, чтобы уложить и заколотить, другая на то, чтобы красиво надписать, третья на то, чтобы уложить, заколотить, красиво надписать, взвесить, выстоять и отправить. Здесь же печально бродит между ларьками некая туманная личность. Завсегдатаи знают, что это актер и поэт-новеллист. У него страшное, иссиня-белое, запойное лицо. Из театра его сократили, и вот он теперь ходит по рынку и гадает. Под мышкой у него толстый фолиант. «Как закалялась сталь» — издание для слепых. Он кладет его на колени, распахивает и гадает. Рядом старушка продает морских жителей. Место здесь бойкое. Стоит пивная бочка, и над ней

взлетают руки с кружками и поллитровками. Крик, смех. Пьют здесь так — полкружки пива, полкружки водки. Морские жители под эту смесь идут очень ходко.

Зыбин больше всего любил именно эти ряды. Но сейчас он не дошел до них, а свернул направо к рыбным ларькам. Рыбу тут выносили разную — копченую, нежно-золотистую, как будто обернутую в увядающий пальмовый лист, даже металлически-фиолетовую. Она лежала на прилавке, висела пучками, плескалась в цинковых чанах и судках. Зыбина хватали за руки, ему предлагали залом с Каспия, сома из Аральска, карасиков с Сиротских прудов. Он ничего не покупал, ни к чему не приценивался, он дошел до конца рядов и повернул обратно.

— А маринки у вас сегодня нет? — спросил он у высокого пожилого торговца. Тот стоял, засунув руки под клеенчатый фартук, и молча наблюдал за ним.

— Ну откуда она сейчас будет? — спросил продавец.— Маринку сейчас вы не найдете. Только если у кого вяленая осталась. Мы такой не торгуем.

— Вяленая, говорите?

— Исключительно вяленая. На другую сейчас запрет. Как же! План не выполнен. Только если украдут где. Вот приходите через месяц — тогда будет.

Помолчали, переглянулись, но еще не полностью поверили друг другу.

— Жаль, жаль,— сказал Зыбин.— А мне как раз позарез надо маринки.

— Свежую?

— Хоть свежую, хоть копченую. Копченую лучше.

Торговец посмотрел, примерился и спросил:

— Много?

— Да сколько есть, столько возьму. Сестра из Вятки просит.— И он достал из кармана какое-то письмо.

— Сейчас не Вятка, а город Киров,— поправил торговец.— Тогда вам только на Или надо ехать. Там ее сколько хочешь. Как пойдете по берегу, так и увидите — тони, тони. Колхоз «Первый май». Там любой колхозник вам устроит с пудик.

— А к кому там зайти? Не знаете?

Продавец снова подумал, опять они посмотрели друг на друга и наконец окончательно поняли друг друга.

— Тогда, в таком разе, как дойдете до правления колхоза — это у моста, сразу же — спросите Павла Савельева. Он шофером работает. Скажите, от Шахворостова Ивана Петровича.

— Спасибо, сейчас запишу — значит, от Шахворостова Ивана Петровича, так! А вот скажите, Юмашева Ивана Антоновича вы не слышали? Дружок у меня был такой, он, кажется, и сейчас еще там.

— Как — Юмашев? Да нет, что-то не помню. Я ведь там мало кого знаю из новых, может, не Юмашева вам нужно, а Ишимова? Так такой есть действительно. Весовщик.

— Нет, точно Юмашев,— сказал Зыбин и слегка наклонился.— Ну спасибо, сейчас же поеду. Значит, Павел Савельев! Спасибо.

Он пошел и снова остановился. У резных ворот с надписью «За колхозное изобилие» толпились люди. Курили, чадили, лузгали семечки. Он протиснулся и увидал художника над мольбертом. Зыбин этого чудака знал. Месяц тому назад он подал объяснение в милицию (нажаловались соседи) и подписался так: «Гений I ранга Земли и Галактики, декоратор-исполнитель Балета им. Абая Сергей Иванович Калмыков». Гением человечества, как известно, в то время на земле числился только один человек, и такая штучка могла выйти очень боком — ведь черт его знает, что за этим титулом кроется, может быть, насмешка или желание поконкурировать. Кажется, такие сомнения в сферах высказывались, но дальше них дело все-таки не пошло. Может быть, кто-то из власть предержащих повстречал Калмыкова на улице и решил, что, мол, на этой голове много не заработаешь. А зря! Голова была стоящая. Когда художник появлялся на улице, вокруг него происходило легкое замешательство. Движение затормаживалось. Люди останавливались и смотрели. Мимо них проплывало что-то совершенно необычайное: что-то красное, желтое, зеленое, синее — все в лампасах, махрах и лентах. Калмыков сам конструировал свои одеяния и следил, чтоб они были совершенно ни на что не похожи. У него на этот счет была своя теория.

«Вот представьте-ка себе,— объяснял он,— из глубин вселенной смотрят миллионы глаз, и что они видят? Ползет и ползет по земле какая-то скучная одноцветная серая масса, и вдруг как выстрел — яркое красочное пятно! Это я вышел на улицу».

И сейчас он был тоже одет не для людей, а для галактики. На голове его лежал плоский и какой-то стремительный берет, на худых плечах висел голубой плащ с финтифлюшками, а из-под него сверкало что-то невероятно яркое и отчаянное — красное-желтое-сиреневое. Художник работал. Он бросал на полотно один мазок, другой, третий — все это небрежно, похо-

дя, играя,— затем отходил в сторону, резко опуская кисть долу,— толпа шарахалась, художник примеривался, приглядывался и вдруг выбрасывал руку — раз! — и на полотно падал черный жирный мазок. Он прилипал где-то внизу, косо, коряво, будто совсем не у места, но потом были еще мазки и еще несколько ударов и касаний кисти, то есть пятен — желтых, зеленых, синих — и вот уже на полотне из цветного тумана начинало что-то прорезываться, сгущаться, показываться. И появлялся кусок базара: пыль, зной, песок, накаленный до белого звучания, и телега, нагруженная арбузами. Солнце размыло очертания, обесцветило краски и стесало формы. Телега струится, дрожит, расплывается в этом раскаленном воздухе.

Художник творит, а люди смотрят и оценивают. Они толкаются, смеются, подначивают друг друга, лезут вперед. Каждому хочется рассмотреть получше. Пьяные, дети, женщины. Людей серьезных почти нет. Людям серьезным эта петрушка ни к чему! Они и заглянут, да пройдут мимо. «Мазило,— говорят о Калмыкове солидные люди,— и рожа дурацкая, и одет под вид попки! Раньше таких из безумного дома только по большим праздникам к родным отпускали». Вот именно такой разговор и произошел при Зыбине. Подошел, протолкался и встал впереди всех хотя, видно, и слегка подвыпивший, но очень культурный дядечка — эдакий Чапаев в усах, сапогах и френче. Постоял, посмотрел, погладил усы, хмыкнул и спросил очень вежливо:

— Вы, извините, из Союза художников?

— Угу,— ответил Калмыков.

Дядька деловито прищурился, еще постоял и подумал.

— А что же это вы, извините, рисуете? — спросил он ласково.

Калмыков рассеянно кивнул на площадь.

— А вон те возы с арбузами.

— Так где же они у вас? — изумился дядечка. Он весь был беспощадно вежливый, ироничный, строгий и всепонимающий.

Калмыков отошел на секунду от полотна, прищурился, вдруг что-то выхватил из воздуха, поймал на кисть и бросил на полотно.

— Смотрите лучше! — крикнул он весело.

Но дядечка больше ничего не стал смотреть. Он покачал головой и сказал:

— Да, при нас так не малевали. При нас если рисовали, то хотелось его взять, съисть, что яблоко, что арбуз, что окорок,— а это что? Это вот я когда

день в курятнике не приберусь, у меня пол там такой же!

Калмыков весело покосился на него и вдруг наклонился над полотном. Кисть так и замелькала. Вдохновили ли его слова дядьки, или, может быть, как раз в эту минуту он ухватил самое нужное? В общем, он заработал и обо всем забыл. Культурный дядька еще постоял, посмотрел, покачал головой и вдруг грубо спросил:

— А что это вы оделись-то как? Для смеха, что ли? Людей удивлять. Художник! Раньше такого бы художника сразу бы за милую душу за шиворот да в участок, а теперь, конечно, валяй, маляй!

И ушел, сердито и достойно унося под мышкой черную тугую трубку — лебединое озеро на клеенке.

А Калмыков продолжал ожесточенно писать. Никто его ни о чем больше не спрашивал. Как-то очень хорошо, легко и с большим достоинством он провел этот разговор, и Зыбин тогда же подумал: «Ну бог его знает что он за художник, но цену он себе знает».

Он повернулся и вышел из толпы.

Он вспомнил об этой встрече через много лет, когда ему попала в руки записная книжка Калмыкова. Это было уже после смерти художника. Книжка эта валялась на полу в комнате покойного. Зыбин незаметно поднял ее, унес к себе и стал читать. Все записи шли в строго алфавитном порядке (и книжка-то называлась алфавитной). Покойный записывал все, что ему вспоминалось или приходило в голову: старые стихи, строчки из газет, расходы. Так вот под буквой «Н» Зыбин прочитал: «Никто больше меня не любит рисовать на улице. В этом моя сила! Кругом смотрят, зевают, глазеют, кто во что горазд. Младенцы видят первый раз! Другие завидуют, скучают, задирают. Я ораторствую, огрызаюсь, острю — словом, чувствую себя в своей тарелке, в своей сфере! Здесь нет мне равного! Казалось, меня надо было на руках носить за все это, я же всю жизнь делаю это задаром! За десятерых! А всем все равно, и дуракам наплевать, но я задам всем жару!»

И еще (уже на букву «К»):

«Когда много говоришь о самом главном — все бегут, всем некогда слушать длинные разговоры о серьезных вещах,— то при постоянном ежедневном говорении то с одним, то с другим на улицах вырабатывается вечная манера говорить о всем очень смачно и

эффектно, и после этого приходят в голову самые удачные формулировки! Вот! Вернулся с улицы, и в голове есть находка! Я молча шел и говорил про себя...»

Да, он был именно таким — очень уверенным в себе, недосягаемым для насмешек, недоступным для критики, скрытым от мира гением, которому и не требуется никакого признания. Положительно только к нему одному из всех известных Зыбину художников, поэтов, философов больших и малых, удачливых и нет он мог с таким полным правом отнести пушкинское «ты царь — живи один». Калмыков так и жил, так и чувствовал свое первородство. И смущала этого царя только какая-нибудь мелочь. Ну что-нибудь вроде этого: «Есть восковка за 1 р. 54 копейки, событие! А у меня только 80». Да, и это его огорчало, но тоже не очень, не очень. Из алфавитной книги это видно очень ясно. Нет так нет, и нечего думать об этом. Очень хорошо и твердо он понимал это железное слово — «нет».

Прошло много лет. Калмыков умер, и первая статья о покойнике кончалась так:

«По улицам Алма-Аты ходил странный человек — лохматая голова в старинном берете, широкие брюки из мешковины, сшитой цветными нитками большими стежками, с огромной расписной сумкой на боку. В последние годы им сделана в дневнике такая запись: «Что мне какой-то там театр? Или цирк? Для меня весь мир театр».

Нет, даже не мир, а целая галактика. Однако все это было совершенно неясно в том, 1937 году.

Известно было другое. Именно в это время журнал «Литературный Казахстан» поместил статью о юбилейной выставке Союза художников. Там о Калмыкове говорилось примерно следующее: «Совершенно непонятно, каким образом и зачем устроители выставки пропустили картины некоего Калмыкова. На одной из них стоят два гражданина и размахивают чемоданами. И, очевидно, чемоданы эти пустые, потому что набитыми так не помахаешь. Неприятная бездарная мазня». Вот и все. Гнать палкой. Неприятная и бездарная мазня. А ведь именно в это время художником были исполнены те великолепные серии рисунков, которые он называл странно и, как всегда, не совсем понятно: «Кавалер Мот», «Лунный джаз». Об этих листах писать невозможно — надо видеть очарование этих тончайших линий, этих переливов человеческого тела. У Калмыко-

ва в его бесчисленных листах много женщин, и все они красавицы — надо думать даже, что он как художник вообще был не в силах изобразить уродливое женское лицо. Его женщины похожи на пальмы, на южные удлиненные плоды, у них тонкие руки и миндальные глаза (здесь не стоит бояться этих слов). Они очень высоки и стройны. Они выше всех. Стоя или лежа они заполняют целый лист. У некоторых из них крылышки — и поэтому они, очевидно, феи. Другие просто женщины, и все. Вот, например (если подбирать специально опубликованные рисунки), красавица в длинном, тяжелом, мягком халате. Он не надет, а наброшен так, что видна нога, грудь, талия. Красавица несет восточный высокогорлый сосуд. На столике горит канделябр. Он похож на распустившуюся ветку с тремя цветками. Рядом раскрытая книга и закладка на ней. Тишина, ночь, никого нет. Куда идет эта одинокая красавица? За ней бежит какое-то странное существо, не то кошка, не то собачка — не поймешь точно кто. И больше ничего нет.

На этом листе музыкально все. Все оркестровано в одном тоне — и три цветка на канделябре, и скатерть, сливающаяся с мягко льющимся халатом, и тело женщины, и это странное существо с собачьими ушами и кошачьей статью. Ритм достигается крайней простотой, лаконичностью и гибкостью линий.

И другой лист. Только он называется «Лунный джаз». На нем официантка с мотыльковыми крылышками. Это такая же высокая, нежная и холодная красавица блондинка (Калмыков, видно, признавал только один тип женской красоты). Она несет поднос. На подносе узкогорлая бутылка и ваза с веткой. На ней такие легкие одежды, что видно все ее тело. Или иначе: все ее тело — это единая переливающаяся линия, заключенная в овал одежды. Ночь. Лестница, открытая эстрада. По ступенькам спускается слуга в диковинной шляпе и плаще. Вот и опять почти все. И опять — никак не опишешь и не передашь словами очарование этого рисунка.

И таких рисунков — сюит, джазов, набросков — после Калмыкова осталось великое множество, может, двести или триста листов. Они исполнены в разной технике. Пунктир[1] и линии, пустые и закрашенные контуры — карандаш и акварель. Так, например, между

---

[1] «Большое место в творчестве С. И. Калмыкова заиимает серия фантастических пейзажей в стиле моистр. Это рисуики, выполненные строго в стиле лииией, составлеиной из точек» (*М. Меллер*).

других работ есть лист «Кавалер Мот». Внешне кавалер очень напоминает Калмыкова. Такой же бурный плащ, такой же берет, такая же мантилья сумасшедшего цвета. И ордена, ордена, ордена! Ордена всех несуществующих государств мира. Идет, смеется и весело смотрит на вас. Но вот этого у Калмыкова не было совершенно — он всегда оставался серьезным. Спрашивали — охотно отвечал на все вопросы, но никогда не заговаривал первым. А вот что «никто больше меня не любит рисовать на улице» — это точно. Но в тот мир, где играли лунные джазы, парили крылатые красавицы и расхаживали бравые кавалеры Мот, он не допускал никого. Там он был всегда один!

Всего этого Зыбин не знал да и не мог знать, а если говорить с полной откровенностью, и не захотел бы тогда знать. Не очень это время подходило для лунных джазов и кавалеров Мот. Но всего этого Зыбин опять-таки попросту не знал. И в тот день на Зеленом базаре, глядя на художника, он тоже ничего не понял и ничего не вспомнил. Статья о пустых чемоданах (которую, кстати, он же редактировал и правил) просто пришла ему в голову. Он только подумал: вот чудак-то! И как хорошо, что на одного чудака в Алма-Ате стало больше. Но встречать Калмыкова он встречал, и вот по какому поводу. Однажды недели за две до этого директор сказал ему:

— Ты в этот выходной что делаешь? Никуда не собираешься? Ну и отлично! Так вот, в выходной я к тебе заеду, и поедем на Алмаатинку. Хорошо?

— Хорошо,— ответил он, хотя немного удивился. Ему даже подумалось, не хочет ли директор пригласить его в шашлычную. В это время лета они вырастают на каждом камешке. Но директор тут же пояснил:

— Мы там филиал около парка Горького строим, «Наука и религия». Там у меня дед уже со вчерашнего утра с артелью плотников орудует. Так вот, сходим посмотреть как и что.

Он пожал плечами.

— А что я в этом понимаю?

— В плотничьем деле? — удивился директор.— Да ровно ничего. Ты, я смотрю, и гвоздя как следует не можешь забить. Вон тот тигр у тебя как-нибудь рухнет со стены и расшибется к чертовой матери.

На стене висело «Нападение тигра на роту солдат вблизи города Верного» — картина старинная, темная, сухая, плохая и в музее очень ценимая. С нее да-

же в вестибюле снимки продавали. Еще бы! Такой сюжет!

— Ее как раз дед-то и вешал,— сказал Зыбин.

— Да? Ах, старый черт! Смотри, прямо в кирпич гвоздь ведь вогнал и погнул. Ну скажу я ему при случае. Видишь, там художник у нас один работает. Калмыков, не слышал? (Зыбин покачал головой. Он действительно не знал, кто это.) Да знаешь ты его, знаешь. Он по улицам в берете и голубых штанах этаким принцем-нищим ходит! Что, неужели не видал?

— Ну, ну,— ответил Зыбин и засмеялся.

Засмеялся и директор.

— Ну, вспомнил. Так вот художник-то он все-таки отличный. И что надо, то он нам сделает. Да и работает он вроде по тому же самому делу. Пишет декорации в оперном. Я ему сказал: «Рисуй так, чтобы посетитель и замирал на месте, и чтоб у него родимчик делался». Он говорит: «Сделаю». Завтра обещал прийти и эскизы принести. Так вот поедем посмотрим, что он там сочинил.

На Алмаатинку они пришли рано утром и сразу увидели, что дело кипит.

На большой синей глубине стояли дед и художник Калмыков. Дед держал в руках развернутый лист ватмана, а Калмыков что-то тихо и убедительно объяснял деду. Дед слушал и молчал.

— А вот дед, между прочим, его не одобряет,— сказал директор.— Вот все его финтифлюшки он никак не одобряет, дед любит строгость. Он, будь его власть, сейчас бы его обрил наголо и в холщовые штаны засунул. А ну подойдем.

Они подошли, Калмыков приветствовал их строго и достойно. Слегка поклонился, сохраняя полную одеревенелую неподвижность туловища, и дотронулся пальцем до берета. Поклонился и директор. Все трое вдруг стали серьезными и сухими, как на приеме.

— А ну покажите эскиз,— сказал директор.

На большом листе ватмана было изображено золотое небо астрологов. По кругу знаки зодиака, затем созвездия Девы, Андромеды, Медведица Большая и Малая, еще что-то подобное же, а внизу два черных сфинкса и огромная триумфальная арка с Дворцовой площади. В арку въезжает трактор — обыкновенный «ЧТЗ», и едет он прямо-прямо в небо, в его золотые созвездия. Все это было нарисовано твердо, четко, с ясностью, красочностью и наглядностью учебных пособий. Но кроме этой ясности было в ватмане и кое-что иное, уже относящееся к искусству. Только художник

мог изобразить такое глубокое таинственное небо. До того синее, что оно казалось черным, и до того глубокое, что звезды в нем действительно сверкали как бы из бесконечности, из разных точек ее. А ведь краски-то Калмыков употреблял самые обычные, простые, школьные, и все-таки получилось все: и бескрайность полотна, и огромность неба, и сама вечность, выраженная в этих таинственных, слегка отливающих черным светом сфинксах. А в дворцовую арку, альбомную, плакатную, запетую и затертую миллионными тиражами, въезжал рядовой трактор «ЧТЗ», и за его рулем сидел парень в рабочей куртке. Все это разнородное, разномастное — небесное и земное, тот мир и этот — было сведено в простую и ясную композицию. В ее четкости, нерасторжимости и естественности и выражалась, видимо, мысль художника.

— Это что же будет? — спросил директор.— Вход?

— Нет,— ответил художник,— для входа я сделал другой эскиз. А это стенная роспись.

— Так,— сказал директор.— Та-ак. Ну, хранитель, твое мнение?

Зыбин пожал плечами.

— Все это, конечно, произведет впечатление. Но уж очень необычайна сама композиция.

— Чем же? — ласково спросил художник.

— Так ведь это павильон «Наука и религия»? — сказал Зыбин.— Значит, откуда тут взялось звездное небо, понятно. Понятны, пожалуй, и сфинксы. Но вот трактор и эта арка...

— А через эту арку красногвардейцы шли на приступ Зимнего,— напомнил директор.

— И трактор как живой,— похвалил дед.— На таком у меня внучок ездит. Только вот флажка нет.

Опять они стояли, молчали и думали. Зыбин видел: эскиз директору явно нравился, но он чувствовал его необычность и боялся, не пострадает ли от этого доходчивость. Все ли поймут замысел художника.

— Ну, ну, высказывайся, хранитель,— сказал он настойчиво.— Давай обсуждать.

— И пространство у вас какое-то странное,— сказал Зыбин.— Как бы не полностью разрешенное. Это не плоскость и не сфера. Вещи лишены перспективы, все они как бы не одновременны.

Калмыков вдруг остро взглянул на него.

— Вот именно,— сказал он,— вот именно. Вы это очень хорошо подметили. Время я тут уничтожил, я...— Он сделал паузу и выговорил ясно и четко, глядя в глаза Зыбину: — Я нарушил тут равновесие углов и

линий, а стоит их нарушить, как они станут удлиненными до бесконечности. Вы представляете себе, что такое точка?

Зыбин представлял себе, что такое точка, но на всякий случай отрицательно покачал головой.

— Вот,— сказал художник с глубоким удовлетворением,— один вы из всех мне известных людей сознались, что не знаете. Точка есть нулевое состояние бесконечного количества концентрических кругов, из которых одни под одним знаком распространяются вокруг круга, а другие под противоположным знаком распространяются от нулевого круга внутрь. Точка может быть и с космос.

Он сказал, вернее, выпалил это одним духом и победно посмотрел на всех.

Но директор недовольно поморщился. Сейчас он понял: нет, до масс это не дойдет. Сложно.

— У нас это не пойдет,— сказал он коротко.— Трактор и арку уберите, а небо можно оставить. Но еще что-нибудь надо, на другие стены. Ну, суд над Галилеем. Битва динозавров. Не бог сотворил человека, а человек бога по образу и подобию своему. Завтра зайдете ко мне, посмотрим вместе, подберем.

— Понятно. Будет сделано,— сказал художник и молча отошел к берегу Алмаатинки. Там у него стоял мольберт и уже собирались зеваки и ребята. А кто-то длинный и пьяный важно объяснял, что этого художника он хорошо знает и он постоянно ходит в зеленых штанах, потому что у него такая вера.

Подошел к мольберту и Зыбин.

— Можно взглянуть?— спросил он.

Калмыков пожал плечами.

— Пожалуйста,— сказал он равнодушно,— только что смотреть? Ничего еще не закончено... Вот если бы вы зашли ко мне домой, я бы показал вам кое-что.— И вдруг обернулся к нему.— Так, может, зайдете?

— Спасибо,— сказал Зыбин,— обязательно зайду. Дайте только адрес, сегодня же и зайду.

Через много лет он написал:

«Попал к нему я, однако, только через черверть века. Потому что в тот день как-то у меня не оказалось времени, а потом он уже и не звал к себе. А затем мы разъехались в разные стороны, и я совсем забыл о художнике Калмыкове. Знал только, что из театра он ушел на пенсию, получил однокомнатную квартиру где-то в микрорайоне (а раньше жил в старых казармен-

ных бараках) и теперь живет один, питается молоком и кашей (ои заядлый вегетариаиец). Его часто видят иа улицах. В прошлые мои приезды я тоже видел его раза три, но ои иа меня, как и на всех окружающих, иикакого внимания не обратил, и поэтому я молча прошел мимо. Я заметил, что он похудел, пожелтел, что у него заострилось и старчески усохло лицо. И еще глубже прорезались у носа прямые глубокие морщииы. «Лицо измятое, как бумажный рубль»,— иаписал где-то Грин о таких лицах. А надето на нем было что-то уж совершенно невообразимое — балахон, шаровары с золотистыми лампасами и на боку что-то вроде огромного бубиа с вышитыми на нем языками разноцветного пламени. Ярко-красиые, желтые, фиолетовые, багровые шелковые нитки. Он стоял около газетного киоска и покупал газеты. Великое множество газет, все газеты, какие только были у киоскера. Я вспомнил об этом, когда на третий день после смерти художника вошел в его комиату. Газет в ней было великое множество. Из всех видов мебели он знал только пуфы, сделаиные из связок газет. Больше ничего ие было. Стол. На столе чайиик, пара стакаиов, и все. Да и что ему надо было больше?

Безумио счастливый, целеустремленный и цельный человек жил, двигался и говорил среди этих газетиых пуфов и папок с бескоиечиыми романами.

На этих пуфах ему сиились раскрашениые сны, и тогда он записывал в алфавитиую книгу (на «Э»):

«Эииое количество медведей, белых, арктических, севериых, поиесли меия в черных лакироваиных носилках! Бакстовские иегры возглавляли шествие! Маленькие обезьяиы капуцины следовали за ними!»

Или же (на «Я»):

«Я видел анфилады залов, сверкающих разноцветными изразцами!»

«Я проходил по палатам, испещренным всякими знаками».

Да, в очень красивом и необычайном мире жил бывший художник-исполнитель Оперного театра имени Абая Сергей Иванович Калмыков.

И вот тут, среди действительно блистающих изразцов, лунных джазов, фей и кавалеров, я увидел на куске картона нечто совершенно иное — что-то мутиое, перекрученное, вспененное, мучительное, почти страшиое. Посмотрел на дату и вдруг понял — у меня в руках именно то, что Калмыков писал четверть века назад, в тот деиь нашего едииственииого с ним разговора. Крупными мазками белил, охры и берлинской лазури (так,

что ли, называют эти краски художники?) Калмыков изобразил то место, где по мановению директора на берегу Алмаатинки должен был возникнуть волшебный павильон «Наука и религия».

Глыбы, глыбины, мелкая цветастая галька, острый щебень, изрытый пологий берег, бурное, пенистое течение с водоворотами и воронками — брызги и гул, а на самых больших глыбинах разлеглись люди в трусиках и жарятся под солнцем. Вот в солнце и заключалось все — его прямой луч все пронизывал и все преображал, он подчеркивал объемы, лепил формы. И все предметы под его накалом излучали свое собственное сияние — жесткий, желтый, пронизывающий свет.

От этого солнца речонка, например, напоминала тело с содранной кожей. Ясно видны пучки мускулов, белые и желтые бугры, застывшие в судорогах, перекрученные фасции. Картина так дисгармонична, что от нее рябит в глазах. Она утомляет своей напряженностью. Ведь такой вид не повесишь у себя в комнате. Но вот если ее выставить в галерее, то сколько бы полотен ни висело бы там еще, вы обязательно остановитесь именно перед этим напряженным, неприятным и мало на что похожим. Конечно, постоите, посмотрите да и пройдете мимо, может быть, еще плечами пожмете: ну и нарисовал! это что же, Алмаатинка наша такая?!

Но вот что обязательно случится потом: на улице ли или вечером за чаем, а то уже лежа в кровати, без всякого на то повода вы вспомните: «А та речка-то! Что он хотел ею сказать? Мысль-то, мысль-то какая заложена во всем этом?» И примерно через неделю именно это и произошло со мной, я вдруг понял, что же именно здесь изображено. Калмыков написал землю. Землю вообще. Такую, какой она ему представилась в то далекое утро. Чуждую, еще до сих пор не обжитую планету. Вместилище диких, неуравновешенных сил. Ничего, что тут ребята, ничего, что они купаются и загорают,— до них речке никакого дела нет: у нее свой космический смысл, своя цель, и она выполняет его со спокойной настойчивостью всякой косной материи. Поэтому она и походит на обнаженную связку мускулов, поэтому все в ней напряжено, все на пределе. И глыбы ей тоже под стать — потому что и не глыбы они вовсе, а осколки планеты, куски горного хребта. И цвета у них дикие, приглушенные — такие, какие никогда не используют люди. И совсем тут не важно, что речонка паршивенькая, а глыбы не глыбы даже, а попросту большие обкатанные валуны. Все равно, это сама природа — natura naturata, как говорили древние:

природа природствующая. И здесь, на крохотном кусочке картона, в изображении десятка метров городской речонки бушует такой же космос, как и там, наверху, в звездах, галактиках, метагалактиках, еще бог знает где. А ребята пусть у ног ее играют в камушки, пусть загорают, пусть себе, пусть! Ей до этого никакого дела нет. Вот отсюда и жесткость красок, и резкость света, и подчеркнутость объемов — это все родовые черты неживой материи, свидетельство о тех грозных силах, которыми они созданы. Да они и сами, эти камни, просто-напросто разлетевшиеся и застывшие сгустки ее мощи. Так изобразил художник Алмаатинку в тот день, когда он развертывал перед нами свой первый лист ватмана с древним астрологическим небом и трактором, въезжающим через дворцовую арку на самый Млечный Путь. Это Алмаатинка, увиденная из туманности Андромеды. А сейчас эта картина висит у меня над книжным шкафом, и я каждый день смотрю на нее. Оказывается, от этого можно даже получать удовольствие — до того здорово сделано. А сейчас картины художника Калмыкова находятся в Художественной галерее Казахстана, их свалили навалом и привезли туда. Если когда-нибудь их выставят, советую: посмотрите, многое вам покажется чудовищным или непонятным, но не осуждайте, не осуждайте сразу же, с ходу художника. Так, зазря, не обдумав, художник Калмыков ничего не творил, во всех его набросках есть свой смысл, своя идея, только доискаться до них порой не так уж просто. Что поделать, ведь существуют же такие странные, ничем не управляемые вещи, как мечты, фантазия и просто свое видение мира».

...Он повернулся, выбрался из толпы и пошел в музей. Дверь в отдел хранения оказалась полуоткрытой. Он вошел и увидел, что Клара сидит за столом, облокотилась подбородком на руки и смотрит прямо на него. Лицо у нее спокойное, ясное. А вот глаза больные. В них не осталось даже того сухого, скорбного блеска, что он подметил часа два тому назад, когда они разговаривали о черепе. И череп этот тоже лежал рядом, и из его глазниц уже свисала свежая белая этикетка на красной ниточке. Зыбин вошел и остановился у притолоки. Клара молчала. Он хотел что-то сказать ей, но она прямо смотрела на него, и он никак не улавливал смысла ее взгляда. Так они и глядели друг на друга в страшной неудобности, близости и

связанности. И вдруг он понял, что она попросту не видит его.

— Клара,— позвал он тихо.

Она не двинулась и еще какие-то секунды пробыла так в своей отрешенности, а потом вдруг тихо вздохнула и совершенно спокойно, без всякого перехода сказала:

— Проходите, Георгий Николаевич. Я уже заинвентаризировала череп. Можете брать, если нужно.

Тогда он быстро прошел к ней, положил ей обе руки на плечи, слегка встряхнул их и сказал ласково и настойчиво:

— Кларочка, милая, ну что с вами такое? Ну что? Случилось что-нибудь?

Она слегка вздохнула и наклонила голову. Тогда он тихонько примостился рядом и обнял ее за плечи.

— Может, я обидел вас чем-нибудь?— сказал он и сразу подумал: «Ах, дурак, дурак».

Почти незаметным гибким движением плеча она освободилась и встала.

— Ну что вы,— сказала она спокойно, отметая все.— Так, значит, черепа вам не надо? Тогда я его спрячу в шкаф. Посмотрите только правильно ли я в карточке переписала.

Он не глядя отодвинул карточку.

— Правильно, моя усуньская царевна,— сказал он нежно.— Совершенно все правильно. А знаете, кто это была?

— Кто?— спросила она.

Он молча взял ее за виски, повернул к себе и поцеловал в оба глаза крепко и бережно. Потом еще и еще. И вдруг ее лицо покрылось испариной и рот дрогнул, как у маленькой.

— Это ваша прабабушка, моя дорогая,— сказал он.— Ваша родная прабабушка, моя колдунья!

Она открыла шкаф, положила череп на полку, снова закрыла дверцы шкафа и простояла так с минуту спиной к нему.

— Вы к директору? Лучше всего, если вы сейчас не пойдете к нему,— сказала она не поворачиваясь.— Он, по-моему, что-то не очень в духе. Я с ним говорила и...

Вот какой разговор у нее произошел с директором.

— Я, Кларочка, потому попросил вас остаться, что хочу серьезно поговорить о нашем хранителе,— сказал директор, смущаясь и не глядя на нее.— Ведь, кроме вас, у него, дурака, никого нет.

Он поднял со стола какую-то папку и сердито бросил ее обратно.

Клара посмотрела на директора. Он поймал ее взгляд и нахмурился.

— Ну я-то не в счет,— сказал он сварливо.— Я человек старый, служебный, и поэтому он смотрит на меня вот так.— Директор сделал кулак трубкой и поднес к глазу.— Оно, конечно, по совести, может быть, так оно и есть, но если взглянуть по-деловому... Ну нельзя так, как он! Ну никак нельзя! Не то время! А он ничего не понимает! Ну вот что вы, например, думаете о Корнилове?

Она сделала какой-то неопределенный жест.

— Ну что он из себя представляет? Ценный работник, знающий товарищ или как?— настойчиво спросил директор.

— Кажется, да,— ответила Клара.

— Ну и дисциплинированный, конечно? Да? День и ночь сидит за книгами, да? Или как? Вот хранитель хоть пьет, да работает. А этот что — пьет и не работает?

Клара подумала.

— Но эта история с костями — ведь это он ее...— сказала она осторожно.

Директор поморщился.

— Ну он-то он, конечно. Но тут и другое кое-что сыграло. Видите, отыскалась одна старая знакомая, так вот она...— Он опять поглядел на Клару и осекся. Клара молчала.— Так вот что я хочу вас попросить,— продолжал он, помолчав,— поговорите с хранителем. Пусть он скажет Корнилову: «Откуси свой поганый язычок ровно наполовину». Понимаете?

— Нет,— ответила Клара.— Не понимаю. То есть я... А в чем дело?

— А в том,— обозлился директор,— в том, что они оба загремят, как медные котелки! И следов потом их не сыщешь! Младший загремит за глотку, а старший за дурость, за то, что слушает и молчит. Ну а раз молчит, значит, соглашается, а раз соглашается, то участвует. Ну а как же иначе? Кто не за нас, тот против нас. Знаете, кто это? Маяковский!

Наступила пауза.

Клара стояла и думала.

— Позвольте, Степан Митрофанович,— сказала она наконец.— Я все-таки что-то не пойму. Ну тот кричит, хорошо! А что ж, по-вашему, Зыбин должен делать? Бежать заявлять?

Директор болезненно усмехнулся.

— Что там бежать, без него уж сбегали! Десять раз уж, наверно, сбегали. Он должен был крикнуть ему: «Молчи, дурак, если сам лезешь в яму, так другого не тащи». Вот что он должен был сделать. Неужели это непонятно? Удивляюсь тогда вам. Умная девушка и ничего не видит. Ну да что там говорить! — Он махнул рукой, гневно прошелся по комнате, подошел к окну, закрыл его, подошел к столу, сел в кресло, выдвинул ящик стола, опять задвинул, схватил телефонную трубку и опустил снова. Он был здорово расстроен.

— Ну ладно,— сказала Клара, сообразив все.— Положим, Георгий Николаевич скажет Корнилову «молчи», а Корнилов его не послушает, тогда что? Бежать заявлять? Да, может быть, он и говорил ему уже.

— Говорил? — Директор со всего размаху выдвинул и задвинул ящик.— Ни черта лысого он ему не говорил! Пил с ним — вот это да! А говорить надо с Корниловым так, чтоб он послушался. А не слушается — матом его покрой, в морду дай, и хорошенько, чтоб он с час валялся. Вот я и прошу, чтоб вы сказали ему все это. Вас он, может, послушает.

— А вы?

— Ну что я,— нехотя ответил директор.— Я руководитель. Я если что знаю, то должен того... меры принимать, а не предупреждать. Идиотская болезнь благодушие — знаете, что это такое по нашему времени?

Клара подумала.

— Ну и я не буду предупреждать,— сказала она.

— Как? Не будете? — очень удивился директор.

— Не буду,— ответила Клара скорбно и твердо.

— Да ведь посадят дурака, обязательно посадят! — крикнул директор тоскливо.

— Его дело,— вздохнула Клара.— А я ничем тут помочь не могу.

— Здорово,— сказал директор, вставая и подходя к Кларе.— Вот уж чего не ожидал. Да в конце концов питаете вы к нему хоть какие-нибудь чувства? Ну хоть дружеские, что ли?

Теперь они стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза. Очень редко люди разговаривают так пристально.

— Ну зачем вы спрашиваете? — ответила она, мучаясь.— Вы же...

— Значит, пусть сидит, так лучше? — крикнул директор в запале.

Она вздохнула, но глаз не отвела. Ее мутил и мучил этот разговор, но она понимала — от него не уйдешь.

— Да нет, конечно, хуже. Но что для человека лучше, что хуже — только он один и знает. Никто другой ему тут не указчик.

— Так,—повторил директор.—Так.—И вдруг засмеялся. Как-то очень горестно, даже скорбно, но в то же время и освобожденно.— А я ведь и не знал, что вы такая. Ну что ж, вам, конечно, виднее. Но откуда такие берутся, вот такие, как он, тихие, настырные и дурные? Время, что ли, такое? Ведь знает все и вот лезет, лезет в яму.

— Не знаю,— она вздохнула.— Не знаю, Степан Митрофанович, да, может, ничего и не будет, может, все обойдется.

Директор покачал головой.

— Нет.

— Тогда, может, уволить Корнилова?

— Уже думал, нельзя,— вздохнул директор.— В том-то и дело, что уже ничего нельзя. Два дня тому назад мне звонил Мирошников — Корнилова не увольнять, с места не трогать, раскопки вести. Это без всякого повода с моей стороны. А почему, говорит, не увольнять — ты сам должен понять. Вот и весь разговор. Я понял...

— Лучше всего, если вы не пойдете к директору,— сказала Клара.— Он, по-моему, что-то очень не в духе. Я говорила с ним.

— Это да,— согласился Зыбин.— Конечно, ему сейчас ничего не мило. Заметили, как он бросил эти корочки на стол? Не заметили? Ну ладно — пережду! Слушайте, Кларочка, мне нужна будет ваша помощь. Безотлагательно. Больше взять некого.

— Поедем куда-нибудь? — спросила Клара.

— Да, поедем,— ответил Зыбин беззаботно.— Тут недалеко, часа полтора. Дойдем до реки Или, выкупаемся, полежим на камушках, прогуляемся по течению верст пять-шесть, потом я останусь, а вы вернетесь. Вот и все.

Клара молча поглядела на него.

— Ну прогуляемся, покупаемся, встретимся с рыбаками, у костра посидим, уху сварим,— пояснил он.— Там у рыбаков маринка есть. Целый рыболовецкий колхоз. «Первое мая». Только отойдешь от станции — и

тони, тони. Там у меня шофер знакомый. Савельев. Ну как, поехали?

— Сегодня?— спросила Клара.

— Ну вот, сегодня,— возмутился он.— Что вы такое говорите! Завтра, завтра с утра, так часиков с пяти. Хорошо? Я вам позвоню, а вы выйдете к фонтану.

— Хорошо,— ответила Клара.— Завтра утром в пять у фонтана. Вы мне позвоните, а я выйду. Хорошо.

Вид у нее был очень утомленный.

После этого он сразу стал собираться. Был еще только полдень и он с дачным чемоданчиком ходил по магазинам и закупал. Купил бутылку водки себе, купил бутылку рислинга Кларе, купил термос, полкило колбасы одной, полкило колбасы другой. Уже вышел из магазина, но вдруг что-то вспомнил или придумал, возвратился и взял еще целый литр водки. Потом с сумкой он вернулся в музей и полез на чердак. Под старой балкой хранилась у него одна штуковина. Была эта штуковина обернута в промасленную холстину, помещалась на ладони и отливала синей вороненой сталью — увесистая, таинственная и страшная штуковина, которую нельзя было показать никому, даже Кларе. Он наткнулся на нее еще весной, когда осматривал чердак. За самой верхней балкой была проволокой примотана к потолку холстина, а в ней бельгийский браунинг и две коробки патронов к нему, офицерская сумка с биноклем, компас, карта-трехверстка, зажигалка, морской кортик и записная книжка «Врач» (издание доктора Окса). Книжка оказалась совершенно чистой, только на первой странице были какие-то прописи. Зыбин все оставил как есть, а браунинг с патронами снял и перепрятал. Он и сам не знал, почему он сразу не отнес находку директору. Но не отнес, а оставил на чердаке, там же и теперь каждый месяц снимал, развертывал, осматривал, смазывал и клал обратно. Сейчас он достал браунинг, осмотрел и опустил в задний карман брюк.

«Надо будет еще взглянуть на карту,— подумал он.— Хотя ведь будем идти прямо по промыслам».

Он сошел вниз и пошел по залам музея. «Но и курганы надо будет тоже учитывать,— соображал он.— Может быть, прихватить с собой саперную лопатку? Есть, кажется, у директора парочка их. Только вот таскаться с ними... Ладно, обойдусь».

Он зашел в караульное помещение и засунул сумку с провизией в шкаф. Казах-караульщик спал на топчане спиной к нему прямо на голых досках, только под

голову положил тюбетейку. «И куда это он дрыхнет? — подумал Зыбин. — И днем спит, и ночью спит, и еще в выходной приходит из дома спать». Он усмехнулся и вышел на широкие ступеньки храма. До двух часов еще оставалась бездна времени, и он не знал, куда его девать. И тут к нему подошел человек в форме. Тот самый человек с ласковыми глазами, тихим голосом, что еще час назад приходил забирать диадему как вещественное доказательство, чтоб приобщить к чему-то, составленному на кого-то. Тот самый, который любил говорить: «Указ от седьмого восьмого — общественная собственность священна и неприкосновенна, десять лет тайги и пять поражения».

И всегда вырастал почти физически, когда произносил эту священную формулу.

— Георгий Николаевич, — сказал этот человек, — вас просил зайти начальник всего минут на десять — пятнадцать. Я тут с машиной.

«А браунинг? — быстро и остро подумалось Зыбину. — Зайти к Кларе и сунуть в шкаф, а что она тогда подумает? Да и не пустит меня эта анафема».

— Ну что ж, пойдемте, — легко согласился он. — На полчаса я могу.

Он всегда был немного фаталистом.

Провожатый велел обождать в коридоре, а сам зашел в кабинет, да почти сейчас же и вышел.

— Вас позовут, — сказал он, — подождите.

Зыбин посмотрел на дверь. Была она высокая, непроницаемая, обитая черной клеенкой.

Зато коридор был уже безо всяких затей — голые стены. И ни скамейки, ни стула. Здесь ждут стоя, понял он. Но ждать ему пришлось всего минут пять. Приотворилась дверь, и его позвали. Он вошел. Кабинет оказался большой уютной комнатой с большими окнами, распахнутыми прямо в аллею тополей. Всю стену занимала карта мира. Под картой стояло несколько мягких стульев в белых чехлах, и в самом углу у двери примостился маленький светлый столик. Такие стоят в уличных кафе. Зато письменный стол около господствовал над всем. Это было огромное чудовище — с зеленым сукном, мощными тумбочками, тяжелым бронзовым прибором и подковкой для ручек. За столом этим сидел душка военный — полный, седой, розовый, благодушный, с каким-то очень почтенным значком на груди. Перед ним на листе бумаги лежали желтые кружки.

Сбоку стоял высокнй чернявый человек с великолепным блестящнм пробором. Оба смотрели на Зыбина н улыбались.

— А, товарнщ ученый,— радостно сказал военный (чернявый был в штатском),— ждем, ждем! Ну-ка, как вам понравятся наши грошнки. Товарищ Зеленый, продемонстрируйте.

Штатский слегка передвннул лист по столу.

Зыбнн взял кружочкн, посмотрел, повертел, попробовал иа зуб и сказал:

— Это что же? От зубных врачей?

Начальннк взгляиул на чернявого. Чернявый оскалнлся (показалнсь узорчатые порченые зубы).

— Почему так думаете?— стремнтельно спроснл розовый военный и даже слегка привстал.

— Да что ж тут думать! Прнготовлены для переплавкн. Видите, как их расплющили.

— Логнчно,— благожелательно улыбнулся чернявый.— Товарнщ кое-что поннмает.

Полковннк сел опять.

— О, онн, в музее, все на свете поннмают,— усмехнулся он.— Ты знаешь, как они его там зовут? Хранителем древностей. Так вот, товарнщ храннтель древностей, как же вы ваши древностн-то н не сохраннлн? Копали вы, копалн всякне черепа да костн собачьи, а чуть золото вам прииесли, так вы сразу обалделн н все упустнли нз рук. Нескладно ведь как-то получается, а?

— Вы мне разрешнте прнсесть?— спросил Зыбин н сел иа мягкий стул у стены.— Да, очень нескладно.

— Да вы вот за тот столнк садитесь,— сказал военный,— там удобнее.

Зыбин сел, н оказалось, что он снднт в самом углу кабниета иа жидком скрнпучем стульчнке, а перед ннм встает огромный стол, н за столом этим снднт иекто Вяжущий и Разрешающнй; судня праведный и неумытный. «Здорово задумано,— подумал Зыбнн,— вот тебе н первая психическая, прнннмай ее, пожалуйста!»

— А ведь так ловко получилось, что и вниоватых-то не отыщешь,— развел рукамн полковннк.— А там, может быть, с пуд золота было. Ведь в Прнщепинском кладе одного скифского золота нашли двад-цать пять килограмм! Да серебра пять-десят! Это же мешок валюты! Мешок! И вы его проморгали! Это как?

«Ах ты моя прелесть,— подумал Зыбнн.— Скифское золото он знает!» — н сам не заметил, как улыбнулся. Душка военный сразу же на лету подхватил эту улыбку.

— Вам смешно? — спросил он горько.— Да, вот вам смешно, а мы плачем. Потому упустили-то вы, а требуют его от нас. Нам говорят — где хотите, там и возьмите, но чтоб лежало на столе. Ну что ж, будет лежать! В лепешку расшибемся, а положим! Товарищи ученые хранили, да не сохранили, а чекисты из-под земли вытащат да в государственный сейф отнесут. Такова уж наша обязанность. Товарищ лейтенант, столяр здесь?

— Поехали за ним, товарищ полковник,— ответил лейтенант.

— Сразу же его ко мне! — приказал полковник трубным голосом.— Но и на вас, товарищ Зыбин, ложится тяжелая моральная ответственность! Да, тяжелая и большая! Не все тут нам пока ясно, не всему мы тут можем и поверить. Такая безответственность в государственном учреждении... Ну да лейтенант будет с вами говорить об этом. Так расскажите ему все, что знаете! Все! И честно! Ничего не скрывая! Если есть у вас на кого-нибудь подозрение или вы чувствуете, что совершили ошибку, так прямо и говорите. Мы за это с вас голову не снимем, а поможет это и нам и вам сильно. Теперь ваше спасение только в правде!

«Вот тебе и пятнадцать минут»,— подумал Зыбин.

— Можете не сомневаться,— ответил он со своего скрипучего стульчика,— что знаю — то скажу.

— А мы нисколько и не сомневаемся,— затряс головой полковник.— Мы видим, с кем имеем дело. Так вот, товарищ лейтенант, заполните бланк протокола допроса свидетеля, а дальше товарищ Зыбин будет писать сам. Товарищ Зыбин, подойдите-ка сюда. Значит, договорились? Все по порядочку — не торопясь, не волнуясь, откровенно, толково, ничего не пропуская. Что думаете, что предполагаете, что могли бы предложить. Договорились?

— Каким образом в музее установились такие порядки, а вернее, беспорядки? — мелодично пропел чернявый.— Были ли до этого случая пропажи ценностей? Нас все это чрезвычайно интересует.

— Да, да, конечно,— подтвердил полковник.— Ну, я не прощаюсь, товарищ Зыбин. Увидимся. А это все на экспертизу и заключение,— приказал он и протянул чернявому лист с кружками.

И тут Зыбин чуть не вскрикнул. Под толстым настольным стеклом он увидел нечто совершенно невероятное: огромный, в ладонь, глаз, круглый зрачок и в зрачке этом кулак с финкой. И рядом другое фото: тоже глаз, а в нем уже целая композиция — фонарь,

стена и зверское лицо бандита. Бандит как в кинематографе: зверский прищур, шрам поперек лба, кепка, надвинутая на брови, клок волос.

Зыбин посмотрел на полковника. Полковник нахмурился — чернявый тронул Зыбина за плечо.

«Шустрят,— подумал он, проходя вслед за чернявым к столу.— Ох и шустрят! Землю роют! Актеры! Фокусники! Поэтому бандиты и глаза у мертвых выкалывают, потому что на милицейских столах появились вот такие фокусы. Скажут бандиту: «Смотри, до чего дошла наша наука! Не будь фраером — колись, пока можно. Говорили так одному: вырази чистосердечное, спаси свою дурацкую башку. Нет, не захотел и получил вышку, вот и ты...» Глядишь, бандит и верно расколется. А нет — что поделаешь? Жалобу прокурору на беззаконие и шантаж он все равно не подаст.

Ладно, какое мне дело до хулиганов. С ними ведь главное — выследить. Поймать зверя и выбросить его из общества. Вот что главное с ними.

Ах, вот как ты заговорил, товарищ Зыбин. Значит, цель оправдывает средства. Значит, как ни вертись, а все-таки цель оправдывает средства. С бандитом можно, а с товарищем Зыбиным нельзя. С ним надо по закону. А, собственно, почему?

Слушай, сейчас тебе будет очень трудно. Ты уже это почувствовал и заюлил. Так вот помни: если с бандитом можно, то и с тобой можно. А с тобой нельзя только потому, что и с бандитом так нельзя. Только потому! Помни! Помни! Пожалуйста, помни это, и тогда ты будешь себя вести как человек. В этом твое единственное спасение!»

— Вот сюда,— сказал чернявый и открыл дверь в конце коридора.

Это была очень маленькая комнатка, почти бокс — окно, стол и стул. Чернявый сказал:

— Садитесь, пожалуйста. Вот чернила и ручка.— Он выдвинул ящик стола и вынул оттуда несколько бланков протокола допроса.— Пишите: «По существу дела показать могу следующее: такого-то числа такого-то месяца во столько-то часов я узнал от директора центрального музея — фамилия,— что в музей поступил золотой клад, содержащий...» — ну и дальше по порядку, что именно поступило. Установочные данные заполним потом. Через полчаса я зайду. Подпишу вам пропуск — сговорились?

Он ушел, осторожно притворив дверь.

И Зыбин подумал и стал писать. Сначала написал об обстоятельствах находки и затем о том, что, конечно, находка уникальна, ничего подобного ни в Казахстане, ни в Средней Азии никогда еще обнаружено не было. Что, однако, все выводы о находке и ее ценности являются только предварительными. Для здравой оценки требуется провести ряд анализов, получить специальные консультации и, в частности, разыскать само место. Дальше он писал о том, что сделать это будет чрезвычайно трудно, поскольку по несчастливой случайности — а они всегда преследуют археологов! — очевидцы исчезли. Но трудно ведь не значит безнадежно. Находку сделали не в пустыне. Имеется археологическая карта Семиречья. Кое-что, может быть, можно будет извлечь из анализа показаний очевидцев: по ряду признаков можно думать, что самое главное — способ захоронения и обстоятельства находки — они изложили правильно. Все остальные их рассказы по ряду причин доверия не вызывают. Но нужна крайняя осторожность. Самое главное теперь — не вспугнуть. Археологическое золото трудно появляется на свет, но очень легко проваливается сквозь землю. Примеров тому тьма. И тут сразу же нужно сказать: конечно, ни о каких двадцати пяти килограммах золота и о пятидесяти килограммах серебра говорить не приходится, ибо мы имеем дело не с погребением, а с тайным укрытием трупа. Какая трагедия произошла в степи почти две тысячи лет тому назад — сказать невозможно. Может быть, что-нибудь прояснится позже, когда будут привлечены письменные источники (например, китайские летописи). Может случиться и так, что по мере пополнения наших знаний о древних усунях мы поймем, что означает такое вот ни на что не похожее погребение (если выяснится только, что это все-таки погребение), но сейчас все, связанное с происхождением находки, совершенно неясно. Поэтому и делать какие-нибудь предположения о ее составе (килограммы драгоценных металлов) дело крайне рискованное и даже бесполезное.

Он подписался, а потом подумал и сделал следующий постскриптум:

переходя к вопросу о персональной ответственности, надо сказать, что самая постановка его совершенно бессмысленна. Предугадать поступление случайной находки невозможно. Вряд ли было возможно также предвидеть преступный маневр с паспортами. Впрочем, он при этом не был. Вот все, что он может показать.

Засим: старший научный сотрудник и завотделом археологии...

Он отложил ручку и поглядел на часы: времени еще оставалось час. Он снял трубку, вызвал коммутатор, сказал, что ему нужен товарищ Зеленый.

— Номера не знаете? — спросила трубка.— Даю опергруппу.

А опергруппа вдруг в ответ заговорила упругим женским голосом:

— Зеленый будет минут через пять. А кто его спрашивает?

Он ответил кто, и тогда его спросили, а готов ли документ. Он ответил, что готов и что он очень торопится.

— Я сейчас к вам зайду и подпишу пропуск,— сказала трубка.

Вошла высокая, молодая, тонкая и стройная брюнетка с гладкой прической. На ней был милицейский китель.

— Ну, все готово? — спросила она, улыбаясь.

У нее была ясная улыбка, гибкий полнозвучный голос, спокойное, ясное и чистое лицо. Совсем не верилось, что она из опергруппы.

— Вот, пожалуйста,— сказал Зыбин.

Брюнетка взяла лист допроса, села и стала его читать. Читала и покачивала головой. Но выражение ясности, ласковости и какой-то тихой насмешки так и не сходило с ее лица. Прочла до конца и положила протокол.

— Очень интересно,— сказала она.— Прямо роман. Но я ведь совершенно не в курсе всего этого. Не расскажете ли мне в двух словах, в чем дело? Вот вы пишете про укрытие трупа. Это что, убийство?

Он засмеялся.

— Как ваше имя? — спросил он.

— Валентина Сергеевна,— ответила она.

— Так вот, этому убийству, Валентина Сергеевна, повторяю, уже более двух тысяч лет. Так что им придется все-таки заниматься не вам, а археологам. А суть дела вот в чем...— И он очень коротко рассказал все, что касалось находки.

Она слушала его не перебивая.

— Все это страшно интересно,— сказала она, когда он кончил.— Действительно, совсем по Пушкину — похищение Людмилы Черномором с пира. Очень инте-

ресно.— Она подумала.— Вы написали про череп, а он целый? Никаких признаков насилия на нем нет?

Он покачал головой.

— Ровно никаких. Но она была очень красива. А красавиц, очевидно, бьют в сердце.

Она снова улыбнулась.

— Да, если убил мужчина. Если убила женщина — дело обстоит иначе. Соперниц часто уродуют. Но женщина вряд ли могла увезти труп так далеко. И, конечно, тело не было брошено просто так — иначе его бы расклевали птицы. Значит, в укрытии тела участвовало несколько человек. Вы же говорите о глыбине. Но опять-таки: как бы тогда уцелело золото?

— Не знаю,— ответил он.— Тут все может быть.

— Это так,— согласилась она.— Но давайте рассуждать и дальше. Убийца отвозит труп за сто верст (кстати, зачем? Это, пожалуй, непонятнее всего) и прячет там под камень. Значит, вероятно, место было подготовлено. Тогда это убийство с заранее обдуманным намерением, так?

Он засмеялся.

— Никак не могу привыкнуть к этим вашим бойким словечкам. Нет, тут они не подходят совершенно, и прежде всего: мы ничего пока не знаем. Вот будем копаться в книгах, изучать карты и, конечно, ездить, лазать, искать. Облазаем всю Карагалинку, может, и наткнемся на что-нибудь подобное. Только для этого нужно, чтобы шуму и звону было поменьше, а вот я уже вижу, что вы пошли хватать дантистов.

Она усмехнулась — мы же милиция!

В это время зазвонил телефон.

— Лейтенант Аникеева слушает,— сказала она в трубку.— Да, товарищ Зеленый! Да, написано и подписано! («Мне некогда»,— быстро сказал ей Зыбин.) Вот товарищ Зыбин говорит, что ему очень некогда. Товарищ Зыбин, пожалуйста...

И она сунула ему телефонную трубку.

— Георгий Николаевич,— сказал Зеленый очень вежливо с другого конца провода,— мне очень жаль, но немного подождать вам все же придется. Мы еще с вами не кончили разговора. Вот в вашем распоряжении телефон. Позвоните по ноль один и объясните, что задерживаетесь. Только, пожалуйста, без всяких подробностей. А я приду сейчас же, как освобожусь.— И Зыбин услышал, как по ту сторону звякнула трубка.

«Боже мой,— подумал Зыбин.— Значит, опять я ее не увижу. Боже мой, боже мой, как у меня всегда по-дурацки складывается. И что им от меня только

нужно?» Тут он вспомнил, что в кармане у него браунинг, и его передернуло.

— Слушайте,— сказал он умоляюще.— Мне нужно было бы забежать в музей, ну хоть на пять минут. У меня, понимаете, ключи. Люди не смогут уйти домой. Я вернусь сейчас же.

Она подумала.

— А вы не опоздаете?—спросила она.— А то позвонит полковник, а вас не будет.

— Ну честное-пречестное,— он даже руки сложил на груди.

— Хорошо, давайте тогда пропуск,— решила она и вынула ручку.— Как какой? Ну тот, по которому вы прошли.

Он пожал плечами.

— Нет, должен быть пропуск. Поищите в кармане. Нет?—Она подошла и слегка подергала ящики стола. Они были заперты.— Без пропуска вы пройти никак не могли. Значит, пропуск остался у старшего лейтенанта.

— Что ж тогда делать?—спросил он растерянно.

Она слегка развела руками.

— Тогда только ждать. Вот телефон, позвоните кому нужно. Сначала позвоните ноль один.

Он снял было трубку и вдруг положил опять.

— Ах, в какую историю вы меня запутали,— сказал он с горечью,— ах, в какую.

Она слегка развела руками.

Он позвонил директору домой. Ему сказали, что Степан Митрофанович еще не приходил. Позвонил в кабинет директора— к телефону никто не подошел. Позвонил в бухгалтерию—ему ответили, что директор был, но его только что куда-то вызвали. Позвонил электромонтеру Петьке—на месте его не оказалось. Оставалась, следовательно, одна Клара—и та, вероятно, уже ушла.

«Да, уж если не повезет, так не повезет»,— подумал Зыбин. С минуту он просидел так, опустив глаза на крышку стола, а потом вздохнул и взглянул на лейтенанта Аникееву.

— Если уж не повезет...— сказал он ей тяжело.

— А что-нибудь очень важное?—спросила она его сочувственно, даже несколько по-женски.

И от этого его вдруг взорвало окончательно.

— Слушайте,— сказал он запальчиво.— А что это у вас за петрушка там под стеклом? Ну, у полковника в кабинете—под стеклом, что это там? Зрачок, а в нем финка. Универсальное вещественное доказательство на все случаи жизни? Так?

— А что?—спросила она, слегка улыбаясь.

— Да ничего, просто было интересно увидеть, как теперь фабрикуются вещественные доказательства. Заранее, значит, загодя. И много у вас этого добра?

Тон у него был неприятный, колючий.

— Вы что, допрашиваете или просто интересуетесь?—спросила она, все еще продолжая улыбаться.

— Ну что вы, что вы!—поднял он обе ладони, в нем все клокотало и прыгало, про браунинг он уже не помнил.— Какое же я, я имею право вас допрашивать? Нет, это вы меня допрашиваете. Это с меня тут снимают показания, запирают, держат, замыкают— меня, меня, меня! Это я задержан! А когда ж задержанный допрашивал следователя?!

— Вы не задержаны,— обрезала Аникеева,— и я не ваш следователь.

— Да?—весело удивился он.— В самом деле? Я не задержанный, вы не мой следователь? Ну так тогда, может, мне просто встать да и уйти, а?

— Очень, очень у вас странный тон,— сказала она.— Странный, чтоб не сказать больше.

— А вот вы скажите,— попросил он мягко и ненавидяще.— Скажите больше. Назовите это не тоном, а вылазкой, клеветой, дискредитацией органов. Там, где на червячке лжи выуживают рыбку правды — так сказал старик Полоний,— все, все возможно.

— Это вы про лейтенанта?—спросила она.— Он был груб? Уличал вас в чем-то? Это у нас абсолютно не положено.

Он вдруг замолчал. Она приходила ему на помощь: разговор с властей она переводила на лица.

Она пошла и села напротив него.

— Я понимаю, вы куда-то торопитесь, а вас задержали,— сказала она мягко.— Но все равно, разве можно быть таким... ну, нервным, что ли. Ведь это бред какой-то!— Она усмехнулась.— Червячок, рыбка, какой-то там Полоний.

— Слушайте, ради бога,— загорелся он опять и вскочил.— Я вам достану контрамарку в гостеатр, сходите с мужем, или с лейтенантом Зеленым, или не знаю там с кем на «Гамлета». Хоть раз в жизни да сходите!

Теперь они сидели разделенные столом и смотрели друг другу в лицо.

— А знаете,— вдруг совсем по-женски вспыхнула она,— не пошли бы вы со своим театром и контрамаркой!.. Если я захочу сходить в театр...

— Так вот вы и захотите,— сказал он упрямо и

угрюмо и, как бык, наклонил голову.— Так вот вы обязательно захотите. В мое время, например, студенты юридического факультета знали классиков, знали, кто такой Полоний, а вас только и натаскивают: прижми, расколи, уличи, выяви. Эх, даже противно говорить...— Он осекся и махнул рукой.

— То есть что это значит «расколи»?— спросила она сурово.— Не «расколи», а «установи» — это две разные вещи.

— Но устанавливать-то вы будете как?— крикнул он.— Вот эти подлые фото показывать да лгать напропалую? Да? Так?

Она поколебалась и вдруг решила принять бой.

— Да, так, старший научный сотрудник. Так! Если отбросить слово «подлые», то так. Назначение следствия — выявить истину. Вы ведь тоже кончали юридический? Да? По истории права. Так вот, ваш факультет был в то время факультетом ненужных вещей — наукой о формальностях, бумажках и процедурах. А нас учили устанавливать истину.

— А как устанавливать — на это наплевать?— спросил он.— Например, вот мне показывают ордер на арест моей жены. Говорят: не подпишешь, что виноват,— сегодня же твоя жена будет сидеть рядом. Так я подпишу! Так я что угодно подпишу! Потребуете, чтобы я показал, что убил, ограбил, поезд свернул с рельсов,— так я покажу и это. Но только жену не трогайте.

— И скажете, где спрятано награбленное?— спросила она спокойно.— И выдадите вещественные улики? И назовете всех сообщников? И тем дадите нам возможность прервать вашу преступную деятельность? Да, тогда и подлог имеет смысл и та «подлая» фотография тоже.

— Какое счастье, что я не женат!— воскликнул он.— Значит, все мое золото останется при мне! Все двадцать пять килограммов плюс пятьдесят килограммов серебра! И сообщников я вам тоже не выдам.— Он снял трубку и через 01 вызвал отдел хранения. Клара подошла сейчас же. Она как будто сидела и ждала его звонка.

— Здравствуйте, моя радость,— сказал он ласково.— Здравствуйте, хорошая моя. Вот какое дело. Меня задерживают в милиции, а у меня деловое свидание с Полиной Юрьевной. Ну, все насчет тех костей. Так вот, сейчас три часа, а в четыре нужно подойти к фонтану, и она там будет. Так вот...— Он быстро оглянулся на Аникееву, но она уже вышла и притворила за собой дверь.

Он просидел до вечера. А вечером пришли они оба: она и Зеленый.

— Извините,— сказал Зеленый хмуро.— Задержали.— Он сел.— Начальство сердится,— сказал он Аникеевой,— директора полковник при мне вызвал, разговор был у них! Беда!— Он засмеялся и покрутил головой.

Усмехнулась и Аникеева.

Очевидно, и она понимала, что значит допрашивать директора.

— Так вот,— сказал Зеленый, делаясь опять совершенно серьезным.— На музей нашим командованием возложена тяжелая ответственность. Он обязан загладить нанесенный ущерб. И в первую очередь это относится именно к вам — руководителю отдела.

— Здорово!— вырвалось у Зыбина.— А я тут при чем?

Зеленый поморщился.

— Вот при чем тут вы!— ответил он ворчливо.— Валюта-то уплыла, и никто не виноват. Вы обязаны были предвидеть такие казусы, на то вы и руководитель отдела. Вы предупреждали дирекцию, что находки золота возможны? Что вот однажды могут прийти и принести его? И как надо тогда поступать? Ведь вы говорили об этом? Зачем же вы сейчас отрекаетесь?

— Нет,— покачал головой Зыбин.— Я ничего не говорил. Не приходило как-то в голову.

— Да? Ну а вот тут у нас есть сведения, что вы несколько раз предупреждали. Как же так не предупреждали? А как только первые кружочки стали попадаться вам в руки, что вы сказали тогда директору? Не помните? А я вот помню. Вы сказали, что надо смотреть в оба. Так? (Зыбин промолчал.) Ну хорошо, вы поставили в свое время в известность дирекцию,— смягчился Зеленый (видно было, что действительно за Зыбиным он никакой вины не находил — для этого он был слишком оперативным работником. Вину понимал прямо и ясно — как действие и бездействие, но не как недостаток ясновидения).— Вы сказали ему, а он ноль внимания, за это тоже на него ложится немалая доля ответственности, но вы же специалист и раз видите, что директор так наплевательски относится к вашим предупреждениям, вы должны были нам сразу же сообщить свои соображения, а мы бы вот директора вызвали да и поговорили бы с ним по-свойски. Вот золото бы и не уплыло. А теперь вы оба в ответе. Но вы археолог, с вас спроса больше.

— Меньше,— вдруг неожиданно сказала Аникеева.— Археолог Зыбин свое сделал, он при трех свиде-

телях свое мнение заявил, а на его сигнал не обратили внимания, при чем же он?

— Рапорт, рапорт нужно было подать!— крикнул Зеленый.— И копию еще снять! Чтоб документ лежал у него в кармашке. Тогда бы, конечно...

Аникеева покачала головой, но ничего не сказала.

— Ну не я же все это выдумал, в конце концов,— сердито огрызнулся Зеленый.— Его же приятели это говорят. Те самые, кого он поил каждый день. И говорят еще, что картотека черт знает в каком состоянии. Никакого учета. Нужен экспонат, а его не найдешь. Я-то тут при чем?— И вдруг рассердился окончательно.— Ладно, давайте кончать. Если все вокруг проворонили, то, конечно, что же спрашивать с одного человека! Вот подпишите эту бумагу, и все! Идите отдыхайте. Не бойтесь, это же пустая формальность! Вот пропуск! Спокойной ночи! Идите! Не волнуйтесь!

«Город Алма-Ата. 1 сентября 1937 года.

Я, Зыбин Георгий Николаевич, проживающий в городе Алма-Ата, улица Карла Маркса, 62, даю настоящую подписку следователю милиции по Алма-Атинской области Зеленому А. И. в том, что до окончания предварительного следствия и суда в преступлении, предусмотренном 112-й ст. УК РСФСР (преступная халатность), обязуюсь не выезжать с места своего жительства без разрешения следователя и суда и явиться по требованию следственных или судебных органов.

Обвиняемый...

Подписку отобрал...».

Вышел он из управления уже в девятом часу. Было совсем темно. Он постоял, подумал и вдруг ринулся на угол к автомату. Назвал нужный номер, телефонистка соединила, и никто не ответил. Он перезвонил, стоял, кусал губы, понимал, что ее нет дома, но все-таки стоял и ждал, пока со станции не ответили: «Абонент не подходит», тогда он швырнул трубку, вышел и хлопнул дверью так, что все зазвенело. «Опять упустил...— сказал он громко.— Ах ты...» И быстро пошел, почти побежал, добежал до дома и вдруг застыл. В окнах горел свет. Яркий, открытый, наглый. На занавеске стояло округлое черно-зеленое пятно. Кто-то рылся в его столе. Он полез в карман. Ключи были

там. Значит, дверь они попросту взломали. В столе лежит коробка патронов. Они их уже нашли. Ну, значит — все. Он мгновенно сообразил это и еще сотни других мелочей и разностей — и важных, и совершенно не важных, потому что сейчас все было совершенно не важно, ибо ничего нельзя было уже поделать. И вдруг он больно стукнулся головой о дерево: оказывается, он все отступал и отступал, все пятился и пятился, пока не налетел на ограду парка. Это сразу отрезвило его, и он подумал: «А подписка-то? Зачем тогда они отбирают подписку-то?» Но сейчас же понял, что «зачем» тут ни к чему, и не такое еще сейчас случается, а в общем, никто не знает, что сейчас случается, а что нет, и не об этом нужно думать, а надо что-то немедленно решать. Бежать к директору — ведь он ждет его звонка. Пусть сейчас же он трезвонит по всем вертушкам и требует остановить, отменить, задержать. Да, да — бежать к директору. Он отошел от ограды парка, сделал два шага и тут же почувствовал — именно почувствовал, а не понял,— что все это глупость, ерунда, бред собачий и теперь уже и это ни к чему. У них же ордер! А ордер сильнее всего на свете. И ему вспомнилось, как только месяц назад он был понятым и военный ему предъявил ордер на право обыска и ареста его соседа. И как он тогда, увидев эту гнусную зубчатую бумажку с синим факсимиле внизу, онемел, отупел и просидел два часа не шелохнувшись. И таким-то он был тогда смиренным и все понимающим, и согласным со всем, что просто плюнуть хочется. И как он, когда тот несчастный обращал на него глаза, быстро отворачивался. Вот и директор теперь тоже отвернется. Нет, надо кончать. Чего зря пугать людей?

Он нашел дыру в ограде — ребята выломали один прут,— протиснулся сквозь нее боком и зашагал к могилам. Могил было две: генерала Колпаковского и его супруги. Когда-то здесь находились цветники, стояла ограда, висела неугасимая лампадка. Сейчас ничего не было. Только две огромные глыбины из красного гранита да черная якорная цепь над ними — смертная двуспальная опочивальня! Цепь огораживала этот кусочек парка от мира. Она тоже, конечно, что-то обозначала: вероятно, последнюю пристань, державность брака, нерасторжимость душ, крепость смерти, а вернее всего, как поется в церкви: «Оглашенные, изыдите». Вот цепь, вот камень, вот крест — на этом месте кончилось земное и началось небесное. Не подходите, оглашенные,— сие место свято! Но оглашенные не ушли, а начисто растаскали все, что только

могли. Даже мрамор с фамилиями и то утащили, и только цепь над двумя безымянными могилами попрежнему висела в древесной сырой полутьме и пугала случайные парочки. Директор не раз собирался убрать или просто взорвать эти глыбины, да руки все не доходили. А потом и он, Зыбин, вмешался. Он сказал: «Все это как-никак, а история, краеведенье. Времена меняются. Вот Хабаров уже опять великий человек, и Кутузов тоже великий человек, и даже суворовский музей открыт опять в Ленинграде. Так мало ли что! Повремените». И могилы остались. Под одной из глыбин у Зыбина был тайник. Как-то очень давно, ранней весной, он обнаружил под одной плитой дыру. Рука уходила в нее по плечо. Бог знает, что это было: нора, правда тайник или просто земля осела под камнем. Тогда, во всяком случае, в дыре была только жидкая грязь, и он забыл о тайнике. А вспомнил о нем внезапно через месяц, когда ему пришлось прятать от деда бутылку коньяка. А потом тайник служил ему верой и правдой по всяким случаям круглый год. И сейчас он опять отыскал его и спустил туда браунинг, фонарик и охотничий нож. «Еще хорошо,— подумал он,— что не обыскали». А впрочем, сейчас и на это плевать.

И вдруг он почувствовал страшную усталость — не боль, не страх, не тоску, а именно усталость. «Так вот где таилась погибель моя»,— подумал он. А ведь еще сегодня утром он купался в горной речке, карабкался по пригорку, слушал кузнечиков и стоял под свежим горным ветром. Как это все-таки удивительно! А самые-то две последние мысли его были — первая: «Так, значит, все-таки так и не удалось встретиться с Линой». И вторая: «А может, все-таки не поддаваться им, сбежать». До Или верст тридцать пять. Туда ходят порожняки. Вскочил на подножку и уехал, и до утра его не хватятся. А на Или жар, сухая степь, раскаленная земля, желтая река. Склоны, обрывы, уступы — черный, зеленый, синий камень, и по нему мечутся кеклики, те самые жирные круглые птицы, которые никогда не водились на Карагалинке. А сползешь с уступов вниз, и откроется глинистая широкая гладь вся в сухих тростниках и камнях. Безлюдье, тишь, только через каждые семь — десять верст попадаются рыбацкие землянки с белыми тростниковыми крышами. Иди до китайской границы, никого не встретишь. А там, в Китае... И вдруг он понял, что сходит с ума, что сидит на могиле и бредит. Он поднялся, отряхнулся, нашел в кармане зажигалку, щелкнул ею, осветил серую неук-

лжую глыбину. Да, действительно, место последнего причала. Тут уж ничего не скажешь! Генерал Колпаковский, генеральша Колпаковская! «Прощайте, покойнички! Ведь каждый день я проходил мимо ваших превосходительств и даже не замечал вас. А вы ведь город этот построили, парк этот разбили, благодетельствовали, покоряли, искореняли, насаждали, а я так про вас ничего и не знаю. Не дошла еще до вас моя наука, слишком вы для нее молоды. Сто лет — разве это срок для археологии? Но все равно вас скоро вспомнят. Вспомнят, черт их побери, помяните мое слово! Притащат мраморные плиты и бронзой насекут на них ваши имена. А вот цепь, пожалуй, отнимут — ни к чему, скажут, она у нас в стране! Все течет, все меняется, дорогие покойнички! И вот истории уже нужны генералы. А ты, молодая, чудная, в короне, фате и золотом уборе, убитая неизвестно кем и за что, ты, чью голову я сегодня держал в ладонях...»

И вдруг необычайное умиление, расслабленность и растроганность овладели им.

Он сел опять на глыбу и обтер глаза.

Посидел, подумал, поулыбался неизвестно чему и кому, потом встал, пересек газон, вышел на асфальт и остановился под фонарем. Свет был желтый, жидкий, противный. Он стоял, опустив руки и голову, и ни о чем и ни о ком уже не думал, а только стискивал и стискивал себя в кулак.

Прошло десять минут, двадцать, полчаса — он все стоял. Ему надо было вживаться, уйти в себя, поверить в то, что произойдет с ним сейчас, сию минуту, во всяком случае, в этот час. Вот он войдет к себе, и сразу окажется, что этот дом уже не его, а их, а ему они прикажут сесть и не двигаться, выпотрошат карманы, посадят в машину между двумя и увезут. И он будет уже не он, а некто с обрезанными пуговицами и без шнурков, которого два раза выводят на оправку и раз на прогулку, допрашивают, ругают, грозят и приказывают в чем-то сознаться, чтоб не было хуже. Вот все это ему надо было себе представить, уверовать в это и решиться.

Веселая парочка прошла мимо него. Он стоял на дороге, и им пришлось его обойти. В конце аллеи они обернулись, и она что-то сказала ему, он засмеялся. Зыбин вспыхнул и пошел. Шел он четкими, уверенными, солдатскими шагами. Раз-два, ать-а! Ничего в нем уже не замирало и не екало. Он был спокоен. Он был так спокоен, что и страха в нем уже не осталось. «Ну посмотрим, посмотрим, господа хорошие»,—

вздрагивало в нем что-то злое, решительное и почти радостное. Таким он зашел на крыльцо и со всего размаху пнул дверь. Она сразу же отскочила. В тамбуре было темно и тихо. Крошечная коридорная лампочка освещала три двери — две белые и одну черную. Черная на чердак, правая белая — к соседу, левая белая — его. И только что он занес ногу, чтоб ткнуть со всего размаху эту левую белую, как вдруг запел Вертинский. «Вот сволочи,— подумал он ошалело,— совести у них уж никакой»,— и не пнул, как собирался, а тихонько открыл дверь, так, что она не скрипнула.

На столе, покрытом белой свежей скатертью, стоял патефон, и над ним колдовал Петька, электротехник музея. В кресле сидел дед. «Понятые»,— понял он. И тут он вдруг увидел Лину. Она появилась из глубины комнаты, подошла к Петьке и жарко наклонилась над ним. На ней был алый шарф. В волосах торчала высокая гребенка. Все было беззвучно, как в немом кино. Он так остолбенел, что ухватился за дверь, и она скрипнула.

И тут его увидел дед.

— Появился,— сказал он насмешливо.— Ты мне ведро водки должен поставить. Еле-еле удержал твоих красавиц. Пять раз уж собирались идти. Водку, спрашиваю, принес? А то сейчас к шоферам пошлю.

Все обернулись. Зыбин стоял на пороге. Все было странно и чудно, точно во сне.

— Лина,— сказал он подавленно.— А я сейчас хотел бежать к вам.

Она засмеялась, шарф упал, и теперь свет бил вовсю по ней, по ее голым плечам.

— А вы всегда, Георгий Николаевич, много хотите и ничего не делаете,— сказала она спокойно и радостно. И он вздрогнул от ее голоса, оттого, что все это на самом деле.

— Лина! — крикнул он, бросаясь к ней.— Лина!

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой,— она протянула ему обе руки и этим как бы приблизила и вместе с тем удержала на расстоянии,— ну-ка дайте взглянуть на вас. Ой, похудел, почернел, погрубел, но ничего, ничего! Все такой же красивый.

— Он золото,— прохрипел дед.— Он пятьсот стоит. Если бы пил меньше...

— Да нет, меньше никак не выходит,— засмеялась Лина и наконец развела руки: разрешила себя обнять.— Компания не та. Мы вас с Кларой уже часа два ждем, все около дома на лавочке сидели. А вот встретился

молодой человек и привел сюда. Оказывается, у вас один ключ ко всем дверям подходит. Обчистят вас когда-нибудь до нитки, товарищ дорогой.

— А что у него воровать-то?—прищурился дед.— Бумаги? Я ему говорю, дай на пол-литра, я все их на тачке зараз свезу в утиль.

— Лина, милая Лина.—Он обнимал ее и прижимал к себе, и глаза у него были мокрые от слез.

Она немного постояла, потом тихонько отстранилась и ласково сказала:

— Ну, ну, ладно, ладно, потом. Вы вот перед Кларой-то извинитесь, она все время звонила директору.

Вот тут он и увидел Клару. Быть может, на ней горел отраженный свет Лины, может, весь мир сделался для него в эти минуты прекрасным, но Клара сейчас показалась ему очень красивой. Высокая, тонкая, стройная, с матовым спокойным лицом и черно-синими волосами. И платье было на ней черное и глухое.

«Похожая на черное распятье»,—вспомнил он чью-то строчку.

— Ну так все в порядке?—спросила она тихо, подходя.

На мгновение он задумался, потому что начисто забыл про все и все это надо было вспоминать сначала, а потом бухнул:

— В порядке, я расписку уж дал.

— Какую?—испугалась Лина.

— Как?—схватила его за руку Клара.

— А это чтоб не убежал,—сказал дед понимающе,—а то заберет золото да и махнет в Америку. Такие события тоже бывают. Вот когда я у Шахворостова купца работал, казначей у него был, такая пьяница горькая, беспортошная, а знаешь как воображал про себя? Так вот раз тоже забрал из магазина выручку за неделю да и...

— Так ведь золота он даже и не видел,— беспокойно сказала Клара и оглянулась на деда.

— А там разберут, разберут, видел он или не видел,—отрезал дед и махнул рукой.—Там все до ниточки разберут—кто он, откуда, когда родился, когда женился. Вот директора как вызвали туда, так и пропал. Только оттуда допустили позвонить—запри, мол, кабинет и пусть ученый сразу ко мне бегит, если его не посадят, конечно. В восемь часов велел зайти.

— Что?—вскочил Зыбин.—Так что ж ты...

И как раз зазвонил телефон. Клара подошла и сняла трубку.

— Да,— сказала она.— Да! Вот передаю.— И протянула трубку Зыбину.

— Ты что, живой?— спросил директор жизнерадостно.— А я уж звонил в милицию, что, мол, мучаете нашу ученую часть. Что они там от тебя хотят? Золота?

— Подписку отобрали,— ответил Зыбин.

— Что?! — сразу взвился директор.— Подписку?.. И ты небось сразу и дал? Эх, шляпа! Зачем же было давать? Ты б хоть со мной посоветовался, а то небось оробел и сразу же подписал. Эх, шляпа, шляпа. Ну ладно, беда невелика. Дед у тебя? Все пьете? И Клару на радостях поите небось? Ты смотри! Я сегодня посмотрел — у нее губы посинели. А кто еще там у тебя?

— Петр и дед,— ответил Зыбин.

— И все? Ты смотри, брат, все прошляпишь,— сказал директор,— и ту и эту! Ну ладно. Поговорим. Спокойной ночи. И завтра на службе чтоб как стеклышко! Чтоб весь звенел, понял?

Когда он отошел от телефона, Лина была уже в плаще.

— Вы сначала меня проводите,— приказала она,— а потом Кларочку доведете до дому.— Она подхватила Клару под руку.— Пойдемте, моя хорошая, вы ведь тоже устали и изнервничались. Ух, какие у вас в Алма-Ате ночи!

Дед идти отказался.

— Вы уж одни, вы все молодые, веселые, у вас свои разговоры, а мне завтра с петухами вставать. Мне даром никто деньги платить не желает. Так что прощенья просим.

И ушел, твердо надев картуз и даже не покачиваясь.

— Вы заприте дверь,— приказала Лина с порога, когда все вышли.— Как же так, оставлять дом ночью открытым, что так плохо за вами ваши женщины смотрят?

Луна висела над собором большая, мутнопрозрачная, как кусок янтаря над свечкой. Было светло и тихо, и даже тополя не шумели. Лина вдруг остановилась посредине улицы, откинула голову и несколько раз глубоко вобрала воздух.

— Чувствуете море?— сказала она, хватая Зыбина за руку.— Оно вон, вон за той аллеей! И тополя такие же, только совсем тихие. Помните, как вы их называ-

ли? Цыганками! Там, Кларочка, у них каждый листочек дрожит. А здесь они у вас стоят не шелохнутся.

— Но это они до разу,— обиделся за свои тополя Петька,— как ветер налетит, так сразу зашумят, как пена в тазу.

Лина посмотрела на него и рассмеялась.

— Нет, Петр Николаевич, вы просто прелесть,— сказала она и подхватила его под руку.— Как пена в тазу. Жена стирает на ночь в тазике блузку и вешает над примусом, чтоб к утру просохла, а муж ворочается во сне и слышит. Вы женаты, Петр Николаевич?

Петька отвернулся.

— Нет,— сказал он угрюмо.

— Ну и не надо,— весело посоветовала ему Лина.— Еще успеете запрячься. Вот Георгий Николаевич никогда не женится. Сколько бы ни собирался, а не сумеет. Я его знаю. Мы старые друзья. Кларочка, а далеко отсюда до большой воды?

— Да верст, наверное, тридцать пять будет,— ответил Зыбин.— Поезд идет почти полтора часа.— И чуть не добавил: «Отходит в семь тринадцать от городской платформы».

И сейчас же он снова увидел спокойную глинистую реку, сыпучую гальку, сухой белый и желтый тростник, скалистые берега из синих, желтых, черных, белых, разноцветных камней. Жара, сушь, и так сохнет во рту, что даже вода освежает только на минуту.

— Как-нибудь обязательно съездим,— сказала Лина.— Ладно, Кларочка?

Она уже подхватила Клару под руку. А та шла и смотрела через верхушки тополей на горы, на голубые от луны горные леса. Вопрос Лины она так и не расслышала.

А та уже опять повернулась к Петьке.

— Совершенно морской город,— сказала она уверенно.— Здесь море живет в каждом доме, в каждом тополе. Я сразу вспомнила — черноморские бульвары такие. Впрочем, их надо видеть. Георгий Николаевич, а помните тот парк, где вы в тире выиграли матрешку? Вы знаете, Кларочка, она и до сих пор стоит у меня на буфете. Такая огромная! Подарочная! С полметра! Вы никогда не были на море, Кларочка?

Клара покачала головой. Она все так же неподвижно смотрела на лунное небо и горные мохнатые перевалы.

— Ну вот и отлично, соберемся все и поедем. Вы еще отпуска-то не брали, хранитель? Ну и не берите! Возьмем вместе в апреле или в мае.— Они остановились

перед гостиницей.— Ну вот, товарищи, я и дома. Спасибо. Теперь проводите Кларочку и — спать, спать. Георгий Николаевич, я вам завтра позвоню после работы, хорошо?

— Хорошо,— ответил он.— Только, если можно, попозднее, я завтра еду в одно место и, наверно, задержусь.

— Это куда же?

— Ну по работе надо.

Лина засмеялась опять.

— Вот что значит дикий человек. Не знает ни работы, ни отдыха. Ну ничего. Мы теперь за вас с Кларочкой примемся! Затаскаем вас по горам. Эх, жалко, что мне завтра рано вставать! В такие ночи нужно шляться по улицам до рассвета. Ну, привет, товарищи!

И ушла, помахивая рукой.

Обратно они шли втроем. Он держал Клару под руку и физически чувствовал, как ей не терпится добраться до кровати и рухнуть лицом в подушку. Он молчал. «Дрянь я все-таки страшная»,— подумал он, сказал это слово вслух и сейчас же сгорел от стыда: затряс головой, заулыбался, загримасничал, забормотал что-то. Петька удивленно покосился на него, а Клара спросила:

— Так во сколько вас завтра разбудить по телефону?

— Ну вот еще,— ответил он.— С чего это вы меня станете будить? Я вас разбужу!

Она вздохнула.

— Отлично!

— Часов в семь для вас не очень рано?— спросил он.

— Нет, не очень. Можно и раньше.

Она вдруг остановилась.

— Ну, вот уж мой дом,— вздохнула она со страшным облегчением.— Спокойной ночи.

И она скрылась в глубине двора, даже не простившись.

Дома он опять зажег все лампы — настольную, люстру, боковой свет,— прошел к столу и бухнулся в кресло. Все здесь еще носило ее отпечатки: вот стул — на нем она сидела, вот стакан — она его не допила, вот половина конфеты, вот книжка — она ее

просматривала и бросила на диван. И тут он вдруг понял, что совершенно зря позвал Клару. С Петькой было бы все куда проще. А теперь им придется провести целый день наедине. Ведь в самом лучшем случае — если они попадут на семичасовой — он вернется в шесть! Значит, позвонит Лине часов в восемь — девять. Опять неладно! Впрочем, это уж и не важно. Теперь это не самое главное. Самое главное, что она его все-таки нашла. Ведь приехала-то она одна! Стоп! Ты так уверен, что одна? Он вскочил, сел на диван и стал быстро листать книжку. Нет, конечно, все-таки, конечно, одна. Иначе она сказала бы. Кларе, например, обязательно бы сказала. А впрочем, с нее все станется. Может быть, и не одна. Ну что ж, тогда они как встретятся, так и разойдутся. За эти годы он многому научился, он «изучил науку расставанья». Вероятно, это уже старость подходит. Все стало легко. Вот Корнилов не такой. Он молод, горяч и, как говорит Державин, к правде черт. Зато и своего не упустит. Вот Даша, кажется, уже его. Как она сегодня ринулась за него в бой! Потапов даже засопел от неожиданности. Что ж? Правильно! У Корнилова все ясно, четко, недвусмысленно. Как он думает, так и режет. А вот он хитрит. А Потапов рычит и дрожит, а Клара молчит и прячет глаза. И никто ничего толком не может объяснить, что случилось с людьми. А без этого и жить нельзя. В мире происходит что-то совершенно необычайное. Крутят по миру какие-то черные чудовищные протуберанцы и метут, метут все что ни попадется на пути. Почему, зачем — кто поймет? Хотя читай речи вождей, в них все ясно. «Это и есть истина,— сказал сегодня директор.— Если мы будем в это верить, то победим». И верят же, действительно верят. Ох уж эта вера! Та самая, что горами двигает и города берет. Где бы и мне ее достать? Верую, верую, господи, помоги же моему неверию! А впрочем, зачем тебе вера? Помнишь Сенеку, трагедию «Эдип»: «Да будет мне позволено молчать — какая есть свобода меньше этой?» Так вот воспользуйся хоть этой самой меньшей свободой. Так ведь не воспользуешься, опять начнешь все объяснять и подгонять, вот как сегодня ты пел Даше: «Надо знать, когда и кто». Сознайся, гадко ведь, а? А вот у Корнилова этого нет. За это его и любят. Но только с Линой у него определенно ничего не получится. Она стена для таких, как он. Ее в мире не интересует ничего, кроме ее самой. Вот море, походы, костры из смоляных ветвей, сноп искр над костром, прогулки до зари по берегу — это ее. И она не

притворяется — она действительно такая. И ты без памяти влюбляешься в это цельное, бездумное, свободное от страха существование. Оно же по-настоящему прекрасно! Потом наступает, конечно, отрезвление. Она расстается с тобой на вокзале, ты уходишь очарованный, влюбленный, надававший тысячи клятв себе и ей, сидишь один в комнате, вспоминаешь и думаешь, улыбаешься своим мыслям. Так проходит неделя, другая, и вдруг наступает отрезвление. Ты понимаешь, что какая-то невероятная сухость, черствость и даже старчество проглядывает в ее невозмутимой ясности. И самое главное — она ведь проговаривается! Нет, нет, она не особенно умна. Ее гармонию держит инстинкт, привычка, бессознательное чувство равновесия, а никак не разум. Она могла с ясным лицом рассказать о себе что-нибудь такое, что даже в те блаженные дни вдруг заставляло его как бы мгновенно осечься, очнуться, упасть с пятого этажа — посмотреть на нее со стороны. Господи, что же это такое? Но все это и продолжалось мгновение. Она сразу же ловила его настроение и всегда умела заставить забыть его все. Чуткой в этом отношении она была невероятно. Как бы он ни старался скрыть свое настроение, она видела его насквозь. Даже во время разговора по телефону. Но один раз он все-таки взорвался, и тогда они поссорились. И вот теперь...

Он думал об этом и сам не замечал, как клонится долу, дремлет, засыпает, сидя в кресле около окна. Он так ничего как следует и не продумал и не решил насчет завтрашнего утра.

А проснулся он внезапно и сам не понял почему. Поднял голову и поглядел в окно. И вдруг услышал тихое поцарапыванье, потом стук, тоже тихий-тихий, «тук-тук, тук-тук». Он подумал, что это, наверно, ветка качается. Но стук повторился — четкий, ритмичный, и тут из темноты вдруг выплыло и прижалось к стеклу лицо Лины. Она смотрела и делала рукой какие-то знаки. Он вскочил, подлетел к окну и так резко рванул раму, что что-то посыпалось на подоконник.

— Боже мой,— только и сказал он.

И больше у него ничего не нашлось.

— Принимаете гостей? — спросила она весело.— А ну-ка руку.— И, не задев подоконника, она гибко, как на турнике, перекинулась в комнату.— Ну вот и все. Вот что значит ГТО первой ступени.

Он стоял перед ней и не знал, что и сказать и что сделать. Просто стоял и смотрел.

А она спокойно подошла к зеркалу и поправила волосы.

— Девушку проводили домой? — спросила она не оборачиваясь.— Великолепная девочка! Серьезная такая, простая и о вас убивается. А вы ничего замечать не хотите. Эх вы! У вас гребенка-то есть? Дайте-ка я причешусь.— Она вынула пудреницу и несколько раз коснулась пуховкой щек.— Больше всего боюсь загореть. Слушайте, подарите-ка мне вот такую белую шляпу с полями, в них, кажется, здесь пастухи ходят. У вас, наверно, есть такие.

— Сейчас, сейчас,— сказал он и кинулся куда-то в угол.

— Да стойте, куда вы? — засмеялась она.— Пойдите-ка сюда.— И она сбросила ему на руки платок. Плечи у нее опять оказались голыми. Он молчал. Она усмехнулась и провела рукой ему по волосам.— Все такой же трепаный. А время два часа! Ну все равно, полчаса я, пожалуй, могу посидеть. Чаем напоите?

И пока он ходил по комнате, возился с чайником, мыл чашки, она сидела на диване. Сидела и смотрела на него молча смеющимися, сияющими, слегка тревожными глазами.

А он, сделав все, вдруг подошел и крепко обнял ее за плечи. Она, улыбаясь, посмотрела на него, тогда он притянул к себе ее голову и поцеловал, расплющивая губы, крепко и больно несколько раз. Потом стал целовать глаза и опять губы. Тут она ладонью слегка уперлась в его лоб.

— Ну, ну,— сказала она.— Не торопитесь! Сядьте, поговорим. (Он все не отпускал ее.) Но ведь вы даже не знаете, одна я тут или нет.

— Одна,— ответил он уверенно.

— И думаю только о вас? — Она легонько освободилась от его рук.— Постойте-ка, художественная часть потом. Рассказывайте про себя.— Она встала, прошлась по комнате, подошла к барометру.— Великая сушь,— прочитала она.— Значит, живете, работаете и, как говорит ваш директор, закапываете в землю казенные деньги. До того уж докопались, что вас таскают в милицию и отбирают подписку — дальше-то теперь что? (Он сделал какое-то движение.) И хорошо, тут вы, положим, ни при чем. За это ответит директор, но вы что? Решили здесь осесть? Остаться навсегда в этой комнате?

— Почему? — спросил он.

— Нет, это я вас спрашиваю почему.. Это что — ваше жизненное назначение — грызть эти холмы? А?

Он пробормотал:

— Не знаю. А что?

Она рассмеялась.

— Да нет, опять-таки ничего. Просто я как-то совсем не того ожидала от вас.— Она посмотрела на него.— Я ведь очень, очень часто вспоминала вас.

Он встал, подошел к чайнику, пощупал его ладонью и снова заходил по комнате. Ему надо было собраться с мыслями.

— Раскопки ведутся дилетантски,— сказал он наконец.— Непоправимо дилетантски. Ни я, ни тем более Корнилов не знаем, что творим. Даже какой объект раскапываем, и то не знаем. Если бы здесь появились настоящие ученые, они не взяли бы нас даже в препараторы. Это так.

Она слегка неожиданно развела руками. Он мельком взглянул на нее и продолжал:

— Да, вряд ли взяли бы даже в препараторы. Впрочем, Корнилова, вероятно, взяли бы. Он окончил что-то археологическое. А меня бы, конечно, погнали в шею. Я же даже не историк, и сидеть бы мне да сидеть над изучением первоисточников по истории античного христианства. Вот тогда бы я был действительно на своем месте. Но что делать? Мы хоть понимаем, с чем мы имеем дело. И если что-нибудь не знаем, то уж не знаем по-научному. А здесь просто никто ничего не знает, и все. До сих пор раскопки вели учитель французского языка, статистик, землемер, гидротехник, чиновник особых поручений. Это если брать весь Казахстан в целом. Здесь же вообще, кроме кладоискателей, никого и не было. Если нам и далее повезет так же ослепительно, как повезло этим неизвестным — я говорю о золоте,— то уже в будущем году сюда приедет экспедиция Эрмитажа и нас всех разгонят. Да еще обзовут, поди, за то, что мы натворили. Но дело-то уж будет сделано. Так что меня как раз интересует не это.

— А что же? — спросила она.— Что же вас интересует, хранитель?

Он подошел к плитке, выключил ее, снял чайник, заварил, укутал его салфеткой и снова заходил по комнате. У него было такое ощущение, что он увидел ее сегодня, рванулся к ней и отскочил, потому что между ними было то же самое оконное стекло и он расшибся до крови. Эта боль его сейчас и отрезвила.

— Я хочу добраться до азиатских пустынь,— сказал он,— там пески засосали замки, усадьбы, города, там обсерватории, библиотеки и театры. Это Хорезм, Маргиана, Бактрия. Вы знаете, что такое раскаленный песок? Заройте в него человека, и он через месяц высохнет, одеревенеет, но останется по виду прежним. Что перед этим богатством Нубия и Египет? А древний Отрар? Вторая библиотека древнего мира? Ее до сих пор не нашли, но она где-то там, в подземелье. И вот в какой-нибудь нише стоит сундук, и в нем лежит полный Тацит, все сто драм Софокла, десять книг Сафо, все элегии великого Галла, от которого не осталось ни строчки. Вот куда хочу я обязательно добраться с лопатой. А это так, начало.

Он подошел к столу и стал разливать чай.

Она вдруг подошла и обхватила его.

— Фантазер вы мой,— сказала она ласково, прижимаясь к нему.— Барон Мюнхгаузен. Как я боялась, что вы уже не тот! А вы... Да бросьте вы этот чай, никому он не нужен. Идите-ка ко мне.— И она бухнула его на диван.

— Ну хорошо,— сказала она.— Все это хоть не особенно логично, но все-таки на что-то похоже. Но ты ведь копаешься не там, в песках, а здесь, в глине, какой уж тут Тацит и Эврипид.

Они оба лежали на диване, и она слегка его обнимала за плечи.

— Стой, стой, не перебивай. Я чувствую, с тобой что-то творится. При чем тут эта девочка с глазами серны, этот дед, водка? По-моему, ты после нашей встречи однажды здорово получил по шее и вот забегал, заметался, так? (Он молчал.) Ладно, не хочешь говорить — не говори. Тогда я спрошу другое: вот эти люди, которые с тобой работают, кто они? Как они к тебе относятся?

В вопросе был уже и ответ. То есть он понял по ее тону, что это, пожалуй, уже и не вопрос, а ответ.

— Ты о ком спрашиваешь? — спросил он не сразу.

— Не бойся, не о Кларе. Тут уж все ясно.

— Так о ком?

— Не нравится мне твоя дружба с Корниловым,— сказала она после недолгого молчания. Он удивленно посмотрел на нее.— То есть парень-то он ничего, с этим самым,— она покрутила пальцем у головы,— с бзиком, с фантазией, но, милый, плевать он хотел на твои пески. И сидит он там только потому, что ему некуда

деться. Но и пить он там может сколько угодно. И девушка у него под боком. Что еще надо? Живет мужчина!

— Ты даже девушку заметила,— усмехнулся он.

— Да не очень большая премудрость, дорогой, заметить девушку. Но если бы ты только присутствовал при нашем с ним знакомстве и поездке в горы...

— А что?—спросил он с любопытством.

— Да то! Пришел, увидел, победил. И сразу же понял, что победил. После того как он на моих глазах сиганул во всем в эту... Ну как называется это ваше недоразумение? Алмаатинка, что ли? Так вот, он нырнул в самый водоворот у камня, достал какие-то там голыши, видел бы ты, как он взглянул на меня. Гром и молния! Цезарь и Клеопатра!

И они оба немного посмеялись.

— Но все-таки, почему он тебе не понравился?— спросил он.

— Наоборот, очень понравился!—ответила она.— Очень. А вот ваши с ним отношения мне не очень нравятся. Ведь вы, наверно, спорите, а? Он тебе что-нибудь говорит такое, а ты ему отвечаешь чем-нибудь этаким? Да? И орете на весь колхоз? (Он молчал.) Вот это мне не нравится. Очень, до крайности не нравится. Просто из самых мелких, эгоистических соображений не нравится. Ты же знаешь, какая я черствая эгоистка.

Он поднял голову.

— Знаю,— ответил он серьезно, без улыбки.

— Ну вот и все! Я приехала специально к тебе, и если вдруг с тобой случится что-нибудь, для меня это будет страшным ударом—разве непонятно?

— Да,— сказал он, вдумываясь в ее слова,— понятно.— И еще раз повторил:—Да. Понятно. Стойка, я закрою окно.

Он ушел в темноту, постоял, повозился, позвенел чем-то, потом подошел к ней, но не лег, а сел рядом. Она почувствовала, что он снова ушел от нее куда-то, и ласково спросила: «Ну что ты?»—обхватила его за талию и притянула к себе.

— Я ж тебя люблю,— сказала она грубо, по-бабьи.— Люблю, дуралей ты этакий. Разве ты не видишь?

— Ты разговаривала с директором?—спросил он все из того же отдаления.

— Ну что ты?—спокойно удивилась она.— Конечно, нет.

— Значит, Клара тебе наговорила,— кивнул он го-

ловой.— Но все равно, это очень странно.— Он вдруг положил ей руку на плечо.— Но раз ты уж начала этот разговор. Расскажи все толком, что она тебе наговорила. Только толком, толком. Стой! Ты ведь хочешь, чтоб я что-то понял, так? Ну вот и объясни мне что и как.

Она помолчала, подумала.

— У Корнилова уже сложилась нехорошая репутация,— сказала она не сразу.— При всех его разговорах присутствуешь ты. Присутствуешь, и слушаешь, и молчишь, то есть одобряешь. Ты понимаешь, что это значит?

— Ну, ну,— сказал он, когда она замолчала.— Я слушаю, что же дальше? Корнилов много болтает, я молчу. Но какой-нибудь разговор конкретно назывался? Фразы какие-нибудь, анекдоты, хохмочки? Конкретно, конкретно. Тогда-то, там-то.

— Конкретно нет.

— И все это Клара тебе рассказала, когда вы ждали сегодня меня на лавочке. Понятно. Значит, вот о чем с ней сегодня говорил директор.

— Директор?—испугалась она.— Неужели и директор что-то заметил? Тогда это очень и очень серьезно. Вот до чего тебя довел Корнилов. Его пьяные выходки. Гнать его надо, и все!

Он лениво усмехнулся и лег с ней рядом.

— Ладно, теперь уж все равно поздно. Давай-ка спать лучше.

— Ты послушай меня, ты первый и последний раз послушай меня. Я знаю, что ты думаешь про меня. Этого ведь не скроешь. Могу только сказать одно: психолог ты никудышный. Писатель из тебя не получился. Но не в этом дело. Если бы ты имел какую-то цель, что-нибудь да хотел, чего-то добивался. Но ведь ты ровно ничего не хочешь, ты только ходишь и треплешься, рискуешь головой за словечко, за анекдот. Высказываешь свое недовольство в формах, опасных для жизни. Ты, как говорят юристы, источник повышенной опасности.

Он открыл глаза.

— Это для кого же я такой?

— Ну хотя бы для тех, к кому ты обращаешься. Пойми, люди попросту боятся. А ты покушаешься на их существование. В мире сейчас ходит великий страх. Все всего боятся. Всем важно только одно: высидеть и переждать.

— Вот как ты заговорила,— сказал он удивленно.— А я-то думал...

— Ай, ты думал! Противно! Ничего ты обо мне не думал и не думаешь! Не знаешь ты меня, и все! А ведешь ты себя, как хулиганистый ученик. Знаешь, всегда находится такой заводила в классе. Встает, задает ехидные вопросы, класс гогочет, а он сияет, вон, мол, какой я умник! Класс он, конечно, насмешит, учителя вгонит в пот, но из школы тоже вылетит пулей — директора таких не терпят. И им наплевать, кто прав — он или учитель, им важна дисциплина. Пойми, не ты опасен, опасно спускать тебе все с рук. Опасно то, что у тебя уже появились подражатели — они пойдут дальше тебя, хоть на пальчик, да дальше, а потом и вообще. Вот почему в наше время и слово считается делом, а разговор деятельностью. Есть времена, когда слово — преступление. Мы живем сейчас именно в такое время. С этим надо мириться.

— Сейчас ты заговоришь со мной о войне — не надо! — сказал он.— Директор с этим уже надоел.

— Не бойся, не заговорю, а просто спрошу. Ты хорошо понимаешь, что ты делаешь? Тебе что, очень дорог этот Корнилов? Все эти его пьяные выходки, тебе они очень дороги?

«Вот баба,— подумал Зыбин,— обязательно надо будет предупредить Корнилова»,— и сказал:

— Ну при чем же тут твой Корнилов? Что ты нас сравниваешь? Корнилову наступили на хвост, вот он и орет дурным голосом. Нет, тут другое.— Он потер себе переносицу.— Ты понимаешь,— продолжал он уже медленно и задумчиво, подбирая слова,— ты говоришь, что я треплюсь, а я ведь молчу, я как рыба молчу, но тут вы все правы, я чувствую, что не смогу так жить дальше. Не смогу, и все, что как-нибудь каркну во все воронье горло, и тогда уж действительно отрывай, как говорит дед, подковки.

— Ну зачем же ты каркаешь, если понимаешь это? — спросила она недоуменно.— Чего тебе не хватает? Тебе-то кто наступил на хвост?

— Стой, послушай — я сегодня целый час дрожал и прощался с жизнью. Бог его знает, что я пережил за то время, пока стоял и смотрел на свое окно. Какой ужас: в нем горит свет! Значит, пришли по мою душу. Да! Ничего другого мне и в голову не пришло! Зачем? Почему? За что? Да разве я мог задавать себе такие вопросы? Только дурак сейчас спрашивает: за что? Умному они и в голову не придут. Берут, и все. Это как закон природы. Только я не могу уже больше пережи-

вать это унижение, этот проклятый страх, что сидит у меня где-то под кожей. Чего мне не хватает? Меня самого мне не хватает. Я как старый хрипучий граммофон. В меня заложили семь или десять пластинок, и вот я хриплю их, как только ткнут пальцем.

— Какие еще пластинки?—спросила она сердито.

Он усмехнулся.

— А я их все могу пересчитать по пальцам. Вот пожалуйста: «Если враг не сдается—его уничтожают», «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина», «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», «Лучший друг ученых, лучший друг писателей, лучший друг физкультурников, лучший друг пожарников—товарищ Сталин», «Самое ценное на земле—люди», «Кто не с нами, тот против нас», «Идиотская болезнь—благодушие». Все это вместе называется «новый, советский человек» и «черты нового, советского человека». Ух, черт!—Он ударил кулаком по дивану.

— Да, но чего ж ты все-таки добиваешься?—спросила она.— Мир переделать на свой лад ты не можешь, принимать его таким, как он есть,— не желаешь. Он для тебя плох. Необитаемых островов у нас нету, да тебе их и не отдадут, ну, значит?

Она развела руками.

— Значит!—ответил он твердо.— Значит!— Подошел к шкафу и достал простыни.— Значит, моя дорогая, что уж скоро утро и надо спать. Все! Поговорили!

Она медленно покачала головой.

— Я же тебя люблю, дурак ты этакий,—сказала она задумчиво,—мне будет очень трудно тебя потерять, а ты этого не понимаешь.

Он лег на диван, вытянулся и закрыл глаза.

— Вот ты думаешь, что я всегда не права,—сказала она.

— Напротив, ты всегда права,—ответил он уже сонным голосом.— Всегда и во всем. В этом и все дело.

Он спал и думал: «Тут две беды. Первая, что я тебя тоже люблю, и здорово еще люблю, а это всегда все путает. Вторая в том, что ты права. Пошлость-то всегда права. Помнишь, я тебе прочитал Пушкина:

> Хоть в узкой голове придворного глупца
> Кутейкин и Христос два равные лица.

Да для любого здравомыслящего Кутейкин куда больше Христа, Христос-то миф, а он — вот он. Он истина! И, как всякая истина, он требует человека целиком, со всеми его потрохами и верой. Исканья кончились. Мир ждал Христа, и вот пришел Христос-Кутейкин, и история вступила в новый этап. И знаешь, у него действительно есть нечто сверхчеловеческое. А я вот не верю и поэтому подлежу не презрению, а уничтожению».

Лина ничего не ответила, она только сделала какое-то неясное движение рукой в сторону окна, и тогда он увидел того, кто сидел в кресле и, наклонившись, внимательно слушал их обоих.

— Вы, видно, на что-то намекаете,— сказал третий, и усы его слегка дрогнули от улыбки.— Но, друг мой, на что б вы ни намекали, помните: исторические параллели всегда рискованны. Это же просто бессмысленно.

Зыбин поглядел на него. Он не удивился: присутствие его было совершенно естественным. Да и не первый разговор был этот. Вот уже с месяц как он приходил сюда почти каждую ночь. И вот что удивительно и страшно — они каждый раз разговаривали очень хорошо, по душам, и Зыбин был исполнен любви, нежности и почтения к этому большому, мудрому человеку. Все недоумение, претензии и даже его гнев и насмешка оставались по ту сторону сна — наяву,— а здесь был один трепет, одно обожанье, одно чувство гордости за то, что он так легко и свободно может говорить с самым большим человеком эпохи и тот понимает его. Что это было? Освобождение от страха? «Подлость во всех жилках», как сказал однажды Пушкин, когда рассказывал о своей встрече с царем, или еще что-нибудь такое же подспудное? Этого он не знал и боялся даже гадать об этом. Но сейчас он решил рассказать все.

— Мир захвачен мелкими людьми,— сказал он, прижав руки к груди.— Людьми, видящими не дальше своего сапога. Они — мелочь, придурки, петрушки, кутейкины, но мир гибнет именно из-за них. Не от силы их гибнет, а от своей слабости.

Гость слегка развел руками, он искренне недоумевал.

— Нелогично,— сказал он.— Опять очень, очень нелогично. Кутейкины? Петрушкины? Как же они могут что-то делать против воли народа? Откуда у вас такое презрение к нему? Вот Угрюм-Бурчеев и тот сказал: «Сие от меня, кажется, не зависит».

— Ах,— ответил Зыбин горестно.— Не в то время пришел ваш Бурчеев, в истории бывают такие эпохи, когда достаточно щелкнуть пальцем, и все закачается и заходит ходуном. А и щелкал-то всего-то карлик, какой-нибудь Тьер. Ведь Гитлер-то карлик, и вокруг него карлики, а умирать он пошлет настоящих людей, молодежь! Цвет нации! Прекрасных парней! И это будет смертельная схватка! Может быть даже, самая последняя.

— Отлично,— сказал гость.— Вы, значит, верите, что она будет последняя. А что мы ее выдержим, в это вы верите?

— Я-то верю,— сказал Зыбин и даже вскочил с дивана.— Я-то в это, как в бога, верю. Но почему же вы не верите своему народу? Вы же сами говорите, у него есть что защищать. Зачем же тогда аресты и тюрьмы? Ведь это ваша любимая песня: «Как невесту, Родину мы любим». Так как же связать то и это?

Гость засмеялся. Он как-то очень добродушно, искренне засмеялся.

— Молодой человек, молодой человек,— сказал он,— как же вы мало знаете жизнь, а еще спорите с нами, стариками. Чтобы построить мост, надо годы работы и несколько тысяч человек, а чтоб взорвать его, достаточно часа и десятка человек. Вот мы и добираемся до этого десятка.

— Да, да, знаю, слышал,— поморщился Зыбин.— И не от вас только слышал. Сен-Жюст еще сказал о своих жертвах: «Может быть, вы правы, но опасность велика, и мы не знаем, где наносить удары. Когда слепой ищет булавку в куче трухи, то он берет всю груду». Видите, он хоть сознавался, что он слепой, а мы тут... Ладно. Теперь у меня вопрос о себе лично. За что вы уничтожите меня?

— За идиотскую болезнь благодушие,— сказал гость любезно.— За то, что вы остаетесь над схваткой. А ведь сказано: «Кто не со мною, тот против меня».

Зыбин засмеялся тоже.

— Ого! Вы уже стали цитировать Маяковского! Раньше за вами этого не водилось. Неужели и он понадобился сейчас в игре?

— Я, дорогой мой, образованнее, чем вы думаете,— сказал гость.— Это не Маяковский, а Евангелие. Зря вы испытываете меня.

— Да, да, простите, слукавил: Евангелие от Матфея, глава двенадцатая, стих тридцатый.

— Ну вот видите, когда и кем это уже было сказано,— скупо улыбнулся гость,— так что же вы

здесь зря прохаживаетесь насчет Христа и Кутейкина? Христы изрекают и проходят, и строить-то приходится нам, Кутейкиным. В этом все и дело. А вы нам мешаете, вот и приходится вас...

И он нажал какую-то кнопку.

Звон был длинный и пронзительный, вошли двое, и один схватил Зыбина за плечо.

Но он все-таки сумел сказать то самое главное, что хотел.

— Весь вопрос,— сказал он,— состоит только в том, можно так или нет. Если нельзя, то вы поставили мир перед ямой. Будет война, голод, смерть, разрушение. Последние люди будут выползать откуда-то и греть ладони около развалин. Но и они не останутся в живых. Но знаете? Я благословил бы такой конец. Что ж? Человечество слукавило, сфальшивило, заслужило свою гибель и погибло. Все! Счет чист! Можно звать обезьян и все начинать сначала. Но мне страшно другое: а вдруг вы правы? Мир уцелеет и процветет. Тогда, значит, разум, совесть, добро, гуманность — все, все, что выковывалось тысячелетиями и считалось целью существования человечества, ровно ничего не стоит. И тогда демократия просто-напросто глупая побасенка о гадком утенке. Никогда-никогда этот гаденыш не станет лебедем. Тогда, чтоб спасти мир, нужно железо и огнеметы, каменные подвалы и в них люди с браунингами. И тогда вы действительно гений, потому что, несмотря на все наши штучки, вы не послушались нас, не дали себя обмануть гуманизмом! Вы вездесущи, как святой дух,— в каждом френче и паре сапог я чувствую вас, вашу личность, ваш стиль, вашу несгибаемость, ваше понимание зла и блага. С каким презрением и, конечно, с вашими интонациями сейчас у нас произносят «добрый». Да и не добрый даже, а «добренький». «Он добренький, и все». «Он бесклассово добрый». «Он внеклассовый гуманист». «Добрый вообще, справедливый вообще, справедливый ко всем на свете». Можно ли осудить еще больнее, выругать хлеще? Да, опасное, опасное слово «добрый»! Недаром им Сервантес окончил «Дон Кихота»! Вы поверили в право шагающего через все и всех и поэтому спасли нас от просто добреньких. А я не верил вам и поэтому проиграл все. Я действительно разлагал, расслаблял, расшатывал, и нет мне места в вашем мире необходимости. Вы не дали себя расслабить благодушием, как бы хитро ни подсовывали его вам наши общие враги.

Поэтому нет сильнее и чище той правды, которую вы внесли в мир. Давите же нас, вечных студентов и вольных слушателей факультета ненужных вещей. К вашим рукам и солдатским сапогам, которыми вы топчете нас, мы должны припадать, как к иконе. Так я скажу, если вы правы и выиграете эту последнюю войну. Ох как будет страшно, если кто-нибудь из вас — фюрер или вы, вождь, ее выиграете. Тогда мир пропал. Тогда человек осужден. На веки вечные, потому что только кулаку он и служит, только кнуту и поклоняется, только в тюрьмах и может жить спокойно.

Он говорил и плакал, плакал и бил себя в грудь кулаком. Он разбросал все подушки, и тогда кто-то, стоящий рядом и невидимый, сурово сказал:

— Ну брось! Что ты разревелся? Ты же отлично знаешь, что не выиграет ни тот, ни другой, ни третий, выиграем мы с тобой. Страна! Народ! Ты! Директор! Клара! Корнилов! Дед! Даша! Ты же повторяешь это себе каждый день! Знаешь, я боюсь за тебя — как ночь, так у тебя этот бред! Нельзя так, нельзя, опомнись!

А звон все продолжался.

От этого звона он и проснулся. Всю комнату заливало раннее, тонкое, прохладное солнце. Соседская черная кошка сидела на подоконнике и в ужасе глядела на него. Он протянул руку, и она мгновенно исчезла. Лины не было. Только на стуле лежала пара ее шпилек. Зазвонил телефон. Он поднял трубку и услышал голос Клары:

— Георгий Николаевич, вы опаздываете уже на полчаса, так поедем или нет?

— Да, да! — крикнул он поспешно. — Я сейчас же... Вы где, у сторожа? Отлично. Он спит?.. Нет, нет, не будите. Там у него в шкафу... Ну хорошо, я сам.

Он опустил трубку на рычаг и с минуту просидел так, неподвижно, стараясь отделить явь от сна. Все стояло перед ним с одинаковой ясностью и достоверностью — окно, разговор за столом, разговор на диване, то, что было раньше, то, что было после. «И что это он зачастил ко мне?» — подумал он.

— Ох, не к добру это! — сказал он вслух и начал собираться.

Клара ждала его. На ней был походный костюм, ландштурмовка и полевой бинокль на ремне через плечо. Рядом на скамейке лежала его сумка с продукта-

ми. Сторож сидел рядом, громко зевал и кулаком растирал глаза. Он всегда просыпался на заре.

— А я боялась, что вы опоздаете,— сказала Клара.— Берите мешок и идемте. В семь тридцать с продуктовой базы отходит на Или колхозная пятитонка. Мы ее еще застанем, если поторопимся.

Он легко поднял сумку, перекинул ее через плечо и сказал:

— Наверняка застанем, пойдемте.

Шофер ссадил их у правления колхоза. Он работал недавно и поэтому никого тут не знал. «Справку,— сказал он,— можно было бы навести у бухгалтера». Но бухгалтера не было, поехал по точкам, на его месте сидела ларечница, но она никого не знала.

— Савельев, тот со дня основания работает,— сказала она на его вопрос, у кого можно достать списки рыбаков.— У него все ведомости. А я тут недавно. А что, разве на кого жалоба подана?

Так Зыбин от нее ничего и не добился. Когда они с Кларой вышли на улицу (серые сырые пески, рытвины и на самом гребне бугра над обрывом правление — вот эта гудящая от ветра фанерная коробка),— так вот, когда они вышли из правления, Клара спросила:

— Теперь куда?

Он сел на лавку и распустил ремни на сумке.

— У вас никаких экстренных дел нет? Ничего такого сегодня у вас в музее не предвидится? (Она покачала головой.) Тогда сойдем вниз и пройдем по берегу. Там везде рыбацкие землянки. В любой нам скажут, где Савельев.

...Великая тишина и спокойствие обняли их, как только они спустились к реке. Здесь было все иное, чем там, на бугре. Медленные глинистые воды текли неведомо куда, таинственно изогнутые деревья стояли над ними. Узенькая тропинка хрустит и колет ноги. Берег взмыл косо вверх и навис желтыми, зелеными и синими глыбинами. Тихо, мрачно и спокойно. И он тоже притих, замолк и стал думать о Лине. Вернее, он даже не думал, он просто переживал ее снова.

«Открой глаза»,— сказал он Лине, когда все кончилось.

Она послушно открыла глаза и посмотрела на него тихим и каким-то исчерпывающим взглядом. Сама пришла и постучала. И влезла в окно. Такая гордая,

хитрая, выскальзывающая из всяких рук. И он вспомнил самое давнее — какой она была тогда, на берегу моря, в день расставанья,— резкая и злая, все сплошь острые углы, обидные фырканья, насмешки. Как это все не походило на вчерашнюю ночь.

— Георгий Николаевич,— позвала Клара сзади.

Он остановился. Оказывается, за своими мыслями он шел все быстрее и быстрее и ушел так далеко, что пришлось его догонять. Она тяжело дышала. Волосы лезли на глаза. Она провела рукой по лицу, отбрасывая их.

И вдруг почти истерическая нежность и чувство вины охватили его.

Он схватил ее за руку.

— Кларочка,— сказал он,— я ведь совсем...— И он хотел сказать, что он совсем, совсем забыл о ней, и осекся.

Он не забыл о ней. Он просто думал о Лине. Он знал за собой это — когда задумывается, то бежит. Чем больше задумывается, тем быстрее бежит.

— Ничего,— сказала Клара и скинула рюкзак.— Только жарко уж очень.

Зной здесь, у реки, был сухой, неподвижный, сжигающий, как в большой печке.

— Этот человек сзади, по-моему, нас догоняет,— сказала Клара.

Зыбин оглянулся. Человек поднял руку и помахал им.

— Да, действительно,— сказал Зыбин,— догоняет.

— Может быть, это и есть Савельев?

— Может быть. Подождем!

— Ух!— сказал человек, подходя.— Совсем пристал. Ну и шаги у вас. Трудно вытерпеть, а еще с сумками.— Он вынул платок и обтер им лицо.

Это был молодой парень, розовый, круглолицый, синеглазый, похожий на Кольцова.

— Это вы приходили в правление?— спросил он.

— Да,— ответил Зыбин, смотря на него.— Мы.

— А только что вы ушли, и бухгалтер пришел. Он вас ждет.

Зыбин поглядел на Клару.

— Что ж, пойдем?— спросил он ее вполголоса.

— Зачем идти? Поедем,— улыбнулся парень.— Он мне велел за вами бечь, а сам в машине ждет.

Зыбин посмотрел на высокий берег.

— А где же мы поднимемся?

— А вот дальше, у мертвого дерева лесеика есть,— объясиил пареиь.— Дайте-ка ваши сумки.

Он подхватил обе сумки и улыбнулся.

— О!—сказал ои с уважением.— Булькает!

— А там и закуска есть,— ответил Зыбии.

— Неплохо,— засмеялся пареиь.— А у иас второй деиь стоит ларек закрытый — переучет.

— А тихо-то у вас,— сказал Зыбин.

Теперь он шел неторопливым шагом и опять чувствовал необычиый простор, тишииу и спокойствие.

— А ведь сюда город хотели переиести, Кларочка,— сказал ои.— Вот в эту степь. Это после землетрясения девятьсот девятого года. Хорошо, что Зеиков отстоял. Зенков — это тот, который собор выстроил,— объясиил ои парню.

— Замечательиый человек,— с готовностью подхватил парень.— Говорят, в соборе этом ии одного гвоздика нет. Все само собой держится.

— Ну, это, положим, враки,— ответил Зыбин. И вдруг остановился.

Перед ним из-за поворота появилось иесколько иевысоких деревьев с острыми зелеиыми листьями необычайной нежности и хрупкости; огромные матово-белые цветы лезли иа макушку, сваливались с сучьев. Они висели гроздьями и были пышиыми, огромными, блестящими, как елочные украшения. То есть каждый цветок ие был огромиым, ои был крошечным, ио вся шапка была огромной, как театральная люстра. А цвет у шапки был талого молока: матовый и чуть молочио-желтый. Нигде Зыбии ие видел иичего подобиого.

— Что это за деревья?— спросил ои.

— А мертвые,— ответил пареиь.— Задушеииые.

— Но на них же листья и цветы,— сказал Зыбии.

— А вы подойдите, подойдите,— сказал парень.

Это была действительио мертвая роща, стояли трупы деревьев. И даже древесииа у этих трупов была неживая, мертвеиио-сизая, серебристо-зелеиая, с обвалившейся корой, и кора тоже лупилась, коробилась и просто отлетала, как отмершая кожа. А по всем мертвым сукам, выгибаясь, ползла гибкая, хваткая, хлесткая змея-повилика. Это ее листики весело зеленели иа мертвых сучьях, на всех мучительиых развилках их; это ее цветы гроздьями мельчайших присосков и щупальцев, удивительио иежиые и спокойные, висели на сучьях. Они были так чужды этой суровой и честиой смертной бедиости, что казались почти ослепительиыми. Они были как взрыв чего-то великолепиого, как мрачиый и волшебиый секрет этой мертвой реки и

сухой долины ее. В этом лесу было что-то сродное избушке на курьих ножках, или кладу Кощея, или полю, усеянному мертвыми костями.

— Страшное дело,— сказал Зыбин.— Вы понимаете, Кларочка, они же мертвые. Их повилика задушила.

Клара ничего не сказала, только мотнула как-то головой.

— И она тоже погибнет,— сказал Зыбин,— только она не знает об этом. Она такая же смертная, как и они. Вот выпьет их до капли и сдохнет.

И вдруг сказал:

— Смотрите, их двое, и машут нам. Сюда идут!

Действительно, с горы спускались два человека. Один, высокий, с плащом через руку, впереди, другой, низкий, в плаще и в шляпе, сзади. Он был кривоногий, как такса.

Зыбин сунул руки в карманы и встал неподвижно, ожидая их. Клара подошла и облокотилась о ствол мертвого дерева. Парень молчал. Два человека! Два человека!! Два человека шли молча, не останавливаясь и не переговариваясь. Походка их была тяжелая и неторопливая.

«Хорошо, что я оставил браунинг,— подумал вдруг Зыбин.— Надо бы...» Но мысль мелькнула и пропала.

«Надо было обязательно встретиться с Линой,— подумал он почти бессмысленно.— Боже мой, как у меня все нелепо получается! И как тогда было хорошо на море!»

И он сейчас же увидел белую стену городского музея на самом берегу, старую рыжую пушку у входа на камнях, маленького человека с указкой в руке — это вдруг на мгновение пришло к нему, согрело его, и он улыбнулся.

Клара стояла у дерева и неподвижно и пристально смотрела на приближающихся. Он к ней обратился с чем-то, она не ответила.

Первым к Зыбину подошел тот кривоногий, что шел сзади, высокий остановился поодаль и с любопытством оглядел Клару. Всю, с ног до головы. У кривоногого были курчавые черные волосы, густые брови, сросшиеся на переносье, острый маленький подбородочек, быстрые, острые мышиные глазки. А в общем — чахлое, ничтожное личико.

— Здравствуйте,— сказал он.

— Здравствуйте,— ответил Зыбин.

— Жарко,— сказал маленький и расстегнул плащ (показались красные нашивки).— Товарищ Зыбин? Мы не дойдем с вами до машины? Нужно поговорить.

— А вы что, из правления? — спросил Зыбин, словно продолжая какую-то игру, и взглянул на Клару. Она молча стояла у дерева и смотрела на них.

— Из правления,— многозначительно улыбнулся кривоногий и, обернувшись, посмотрел на высокого. Тот все так же молча рассматривал Клару.

— Ну что ж, пожалуй, придется ехать,— сказал Зыбин.

Он вынул из кармана десятку и протянул Кларе.

— Дойдете до правления, там найдете попутную машину. Поезд будет только вечером,— сказал он деловито.

— Ну зачем же такую красивую девушку заставлять по такой жаре что-то искать,— серьезно сказал кривоногий.— Мы довезем ее. Да, впрочем, вы сами довезете. Нам ведь вас только на пару слов.

— Я сейчас же пойду к директору, Георгий Николаевич,— сказала она.— Они дадут нам проститься?

— Ай-ай-ай! — улыбнулся кривоногий (высокий попрежнему стоял молча и неподвижно).— Вы смотрите, как они нам не доверяют.

— Ничего,— сказал высокий снисходительно,— постараемся заслужить их доверие.

Клара вдруг ухватила Зыбина за плечо.

— Слышите! Пусть предъявят документы, слышите! — крикнула она.— Так мы никуда не пойдем.

Кривоногий улыбался все ласковее и ласковее. От этого все черты, мелкие, хищные и незначительные, сближались, и лицо теперь казалось почти черным.

— Если предъявлять, то начнем уж с вас,— сказал высокий, приближаясь.— Паспорт у вас с собой?

— Но домой-то вы ее, верно, доставите? — спросил Зыбин.

— Ну конечно,— равнодушно успокоил его высокий.— У нас две машины.

— А ордер при вас? — спросил Зыбин низенького и вынул паспорт. Высокий взял его, открыл, закрыл и сунул в карман.

— Ну а как же? — удивился низенький.— Мы, Георгий Николаевич, свято выполняем закон. Мы сделаем что-нибудь не так, а потом вы нас затаскаете по прокурорам. Знаем мы это! Нет, у нас все в порядке.

Высокий вынул из сумки новенький сверкающий бланк. Слово «ордер» выглядело как заголовок. Подпись была голубая, факсимильная. Его фамилию вписала от руки круглым, почти ученическим почерком какая-то молодая секретарша, нежная мамина дочка.

Зыбин посмотрел, кивнул головой, отдал ордер и повернулся к Кларе.

— Ну что ж? Давайте хорошенько попрощаемся, Кларочка! Можно? — спросил он высокого.

— Да, пожалуйста, пожалуйста,— всполошился кривоногий.

— Да ради бога,— равнодушно сказал высокий.

И они оба слегка отошли к мертвой роще.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

О, муза истории Клио!

Зыбин крепко спал, и ему снилось Черное море и тот городишко, в котором он три года назад прожил целых два месяца.

Город этот был маленьким, грязненьким, с улочками-закоулочками, то в гору, то под гору, с лавочками-прилавочками, с садами-садочками и, наконец, с курортным базарчиком над самым-пресамым морем.

До полудня этот базарчик дремал, а после обеда вдруг становился самым шумным и веселым местом города. На середку его выкатывались два дубовых бочонка, устанавливали их на козлы, и усатый грек в белом фартуке, вечно под хмельком, с шуточками-прибауточками угощал всех желающих настоящим портвейном и мадерой. Пара стаканов — полтинник, пять стаканов — рубль; за два рубля — пока назад не пойдет.

Вино было мутное, теплое, пахло оно перегорелым сахаром, и от него, верно, подташнивало, но все равно к вечеру ишачок увозил уже пустые бочонки.

А рядом с бочонками были на циновках разложены сувениры: засушенные морские коньки, похожие на бессмертники, связки белых и желтых ракушек — бусы, плоские сиреневые камешки — с морем, чайками и пальмами и, наконец, крабы. Вот крабов было тут больше всего — наверно, сотни,— всяких: желтых, красных, розовых, багровых, почти черных — их притаскивали из дома на лотках и осторожно расставляли по циновкам... Так они стояли на колючих ножках, сверкали лаком, походили то на туалетные коробки, то на туфельки-баретки, то на огромные круглые пудреницы, и вокруг них всегда толпились курортники. Зыбина они интересовали не слишком, но на базар он ходил — ему тоже до зарезу нужен был краб, но не такой, как тут, а настоящий, черный, колючий, в шипах и натеках, с

варварски зазубренными клешнями, в зеленых подводных пятнах на известковом шишковатом панцире, но именно таких на базар-то и не выносили. Вероятно, они были все-таки не ходкий товар, да и то сказать, разве такого поставить на комоде на белое покрывало с мережкой между круглым зеркалом и той же самой туалетной коробкой?

Еще до приезда сюда, в санаторий имени Крупской — Зыбин там занимал одну из пяти коек в угловой комнате,— он, листая каталоги и проспекты, установил про себя три достопримечательности этого городишка. Первая — во время оно здесь существовал крупнейший античный порт, отсюда вывозили в Италию зерно (найдена обширная посвятительная надпись Посейдону, разрыты остатки амфитеатра, работает городской музей). Вторая — возле городка расположен едва ли не единственный на Черном море детский пляж (детский парк, карусель, больница костного туберкулеза, а летом и Центральный детский театр под художественным руководством Натальи Сац). Однако этот пляж и выходил каждое утро Зыбину боком. Просыпался он рано, часов в пять, одевался, брал книгу, бинокль и незаметно прошмыгивал на улицу, к морю. Было тихо, светло, безветрено. Все еще спали — швейцар в дверях, дворник на дворе, привратник у ворот,— и никто не замечал ни как он уходил, ни как возвращался. А возвращался он часов в семь и сразу заваливался спать. Правда, в девять всех будили на завтрак, но он спал все равно. Но еще через час хочешь не хочешь, а приходилось вставать. Угловая комната выходила окнами на детский пляж, на какой-то особенный, специально отгороженный сектор его, и по утрам стекла дребезжали от детского визга. Пока дети баловались и свободно могли упасть и захлебнуться, мамаши сидели на простынях и шумно переживали: «Рудик, ты куда полез! А что я тебе сказала, Рудик, сегодня утром?! Только до грудки, только до грудки, скверный ты мальчик! А, ты вот как!» — и вслед за этим всегда раздавался резкий визг. Конечно, спать было уже невозможно, он вставал, одевался в пижаму, садился перед окном с книжкой в руках, но не читал, а смотрел на море. И через некоторое время наступала тишина, детей уводили. Мамаши вставали с простынь, переговаривались, расхаживали, слегка массировали себе ладонями животы и ляжки. Потом они лезли в море, но так как это были особые мамаши, то купались они без всякого плеска и шума, достойно и не особенно долго. Через полчаса, обалдев от солнца и моря, они уже выкарабкивались на

берег и забирались под навес, там они пили из зеленых термосов, похожих на осоавиахимовские противогазы, горячее какао, раздирали багровыми ногтями апельсины и, наконец напившись и наевшись, вяло сваливались на бок и тихо засыпали. И все на пляже засыпали тоже. Ветер бродил по песку, вздувал юбки и блузки, добирался до зонтиков и корябал их спицами песок, колыхал огромные голубые, как глобусы, мячи и, так ничем основательно и не заинтересовавшись, тихонечко уходил с пляжа.

А еще через час в санатории звонили на обед. Зыбин вставал, бросал книгу на тумбочку, переодевался и шел в столовую. И дальше все шло как по-заведенному — обед, купанье, прогулка, кино или что-нибудь в этом роде, потом ужин, вечерняя прогулка и сон. Но иногда, перед обедом, случалось необычайное — на пляже (и всегда в одно и то же время!) появлялась тонкая женская фигурка: черное трико, загорелые ноги, короткая светлая гривка. Она шла, болтала руками, смеялась, пинала подвернувшийся мячик, и он летел через весь пляж, бросала кому-то что-то веселое и исчезала так же внезапно, как и появлялась.

Вот это и было второй достопримечательностью города.

О третьей много говорить не приходилось — в городе помещался единственный в Советском Союзе Институт виноградоводства и виноделия.

А море возле городишка плескалось тихое, мутно-зеленое, ласковое, как задремавшая на солнцепеке кошка. Бог его знает, каким оно было две тысячи лет назад, когда к извилистым берегам его подплывали красногривые морские кони и драконы из Афин и Неаполя, но сейчас можно было уйти в море с километр — и все тебе будет по пояс, по грудку, по шейку и только далеко, там, где опускаются на воду бакланы,— с ручками.

Зыбин облюбовал себе одно место и каждый день приходил сюда до восхода, небо в эти часы было еще темное, с прозеленью, звезды прозрачны, тени призрачны, а море пустынно и пляж пустынен, и ничего не было ни в небе, ни на море, ни на суше. А на самом пляже только пустые размалеванные узорчатые теремки, изрытый песок, навесы и тени от них.

Он смотрел с высокого берега на пляж и дальше, на море, и еще дальше, на быстро светлеющий горизонт, и молчал. И все в нем тоже молчало. Легкая дымка лежала на всех предметах мира, и волны катились

медленные, бесшумные. Было тихо, спокойно, чуть безнадежно, чуть жутковато — так бывает, когда зайдешь ночью в опустевшую пригородную станцию, где горит под потолком только одна лампа и никого нет, или в ночную аптеку с заспанным провизором или пройдешься по запертому рынку. Только, конечно, здесь все было выше, огромнее, торжественнее и печальнее.

«Как перед лицом Вечности»,— сказал бы он, если бы умел говорить красиво, но так говорить он не умел и поэтому только стоял и смотрел. Что-то очень-очень многое приходило ему в голову в те минуты, но все неопределенно, спутанно, и ничего из этого он не мог ухватить и держать в себе, пожалуй, только вот это: тишина, высота и даль.

Постояв так еще с пару минут, он подходил к деревянной лестнице, клал руку на перила и соскальзывал вниз.

Здесь настроение его менялось снова. Вот тут, думал он, может быть, точно на этом самом месте, где сейчас лестница, а внизу будка мороженщицы, толпились судовладельцы, матросы, рабы, родственники, ждали судов, гонцов, известий о походе Александра Македонского в Индию. Удивлялись, гадали, покачивали головами, ловили слушки и сами небось еще что-то к ним присочиняли. Вот он пересек Сирию, промчался через всю Азию, прошел страшные огнедышащие степи ее, где живут людоеды и амазонки, а кони их жрут человечину, и двинулся к самым границам мира. Достиг Инда. Переплыл его. Встал лагерем и провозгласил Всемирную империю, родину Новой нации персогреков. Что-то будет, что-то будет! Земной шар свалился ему в ладонь, и он играет им как яблоком. Теперь — все! Прекратятся все войны, утихнут все распри, сами собой исчезнут границы, и будет едина земля и едино небо, и на небе бог, а на земле этот божественный юноша, сверхчеловек, ее хозяин; счастливое время, в которое мы живем, счастливые наши дети.

Ни беса лысого из этой дурацкой петрушки, разумеется, не вышло. Мир не яблоко и не мячик, и его — шалишь! — в кулаке не сожмешь!

Хозяин вселенной непостижимо скоро отдал концы (а может, и помогли — подсыпали чего-нибудь), а слуги, сразу ставшие царями и тоже богами, передрались, перерезались и стали провозглашать. Они провозглашали, они провозглашали, они провозглашали до тех пор, пока не перестало что им провозглашать, тогда они все рухнули, пожгли города и библиотеки, высунули языки

и отреклись от всего. А кончилось все это безнадежным и страшным утомлением мира. Волны этого утомления доходили, конечно, и сюда, но вряд ли оно тут особенно чувствовалось. У истории в то время были слишком короткие руки и так далеко они не протягивались.

А потом наступила Римская империя. Войны, кризисы, убийства и безнадежие — Август, Тиберий, Нерон, Христос и христианство — город стал римской колонией. Теперь из его бухт отходили транспорты с зерном (став Великими, империи почему-то всегда начинают голодать), и навстречу им шли суда с бронзой, мрамором, статуями императоров, льняными и шелковыми тканями, порченой монетой, которую в ту пору таскали за собой мешками. Потом империя затрещала по всем швам — она ведь из Великой сделалась Всемирной,— кого-то убивали, что-то жгли, кому-то что-то доказывали и, конечно, ничего доказать не могли. А певцы и поэты творили, а императоры воевали, а юристы кодифицировали, а философы подводили подо все базу — город же прижался к земле и ждал, ждал, ждал, чем же все это кончится! Э! Да ничегошеньки он не ждал, он просто жил, как тысячу лет до этого, и все! Ловил и солил рыбу, сеял хлеб, давил вино, справлял свадьбы и ни о чем больше не думал. «Да, вот так,— сбрасывая туфли и заходя в воду, думал он,— вот так именно и было. Жили, любили, деток рожали и больше ни о чем не думали. Это мы теперь что-то за них придумываем, а они просто жили, да и все тут. Ведь и я тоже живу сейчас, и все. А может, через тысячу лет и про меня начнут что-то выдумывать, какие-то необычайные мысли мне приписывать, провиденье, трагедийность, чувство истории, потому что буду я уже не человеком, а памятником — и не просто памятником, а памятником чего-то, а вот чего — они уж придумают сами».

Это была его навязчивая идея, он думал об этом каждый день то зло, то грустно, то равнодушно, но никогда не весело, потому что понимал, что это бред и он начинает уже бредить.

Иногда он встречал в эти часы таких же, как он, праздношатающихся, их было немного, любителей одиноких утренних прогулок, всего два или три человека. Но все они были какие-то особые люди, совсем не похожие на тех, кого он встречал днем. Впрочем, что ж? Он ведь и сам был не совсем дневной.

Но особенно его поразил один человек. Он на этот раз шел по пляжу и увидел: в море, далеко от берега,

стоит человек. И даже не человек стоит, а просто торчит из воды голова. «Вот еще чудило»,— усмехнулся Зыбин и остановился. Прошло пять минут, семь, десять, Зыбину уж надоело стоять, а голова все не двигалась. «Что он там делает,— подумал он уже сердито,— на море, что ли, смотрит?» Человек действительно смотрел на горизонт — на ясную, широкую и почти зеленую ленту рассвета. Вверху было тяжелое темное небо, внизу черная вода, а в глубине ленты как будто что-то происходило, назревало, рвалось вовне, стреляло искрами. И Зыбин тоже стал смотреть, но скоро это ему надоело и он пошел дальше.

И встретил второго человека.

Человек этот сидел на камне и швырял в море гальку — небольшой круглолицый толстячок с лысиной. Когда Зыбин подошел, он, не оборачиваясь, произнес:

— Когда бросаешь камни в воду, следи за кругами, иначе твое занятие будет бессмысленно — так сказал Козьма Прутков.

— Мудрые слова,— вздохнул Зыбин сзади.

— Еще бы! — Толстячок примерился и бросил плоский камешек.— Эх, сорвалось, а раньше и до шести блинов пек.— Он посмотрел на Зыбина.— Слушайте, а где же я вас видел? Вы не из «Дзержинского»?

— Нет.

— Черт, где ж я тогда вас видел? — Он смотрел на Зыбина пристально и напряженно.— И не из «Худфонда»?

— Нет, не из «Худфонда». Я вообще не художник,— усмехнулся Зыбин.

— Хм! Жаль! Хотя, положим, в этот час мы все художники! Да! Но альбома-то у вас нет! Значит, вы точно не художник, так откуда же, а?.. А, вспомнил! Так я на рынке вас видел! Вы еще какого-то там особого краба искали! Так? Ну конечно! Ну что, нашли?

— Нет,— ответил Зыбин.— Такого, как надо, не нашел.

— А какого же вам надо? — усмехнулся толстячок.

— Натурального.

— То есть как это натурального? — весело удивился толстячок.— Да они и все не из папье-маше.

— Мне надо было настоящего, черного, прямо из моря,— объяснил Зыбин.

— Ах вот какого! Да такого вы там не найдете! Это надо вам у рыбаков искать. Хотя нет! Они теперь крабов тоже не ловят, у них артель, план. Не знаю, не

знаю, где вы такого найдете. Слушайте, а я вот вспомнил, я вас второй раз здесь встречаю — ведь это вы вчера сидели на скамейке около лестницы? Так? Ну вот, ну вот, что, тоже не спится?

Зыбин улыбнулся. Ему этот толстячок почему-то сразу понравился, он был весь какой-то совершенно свой, мягкий, округлый, добродушный, в мешковатом костюме, в туфлях на босу ногу.

— Да нет, не то что не спится,— сказал он,— а просто грешно просыпать такую красоту.

— Правильно,— толстячок даже с места вскочил,— очень правильно вы сказали: грешно. Только сейчас ее и увидишь, а как мамаши придут да деток приведут, да еще наши пьяницы с бутылками пришествуют — то будет уж не море, а парк культуры и отдыха. Или, как сейчас говорят, парк отдыха от культуры! Это точно! Это совершенно точно! А я вот, знаете, приду еще затемно, сяду на этот вот камешек — я его специально со склона скатил — и сижу, сижу. И вот туда гляжу, на турецкий берег. Ведь там восход. Восходы тут, я вам скажу, замечательные, совсем не такие, как в книгах. Там ведь «игра красок», борьба тьмы и света, пожар и еще что-то, нет, тут ничего этого нет. Тут все совсем иное — покой. И вот сидишь, смотришь и до того засмотришься, что утеряешь всякое представление о часах. И вдруг в пионерском лагере горн заиграет. Это значит, ты часа три как пенек на одном месте проторчал. Вот вы сейчас снизу идете, не обратили внимания, стоит там человек, в море? Или нет? А, стоит! А знаете, кто это? О, это знаменитая личность. Это один румынский коммунист. Его пять лет в одиночке продержали, и он за эти пять лет дальше вот этой скамейки ничего не видел — такая камера была. Тут стена, тут стена, тут стена, в углу параша, вверху окошечко — вот и все. И лампа в решетке. Слепнуть даже стал. Всего неделю тому назад его на самолете привезли, хотели положить в больницу — он ни в какую! Везите к морю! — вот и привезли, поместили в санаторий ЦК, а теперь директор не знает, что с ним делать, ему же режим предписан, по звонку ложиться, по звонку вставать, не перекупаться, не перегреться, не переутомиться,— а ему все нипочем! Уходит ночью, приходит ночью — ну что ж, вязать его, что ли? Я его, знаете, понимаю. Ведь простор! Смотрите, какой простор! На сотни верст только море, море, море — вот оно, вот! — Он откинул голову, раскинул руки и глубоко вобрал в себя воздух.— Простор!

Сзади заиграл горн.

— О! — сказал толстячок. — «Бери ложку, бери хле-еб и садися за обе-е-ед». Так моя племяшка поет. Значит, уже девять. Пора! Вам к маяку? Ну и отлично, по дороге, значит. Пошли. Значит, вы не художник, а если не секрет, кто?

— Историк я,— объяснил Зыбин.— По Риму.

— А-а,— сразу посерьезнел толстяк.— Ну, ну. А тут есть на что посмотреть. Вы, конечно, в музее уже были? Нет? Как же так? Обязательно зайдите. Там директор много что собрал — вазы, монеты, три статуи. А я ведь...— Он вдруг остановился и продекламировал: — «Квоускве тандем Катилина абутере пациенция ностра». Вот! На всю жизнь врезалось! Так тогда врезали. Я ведь в тысяча девятьсот шестнадцатом году Первую классическую минскую гимназию окончил! Клингер Макс Адольфович — такую фамилию вы никогда не слышали? Он у нас древние языки преподавал. Вот уж знал предмет. Еще бы, из образованнейшей семьи! Культурнейшие люди! Он у нас ученическим хором дирижировал. Помню, раз учили мы «Коль славен». Ну, ребята у нас в то время уже были со всячинкой. С идеей! Кто поет, кто только рот раскрывает. И я тоже рот раскрываю. Вот он наклонился и в самое мне ухо пропел: «Жи-и-ид! Что ж ты не пое-ешь?» Ну, я и запел! — Толстяк расхохотался, засмеялся и Зыбин.

— Так, значит, вы в классической учились? — спросил Зыбин.— А я ведь думал, что...

— Что все евреи в коммерческие и в реальные шли,— подхватил толстячок.— Правильно, так и было. Но мой папа обязательно хотел, чтоб я стал адвокатом. Ну хотя бы помощником присяжного поверенного. Тогда евреев-то не больно в самое сословие пускали. Но мой предок однажды в Киеве Оскара Грузенберга слышал, с тех пор словно слегка тронулся. Портрет его у себя повесил, речи покупал и по-особенному переплел-то. Да вот обманул я отца, не вышло из меня адвоката! Не вышло! — И толстячок даже немного погрустнел.

— Да! — вздохнул Зыбин.— Да! — И только что хотел спросить толстячка, так кто же он будет, как тот сказал:

— А в музей вы обязательно зайдите. С директором познакомьтесь. Это такой человек — вот увидите, на каждого отличного специалиста как на господа бога смотрит. Он вам многое что порасскажет. Вот, кстати, и насчет краба, может, что дельное посоветует. У него все десятиклассники на подхвате.

— Я зайду, зайду,— поспешно заверил Зыбин. Ему и в самом деле стало неудобно: десять дней как приехал и еще не был в музее.

— Зайдите, зайдите,— серьезно посоветовал толстячок.— Ну, а засим позвольте пожелать вам всего наилучшего — вот мы уж и дошли. Звать меня — Роман Львович, я тут рядом с вами в доме отдыха имени Цюрупы. Очень было приятно познакомиться... Если, может, когда надумаете зайти в шахматы сгонять.— Он слегка поклонился и быстро ушел.

А Зыбин вдруг остро подумал: «А откуда же он знает, где я нахожусь, ведь мы только что случайно познакомились?!»

Была и еще одна встреча — тоже очень ранняя,— но не на этом месте, а много дальше, там, где уж начинался дикий берег без пляжей и скамеек. Вот там однажды он и повстречал ее — ту самую, в черном трико и с гривкой. Только об этом он боялся вспоминать. И она ему, верно, не снилась.

Хлопнула дверь. Зыбин вскочил. Горела тусклая тюремная лампочка. Стекло за решеткой было фиолетовым. На кровати напротив сидел высокий худой старик, поросший щетиной, и смотрел на него.

— Ну и долго же вы спали,— сказал старик.

Зыбин вздохнул и уселся на кровати.

— А сколько сейчас времени?

Старик слегка пожал плечами.

— Да, кажется, что ужин привезли, вон слышите, визг — бачки по полу передвигаются. Значит, уже шесть часов. А ведь здесь днем спать не полагается. Это для вас сегодня почему-то сделали исключение.— Он привстал и протянул руку.— Ну что ж? Давайте знакомиться. Буддо Александр Иванович, доставлен в сию смиренную обитель из городской колонии. Шьют новую статью. А вас как прикажете именовать?

Зыбин назвался.

— Из музея?! — радостно удивился Буддо.

— Да-а! А откуда вы...

— Господи, да я же из колонии! Там мы каждый день «Казахстанскую правду» читаем, от корки до корки. А вы там часто статейки помещали: о Библии, о музее, о раскопках. «Г. Зыбин». Это вы?

— Я.

— Ну вот. Ну, страшно рад! То есть, конечно,

плохая радость, но-о... Да, провел я, Георгий Николаевич, в этой колонии пять лет незаметных. Можно сказать, как у тещи на печи пролежал. Я ведь там топливным складом заведовал. Саксаул выдавал. Все надзиратели передо мной на лапочках ходили! Ну а как же? Захочу — вместо полтонны семьсот пятьдесят им отпущу, а захочу — он и своих пятисот недоберет. Весы же у меня дрессированные! В общем, жил! Газеты, книги, радио! По выходным кино! Жить можно!

— Ну а потом что?

— А потом забрали. Теперь вот новое дело шьют.

— Язык?

— Да, начали с языка, а теперь кое-что и посерьезнее клеят. Пятьдесят восемь-восемь через семнадцать. Вам это ничего не говорит?

— Нет.

— Террор через соучастие. Сочувствовал убийцам Сергея Мироновича Кирова. Вот как!

— А свидетели — заключенные?

— А кто же еще? Они, милые, они, мои родные! Весовщик да подсобный рабочий. Я же его и пригрел. Такой хороший мальчик: красивый, вежливый, культурный, из порядочной семьи — музыковед. Дядя — академик, агрохимик! Вот он мне, сукин сын, и удружил! Написал цидулю. Показал, что я восхвалял Николаева. Говорили, конечно, мы и про Николаева, но совсем не в том смысле.

— А в каком же?

Зыбин знал, что в тюрьме расспрашивать не полагается, но ведь Буддо сам лез на разговор.

— Да просто я сказал, что странно мне все это дело-то, то есть не то странно, что Кирова убили — нашелся сумасшедший и убил, такие происшествия всегда были и будут,— а то странно, как дальше-то все развернулось!

— А как развернулось?

— А так, что приехал Сталин, и сразу два главных гепеушника полетели к белым медведям. Говорят, он даже тут же на перроне нашивки с них сорвал и по мордам нахлестал, ну это хорошо, они это заслужили. А вот после-то пошло что-то непонятное.

— Что ж непонятного-то?

— То, что вдруг кинулись на дворян. Стали хватать и высылать. Позвольте, их-то за что? Они же мимо этого Смольного небось и проходить боялись! Партиец же стрелял! Партиец! С пропуском в Смольный и с разрешением на браунинг! Значит, вот какая категория

причастна к убийству, а взяли правнука Пушкина и выслали в двадцать четыре часа. «А что, разве Пушкин не дворянин?» — это прокурор по надзору одному пушкинисту так ответил. Очень все это непонятно — очень! И потом вот в сообщении такое, например, проскользнуло: «У убийцы при обыске забрали дневник, где он пытался объяснить убийство личными мотивами». Какими же именно? Договаривайте уж до конца! Может, он свою бабу приревновал, может, Киров мужа прогнал, а бабу его оставил. Тот и озверел! Может так быть? Может! С Котовским именно так и было. Вот я это сказал, меня и забрали. Соучастие через сочувствие! То есть моральное участие в убийстве. В теракте! Что ж? Я сознался.

— Ну и что же вам за это будет?

— Что? Да ничего! Сунут еще червонец — и все. А так как сроки не складываются, то возобновят старую десяточку и пошлют куда-нибудь подальше. Ладно! Поедем! В Колыму уж не погонят. Мне шестьдесят. А там надо землю рыть, лес сводить, тачку-пертачку гонять. Вот вам сколько? Тридцать? О, это самый их возраст! Они этот возраст обожают! Это верное СФТ, а то ТФТ — знаете, что это такое? Пригоден к среднему или тяжелому физическому труду. Первая и вторая категории: шахта, дамба, тачка! А что они вам предъявляют?

— Не знаю.

— И даже приблизительно не догадываетесь?

— Нет.

— Ну, значит, агитацию. Если сами не знаете, то, значит, обязательно агитация. Пятьдесят восемь, пункт десять. Универсальная статья! Всем подходит. Полчаса поговорил, сексот написал, слово прибавил, слово отбавил — и готово, пригоняй «черный ворон» и забирай. Но сейчас за это больше пяти не дают. Восемь, только уж когда что-нибудь действительно есть. Если только разговоры предъявят, то советую: берите. А то они еще что-нибудь присочинят! У них фантазия богатая! А что вы улыбаетесь! Не верите?

— Да нет, верю,— ответил Зыбин ласково, продолжая улыбаться (хорошо, право, что он не один в камере, хорошо, что ему попался старик лагерник, а не юнец, которого пришлось бы утешать и разговаривать, хотя, с другой стороны, есть, есть в этом Буддо что-то очень неприятное, и наверно, вот это самое: «Что ж тут поделать? Ладно, поеду». Кого Зыбин никогда не мог выносить — это вот таких непротивленцев).— Да нет, верю, что слово прибавил, слово отбавил — и вызывай

«черный ворон», но только со мной-то у них так не получится.

Буддо невесело усмехнулся.

— Да? Ну дай вам бог, дай вам бог! Желаю всего самого хорошего, но только у меня и этого утешенья нет. Я знаю: они не для того берут, чтобы отпускать. Они человека навечно приваривают.

— То есть как это, навечно?— удивился Зыбин.— Так, значит, если бы вы и кончили срок...

— Так ведь не кончил же я, не кончил же!— болезненно улыбнулся Буддо.— Забрали же! Только, конечно, что-то рано забрали. Обыкновенно они в последний год это проделывают, а со мной что-то поспешили.

— Значит, из вашего лагеря никто еще на волю не выходил?— воскликнул Зыбин.

— Почему не выходил?— улыбнулся Буддо и слегка кивнул на дверь.— Только вы не кричите, а то вот он стучать в дверь будет. Если срок кончил, так и на полчаса не задержат, но только вот сколько ты на воле-то пробудешь? Тут тоже нужно иметь масло в голове, а то и месяца не продержишься. Вот если поступишь кассиром или, скажем, ночным сторожем и ни с кем не будешь компании водить, а самое главное, не женишься — ох, жены и здоровы сажать!— а так, отсидел и домой, в постель!— то года два, ну три, ну три с половиной, может, протянешь.

— А там?

— А там все равно заберут.

— Да за что же?

— За что. За... Эх, чуть было не сказал вам по-лагерному! За ту же антисоветскую агитацию и заберут. Они новых статей не любят придумывать. Зачем? И старых на всю жизнь хватит.

— Это даже если я воды в рот наберу?

— Даже если и наберете. Да ведь не наберете, не наберете же! Ну год, ну два промолчите, а потом что-нибудь да и ляпнете. Нет? Чудак вы! Ну, вот, скажем, книжку вы ночью на дежурстве читали. Поинтересуются у сменщика, что за книжка, а вы сказали: да ничего, интересная. Понравилась. Или в кино пошли, вас увидели, спросили, как понравилась картина, а вы ответили; скучная. А вот автора книги через полгода взяли да посадили; а режиссера в Кремль вызвали, руку пожали и патефон ему подарили. Вот вам и все. С одной стороны, восхваление врага и вражеской литературы, с другой стороны — клевета на советское нартийное искусство. Вот уж хорошее начало есть. А дальше

вы с соседкой поругались. Вы что же думаете, она не знает, где на вас искать управу? Господи, да она такое туда напишет! Вот уж два свидетеля! И хватит! Сидите!

— Но позвольте, ведь нужны еще какие-то доказательства?

— Какие? Кому? Кому они нужны, Георгий Николаевич? Какие еще доказательства? Все и так доказано! Вы сидели? Сидели! За что? За антисоветскую деятельность. Хорошо! А вот за этой самой патриоткой ничего, кроме вытрезвителя, не числится. Это доказано? Доказано. Ну вот и точка. И органам все ясно. Распишитесь, что читали ордер.

— Ну а если за эти годы я перековался? Осознал свою вину?

Буддо засмеялся и погрозил пальцем.

— Экий вы шустрый! Нет, это вы бросьте! Осознал он, перековался! Шутить изволите! Это кто же вам, разрешите спросить, позволил перековываться, а? Вот Рамзин — тот да! Тот начисто перековался! Ему разрешили! Или вот — читали вы в сообщении о процессе троцкистско-бухаринской банды, что бандиты, боясь разоблачения, убили инженера Бояршинова, а был он не просто инженер, а лицо, ранее судимое за вредительство? Читали? Вот он-то перековался. Ему после смерти это разрешили. Для наглядности. А мы с вами — шиш! Как были врагами, так врагами и сдохнем. Так-то, батенька!

— Так что же это, по-вашему, это каиново клеймо, что ли? — крикнул Зыбин, этот разговор раздражал его по-настоящему.

— По-моему! — усмехнулся Буддо.— Что выходит по-моему, это мы помолчим, а вот по товарищу Ежову и товарищу Вышинскому выходит точно так! И не клеймо, то хоть каленым железом да сводится, а болезнь крови, порочная наследственность, гены от отца к сыну, от сына к внуку. Вот потому и высылают из Ленинграда не только дворян, но и дворянчиков. Это и есть классовый подход. А я этого, дурак, не понял и трепался. Почему? Да за что? Все мне нужно было знать, болвану. Вот за это и попал!

— Значит, вы считаете, что вас сейчас взяли за дело?

— А как же! Конечно! А здесь не виноватые не сидят, Георгий Николаевич. Кто делом, кто словом, кто мыслью — а все виноваты. Вот и вы виноваты будете.

— Я не буду,— ответил Зыбин и отвернулся.

Буддо с сожалением посмотрел на него и покачал головой.

— Да ведь не выдержите вы, Георгий Николаевич, не выдержите! — сказал он страдальчески.— Измотаетесь! У них же в руках все, а у вас ничего. А главное — ни к чему все это! Что они задумали, то и сделают! И никто на свете им не помешает. Страна в их распоряжении, и разве только хуже себе сделаете.

— Это как же так?

— А так! У них ведь и лагеря всякие. Ведь одно дело — городской топливный склад или сельхоз, там бахча, там заключенные вечером в реке купаются, коней поят, и другое дело Колыма, «Колыма, чудная планета» — там из ватников и ночью не вылезают, потому что спят зимой в палатках. Заживо сопреешь. Опять качаете головой? Эх, Георгий Николаевич, не знали вы еще горя, а вот...

Дверь отворилась внезапно и бесшумно — высший шик, освоенный только немногими из тюрем,— на пороге стоял разводящий.

— Кто здесь на букву «З»? — спросил он.— Собирайтесь на допрос.

Его провели по узкому тюремному коридору, как будто сплошь состоящему из железных дверей (перед одной из них, с откинутой кормушкой, стоял надзиратель и о чем-то разговаривал с заключенным; когда они поравнялись, он повернулся и спиной прикрыл кормушку), потом через другой коридор, где было только две двери, но огромные, глухие, похожие на церковные ворота, они были заложены на засовы,— и наконец вывели на лестницу, каменную, узкую, похожую на черный ход. На ее площадке стоял столик, лежала большая канцелярская книга и сидел солдат. Надзиратель протянул ему квитанцию, солдат взял ее, посмотрел и занес что-то в книгу. Они поднялись еще на этаж, вышли на лестницу, но это была уже совершенно иная лестница, с большими площадками, со стеклянными дверями, просторная, мраморная, с ковром и перилами. Через нее они вышли в другой коридор. Он был пуст и тих, как глетчер. Горели лампы дневного света. От стерильных стен веяло нежизненной чистотой и холодом. Большая высокая дверь, обшитая черной кожей, замыкала коридор.

— Руки назад! — прошипел разводящий и постучал.

— Попробуйте,— ответил ему сочный благодушный голос.

Открылся большой уютный кабинет с кадками зелени. Всю стену занимала карта Советского Союза. На окнах висели волнистые кремовые шторы. В углу рогатая вешалка-стояк.

Хозяин кабинета, широкоплечий, здоровяк, курчавый и губастый, приподнялся из-за письменного стола.

— Здравствуйте, Георгий Николаевич, садитесь,— пригласил он.— Вон на тот стул, у стены.— Он кивком отпустил разводящего.— Что ж! Давайте знакомиться. Начальник Второго СПО Яков Абрамович Нейман. Ну, прежде всего, как вы себя чувствуете-то?

— Спасибо, нормально,— ответил Зыбин, усаживаясь за крохотный столик в углу кабинета.

— Ну и отлично! Я было уже забеспокоился, вид у вас был неважнецкий, хотя, конечно, жара, дорога, волненье. Так что ж, будем, значит, разговаривать? Вообще-то с вами будет заниматься другой человек, но... Вы курите? И отлично делаете, лучше уж пить мертвую, чем отравлять себя этой гадостью. Так вот, у меня к вам один вопрос, и не следственного, а чисто познавательного характера. Фамилия Старков вам что-нибудь говорит? Говорит! Тогда скажите, какое отношение вы имели к его делу.

Зыбин усмехнулся и пожал плечами.

— Ровно никакого!

— Ровно никакого? Отлично!— Яков Абрамович выдвинул ящик стола и достал оттуда синюю аккуратно подшитую папку.— Так как же вы тогда объясните, что в августе тысяча девятьсот тридцатого года вас вызывало по этому делу Московское отделение ГПУ и допрашивал вас тогда товарищ Разумный? Вот протокол допроса. Зачитать?

— Просто случилось недоразумение. Меня допросили и сразу же отпустили.

— Но ведь под подписку?! Ах, идеалистические времена тогда были! Теперь так не отпустишь! Да! Отпустили! Вот тут и постановление есть с резолюцией! Но раз отпустили, значит, все-таки брали, так? Вот слушайте, я читаю протокол допроса: «Вы обвиняетесь в том, что 14 августа сего года сорвали общее собрание студенческо-преподавательского состава вашего института, обсуждавшее статью «Известий» о групповом бандитском изнасиловании студентки второго курса университета Вероники Кравцовой». Что вы можете сказать по этому поводу? Вот видите, какая формула обвинения? Групповое изнасилование.

Нейман откинулся и насмешливо поглядел на Зыби-

на. (И тогда Зыбин подметил: в его глазах стоит выражение хорошо устоявшегося ужаса.)

— Хорошо. Читаем дальше. Ваш ответ:

«Собрания я не срывал, а просто изложил свое мнение об этом деле».

Вопрос следователя: «А в чем же оно состояло?»

Ответ: «В том, что резолюцию с требованием расстрела обвиняемых, предложенную парткомом, мы ни обсуждать, ии тем более ставить иа голосование иа этом собрании ие можем».

Вопрос: «Объясните, почему?»

Ответ: «Во-первых, потому, что в Уголовно-процессуальиом кодексе прямо сказаио: «Судьи независимы и подчиняются только закону». А это было бы прямое давление на суд».

Нейман усмехнулся и покачал головой.

— Вот ведь какой вы законник! — сказал он. — «Во-вторых, потому, что до суда мы вообще ничего ие знаем. Все трое обвиняемых наши товарищи, вину свою они начисто отрицают. Свидетелей нет, обвинения строятся всецело иа предсмертной записке Кравцовой Старкову. Вот и все, что нам известно. Ничего более конкретиого нет».

Вопрос: «Следствие предъявляет вам эту предсмертную записку: «Сто раз я тебя проклинаю за то, что ты меия вчера напоил и выдал на издевательство. О! Никому я не желаю столько зла, как тебе!» — разве это недостаточно конкретно?»

Ответ: «Нет. Конкретиа здесь только злоба. Что такое иапоил? Что такое выдал на издевательство? Как это могло быть реально? Кравцова не девочка. Она жена видиого человека, бывшего руководителя края. Какая же ей была нужда идти в иомер гостиницы и напиваться до потери сознания? На все эти вопросы должен ответить суд, а его еще нет. Так дождемся хотя бы первых его заседаний. Вот что я сказал. После этого выступило еще несколько человек, и собрание ие стало голосовать».

Вопрос: «Значит, вы не отрицаете, что собрание ие стало голосовать после вашего выступлеиия?»

Ответ: «Нет».

Вопрос: «В каких отношениях вы были с покойной?»

Ответ: «Встречаясь, мы здоровались».

Вопрос: «Где и когда это было в последний раз?»

Ответ: «За два дня до ее самоубийства, на том самом собрании, на котором и зародилось все это дело».

Вопрос: «Поясните, что это было за собрание?»
Ответ: «Это было собрание студенческого литературного кружка. Я сидел возле Кравцовой и видел, как ей посылали записки. Потом я узнал, что сговор встретиться в гостинице «Гренада» около памятника Пушкину произошел именно тогда и через эти записки».
Вопрос: «От кого вы это узнали?»
Ответ: «От следователя прокуратуры, который меня вызвал тогда же. Кроме того, раз записки к Кравцовой шли через мои руки, то когда мне их предъявили, я их узнал по почерку».
Яков Абрамович оторвал голову от дела и засмеялся.
— Вот овечья задница! А тоже называется следователь! Все секреты наружу! Попался бы мне такой!
— Выгнали бы? — спросил Зыбин.
— С волчьим билетом! — огрызнулся Яков Абрамович.— Хорошо. Читаем дальше.
Вопрос: «А не могли бы ваши товарищи этими же записками пригласить и вас в свою компанию?»
Ответ: «Нет».
Вопрос: «Почему же?»
Ответ: «Они не были моими товарищами».
Вопрос: «Но разве вы их не называли только что товарищами?»
Ответ: «Я и вас назвал только что товарищем».
Яков Абрамович бросил папку и расхохотался.
— Ах осел, осел,— сказал он весело,— и ведь главное — все записывает! Материал собирает! Не протокол допроса, а пьеса из великосветской жизни! Нет! Зыбина голой рукой не возьмешь! Он не такой! Правда? Так! «Протокол писан с моих слов и мной прочитан...» — Он захлопнул папку.— Так! Ну, Георгий Николаевич, ныне все осужденные давно на свободе, они и отсидели-то не больше двух лет, версия об изнасиловании Верховным Судом отвергнута, так что вы и формально оказались правы! И все-таки в вашем участии в этом деле есть что-то не вполне понятное. Так вот, не пожелаете ли что-нибудь сказать в дополнение к этим протоколам?
Он сидел, смотрел на Зыбина, улыбался, а в глазах стоял тот же привычный, хорошо устоявшийся ужас. И все замечали это, только он не замечал и честно считал себя весельчаком.

Зыбин подумал и начал говорить. («А что я теряю? Ведь это все давным-давно известно. Старков-то действительно на свободе».)

— Дело было маленькое, грязненькое, запойное, и весь антураж его был соответственный,— сказал он,— свинский антураж: то есть номер в гостинице сняли на чужой паспорт, а встретились на бульваре — две бабы, трое парней, началась попойка. Суд интересуется, когда бабы ушли, сами они ушли или под руку их выводили, сколько пустых бутылок нашли, заблевана была уборная или нет. В общем, сцена из «Воскресения», и свидетели такие же — швейцар, коридорный, буфетчик, горничные.

— Да, но самоубийство-то все-таки было самое настоящее,— строго напомнил Яков Абрамович.

— И самоубийство бульварное, с пьяных глаз, вероятно. Наутро она сказала соседке: «Вы пока ко мне не заходите, я буду мыться». Ушла, как говорит соседка, затем словно форточка хлопнула, вот и все. Когда муж взломал дверь, она лежала в луже крови, рядом валялся браунинг, а на столе вот эта записка. Ну чем не сюжет для какого-нибудь Брешко-Брешковского?

Яков Абрамович слегка улыбнулся.

— В гимназии мы им увлекались,— сказал он.— Слушайте, она была красивая?

— Она?— Зыбин задумался. Все, что он говорил и слушал до сих пор, не вызывало у него ровно никаких образов, а сейчас он вдруг увидел женское лицо почти неживой белизны, точности и твердости очертаний, короткие блестящие черные волосы и злые губы.— Да, она была очень красивой,— сказал он убежденно.— Но красота у нее была какая-то необычайная, тревожная. Может быть, обреченная. Такую раз увидишь и не забудешь.

— Иными словами, она и на вас произвела впечатления человека незаурядного?— спросил быстро Яков Абрамович и сделал какое-то короткое движение, как будто хотел ухватить эти слова.— Ну хотя бы по наружности? Так как же с ней могло случиться, как вы сказали, вот такое? Такое, как вы сказали, брешковское? (Зыбин пожал плечами.) Да, но все-таки почему? Почему? Вы не задавали себе таких вопросов?

— Пути господни к человеческой душе неисповедимы, Яков Абрамович,— вздохнул Зыбин,— а дороги дьявола тем более.

— Это Старков-то дьявол?— фыркнул Яков Абрамович.

— Ну да, дьявол!— отмахнулся Зыбин.— Простой парень, работяга. И меньше всего богема. Что везло ему, это да. У нас его считали гением. Он даже

выпустил книжонку в два листа. Вы знаете, что это тогда было?

— Хорошо, а второго, Мищенко, вы знали? Его, кажется, тоже печатали?

— Даже очень здорово! У него были стихи даже в «Молодой гвардии». А это же толстый журнал.

— Так. А третий?

— Ну а третий был просто хороший парень. От сохи. Писал что-то, печатался где-то, а где и что — никто толком не знал, наверно, в таких изданиях, как «Жернов», «Крестьянская газета», «Земля советская». С ним я был просто хорош, да и все. Его гением никто не называл.

— Ну а муж? Вы его видели?

— А как же! Муж и был виновником всего торжества. Он на первой скамейке сидел. Целую неделю этот болван слушал все, что говорили о его жене и о нем самом.

— А что ему оставалось еще делать? — Яков Абрамович резко остановился перед Зыбиным.

— Вот именно! — воскликнул Зыбин.— Что делать? Раз ты полез мордой в помойную бочку, тогда ничего не поделаешь, хлебай уж досыта. Ведь это он настоял, чтоб ребят судили за изнасилование его жены. Именно так и толковалась предсмертная записка; защита же, наоборот, стояла на том, что никто ее не насиловал — сама все организовала, сама пришла в номер, сама перепилась и легла под кого-то. Что же еще? Прокуратура же уперлась намертво: не сама напилась, а напоили. Помните три знаменитые японские добродетели? Ничего не вижу, ничего не слышу, ни о чем не рассказываю — вот так себя и вели судьи. Ой, кто только не прошел тогда перед судом! Писатели, окололописатели, редакторы, агенты угрозыска, дельцы, студенты, профессура. Допрашивали пристрастно, глумились, сбивали, угрожали, ловили. В общем, я представляю, что такое вдруг с улицы предстать перед таким вот трибуналом. И вот тут мне два свидетеля вспоминаются... Один мужчина и одна женщина... Хотя это не особенно по существу...

— Да нет, уж расскажите, пожалуйста,— попросил Яков Абрамович,— кто же она была такая?

— Лучшая подруга Кравцовой, некая Магевич — красивая черная девушка с матовым лицом, похожая на турчанку. Ее пригласила и привела сама Вероника. Писатели, мол, придут, весело будет, пойдем. Ну та и пошла, а потом почувствовала неладное, верно, поняла, что это не попойка, а еще что-то, и ушла. Господи, ну

что ей за это было! Ей чуть в лицо не плевали: то зачем ты пришла, то зачем ты ушла. Задавали вопросики, знаете, как это умеют прокуроры? С усмешечкой. Обрывали, орали. Прокурор дул воду стаканами, и у него пальчики дрожали. Кончилось тем, что ее с запарки чуть не усадили рядом со Старковым, но кто-то, наверно, вовремя опомнился. Как же женщине пришить соучастие в изнасиловании? Впрочем, в этом чаду все было возможно. Так вот, я поражался этой Магевич. Как она сидела! Как отвечала! Как слушала! Не плакала, не кричала, а просто сидела и слушала. А вокруг нее визг, смех, рев, прокурорская истерика! Весь шабаш нечистой силы! А она ничего! Очевидно, адвокаты ей сказали: «Молчи. Они сейчас все могут. На них управы нет». И она молчала. Вот это первая свидетельница защиты, которая мне запомнилась.

— Но вы говорили, что их было двое.

— Да нет, их было много, человек двадцать. Но запомнились-то мне особенно эти двое. Второй был мужчина, Назым Хикмет. Я его знаю. Он постоянно ошивался у нас в буфете, в коридорах, на переменах. Вот его вызвала защита и попросила рассказать о его знакомстве с Кравцовой. Ну что ж, он рассказал. Однажды, рассказал он, стоит он на задней площадке трамвая — дело было позднее,— и вот подходит к нему красивая рослая женщина, представляется и говорит, что ей очень хочется с ним познакомиться. Ну что ж? Он мужик что надо! «Я очень рад»,— отвечает Хикмет. Тогда она сразу, с ходу, зовет его к себе: я, мол, одна, муж в Крыму, идемте, выпьем, потолкуем. Все это Хикмет рассказал просто, спокойно, не спеша, с легким приятным акцентом. Впечатление от рассказа осталось тяжелое. Даже муж что-то заверещал. И тут прокурор, спасая, конечно, положение, спрашивает: «Ну и какое впечатление произвела на вас она? Студентки, изучающей литературу и желающей познакомиться с видным революционным поэтом, или просто наглой проститутки?» Хикмет слегка пожал плечами и эдак певуче, легко, просто ответил: «Наглой — нет, но проститутки — да». Весь зал как грохнет!

— Ой, как неприятно! — строго поморщился Яков Абрамович.— Но вам, конечно, и это понравилось.

— Да нет, я был просто в восторге! — воскликнул Зыбин.— Наконец-то хоть на минуту среди этого чада, ора и казенной мистики я услышал человеческий голос. Ведь Хикмет сказал только то, что все, ну буквально все, включая прокурора, судей и мужа, в ту пору твердо знали. Да, шлюха! Да, злая, неудовлетворенная,

несчастная шлюха, для которой своя жизнь копейка, а на чужую и вовсе наплевать. И вот в зале Политехнического музея в публичном заседании происходит ее канонизация. Она превращается в святую. Произнесено страшное слово «богема». Студентка, казненная богемой! Государству нужны такие жертвы, и поэтому трое талантливых, молодых — отнюдь не богема и не пьяницы,— здоровых парней должны сложить свои головы. Но они сопротивляются, негодяи, и прокуроры гробят и гробят их. Еще бы, какая наглость! Оправдываются! Перед пролетарским судом можно только признаваться, разоружаться и просить пощады: «Клянусь, что если государство сочтет возможным сохранить мне жизнь, то я...» Вот так нужно говорить, а они льют грязь на покойницу, спорят с обвинением, адвокатов себе наняли! Жалкие козявки! Они думают, что можно что-то доказать! Да все уж давно доказано и подписано! Пролетариат должен увидеть звериное лицо богемы! Ваш долг перед обществом помочь в этом, а вы, как слепые котята, барахтаетесь, выгораживаете свою шкуру, отстаиваете свою правду. Да кому она нужна? Вот что было на суде, понимаете?

— Нет,— вздохнул Яков Абрамович,— не понимаю. Объясните.

Он вернулся к столу, сел и твердо положил перед собой оба кулака.

И вдруг Зыбину что-то расхотелось говорить, то есть начисто расхотелось. Ему даже стало стыдно за то, что он сейчас вдруг так распелся. В самом деле, разве его затем взяли и привели в этот кабинет — руки назад! не оглядываться! по сторонам не смотреть! — чтоб что-то понять, выяснить, в чем-то разобраться? Господи, кому тут это нужно? Он буркнул что-то и отвернулся.

— Что? Вы не хотите? — Он сразу же понял, что больше Зыбин говорить не будет, но это было уже и не важно. Теперь он окончательно уяснил себе все, даже и то, кому следует поручить его дело. И, покончив с этим, Яков Абрамович откинулся на спинку кресла и закурил.

— Итак, Кравцова была красивая,— сказал он задумчиво, не глядя на Зыбина.— Даже вызывающе красивая, а ведь тот глупый следователь прокуратуры прав, Зыбин ведь тоже мог пойти в эту «Гренаду», мог бы.

— Мог бы,— ответил он с вызовом,— ну и что из этого?

— Да нет, ничего, но мог бы! И тогда был бы

четвертым и получил бы ту же статью и меру, что и те трое. И вероятно, тогда сегодня бы я с вами не беседовал. К человеку, осужденному за изнасилование, политические статьи почему-то не прилепляются.

Он подмигнул и добродушно рассмеялся.

— Да, но тут, конечно, возникает другое,— сказал он,— не было бы этого дела — не было бы и вашей речи, не было бы и всего дальнейшего, в том числе сегодняшней нашей беседы. Ведь вы же кому-то говорили, что вам на все открыло глаза именно дело Старкова.

— На что на все?—спросил Зыбин.

— Ну хотя бы на нас, на нашу деятельность. Вы ведь считаете, что этот суд был делом рук органов. Что ж! Вполне, вполне допускаю! С половой контрреволюцией мы боремся так же энергично, как и с любой другой. С лозунгами «наша жизнь — поцелуй, да в омут» нам не по дороге. Это факт! Трудность тут, конечно, в том, что не сразу во всем разберешься, пока все это только стихи да водка, притом стихи-то эти продаются в любом магазине ОГИЗа. Но в результате получается-то что? Люди ничего незаконного как будто не творят, пьют и стихи читают, а мы теряем и теряем кадры. Ведь после этаких стихов становится действительно на все наплевать. Как это? «Здравствуй, ты моя волчья гибель, я навстречу тебе выхожу» — так, кажется? Ну вот и в этот раз тоже была пьянка, читали стихи, и после этого одна из участниц убежала, а другая покончила с собой. И не просто покончила, а с запиской... «Сто раз я тебя проклинаю...» А борьба с богемой к этому времени стала нашей идейной задачей. Значит, и дело надо было провести так, чтобы полностью выявилось лицо богемы. Для этого процесс вели при открытых дверях в одной из самых больших аудиторий страны. Мобилизовали все лучшие силы суда и прокуратуры. Так ведь? Газеты каждый день печатали отчеты. Защищали лучшие адвокаты — Брауде, Рубинштейн, Синайский! Кажется, чего еще требовать? А вы и тут оказались недовольны. В вашем институте, где училась покойная, собрались ее товарищи и потребовали высшей меры. Вполне понятное требование. Ну пусть оно не по форме, пусть оно юридически несостоятельно! Пусть! Понятно, что суд при вынесении приговора с этой резолюцией и не посчитался бы, у него свой порядок. Никто понастоящему этого и не требует, но общественное, товарищеское внимание ведь находило выход в этой резолюции? Так ведь? И тут вылезаете вы —

правдолюбец! — и, будто заступаясь за закон, за право, за Уголовно-процессуальный кодекс и черт знает еще за что, срываете собрание. Видите ли, судьи независимы и подчиняются только закону! Да кто против этого спорит? Кто? Кто? Кто? Вы что? Что-то новое вы открыли? Беззакония не допустили? Чью-то оплошность поправили? Вы просто-напросто сорвали обсуждение. По какому праву, позвольте вас спросить? Почему вы захотели перечеркнуть весь политический смысл процесса? Все, над чем трудились сотни наших людей — прокуроров, журналистов, работников райкома, юристов? И вы говорите, что не понимаете, почему вас тогда арестовали и доставили в ГПУ? Не понимаете? Так тут непонятно действительно только одно — почему вас отпустили?

— Да,— ответил Зыбин,— это действительно непонятно! Тогда я считал, что только так и может быть, а сейчас сам удивляюсь. Действительно — взяли и отпустили! Чепуха! Но ведь для того, чтобы выработался такой тип следователя, какого вы хотите, для этого нужно некоторое время, Яков Абрамович!

И тут Зыбин вспомнил Эдинова. Идя с допроса, он думал: «Нет, надо было бы ему все-таки рассказать про Эдинова. Пусть бы знал. Потому что не с курсового собрания у меня все началось, а с председателя учкома седьмой образцово-показательной школы Георгия Эдинова, с Жоры, как мы его звали».

Он пришел в камеру и лег — Буддо спал и похрапывал. Зыбин лежал тихо, вытянувшийся, подобравшийся и зло улыбающийся.

«Эх, Жора, Жора, разве я могу тебя когда-нибудь забыть. Ты ведь один из самых памятных людей в моей жизни. Я ведь даже повесть хотел, Жора, о тебе написать, несколько раз садился, брал тетрадку, исписывал несколько страниц, но только что-то ничего путного у меня не выходило.

А сейчас бы вышло! Сейчас у меня выкристаллизовался ты весь! Вот слушай, как бы я начал».

В одном из кривых арбатских переулков стоит и до сих пор большое красное кирпичное здание. Когда меня впервые привели туда, это была уже обыкновенная советская школа одного светлого, но теперь уже совсем забытого профессорского имени. А лет семь до того тут была гимназия, принадлежавшая тоже профессору, и тоже именитому. Гимназию эту профессор построил по последнему слову тогдашней педагогической инду-

стрии — высокое светлое парадное с разлетающимися дверями, триумфальная лестница под красными дорожками. Двусветные рекреационные залы с турниками («В здоровом теле здоровый дух!» Профессор преподавал римское право). Классы. Лаборатории. Школьный музей. А вверху, на пятом этаже, на этаж выше, чем учительские, святая святых — кабинет директора. Там висело авторское повторение Репина (Державин слушает молодого Пушкина), стоял стол стиля ампир с бронзовым прибором и наполеоновскими безделушками и под прямым углом к нему и другой стол, весь уставленный сухарницами и продолговатыми фаянсовыми блюдами в виде большого листа. Здесь собирался педагогический совет. А рядом была другая комната — лакейская, что ли, то есть я не знаю, как ее называли тогда, но в ней на полке рядком стояли орденоносные самовары, причем одни необъятной величины; был буфет с посудой, мельхиором, ведерочками для шампанского и подносами. Отсюда во время совета чинно и величественно выходил личный служитель профессора с бакенбардами, а за ним его жена, спокойная тощая старушка, и они разносили чай. (Я их хорошо помню, они жили где-то рядом и часто приходили посидеть в передней и поговорить о прошлом.) На этот пятый этаж, по словам старых служителей, не смел подыматься без вызова ни один из учащихся. Здесь и воздух был иной. По утрам кабинет спрыскивали хвойной водой из пульверизатора. Так вот, когда я пришел в школу, самой страшной комнатой был не этот кабинет — в нем сидела заведующая,— а лакейская комната с бумажкой, написанной от руки: «Учком. Ячейка РКСМ». Ты был председателем учкома. Заведующая все наши немощные души поручила тебе и ни во что не вмешивалась. Учителей тоже отсылала к тебе — ты один казнил и миловал. И скоро каким-то ловким маневром переселил заведующую в лакейскую, а сам занял кабинет директора. Заведующая была старая дама, фальшивая и лживая, она носила на шее бархоточку и черный медальон с алмазным сердечком. Любила, когда на школьных вечерах читали Бальмонта и «Белое покрывало», но нюх у нее был собачий, то есть она боялась тебя так же, как свое прямое начальство. А впрочем, кем же ты был как не ее прямым начальством? Ты, Георгий Эдинов, председатель учкома, секретарь комсомольской ячейки, руководитель драмкружка, еще кто-то, сильный, здоровый, скуластый, высокий, с бескровным кремовым лицом (у меня был такой башлык), в крагах и кожаной куртке! Никто не знал,

откуда ты взялся и кто тебя взял. Официально тебя, конечно, выбрали, но мы все отлично знали, что тебя никто не выбирал. Ты просто появился, и все тут. Ты появился и стал ходить по школе, по всем пяти этажам ее, все засекать, все усекать, во все проникать. Ты говорил, проходя мимо кого-нибудь из нас: «Зайди-ка ко мне во время большой перемены»,— и мы сразу же обмирали. А чего нам, кажется, было бояться? Ведь все это происходило не в царской гимназии с ее волчьими билетами, педелями, фискалами, с беликовыми и передоновыми, а в честной советской трудовой школе. И вызывал нас опять-таки не классный инспектор, а товарищ, наш товарищ. Вот это была первая и самая гнусная ложь. От нее шли все остальные лжи — и крохотные, и побольше, и, наконец, та наибольшая, во имя которой ты и возник, Эдинов. Я ведь потому ничего и не сумел собрать и написать о тебе, что так и не понял — кто же ты в самом деле? Просто, как пишет Достоевский, «мальчишка развитой и развращенный» (этот тип я постиг вполне) или чудовищный гибрид будущего кандидата педагогических наук Передонова с Павликом Морозовым — тоже еще на свет не родившимся (писатели двадцатых годов еще не были так умудрены, как их знаменитые и увенчанные коллеги тридцатых и пятидесятых годов). Во всяком случае, ты был весь обращен в будущее. И на Павлика, пожалуй, походил не по прямой, а какой-то очень-очень косвенной линии. Кто этот в самом деле бедный, злодейски убиенный пацанок? Не о таких ли написал Гёте: «Du, armes kind, was hat man dir gethan»[1]. Представь, я до сих пор не знаю этого. Я только вижу, чем все это кончилось. А начиналось все вполне невинно. Вот, скажем, санитарная тройка. Сначала это были действительно только девчонки с чисто вымытыми розовыми лапками. На переменах они ловили нас и осматривали наши ногти и воротнички. Но ведь девчонки что? Кто их слушал? От них выворачивались, откупались обещаниями, просто показывали язык и убегали. Ты быстро покончил с этой кустарщиной. «Во-первых,— приказал ты,— надо составлять акт и подавать в учком», во-вторых, вслед за девочкой шел верзила — он хватал меня за шиворот и волок в учительскую. Вот в этом и была твоя гениальность. Ты ввел порядок и понял, из кого должны состоять твои тройки. Вместо первых и законопослушных учеников ты стал набирать в тройки самых отпетых — хулиганов, ловчил, тупиц,— было бы

[1] Бедное дитя, что с тобой сделали.

мальчишеской совести поменьше да кулаки побольше. И все переменилось. Эта шобла была тебе предана, как шайка молодых щипачей своему тертому пахану, и поэтому они из самых последних превратились, само собой, в самых первых. И исчезли все безнадежные, успеваемость скакнула чуть не на сто процентов (наши бедные педагоги боялись тебя больше, чем мы). Так ты весомо, грубо и зримо продемонстрировал силу товарищеского воздействия, мощь коллектива и талант руководителя. И что по сравнению с тобой, действительно, стоили все демоны и бесы старой гимназии, все эти педели, инспекторы, директора — бездарные беликовы, параноидные передоновы! Да гроша медного не стоили они — стукачи и фискалы! Они были просто глупы и беспомощны! Им лгали с истинным упоеньем и вдохновеньем. А тебе не врали. Ты быстро покончил с этим ремесленничеством. Любой староста отвечал на любой твой вопрос: о чем ты его спрашивал, о том он и рассказывал. О родном брате и то рассказал бы. И попробовал бы тот его тронуть! Ого! Ты и с этим покончил сразу же. Правда, старички постарше, из тех, кто еще от отцов слышал о каких-то былых традициях товарищества — не об этих, которые так успешно насаждал и насадил ты, а о тех допотопных, когда человек был еще человеку не «друг», а иногда враг и друзья объединялись и блюли друг друга,— те могли еще увернуться от ответа или просто соврать. Но малыши были честны, неподкупны и суровы — они все несли в учком к его председателю в кожанке и поскрипывающих крагах... Бог знает, куда ты все это нес, Георгий Эдинов. Но во всяком случае, все наши немощные души ты крепко держал в кулаке. Вернее, в клеенчатой общей тетради, этакой книге живота нашего. Мне тоже однажды пришлось ее увидеть. Тогда в нашем классе случился криминал, и мне пришлось говорить с тобой. Это был первый в моей жизни разговор меня с государством, один на один, в казенном пустом кабинете, по казенной надобности. Правда, история была на редкость неприятная. Как-то после последнего урока у нас в классе появился и пошел по рукам револьвер. Конечно, без единого патрона, со сбитой ручкой, но с бойко вращающимся барабаном. Все крутили его по очереди. Подержать в руке настоящий бельгийский кольт — ого-го! Это чего-то стоило! А потом после уроков кто-то с этим кольтом подбежал к чинной стайке девчонок в углу двора и прицелился в них. Те, разумеется, бросились врассыпную, а потом быстро успокоились, вместе с нами гоняли этот барабан

и целились друг в друга. После этого кольт пропал. Кто его принес — так и осталось нераскрытым. Но прошла неделя, кто-то стукнул, и началась паника. Боевое оружие! Заряженное! Оставшееся от белых! С полной обоймой! С гравировкой «За веру, царя и отечество»! Двуглавым орлом! (Ни орла, ни надписи этой, конечно, не было, но шептались именно о них — ты был и правда большим талантом, Эдинов!) Немедленно найти и выяснить, чей он. Выяснить, выяснить, выяснить! Выявить, выявить, выявить! Сначала собрали старостат просто. Потом старостат с тройками. Потом заседал педсовет совместно с учкомом. А раз после занятий пришел в класс физкультурник и провел беседу. (Это был вялый высокий блондин с красными полосками бровей и постоянно лупящимся носом. Мы к нему относились как к своему.) Бесполезно. Никто ничего не знал (к счастью, староста наша болела). А через три дня объявили нечто чрезвычайное — общее собрание обеих смен. Явка обязательна. Мы пришли. На сцене стоял стол под красным сукном, и сидел за столом под пальмами костистый дядька лет сорока, во френче и в пронзительном троцкистском пенсне. Кто-то из учкома объявил собрание открытым и предоставил слово тебе. Ты скромно поднялся с одной из средних скамеек и взошел на сцену. Ровно такой же ученик, как и мы все. «Вот, ребята,— сказал ты,— нашу школу посетил один из руководящих работников райкома партии. Он хочет с вами поговорить». Товарищ из райкома поднялся и заговорил. Голос у него был мягкий, переливчатый, но с этаким металлом. «Меня что больше всего удивляет в этой нехорошей истории с кольтом? — сказал он просто.— Не он сам, нет. Больше всего удивляет ваше отношение к своим же ребятам, своим товарищам. Они вас спрашивают, а вы либо молчите, либо говорите им неправду. Зачем лгать своим друзьям? Вот это совсем мне непостижимо! Обманывать Жору Эдинова? Водить за нос Благушина? (Был у нас такой подонок, раньше из самых отпетых, сейчас самый ответственный.) Ведь вы с ними на одной парте сидите, на переменах в футбол играете, вместе домой идете, завтраками делитесь — и лжете им? Почему? Не верите, что ли? Никак не умещается это у меня в голове, ребята! И другое совсем непонятно — вот я узнаю, у вас начались разговоры о фискалах, доносах, доносчиках, ябедниках. Какие фискалы? Какие ябедники? Ведь это же давным-давно умершие понятия нашего проклятого прошлого, и я не пойму, кто и зачем их воскрешает. Мы давным-давно осиновый кол в них

забили. Среди вас не может быть доносчиков, нельзя же доносить на самого себя. Верно, ребята? — Тут он даже немного посмеялся.— Но,— и тут он сразу мгновенно построжел,— вы должны быть сознательными друзьями, и если ваш друг вольно или невольно повел себя не так, как следует в нашем социалистическом обществе (были тогда действительно сказаны эти слова о социалистическом обществе? Сейчас я уже сомневаюсь. Может быть, это просто историческая аберрация, обман слуха, и я услышал то, что говорилось много позже), вы обязаны во имя его самого же довести до сведения ваших старших товарищей, ваших старших товарищей!» На эту тему он говорил еще с час. Так вот, после этого собрания ты и вызвал меня, Эдинов. В учкоме никого не было. Уже горело электричество. Ты сидел за столом, я сидел поодаль. «Ну так что скажешь?» — спросил ты. А чего я мог сказать, я молчал — и все! Тогда ты сказал: «Ты знаешь, кто принес кольт. Учти — у тебя плохая успеваемость по математике и отвратительное поведение. А школа держит первенство по Москве. Сейчас самое время тебе об этом подумать!» Я молчал. «Верно?» — спросил ты. Я опять-таки молчал, потому что и это была правда. Ты посидел, посмотрел на меня таинственно и сказал, что вызвал меня только потому, что хотел, чтобы я сам во всем честно разобрался. Вот я только что слышал прекрасную речь ответственного товарища. Товарищ этот мне объяснил все, так неужели я и дальше буду запираться? И губить себя? В нашей стране не может быть неисправимых. Помню ли я, каким был Николай Благушин хотя бы в прошлом году? Хорошо! А сейчас? Вот он все осознал и исправился по-настоящему. А я? Нет, так советские учащиеся себя не ведут. Во всяком случае, учащиеся советской образцовой школы, носящей такое светлое имя великого ученого Михаила Ковалевского (ей-богу, ты сказал именно так, может быть, и издеваясь), так не могут себя вести. Так ты говорил, строго и ласково, глядя прямо в мои лживые глаза. Пятнадцатилетний капитан — тебе вряд ли было больше — нашего бестолкового школьного корабля. А я изворачивался, мекал, не знал, куда себя девать, просто сгорал от конфуза и злости. Я ненавидел себя, тебя, всех, кто тебя поставил над нами. А ты уличал меня на каждом шагу, не особенно настаивая, но и не отступая,— ты просто преследовал меня по пятам. Наконец мне все как-то осточертело, на его «ты должен...» (подумать? решить? сказать?) я рявкнул: «Ничего я тебе не должен, и пошел бы ты от меня...»

Вот тогда ты выдвинул ящик, вытащил книгу живота и ласково погладил ее. «Ну зачем же так,— спросил ты с мягкой наглостью.— Все равно ведь скажешь, некуда тебе деться. Вот где ты у меня. Прочитать?» «Прочитай!» — крикнул я. «Да, я прочту, пожалуй,— сказал ты с той же ласковой ненавидящей улыбкой,— но тогда тебя на следующем заседании педсовета исключат из школы. С чем ты придешь домой? Ведь тебя бить будут. Ремнем. Тебя бьют дома, я знаю. Бьют, а?» — ты подмигнул мне. Ты был прав, дома меня били, но если бы у меня был этот самый кольт, да еще если бы он стрелял,— я бы не задумываясь разрядил его весь в эту наглую ухмыляющуюся морду. Но у меня не было его, и я молчал. Я дошел до такой грани отчаяния и унижения, что дальше идти было уже невозможно. Теперь мне уже было все равно. Я просто ничем не мог помочь себе. И тут вдруг ты, Эдинов, обнял меня за плечи. «Ну и дурачок же,— сказал ты ласково и простецки,— ненормальный и не лечишься. Смотри!» Он снова выдвинул ящик стола, вытащил кольт и бросил его на стол. «На! Смотри! Герой! У него же курка нет! Мы в тот же день его и забрали, но нам важно было сознание, сознание! А тут круговая порука. Разве это в советской школе терпимо? Закуришь?» — он вынул кожаный портсигар и протянул мне.

Это было актом величайшего доверия. За куренье исключали на три дня, на неделю, совсем. Ходили, правда, слухи, что Эдинов курит, но видеть этого никто не видел. Впрочем, может быть, один исправившийся Коля Благушин... Так мы и расстались, выкурив перед этим, как он сказал, «трубку мира», и ты больше никогда не вызывал меня в учком, лишь встречаясь, заговорщицки улыбался. Ведь у нас с тобой была тайна, да и весь ты жил в этих тайнах — ответственный, осведомленный, все понимающий с высшей точки зрения — таинственный... Где ты сейчас? Жив ли? Попрежнему ли улавливаешь души, или и твою уже успел кто-то уловить? А это вполне может случиться. Ведь над твоим столом висел портрет Льва Давыдовича, да и тот, кого ты приводил к нам, носил звонкую партийную фамилию, но лет через десять я прочел ее с таким титулом: «ныне разоблаченный враг народа»,— а ты потом, кажется, у него работал, так что все в конце жизни может быть.

Он уже спал и видел все это во сне. А между тем совсем рассвело. Полоска неба за решеткой стала сначала белой, потом голубой, потом розовой. Кусты

около окна стрекотали уже по-дневному отчаянно и развязно. Из коридора слышались ясные утренние женские голоса — это ходили по камерам фельдшерица и сестра.

Буддо сидел на кровати и листал самоучитель английского языка 1913 года.

— Ну, с боевым крещением вас, Георгий Николаевич,— сказал он, когда Зыбин поднял голову.— Вот ваш ужин остался от вчера, ешьте, пока не убрали. Сечка.

Зыбин молча встал, прошел к столику, сел, но есть не стал.

— Ну что же это вы? — упрекнул Буддо.— Так разволновались? Ничего, ешьте, ешьте, а то ведь и ноги протянешь. Хотя нет, во время следствия не дадут, а вот потом — это уж как сочтешь. Кушайте, кушайте. Сечка-то с мясом! Знаете, как ее тут зовут? — Он покосился на волчок.— Сталинская шрапнель!

— Остроумно,— улыбнулся Зыбин и зачерпнул ложку.

— Ну вот и на здоровьичко,— похвалил Буддо.— А заключенные вообще, Георгий Николаевич, люди острые и находчивые. Только вот следователи-то еще понаходчивей их! Посвыше, как говорят в лагере. Так что? Со статейкой вас? Как, еще не предъявили? Что же вы тогда делали? Анкетой занимались. О, это они любят, умеют! Тут они психологи. Ты дрожишь, кипишь, а они тебе — где родился? где учился? когда женился? И точат, точат кровь по капельке. У вас кто следователь-то? Не знаете? А у кого были? Как, у самого Неймана? — Буддо даже учебник положил.— А какой он из себя? Ну правильно, курчавый, небольшой, толстогубый. Э-э, дорогой, значит, они всерьез вами занялись. О чем же он вас спрашивал?

Зыбин усмехнулся и развел руками.

— То есть?

— Да чепуха какая-то. Дела давно минувших дней. Да и совсем не мои даже.

— Но а все-таки, все-таки?

— Ну понимаете...— Зыбин подумал и начал говорить.

Он рассказал то же, что и Нейману, а потом и прибавил еще кое-что от себя. Так, он сказал, что самоубийство Кравцовой ему очень понятно. Резкая, во всем разочаровавшаяся женщина. Была личной секретаршей, стала женой. К мужу питала почти физическое отвращение. Изменяла ему нагло, явно, с каким-то даже отчаянием. На суде это выяснилось полностью.

Любила ли она Старкова или нет — не поймешь, но то, что ее бросили, она переживала тяжело. А почему он ее бросил — тоже ясно: приехала жена с ребенком и надо было что-то решать. И если бы он сразу оборвал все, то, конечно, ничего бы и не было, но он тянул, врал, что-то выгадывал — словом, гнался за двумя зайцами сразу. От прямого разговора уклонялся. Вот тогда она и выдумала эту злосчастную вечеринку. Здесь, в передней номера, состоялось их решительное объяснение. Старков, прижатый к стенке, выложил ей все. На выражения, наверно, не постеснялся. В общем, они смертельно поругались. Кравцова была женщиной решительной, а тут еще водка, и вот... «А ну-ка, Володя, идите сюда». Володя подошел. Огонь потух, потом зажегся. Старков посмотрел, плюнул, выругался и ушел. Но опять все, вероятно, сошло бы, если бы Володя догадался ей утром позвонить. Вот тогда и «хлопнула форточка». А в общем, пьяная мерзость и гадость, о ней и говорить противно!

Пока Зыбин говорил, Буддо молча листал самоучитель, а потом поднял голову и спросил:

— Хорошо, а вы тут при чем?

Зыбин рассказал о собрании и своем выступлении.

— Понятно! Так знаете, как будет начинаться ваша обвиниловка? — Он на минуту закрыл глаза и задумался. — Вот, значит, так: «Следствием установлено, что, еще будучи студентом такого-то института, Зыбин Гэ Эн, пытаясь выручить своих собутыльников, арестованных за бандитизм, сорвал студенческое собрание, посвященное обсуждению и заклеймению их преступной деятельности. Арестованный и допрошенный тогда же органами ГПУ, он дал уличающие себя показания, однако следствие, стремясь быть к нему максимально объективным, в то время не нашло нужным привлекать его к уголовной ответственности. Воспользовавшись этим и приняв великодушие за слабость, он...» — ну и пошло, и пошло! Да, с самого начала нехорошо у вас сложилось. Нейман, это дело! Очень, очень погано! Хотя...

Он вдруг отбросил книгу, ахнул и даже всплеснул руками.

— Слушайте! Дорогой! Великолепная же мысль! Да, да! Я бы так и сделал, свел бы все исключительно к этому! Да, да! — Он засмеялся. — Именно так. Ах, черт возьми! Нет, есть у меня все-таки что-то в башке, есть! Вот будет чудно! Воспользуйтесь! Обязательно воспользуйтесь!

— Что чудно? К чему к этому? — не понял Зыбин.

— Господи боже мой! — воскликнул Буддо. — Да как же вы не понимаете? Они же вам руку протянули! Ведь в том деле, кроме пьянства, хулиганства и бытового разложения, они вам ничего не предъявляют! Так? Ну чего же вам еще желать. Сознавайтесь, и все! Говорите: «Да, признаюсь, что я выступал на собрании потому, что хотел выгородить своих собутыльников. Мы вместе пили. Я и сейчас такой. Пью, гуляю, баб к себе вожу, работу заваливаю, но вот политики — нет, политики я не касаюсь! Она мне ни к чему. А просто я богема, аморальная личность!» Вот и все. И ничего вы больше знать не знаете. Они от вас наверняка тогда отвяжутся.

— То есть как же отвяжутся? — удивился Зыбин. — Ведь это же готовая статья! Завал работы! Хорошее дело!

— Какая статья! — воскликнул Буддо в азарте. — Какая? Статьи за богему, Георгий Николаевич, нету, а есть литера СОЭ — социально опасный элемент. И полагается за это СОЭ по Особому совещанию три года без поражения и конфискации! И поедете вы по этой литере не на Колыму, а в местную колонию. А там получите расконвойку и через года полтора выйдете с чистыми документами на свободу. Красота! Послушайте меня, времена сейчас поганые, отсидитесь за высоким забором. Сведите все к пьянке, и конец.

— А три года как же?

— Вот вы какой, ей-богу! — рассердился Буддо. — Да что вы, вчера родились, что ли? Вы что же, отсюда прямо на свободу хотите выйти? Ни в чем не виноват! Опять зазря посадили! Так, что ли? Да ведь это значит, вы туда, а следователь сюда, на вашу койку? Пойдет ли кто-нибудь на это? Как вы не понимаете, освободить вас им сейчас попросту невозможно.

— Это почему же? — запальчиво спросил Зыбин.

— Вот святая простота! Да потому, что вы уже сидите! Стойте, стойте, ведь вы считаете себя невиновным? Так? Ну вот, вас тогда, семь лет назад, например, выпустили — ну и что же? Вы раскаялись? Благодарность к органам почувствовали? Да черта с два! Вы небось всюду ходили и орали: «Сволочи! Негодяи! Ночь продержали! За что? Провокаторы!» Так? Ну так или не так? — Он засмеялся. — «Ночь продержали»! Вот поэтому-то вас и нельзя выпустить. Виновного можно, а невиновного нельзя. Виновный в ноги упадет, а невиновный ножом пырнет. Значит, исходя из этого, статью они вам приварят обязательно. Теперь вот

вопрос: какую? Если будете брыкаться да злить их — они вам такую подберут... да еще в такое место направят... Это они умеют. Вы знаете, есть лагеря, где зеки больше полугода не живут. Так вы послушайте меня, Георгий Николаевич, вырывайте у них СОЭ — и все! В нем ваше спасение. Они поупрямятся, поорут да и согласятся.

«Черт бы побрал этого сумасшедшего,— подумал Зыбин,— и ведь не разыгрывает, искренне говорит. Вот чертовщина-то!»

— Бог знает, что вы такое говорите, Александр Иванович. Ведь это же с ума надо...— начал он сердито и вдруг осекся, вспомнил — и Нейман сказал: «И тогда, вероятно, сегодня я бы с вами не беседовал. К человеку, осужденному за такое, политическую статью не прицепишь».

«Да, да,— подумал он,— да, да. Так оно, верно, и есть. Это сумасшествие, но оно имеет свою систему. Все это знают и все притворяются, и следователи и подследственные, все они играют в одну и ту же игру».

Он неслышно вздохнул, поднял ложку и стал есть сталинскую шрапнель.

— Не дай мне бог сойти с ума, вот что я думаю,— сказал он.— Это из Пушкина. Но я еще побарахтаюсь! Я посмотрю, что из всего этого выйдет. Да, посмотрю!

Буддо ничего не ответил и только вздохнул. И весь вечер они оба молчали.

Он снова спал, видел во сне тюрьму и метался. «Боже мой, боже мой,— думал он,— как все это нелепо получилось, ведь мне обязательно надо было увидеть Лину. Ведь она будет ждать! Боже мой, боже мой, какая глупость. И как хорошо нам тогда было, на море».

И сейчас же он увидел белую стену городского музея, старую рыжую пушку у входа на камнях и маленького человечка с указкой в руке.

Разговаривая, они отошли от витрины. Директор был тощим, желтолицым, с усиками. Вся биография его читалась на его лице — сначала он, вероятно, преподавал историю или географию в средних классах. Затем стал руководить кружком краеведов — начинал с коллекции бабочек, птичьих гнезд и гербариев, а кончил черепками чернофигурных ваз и обломками мраморных надписей. И как раз подошло время открывать музей, так он, само собой, сделался его экскурсо-

водом и директором. Вечерами он писал отчеты в центр и составлял планы экспозиции, а днем проводил экскурсии. Жаловаться на перегрузку не приходилось — сейчас вот, например, он водил по комнатам только одного его, скучающего, равнодушного ко всему на свете курортника. На все объяснения курортник этот только согласно кивает головой да хмыкает. Что ему до города, что ему до многовековой истории его и что ему до музеев! И действительно — город Зыбина совсем не интересовал, он выглядел так обыденно и скучно, как будто кто-то не глядя рубанул топором по куску старой, пыльной Москвы, вырубил, вырвал несколько улочек да и грохнул их сюда, на морской песок. И вот где-то возле тупичков и особнячков Большой Мещанской заплескалось море!

Вот оно-то действовало на Зыбина со страшной медленной силой — оно входило, вдавливалось в него все глубже и глубже, проникало во все поры его, плескалось и гудело во всех его мыслях и снах. Да! Она наполняла его до краешков, эта «моря бледная сирень в мутно-лазоревом сосуде», только он, пожалуй, еще не сознавал этого.

Директор отговорил свое и отошел от последней витрины. Рабочий день окончен, пора закрывать музей.

— Вы ведь нездешний? — спрашивает он.— Ах, вы из санатория имени Крупской? Ну, ну. Знаю, знаю. Я рядом живу. Идемте.

Они выходят. День стоит высокий, солнечный и прозрачный, кричат чайки. Море поднимается, опадает, ласково ухает и шипит внизу, под высоким берегом. Они идут молча, и Зыбину вдруг становится неловко.

— Вот знаете,— говорит он,— Латышев в «Известиях Археологической комиссии», кажется, за тысяча девятьсот десятый год, опубликовал из этих мест надпись фаса Навклеров, то есть общества судовладельцев. Из нее следует, что здесь где-то в заново отстроенном храме была водружена статуя бога Посейдона. Хорошо бы было нащупать, где он стоял.

— Как, как вы сказали?

Директор останавливается, вынимает записную книжечку, просит повторить.

— «Известия», тысяча девятьсот десятый год? Номер не помните? — Да, об этом сведений ему что-то не попадалось. Ведь «Известий»-то в музее нет. Надо будет опять затребовать по междубиблиотечному.

— А разве у вас в библиотеке?..— спрашивает Зыбин.

— У нас библиотека? У нас знаете что? У нас вот что...

Вдруг директор загорается, сует книжечку в карман и рассказывает, какой вопросник ему прислали из области. Он расстегивает дерматиновый портфельчик, вынимает и показывает эту бумажку.

— Вот полюбуйтесь — «Планируемые находки на этот год», понимаете, о чем спрашивают?

— Понимаю! «Крокодил»! — смеется Зыбин.— Что ж вы ответите?

— Да, действительно — «Крокодил»,— обиженно фыркает директор и прячет вопросник в портфель,— и ведь ничего не поделаешь, надо отвечать!

И он опять говорит о музее, о том идиоте, который сидит где-то там, вверху, в области, ничего не делает, ничего не знает, ничем не интересуется и только рассылает «по точкам» вот такие шпаргалочки. Они говорят о нем, болване, портаче, а потом не только о нем, а и о других портачах, его покрывающих, и еще о других, и затем уже совсем о других, о таких, о которых говорить не полагается, но они все равно говорят.

И тут между ними как некое спасенье, как недоговоренность возникает некто — человек секретный, фигуры не имеющий. Он рождается прямо из воздуха этого года — плотного, чреватого страхами — и идет третьим, вслушивается в каждое их слово, запоминает их всех и молчит, молчит. Но он не только запоминает. Он еще и перетолковывает услышанное. И перетолковывает по-своему, то есть по самому страшному, не совместимому с жизнью. Потому что он самый страшный человек из всех, кто ходит по этому побережью, из тех, кого сейчас несут суда, машины и самолеты. Он непостижим, бессмыслен и смертоносен, как мина замедленного действия.

Позже выяснится, что он еще и очень, смертно несчастен.

Он навеки замкнут в себе. Потому что эти двое носят его в себе, всегда — третьего.

Они шли с Буддо по взморью веселые, беззаботные, готовые обнять весь мир, смеялись и болтали. Дул теплый ветер. День был тихим-тихим и вода темно-прозрачной, как дымчатый топаз, в ней мерцали и переливались разноцветные голыши, длинные водоросли, стайки рыбок.

— Вот здесь под камнями,— сказал Зыбин, останав-

ливаясь,— живут преогромнейшие крабы. Вам необходимо достать для музея хоть одного такого краба.

— Да я и сам уже думал,— ответил Буддо. В этом сне он и был директором музея.— У меня есть один, но с отломленной клешней.

«Как хорошо, что мы вырвались!— радостно подумал Зыбин, и у него даже сердце екнуло — так до краев он был переполнен пространством — небом, солнцем, морем, так был размягчен и доволен всем.— И как хорошо, что он послушался меня! Милый ты мой Александр Иванович! Старичок! Я ведь как пришел, так сразу сообразил как и что. Вот мы и на свободе».

Они шли ловить крабов. Крабы водились возле высокого берега под плоскими темными плитами и глыбами. Таких глыбин здесь валялось много — белых, черных, красных, зеленых, таких скользких, как будто их кто натер жидким мылом, наступил — и поехал в воду. Крабы под ними жили целыми семействами: самые маленькие, побольше, побольше, еще побольше, совсем большие и великаны с чайное блюдце. Вот только самых-самых больших здесь не было: самые-самые большие, наверно, жили в подводных гротах или в открытом море.

— А мне обязательно нужен огромнейший краб,— сказал Зыбин.— И не такой, как на рынке, там их вываривают и кроют лаком, такого я даром не возьму. Мне, Александр Иванович, нужен настоящий, черный, со дна моря.

Потом они вошли в море и стали поднимать камни. Одна круглая глыбина была очень большой, да вдобавок она еще до половины ушла в песок. Они вымокли с ног до головы, обломали ногти, зашиблись, наконец все-таки вывернули ее. Под ней оказалась большая, круглая, совершенно сухая ямина, и в середине ее сидел краб-крабище — царь крабов, крабий монарх этих берегов, огромная колючая уродина с зелеными змеючими глазами. Вода не хлынула в ямину, и он так и остался сидеть, а когда Буддо наклонился, этот черт вдруг чуть не с шипом подскочил и выбросил уродливую шишковатую клешню, точь-в-точь заржавевшую скифскую железку. Сейчас он походил на индийского многорукого идола — бога Шиву, что ли?— черного, древнего и страшного.

— Это особый краб, ядовитый,— сказал Буддо, отшатываясь,— вы только взгляните на его глаза, такой если защемит, то уж насмерть.

Зыбин хотел что-то ответить, но тут вода забурлила, заклокотала, покрылась пеной, как в котле, и пошла

воронкой. Они оба сразу очутились по колено в воде, и их начало крутить.

— Крикните,— испуганно прохрипел Буддо,— крикните скорее, а то нас сейчас зальет.

Он хотел крикнуть и не смог — голоса не было.

А вода все прибывала и прибывала, бурая, сердитая, воронками, с сором и пеной. Уже доходила до груди, до плеч, по шейку, и тут он весь напрягся и все-таки крикнул, срывая горло. Как-то очень жалко, жидко, но сразу же понял, что спасен.

Горел желтый свет, он лежал на кровати, и над ним наклонился солдат и тряс его за плечо.

— Нельзя кричать,— сказал солдат испуганно,— карцер за это.— И вдруг спросил совершенно почеловечески: — Что? Сердце?

У солдата было лицо хорошего деревенского парня, с каким-то белесоватым налетом, пушком молодости, ореховые круглые глаза.

— Да нет, так что-то...— бормотнул Зыбин, не сразу приходя в себя. Перед ним все еще плескалось море, блестело солнце, и Буддо, рослый, бодрый, молодцеватый, стоял рядом. Он оглянулся — Буддо рядом не было. Самоучитель английского лежал на пустой кровати.

— Может, доктора? — спросил солдат.

Зыбин покачал головой.

— Ну спите,— приказал солдат уже опять строго и вышел.

Зыбин вытянулся и закрыл глаза.

Все это уже было, было, было! И море, и директор, и то, что они шли по влажным галькам за крабами, а волны накатывались и отбегали у самых их ног. С крабом была особая история. Особая и чем-то не очень простая. Это он понял тогда же. Краба этого — совсем такого, как он описывал директору, огромного, черного, всего в шипах, известняковых наростах в синей прозелени — заказала привезти одна его сокурсница. Но с сокурсницей тоже была история, и тоже особая. Он влюбился в нее еще на третьем курсе, и она знала, но относилась к этому как-то непонятно. Во всяком случае, он не мог понять как. Так вот она и заказала привезти ей краба.

— Только ты хорошенько поищи,— попросила она,— мне надо самого большого. Такого, чтоб поста-

вить на письменный стол. Это будет о тебе память на всю жизнь. Хорошо? Привезешь?

— Хорошо,— ответил он,— привезу.

— Но только не с базара,— остерегла она.— Там продают вареных, красных, как пивные раки. Такого мне не надо. Сам поймай.

— Да ладно, ладно,— ответил он, улыбаясь.— Подумаешь, великое дело. Поймаю! О чем разговор? Привезу.

Но оказалось именно великое дело. Сколько он ни совался на базар, кроме этих отвратительных, похожих на женские баретки или коробочки из ракушек, никаких иных крабов он не видел, и где их ловят, узнать было невозможно. «Да там! Да там, на косе! Этого вот под высоким берегом! Этого у маяка! В море с лодки!» Вот и все, что ему удалось узнать у продавца.

Так он ходил, ходил, искал, искал, и прошло уже десять дней, а он так ничего не нашел. Тогда он вдруг решил: ну к черту всех! поймаю сам.

И, решив это, он явился в музей и сказал директору:

— Ну, я пошел ловить крабов. Вот!— В руках у него был дротик, на боку ботанизирка.

— Хм, краба ловить!— усмехнулся директор.— Это нелегко ведь! А что ж, рыночные вам, значит, не подходят? Не натуральные? А ну постойте-ка.

Он пошел в запасник, чем-то там погрохотал, погремел и осторожно вынес кусок картона, а на нем что-то несуразное, колючее, торчащее в разные стороны, черно-серое от пыли.

— Вот клешни одной нет,— сказал он с сожалением,— и все время рядом лежала, а сейчас куда-то задевалась.

— Так неужели это краб?— не поверил своим глазам Зыбин.

Директор дунул, и они оба закашлялись, такая поднялась пыль.

— Два года стоит на шкафу,— сердито ответил директор.— Юннаты тут его фотографировали, вот и сломали, наверно.— Он положил картон на стол и отряхнул руки.— Ну что, наверно, с одной клешней вам не годится?

— Да где же такие водятся?— спросил Зыбин изумленно, со всех сторон осматривая это маленькое чудище. Больше всего оно походило на модель какой-то странной машины с поршнями, зубчатой передачей и рубильником.— Я таких что-то еще и не видел. На рынке таких нет.

— А там вы их и не увидите,— ответил директор.— Это какая-то особая порода. Зоологи еще не знают ее. Эти крабы только в одном месте тут и водятся. Так вам что? Действительно такого надо? Можно сходить к одному человеку.

— Ой, да вы меня просто спасете! — воскликнул Зыбин.— А когда же?

Директор поглядел на часы-браслетку.

— Что ж, уже время закрывать. Пойдем, пожалуй, сейчас, по берегу недалеко. Он, наверно, дома.

— Кто?

— Да старик тут один. Грек. Он их ловит. Ветеран наш. Я еще воспоминания его о гражданской записывал. Пойдемте.

Вот и шли они по самому-самому взморью, по влажной и мерцающей полосе его, и маленькие волны все время обдавали их ноги. Говорил директор, Зыбин слушал. Дул теплый ветерок. Вечер был прозрачным и солнечным, а галька под ногами — Зыбин скинул сандалии — была теплой и влажной. Он и до сих пор помнит кожей, как это было хорошо.

— Смотрите, что это? — спросил Зыбин, останавливаясь.

У самого прибрежья в воде лежала какая-то странная мраморная глыбина. Директор подошел, посмотрел, покачал головой.

— А ведь, вероятно, большая художественная ценность,— сказал он вдруг сердито.— За это надгробье когда-то великие деньги были уплачены. А вот сейчас валяется под ногами, и никому дела нет.

Зыбин наклонился и поковырял камень ногтем.

— Что-то ведь написано,— сказал он.

Директор посмотрел на высокий берег.

— Он вон откуда свалился, видите? Тут каждый год метра три-четыре обваливается, вот кладбище и рушится в море. А написано здесь вот что.— Он наклонился над глыбой.— «Верую, Господи, верую, помоги моему неверию».

— Интересно! — воскликнул Зыбин.

— Очень. Страшно даже интересно! Так интересно, что поп даже хотел этот памятник совсем с кладбища выбросить, к вдове прицепился. «Об этом верю-неверю, уважаемая Анна Ивановна, надо было ему раньше думать, а теперь так ли, сяк ли, но дело вполне конченое! Теперь уж лежи!» Да! И вот уже тридцать

лет как он лежит. Генерал от инфантерии барон фон Дризден. Может, слышали?

— Нет,— покачал головой Зыбин.— Такого не слышал, не по моей части.

— А я его помню. Он ведь перед самой империалистической умер, такой маленький был, а борода, как у Черномора, на две стороны, или как хвост у чернобурки, и все нас мятными лепешечками оделял, от кашля.— Директор снова наклонился над памятником.— Видите, что сделано? Амвон, а на нем раскрытая книга, и позолота на буквах уже лупится. Полежит он так года два — и конец. А может, это большая ценность, ведь какой-то знаменитый итальянец резал, вот фамилию не установлю.

— Ну уж итальянец,— посомневался Зыбин.— Откуда тут итальянец возьмется? Какой-нибудь, наверно, каменорез из Новороссийска.

— А вы нагнитесь, нагнитесь, посмотрите хорошенько,— рассердился директор.— Видите, как сделано — листик на листик! А лента на середине, посмотрите, посмотрите, какая! Муар! А шнурочек какой! Каждый виток виден! Нет, что говорить, большой, большой мастер делал! Он у генерала год жил, памятник его дочке высекал. Ну а потом генерал это самое... Ну, после ее смерти тоже задумываться стал. Вы ее-то памятник видели? Как, и на кладбище даже не были? Ну, это вы зря. Надо сходить обязательно! Таких и в Москве нет. Понимаете, это так...— Он оглянулся, подтянулся, вытянулся, вздохнул, сделал какое-то округлое движение, словно желая очертить все разом, но сразу же и спал, повернулся к Зыбину и заговорил уже опять по-обыкновенному: — Это, понимаете, так: на мраморной глыбине — знаете, есть такой сорт мрамора с блестками и лиловыми искрами — стоит девушка, легкая-легкая, как воздух, и вот-вот взлетит... Нет, никак не могу вам я это объяснить! Но правда, кажется, еще минута — и оторвалась, и туда, туда! А одежда тянет к земле, к плите, к могиле — одежда длинная, развевающаяся, вуаль, что ли? А сама девушка тоненькая-тоненькая и руки как крылья! Сюда, к морю! А на глыбе стихи.

— Из Священного писания?

— Нет! Не оттуда! Она, кажется, этого не очень придерживалась. Обыкновенные стихи, Надсон, Пушкин, Лермонтов — ну как в альбоме. Она и сама, говорят, писала. Отец после смерти ее даже книжку выпустил «Танины стихи». Ее Таней звали. До полных двадцати не дожила.

— Умерла?
— С маяка выбросилась. Прямо на камни. Вдрызг.
— От любви?
— Да как будто так, а там кто его знает? Разное говорят. В рыбака она будто, говорят, влюбилась, тут красивые есть рыбаки из греков, прямо Аполлоны, а папаша ни в какую. Очень своенравный старик был! Говорят, проклял ее, или пообещал проклясть, или еще что-то в этом роде, но она его же кровей, не из покорных. Значит, нашла коса на камень. Выйду замуж, и все тут. Вот так и получилось...
Он замолчал, отряхнул руки и вышел на берег.
— Ну а как же она все-таки погибла? — спросил Зыбин.
— Вот что, — сказал вдруг директор решительно, — тут вот что надо: тут надо ходатайствовать, чтоб взяли памятник под охрану. Как представляющий ценность. Да, да! Это, я знаю, можно. В Феодосии армянская церковь такая есть, и ее не трогают. И тут на турецких воротах тоже надпись: «Охраняется государством». Это можно. Как погибла-то? По-разному рассказывают. Говорят, что он ушел в море с рыбаками, а ночью поднялась буря, пошли смерчи, она всю ночь стояла на маяке возле большого прожектора. Смотрела, а утром увидела на берегу доски и снасти его суденышка и ринулась, значит, с маяка на камни. А вы видели, какой маяк? Ну и все! Вдребезги!
— А так может быть?
Директор помолчал, подумал и засмеялся.
— Да нет, конечно. Как корабль гибнет ночью в море, с маяка это не увидишь. Но что-нибудь вроде, наверно, могло быть. Но вот что с маяка она бросилась — это точно. Вот в этот момент, наверно, она и изображена. В полете. В вознесении.
Зыбин закрыл глаза, и в розоватой мгле век ему представилось что-то белое, туманное, лебяжье — тонкие руки, распущенные волосы, покрывало, вздутое ветром, — и все это в вечернем солнце.
— И хороший, говорите, памятник? — спросил он.
Директор посмотрел на него.
— А вот дальше есть подъем, взберемся, посмотрим. И стихи прочтете. Она очень стихи любила, говорят, особенно вот эти, правда, их там нет, но мне здешний один читал: «Легкой жизни просим мы у бога, легкой смерти надо бы просить». Не знаете, чьи это? Она, говорят, их повторяла всю ночь. Вот обратно пойдем, поднимемся и посмотрим.

Глава II

Прошел коридорный. Он постукивал ключом от волчка и повторял: «Отбой, отбой». Этой блаженной минуты ждали все камеры (после отбоя на допрос не вызывали), но Зыбин и без того уже спал — ему почему-то, в грубое нарушение всех правил, давали спать сколько угодно,— но этот стук дежурного даже до него дошел и во сне.

Ему вдруг привиделось, что он взбирается по узкой винтовой лестнице, и каждый шаг отдается звоном и громом по всему помещению. А лестница ужасная — железная, грязная, скользкая, под ногами чешуя, рыбьи пузыри, картофельные очистки, разбухшие газеты, спичечные коробки — все это хрустит и скользит под ногами. Но он все равно лезет и лезет, хотя уже твердо понимает, что не лезть ему надо бы, а просто проскользнуть в камеру, юркнуть под одеяло и притвориться спящим. Однако понимает и все равно лезет. Добрался до последней ступеньки и уперся лбом в потолок. Потолок весь в ржавых потеках и паутине, торчат желтые планки. Он стоит, смотрит на него и не знает, что же дальше. Но что-то должно вот-вот произойти. И верно, происходит, отскакивает дверца, и в четырехугольном прорезе он видит Лину, только одно жестко срезанное лицо ее — квадрат лба, щек, глаз, подбородка. Все это недоброе, серое, нахмуренное.

— А, это ты,— говорит он беспомощно.

— Да, это я,— отвечает она сухо.— Что ж ты хотел меня обмануть? Думал, что я не знаю, какую бабу ты сейчас разыскиваешь и куда от меня скрылся?

И только она сказала это, как он понял, что его обставили — успели ей наговорить, и она поверила.

— Господи,— взмаливается он,— да что ты их слушаешь? Я сейчас тебе все объясню.

— Ах! Все твои объяснения! — досадливо отмахивается она.— А ну покажите-ка ему, пусть сам убедится.

И тут откуда-то появляется Нейман. И стоят они уже не на лестнице, а в давешнем кабинете с пальмами и кожаными креслами — Нейман ласково и ехидно улыбается и вдруг, не отрывая глаз от его лица, проводит рукой по верху кресла. Раздается противный пронзительный визг, он вздрагивает, а Нейман улыбается все шире, все ласковее и говорит: «Ну, посмотрите, посмотрите».

На полу стоят носилки под черным брезентом. И из-под него высовывается рука. «Неужели?» — холодеет он. «Взгляните, взгляните»,— настаивает Ней-

ман и пинком сбрасывает брезеит. На иосилках лежит та — Мраморная. Она совсем такая, как иа горе, и даже руки у нее раскинуты так же, для полета. Но вот глаза-то ие мраморные, а человеческие: светлые, прозрачные, с острыми, как гвоздики, зрачками — живые глаза в мраморе. «Так что же, оиа все время на иас так смотрела,— подумал он,— только мы не замечали?»

— И ты хотел меня обмануть,— говорит Лина.— Выдать ту за эту? Ведь я сразу поняла, зачем ты сбежал от меня на Или! Ты вот за этой мраморной ведьмой сбежал, а совсем не за той, что иашли на Карагалинке.

— Да не сбежал я, ие сбежал! — говорит он чуть ие плача.— Вся беда в том, что меня там арестовали. А еще бы иемного, и я бы ее обиаружил, все доказал бы, так вот ведь они помешали!

Лина стоит смотрит на него, и лицо у нее страдающее и презрительное.

— Ну, Лина,— кинулся он к ней,— ну как же ты не видишь? Ведь это же совсем не та, не карагалинская. Это лежит, которую мы с тобой ходили смотреть на высокий берег. Ты старика-то могильщика помнишь?

Лииа повериулась и пошла — он бросился было за ней, но тут Нейман очеиь ловко подставил ему сапог, он упал и с размаху стукнулся об пол. Боль была такая, что искры посыпались из глаз, и ему показалось, у него треснул череп.

Он и верио трахнулся со всей силой о прутья изголовья. Перед ним стоял Буддо и держал его за плечо.

— Ну и довели же оии вас,— сказал он задумчиво.— Вы с вечера все бормотали, метались, а сейчас только что я подошел к вам, хотел разбудить, вы как вскочите. Э! Смотрите, ведь кровь идет. Что, ие тошнит?

— Да нет, иичего,— пробормотал Зыбин. Ему было почему-то очеиь неудобно перед Буддо.

— Да какое же там иичего! Ну, лежите смирно!

Ои вдруг поднялся, подошел к двери и несколько раз отчетливо стукиул в оконце согнутым пальцем.

— Что вы? Зачем? — вскочил Зыбин.

— Затем, что надо,— огрызиулся Буддо.

Щелкнула и отворилась кормушка — иебольшое продолговатое оконце в двери (в него подают еду),— показалось четырехугольиое лицо.

— Граждаиин дежурный,— четко отрапортовал Буддо и вытяиулся,— заключеиный Зыбин иабил себе во сне синяк.

Окошечко захлопнулось, щелкнул замок, и дежурный вошел в камеру.

— Это как же так набил?—спросил он подозрительно.—Обо что же?

— Да вот, об спинку,—ответил Зыбин виновато,—приснилось!

Дежурный подошел к кровати и пощупал железные прутья.

— Об эти?—спросил он деловито.

— Да.

Дежурный провел рукой по прутьям.

— Вся бровь рассечена. Запишу завтра к врачу,—сказал он и прикрикнул:—Ночью нужно спать, а не шарахаться!

— Я и спал.

— Плохо спали, если такой рог! Вот еще что врач скажет...

Он ушел, а Зыбин недовольно сказал Буддо:

— Вот теперь к доктору идти! Ну зачем вы, в самом деле?

— А затем, дорогой Георгий Николаевич,—ласково ответил Буддо,—что все рога здесь на твердом учете. Никто вам их приобрести за здорово живешь не позволит. За незаконный синячок тут сразу пять суток!

— Интересно! А какие же тут законные?

— А те, что сверху приносят! Из следственного корпуса. Вот тот носи сколько хочешь, никто не привяжется. А так чтоб вы их сами себе наставили, а потом вызвали прокурора да закатили голодовку, «требую сменить следователя, а то он меня лупит»,—нет, тут это не пройдет, за этим здорово смотрят. А потом, ведь и драка могла быть! А это уж крупный непорядок, за него и дело могут завести.

— Так что же? Там бьют, что ли?—чуть не вскрикнул Зыбин.

— Нет, чаем поят с творожниками,—усмехнулся Буддо,—и плакать еще не разрешают. А будешь плакать—в карцер пойдешь.

— А что же прокурор? Вот вы говорите, что можно прокурора вызвать, голодовку закатить, от следователя отказаться.

— Экий вы быстрый! От следователя он откажется. Это можно опять-таки, если синяки незаконные. Если не дано было указание бить, а следователь проявляет инициативу и все равно бьет, просто кончить дело поскорее хочет или за красотой сюжета погнался и сует вам то, что совсем и не нужно. А против законных синяков прокурор вам не защита. Если дано указание

бить — то все! Бьют, пока не выбьют все что надо. Но это уж только там решается,— он ткнул пальцем в потолок.

— В следственном корпусе?

— Еще повыше. На седьмом небе, у гражданина наркома. Вот во дворе радио недавно замолкло, значит, уже час доходит. Если через часа два или три не будете спать — услышите сами.

— Что?

— Люди будут возвращаться с допроса. Кто придет, а кого под мышки притащат. Если проснетесь, послушайте. Это любопытно. Ну хорошо, спим.

Буддо отошел от него, лег на кровать, вытянулся, натянул до горла ужасное солдатское одеяло и почти сразу же захрапел. И лицо у него стало ясное и довольное. Чувствовалось, что он для себя все вопросы уже давно решил и седьмое небо его никак не волновало.

Зыбин лежал и думал. То, о чем говорил Буддо, было совершенно невозможно. Бить тут не могли, как не могли, например, есть человеческое мясо. Орган высшего правосудия, официальная государственная инстанция, где еще жил, обитал дух рыцаря Октября Железного Феликса,— не мог, не мог, никак не мог превратиться в суд пыток. Ведь во всех биографиях Дзержинского рассказывается о том, как он чуть не расстрелял следователя, который не сдержался и ударил подследственного. И ведь когда это было? В годы гражданской войны и белогвардейских заговоров. Эти книжки и сейчас продаются во всех газетных киосках. Нет-нет, как бы плохо о них он ни думал — но бить его не могут. В этом он был уверен. Но так думала, так верила только одна логичная, здоровая половина его головы — другой же, безумной и бесконтрольной, он знал так же твердо другое: нет, бьют, и бьют пострашному! Эта мысль пришла в первый раз ему в голову, когда он прочел речь обвинителя на одном из московских процессов («Разговоры о пытках,— сказал тогда Вышинский с великолепной легкостью,— сразу же отбросим как несерьезные»), и особенно, конечно, когда увидел страшные показания обвиняемых на самих себя. Он не был юристом, правом никогда не интересовался, на открытые заседания суда не ходил, даже западные детективные романы и те любил не больно, но то, что обвиняемые наперебой друг перед другом топят сами себя, что свидетелей на эти торжественные,

чуть ли не ритуальные заседания приводят и уводят под конвоем, а никаких иных доказательств нет,— все это ему казалось такой нелепостью, таким бредом, что, он чувствовал, объяснить это можно только одним — бьют. И даже не только бьют, но еще и пытают. И лучше уж не думать, как пытают.

А раз у него произошел один разговор с директором, и он тоже был не совсем прямым и откровенным, но то, о чем не могли говорить — они тогда договорили до самого конца. Директор в то утро сидел в кабинете и читал «Известия». Когда Зыбин вошел, он легко отбросил газету — она соскользнула по стеклу на пол,— встал и пошел по кабинету.

— Ну гады! — сказал он крепко.— Ну мерзавцы, даже читать противно! То есть никакого уже стыда и совести не осталось. Все наружу. Читал?

Зыбин покачал головой.

— Прочти! Удовольствие получишь. Ах гады! Ах собаки! Плачут, на колени падают, просят учесть, клянутся еще быть полезными.

— И учтут?

— Да, как раз учтут! — огрызнулся директор.— Перешлепают, как собак, и все!

Зыбин ничего не сказал, только плечами пожал.

— А что ты как будто удивляешься? — рассердился директор.— Что ж, миловать за такие дела, что ли?

— Нет, не то, но зачем же они тогда каются?

— Хм! Зачем каются? А затем они каются, что жить они, дорогой, хотят. Очень даже хотят! От крымских вилл да курортов в крематории что-то не больно тянет.

— И что же, для этого нужно колоться?

— А ты бы не кололся? — усмехнулся директор.— Вот тебя бы так допрашивали, а ты бы дурака валял? Так, что ли?

— Но если доказательств нет.

— Нет? Есть! Такие доказательства есть, что лучше и не надо! Как их предъявят — так сразу все расскажешь!

И наступила тишина.

— Это вы про что? — спросил Зыбин.

— А про то, что нечего тебе дурачком прикидываться,— рассердился директор.— Да что они там, у тещи в гостях? С любовницей на постели валяются? Нет, там, брат, запоешь! Там что было и чего не было — все припомнишь!

— Даже чего и не было?

— Ты не говори чего не надо. За это знаешь что!

Что было, припомнят. А каются потому, что процесс должен быть показательным, всенародным. Весь мир теперь смотрит на наш Колонный зал — поэтому и факты должны быть убедительные, яркие, простые.

— И правдивые?

— И правдивые! И, конечно, прежде всего правдивые. А что, разве у тебя есть причины сомневаться, что, скажем, Каменев или Зиновьев не враги народа? Или что Рыков не боролся против сплошной коллективизации, или что иудушка Троцкий из-за рубежа не ведет борьбу на фашистские деньги против нашего ленинского ЦК и лично против товарища Сталина? Есть у тебя такие факты, что этого не было? Ну, что ж ты молчишь? Есть или нет, я тебя спрашиваю? Ну а если все это правда, то все остальное уже мелочи. Ходил, не ходил, говорил, не говорил, встречался, не встречался — все это только для большей наглядности нужно. Вот тебя все интересует — добровольно они колются или нет. Ну, во-первых, какая добровольность, когда речь идет о шпионаже и диверсиях. Ее не было и нет! А во-вторых, ты вот человек грамотный, радио слушаешь, газеты читаешь. Вот я тебя и спрошу — ты не вычитал там, как буржуазия расправляется в своих застенках с борцами за права рабочего класса? Что творит Франко с республиканцами, ты знаешь? Как Гитлер пытает немецких коммунистов? Что он сделал с товарищем Тельманом? Об этом ты думал когда или нет? Так что же, они будут резать на куски наших братьев, а мы в нашем Советском государстве их, гадов и бандитов, и пальцем тронуть не смеем? А что нам на это скажет рабочий класс? Не пошлет ли он нас за такую гуманность ко всем чертям собачьим? Ну что ты на меня так смотришь? Ну что, так или не так?

— Ну, положим, что так, но...

— Ну и все, раз так. И без всяких там «но»! А таким людям не место на нашей советской земле — ты осознаешь это или нет? Теперь дальше. Зачем, спрашиваешь, процесс? Да если бы они были рядовые шпионы, уголовная шпана, то было бы проще простого — прижал к ногтю, брызнули бы они, как вошь, — и все! И никаких оповещений не надо! Но ведь кто это? Председатель исполкома Коминтерна, предсовнаркома, члены Политбюро, наркомы — от таких не отмолчишься. Надо, чтобы народ от них самих услышал, кто они такие и каковы их дела. И чтоб еще другое наши люди поняли. Всякое отступление от линии партии — это смерть или предательство. Вон какие люди были, а как скатились в болото оппозиции, как пошли не той

дорожкой, то вон к чему и пришли! Так что же тогда о нас говорить, скажет советский человек. Куда же мы забредем, если мы начнем колебаться да умничать, не доверять сталинской линии? Вот для чего эти процессы и призиаиия нужны. Ну что ты опять хочешь сказать?

Зыбии пожал плечами.

— Ничего.

— Ну а раз иичего, то и иечего играть в этот самый бесклассовый гумаиизм! Тоже мие засраная интеллигеиция — ои ие поиимает, ие допускает! А вот Владимир Ильич допускал, он сказал: мы врага били, бьем и будем бить. А ведь был гуманист почище, пожалуй, твоего Льва Толстого.

— Почему Толстой мой?

— А чей же еще? Мой, что ли? Мие его задаром не надо! Тоже мие, развел в тридцать седьмом году непротивлеиье злу. Им можио, иам нельзя. Вот когда пойдешь домой, посмотри — там висит у входа один плакат. Очеиь наглядный плакатик.

Зыбин этот плакат уже видел. Им были оклееиы все стеиы. Железная перчатка, усаженная шипами, душит змею. Змея извивается, хлещет алая кровь. Алая человеческая, а ие змеиная, и железиые шипы тоже в крови, и весь плакат, как платок, промок от крови. А надпись: «Ежовая рукавица».

Вот с этого разговора созиаиие Зыбина как бы раздвоилось. Ои ие прииял рассуждения директора в полиый серьез — мало ли что ему придет в голову? — но в душе его вдруг угиездился темиый, холодный и почти сверхъестествеииый ужас. Ои боялся брать в руки газеты и все равио брал и читал их больше, чем когда-либо. Боялся говорить об арестах и все равио говорил. Боялся допускать до созиаиия то, что таилось в каких-то подспудиых глубииах, но все равио в душе этот холод и мрак жил, нарастал и уже присутствовал при каждой встрече, при каждом самом беглом, пустом разговоре. Но разум у него был еще защищен надежио этим вот «ие может быть». И поэтому он действительио ие знал, почему подсудимые иа процессах так откровеииы, так говорливы, так хорошо выглядят и почему они такой дружиой и веселой толпой идут на верную смерть. И что их гоиит? Неужели совесть?

В ту же ночь, ио, наверно, уже под самое утро, Буддо тихонько троиул его за плечо. Он открыл глаза и сразу же зажмурился. Свет бил в глаза еще более иаглый, иагой и обиажающий. Все предметы при нем

казались стесанными как топором. Он хотел что-то спросить, но Буддо больно двумя пальцами сдавил ему плечо и сказал «тсс!».

Где-то совсем рядом плакала женщина — плакала тихо, горько, придушенно, наверно, утыкаясь лицом в платок или подушку.

— Кто это? — спросил Зыбин, но Буддо опять сказал «тсс!» и приложил палец к губам.

Прошел коридорный, поднял глазок и о чем-то спросил женщину. Та как-то странно всхлипнула и ответила, а потом снова заныла, заплакала. И тут Зыбин чуть не вскочил. Он узнал голос Лины. Это она плакала и причитала тут за стенкой. Да он и вскочил бы, если бы Буддо не притиснул его к койке.

— Молчите! — приказал он свирепо, почти беззвучно.

Разговор продолжался. Теперь женщина не плакала, а слушала и отвечала. И вдруг она очень отчетливо произнесла его имя. Тут он уж вскочил, и Буддо уже не удержал его. Боль и страшная тоска сожгли его почти мгновенно, и он сразу позабыл все. Он хотел бежать, ломать все, схватить табуретку и грохнуть ее об дверь. Только чтоб заорал на него дежурный и назвал его фамилию, только чтоб она поняла, что он здесь, рядом — все слышит и все знает. И в это же время какая-то сила, предел, запрет, власть, невозможность пресекли его голос, и он не закричал во всю мощь, а только забормотал — часто и нескладно:

— Я голодовку... Я сейчас же смертельную голодовку им! Я к верховному прокурору... К наркому! Я на седьмой этаж сию минуту!

— Да молчите же вы, молчите! — испуганно шипел Буддо, зажимая ему рот.— Чего вы кипятитесь? Ну? Ведь ничего же нет. Это кажется вам. Вот и все.— Наконец ему как-то удалось переломить Зыбина у пояса и усадить на койку.— Вот еще истеричка! — сказал он с презрительной жалостью.— Это же обман чувств, наваждение. Я тоже первую неделю все слышал голос жены. Вот выпейте-ка воды!

И только он отошел от него, как женщина за стеной вдруг громко засмеялась — и он понял, что это не Лина, и даже голоса совсем разные.

— Господи,— сказал он облегченно, как бы разом теряя все силы.— Господи.— И повалился набок головой в подушку.

А женщина сказала что-то уже в полный голос и пошла по коридору, чем-то звеня и напевая.

— Здесь раздаточная рядом,— объяснил Буддо,— ведра и бачки стоят. Вот и кажется.

— А что же вы...— начал было Зыбин громко и возмущенно, но сразу же сник и не докончил. Потому что в самом деле было уже все равно.

Машинально он пощупал бровь. Синяк — предмет строгой тюремной отчетности — наливался как слива и готовился к утру закрыть весь глаз.

Утром его вызвали на допрос. «Неужели опять к Нейману?» — подумал он. Но сразу увидел, что нет, ведут не вверх, а вниз. И кабинет был совсем не такой, как у Неймана, небольшой, темноватый, в окно лезли тополя, а дивана и кресел не было. Следователя звали Хрипушин (Зыбин прочел его фамилию, когда подписывал бланк допроса). Был этот Хрипушин статным мужчиной лет сорока, с тупой военной выправкой, с большим плоским лбом и мощными, похожими на рога жука-оленя бровями. А глаза под этими бровями были у Хрипушина светло-оловянные. Затем был у него еще пробор по ниточке, френч, блестящие сапоги. Но вообще-то, конечно, мужчина что надо. Таких любят ловцы душ человеческих. «Обратите внимание на такого-то студента,— докладывают они.— Я с ним парочку раз толковал, кажется, наш человек». Хрипушин, конечно, по всем статьям был нашим человеком.

— Здравствуйте,— сказал он строго и кивком отпустил разводящего,— вот садитесь сюда,— показал на стул у двери.— А что это у вас с глазом?

Зыбин ответил, что это он расшибся во сне.

— Что же вы так беспокойно спите? — сурово и насмешливо спросил Хрипушин.— У врача были? Хорошо, проверим... Так, имя, отчество, фамилия, год, место рождения. Все точно и полностью.

Зыбин ответил, Хрипушин записал, и затем часа два они оба сосредоточенно работали. Кто родители? Как девичья фамилия матери? Где учился? Где работал? Имел взыскания? Где проживал до ареста? По адресам. Есть ли братья и сестры? Адрес! Какие есть еще родственники? Адреса! Какие знаете иностранные языки? Был ли за границей? Был ли под судом и следствием? Подробно, подробно, подробно! Не торопиться. Сейчас уже некуда торопиться.

Но Зыбин и не думал торопиться — у него даже в голосе прорезались этакие широкие партикулярные нотки, когда он объяснял, что такое фитопатологическая станция имени Докучаева, где работает его сестра,

что Докучаев пишется через «о», а «фитопатологическая» через «и», «а» и два «о». Хрипушин тщательно записывал все и лишь иногда вскидывал на него испытующие грозные оловянные глаза — не издевается ли враг? Но враг был совершенно серьезен и спокоен. Он хорошо запомнил Буддо: теперь следователь мудрый пошел, это не то что раньше — он вас уже с первого допроса просветит насквозь. Вот посадит вас у стенки и начнет душу выдавливать, как, да что, да где,— ты и так весь кипишь, хочешь поскорее понять, в чем дело, а он точит и точит...

«Ну нет, на эту дурочку вы меня, дорогие товарищи, не возьмете. Достаточно было уже одного Неймана — а терпения у меня воз и маленькая тележка. Дядя? До революции мой родной дядя по отцу Сергей Терентьевич работал в городе Мариуполе мировым посредником — это через «о»,— а во время империалистической служил в Союзе городов. Это, кажется, с большой».

Так они в полном согласии прописали до вечера. Кончили один бланк, взяли другой. Зажгли свет. Наконец Хрипушин отложил ручку и сказал:

— Теперь назовите всех ваших знакомых.

И тут Зыбин действительно чуть не рассмеялся. До чего все шло именно так, как он ожидал. Еще месяца два тому назад Корнилов, изрядно подвыпив, рассказал ему о своем первом допросе. После очень корректного и неторопливого анкетного разговора следователь вот совершенно так же положил ручку, откинулся на спинку кресла и сказал: «А теперь назовите всех ваших знакомых». «Я спрашиваю его: «То есть как всех?» — «Да так вот, всех. А что, у вас их так много?» И стал я называть — назвал сослуживцев, это легче легкого, потом соседей, тоже несложно, а потом дошло до товарищей по учебе — тут уж я стал думать: ведь были просто однокурсники, а были и настоящие друзья, а с друзьями и дела и разговоры были дружеские. Так вот всех их назвать или не всех? Назвал не всех. Затем женщины — с ними уж совсем морока. Если назвать, то их потащат в свидетели, а если нет, то, может, еще скорее потащат — так как же, называть или нет? Вот как бы вы поступили?»

Он тогда пожал плечами и сказал, что так сразу же ему ответить трудно («Ага! А мне, думаете, было легко?» — обрадовался Корнилов), но, верно, некоторые наиболее явные знакомства скрывать все-таки невозможно. «Так вы, значит, назвали бы! — подхватил Корнилов.— И сейчас же пошли бы вопросы — где

познакомились? часто ли встречались? где? когда? кто еще присутствовал? были ли в ресторанах? когда, в каких? в какой компании? а может, в кабинете? А потом вызовут ее да и покажут ваши показания. И не полностью, конечно, а строчек с десять, там, где про ресторан. Вот и все! И девчонка уж на хорошем крючке! Вот как я все это сообразил, так у меня в зобу дыханье и сперло. Смотрю на следователя и молчу. И он смотрит и молчит. Ждет. А что ему торопиться? Ему все равно жалованье идет. Вот тут я и взвыл. От нелепости, от беспомощности, оттого, что не поймешь, что же отвечать! Ох этот первый допрос! Он мне вот как запомнился! Потом все много легче пошло — появилась конкретность. И хоть я и виноват не был — я же рассказывал вам, как все это получилось,— но это уж другое дело! Раз заложили, то, как говорится в анекдоте, «не теряйте, куме, силы и идите спокойно на дно». Я и пошел. Раскололся и подмахнул! Не глядя! А что там глядеть! Но вот этот первый тихий — заметьте, совершенно тихий допрос,— вот он мне запал на всю жизнь. Ну а потом выяснилось, что ни беса лысого они не знали. А просто на пушку брали! Есть у них такие штучки для слабонервных!»

Этот рассказ Зыбин запомнил накрепко и даже эти словечки — «заложил» и «раскололся» — тоже запомнил. Да и психическая атака Неймана тоже кое-чему научила. И сейчас, когда Хрипушин задал ему тот же вопрос — назовите знакомых,— он с величайшей легкостью небрежно ответил:

— Да нет их у меня.

— Как? — Хрипушин от изумления даже как будто подавился словом.— То есть вы утверждаете, что...— И сразу же, не давая опомниться и добавить что-то, схватил ручку и записал.— Вот, «знакомых не имею»,— сказал он, поднося протокол Зыбину,— прочтите и подпишите. Так, хорошо! Значит, три года живете в Алма-Ате и никого в ней не знаете! Отлично! Запомним!

Он снял телефонную трубку и вызвал разводящего. Он был очень доволен — на поверку этот Зыбин оказался круглым дураком.

А через час Хрипушина вызвали наверх — и он понял, что дурак-то он. Начальник отдела Гуляев, корректный, точный, холодно-ласковый заморыш, усадил его в кресло, открыл и придвинул портсигар и осведомился, как обстоит дело с его заявлением о путевке в Сочи. Сумеет ли он до этого развязаться с

Зыбиным? Хрипушин только хмыкнул и протянул бланк допроса.

— Я с ним за две недели все кончу! — сказал он.

— Да? — немного удивился Гуляев.— Он на вас произвел такое впечатление? Интересно! Что ж, признается?

— Да нет, наоборот, крутится, вертится, но без всякого толка. И сразу же заврался! Напропалую!

— «Крутится, вертится шар голубой!» — пропел Гуляев, читая, у него был чистый звонкий дискант. Злые языки говорили, что он до семнадцати лет пел в церковном хоре.— Врать-то он, конечно, горазд. А вот этим заинтересуйтесь-ка! — Он постучал пальцем по строчке.— Отец умер в девятнадцатом году в Самаре. Это почему же вдруг в Самаре? Он же коренной москвич! Может, расстреляли? Ведь там до этого чехи были, может, он к ним и дернул, а?

— Есть заинтересоваться! — по-военному ладно и бодро ответил Хрипушин.

— Да, заинтересуйтесь! Это для общей характеристики будет кстати. Так, так, так! Ах негодяй! К следствию он не привлекался! А что ночь просидел в камере на Лубянке, это не в счет. И это несмотря на наш разговор с ним. Ну, остер мальчик!

— А вы читайте дальше,— усмехнулся Хрипушин,— конец!

— Читаем конец. Так, так, так! Хорошо, хорошо! — И вдруг Гуляев возмущенно бросил протокол на стол.— Слушайте, да что это такое! «Знакомых не имею».

— Видите, какой дурак,— с готовностью подхватил Хрипушин.— «Знакомых не имею», так теперь я его буду уличать на каждом шагу.

Гуляев посмотрел на него, хотел что-то сказать, но только вынул из портсигара папиросу, помял, высек огонь из зажигалки, закурил, помотал зажигалкой, чтоб загасить огонь, и только тогда сказал:

— Вы будете уличать его на каждом шагу, то есть называть ему фамилии. Вот это ему и надо. Он сразу же узнает, кто проходит по его делу, а кто нет. Не он нам, заметьте, будет называть кого-то, а мы ему. В этом и все дело.

— Да я его, негодяя, на следующем допросе...— вскочил Хрипушин. Он сразу все понял.

— Сядьте! — улыбнулся Гуляев.— Не надо принимать так близко к сердцу. Ну и начнется у вас на допросах сказочка про белого бычка. Вы скажете: «Вы лжете». А он ответит: «Нет, я не лгу».— «У вас есть

знакомые».— «Никого у меня нет...» — «Нет есть».— «Нет нет». Ну и сколько же можно тянуть эту резину? А тут еще у вас путевка! Значит, вы будете торопиться. И конечно же, назовете ему имена. Ну и все! Инициатива нами упущена. Но хитер! Ох хитер, дьявол! Нет, если вы его с первого раза не взяли, то теперь уж не возьмете.

Он еще раз затянулся и задумался. Да. Нейман на этот раз оказался прав. Хрипушин — это совсем не то. Требовалась тонкая, продуманная работа. Дело-то планируется не малое. Ни больше ни меньше как открытый алма-атинский процесс на манер московских. Профессора, бывшие ссыльные, писатели, троцкисты, военные, убранные из армии,— шпионаж, террор, диверсия, вредительство на стройках. Приезжал Пятаков, оставил свою агентуру, имелась связь с Японией через Синцзян. Зыбин и собирался туда махнуть с золотом. Но если его не удастся заставить писать и называть имена, то тогда все может полететь. Тут важен каждый месяц, ситуация меняется иногда молниеносно, поэтому самое главное успеть не упустить! Нейман предупреждал: матом и кулаком тут не возьмешь. Но он подумал: если после первого строго законного допроса спустить с цепи эдакого цербера — адского пса с лаем и бешеной слюной,— то можно и взять. А в случае чего — карцер! Не поможет? Ласточка! А потом опять: законность, корректность, тихая беседа, чай с шоколадными конфетами. Книжные новинки. А этот Зыбин к тому же субъект неустойчивый, слабохарактерный, жизни не знает. Здесь он совсем сбился с панталыку, ведет дурацкие разговоры. Так что, пожалуй, можно взять. Конечно, Хрипушин годится только на первые пять — десять допросов, и потом в дело вступают они — он и Нейман, но как затравка Хрипушин хорош. Так думал он — и вот, видно, осекся. Впрочем, осекся ли? Может, случайность? Ведь *активного допроса* еще не было. Надо подождать. Он еще раз затянулся, затем отложил папиросу и протянул протокол Хрипушину.

— Возьмите-ка! Ну что ж! Ничего непоправимого не произошло, на ошибках учимся. Но теперь я вас буду просить — протоколы сначала пишите начерно и приносите мне. Подписать ему дадите в следующее утро. Так, пожалуй, будет лучше.

— Да вы не сомневайтесь,— бурно взмолился Хрипушин.— Никуда он не денется, я ему...

— Ну, ну,— Гуляев встал, подошел к Хрипушину и слегка дружески похлопал его по плечу,— ничего, ничего, бывает. Теперь будете иметь в виду это, вот и все.

Когда дверь закрылась, Гуляев подошел к столу, придвинул к себе телефон и вызвал было по коммутатору Неймана, но как только услышал его резкий, отчетливый голос, так сразу же опустил трубку.

— Главное — не пороть горячки,— не то сказал, не то подумал он,— тут нужна выдержка!

Глава III

Когда он вернулся, Буддо в камере не было. На столе стояли две миски — каша и уха из мальков. Он сел на кровать и стал есть. «Ну, сегодня, кажется, сыграли вничью, но так дальше не пойдет — будем драться в кровь. Психическая? Шут с тобой, давай психическую. А что они могут предъявить конкретно? Какие-нибудь комбинации с золотом? В общем, не исключено, конечно, но вряд ли, тогда бы и директор был тут (а кто сказал, что он не тут?). Тогда какие-нибудь разговоры, анекдоты? Вот это более вероятно. Анекдоты сейчас в цене, самый-самый рядовой и не смешной потянет лет пять, а если еще упоминается т. Сталин — то меньше чем восемью не отделаешься. Да, но как раз анекдоты-то он и не рассказывал, просто как-то памяти у него на них нет — Корнилов рассказывал (а откуда опять-таки известно, что и он не тут, за стеной?), рабочие что-то такое говорили, дед раз спьяну спел частушку времен гражданской войны («Сидит Троцкий на лугу, гложет конскую ногу. Ах, какая гадина — советская говядина!»), а он нет. Да, но смеялся! И не оборвал разговор в самом начале! И не сделал соответствующее внушение! И не сигнализировал! Это по нынешним временам тоже кое-что стоит! Все это так, но тоже вряд ли. Чувствуется что-то другое, куда более серьезное. Вот знают они что-нибудь про Лину или нет? А если знают и вызовут ее, то...? Эта мысль сразу взметнула его, он вскочил и зашагал по камере. Так вот, скажем, вызвали Лину, так что они от нее получат? А как ты думаешь, что? И вообще-то, что ты про нее знаешь? Но честно, честно! «А чего честно? Да, многое знаю, все знаю, особенно после той ночи». Дурак! Именно после той ночи ты про нее ничего и не знаешь! Неужели это до тебя не доходит? «Но постой, постой, почему не знаю? Она ведь тогда сказала, что любит, именно потому и приехала сюда, что любит... «Мне будет очень горько, если тебя посадят»,— сказала она тогда. Да, но еще она сказала и вот что: «Зачем ты треплешься? Это же смертельно опасно. Ты же источник повышенной опасности».

Вот! С этого ты и начинай! С опасности!

Она боится тебя! А ее вызовут и скажут: «Полина Юрьевна, о вас на работе только самые лучшие отзывы, вы молодой растущий специалист. Вот мы знаем, вы в этом году защищаете диссертацию! А с кем вы, извините, связались!» И что ж ты думаешь, она им так и резанет: «Это человек, которого я люблю. Я знаю о нем только хорошее»? Может она так ответить Нейману? Только начистоту, начистоту, а то ты ведь любишь заморачивать себе голову.

Он прошелся по камере, взял со стола свою глиняную кружку, опорожнил ее одним духом и поставил обратно. Вся беда в том, что, пожалуй, именно так она и ответит, не «я его люблю», конечно, нет, этого она не скажет, а вот то, что ничего плохого о нем не знает, это она им скажет. А как же она может сказать иначе? Ведь понятно же, если ты знаешь, что человек дрянь, то какого черта ты с ним связываешься? Но тогда заговорят они: «Ах, вы не знаете о нем ничего плохого? Так вот вам, вот и вот!» И вывалят перед ней кучу всякой всячины. Он — что уж там скрывать! — человек не особенно хороший, лентяй, пьяница, трепло несусветное, кроме того, труслив, блудлив, неблагодарен, дед и то ему как-то сказал: «Это все в тебе непочтение к родителям — знаешь? Чти отца и мать свою, а ты что?» «Мать свою я, верно, не чту. Но на все это им, положим, наплевать, и скажут они Лине другое. «Разве вы не заметили,— скажут они,— что он не наш, не советский человек? Вот он ходит по нашей земле, живет в наше замечательное время, а всюду выискивает только одно плохое, не видит ничего, кроме недостатков, копается в грязи, сеет нездоровые настроения...» Вот с этим она, пожалуй, не будет спорить, просто скажет: «Знаете, просто как-то не обращала внимания. Думала, что все это мелочи». «А-а, нет,— ответят ей,— это далеко не мелочи. Давайте-ка вспоминать». И что ж, ты будешь ее обвинять, если она что-нибудь такое и вспомнит? Да разве она может быть в тебе уверена на все сто? Вот ей ты тогда натрепался, так почему другому, хотя бы тому же Корнилову, ты не можешь сказать того же? Ведь помнишь, что ты ей сказал: «Вот я как-нибудь не выдержу и каркну во все воронье горло, и тогда уж отрывай подковки». Вот она после твоего ареста и вспомнит эти твои слова. Ну и все, значит! Помочь тебе — не поможешь, а погубить себя — одна минута! И опять же у нее защита, диссертация, как же ее можно обвинять?

— А я и не обвиняю,— сказал он громко.— Нет, нет, я ни капельки не обвиняю, пусть говорит что хочет.

Но на душе у него все равно было очень погано. Хотя бы Буддо пришел, что ли?!

Буддо пришел через час и, чертыхаясь, сел на койку. Он был чем-то очень расстроен.

— Что такое?— спросил Зыбин.

Буддо взял со стола кружку с холодным чаем и стал пить.

— Да что,— ответил он сердито.— Вот пять часов продержали. Какой-то новый, лупастый объявился. Я его и не видел никогда. Глаза как у барана. «С кем вы вели еще антисоветские разговоры? Почему вы не назвали еще такого-то и такого-то, Петрова, Иванова, Сидорова? Мы знаем, что вы с ними делились своими антисоветскими планами». Какими, спрашиваю, к такой-то матери, планами? Что я, лагерь хотел взорвать или в Америку на лагерной кобыле ускакать! Какими же такими планами? И называет ведь, сволочь, только тех, кто должен освободиться в этом году. Начал я что-то говорить, а он как вскочит, как кулачищем грохнет! А кулачище у него с хороший чайник. «Ах, ты все еще надеешься! Ты еще не разоружился, гад! Не встал на колени! Так мы тебя, гада, по воентрибуналу проведем! На девять грамм! Пиши сейчас же все!» А как писать? Напишешь — им сразу новый срок и на лесоповал! А они из студентов, здоровяки! Таких там только подавай! А писать придется, ничего не поделаешь.

— То есть, значит, вы хотите...— крикнул Зыбин.

— Ой, хоть вы-то не кричите,— болезненно поморщился Буддо и дотронулся до виска.— И так голова разламывается. Да нет, еще пока креплюсь. Да только что толку. Ну не подпишу, подведут их под ОСО, и все. Те же пять или восемь лет. А ведь пройти по ОСО — это уже самое последнее дело! Так вот и думай — хочешь как лучше, а выйдет как хуже. Ах!— Он махнул рукой, лег, вытянулся и закрыл глаза.

Наступило минутное тяжелое молчание. Зыбин робко спросил:

— А что такое ОСО?

— Как? Вы и этого не знаете?— поднял голову Буддо.— Какой же вы научный работник! О-СО! Особое совещание! Это такая хитрая машинка, что мы вот сидим тут, а она штампует наши судьбы там, в Москве.

И все — пять, восемь, десять лет, пять, восемь, десять! И распишитесь, что читали.

— Как штампует? Даже не взглянув на меня?

— Хм! А что им на вас глядеть? — усмехнулся Буддо.— Что вы за зрелище такое? У них там, чать, на это балеринки есть! А насчет того, что они там, а вы тут, то не беспокойтесь. Было бы дело! А дело ваше привезут, и положат, и доложат, и проект решения зачитают, а они его проголосуют — и все! Секретарь запишет, машинистка напечатает, и лети туда, где золото роют в горах. А там дадут вам машинку ОСО — две ручки, одно колесо, и гоняй ее до полной победы социализма в одной стране! Ну что вы на меня так глядите? Что вам еще тут непонятного?

— Постройте, постойте,— Зыбин провел рукой по лицу.— Вы говорите, в Москве вынесут решение, но ведь в Уголовном кодексе ясно сказано, что приговор выносится судом по данным предварительного следствия, проверенным в зале судебного заседания, это я сам читал! Сам! Так как же они будут проверять без меня?

— Не понимаете? — усмехнулся Буддо.— А я вот другого не понимаю: как вы — научный работник — слушаете одно, а спрашиваете про другое? Я вам толкую о совещании, а вы меня спрашиваете про суд. Да какой же, к бесу, суд, когда не суд, а совещание. Особое совещание при Народном комиссариате в Москве. А человек там осуждается без судей, без статей, без свидетелей, без следствия, без приговора, без обжалования. Слушали — постановили! Литера ему в зубы! И все!

— А как по литеру отправляют? Значит, все-таки не в лагеря?

Буддо болезненно усмехнулся и покачал головой.

— Ой, горе вы мое! По литеру он поедет! Не по литеру, а по литере, то есть по буквам, а литеры тоже бывают разные, если, скажем, АСА, или АСД, или КРА, или КРД[1], ну тогда еще жить можно, а вот если влепят вам КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность или ПШ — подозрение в шпионаже, то все. Сразу же вешайся, жить все равно не дадут! Поняли теперь, что это за штука?

— Нет,— сказал в отчаянии Зыбин,— ничего не понял, ровно ничего,— повторил он безнадежно.— Без статей, без судей, без приговора?..— И вдруг взмолил-

[1] Антисоветская агитация, аитисоветская деятельиость, коитрреволюциоиая агитация, контрреволюциоииая деятельность.

ся: — Александр Иванович, да не издевайтесь вы надо мной, ведь так и с ума сойти недолго! Объясните вы мне, что это за Особое совещание? Что это за литеры? Ну хорошо, ну хорошо, я дурак, кретин, паршивая интеллигенция! Меня еще жареный петух в задницу не клевал! Жил, болван, и ничего не видел. Все это так! Так, конечно! Но ради всего святого, что же это все-таки значит? А где ж мы живем? Не в заколдованном же царстве, не в замке людоеда! В самом деле, ведь вот-вот должна начаться война, надо к ней готовить народ, а мы в это время...— он подавился словом,— или же...— У него задрожали губы, он хотел что-то сказать, но ничего не сказал, только отвернулся к стене.

Буддо взглянул на него и сразу посерьезнел. Подошел, наклонился и поднес кружку с водой.

— Ну, ну,— сказал он успокаивающе и слегка похлопал его по плечу.— Не надо так! Не надо! Вот выпейте-ка! Ай, беда. Вот уж правда беда! И откуда она взялась на нашу голову? Иван Грозный, что ли, ее с собой нам оставил или татары проклятые занесли? Ведь и не объяснишь и не расскажешь!

И он стал рассказывать.

Возникло это странное чудище в 1934 году. Тогда в постановлении ЦИК «Об образовании общесоюзного НКВД» (то есть органа конституционного и постоянного) взамен ликвидируемого ОГПУ (органа временного и чрезвычайного) говорилось следующее:

5. *Судебную коллегию ОГПУ — упразднить.*

6. *НКВД СССР и его местным органам дела по расследуемым ими преступлениям по окончании следствия направлять в судебные органы по подсудности в установленном* (каком?) *порядке.*

8. *При НКВД СССР организовать Особое совещание, которому на основе положения о нем* (каком? господи, каком же все-таки?) *предоставлять право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за пределы СССР*[1].

Калинин, Енукидзе. Москва, Кремль, 10 июля 1934.

[1] В сборнике материалов по истории социалистического уголовного законодательства (Юриздат. М., 1938) есть такое уточнение: «...учреждается оно в составе а) заместителей наркома НКВД СССР, б) уполномоченного НКВД РСФСР, в) начальника Глав. Управления милиции, г) наркома НКВД союзной республики, на территории которой возникло... Обязательно участвует прокурор СССР или его заместитель — итого 8 или 9 человек, не считая технического персонала».

Так выглядело первое и, кажется, чуть не единственное сообщение об Особом совещании в печати. Упоминалось же оно официально (если не считать речей Вышинского), кажется, всего еще один раз — в обвинительном акте об убийстве С. М. Кирова. Тогда дела одних обвиняемых прокуратура направляла в военную коллегию (это значило — расстрел в двадцать четыре часа без обжалования и помилования), а дела других «за отсутствием состава преступления» вот в это самое Особое совещание. Подписал эти обвинительные заключения А. Я. Вышинский, а составил Лев Романович Шейнин.

Вот, кажется, и все упоминания в официальной печати об ОСО.

А вообще-то оно даже как бы и не существовало вовсе. Люди, составляющие эту страшную, всемогущую и совершенно безответственную тройку (их, кажется, было точно трое), не имели ни фамилий, ни званий, ни должности. Они были — ОСО. Ни один из осужденных не видел их подписи под приговором. Ему никогда не оставляли приговор для обжалования. Потому что не было ни приговора, ни обжалования. Был аккуратный бланк формата почтовой открытки. Вот примерно такой:

Выписка из протокола заседания Особого совещания от ....

Слушали:	*Постановили:*
Об антисоветской деятельности Иванова Петра Сидоровича (год, место рождения). *Выписка верна — (закорючка)*	*Осудить за антисоветскую деятельность Иванова Петра Сидоровича (год, место рождения) на пять лет лишения свободы с отбыванием в Свитлаге*[1].

«Подпишитесь на обороте, что читали,— ласково говорил офицер, предъявляя эту шпаргалку,— и вот еще раз на копии... Спасибо!» — и прятал бумажку в папку. Осужденного уводили, и с этого момента для него начинался лагерь — тачка[2].

[1] Северо-Восточные исправительно-трудовые лагеря, то есть Колыма.

[2] «Машина ОСО — две ручки, одно колесо»,— говорили лагерники о тачке. И это было верно в отношении и ОСО и тачки.

Но этот детский срок — пять лет в Свитлаге — существовал очень недолго. Потом машина ОСО стала набирать мощность, колесо завертелось, сроки заскакали: восемь лет, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять! А потом сроки исчезли вовсе и начались расстрелы (это, правда, уже во время войны). А форма оставалась такой же — «слушали — постановили» и «распишитесь на обороте». Вот и все[1].

Но если для этой таинственной троицы ОСО не существовало ни доказательств, ни судебного следствия, ни свидетелей, ни допроса подсудимого, ни статей закона, ни закона — словом, всего того, что делает суд судом, а убийство убийством, если, далее, верша все самое тяжкое, ОСО не боялось ни прокурора, ни надзора, ни закона, ни государства, ни собственной совести, потому что оно само уже было всем этим — законом, прокурором, судом, и государственной совестью, и государством, то была все-таки некоторая малость, некая видимость законности, с которой ОСО считалось, ибо без нее существовать не могло. А звалась эта малость в разное время по-разному: с материальной стороны это была «спецзаписка» и «меморандум», а с политической — «изоляция» и «укрепление морально-политического единства советского народа».

И это не Иван Грозный нам оставил, не татары занесли, а мы сами на себя выдумали и взлелеяли. Самое же название ОСО, точно, получили по наследству от полицейского государства Александра III. Именно таким Особым совещанием, «образованным согласно статье 34 Положения о государственной охране» при министерстве внутренних дел, был в свое время осужден на ссылку[2] некий Иосиф Джугашвили, как потом оказалось, человек с короткой памятью на все доброе и с великолепной, истинно творческой на все

---

[1] Только и всего в положении об ОСО сказано: «Должно быть указано основание применения этих мер».

[2] В делах ОСО большое место занимали меморандумы с литерами ПШ (подозрение в шпионаже), АИР (агент иностранной разведки) и т. д. Вот уж чего не было раньше. «...Особому совещанию могут подлежать только представления о высылке, сделанные властями, подчиненными министерству внутр. дел; как учрежденье гражданского ведомства, оно не... может контролировать действия военных властей...» А тут было как раз все наоборот. Только военный прокурор, зная лишь литеры, но совершенно не посвященный в суть дела, направлял эти дела в ОСО. (А вообще об этом см. Лемке, «250 дней в царской ставке», с. 282—283, отношение генерала Бонч-Бруевича к Белецкому.)

злое и страшное. Правда, в те годы, чтоб сослать на поселение хотя бы того же Джугашвили, потребовалось ни много ни мало, а личная подпись императора — «согласен», сейчас же ровно ничего не требовалось, кроме толстого засургученного пакета из плотной бумаги. Но пакет этот в дело не входил, а только прилагался к нему. Что находилось в этом пакете, никто не знал, ни подсудимый, ни даже военный прокурор, дававший санкцию на отправление этого пакета в Москву. Ему просто сообщалось в общей форме о содержании пакета. Подследственному же вообще ничего — не его ума это было дело.

Есть игра «третий лишний». Вот что-то подобное было и тут. Двое играли — один не участвовал. Он был третьим и лишним, то есть подследственным.

Толстый засургученный пакет содержал меморандум или спецзаписку. Изготовлялась эта записка из самых разнородных материалов. В ее состав входили:

а) агентурные сводки и показания сексотов. То есть то, что даже законодательно запрещалось считать доказательством. Однако они и являлись основой всего дела. Без сексотов меморандум составить было бы просто невозможно (сексот — секретный сотрудник — так советские люди называли ненавидимое ими племя осведомителей ГПУ, НКВД, МГБ и т. д.);

б) анонимки;

в) доносы (доносили жены, мужья, любовницы, соседи, отцы, дети, доносили позарившиеся на жилплощадь, на наследство, на молодого мужика, на красивую бабу, доносили шизофреники, потому что им действительно что-то такое показалось, доносили иногда сами на себя, испугавшись своих неожиданных ночных мыслей и преступных сомнений. Иногда — и не так уж редко — после этого люди не дожидались прихода ночных гостей и кончали сами. В общем, это был тоже обширный раздел материалов);

г) характеристика. (Характеристики эти составлялись оперработником, подписывались начальником оперативного отдела и утверждались зампарткома. Подлогов здесь было не меньше, чем во всем остальном. Любой Гагарин именовался обязательно князем, а, скажем, Иванов Петр Сидорович считался выходцем из княжеской среды, если мать его была Гагарина. Каждый даже родившийся в 1900 году в Риге или Либаве все равно проходил как гражданин, «проживавший долгое время на территории вражеского государст-

ва и сохранявший с ним дружеские и родственные связи».)

Если к тому же выяснялось, что у арестованного хотя бы на самых далеких развилках родства были репрессированные (а по совести говоря, у кого их тогда не было?), то в меморандуме он назывался не иначе как «близкий родственник ныне разоблаченного врага народа»... Кончался меморандум так:

«На основании всего изложенного

ПОЛАГАЛ БЫ

осудить Иванова Петра Сидоровича, выходца из враждебного класса, за его антисоветскую деятельность на 8 лет лишения свободы с пребыванием в лагерях Сибири или Дальнего Востока».

Подписывал эту бумагу начальник спецотдела. Утверждал замнаркома, и дело летело в Москву с референтом от наркомата.

Затем оно рассматривалось в одно из чисел, специально отведенных для данной республики, на заседании ОСО.

Папки лежали на столе, члены ОСО брали их на минуту в руки, перебрасывали страницы, заглядывали в меморандумы, переговаривались, запивали разговоры нарзаном. Смеялись. Острили. Представитель республики докладывал им дело и зачитывал проект решения. Потом председатель спрашивал мнение референта и проводил опрос («Ну как, товарищи, согласимся?»), а утром машинистка уже печатала на бланке «слушали — постановили»...

Так, во всяком случае, представлял себе это дело Александр Иванович Буддо, да, кажется, так оно и было в действительности.

А просуществовало это чудовище двадцать лет — до сентября 1953-го (см. передовую журнала «Советское государство и право» за 1959 год — номер первый).

— Вот так и получается, дорогой Георгий Николаевич,— сказал Буддо,— что подсудимый вовсе не заинтересован в том, чтобы доказать свою невиновность. Ну, скажем, суд заворотит его дело на доследование. Ну и что? Подержат его еще месяца два и отошлют дело в Особое совещание. И так суд дал бы ему по материалам лет пять или шесть и отправил бы в местную колонию на бахчи, а по меморандуму ему всыпят в Москве всю десятку и погонят «в Колыму, Колыму, чудную планету»,— вот и все! А вот вы

знаете, что рядом с нами, в другом коридоре, есть камера оправданных по суду. Сидят и ждут, когда им всыпят по ОСО десятку! И всыпят, и дай бог как всыпят!

— Почему?—спросил Зыбин. Голова у него гудела. Сознание работало неясно. Он теперь был готов поверить во все. Вот он попал в машину, колесо завертелось, загудело, заработало, и нет уже ни входа, ни исхода. И ничего больше не имеет значения. Ни ложь, ни правда, ни стойкость, ни мужество — ничего! Нелепый случай его отметил, а остальное доделают люди, к этому призванные и приставленные. И нечего винить ни случай, ни людей.

Он чувствовал себя вялым, расслабленным, как бы погруженным в волокнистую вату. Больше всего хотелось лечь и вытянуться. Он лег и вытянулся.

— Почему, спрашиваете?—спросил Буддо и подвинулся, чтоб дать ему место.— А потому, дорогой, драгоценнейший мой Георгий Николаевич, что осужденный по ОСО — это поручик Киже, арестант секретный, фигуры не имеющий. У всех порядочных заключенных статьи, а у этого буквы, у всех преступников на руках приговор, где видно, за что про что он страдает, и он — пожалуйста! — его всегда может предъявить, а у этого выписка. Все порядочные люди — воры, убийцы, насильники, спекулянты — в свободное время строчат кассации, а ему и писать некуда и не про что. Всех преступников освобождают по звонку, а этого — еще бабушка надвое сказала, то ли освободят, то ли нет. Придет из Москвы бумажка «слушали — постановили», и сиди еще пять лет. Я одного такого знаю, который уже пятнадцать лет сидит и вот теперь кончает и новый срок ждет, а о воле он и думать забыл, когда с ним о ней говорят, он только рукой махнет. Вот начальство и понимает — все преступники как преступники, а этот какой-то черт в образе человека. Какая вина за ним — не поймешь, а опасен пожизненно, и чем скорее он концы отдаст, тем для человечества лучше. И вот гоняют его в тайгу, под землю, на Чукоткин Нос — лес сводить, тачки гонять, золото рыть. Вот помантулят его этак года три, и конец ему — бирка на ногу и в вечную мерзлоту. Одним словом, не дай бог вам во всем оправдаться! Берите богему! Берите, пока ее вам предлагает добрый человек. Искренне, искренне советую!

Глава IV

...В тот день я все-таки достал краба. Директор не соврал, был такой грек. Он жил у моря в какой-то развалюхе и ловил всякую всячину: таскал курортникам звезд, морских ежей, змей, скорпионов, крабов. Когда мы подошли к его лачуге, он как раз возвращался с ловли. В одной руке у него была острога, в другой жестяное ведрышко. Увидев нас, поставил ведрышко, вытянулся и козырнул острогой. Высокий, загорелый, почти совершенно черный грек с острым лицом и усами.

— Здравия желаю, господа хорошие,— сказал он четко и насмешливо,— или теперь так не говорят? Да, «граждане», «граждане» теперь говорят!— Он, видимо, уже здорово хватил и теперь смотрел на нас влажными веселыми глазами.— Здравствуйте, граждане, чем могу услужить?

Я взглянул на директора.

— Да вот, Сатириади...— начал он неуверенно.

— А, это вы, товарищ директор,— как будто только что узнал его Сатириади.— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, пожалуйста, Иван Никанорович. Вот по вашей-то части ничего что-то и не попадалось! Так, черепки всякие нестоящие есть. Зайдите, загляните?

— Да нет, нам краб нужен,— ласково сказал директор.

— Кра-аб?— как будто даже удивился старик.— А что же, на базаре их разве мало? Вон их сколько там, любого хорошего бери, хошь красного, хошь желтого.

— Да нет, нам такие не нужны,— сказал директор.

— Ну а каких же вам? Таких, что ли?— И он поставил ведрышко на землю.

Я посмотрел. В ведрышке была только желтоватая вода да черное выпуклое донышко. На донышке лежали две красные гальки, вот и все.

— А где же краб?— спросил я.

— А вот,— сказал директор и поддел ведро носком ботинка.

И тут что-то двинулось, поднялась муть, я увидел, что черное — это не дно, а спина краба. Он был страшно большой и плоский, и, наклонившись, я разглядел на нем бугры и колючки, какие-то швы, края панциря, зубчатые гребешки.

Директор еще раз слегка встряхнул ведро, и тут краб шевельнулся, и в одном месте, очевидно, возле усов, вдруг закрутились песчинки, словно ключ забил.

— Какой же он огромный,— словно сокрушенно покачал головой директор,— а ведь он, пожалуй, больше моего.

— Ну, сравнили! — качнул головой Сатириади.— Такого лет пять не было! Видишь, как палец проколол! Наскрозь! Теперь неделю ни за что ие возьмусь! — Большой палец его, верно, был обмотан серой тряпицей.— А вам что, для себя или еще куда требуется?

— Да не мне, а вот этому молодому человеку,— кивнул на меня директор.— В Москву хочет увезти. Для науки. Если не очень подорожишься, конечно.

— Да что мне дорожиться! Дороже водки не возьму! Мне теперь водки много надо! Конпрессы спиртовые иа палец буду класть. Может, разобьет кровь, а то — беда! — Он поднял ведрышко.— Ну, пойдем, коли так, в хату, не на пороге же рядиться!

Взял он, однако, с меня довольно дорого. Я отдал ему все что имел, да еще у директора призаиял полтинник. Но все равно мы считали, что сделали хорошее дело, и обратно не шли, а летели.

— Ну пять ие пять,— говорил весело директор,— но далеко, далеко не каждый год такие попадаются, тут он вам не соврал! Ладно, а что вы с ним делать-то будете? Ну, положим, вылущить я вам его помогу, а вот как его усыплять? Эфир ведь, пожалуй, его не возьмет — уж больно здоров! Придется хлороформировать, а где хлороформ взять? Может быть, у ваших докторов он есть?

— Ничего,— ответил я (теперь, когда краб сидел у меня в ведре, мне все казалось легче легкого),— я вот сейчас его посажу под кровать, а к утру он сдохнет. Они же без воды не живут.

— Пожалуй,— согласился директор.

И только мы поднялись иа высокий берег, как сразу на нас налетела ты, Лина. Ты была в белом платье и черных очках, помнишь? Какая же ты была, а? Ах, Лина, Лина!

Он погрозил ей пальцем, хохотнул, повернулся на бок, и тут стерильно белый, ужасный свет наотмашь ударил его по лицу. Под утро свет этот иабирал силу и становился таким пронзительиым, что пробивал все: веки, ладонь, подушку — все, все! Зыбин иеиавидел его. Сон был волей, а свет тюрьмой, и тюрьма эта присутствовала во всех его снах. Вот и сейчас — счастливые, свободные, веселые, они стояли иа высоком берегу над морем, болтали, смеялись, а белый мертвенный свет,

пробившийся из яви, горел иад иим, и ои все равио был в тюрьме.

Так у него всегда начинался кошмар; то и это мешалось, сои и явь перебивали друг друга, разрывали его на части, и ои бился, бредил и вскакивал. Но сейчас ои не бредил, сейчас ои просто стоял и смотрел на Лину. А Лина взяла его под руку и сказала:

— Вот, Иван Никанорович, взгляните иа рыцаря! Раньше рыцарь спасал даму от разбойников и увозил ее к себе. А этот вот рыцарь спас от разбойников и смылся! Слушайте, спаситель, ведь это же бессовестио, а?

Она говорила и держала его за ладоиь, улыбалась и глядела прямо в глаза. Это было так хорошо, что он опять тихонько захихикал в подушку.

...Нога у нее, видио, Александр Иванович, прошла, а тогда на берегу она лежала как мертвая, на боку; вот так она лежала, смотрите, Александр Иванович, я покажу, вот так она лежала, и руки у иее были раскииуты, видите как? Как-то через голову. И такая восковая выгнутость и иеестественность. Ведь и мертвые тоже лежат так. Вот почему я ее принял за мертвую. Но все это продолжалось не больше минуты, нет, меньше, меньше! Какая там мииута, секуиды какие-то! Она вдруг подняла голову и завопила на кого-то: «Бери и уходи! Бери и уходи! А то сейчас наши придут!»

И только он крикнул это, как белый свет как из опрокинутого ведра опять хлынул на него.

— Тише! — шикнул на него Буддо. — А иу проснитесь! Опять иабьете синяк! А иу лягте как следует быть! Ну!

Зыбин открыл глаза, увидел прямо перед собой прокуренное, закопченное какой-то желтой копотью лицо Буддо, и его мгновенно передернуло от отвращения: «машина ОСО — две ручки, одно колесо», буросизая щетина, табачный кадык, шея, как у столетней черепахи, и устоявшийся крепкий запах собачины и махорки.

— Что с вами такое? — спросил Буддо сердито. — Опять пригрезилось? А все оттого, что лежите не по-человечески. Вот видно, что никогда не работали физически. Лежать надо свободно, отдыхая, а вы свернетесь крюком, и, конечно, легкие стиснуты,

сердце работает с перебоями, ну и лезет всякая дрянь.

— Да, да, да, извините! Я знаю! — поспешно забормотал Зыбин. — Я сейчас... — И опять закрыл глаза.

Но море уже ушло. Не было ни моря, ни солнца, ни ветра, ни чаек — была только розовато-желтая мгла под веками да этот проклятый свет. Тогда он вытянулся, закрыл глаза и стал считать до тысячи. И через десять минут, верно, свет ушел и они опять были вдвоем.

Вдвоем они поднимались на гору, туда, где стоит памятник. И она слегка сомневалась, надо ли сейчас идти, и спрашивала:

— А не поздно мы идем? Здесь очень быстро темнеет, а я ведь такая трусиха.

А хромать она все-таки немного хромала.

...Вы понимаете, Александр Иванович, почему она хромала: она в море вывихнула ногу. Ну это же очень просто там ее вывихнуть, ведь там везде эти глыбины, они плоские, скользкие, нога так и едет, — ну вот, она встала, поехала, поскользнулась и вывихнула колено. Хорошо, что было совсем мелко, а то захлебнуться могла. Тут на пляже были уж такие случаи. Так вот, было мелко, она выползла из воды и доползла до одежды. А на платочке лежали ее вещички — золотые дамские часики, аппарат «лейка», перламутровый бинокль, портмоне. Если бы это случилось на пляже и не так рано, то, конечно, беда была бы не больно велика, сразу бы и помогли, но ведь вообразите: дикий высокий каменистый берег, никто на него не ходит, купаться тут нельзя, а время часов шесть, наверно. Значит, лежи и жди! Вот тут к ней и подкатил этот орел — их там в это время до черта, — подошел, посмотрел и с ходу: «Мадам, что с вами? Не могу ли чем-нибудь помочь?» Она думала, что человек попался, обрадовалась, просит его: «Сходите в такой-то санаторий, попросите кого-нибудь прийти, я вот, видите, ногу вывихнула, идти не могу». «О чем разговор, мадам, сейчас!» Подошел, хвать портмоне и часы и бежать!

Вот если бы он, Александр Иванович, не побежал, а пошел себе просто, я бы, пожалуй, не сразу сообразил бы как и что, я сначала тогда бы бросился к ней, ну а он с концами бы, конечно, но как он побежал, то я сразу и припустился за ним. А он пробежал еще метров сто, видит, что не уйдет, что догоню, и швырнул все в песок. Ну, конечно, дальше гнаться я за ним не стал. Вернулся, подошел к ней. Она лежит. Длинная, белая-

белая, лицо мокрое от слез и пота, губу закусила — лежит. «Что с вами?» «Да вот нога!» И больше ничего. Вы знаете, Александр Иванович, я до сих пор удивляюсь: что же меня такое осенило? Откуда оно взялось? Я никогда раньше с такими вещами и дела не имел, ну читал что-то подобное у Джека Лондона или Майна Рида, не помню уж точно, у кого и что прочитал. «Подождите»,— говорю. Сел на песок, взял ее ногу в руки, посмотрел, пощупал коленную чашечку — она лежит, только зубы стиснула и постанывает,— я приподнял ногу да как крутанул ее! И еще раз, и еще! Щелкнуло там что-то и, чувствую, стало все на место. Посмотрел на нее, а она без памяти, и голова в песок ушла. Боль-то, конечно, страшенная. Губу прикусила, и все лицо мокрое от пота. Опустил я ее ногу, сел с ней рядом, Александр Иванович, взял ногу, положил ее себе на колени...

Он хохотнул и слегка потряс головой. Из всех самых дорогих воспоминаний самое-самое дорогое было вот это. Он берег его, как сокровище, и все снова и снова возвращался к нему, поворачивал так и этак, разглядывал все до мельчайших подробностей и прибавлял еще новые, каких не было.

Потом она снова пришла в себя, и он стал поднимать ее с песка. Сначала это у них никак не выходило. Тогда он сказал: «Стойте-ка, попробуем так». Обнял ее за пояс, посадил и придержал за спину. Она села, перевела дыхание, облизала губы, поправила с боков волосы и сказала: «Тут у меня фляжка с холодной водой, дайте, пожалуйста». Он подал — простая алюминиевая фляжка. Она развинтила ее, стала пить, пила, пила, потом положила на песок, поглядела на него, улыбнулась и сказала: «Вот ведь история, а? Глупее ничего и не придумаешь». «Ничего,— ответил он,— бывает! Вот как пойдем-то? Идти вы не можете, а одну я вас не оставлю тут». Он был страшно серьезен, мрачно-серьезен. Почему-то на шутки его не хватало. «Вы встать можете,— спросил он,— держась за меня, а?» Она поглядела на него и мученически улыбнулась. «Попробую, только держите меня крепче за пояс». Но ничего из этого не получилось. Она несколько раз пыталась встать, но только приподнималась и тяжело оседала опять. «Нет, так не пойдет,— сказала она,— знаете что, подхватите меня пониже и хорошенько подтолкните. Тут уж ничего не поделаешь». Он понял, одной рукой обнял ее за пояс, а другой подтолкнул

вверх. И еще раз. И еще несколько раз. И она встала. Она встала и стояла на одной ноге, обняв одной рукой его за шею и пошатываясь. Другой — больной — ногой она только чуть касалась земли. «Ну как?» — спросил он. «Да вот привыкаю,— ответила она.— Знаете что, опустите меня опять, я оденусь». Он осторожно опустил ее и подал платье. Она повертела его в руках, подумала и сказала: «Нет, так его, пожалуй, не наденешь. Давайте опять встанем». Опять встали. Она собрала платье складками, подняла над головой и сказала: «Пожалуйста, держите меня за пояс. Только осторожно, я боюсь делать резкие движения».

И так она оделась, но опять как-то неосторожно двинулась, разбередила ногу и застонала. Потом он опустил ее на песок, и она надела тапочки. После этого она сказала: «Теперь дайте мне полежать спокойно минут пять, и пойдем». Она легла и вытянулась, а он сидел около нее, смотрел на море. А она лежала с закрытыми глазами, легко дышала и такая была... такая... Наконец он сказал: «Тут видите, крутой подъем — придется мне донести вас на руках до дороги. Там уж пойдете сами». «Хорошо,— сказала она послушно,— только давайте минутки две отдохнем». Минут через пять он сказал: «Ну, берите меня за шею. Крепко держитесь? Держитесь крепче! Опля!» Оторвал ее от земли и понес на руках. (Это опять-таки было его самое-самое дорогое.)

...Ну а потом она пошла. Хромала очень, но все равно нести ее я уже не решался — ведь город же! Представляете себе зрелище! На улицах еще никого не было, но все равно я не решался. А она молодец, шла и даже не стонала, только когда нога подвертывалась — вскрикивала. Но плечо у меня три дня потом болело. Тогда я ничего не замечал. «Больно?» — спрашиваю. «Ничего, ничего, идемте, идемте».— «А может, отдохнем? Вот лавочка».— «Нет, пошли, пошли, тут уж недалеко — вот за углом». А как свернули за угол, так вылетела целая топла — парни, девушки, кто с надувными поясами, кто с мячами, и сразу к ней: «Лина, что с вами? Что случилось?» Окружили, подхватили за спину, посадили на скамейку. Кто-то за сестрой побежал, ну а я сбежал, конечно. Вот и вся история, Александр Иванович, видите, какой я спаситель.

— Да,— ответил Александр Иванович.— Вижу, чувствую. А зачем вы с ней в гору поднимались? Там что-то было?

На гору они поднялись уже под вечер. Когда-то сюда была проложена настоящая дорога, сначала лесенка, потом что-то вроде шоссе — сейчас же ничего не было: осталась только неверная, все время осыпающаяся под ногами тропинка, и идти по ней надо было осторожно, держась за кусты и выбирая место, куда встать, а то сразу ухнешь по колено в бурьян или частый крапивник. А крапива здесь вырастала несокрушимая: черная, высотой с человека, с нежными желтыми сережками, вся осыпанная серой цветочной пылью, и от нее таинственно пахло. И вообще все, что находилось ниже тропинки на склонах горы, все было таинственным: черные круглые колючие кусты, бело-желтые, в ржавых пятнах камни, козьи кости, собачий скелет с раскрытой к небу частой решеткой ребер. Сидит на тоненькой осине кобчик и смотрит желтым кошачьим глазом; взмахнешь рукой, крикнешь, он только для приличия пригнется как на пружинах и опять сидит. Идешь и думаешь: а что же делается в этой гуще? В колючем кустарнике, в желтых и пустых дудках, в этих мощных лопухах и репейнике, в крапивных зарослях — что там? Кто здесь ходит, кто живет и почему на пустой дудке висит вон насквозь промасленный, как блин, серый брезентовый картуз? Кто его сюда повесил? Зачем? Когда?

— Постойте, спаситель,— сказала Лина, отпуская его руку,— я сниму тапочки, а то ноги скользят. Постойте-ка там, вверху.

Она возилась долго, что-то снимала, надевала и когда подошла к нему, вдруг солнце зашло за тучку и как-то внезапно стемнело. То есть небо над ними было еще светлое, и море сверкало нестерпимо для глаз, они видели его в прорези горы, но по склонам уже легли прозрачные сумерки. Блин на дудке теперь казался совсем бурым. А рядом была настоящая пропасть. Он как-то не так ступил — и посыпалось, камень оборвался из-под его ноги и мягко по травам поскакал по склону, докатился до репейников и застрял там.

— Ну, еще с десяток шагов,— сказал он бодро,— еще один поворот — и пришли!

Он говорил, только чтоб ее подбодрить, но действительно получилось так, как он сказал. Они поднялись еще несколько шагов и сразу очутились на прямой широкой дороге, а прямо перед ними зеленел спокойный, как в сказке, ровный лужок, поросший невысокой травкой, и белела кладбищенская стена.

— Ну вот, дошли,— сказал он,— может, отдохнем?

Стена была невысокая, по грудь человеку, из-за нее

виднелись кресты и склепы — странные кубы и прямоугольники из желтого известняка. Так строят только для покойников. Но рядом стояли черные кипарисы, и все равно было красиво. Он посмотрел на все это, затененное легкими, прозрачными сумерками, похожими на дымчатое стекло, и подумал: «И дернул меня черт притащить ее сейчас. Ведь минут через двадцать совсем стемнеет. Уж подождать бы утра и подняться с другой стороны».

— Садитесь, отдохнем,— сказал он и сел на придорожный камень. Он лежал тут на дороге — большая четырехугольная мраморная глыба.

Она тоже села, тяжело вздохнула и закрыла глаза. Он посмотрел на глыбу: с одной стороны она была обтесана, ее, видно, тащили сюда, но почему-то не дотащили до стен кладбища и бросили. Почему? Может, революция подошла и живым стало уже не до мертвых?

Он вынул из кармана ее плоскую фляжку и сказал:

— Предложил бы вам водки, но...

Она слегка поморщилась.

— Воды бы...

— Что ж, поищем и воды,— сказал он бодро,— какая-нибудь труба здесь да торчит. Что ж, пойдем, пожалуй?

— Еще минутку,— попросила она, но просидела долго, пока совсем не стемнело, тогда она поднялась и сказала: — Идем.

И только они прошли несколько шагов, как белая стена оборвалась, и они увидели в этом провале ночь. В ней перемешалось все: и чернота земли, и густота кустарников, и лиловатость мрамора, и ангелы, и небо с крупными синими звездами, и верхушки деревьев, и за деревьями как бы наискось повешенное море, а по небу быстрые лиловатые вспышки. Он вынул из кармана фонарик — лиловый лучик скользнул по траве и рассеялся, не долетев до стены.

— Пойдемте,— сказал он.

Встали и снова пошли, но только прошли несколько шагов и наступили на первую могилу, как что-то ухнуло и застонало. Она сдавила его ладонь. Он тихо засмеялся и похлопал ее по руке.

— Ну, ну,— сказал он,— ничего особенного, сова. Их в этом хозяйстве должно быть до черта. Вон ведь какие апартаменты.

Он осветил овальное узорное окошко с разноцветными стеклами и бронзовыми пальмами вместо решет-

ки. И вдруг его рука дрогнула: высокий худощавый старик в синем комбинезоне появился из-под земли, стоял перед ними и неподвижно смотрел на них.

— Доброй ночи,— сказал Зыбин несколько ошалело.

— Добрый, добрый вечер,— ответил старик благодушно,— какая же сейчас ночь? Вечер! А я вот что смотрю: вы ведь с этой стороны поднимались?

— Да. А что?

— Как что? Как же вы так рискнули? Там же рогатины стоят. Здесь же никак ходить нельзя. Свалишься — костей не соберешь. В прошлом году двое насмерть расшиблись. Милиция нам строжайше запретила! Здесь все скрозь сыпется.

Он говорил, а сам как будто улыбался.

— Да никаких рогаток мы, дедушка, не видели.— Лина прижалась к Зыбину и слегка потерла подбородком его плечо.

— Да это как же нет, когда я сам и ставил,— покачал головой старик.— Нет, они есть, да вы ими пренебрегли. Вот что! Ну а если свалились и на дороге лежат, то все равно. Там надпись черным по белому: «Проход воспрещается».

— Да совсем там ничего не было! — воскликнул Зыбнн.

— Да неужели кто опять сбросил? — спокойно удивился старик.— Да, наверно что так! Это третью мою заграду они ниспровергают! Ну хулиганы! Ну подлодочники! До всего-то нм дело! Стонт памятник. Так он, может, сто лет тут простоял. Его нн белые, нн красные, ни зеленые не трогали, так нет, пришел герой из ваших, ученый в белом костюме, сел под него, вынул бутылку, хватил стакан-другой — и все! Растянулся! Встал через два часа, уставился, как баран, смотрит: ангел с крестом. Смотрел, смотрел да как швыркнет башмаком — стоит! Он его — спиной! Стоит! Так он задом уперся, пыхтел, пыхтел, аж посинел — здоровый ведь боров, пьяный! Все стоит ангел. Тут уж такое горе его взяло, такое горе! Повернулся от памятника и не знает, что же ему делать. И выпить нет — хоть плачь! Увидел меня: «Дед, достань поллитра!» «Нет,— говорю,— водки у нас нет: покойникам не подноснм и сами не пьем. А что ж,— говорю,— вы остановились-то? Спиной его лупили, задницей перли, давай теперь лбом — вон он у вас какой! Может, свалится».— «А,— говорит,— все равно все это на снос!» Вот какие попадаются ученые! А что это вы так прнпозднились? Сюда надо приходить, пока солнышко

высоко. Вы что, так гуляли и забрели или посмотреть пришли?

Странный это был старик, он и расспрашивал и рассказывал все одним и тем же тоном — легким, смешливым, добродушно-старческим, и было видно, что ему на все про все наплевать, и на то, что кто-то пойдет по такой дороге, а потом и костей своих не соберет. Зыбин ответил, что нет, они не гуляли и забрели, а пришли специально взглянуть на кладбище.

— Ну, ну,— как будто по-настоящему обрадовался старик.— Здесь есть что посмотреть. Ну как же! Здесь один такой выдающийся памятник есть, что его в музей хотят взять.

Зыбин сказал, что именно из-за этого памятника они и пришли сюда.

— Так вы не туда идете! Вы сейчас совсем заплутаетесь! Стойте-ка, я вас сейчас провожу.

Он отделился от стены и сразу же исчез, был — и нет, не то в стену ушел, не то в землю провалился. Лина стиснула руку Зыбина, но старик уже вылезал откуда-то из-под земли. В руках его был большой закопченный фонарь. «Ну, пойдем»,— сказал он. Фонарь он нес как ведро, махал им, и тени от этого шарахались в разные стороны. Освещалось только то, что под ногами — трава, земля, а впереди была все равно темнота.

Они миновали несколько крестов и ангелов и поравнялись со склепом, большим, длинным, похожим на склад. Одно окно горело снизу желтым керосиновым светом.

— Да тут живут! — удивилась Лина.

Старик махнул фонарем.

— А как же! — ответил он, с удовольствием вглядываясь в ее лицо.— Тут вот и живем. Там у меня инструменталка, а тут жительство. Двое нас: я да садовник Митрий Митрич, такой же старичок, как и я. Тому уже восьмой десяток давно пошел.

— Садовник? — удивилась Лина.

— Садовник, гражданочка, садовник. Митрий Митрич. Знаменитый человек был. Когда-то на островах у графа Полюстрова служил и на все высочайшие банкеты цветы доставлял. Его в Царское сманивали — не пошел. Мол, тут и дед мой кости сложил, и отец, и я тут же с ними. Да вот, видишь, не вышло. Как в гражданскую тут застрял, так и остался. Вот вместе теперь живем.

И опять голос у старика был легкий, шутливый и чуть ли не издевательский, как будто он рассказы-

вал и в то же время приглашал посмеяться над рассказом.

— И не страшно вам? — спросила Лина.

Это так понравилось старику, что он даже остановился.

— А кого ж тут бояться-то? — спросил он весело, и глаза его насмешливо заморгали.— Злым людям тут делать, гражданочка, нечего. Чем тут поживишься? Вот только уж алкоголик затешется с пьяных глаз — это да! Такое приключение бывает! А так — все больше парочки.— И он слегка мигнул фонарем на них обоих.

Лина сжала пальцы Зыбина и спросила неуверенно:

— А вурдалаки?

— Что-о? — нахмурился старик.— Вурдалаки? Вона что! Это которые, значит, из могил выходят да кровь сосут! — Он вдруг засмеялся и покачал головой.— Нет! Оттуда, гражданочка, никто не выйдет. Там дело вполне крепкое! Зароют, камнем придавят — и все! Как не жил на свете! Мертвый человек — он самый безвредный! Это живые все шебаршатся, хватают, к себе тянут, и все — «мало, мало, дай еще! давай мне еще и это!». А мертвый сам с себя все раздает. А как останется один скелет — это уж, значит, точно, раздал все нажитое, одну основу себе оставил. Она уже его собственная! От матери! Вот так, молодые люди!

Он говорил и весело глядел на них обоих. Зыбин заметил, как Лину вдруг передернуло, у нее сейчас было осунувшееся и сразу как-то похудевшее лицо. Старик, видимо, был дока — он знал толк в таких разговорах и любил их.

— Все равно страшно,— сказала Лина и плотно прижалась к Зыбину. Тот слегка обнял ее сзади. Она прильнула еще ближе.

— Страшно! Да что вы, помилуйте! — почти посветски воскликнул старик.— Природа! Закон! Закон-с природы! Из земли создан, в землю и отойдешь. Чего ж страшиться-то? Удивляюсь! Особенно вам, ученым, удивляюсь! Учатся всякому природоведенью, синтаксису, а ведь доведись что — хужее самого черного мужика. Ей-богу, хужее! Вон внучок у меня в седьмой класс зимой пойдет, журналы читает, как что — «ты, мама, отсталая, сейчас так уж не говорят». Такой научный! А был он у меня раз, припозднился — я аккурат ему силок мастерил — и лег тут. Утром выбег по своему делу, смотрю, через сколько-то бежит — лица на нем нет! Что такое? «Деда, деда, там мертвяк из-под земли вылез!» — «Где мертвяк? По какому случаю? А ну пойдем взглянем».— «Нет, нет! Я не пойду!» Вон какой уче-

ный! — Старик опять засмеялся. — Вышел я, верно, кто-то скребется, решетку у могилы раскачивает. Подошел, а он уже весь облевался и на памятник лезет. А грязный, а страшный, а весь в земле! Ну правда вурдалак! Это он, значит, тыкался, тыкался, тыкался в решетку, только башку расшиб. Так он сообразил — на памятник полез, чтоб, значит, оттуда, сверху, за решетку сброситься. Вот до чего допиться можно! Такие приключения тут да, случаются. А все, что вы говорите...— Он с улыбкой поглядел на Лииу и слегка махнул рукой. — Ну вот мы и подошли. Вот он, памятник, смотрите!

...Вы понимаете, Александр Иванович, эта статуя была действительно замечательной. Когда мы осветили ее фонарем, то она прямо взмыла перед нами — такая страшная легкость! Пьедестал-то из черного гранита, его не видно. А внизу-то, Александр Иванович, и были все эти надписи — ночью-то гранит невидим, конечно, но только тронешь его фонарем — он так и вспыхнет, так и обдаст голубыми искрами. И вот когда мы его так со всех сторон обшаривали, и появилась эта старуха...

Не старуха, конечно, она была, ей еще и пятидесяти лет, наверно, не стукнуло. Они ее сначала точно не заметили. Просто поднялись к памятнику — и вдруг из темноты послышался спокойный, густой и какой-то очень полнозвучный голос:

— Здравствуй, Михеич! С кем это ты?

И старичок вдруг засуетился.

— А, это вы, Дора Семеновна,— заблеял он.— Что ж не повестили-то? Ростислав-то Мстиславич где? Тоже с вами? Вот видите, молодые люди захотели Юлию Григорьевну проведать, да заплутались в могилках-то. Вот я и взялся их проводить по случаю ночи.

— Положим, у тебя сейчас и днем заплутаешься,— спокойно сказала из темноты женщина.— Я давно тут хожу — никакого порядка нет. Не смóтрите вы! Ни ты, ни тот обломок империи!

— Да какой же тут может быть полный порядок, Дора Семеновна,— махнул фонарем старик.— Помилуйте! Все ведь в море рушится. Вон дорога обвалилась, ходить нельзя. Вчера милиционер был, так объявил — последнее лето, а там запретят тут жить.

— Да уж скорее бы гнали вас отсюда, что ли! Все равно толку нет! — вздохнула женщина и подошла к

ограде. Была она высокая, плотная, с пестрой шалью на плечах.

— Здравствуйте,— слегка поклонился ей Зыбин.— Вот пошли, не рассчитали, темнота застала. В первый раз тут — трудная дорога!

— Если правильно идти, то она не трудная,— ответила старуха.— Надо вон оттуда идти, тогда легко. Лучше всего утром сюда приходить или при полной луне, а так, при фонарике-то, что увидишь? Ну, посмотрите, посмотрите.

Она вышла из ограды и оказалась высокой, крепкой, еще не старой брюнеткой с крупным, грубоватым, но красивым лицом, черными, очень правильными бровями и бархатным взглядом. Когда она подняла руку, убирая со лба и висков черные тонкие волосы, блеснул браслет.

— Да уж лучше бы закрывали,— сказала она.— Никому сейчас мы не нужны! Вот до нынешнего лета фотография здесь была — так стекло разбили, фотографию дождем смыло. А решетку с той стороны свалили и вон куда оттащили. Зачем? Кому надо? И жаловаться некому! Ну решетка еще ладно, а вот памятник жалко. Больших денег он стоит! Музейная же вещь! Ее в Эрмитаж бы!

— Запрещено, Дора Семеновна,— вздохнул старик.— Приказ будто такой есть особый — культ будто это!

— Знаю, что культ! Ну смотрите, молодые люди, хорошенько смотрите! А то придете и ничего не увидите — на известку отдадут. Это сейчас просто! Культ. Отец ставил, думал, будет триста лет стоять, а он и двадцать пять лет не простоит! Встал бы покойник, посмотрел на дело рук своих! Вот он тут как раз рядышком лежит. Фамильное место-то!

— Скажите, а вы ее знали? Вот эту девушку?— спросил осторожно Зыбин.

— А как же! Моя ж это кузина Юленька! На два года я ее старше. С детства ее знаю. Мы с ней все эти горы облазили. Тогда тут курзал грузинский стоял с музыкой. Шашлыки и красное вино. А в этом месте скамейки были. Она любила сюда приходить утром, пока еще народа нет. Вот сядет тут и рисует все в альбом море — она хорошо красками рисовала.

— А как она умерла?— осторожно спросила Лина.

Женщина ответила не сразу. Она сначала немного как будто подумала.

— Смерть пришла, вот и умерла,— ответила она равнодушно и вдруг заговорила часто и резко.— Не от

любви! Нет! Это все курортные байки. Рыбак! Маяк! Глупость это! Ничего подобного! Она еще, что такое любовь, как следует и не понимала. Обожала нашего кузена-кадета — и все! А стихи эти, что сейчас на камне, она их в особый альбом списывала. Думала потом ему поднести. Будто она его любит, а он ее нет — она готова за него умереть, а он над ней только смеется. Вот такую любовь себе вообразила. И письма ему такие писала. После смерти ее все их в шкатулке нашли. А умерла обыкновенно. Глупо то есть умерла. От стрептококковой ангины. Лазала по горам и простудилась. А потом эта зараза пристала — и все! В неделю сгорела.

Она плотнее накинула платок на плечи и подошла к ним. Очень хорошо сохранившаяся сорокапятилетняя женщина с крупным лицом, сочными губами и каким-то большим, спокойным и в то же время глубоким и проникающим взглядом, и от этого взгляда Зыбину стало вдруг не по себе. Ему в голову пришло что-то совершенно сумасшедшее. «Вот она сейчас уйдет, и мы никогда не узнаем, кто она такая и откуда взялась,— остро подумал он, всматриваясь в лиловые тени около ее насурьмленных глаз и в беспощадный разлет бровей.— Придем сюда завтра, и окажется, что никакого тут Михеича нет, то есть, может быть, он и был, но умер сорок лет назад, а склеп стоит забитый и тут яма, кости и памятник». Он думал так и чувствовал, что цепенеет от страха. Вот откуда она взялась? Ведь не было же ее здесь — и вдруг появилась. И старик откуда-то из-под земли вылез и свел их сюда, к этой старухе.

Он посмотрел на Лину. Она не отрываясь смотрела на женщину.

— А знаете, я где-то вас видела,— сказала она вдруг.

— Так и я вас тоже,— охотно ответила женщина и слегка улыбнулась.— На пляже. Мы раз с вами даже вместе купались.— Она протянула руку.— Разрешите представиться, артистка Московской госфилармонии Дора Истомина-Дульская. Может, видели афишу с моим портретом? Всегда месяца два мы гастролируем в этих местах. Нам, кажется, по пути? Пойдемте. Свети нам, Михеич.

«Старый могильщик, старый могильщик, куда же ушел ты, старый могильщик? Зарой меня в землю, старый могильщик, чтоб я уж не видел, мой старый

могильщик...» — он бормотал, ворочался с боку на бок, а над ним стоял солдат, тряс его за плечо и повторял: «Вставайте, вставайте! На допрос, на допрос...» Наконец он вскочил. Горел желтый свет — значит, было еще не поздно. Койка Буддо пустовала. Он поднялся, пригладил волосы, выпил воды, оделся и спросил солдата: «Так ведь отбой уж?» — «Идем»,— ответил солдат.

И они пошли. У него, наверно, была температура. Идя по коридору, он хватался за стенки, его шатало. Наконец они остановились перед той же знакомой дверью, что и вчера. «Подтянись,— прошипел солдат,— что ты весь расхристанный?»

Дверь отворилась сама. Хрипушин стоял посередине кабинета. Он поглядел на Зыбина и усмехнулся. Видно, тот был в самом деле хорош: растрепанный, расстегнутый, башмаки без шнурков. Потом взял квитанцию, подошел к окну и подмахнул ее. Солдат вышел. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Хрипушин мимоходом. «Спасибо, хорошо»,— ответил Зыбин, усаживаясь на свой стул в углу. Хрипушин тоже прошел к столу, плотно уселся и положил кулаки перед собой. Он был отлично выбрит, выглажен, начищен и подтянут. «Ну а без спасибо можно?» — спросил он. «Можно»,— ответил Зыбин и провел рукой по лицу: кажется, точно жарок, вот и разламывает. Еще не хватало, чтоб здесь разобрало. А как зарос-то! Жаль вот, зеркала нет. «У вас нет зеркала?» — спросил он. И тут произошло что-то совершенно непонятное. Хрипушин вдруг взревел, как бык. Он бахнул кулаком по столу. Из чернильницы взлетели чернила, посыпались карандаши, что-то зазвенело.

— А ну встать! — заревел Хрипушин, вскакивая.— Да я тебя! Встать, вам говорят!

Но Зыбин продолжал сидеть. Теперь он понимал, что его точно лихорадит. Мысль работала очень туго, он даже хорошенько и не осознал, что произошло. Тогда Хрипушин как-то сразу очутился около него (через стол он перепрыгнул, что ли?) и вцепился ему в ворот.

— Вставай, проститутка! — прохрипел он в ухо, раскачивая его и почти душа.— Встать, тебе говорят!.. Зеркало ему! Ты у своей курвы его спроси!

Все это произошло настолько внезапно и нелепо, что Зыбин и верно поднялся. Тогда Хрипушин отпустил его.

— Ах ты,— проговорил он как-то даже горестно.— Ведь совсем обнаглел, вражина! Зеркало ему подавай!

Да где ты находишься? Ты что? Ты к своим проституткам пришел, гад, враг, сволочь? Забыл, где ты?

Зыбин молча смотрел на него. «Ну вот и все,— подумал он.— Сейчас он ударит меня, а я дам ему по скуле и вышибу челюсть. И еще поддам ногой в морду, когда он упадет. Сейчас, сейчас! Вот сию секунду!» Он знал, что это точно будет, что после этого сюда ворвется банда будильников, хорошо откормленных ражих жеребцов, его стиснут, свалят на пол и будут топтать, пока не превратят в мешок с костьми. Что-что, а это они умеют. Но тут уж ничего не поделаешь, не его на это воля! Жаль только, что следователи сейчас, сказал Буддо, не носят с собой браунинг, а то можно было бы и шутку сыграть, и отделаться безболезненно. Но раз так, то так, и он с улыбкой поглядел на Хрипушина.

— Но почему же проститутка?— спросил он.— Ведь вы троцкизм мне предъявлять не будете? Так какая же тогда проститутка?

Хрипушин перевел дыхание и разжал кулаки. Он уже что-то понял. То есть он, конечно, ничего не понял, но находился в том высоком взлете гнева, в котором не полагались перерывы. Вот как взревел он с места в карьер, как ухнул кулачищем по столу, так и надо было продолжать: орать, лупить, крушить, материть — словом, сразу превратить человека в кусок дерьма. Тут секунды решают все. Если враг поддался и заговорил, ну хотя бы запротестовал,— он уже все расскажет! Но сейчас что-то удерживало его и от кулаков и от криков, и не какое-то там соображение или понимание, а что-то тонкое и острое, похожее на нюх и чутье. Кроме того, ведь разрешения бить он не имел. Такие разрешения вообще спускаются не всегда и не по всем статьям. Тут так: если зек подписал — ну молодец! Победителей не судят. А будет шум — получай выговор за брак!

Вот так они и стояли и смотрели друг на друга. Хрипушин с бычьей яростью, в которой было, однако, и порядком неуверенности; Зыбин — просто и прямо, потому что это был, вероятно, его последний день — тот итог, к которому пришла вся его путаная и нелепая жизнь.

Ни капли злобы не было у него против этой здоровенной орясины. Он испытывал только что-то вроде ощущения кошмара, страшной нелепости того, что происходит, сна, который он не в силах прервать. «Как хорошо тогда было у моря,— вдруг остро и

быстро подумалось ему,— а теперь вот... И кому это нужно? Да никому это не нужно».

Наконец Хрипушин резко повернулся, пошагал за стол и сел. Сел и Зыбин. И оба они разом почувствовали, что не знают, что же делать дальше. Сидели и старались не глядеть друг на друга. И тут вдруг зазвонил аппарат. «Майор Хрипушин слушает!» — крикнул в трубку Хрипушин с облегчением. Его о чем-то спросили. Он ответил, что еще нет, а потом сказал, что да. Тогда ему, видимо, приказали прийти. Он гаркнул «есть» и тут же вызвал какой-то номер (на Зыбина он не смотрел). «Здравствуйте,— сказал он через секунду.— Что вы делаете? Тогда возьмите работу и зайдите в такой-то кабинет». Он опустил трубку и посмотрел на Зыбина.

— Ну вот что,— сказал он нехотя.— Вы много на себя тоже не берите. Вскочил! Здесь и не таких видали! Посидите, подумайте. Писать вам все равно придется.

В дверь постучали.

— Да,— сказал Хрипушин.

И вошел очень молодой светловолосый парень с папкой в руках. У него было совсем мальчишеское пухлое лицо и светлые усики. Он походил на гусара из какого-то историко-революционного фильма.

— Можно? — спросил он, останавливаясь около Зыбина.

— Да, да, проходите,— сказал Хрипушин и встал.— Я сейчас вернусь.

Глава V

Мальчик сел у стола и папку раскрыл. Посидел так немного, полистал ее, что-то выписал себе на лист бумаги, потом поднял на Зыбина тихие глаза и спросил:

— Так что же вы все не сознаетесь? Нехорошо это! — Тон у него был солидный, но вполне дружелюбный.

А Зыбин вдруг начал дрожать. В нем все ходило и дребезжало. Заломило позвоночник. Только сейчас он понял, что такое быть развинченным.

— Да в чем сознаваться,— не то пожаловался, не то огрызнулся он,— ведь ни о чем не спрашивают, только орут!

— А вот не надо быть анонимным, надо все по чести рассказывать, тогда и с вами будут вежливы,— сказал мальчик нравоучительно и вдруг совсем поиному спросил: — А в чем же вы сознаетесь?

«А ведь это и есть будильник»,— вдруг сообразил Зыбин и так развеселился, что даже чуть не рассмеялся. Про будильников ему рассказывал Буддо. Будильники — это курсанты высшей юридической школы НКВД, здесь они отбывают практику. Главное их назначение — сидеть на конвейере. Следствие должно идти непрерывно несколько суток, иначе толку не будет. Следователь, положим, отстучал, отрычал положенные ему часы — а бог знает, сколько ему уж их там положено, то ли восемь, то ли все двенадцать,— и ушел к жене и детям. Тогда на его место садится будильник и начинает бубнить: «Сознавайтесь, сознавайтесь! Когда же вы будете сознаваться? Надо, надо сознаваться! Пишите, пишите, пишите. Вот ручка, вот бумага, садитесь и пишите». Так до утра, до прихода отоспавшегося хозяина кабинета. За это будильнику засчитывается практика. Так будущие юристы, прокуроры и судьи не только познают тонкости советского права, но и готовятся заодно к зачетам. Перед каждым из них лежит учебник или «Вопросы ленинизма».

Перед этим же будильником лежали не книги, а какое-то подшитое дело — видимо, он сдавал следственное делопроизводство.

— Здорово!— сказал Зыбин.— Так вот, оказывается, вы какие!

— То есть как — какие мы?— удивился мальчик.

— Да вот такие будильники! Вам что, лет двадцать исполнилось? А знаете, как вы называетесь поученому? Вегилиа. Можете даже записать. Вегилиа, а по-русски конвейер, или бдение, а изобретен он не вами, а в шестнадцатом веке болонским юристом Ипполитом Марсельским. В России же впервые был применен, кажется, в деле Каракозова в шестьдесят четвертом году и дал отличные результаты.

— Да вы что?— ошалело спросил мальчик.

— Да ничего я. Ничего! Правда, делали тогда несколько иначе. Заключенного сажали на высокую скамейку, и двое дядечек толкали его с разных сторон, чтоб он не спал. И вот ученый юрист Ипполит Марсельский пишет: «Я убедился, что это как будто несерьезное испытание, чем-то напоминающее даже детскую игру, оказалось настолько действенным, что его не выдерживали даже самые лютые еретики». Слышите, юноша, лютыми-то они называли нас, подследственных.

— Да вы про что все это? Я не понимаю!— почти в панике воскликнул юноша.

Тихонько вошел Хрипушин, сделал мальчику знак глазами и остановился у двери, слушая.

— Да вот про это самое,— продолжал Зыбин, весь содрогаясь от своей отчаянности, от легчайшей готовности идти сейчас на все что угодно — на смертельную драку с будильником, во всяком случае вот наконец-то на него снизошло то, чего так не хватало ему все эти дни,— великая сила освобождающего презрения! И сразу же отлетели все страхи и все стало легким. «Так неужели же я в самом деле боялся этих ширмачей?» — Про это самое,— повторил он с наслаждением,— про то, что раньше вас жандармы проделывали с Каракозовым. Знаете вы это имя? Да нет, куда вам знать, там ведь вас не этому учат! Так вот его сажали между двумя такими будильниками, как вы,— только те были не сексоты из студентов, а жандармы,— и они не давали Каракозову спать. Когда он засыпал — толкали. Потом один из них рассказывал: сидит, говорит, он между нами и ногой, сволочь, качает, а мы смотрим — как перестанет качать, так мы его, значит, и толкаем.

— Ну хватит молоть! — строго сказал Хрипушин, проходя и садясь за стол.

Мальчик поднялся, и Хрипушин отпустил его кивком головы, но тот дошел до двери и остановился, слушая.

— Так вот, рассказывает этот будильник, он так прихитрился спать, что спит, сволочь, и во сне все равно ногой качает, так мы его...

— Кончайте,— махнул рукой Хрипушин.

— Так мы его все равно стали толкать через каждые пять минут, качает он или нет. Вот так!

— И заговорил? — спросил Хрипушин.

— Заговорил!

— Так вот и вы тоже заговорите, господин ученый секретарь,— усмехнулся Хрипушин.— И имейте в виду, все до словечка расскажете, до имечка! Потому что вы не в царской охранке, а у советских чекистов. А мы научим вас уважать следствие. Вот так, гражданин хороший! Спасибо, Игорь. Идите.

Будильник вышел, бросив на Зыбина быстрый и, как ему показалось, какой-то смеющийся взгляд. «Хороший мальчик,— подумал Зыбин,— пожалуй, посидит тут несколько месяцев и поймет все. А впрочем, он и сейчас все понимает и сидит. Да, силен черт! Очень силен!» Дребезжанье в нем прошло совсем. Он был сейчас совершенно собран и спокоен. И снова уже с

улыбкой посмотрел на Хрипушина — но и тот улыбнулся тоже.

— Все партизаните? — спросил он.— И тут, значит, тоже ведете антисоветскую агитацию? Ничего, ведите, ведите, тут вы что угодно можете говорить, советские люди не из слабых.

Он вынул из папки лист бумаги тетрадочного формата, встал и поднес Зыбину.

— Прочтите и распишитесь,— сказал он.

На листке было напечатано, что он, Г. Н. Зыбин, такого-то года рождения, такого-то рода занятий, по имеющимся в распоряжении НКВД Казахской ССР материалам, является достаточно уличенным в том, что он, проникнув в Центральный музей Казахстана, распространял пораженческие слухи, вел антисоветскую агитацию, клеветал на мероприятия партии и правительства, а затем скрыл валютные ценности, принадлежащие государству, и пытался с ними убежать за рубеж. Кроме того, он уличался в том, что вредительски оформлял выставки, пытаясь протащить наряду с портретами героев труда фотографии ныне разоблаченных врагов народа, то есть совершил преступления, предусмотренные статьями пятьдесят восемь пункт один и пятьдесят восемь пункт десять, часть вторая, пятьдесят восемь пункт семь УК РСФСР и указом от 7 августа. Поэтому он, чтоб не скрылся и не помешал следствию, подлежит аресту и обыску. Подписал начальник I оперотдела Белоусов, санкционировал зампрокурора республики по спецделам Дубровский.

— Распишитесь,— повторил Хрипушин, подавая ему ручку.— Пройдите к столу и распишитесь.

Зыбин легко подмахнул бумагу, возвратился на свое место и сел. Сел и Хрипушин. С минуту оба молчали.

— Ну так что ж? — спросил Хрипушин.— Будем признаваться или нет?

— В чем же?

— Да вот в том, о чем здесь написано, по порядочку. Как вы, еще будучи студентом, вели разложенческую работу в своем институте — тут нам прислали об этом красивые материальчики,— как вы ввели в заблуждение органы и ушли от ответственности, потом каким образом и с чьей помощью проникли в музей — мы ваших покровителей тоже всех знаем, и о них будет особый разговор,— какую вы вредительскую работу проводили в музее, кто вас в этом поддерживал — так откровенно, откровенно, ничего не тая! Кого вы завербовали, как вы наконец, осмелев, перешли к прямым

действиям. Потом про эту историю с валютой. Ну и так до конца.

— Здорово!—сказал Зыбин и рассмеялся.— Богато! Ну и нарисовали же вы мне следственную идиллию! Что же, давайте факты, поговорим!

— Так вот они же!—сказал Хрипушин с непоколебимым, тупым убеждением.— Вы арестованы—факт! Вам предъявлено обвинение—факт! Что же это, с потолка взято, что ли? Или мы берем невиновных? (Зыбин пожал плечами.) Да нет, нет, отвечайте: что мы, по-вашему, берем невиновных? Так? Ага, молчите? Ну вот вам, значит, и первые факты.

— Значит, есть и еще?—спросил Зыбин.

— А фактов про вас сколько угодно,— заверил Хрипушин.— Вот здесь, в столе, три папки фактов.— Он вынул и положил их одну на другую.— А там, в шкафу, еще пять таких же, так что хватит.

— Так вот и предъявите их мне,— сказал Зыбин.

— Да я вам их только что предъявил,— опять-таки, даже, может быть, и неподдельно, удивился Хрипушин.

— Какие же это факты? Это статьи обвинения.

— Экий же вы,— покачал головой Хрипушин и даже улыбнулся в сознании своей непоколебимой правоты,— а в чем же обвиняют вас как не в фактах? Это все, что вы подписали, и есть факты обвинения. Вас же не обвиняют в теракте или в шпионаже, ведь нет? А почему? А потому что таких фактов в распоряжении следствия нет, а есть в его распоряжении совсем иные факты. Вы клеветали на органы НКВД—факт это? Факт! Распространяли антисоветские измышления— опять-таки факт? Факт! Вредительски оформляли музейные выставки—опять факт? И не один даже! Вот на первый раз расскажите следствию об этих фактах. Валютой займемся потом.

Зыбин только пожал плечами и усмехнулся.

— Так, значит, будем вот так друг перед другом и молчать?—спросил Хрипушин.— Ну что ж, давайте, у нас времени хватит.

— Да я жду, когда вы меня спросите о чем-нибудь конкретном.

— Х-х! А я вас, значит, не о конкретном спрашиваю? Ну вот конкретно. Расскажите о своей антисоветской деятельности в музее. Вот как, например, вы вредительски оформляли витрины. Ну вот что смеетесь? Ну вот что, скажите мне на милость, вы сейчас смеетесь, а?

В дверь постучали, и Хрипушин бодро крикнул: «Да, заходите!»

И вошла женщина. Это была высокая, черноволосая, очень молодая и красивая женщина, чем-то похожая на какую-то американскую актрису немого кино. Вошла, остановилась у двери и спросила, улыбаясь:

— Можно к вам?

Таких женщин тогда появилось немало. Наступало то время, когда ни обложки журналов, ни кино, ни курортные рекламы без них обойтись уже не могли.

Это были те самые годы, когда, по самым скромным подсчетам, число заключенных превысило десять миллионов.

Когда впервые в науке о праве появилось понятие «активное следствие», а спецпрокурорам была спущена шифровка — в пытки не верить, жалобы на них не принимать.

Когда по северным лагерям Востока и Запада пронесся ураган массовых бессудных расстрелов. Обреченных набивали в камеру, но их было столько, что иные, не дождавшись легкой смерти, умирали стоя, и трупы тоже стояли.

В эти самые годы особенно пышно расцветали парки культуры, особенно часто запускались фейерверки, особенно много строилось каруселей, аттракционов и танцплощадок. И никогда в стране столько не танцевали и не пели, как в те годы. И никогда витрины не были так прекрасны, цены так тверды, а заработки так легки.

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек,—

пели пионеры, отправляясь в походы. «Каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране»,— гремел оркестр на гуляньях. И многие этому действительно верили. Лозунг «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее» стал государственной истиной, основой, аксиомой нашего существования. Ибо так именно осознавал создаваемую им для нас действительность «самый гуманный человек на земле».

Написав эту строчку, Фадеев застрелился.

Вот в это время и появились такие женщины — чудные и загадочные цветы Запада, у которого мы отняли все — его гуманизм, науку, передовое искусство и литературу, а под конец даже красоту его женщин. Но это были наши красавицы, социалистические, и поэтому все: глаза, прическа, цвет волос, улыбка, походка,— обуславливалось неким жестким каноном допустимости. И костюмы этим женщинам шили соответ-

ствующие — неяркие, легкие, коверкотовые (только что японцам продали КВЖД), подчеркивающие рост и плечи, с неясным намеком на грудь. И никаких там декольте, никаких там коротких юбок, никаких тебе открытых коленок и брюк! Такие же женщины сортом попроще водились в машинописных бюро, управлениях делами, секретариатах, парикмахерских, но самые элитные и элегантные осели в крупных главках и наркоматах. Иметь такого секретаря стало делом чести какого-нибудь союзного наркома.

Они восседали на строгих креслах, обшитых черным пухлым дерматином. Перед ними было бюро и столик, заставленный телефонами.

Все у этих красавиц было необычным. Они носили сумочки невероятных фасонов, в этих сумочках лежали пудреницы величиной с плюшку. На них были золотистые, прозрачные насквозь чулки со стрелками, мужественные часы «Зенит» из легированной стали, а самые модные из них водили на поводке злющих собачонок с утробным рычанием, с глазами телескопов и жабьими мордочками. В столовую эти дамы не ходили. Завтрак и чай им приносили уборщицы. Они небрежно поднимали накрахмаленную салфетку, снимали длинными прохладными пальцами бутерброд или пирожок — мгновенье! — и на случайно забредшего колхозника изливался перламутровый свет их ногтей — острых розовых стрел. Посетитель обалдевал и уходил раздавленным («Куда вы лезете, товарищ? Разве не видите — перерыв»), а когда возвращался через час растерянный, извиняющийся за свое существование, неуклюжий от робости: штаны съезжали, ботинки жали,— то уж принимал без споров все, что ему преподносили: и вежливый отказ, и добрый совет обратиться к третьему заместителю (а тот пошлет к черту!), и даже приказ забирать свои документы и убираться — эти дела рассматриваются не тут! Но были и другие посетители — таинственные, гибко извивающиеся угри или же развязные веселые медведи. Они либо тихо вплывали в кабинет, либо шумно вваливались, бухались в кресла так, что пружины звенели, расстегивались, сбрасывались, клали на колени пузатый портфель, и вот что-то вынималось оттуда, разворачивалось и торжественно ставилось на стол. Раздавался восхищенный вскрик, и затем Охраняющая входы начинала петь, как иволга. «Ну зачем же вы, Эрнст Генрихович?..— пела она.— Ну какой же вы, право, Михаил Потапович, я же вас уже просила. Ведь это же, наверно, стоило вам таких трудов... Ах, такая красота! И сколько же...?»

— Берите, берите, дорогая,— отвечали Эрнсты Генриховичи или же Михаилы Потаповичи. И отодвигали локтем сумочки.— Это ведь все опытные образцы. В производство пустим с конца квартала. Но это будет уже не то...

— Ах, ну конечно же, это будет уж не то,— заливалась Охраняющая входы.

И тут дверь в кабинет будто как-то сама собой открывалась. Нарком ждал.

Это были ширпотребовские Мэри Мэй и Глории Свенсон... Их было много всяких разновидностей и рангов — от почти всамделишных голливудских звезд с утомленными ртами, от светлых длиннолицых высоких блондинок до просто хорошеньких кудрявых девушек, для которых все еще оставалось впереди. Но это, так сказать, были дневные звезды — жены, любовницы или девушки, ищущие пристанища. Существовали и другие, чисто ночные дивы, те вили гнезда в других местах — в мрачных зданиях прокуратуры, в секретных частях, в приемных каких-нибудь чрезвычайных управлений, в закрытых «ящиках», в трибуналах и прокуратурах.

Вот такая ночная валькирия — секретарша или секретарь-машинистка — и залетела сейчас на свет лампы в кабинет следователя Хрипушина.

— Проходите, проходите, пожалуйста,— забеспокоился и завертелся Хрипушин.— Вот сюда, сюда.— Голова его так и дергалась в мелких поклонах.

Женщина, сохраняя все ту же улыбку-перманент, прошла к столу и положила какую-то бумагу.

— А-а,— сказал Хрипушин,— да-да! Но...

Он огляделся, ища стул, но стула не было. Были стулья, пять или шесть (на последнем и сидел Зыбин), но все они были намертво приторочены друг к другу (на случай какого-нибудь крупного разговора подследственного со следователем).

— Минуточку! — крикнул Хрипушин, и его словно вымело.

Тогда секретарша (а Зыбин уже точно понял, что это не машинистка, а именно секретарша, и бог еще знает, какого высокого начальника) обернулась и посмотрела на него. Только на секунду! Она тотчас же и отвернулась и стала что-то перебирать на столе. Он ведь был просто зек — так мало ли таких растерянных и нелепых субчиков без шнурков, поясов, в сползающих штанах (в тюрьму ничего металлического не допускалось, поэтому обрезались и пуговицы) приходится ей тут видеть каждую ночь — мало ли! Но тут влетел Хрипушин со стулом и сразу же о чем-то заговорил с

ней. Потом она села, и он сел. Он читал то, что она ему принесла, и читал долго, нахмурившись, а потом вдруг поднял голову и удивленно спросил: «А где же?» Не докончил, словно подавился словом, схватил настольный блокнот, написал что-то и придвинул к ней.

— Он тут,— ответила она ему и сказала: — Вы идите, а я посижу.— И так как он молчал и по-прежнему смотрел на нее, что-то выжидая, повторила уже настойчиво: — Идите!

Тогда он встал и быстро вышел.

Секретарша посидела немного, потом подняла голову и снова взглянула на Зыбина. Но теперь это был прямой, открытый, хозяйский взгляд. Только Зыбин уже не видел его.

Он был далеко, далеко... Опять у моря. Оно уже давно подступало к нему, шумело и билось в висках, пробивалось через зеленый лак стен, лики Сталина и Ежова—а вот сейчас прорвало их мутную пелену, забурлило, вспенилось и затопило все. Он стоял над ним на уступе скалы в жарком и ясном небе без тени и облачка и что-то кричал вниз.

И снизу, с полосы моря и песка, ему отвечали. И вот тут к нему подбежала Лина и сказала: «Ну вот, еле-еле отбилась от своих. Обещала через минутку возвратиться. Пойдемте скорей. Он все сидит у вас под кроватью?» — «Да»,— ответил он, и они пошли, покатились вниз по каменной дорожке. Она держала его за плечо и чему-то все время смеялась. «Чему это вы?» — спросил он ее. «Ничему. А правда хорошо?»

— Правда,— ответил он, вдыхая полной грудью море.

Они шли по песку, размахивая руками, и смеялись. И сейчас он тоже улыбнулся им, молодым и красивым, сидя на краешке своего стула и всматриваясь в них через портреты Ежова и Сталина.

— Слушайте, а чем это повеяло с моря? — спросила она, останавливаясь.— Какой странный запах! Чувствуете?

— Чувствую,— ответил он, вбирая обеими ноздрями соленый терпкий воздух,— это пахнет морем и сохлой рыбой. Видите, сколько тут чаек? Это они ее сюда натащили.

И как раз большая белая птица с черной шапочкой и свинцово-серыми крыльями пролетела прямо над ними.

— У них тут на отмели столовая,— сказал он,— смотрите, как плещутся. А крика-то, крика-то! Словно белье полощут! Вот от этого так и пахнет.

— Морем и рыбой?—спросила она.
— Морем и рыбой,—ответил он.
— Нет, ну как же тут хорошо!—крикнула она, останавливаясь.— Знаете, не нужно никакого вашего краба, давайте просто побродим по побережью.

Он хотел ей что-то ответить, но тут откуда-то извне, из страны Зазеркалья, из темной глубины другого бытия, где нет ни моря, ни неба, а есть только стол, стулья и портреты на голых стенах, раздался сухой и резкий голос:

— Вы что же? Спать сюда пришли? Зачем же так? Давайте уж не будем.— Секретарша сидела за столом и в упор глядела на него.

В дверь входил Хрипушин.

Глава VI

С этого дня в жизнь Зыбина плотно вошел конвейер. Тот самый беспроигрышный метод, который впервые в 1550 году открыл знаменитый юрист Ипполит Марсельский, затем в шестидесятых годах прошлого века как-то раз ловко применили александровские жандармы. Указание о применении таких и подобных таким методов дал Вождь, а идейно обосновали их Верховный прокурор Союза и секретарь ЦК Ежов. Разрабатывали же их скромные практики—народные комиссары внутренних дел республики, следователи управления госбезопасности, профессора философии права, начальники отделов и врачи. Только в то время этих врачей что-то никто не называл еще «убийцами в белых халатах», но, конечно, это-то от них никуда не ушло.

Целый день с восьми часов утра (в эти часы в кабинете было уже много солнца, старые тополя под окном шумели, как морская пена, в соседнем детском парке вовсю заливались птицы и кричала иволга, легкий ветерок гулял по бумагам) с часовым перерывом на обед они—он и следователь—сидели друг против друга и молчали. Но молчать все время было тоже не положено, и вот, раза четыре в день, Хрипушина словно выбрасывали из кресла, он вскакивал, краснел, лиловел, бил кулаком по столу и громко матерился—так, чтобы рядом слышали,—подследственный отвечал ему так же, но тихо—чтобы рядом не слышали. Так они ругались минут двадцать и люто ненавидели в это время друг друга. Потом как по сигналу утомленно смолкали и дальше уже сидели спокойно. Их обоих мутило от этого, но поделать они ничего не могли—

таковы уж были жестокие правила игры, в которую они вступили. Так продолжалось до вечера, а когда окна становились перламутровыми и в парке начинали петь иные, вечерние птицы, повеселевший Хрипушин зажигал на столе лампу и вызывал будильника. «Ну на этот раз смотри, чтоб писал! А то мы иначе поговорим!» — говорил он бодро Зыбину, потом улыбался будильнику и уходил. И эти ночные бденья тоже проходили мирно (а могло быть и иначе, в соседних кабинетах с перерывами орали всю ночь), и хотя Зыбину попадались все разные парни, они, в общем-то, вели себя одинаково. Кроме нескольких вполне безобидных «сознавайтесь, сознавайтесь, когда же вы будете сознаваться?», «давайте не валять дурака, вот бумага — пишите!»,— кроме этих совершенно мирных и обязательных рефренов, в никакие иные следственные разговоры эти парни не вступали (зато другие, не следственные вопросы их интересовали очень — правда ли, что наши ученые поймали в тайге дикую бабу? правда ли, что в долине реки Сырдарья зарыта гробница Македонского, а в ней сорок грузовиков золота? как казнят на электрическом стуле? существует ли на самом деле гипноз или это только выдумка? кто такая Мата Хари? что такое Железная Маска? кто такой Азеф?). Правда, некоторые поначалу пытались втолковывать политически неграмотному обывателю Зыбину, почему такие вот, как он, абсолютно нетерпимы в развитом социалистическом обществе, отчего это называется социалистической законностью и что будет лет через пять, когда капитализм останется, может быть, только за океаном (вот тогда и его, Зыбина, выпустят), но уже через пять минут разговор заходил в такой безнадежный тупик, что будильник либо быстро срывался на самую оголтелую газетную демагогию и сердито смолкал, либо признавался, что этот материал они еще не проходили. Правда, один неприятный эпизод все-таки был.

В тот вечер, когда Хрипушин вызвал будильника, пришел худощавый мужчина средних лет, с острым желтым лицом и быстрыми рыскучими глазами. На нем был черный глухой френч и краги. Он вошел без книг, с большим печатным листом телефонов в руках, и, глядя на него, Зыбин подумал, что нет, на будильника этот не похож — вероятно, он следователь, а может быть, даже ночной дежурный по следственной части. Когда Хрипушин вышел (он как-то очень быстро вышел, не произнеся даже свое обычное напутствие), будильник прошел за стол, положил перед собой лист с

номерами телефонов, позвонил куда-то и сообщил, что он там-то, потом взглянул на Зыбина и спросил просто:

— Ну, не надоело это вам?

Зыбин сказал, что очень надоело.

— Ну и надо кончать! — ворчливо прикрикнул будильник или следователь.— Вот бумага, вот ручка, садитесь к столу и пишите.

Зыбин сказал, что и рад бы писать, да нечего.

— То есть как это нечего? За что же вы здесь сидите? За подлую антисоветскую деятельность вы здесь сидите! Вот о ней и пишите! Вот перечислите мне, в каких организациях вы состояли! Ну?

Зыбин пожал плечами и перечислил — он состоял в пионерской организации, потом в профсоюзе работников просвещения, в Осоавиахиме.

— Ишь ты, умник! — засмеялся будильник. Он встал, заложил руки в карманы и подошел к Зыбину.— Нет, это все наши организации, а вы про свои расскажите, контрреволюционные. (Зыбин молча пожал плечами.) Ну что вы жметесь? Тут жаться нечего, тут надо говорить! — Он пододвинулся вплотную и навис над ним лицом к лицу.— Ну? Ну, долго, я вас спрашиваю, мы с вами в молчанку будем играть? Да ты не отворачивайся, не отворачивайся! — зарычал он вдруг.— Ты в лицо гляди, когда с тобой говорят, контра проклятая! Что глаза-то прячешь? Когда родную советскую власть японцам продавал, тогда небось не прятал? Тогда прямо смотрел! — Он уперся коленом в колено Зыбина и ощерился, как разозлившийся пес.— А что ты растопырился, как старая блядь? А ну встать! Встать, вам говорят!

— Слушайте,— мирно, терпеливым штатским голосом начал Зыбин, подбирая ноги.— Я вас прошу все-таки...

— Вста-а-ать! Я попрошу! Я тебе так попрошу, гад! — И вдруг, закусив губу, он размахнулся и прямо-таки всадил сапог ему в колено.

Жгучая, огненная боль сразу же сожгла Зыбина всего. Он даже на секунду, вероятно, потерял сознание. Удар пришелся на старый рубец, костную мозоль, такую болезненную, что Зыбин с детства не мог даже опуститься на это колено. С минуту он сидел неподвижно, весь заполненный этой болью, потом собрал дыхание, снял пальцем слезы, наклонился и засучил брюки. Сапог сбил кожу. Рубец налился и стал похож на черную гусеницу. Зыбин давнул ее, и потекла кровь. Он вздохнул и покачал головой.

— Да ты мне еще будешь! — заорал будильник, совсем теряя голову, и снова занес ногу. — Вста-ать!

Зыбин послушно поднялся, посмотрел на будильника и вдруг молниеносно схватил его за горло, «за яблочко, за яблочко, за самое яблочко», как кричали в одном историко-революционном фильме. Продержал так секунду, ударил коленом в живот, мотнул, как дохлую соломенную куклу, туда и сюда и, заламывая подбородок, швырнул к двери. Все это в пяток секунд — точно и четко, как на учении ближнего боя. Будильник отлетел к двери, стукнулся о косяк, крякнул и сел на пол.

А Зыбин тоже сел и ладонью обтер кровь. Некоторое время оба они молчали.

— Ах ты, — изумился с пола будильник, хотел что-то крикнуть, но вдруг зашелся и затрясся в мучительном кашле.

— Вы воды выпейте, — посоветовал Зыбин и привстал было за графином.

— Сядь! — рявкнул будильник и, шатаясь, встал с пола.

Зыбин обтер ладонь о брюки и снова наклонился над коленом.

— Вот если вы мне повредили коленную чашечку, — сказал он и вдруг закричал: — Кровь! Кровь течет! Видишь, дегенерат, что ты наделал! Кровь течет! Ах ты поносник несчастный!

Будильник испуганно шикнул, вскочил и уперся в дверь спиной, но ее уже толкали.

Он отступил.

— Что там у тебя такое, капитан? — спросил чей-то густой и спокойный голос, и показался седой красивый старик с белым коком, в военной форме. Он был осанист, представителен и походил на екатерининского вельможу — начальник отдела майор Пуйкан. Зыбин вытянулся в струнку, коленка у него была голая, в крови.

— Да вот, в дурачка задумал играть, — в сердцах ответил следователь, сразу приходя в себя, — припадок его забил! Вызову врача, сразу выздоровеет! Я его в рубаху затяну! Колено у него, видишь ли!..

— Это все тот? — спросил старик, рассматривая Зыбина.

— Да, тот самый! Ученый! Ничего! У меня не попартизанишь! У меня все подсохнет, как на собаке! Ничего! Коленка! Ничего!

— Да, слышали, слышали про его подвиги, — многозначительно сказал старик и вышел.

Капитан подождал, пока закрылась дверь, возвратился к столу, сел и спросил:

— А вы знаете, что вам за это будет? (Зыбин молчал.) Опустите штаны. Вот сейчас отсюда в карцер пойдете. («Боже мой,— подумал Зыбин.— Неужели отправят? Вот бы выспался!») Опустите штаны, вам говорят!

— Одним словом, так: если вы меня еще ударите...— сказал Зыбин ласково.

— Ну и ударю,— азартно подхватил следователь,— и сто раз ударю. И морду разобью, ну что ты мне сделаешь? Что? Что? Что?— Однако с места не сдвинулся.

— Плохо будет,— пообещал тихо и серьезно Зыбин.— Очень плохо, я вам устрою репутацию битого! Вас завтра же отсюда палкой погонят! Битого-то!

— Ты, вражья морда, говори, да не заговаривайся!— крикнул следователь.

— Не ори, козел, не глухой!— крикнул Зыбин, и следователь сразу же сник.

— Ну ладно,— пообещал он зловеще.— Завтра я тебе покажу что-то. Да опусти же, опусти брючину,— сказал вдруг он совсем уже другим тоном,— ведь тут женщины ходят, неудобно! Задрался!.. Ученый! Опусти!

И правда, женщина за время этих ночных бдений появлялась в этом кабинете уже несколько раз. Это была все та же секретарша. И каждый раз, когда она заходила, красивая, стройная, подтянутая, сдержанно улыбающаяся, и спрашивала что-нибудь у будильника, Зыбин всегда ловил ее взгляд. Она глядела на него теперь прямо, пристально, не скрываясь. И он смущался, ерзал, уж слишком он сейчас был неказист — грязен, небрит, растерзан — и никак не мог понять, что же такое в этом взгляде: сочувствие? невысказанный вопрос? или просто бабье любопытство — что же ты за зверь такой?

И потом в бессонные ночи, сидя на этом стуле, он думал: «А не встречался ли я с ней где-нибудь в городе?» Но, кажется, нет, не встречался.

Глава VII

Но ни карцера, ни рубашки не последовало. Да и вообще ничего больше не последовало. Утром, как обычно, пришел Хрипушин — свежий, принявший душ, отмякший за ночь,— и капитан ушел, а Хрипушин

что-то приговаривал, над чем-то мелко посмеиваясь, снял и повесил на металлический стояк коверкотовый плащ — кто-то недавно верно написал, что коверкот был тогда у органов почти формой,— прошел на свое место, отодвинул кресло, сел, водрузился и быстро спросил:

— Ну, герой, надумал что-нибудь за ночь? Нет, умная у тебя голова, а дураку досталась — так, что ли?

И снова потянулся длинный, мучительный, жаркий, бессмысленный день. Они сидели друг против друга, вяло переругиваясь, мельком переговариваясь, и иногда на пятнадцать — двадцать минут теряли друг друга из виду — один засыпал, а другой делал вид, что пишет или читает.

А вечером появился новый будильник, и на следующую ночь другой, и еще на следующую еще другой — и были они не капитаны, не дежурные по следственной части, а просто парни лет двадцати, двадцати трех — злые и добродушные, молчаливые и разговорчивые, тупые и вострые.

И так продолжалось еще три ночи.

Бессонница мягко и гибко обволакивала мозг зека. Все становилось недействительным, дурманным — все мягко распадалось, расслаивалось, как колода карт, бесшумно рассыпавшаяся по стеклу. Он жил и двигался в каком-то странном пространстве — слегка сдвинутом и скошенном, как в кристалле. Воздух казался густым и синеватым, словно в угарной избе. Все носило привкус сна и доходило через вату. Это и помогало — ничто не поднимало на дыбы, на все было, в общем-то, наплевать. Просто когда Хрипушин с руганью бросался на него, как бы сами собой включались ответные силы: верно, это вставал на дыбы и рычал древний пещерный медведь — инстинкт. Этот зверь понимал, что нельзя, чтоб его тут били. Раз ударят, и еще ударят, и тысячу раз ударят, и совсем забьют. Потому что сейчас это и не удар даже, а вопрос: «А скажи, нельзя ли с тобой вот так?» — и ревел в ответ: «Попробуй!»

А колено болело все больше и больше. Сидеть было трудно, но на вопрос Хрипушина, что у него с ногой, Зыбин просто ответил: зашибся.

— И что это вы все зашибаетесь? — покачал головой Хрипушин и отослал Зыбина с конвойным в санчасть.

В санчасти — белой прохладной камере — горели синие спиртовки, пахло валерьянкой и было тихо и спокойно. Бинтовала Зыбина фельдшерица, еще моло-

дая, но уже безнадежно засохшая маленькая женщина, вся засаженная золотыми мухами. А потом из-за ширмы вышел молодой красавец с длинными волосами на обе стороны. Пальцы у красавца были твердые, холодные, методичные, и вообще он так походил на Станкевича или юного Хомякова, что на вопрос, как же он так зашибся, Зыбин чуть ему не ляпнул правду. Красавец пощупал у него пах, спросил, не больно ли, и сказал:

— Больше сидите или лежите. Я освобожу вас от прогулки.

— Я и так сижу сутками,— ответил Зыбин, но молодой Хомяков ничего, кажется, не понял, а отошел к умывальнику.

Затем Зыбина снова отвели в кабинет Хрипушина, и опять началась та же детская игра.

А игралась она так. (Оба сидят усталые, распаренные, обоим все это до чертиков надоело.)

— Ну когда же мы будем рассказывать?— спрашивал следователь зека.

Зек отвечал:

— О чем же?

— О подлой антисоветской деятельности,— говорит следователь.

— Подлостями не занимаюсь,— отвечает зек.

— Так что ж вы думаете,— скучно и привычно тянет следователь,— мы так ни с того ни с сего забираем советских граждан! Так, что ли? Так у нас не бывает!— Зевает.

— Может быть,— отвечает зек, зевая,— может, так у вас и не бывает, но со мной вышло именно так.

— Так что же вы думаете...— снова привычно и скучно заводит следователь.

Так продолжается еще с час. А потом оба окончательно устают и умолкают. Потом Хрипушин звонит разводящему. Но бывали, впрочем, и неожиданности. Иногда следователь не остережется и пустит в ход любимый аргумент этих мест:

— У нас отсюда не выходят.

Но тут зек быстро спрашивает:

— Так что ж, по-вашему, советский суд уж никого и не оправдывает?

Сразу же создается острейшая тактическая ситуация: ведь не скажешь ни «да», ни «нет». И следователь начинает орать.

— Не смей оскорблять пролетарский суд!— захлебывается он.— Как это никого не выпускают! Кого надо, того выпускают!

А однажды следователь упомянул об огненном мече: «Вас поразил огненный меч!» — и проклятый зек тут же его осек: «Э, вы поосторожнее про этот огненный меч! Вы знаете, у кого он был? Этот огненный-то? У Михаила Архангела! Слышали про союз Михаила Архангела? Ну, союз жандармов с подонками. «Бей жидов, спасай Россию!» Так что вы не больно с мечом-то».

Но было и еще неприятнее.

— Слушайте, перестаньте же наконец орать,— просит зек.

— Это на порядочных не орут,— упоенно гремит следователь.

— И говорите, пожалуйста, вежливо.

— Это с порядочными говорят вежливо,— восторженно закатывается следователь. (Это на него нашел особый стих — хамский и жизнерадостный.)

— И предъявите же мне наконец что-то конкретное или дайте очную ставку.

— Это порядочным дают очную ставку,— грохочет следователь, но тут зек начинает хохотать, а следователь спохватывается и замолкает.

Почему допрос идет такими кругами и так нелепо, Зыбин долго не понимал, объяснил ему все тот же Буддо. Это случилось часа через два после санчасти. Позвонил телефон, Хрипушин послушал, опустил трубку и сказал:

— Ну ладно, иди отдыхай! А потом обязательно будешь рассказывать, тут тебе не милиция!

Нога после санчасти разболелась по-настоящему, и в камеру Зыбин шел хромая. Пришел, сел на кровать, заголил ногу и стал осматривать колено. И даже через повязку чувствовал его сухой жар. «Ну гад,— подумал он,— ну шантрапа несчастная, не дай мне бог тебя еще встретить. Я тебе при всех пущу кровь, паразит! А может, правда заявить: вот, мол, избил следователь». Но тут же отбросил и эту мысль. Если уж начинать, то по-настоящему закатить — голодовку, добиться прокурора, если надо — принять драку (теперь он уже понимал, что во время допросов не убивают, ведь убить — это значит дать скрыться). Так вот, если начинать, то уж идти до самого конца. Очевидно, так и придется. Но стоит ли упреждать события?

Через час вернулся Буддо, увидел его и страшно обрадовался. Они не виделись почти неделю.

— О, да вы совсем молодец! — крикнул он, тиская Зыбина в объятиях.— После стольких-то суток... Ну так что все-таки, подмахнули им, что надо? (Зыбин

покачал головой.) Как? Неужели так-таки ничего? А как же они вас тогда отпустили? А за колено что держитесь?

— Да вот...— ответил Зыбин и заголил колено.

— Здорово!— покачал головой Буддо.— Ну, с боевым крещением! Вот это уж точно законный синяк — носите его смело, никто не придерется! Чем это он вас? Сапогом, наверно! Это они любят! Вы что же, сказали ему что-нибудь, или это он так, в порядке активности?

— В порядке активности,— буркнул Зыбин и больше ничего объяснять не стал.

Буддо посмотрел на него и тяжело вздохнул.

— Эх, Георгий Николаевич, Георгий Николаевич!— сказал он.— Ведь это же значит, что они за вас как следует принялись! И на конвейер поставили, и вот чем награждают. Плохо ведь дело, батенька, а? Совсем плохо! И чего вы их доводите? Что толку?

— Здравствуйте пожалуйста! Так это я их, оказывается, довожу?— усмехнулся Зыбин.

Буддо неприятно сморщился.

— Эх, оставили бы вы свой глупый гонор, батюшка, и поглядели бы в глаза, так сказать, простой сермяжной правде! Ей-богу, это не повредило бы! Гонор, норов, «не тронь меня» — это все хорошо, когда имеет хождение. А здесь не тот банк! Тут допрос! И не просто допрос, а *активный!* А это значит, что когда вас спрашивают — надо отвечать, и отвечать не как-нибудь, а как следует.

— Да что им отвечать? Что?— вскочил Зыбин.— Ну пусть они спрашивают, я отвечу. Так ведь не спрашивают, а душу мотают: «сознавайтесь, сознавайтесь, сознавайтесь». В чем? В чем, мать вашу так?! Вы скажите, я, может, и сознаюсь! Так не говорят же, сволочи, а душу по капле выдавливают!

— Хм,— усмехнулся Буддо,— а что же, по-вашему, эти сволочи должны вам говорить? Это ваша обязанность им говорить, потому что вы зек. Вот вы, я вижу, батенька, и до сих пор не поняли, что же с вами случилось. А пора бы! Ох, пора бы! Вот вы послушайте меня, я вам расскажу. Наши органы отличаются тремя главными особенностями... Угодно вам не перебивая выслушать — какими?

— Ну, ну,— сказал Зыбин и лег.

— Только тогда действительно не перебивайте. Итак, первая: никаких колебаний у них в отношении арестованного нет. Сомнения, брать вас или нет, у них были, но кончились на день раньше вашего ареста.

Теперь все. Теперь вы не только арестованы, но и осуждены — не будьте же ишаком, поймите, что происходит, и тогда все обернется легко и для вас и для следователя! И не фырчите на него, что там фырчать? Не он вас сюда затащил и не он вас отпустит. Его дело собачье — оформил и сдал. Но ведь и оформить-то тоже нелегко. Форм много, и у каждой свой оттеночек. Положим, что все, кто тут сидит, контрреволюционеры — это так! Но ведь у агитатора одни родовые признаки, у шпиона другие, у вредителя третьи. Тут все должно сходиться по инструкции — знакомства, высказывания, национальность, с кем пьет, с кем живет, *все, все!*

— Одним словом,— усмехнулся Зыбин,— я не личность, а преступник, определенный заранее, вот как жучок в определителе — такие-то усики, такие-то крылышки, надкрылышки, жевальца. Определили на булавку, так?

— Может, по-вашему, по-ученому, и так, не знаю. Ну а вот насчет преступника вы опять ошибаетесь. Не преступник вы, а человек, и-зо-ли-ру-емый от общества! Ибо — вот это и есть второй принцип — вы, голубчик, человек вредный, сомнительный, не советский.

— А чей же?

— А батюшка вас знает, чей вы, ну, наверно, вот тех господ, что сидят за рубежом да на нас с вами зубы скалят,— Чемберлена, лорда Керзона, господина Форда — акул капитализма.

— А откуда же вы взяли, что я такой?

— Я-то ниоткуда не взял, а они — из всего вашего облика. Из ваших манер: ходите боком, подсмеиваетесь, шуточки-прибауточки какие-то отпускаете. А над чем смеяться-то? Смеяться сейчас не над чем! Время серьезное! Смеются вон в парках на гулянье, а вы небось у себя дома норовите смеяться, за закрытыми дверями! С компанией! Это не полагается — подозрительно! Да и вообще... Вот скажите прямо: вы признаете, что наши вожди — это и есть самая доподлинная народная власть? И что никакой иной не только не было, но и не должно быть? Признаете или нет? Но прямо, прямо...

— Давайте устроим голосованье, спросим народ, я-то что?

— Вот демагог! Народ спросим! А он, значит, не народ! Да, да, верно, вы не народ, народ верит своей власти, а вы маловер, брюзга, ходите, подмигиваете и посмеиваетесь. А раз не верите, то и других — не дай бог еще война — можете совратить. А ведь еще когда-

когда было сказано: «Горе тому, кто соблазнит малых сих». Вот! И Вождь эти слова еще с тех самых пор запомнил. Значит, вы человек опасный. В обществе вас оставлять рискованно — надо изолировать. Ну и изолируют. Через военную прокуратуру в Особое совещание. Справедливо ли это? По классической юриспруденции — нет, а по революционному правосознанию — безусловно. Гуманно ли это? В высшей степени! Ведь цель-то, легко сказать, какая! Счастье будущих поколений!! За нее ничего не жалко!

— Это кому же не жалко? Вам, что ли?

— Не мне! Не мне! Я такой же враг, как и вы! Лучшим умам, совести человечества не жалко! Роллану, Фейхтвангеру, Максиму Горькому, Шоу, Арагону не жалко! Они люди мужественные, их кровью не запугаешь. Что вы усмехнулись?

— Ничего! Оригинально вы говорите!

— Да нет, дорогой, для нас, для старой интеллигенции, это совсем не оригинально. Нам это было обещано давно, только не больно мы в это верили. «Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть». Эту песенку нам еще в девятьсот пятом году пропели! Да и кто пропел-то? Друг Надсона! Поэт-символист Минский! А гениальный писатель пролетариата Горький уже в наши дни добавил: «Если враг не сдается — его уничтожают». Ну а вы не сдаетесь! Скандалите, синяки вон зарабатываете! Так может себя вести только нераскаянный враг — и, значит...

— Да нет, я согласен,— засмеялся и махнул рукой Зыбин,— если действительно все может быть сведено к этому, то я согласен.

— А вы сомневаетесь, что все уже давно сведено именно к этому? Зря! Хотя нет, конечно, не зря! В этом и есть ваше вражеское нутро, значит, вы должны быть уничтожены, или, скажем мягче — мы ведь гуманисты, единственные подлинные гуманисты! — изолированы! Хорошо, если вам это понятно, то идем дальше. Какая же тогда, спрашиваете вы, цель допросов? Ну об одной я уже все сказал — канцелярия, делопроизводство. Дело должно иметь абсолютно законченный вид — так, чтобы его можно было показать любой, самой высокой инстанции. Вы видели, что на обложке-то наших дел написано? «Хранить вечно!» О! Вечно! Слово-то какое! Вечно! Это значит — Пушкина забудут, Шекспира, Байрона забудут, всяких там Шелли-мелли забудут, а нас — нет. В нас, врагов, вечно будут тыкать пальцем! Смотрите, дети, вот какие были враги!..

— Да ведь и те сволочи, что нас делали врагами, тоже сдохнут,— взревел наконец Зыбин,— пожалуй, даже и пораньше нас! Гады ползучие!

— Ах, враг, враг — вот о чем он думает,— засмеялся Буддо.— Потомство! Потомство, батенька,— вот кто будет тыкать в нас пальчиком! А «потомство — строгий судья!». Как вы однажды написали о Державине. То есть написал-то это Державин, но вы его сочувственно процитировали. И дельно, дельно процитировали. Да, строгий, строгий судья — потомство! И праведный! Так вот этот строгий праведный судья через эн веков должен взять ваше дело в руки и сказать: «Правильно моего предка закатали! Разве с такими обломками можно было коммунизм построить? Мало им еще давали! Хотели наше счастье украсть, подлецы, мистики, идеалисты!» Ну и мировая буржуазия тоже должна умыться, если им ваша папочка ненароком в руки попадет. Все в ней доказано, подписано — все законные гарантии соблюдены, презумпция невиновности — вот она, с самого начала. Преступник признался под гнетом подавляющих улик! На каждой странице видно высокое следственное и оперативное мастерство. Мы истинные гуманисты, господа хорошие. Самое ценное для нас на земле — человек. Мы так просто не хватаем! Мы людоведы, как выражается великий Горький. Ни одного процента брака! А вот вы можете себе представить,— он оглянулся и понизил голос до суеверного шепота,— вдруг сам товарищ Сталин! захотел просмотреть ваше дело, так сказать, проверить его лично — так как же оно должно выглядеть, а? Вот ведь в чем дело! — Он вздохнул, помолчал немного и сухо сказал: — Это одна сторона вопроса, но есть и другая.

Буддо встал и прошелся по камере, дверь все время моргала очком, но Буддо на это внимания не обращал. Было видно, что он любит говорить. В своем кругу на профсоюзном собрании он, наверно, был заводилой. Сейчас он заливался, как скрипка.

— А вторая сторона вопроса, мой дражайший, милейший и умнейший Георгий Николаевич, такая: ведь никто лучше вас ваших дел не знает. Вот и открывайте их все до единого. Зачем вашему Хрипушину сужать следствие? Он просто должен вынуть из вас все что есть. Вот он и вынимает. Кто вас поддерживал? Кто вам поддакивал? Кто сам что-то говорил? Давайте, давайте их сюда!

— И дают? — спросил Зыбин. Он сидел на кровати четкий и внимательный. Вся вата ушла, появилась резкая достоверность. И нащупывалось что-то еще,

склизкое, хитрое, уходящее из пальцев, но что это — он уловить пока не мог, только чувствовал.

— А вы думаете, нет? Снявши голову, по волосам ведь не плачут? Кто себя закатил на десятку, тот и другого не пожалеет, вот и сдают — причем сразу же, с пылу с жару. Муж жену сдает, сын — мать (обратно бывает реже), а брат брата, друг друга — это уж как общее правило. Вот они и топят на очных ставках друг друга. А когда после им в присутствии следователя дают свидания, так знаете, как они тогда обнимаются, как плачут?! Ой боже мой! Ведь оба погибли, только что вот погибли! Ведь и тот уже воли не увидит! Все! Иногда вся семья сидит в одном коридоре — что ж? Статья пятьдесят восемь, пункт одиннадцать — антисоветская организация. Двое говорили, один слушал и молчал — двое в лагерь, один к Нейману наверх. И вот именно отсюда-то исходит третье. Вот вы спрашиваете, почему следователь вам не предъявляет ничего конкретного, а только долдонит: «Говори, говори, рассказывай!» Да потому, дорогой, что вас сюда привел не свят дух, а человек! И человек, вам известный! Больше чем известный: ваш лучший друг и брат,— так как же его ставить под удар? Он как воздух нужен стране — он благороден, надежен, проверен и перепроверен, оперативен и вхож, вхож! Ему бы еще служить и служить — чистить и чистить страну от гадов и предателей, а вы его — раз, и погубили! Шепнули, на свидании скажем, «особый привет такому-то» и поглядели соответственно — ну и все! Люди сейчас на эти штуки оч-чень догадливые! Или из лагеря передали с освобожденным цидулю — и опять все!

— Да-а, да-да! — Зыбин встал и прошелся по камере (зрачок в двери сейчас был телесно-розовый, за ним кто-то стоял).— Да, да, Александр Иванович! Очень вы мне хорошо объяснили! Очень, очень!.. Ну а теперь я прилягу. Голова что-то не того... Мой друг и брат! А брат-то мой — Каин: «Каин, Каин, где брат твой Авель?» И отвечает тогда Каин Господу: «Я разве сторож брату моему?..»

Проснулся он от резкого металлического стука. Стучали ключом об лист железа металлической обшивки двери. Он вскочил. Над ним стоял Буддо и тряс его. Оконце было откинуто. За ним стояло лицо коридорного.

— Вот еще раз ляжете,— сказал он,— и пойдете в карцер.

— За что? — спросил Зыбин.

— За нарушение правил распорядка. Вон инструкция на стене — читайте! — И солдат захлопнул оконце.

После этого они оба с минуту молчали.

— Да, — покачал головой Буддо, — доводят до конца! Эх, Георгий Николаевич! И что вы партизаните, что рыпаетесь по-пустому? Для чего — не понимаю!

Зыбин сел на койку и погладил колено.

— Что я рыпаюсь? Ну что ж, пожалуй, я вам объясню, — сказал он задумчиво. — Вот, понимаете, один историк рассказал мне вот какой курьез. После февральской революции он работал в комиссии по разбору дел охранки. Больше всего их, конечно, интересовала агентура. На каждого агента было заведено личное дело. Так вот все папки были набиты чуть не доверху, а в одной ничего не было — так, пустячный листочек, письмо! Некий молодой человек предлагает себя в агенты, плата по усмотрению. И пришло это письмо за день до переворота. Ну что ж? Прочитали члены комиссии, посмеялись, арестовывать не стали — не за что было, одно намеренье, — но пропечатали! И вот потом года два — пока историк не потерял его из виду — ходил этот несчастный студентик с газетой и оправдывался: «Я ведь не провокатор, я ничего не успел, я думал только...» И все смеялись. Тьфу! Лучше бы уж верно посадили! Понимаете?

— Нет, не вполне, — покачал головой Буддо. — Поясните, пожалуйста: вы говорите, письмо было послано за день до... Значит, вы думаете...

— Вот вы уже и сопоставили! Да нет, ровно ничего я не думаю. Не сопоставляйте, пожалуйста! Тут совсем другое. Этот молодой человек дал на себя грязную бумажонку и навек потерял покой. Вот и я — боюсь больше всего потерять покой. Все остальное я так или этак переживу, а тут уже мне верно каюк, карачун! Я совершенно не уверен, выйду ли я отсюда, но если уж выйду, то плюну на все, что я здесь пережил и видел, и забуду их, чертей, на веки вечные, потому что буду жить спокойно, сам по себе, не боясь, что у них в руках осталось что-то такое, что каждую минуту может меня прихлопнуть железкой, как крысу. Ну а если я не выйду... Что ж? «Потомство — строгий судья!» И вот этого-то судью я боюсь по-настоящему! Понимаете?

Буддо ничего не ответил. Он пошел и сел на койку. И Зыбин тоже сел на койку, задумался и задремал. И только он закрыл глаза, как раздался стук.

Он поднял голову. Окошечко было откинуто, в нем маячило чье-то лицо. Потом дверь отворилась, и в камеру вошли двое — дежурный и начальник. Зыбин вскочил.

— Предупреждаю: при следующем замечании сразу пойдете в карцер,— не сердясь, ровно сказал начальник.— На пять суток! Второе нарушение за день!

— Но я не спал неделю!

— Этого я не знаю! — строго произнес начальник.— Но здесь днем спать нельзя! Говорите со следователем.

— Вы же знаете: они нас не слушают.

— Ничего я не знаю. Мое дело — инструкция. Вот она. Днем спать нельзя. Пишите прокурору.— И он повернулся к двери.

— Стойте! — подлетел к нему Зыбин.— Я буду писать прокурору, дайте мне бумагу.

— В следующий вторник получите,— сказал ровно начальник.

— Нет сейчас! Сию минуту! — закричал Зыбин.— Я напишу прокурору. Я объявлю голодовку! Я смертельную, безводную объявляю! Слышите?

— Слышу,— с легкой досадой поморщился начальник и повернулся к дежурному.— На пять суток его в карцер, а потом дадите бумагу и карандаш.

Так Зыбин попал в карцер. И так он в первый раз за семь суток заснул на цементном полу.

И море снова пришло к нему.

...Я ведь страшно мудрый тогда был. Я тогда вот какой мудрый был — я думал, посидит он у меня под кроватью, сдохнет, и все. Сейчас мне самому непонятно, как я мог пойти на такое. Боль и страданье я понимал хорошо. Меня в детстве много лупили. Бельевой веревкой до синяков, пока не закапает кровь. Мать у меня была культурнейшая женщина-бестужевка, преподавательница гимназии. Она ходила на всякие там поэз-концерты, зачитывалась Северяниным, Бальмонтом. У нас в гостиной висело «Поле блаженных» Беклина, мне дарили зоологические атласы и Брема («Он обязательно будет зоологом»). И била меня по-страшному. Отец не вмешивался и делал вид, что не замечал. А потом он умер, появился отчим, так тот вообще не велел меня кормить — ведь он был еще культурнее!

— Как же ты жил? — спросила она тихо. И они оба вздрогнули от этого неожиданного «ты».

— Да вот так и жил, представь себе, не так уж плохо. Имел товарищей, писал стихи, конечно, очень плохие стихи, сначала под Есенина, потом под Антокольского, я любил все гремучее, высокое, постоянно сгорал от любви к какой-нибудь однокурснице. Тогда я поступил на литфак, как-то очень легко сдал все экзамены и поступил. Надеялся, что буду стипендию получать. Нет, не дали. Я ж из состоятельной семьи: отчим — профессор, мать — доцент.

— Пил?

— Нет, тогда совсем не пил. Тогда я капли в рот не брал. Пить начал много позже. Уже когда кончал. Ведь тогда время очень смутное, страшное было. Есенинщина, богема, лига самоубийц — да-да, и такая была! Трое парней с нашего фака составили такую лигу. Вешались по жребию — двое успели, третий нет. И знаешь, как вешались? Не вешались, а давились петлей, лежа на койке. А-а! — вдруг удивленно закричал он и остановился. — Вот оно что! Теперь я понял, откуда мне знакомо его лицо. Он же меня допрашивал по делу этих самоубийц. Но это еще до Кравцовой было! Да, да! Да как же он-то меня забыл? Или...

— Это ты про...?

— Ну про него, про него! Он же следователь, только почему же он не сказал мне сразу?

— Ты знаешь, — она взяла его за плечо, — он вчера мне сделал предложение.

— Что?! — воскликнул он и тоже вцепился ей в плечо. — Он вам?.. Он тебе... Ух, черт!

— Да, вчера, после того как тебя увели отсюда твои соседи.

— Здорово! И что же ты ответила?

— Просила подождать. Сказала, что должна подумать. Подумаю и отвечу. Вот подумала.

— И что же?

— Поблагодарю и извинюсь, скажу, что не смогу.

— Не сможете?

— Нет, не смогу. Я же тебя полюбила! Вот только сейчас поняла, что я тебя люблю! Но только, пожалуйста, не думай, что ты меня разжалобил! Нет, нет! И пожалуй, ты зря мне всю эту пакость начал. Теперь же я все время буду думать об этом! Но есть в тебе что-то такое... Яд какой-то, что ли? Ведь я не из влюбчивых — нет, нет, совсем не так! И на всякую лирику и исповеди не податливая. А вот ты меня влюбил с такой великолепной легкостью, что и сам не

заметил. А вот сейчас не знаешь, что же делать со мной.

— Нет, не знаю,— засмеялся он.

— Да ты еще вдобавок и невозможно искренен! Это в тебе особенно ужасно. Хорошо. Завтра придумаем вместе что-нибудь. Пока не думай.

Несколько шагов они прошли молча.

— Слушай,— сказал он вдруг, останавливаясь.— Вот ты сказала, что любишь меня. Я тебя — тоже. Так что ж? Целоваться, обниматься? А мне совершенно не хочется. Не в том я совсем настроении!

Она засмеялась тихонько, обняла его, чмокнула в щеку и сказала:

— Да нет, все в порядке. Вот и море. Давай краба!

Краб неделю просидел под кроватью — он сидел все в одном и том же месте, около ножки кровати, и когда кто-нибудь наклонялся над ним, с грозным бессилием выставлял вперед зазубренную клешню. На третий день около усов показалась пена, но когда Зыбин к нему притронулся, он пребольно, до крови заклешнил ему палец. Тогда Зыбин ногой задвинул краба к самой стене — вот он там сначала и сидел, а потом лежал. На пятый день его глаза проросли белыми пятнами, но только Зыбин притронулся к нему, как он выбросил вперед все ту же страшную и беспомощную клешню (ох, если бы он умел шипеть!). На панцире тоже появилось что-то вроде плесени. На седьмой день Зыбин утром сказал Лине: «Больше я не могу — вечером я его выпущу». Она ответила: «И я с вами». Они договорились встретиться на набережной около маленькой забегаловки, где вчера они сидели втроем, оттуда его увели соседи, чтоб разрешить какой-то спор в корпусе. Когда она пришла вечером, он уже сидел и ждал ее. Краб был в его шляпе. Уже смеркалось — зажегся маяк, на судах горели зеленые и белые огни. Они пошли. Он сказал:

— Вот уж не думал никогда, что во мне сидит такой скот! Обречь кого-то на медленное и мучительное умирание. Никогда бы не поверил, что способен на такое! Но вот рыб же вынимают из воды, и они засыпают. Тоже задыхаются, конечно, я и подумал, что и краб заснет. Вот скот! И из-за чего? Из-за глупой бабьей прихоти!

— А она очень красивая, эта прихоть? — спросила Лина, подхватывая его под руку.

— Ничего, красивая. Но ты много лучше.

— Господи,— даже остановилась она,— неужели ты способен и это замечать?

— Будь спокойна! Очень способен! Но не в этом же дело! Пусть хоть раскрасавица, хоть Мэри Пикфорд, голландская королева! Что из этого? Беда, что я скот! И, наверно, права была мать, когда говорила: «Я тебя научу, садиста, гуманизму!» — и хватала веревку. Вот ведь как! — Он засмеялся и покачал головой.

— Вот уж никогда не думала, что тебя можно так назвать.

— Не думала! Нет, называли, лет десять назад только так и называли, а я все думал, что зазря. Ведь меня в зоологи готовили, а какой же зоолог не потрошит лягушек? Но это чепуха, детство, а вот сейчас... Я ведь страшно мудрый был, когда покупал краба. Я ведь вот какой мудрый был — я думал: посидит, заснет, как рыба. А боль я должен был понимать. Знаешь, что такое — веревкой по рукам и ногам?

Он закатал до колен брюки и вошел в воду. Краб лежал в шляпе. Лина светила с берега.

— А ты сойти сюда не хочешь? — спросил он.

— Хочу! Сейчас.

Она быстро скинула через голову платье и оказалась в черном трико.

— Слушай,— сказала она, наклоняясь над шляпой.— Еще бы день, и он был бы готов.

— Да,— сказал он.— Конечно! Но больше я уже не мог. У каждого скотства есть какой-то естественный предел. А я перешел и его. Стой. Опускаю!

Он наклонился и опрокинул шляпу. Волны под светом фонарика были прозрачные, тихие, почти зеленые, а по белому подводному песочку бегали их светлые извилистые тени. Краб упал на спину да так и остался.

— Мертв,— сказала Лина.

— Да,— тяжело согласился он.— Поздно. Еще вчера...

— Смотри, смотри!

Сперва заработали ноги, не все, а одна или две, потом движение вдруг охватило их все. Краб перевернулся, медленно, с трудом поднялся. Встал, отдыхая и отходя. Он стоял большой, корявый, стоял и набирался сил — вода шевелила его усики. И как-то сразу же пропали все белые пятна.

— Будет жить,— сказал Зыбин твердо.

Какая-то мелкая рыбешка приплыла, сверкнула голубой искрой и сгорела в луче фонаря, исчезла.

Тогда краб двинулся. Он пошел тяжело, неуклюже, кряжисто, как танк. Шел и слегка шатался. Прошел немного и остановился.

— Будет жить,— повторил Зыбин.

— Будет.

И тут краб каким-то незаметным боковым, чисто крабьим движением вильнул вбок. Там лежала большая плоская зелено-белая глыба. Он постоял около нее, шевельнул клешнями и сразу исчез. Был только волнистый песок, разноцветная галька да какая-то пустячная тонкая черно-зеленая водоросль моталась туда и сюда. Да свет фонарика над водой и светлые круги на дне, да тени от ряби на песке и скользкая, поросшая синей слизью плита, под которую ушел краб.

— Ну все,— сказал Зыбин.— Пошли!

— Пошли,— сказала она и как-то по-особому, по-женски, не то выжидающе, не то насмешливо повернулась к нему, поглядела на него. Тогда он вдруг подхватил ее и понес на берег. Вынес и осторожно поставил.— Ну так ты все-таки решил, что будешь делать со мной?— спросила Лина и засмеялась. Засмеялся и он. И вдруг схватил ее и стал целовать в запрокинутое лицо, в шею, в подбородок, в мягкую ямку около горла. Поддался какой-то тормоз, прорвалась какая-то пауза, и он опять был самим собой.

Засмеялся он и сейчас, грязный и небритый, лежа на влажном цементном полу под ослепительно белым светом лампы. Свет здесь был такой, что пробивал даже ладони. А стены, покрытые белым лаком, сверкали, как зеркала, так, что через десять минут начинали вставать матовые радуги.

Но он не смотрел на них. Он смотрел куда-то вовне себя. Он знал теперь все. И был спокоен.

— И имейте в виду, что бы там еще вы ни придумывали,— сказал он громко солдату, который заглянул в глазок,— какие бы чертовы штуки вы там еще ни напридумывали, сволочи!.. Не ты, конечно! Не ты!— поскорей успокоил он солдата.— Ты что? Ты такой же заключенный! Мы и выйдем вместе! И еще кое-что им покажем! Ты мне верь, я — везучий! Мы им с тобой обязательно покажем!

Он подмигнул солдату и засмеялся.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

Он умер и сейчас же открыл глаза. Но был он уже мертвец и глядел как мертвец.

Гоголь.

Эти дни потом Корнилов вспоминал очень часто. Все самое непоправимое, мутное, страшное, стыдное в его жизни началось именно отсюда.

Была суббота, он отпустил рабочих раньше времени, сбежал с косогора, окунулся несколько раз в ледяную воду Алмаатинки, фыркая и сопя, растерся докрасна мохнатым полотенцем, потом в одних трусах вбежал в гору и веселый, свежий залетел в палатку, оделся, поставил чайник, сел и раскрыл очередной номер «Интернациональной литературы». В повести, которую он читал, жили обыкновенные, похожие на всех и очень не похожие ни на кого люди, произносились обыкновенные слова, совершались обыденные поступки — но все это каждодневное и будничное звучало тут совершенно необычно, и Корнилов никак не мог ухватить, в чем же тут дело.

Так, сидя перед плиткой, он прочел одну страницу, другую и задумался. И вдруг его ровно что-то толкнуло. Он вскинул голову и увидел Дашу. Она стояла и глядела на него, платок у нее сбился набок.

— Вас дядя зовет,— сказала она.

— А что такое? — спросил он, вскакивая (уже много времени спустя он понял, что в те дни в нем попросту жило предчувствие беды, и, увидев Дашу, он сразу понял — вот беда и пришла).

— Не знаю, ему из города позвонили,— ответила Даша.— Он вернулся из конторы и сказал: «Беги». А вас все время не было.

Корнилов простоял еще с секунду, соображая как и что, потом осторожно положил книгу на раскладушку, выключил плитку и сказал: «Ну, пошли».

Но всю дорогу не шел, а бежал. Однако как вошел к Потапову, так сразу и успокоился. Все здесь было, как всегда. Горела лампа-«молния». На полинявшей клеенке возле орденоносного самовара стояли бутылки и стопки. Рядом с повеселевшим хозяином сидели двое — лесник с лешачьей бородой и завязанным горлом (угостили из кустов утиной дробью) и бравый, весь в кудельках усач бригадир со строительства. Все они уже выпили и глядели орлами. «Так-таки-так» —

чеканили дряхлые жестяные часики с огненным видом Бородина, «так-таки-так» — и этот стрекот успокаивал больше всего.

— А вот и наша ученая часть подошла,— сказал хозяин с таким видом, как будто только ученой части этой компании и не хватало,— садись, садись, ученый, сейчас мы тебя тоже наделим.— Он поднял бутылку, поглядел на просвет и слегка поболтал ею.— Молодая хозяйка,— крикнул он весело,— что ж ты плохо потчуешь своих любимых-то? Видишь, на донышке только и осталось! Она ведь за эти черепки душу отдает,— обернулся он к гостям,— теперь нам и театров не надо: черепки посвыше. Так, Дашутка, а?

Гости что-то весело загудели, а на столе появились графин и стопки.

— Вот это уж по-нашему,— согласился Потапов.— Видишь? Тебе в графине.— Он налил стопку всклянь и бережно, двумя бурыми, заскорузлыми пальцами поднял и поднес ее Корнилову.— Попробуй-ка, Владимир Михайлович,— сказал он почтительно,— она у меня особая, на лимонной корочке. Дух чуешь? Пей на здоровьице. Целебная!

Говорил Потапов дружески, смотрел на Корнилова с легкой доброй усмешечкой, а все-таки что-то непонятное все вздрагивало и вздрагивало в его голосе, и Корнилов сказал, что пить ему не хочется: только что поел.

— Ну как же ты отказываешься от моего доброго?— спокойно удивился хозяин.— Нет, так у нас не полагается. Пожалуйста уж, не обижай. (Корнилов посмотрел на него и выпил.) Ну вот и на здоровьице,— похвалил Потапов.— А теперь закуси. Эх и селедочка! В роте тает! С лучком! Как в «Метрополе»! Есть такой ресторан у вас в Москве? Есть, я знаю! Нас в осьмнадцатом как пригнали с фронта, в нем пшенкой и селедкой кормили. Как жрали-то! Видишь, когда еще о метро заговорили.

— Вы меня звали?— спросил Корнилов.

— Звал, звал,— добродушно ответил Потапов.— Вон Дарью спосылал. Не знаю только, где она столько пропадала. Перво дело — ну-ка выпей еще с селедочкой!.. Вот так, молодец! Перво дело — поднести хотел, а второе — требуешься ты мне, друг милый, на пару слов. Ты что? Один, без начальства? Они в Алма-Атах?

— Да, а что?

— Да вот находку без них сделали. Меч Ильи Муравца нашли. Дожж шел, размыл бугор, он и вылез из глины. Расскажи-ка,— кивнул он леснику.

Лешачья борода дотронулась до горла и просипела:

— Очень замечательный меч. Клинок погнулся маленько, а рукоятка вся цела: пальмы!

— Он при вас?— спросил Корнилов.

— Не. Объездчик увез. Завтра к обеду обещал завезти. У него сын в railinstitute на историка учится. Он вот, я вам скажу, какой!..— Он повернулся было к Корнилову, но тут Потапов махнул на него рукой.

— Ну что ты тут будешь разобъяснять,— сказал он досадливо,— вот возвратится его хозяин, тогда и будет разговор.— Он вынул из кармана старинные часы с вензелем, открыл, посмотрел и сказал: — Ну, товарищи дорогие, давайте еще по одной... и... а ты посиди-ка,— тихо приказал он Корнилову.

Все быстро выпили и вышли в сени. Там они еще поговорили о чем-то своем, закурили, крепко ругнули кого-то, и вдруг ржанула лошадь, хлопнули ворота — это ускакал лесник. Потапов еще постоял немного на дворе, потом вернулся в комнату, прямо прошел к столу, сел и взглянул на Корнилова.

— Так вот,— сказал он,— арестовали Георгия Николаевича.

— Что-о?— вскочил Корнилов и вдруг понял, что вот именно этого он и ждал.

— Тише, не ори! Сядь! Да, арестовали. Зачем-то он на Или очутился, то ли бежать хотел, то ли что. Там его и забрали. Квартиру уж без него опечатывали. Целый баул бумаг увезли. Вот.— Сказал и замолк.

«Зачем он мне это говорит? Провоцирует? Угрожает? Пугает? Предупреждает?» — все это одновременно пронеслось в голове Корнилова.

— А откуда вы это...?— спросил он.

Потапов неприятно поморщился.

— Значит, знаю, раз говорю,— ответил он неохотно.— Позвонила одна. Их вместе на Или забрали. Ее-то в городе ссадили, а его в тюрьму провезли. Вот такие дела.

«Угрожает? Провоцирует?» Но, взглянув на печальное и какое-то потухшее лицо Потапова, Корнилов понял: нет, не провоцирует и не угрожает, а просто растерян, боится и не знает, что делать.

— Господи боже мой!— сказал он подавленно.— Вот еще беда.

И тут вдруг прежний злой, колючий огонек блеснул в глазах Потапова. Он даже усмехнулся.

— Вот,— сказал он с каким-то болезненным удовлетворением.— Вот ты и замолился. И все мы так начинаем молиться, когда нам узел к жопе подступит.

До этого нам, конечно, ни бог, ни царь и ни герой — никто не нужен. Все своею собственной рукой! А бог, оказывается, маленько нас поумнее. Да, побашковитее нас! К-эк саданет нам камешком по лбу, так мы и лапти кверху! — Он помолчал и вздохнул. — Так вот, загремел наш хранитель, загремел, только мы его и видели! Теперь жди, тебя скоро вызовут.

— Зачем?

— Как это зачем? — удивился Потапов. — Для допроса! Начнут спрашивать, что, как, за что агитировал. — Он посмотрел на Корнилова и вдруг подозрительно спросил: — Да ты что? Верно, ничего не знаешь? Тебя никуда не вызывали, а? Стой! Вот ты одноё в город ездил, сказал, что в музее сидел, а Зыбин приезжал и говорит: «Не знаю, чтоб он в музее сидел, наверно, по бабам, черт, блукал, не видел я его там!»

— Да неужели вы верно думаете, что я что-то знал и не рассказал бы Георгию Николаевичу, — удивился и возмутился Корнилов.

— Ну, положим, если бы ты сказал, то знаешь, где сейчас был бы? — строго оборвал его Потапов. — Как это так ты рассказал бы? По какому такому полному праву ты рассказал бы? А подписка? А храни государственную тайну? А десять лет за разглашение? Это ты брось — рассказал бы! — Он еще посидел и решил: — Ну, раз не вызывали, значит, жди, вызовут.

— Да, — невесело кивнул головой Корнилов, — теперь-то уж точно вызовут. Слушай, Иван Семенович, налей-ка мне еще.

— На! Только закусывай. Вот сало, режь. А если вызовут, не пугайся. Пугаться тут нечего. Это не какая-нибудь там фашистская гестапа, а наши, советские органы! Ленинская Чека! Говори правду, и ничего тебе не будет, понимаешь: правду! Правду, и все! — И он настойчиво и еще несколько раз повторил это слово.

— Понимаю, — вздохнул Корнилов. — Всю правду, только правду, ничего, кроме правды, не отходя ни на шаг от правды. Ничего, кроме правды, они от меня и не вышибут сейчас, Иван Семенович. Как бы они там ни орали, и ни стучали, и ни сучили кулаками.

— Ты это что? — несколько ошалел Потапов. — Ты того... Нет, ты чего не требуется, того не буровь! Как же это так орать и стучать? Никто там на тебя орать не может. Это же наши, советские органы. Ну, конечно, если скривишь что...

— Нет, кривить я больше не согласен, — усмехнулся Корнилов, — хватит! Покривил раз!

— Это когда же? — испугался Потапов.

— Не пугайся: давно. То есть не так уж давно, но до Алма-Аты еще. Теперь — все.

Он сидел перед Потаповым тихий и решительный. Он действительно не боялся. Просто нечем его уже было запугать.

— Ты знаешь, сколько я тогда наплел на себя? — усмехнулся он.— Страшно вспомнить даже! Да все, что он мне подсунул, то я и подмахнул. Говорит: «Вот что на тебя товарищи показывают: слушай, зачитаю». И зачел, прохвост! Все нераскрытые паскудства, что накопились за лето в нашем районе, он все их на меня списал. Где какой пьяный ни начудил, все это я сделал. И все не просто, а с целью агитации. И флаг я сдернул, и рога какому-то там пририсовал, и витрину ударников разбил, все я, я, я! А он сочувствует: «Ну, теперь видишь, что на тебя твои лучшие дружки показали. Ведь они с головой зарыли тебя, гады. Так слушай моего доброго совета, дурья твоя голова: разоружайся! Вставай на колени, пока не поздно, и кайся. Пиши: виноват во всем, но все осознал и клянусь, что больше этого не повторится. Тогда еще свободу увидишь. Советская власть не таких прощала. А нет — так нет, от девяти грамм свинца республика не обеднеет. Если враг не сдается — то его уничтожают. Знаешь, чьи это слова?» Вот больше от этих слов я и подписал все.

— И ты ничего этого...? — спросил недоуменно Потапов.

— Господи! Да я и близко в тех местах не был. Меня летом вообще в Москве не было.

— Но как же так ты все-таки поверил? Дружков своих ты знал...

— А как же я мог не поверить? — засмеялся Корнилов.— Никак я не мог не поверить. Ведь он же следователь, а я арестант, преступник. Так как же следователь может врать арестанту? Это арестант врет следователю, а тот его ловит, уличает, к стенке прижимает. Вот как я думал. А если все станет кверх ногами, тогда что будет? Тогда и от государства-то ничего не останется! И как следователь может так бандитствовать у всех на глазах днем, при прокуроре, при машинистках, при товарищах? Они же заходят, уходят, все видят, все слышат. Нет, нет, никак это мне в голову прийти не могло. Я так и думал: действительно, меня оклеветали и я пропал. Вот единственный добрый человек — следователь. Надо его слушать. А что он на меня кричит, это же понятно: и он мне тоже не верит, слишком уж все против меня.— Он вздохнул.— Беда моя в том, Иван Семенович, что у меня

отец был юристом и после него осталось два шкафа книг о праве, а я их, дурак, все перечитал. Но ничего! На этого прохвоста я не в обиде! Научил он меня на всю жизнь. Спасибо ему.

— Да,— сказал Потапов задумчиво.— Да! Научил! А вот: «Если враг не сдается...» — это Максим Горький сказал?

— Горький!

Потапов вздохнул.

— Острые слова! Когда Агафья, жена Петра, ходила к следователю, он их первым делом высказал. И в школе Дашутку тоже на комсомольском собрании этими словами уличали. Да, да, Горький! Ну, значит, знал, что говорит, а?

— Знал, конечно.

— Да! Да! Знал!

Потапов еще посидел, подумал и вдруг быстро встал.

— Постой, там ровно кто ходит.— И вышел на улицу.— Это ты тут? — услышал Корнилов его голос.— Ты что тут? А вот я тебе дам курятник! Я дам тебе несушек посмотрю! А ну спать!

Он еще походил, запер ворота, потоптался в сенях, вернулся и неторопливо, солидно сел к столу. Вынул трубку, выбил о ладонь, набил и закурил.

— Так выходит, что ты и сам запутался и следователя своего запутал,— сказал он строго и твердо, тоном человека, которому наконец-то открылась истина.— За это, конечно, тебя следовало наказать по всей строгости, ты свое и получил, но сейчас у нас не враг народа Ягода, а сталинский нарком Николай Иванович Ежов, он безвинного в обиду никогда не даст. Так что ты это брось!

— Да я уж бросил,— вздохнул Корнилов и встал.— Ну, я пошел, Иван Семенович. Мне завтра рано вставать. Спасибо за угощение.

Потапов неуверенно посмотрел на него.

— Постой-ка,— сказал он хмуро.— Ну-ка сядь, сядь. Вот Дашка к вам бегала, а у вас там кого-кого только не перебывало. Ты язык широко распустил, а у нее и вовсе ветер в голове. Недаром ее на комсомоле прорабатывали. Вот дядю Петю поминают, а что мы про него знали? Приехали и взяли, а за что про что — кто ж нам объяснит, правда?

— Правда, святая правда, Иван Семенович,— подтвердил Корнилов.— Нет, Даша ничего у нас никогда не говорила. Это и я скажу, и все подтвердят. Ну, пока.

И уже за воротами Потапов догнал его снова.

— Тебя директор твой будет спрашивать,— сказал он, подходя,— так ты вот что, ты до времени до поры эти наши тары-бары сегодняшние...

— Ясно,— ответил Корнилов,— понял.

— Да и вообще ты сейчас поосторожнее насчет языка...

— И это тоже понял, раз мы с тобой об этом чуть не час проговорили, то, значит, уж оба кандидаты — вон туда! Если только, конечно,— он усмехнулся,— один из нас, кто пошустрее, не догадается сбежать до шоссе и остановить попутку в город.

— Все шуткуешь? — невесело усмехнулся Потапов и вздохнул.

— Шуткую, Иван Семенович. Шуткую, дорогой. Незачем уже и бежать. Поздно!

Вернувшись, он снова попробовал читать, но только пробежал несколько строк и отбросил журнал. Повесть только раздражала, и все. Он лег на раскладушку, накинул одеяло и закрыл глаза. «Мне бы ваши заботы,— подумал он зло,— показали бы вам тут Карибское море и пиратов. Вот то, что выпить нечего, это жаль, конечно. А впрочем, почему нечего? Сколько сейчас? Двенадцать. У Волчихи самый разгар». Он прикрутил лампу и вышел. Ночь выдалась лунная и ясная. Все вокруг стрекотало и звенело. Каждая тварь в эту ночь работала на каких-то своих особых волнах. Почти около самого его лица как мягкая тряпка пронеслась летучая мышь. Он проходил мимо старого дуба, а там постоянно пищало целое гнездо этой замшевой нечисти. Большое окно под красной занавеской у Волчихи светилось. Он условно стукнул три раза и вошел. Хозяйка сидела за столом и шила. Он сказал ей «здравствуйте пожалуйста» и перекрестился на правый передний угол. В этой избе и в десятке подобных же это всегда действовало безотказно. На столе стояла бутылка, тщательно обернутая в газету.

— Это, случайно, не для меня? — спросил Корнилов.

Хозяйка подняла голову от шитья и улыбнулась. Была она в сарафане с голыми плечами и выглядела совсем-совсем молодой (ей недавно стукнуло двадцать девять). Эдакая крепкая черноволосая украинка.

— И для вас всегда найдется,— сказала она дружелюбно и звонко перекусила нитку,— а это вон для Андрея Эрнестовича.— И кивнула головой на угол.

Корнилов обернулся. У стены на лавке, там, где около ведер, прикрытых фанерками, испокон веков стояли два позеленевших самовара, сидел старик. Высокий, худощавый, жилистый, с аккуратной бородкой клинышком. На носу у него были золотые очки, а на плечах одеяло.

— Ой, извините, отец Андрей,— учтиво всполошился Корнилов.— Я вас не заметил. Здравствуйте!

— Здравствуйте,— ответил отец Андрей и поднял на Корнилова голубые с льдинкой глаза.

Отец Андрей работал в музее инвентаризатором. Но до сих пор Корнилову говорить с ним не приходилось. Месяца за два до этого директор задумал учесть музейные коллекции. Дело это было нелегким: неразбериха в музее царила страшная. Экспонаты откладывались, как осадочные породы, слоями, эдакими историческими периодами.

Первый — самый спокойный, тихий слой.

Семиреченская губернская выставка 1907 года.

Фотографии земства, старые планы города Верного, XVIII век, договоры с ордами, написанные арабской вязью, с белыми, черными и красными печатями на шнурочках, муляжи плодов и овощей.

Второй слой.

Губернский музей 1913 года.

Сапоги местного завода, открытки всемирного почтового союза «ул. Торговая в городе Верном», образцы полезных ископаемых, набор пробирок с нефтью.

Третий слой.

Музей Оренбургского края.

Вот это уже сама революция: перемешанный, разнородный, взрывчатый слой — окна РОСТА «Долой Врангеля», штыки, ярчайшие плакаты с драконами, объявления, похожие на афиши,— красная, зеленая, синяя бумага, а внизу вместо фамилии премьера игривым кудрявым шрифтом — «Расстрел». Газетные подшивки. И тут же золоченая лупящаяся мебель с лебедиными поручнями, коллекция вееров, золотой фарфор, чучело медведя с блюдом для визитных карточек в лапах.

Четвертый слой.

В нем сам черт ногу сломит: где что, что к чему, что зачем — никто не разберет. Стоит, например, на чердаке забитый досками ящик, и что в нем — одному аллаху ведомо: не то жуки, не то иконы. На хорах в одном углу окаменелости, в другом — старое железо, и опять-таки — что это за железо, что за окаменелости, откуда они, никто не знает. Но это слой мирный, относящийся к двадцатым и тридцатым годам. Он

оседал незаметно — ящиками, посылками, актами передач. Вот — четыре слоя, и поди разберись в них во всех. Тогда директор — человек решительный, острый и быстрый — задумал навести порядок по-воеиному — одним махом. Он запросил особые ассигнования, нанял десять работников-инвентаризаторов, прикрепил к ним Зыбииа для консультации и фотографа для документации и заставил их писать карточки. Так появились в соборе очеиь удивительные люди: инвентаризаторы.

В первые дни на них ходили смотреть все отделы. Самому молодому из них недавно стукиуло шестьдесят, и он неделю назад отрекся от сана через газету. К этому сословию, презираемому и осмеяиному всеми агитами и стенгазами, директор, старый профессиональный безбожник, таил какую-то особую слабость. Общался он с батюшками уважительно, кротко, с постоянной благожелательностью и из всех выделял вот этого отца Андрея, того самого, что сейчас сидел в одеяле. «Вы с ним, ребята, обязательио поближе познакомьтесь,— советовал он Корнилову и Зыбину.— Вы больше такого попа уж никогда не увидите. Академик! Умница! Таких попов наши агитбригады вам никогда ие покажут! Где им!»

— А как вас сюда, отец Андрей, занесло? — спросил Корнилов неловко и покосился иа его плечи.

— Вы про то, что я в этой хламиде-то сижу? — засмеялся отец Андрей.— Так вот видите, конфузия вышла какая. В темноте задел за сук, чуть весь рукав не сорвал. Спасибо Марье Григорьевне, добрая душа, видите, пришла на помощь.

— Я вам и все пуговицы укреплю,— сказала Волчиха,— а то оии тоже на одной живульке держатся.

— Премиого буду обязан,— слегка поклонился отец Аидрей.— Я тут, товарищ Корнилов, у дочки живу. Вроде как на дачке. Она агрономом работает. А сегодня директор послал меня с запиской к бригадиру Потапову. Акт какой-то он должен прислать, а мне надлежало помочь его составить. Да вот беда, что-то целый день хожу по колхозу и не могу поймать. Кто говорит, что здесь он, кто говорит, уехал. Вы ведь на его участке, кажется, работаете? Не видели?

— А домой к иему вы не заходили? — спросил Кориилов не отвечая.

Отец Андрей поморщился.

— Подходил я под вечер. Да, призиаться, не решился зайти.

— А что...

— Гости там были.

«Значит, мог слышать и наш разговор»,— подумал Корнилов и спросил:

— А Георгия Николаевича вы нигде не встречали?

— Нет. А что?

— Да куда он делся — не пойму... Поехал в город вчера, обещал сегодня к полудню вернуться, и нет его. Правда, приехала к нему тут одна особа...— Про особу вырвалось у Корнилова как-то само собой и противно, игриво, с ухмылочкой, он чуть не поперхнулся от неожиданности.

— Да уж пора, пора ему,— сказал отец Андрей.— В его-то годы у меня уже была большая семья — трое душ. Правда, тут — канон. Тогда духовенство женилось рано.

— До принятия сана,— подсказал зачем-то Корнилов.

— Совершенно верно. До посвящения. Значит, знаете. Ну а теперь времена-то, конечно, не те.

— Да, времена не те, не те,— тупо согласился Корнилов.

Хозяйка положила шитье на стол, вышла в сени и сейчас же вернулась с бутылкой водки.

— Деньги сейчас платить будете? — спросила она, беря снова френч и осматривая обшлага.

— Зайду завтра расплачусь. За все,— ответил Корнилов.

— Только тогда не утром. Утром я в город поеду,— сказала хозяйка.— Что-то плохо, отец Андрей, дочка о вас заботится. Вон все пуговицы на одной нитке.

— Дочка у меня замечательная, Марья Григорьевна,— с тихим чувством сказал отец Андрей,— работящая. С пятнадцати лет на семью зарабатывала, я уже и тогда был не кормилец. И муж у нее великолепный. Спокойный, выдержанный, вдумчивый. Читает много. Сейчас он зимовщиком на острове Врангеля, так целую библиотеку с собой захватил. Вот ждем, в этом месяце должен в отпуск приехать.

— Вот вы уж с ним тогда...— сказал Корнилов, мутно улыбаясь (словно какой-то бес все дергал и дергал его за язык).

Отец Андрей улыбнулся тоже.

— Да уж без этого не обойдется. Но у него душа меру знает. Как выпил свое — так все! А дочка, та даже пиво в рот не берет. Юность не та у нее была. Не приучена.

— А вы?

— А я грешный человек — на Севере приучился. Я там в открытое море с рыбаками выходил — так там без

этого никак нельзя. Замерзнешь, промокнешь, застынешь — тогда спирт первое дело. И растереться и вовнутрь.

— А в молодости так и совсем не пили? — посомневался Корнилов.

— Водку-то? Помилуй бог, никогда! — очень серьезно покачал головой отец Андрей. — Теплоту, что оставалось, верно, допивал из чаши. Теплота — это по-нашему, по-поповскому, церковное вино, кагор, которым причащают. Так вот, что в чаше оставалось, то допивал, а так — боже избави! А сейчас, после Севера, грешу, ох как грешу! Достать тут негде — так вот я к Марье Григорьевне и повадился. Спасибо, добрая душа, не гонит.

— А что, я не человек, что ли? — спросила хозяйка серьезно. — Я хорошим людям всегда рада. Только от вас, отец Андрей, да и услышишь что стоящее. От вас да вот их товарища. Тот тоже ко мне заходит.

«Ах вот куда Зыбин нырял, — подумал Корнилов. — Однако надо идти выспаться. Директор завтра вызовет обязательно. Он меня терпеть не может. Ну что ж? Скажу — ничего не знаю, ничего не слышал, днем работал, а вечером пил с отцом Андреем».

— Хозяюшка, — сказал он, — а что, если мы с отцом Андреем вот здесь у вас по стопешнику и опрокинем, а?

— Я уж сказала, хорошим людям всегда рада, — опять-таки очень серьезно ответила Волчиха, — я сейчас соленых огурчиков из кадки принесу. Вот ваша одежда, отец Андрей. — Она подошла к шкафу, вынула стопки, тарелку. Стопки поставила на стол, а с тарелкой вышла в сени. Отец Андрей надел френч, подошел к зеркалу и одернулся.

И оказался стройным, аккуратным, почти по-военному подтянутым стариком. Он посмотрел на Корнилова и подмигнул ему. И вдруг с Корниловым произошло что-то совершенно непонятное. На мгновение все ему показалось смутным, как сон. Он даже вздрогнул. «Боже мой, — подумал он, — ведь все как в той повести. Правда и неправда. И есть и нет. Да что это со мной? И зачем я тут? В такой момент? С попом? С шинкаркой этой? Или я уже действительно тронулся?»

Ему даже подумалось, что все — стол, две бутылки, одна в газете, другая так, мордастая баба-шинкарка, поп во френче — все это сейчас вздрогнет и расслоится, как колода карт. Такое у него бывало в бреду, когда он болел малярией. И вместе с тем, как это бывало у него иногда перед хорошей встряской, выпивкой или баней,

он почувствовал подъем, легкое головокружение, состояние обморочного полета. И еще порыв какого-то чуть не горячечного вдохновения. Он встал и подошел к зеркалу. Нет, все было, как всегда, и он был таким, как всегда, серым, будничным, неинтересным. Ничего на земле не изменилось. И его возьмут, и тоже ничего не изменится. По-прежнему этот поп будет жить с шинкаркой и трескать ее водку.

Он откупорил бутылку и налил себе и попу по стопке.

— Ну, батюшка,— сказал он грубовато,— за все хорошее и плохое. Ура!

— За плавающих, путешествующих и пребывающих в темницах,— серьезно и плавно, совсем по-церковному, не то произнес, не то пропел отец Андрей.— Марья Григорьевна, берите-ка стопку! При таком тосте сейчас все должны пить.

Потом заговорили о жизни. Все трое были уверены, что никому из них она не удалась, но каждый относился к этому по-разному: Корнилов раздраженно, Волчиха безропотно, а отцу Андрею такая жизнь так даже и нравилась.

— Да, рассказывайте, рассказывайте байки,— грубо усмехнулся Корнилов.— Так мы вам и поверили. У меня нянька была,— повернулся он к Волчихе,— вот ее спросишь: «Нянь, а ты пирожные любишь?» «Нет,— отвечает,— няня только черные сухари любит».

— А ведь,— отец Андрей улыбнулся,— она правильно отвечала, я тоже черные сухари люблю больше, чем пирожные. Эх, товарищ дорогой, или как вас там назвать, ведь вы еще не знаете, что такое черный хлеб, самая горбушечка — ведь вкуснее ее ничего на свете нет. Этому вас еще не научили.

— А вас давно этому научили? — прищурился Корнилов.

— Меня давненько, спаси их, господи. И по совести скажу: хорошо сделали, что научили, спасибо им. Вот брожу по земле, встречаюсь со всякими людьми, зарабатываю этот самый черный хлеба кус горбом, тяжко зарабатываю, воистину в поте лица своего — эту работу у вас я как по лотерейному билету получил, через месяц ей конец,— и радуюсь! И от всей души радуюсь. Хорошо жить на свете! Очень хорошо! Умно установлено то, что у каждого радость точно выкроена по его мерке. Ее ни украсть, ни присвоить: другому она просто не подходит.

— А когда, отец, вы губернаторским духовником были, вы тоже думали так?

— Нет, тогда не так. Но тогда я еще не знал вкус черного хлеба.

— А чувствовали себя как? Хуже?

— Хуже не хуже, а, как бы сказать, обреченнее. По-поповски. Ни горя, ни радости. Течет себе река и течет. И все по порядку. Родничок, верхнее течение, нижнее течение — и конец: влилась в море и канула.

— Обедни каждодневно служили, наверно?

— Иногда и другим поручал, грешен.

— Грехи прощали?

— Прощал. Много что прощал. Да все прощал! И грабеж, и убийство, и растление, и то, что мой духовный сын по толпе велел стрелять,— все, все прощал: «Иди и больше не греши». Он поднял на Корнилова спокойные серьезные глаза.— А это хорошо, что вы сейчас иронизируете. Это действительно и смеха и поруганья достойно.

— Как же так, батюшка? — удивилась Волчиха. Она уже успела украдкой незаметно поплакать над долей (просто два раза дотронулась до глаз — сняла слезы) и теперь сидела, похожая на снегиря-пуховичка,— тихая, печальная, пригожая.

— А вот так, дорогая,— ответил отец Андрей ласково,— что не смел я никого прощать. Откуда я взялся такой хороший да добрый, чтоб прощать? Как, скажи, простить разбойника за убийство ребенка? Что это, моего ребенка убили? Или я за это прощение отвечать буду? Нет, потому и прощаю, что поп я. А с попом и разговор поповский. Никто его прощенье всерьез и не понимает. Милость Господня безгранична — вот и изливай ее не жалея. Милость-то, конечно, безгранична, да я-то с какого края к ней примазался? Я разве приказчик Богу моему? Вот смотрите, наша хозяйка-ларешница отсидела три года за чужую вину. Подсыпался к ней однажды бухгалтер: дай да дай выручку на два дня. Она и дала. Только его, негодяя, и видела. А я его знаю! Он человек набожный! В церковь ходил аккуратно, два раза у меня на тайной исповеди был! Теперь появится здесь, обязательно в третий раз придет: «Отпустите грех, батюшка». Ну и как я ему отпущу? Сидела она, а прощу я? И он мне за это отпущение еще из ворованных денег, поди, пятерку в ладонь сунет? Что же это за прощение будет? Чепуха же это! Полный абсурд!

Волчиха вдруг быстро поднялась и вышла из комнаты.

— А Христос? — спросил Корнилов и налил себе и отцу Андрею еще по полстакана.— Как же Христос всех прощал?

— Спасибо,— сказал отец Андрей и взял стакан в руки,— ну, это уже последний. Вот о Христе-то и идет разговор. Христос — Владимир Михайлович, так вас, кажется, по батюшке? — Христос мог прощать. Недаром мы его именуем искупителем. Ведь он Бог. Тот самый, что един в трех лицах божества, так почему же он, будучи Богом, то есть Всемогущим, не мог простить, не спускаясь с неба? Даже не простить, а просто отпустить грехи, вот как мы, попы, отпускаем не сходя с места. Умирать-то, страдать-то ему зачем? Вы думали об этом? Конечно, не думали: для вас и Христос, и Троица, и Господь. Бог Отец, отпустивший сына на казнь, и Сын, молящий Отца перед казнью: «Отче, да минет меня чаша сия»,— все это мифы, но смысл какой-то таят эти мифы или нет? Мораль сей басни какова?

— Христос не басня,— сказал Корнилов,— я верю, был такой человек. Жил, ходил, учил, его распяли за это.

— Ну вот, значит, уже легче. В Христа-человека вы, стало быть, верите. А я верю еще и в Христа! В Бога-Слово. Вот как у Иоанна: «Вначале бе Слово, и слово бе Бог». А если все это так, то мораль сей басни проста: даже Бог не посмел — слышите, не посмел — простить людей с неба. Потому что цена такому прощению была бы грош. Нет, ты сойди со своих синайских высот, влезь в подлую рабскую шкуру, проживи тридцать три года и проработай плотником в маленьком грязном городишке, испытай все, что может только человек испытать от людей; и когда они, поизмывавшись над тобой вволю, исхлещут тебя бичами и скорпионами — а знаете, как били? Цепочками с шариками на концах! Били так, что обнажались внутренности. Так вот, когда тебя эдак изорвут бичами, а потом подтянут на канате да приколотят — гологоголого! — к столбу на срам и потеху, вот тогда с этого проклятого древа и спроси себя: а теперь любишь ты еще людей по-прежнему или нет? И если и тогда ты скажешь: «Да, люблю и сейчас! И таких! Все равно люблю!» — то тогда и прости! И вот тогда и действительно такая страшная сила появится в твоем прощении, что всякий, кто уверует, что он может быть прощен тобой,— тот и будет прощен. Потому что это не бог с неба ему грехи отпустил, а распятый раб с креста его простил. И не за кого-то там неизвестного, а за

самого себя. Вот какой смысл в этой басие об искуплеиии.

— И значит, теперь,— спросил Кориилов,— вы можете прощать, а ие отпускать?

— Да, теперь, пожалуй, я могу и прощать! Только вот пакость-то: когда я это право заслужил, то оказалось, что в нем никто ие иуждается.

Кориилов сидел пошатываясь и смотрел иа отца Андрея. Что-то миогое зарождалось в его голове, ио ои не мог, ие умел этого высказать.

— И как, вы все грехи можете прощать? — спросил ои.— Или только те, которые переиесли иа себе? Вот, иапример, вас, наверио, не раз продавали, так Иуду вы простить можете?

Отец Андрей посмотрел и улыбиулся.

— А почему иет? Ведь кто такой Иуда? Человек, страшио переоценивший свои силы. Взвалил иошу не по себе и рухиул под ией. Это вечиый урок всем нам — слабым и хлипким. Не хватай глыбииу большую, чем можешь уиести, не геройствуй попусту. Три четверти предателей — это иеудавшиеся мучеиики.

— А Христос что ж, не понимал, кого он вербует в мучеиики? — иеприятио осклабился Кориилов.— Ну знаете, тогда далеко ему до нашей техиики подбора кадров. Те тоже дают порой промашки, ио так...— Он покачал головой.— Подумать только, какую компаиию ои себе собрал. Петр отрекся, Фома усомиился, а Иуда предал. Трое из двеиадцати! Двадцать пять процеитов брака. Да любой иачальиик кадров слетел бы за такой подбор. Без права заиятия должности. Вот Петр: ведь только случайно и он ие стал предателем. Ну как же? Его тогда какая-то девка из дворца правителя призиала: «Э, да ты тоже из них?» А что ои ей ответил? «Знать я его не знаю, ведать не ведаю, и дела мне до иего иикакого иет». И так три раза: «иет, иет и иет». Ну а что, если бы кто из власть предержащих тут был и эти девкииы слова услышал? Он сразу бы прицепился: «Как ты говоришь? Этот? Вот эта самая борода? А ну пойди-ка сюда, уважаемый. Так вы что? Оба из одиой компаиии, стало быть? Ах иет? И ие видел и ие слышал? А что же оиа говорит? Наговаривает? Ах иегодяйка! И этот врет? И этот тоже? Ах они клеветиики! Ах гады, иу постой, я их всех!.. Взять! Этого самого безвиииого! В холодную его! Раздеть до низиков! Ои думает, что ои у тещи в гостях! Врешь! Запоешь! Вспомиишь! Как еще!» — Кориилов с большой экспрессией исполнил эту сцену.— Ну вот и коиец

вашему Петру. А ведь помните, что Христос о нем сказал: «Ты камень, н на камне этом я возведу храм свой!» Хорош камень! Впрочем, и храм у вас тоже получился хорош! Ну ладно, с этими двумя, в общем-то, понятно — а вот куда Пилата денете? Судью, рукн умывающего? Который н на смерть осудил, и в смерти как бы не виноват. Потому что, если общественность вопит «распни, распни!», то что тогда судье остается как и правда не распинать? Так вот с этим-то председателем воентрибунала что нам делать? Тоже прощать? За чистоплотность? Не просто, мол, распял, а руки перед этим вымыл? Не хотел, мол, но подчинилcя общественности. Ах, какое смягчающее обстоятельство! Так что, войдет он в царствие божие или нет?

— Без всякого сомнения,— ответил отец Андрей.— Если судья вдруг почувствовал на своих руках кровь невинного — он уже задумался. А если он начал думать, то уж додумает до конца. Помните, как Мармеладов Раскольникову говорит: «Распни меня, распнн, судья праведный, но распни и пожалей, н я тогда руки тебе поцелую...» Да и что мы знаем достоверного про Понтия Пилата — проконсула нудейского?

Обратно шли уже сильно подвыпившие. Отец Андрей размахивал руками и говорил:

— Да, Христово ученье это самое: «Несть Эллина, несть Иудея» — неоригинально! Все это уже было! Да! С этим приходится согласиться! Но только в каком смысле, дорогой товарищ Корнилов? Только в одном! В том-то и лихость таких истин, что они всегда были с намн, н нзречь их не великая мудрость, а вот умереть за них... Но вот что-то философы не больно хотели умирать...

Они шли покачиваясь, кричали, и на них даже редкие колхозные собакн н те уже не лаяли. А над садами н горами плыла полная черная южная ночь. Тучн закрыли небо. Парило, как перед грозой. И было тихо-тихо; не стрекоталн кузнечнки, не пели сверчки, не крнчали в длинных влажных травах, похожих на водоросли, крапчатые болотные птахи, только внизу, как отдаленный железнодорожный переезд, все грохотала Алмаатинка. Этот раздувшийся к ночи ледяной поток (весь день таяли снеговые шапки) ломал горы и катил валуны.

Перед тем как выйти нз дому, Марья Григорьевна — мягкая, теплая, податливая — набросила на голые плечн

черную шаль с розамн, но когда Корннлов хотел обнять ее, то наткнулся на жесткую, напружнненную руку попа. «Вот чертов поп,— подумал он,— а ведь ему больше шестидесяти».

— Вот у меня,— продолжал отец Андрей,— сейчас лежнт кннга. Ваш днректор дал почнтать. «Перепнска апостола Павла с философом Сенекой Хрнстнанствующнм». Слышали такого — Анней Луций Сенека? Так вот, с Хрнстн-ан-ствующнм.

— Ну а что же особенного?

— А то особенное, дорогой товарнщ Корнилов, что не был этот господнн хрнстнанствующнм. Подделка это все. Он о Хрнсте и не слышал. Как, конечно, н о Павле. А услышал бы — обонх вздернул на крестах и не охнул. Но веленне века он понял правнльно. Вот поэтому он н Хрнстнанствующнй. Нельзя было в то время услышать шаги командора н не стать хрнстнанствующим.

«Услышать шагн командора»,— подумал Корннлов.— Наверно, собака, стнхн пншет вроде попа Ионы Брнхнннчева»,— н сказал:

— А не могли бы вы как-нибудь попроще? А то не совсем понятно, о чем вы вообще?

— Я говорю вот о чем. Республнка во время Сенеки умерла. Вернее, не то уже умерла, не то еще только умирала—этого толком ннкто не знал, потому что никто не ннтересовался. На свет лезли упырн н уродцы. И называлнсь онн императорамн, то есть вождямн народа. Оглянуться было не на что. Ожидать было нечего. Настоящего не существовало. Сзадн могилы и впереди могилы. «Третье поколенне уже рождается в огне гражданской войны». Это Горацнй о прошлом Рнма. «Волкн будут спать на площадях н выть от голода в пустых чертогах» — это о будущем Рнма. Но то был еще золотой век. Август. Прннцнпат. Расцвет нскусств. А после уже действительно пошла тьма и безысходность. И юрист Ульпнан объяснил прнчнну этого так: «Что нравнтся государю, то нмеет снлу закона, потому что народ перенес н передал ему свои права и власть». И Сенека поннмал: раз так, надо опнраться не на народ — его нет,— не на государя — его тоже нет,— не на государство — оно только понятне,— а на человека, на своего ближнего, потому что вот он-то есть и он всегда рядом с тобой: плебей, вольноотпущенннк, раб, жена раба. Не поэт, не герой, а голый человек на голой земле. Вы поннмаете?

— Ну, я слушаю, все слушаю,— ответнл Корннлов.

— Ибо человек, если так на него взглянуть, не

только самое дорогое, но и самое надежное в мире. Вот последнее-то, кажется, товарищ Сталин себе уяснил далеко не полностью!

«Вот выдает,— подумал Корнилов,— зачем это он так? При ней?» Но неожиданно для себя сказал:

— Я слышу речь не мальчика, но мужа, она с тобой, отец, меня мирит.

— Спасибо! И безо всяких лишних слов спасибо! — серьезно ответил отец Андрей.— Да, Сенека это понял и за это у позднейших отцов церкви получил прозвание Христианствующего. Но не Христа! Теперь вот о Христе. Лет за тридцать до этого на другом конце империи бродил по песчаным дорогам Иудеи плотник или строитель, говорят еще, что он делал плуги, нищий проповедник с кучкой таких же бродяг, как и он. Они хоть не сеяли и не жали, но урожай собирали — то есть попросту попрошайничали. Что соберут, то и поедят, где их тьма застанет, там и заночуют. Все беспрекословно слушали своего вожака — нрав у него был вспыльчивый, яростный, но отходчивый. А вообще имел характер ясный и простой. Образован не был, хотя греческий и знал (иначе как бы он говорил с Пилатом?). А проповедовать умел, и его заслушивались. Говорил картинно, хотя и суховато, просто и четко, с великим жаром убежденности. Был очень осторожен, и заставить его проговориться было невозможно. И хотя всем было ясно, что он отрицает все — императора, власть императора, богов императора, мораль императора,— за язык поймать его не удавалось. Вести из Рима просачивались скупо, и что делалось в империи — никто не знал, да и что было этим рыбакам да ремесленникам до высокой политики? Философские же и исторические сочинения, так сказать, книги века, конечно, доходили и в эту тьму тараканью, но этот плотник или строитель их никогда не развертывал. Зато яснее, чем все эти поэты, философы, ораторы и государственные умы, он понимал одно — мир смертельно устал и изверился. У него нет сил жить. Выход один — надо восстановить человека в его правах. Но знал он и еще одно — самое главное! За это придется умереть! И не так умереть, как умер Сократ, среди рыдающих учеников, не так, как кончал с собой римский вельможа в загородной вилле, то открывая, то вновь перевязывая жилы,— а просто нагой и наглой смертью. А вы понимаете, что такое крестная смерть? — спросил отец Андрей, вдруг останавливаясь.— Masmera min hazluv — длинные гвозди креста, а? Понимаете?

— Что, очень больно? — как-то даже всхлипнула Марья Григорьевна, и Корнилов почувствовал, что она прильнула к отцу Андрею, а тот, сминая, нарочито больно придавил ее к себе.

— Ну зачем вы это все завели? — спросил Корнилов досадливо.

— А крестная смерть значит вот что, молодой человек,— продолжал отец Андрей.— Вот легионеры с осужденными добрались до места. Кресты там уже торчат. «Остановись!» С осужденных срывают одежду. Их напоили по дороге каким-то дурманом, и они как сонные мухи, их все время клонит в дрему от усталости. На осужденных накидывают веревки, поднимают и усаживают верхом на острый брус, что торчит посередине столба. Притягивают руки, расправляют ладони. Прикручивают. Прикалывают. Работают вверху и внизу. На коленях и лестницах. Кресты низкие. Высокие полагаются для знатных преступников. Вокруг толпа — зеваки, завсегдатаи экзекуций и казней, родственницы. Глашатаи. Все это ржет, зубоскалит, шумит, кричит. Женщины по-восточному ревут, рвут лицо ногтями. Солдаты орут на осужденных. Кто-то из приколачивающих резанул смертника по глазам — держи руки прямее. Нелегко ведь приколотить живого человека, поневоле заорешь. Наконец прибили. Самое интересное прошло. Толпа тает. Остаются только кресты да солдаты. И там и тут ждут смерти. А она здесь гостья капризная, привередливая. Ее долго приходится ждать. Душа, как говорит Сенека, выдавливается по капле. Кровью на кресте не истечешь — раны-то ведь не открытые. Тело растянуто неестественно — любое движение причиняет нестерпимую боль — ведь осужденный изодран бичами. Часа через два раны воспаляются, и человек будет гореть как в огне. Кровь напрягает пульс и приливает к голове — начинаются страшные головокружения. Сердце работает неправильно — человек исходит от предсердной тоски и страха. Он бредит, бормочет, мечется головой по перекладине. Гвозди под тяжестью тела давно бы порвали руки, если бы — ах, догадливые палачи! — посередине не было бы вот этого бруса, осужденный полусидит-полувисит. Сознание то появляется, то пропадает, то вспыхивает, то гаснет. Смерть разливается от конечностей к центру — по нервам, по артериям, по мускулам. А над землей день — ночь — утро. День, вечер, ночь, утро — одна смена приходит, другая уходит, и так иногда десять суток. Служат здесь вольготно, солдаты режутся в кости, пьют, жгут костры — ночи-то ледяные. К ним приходят

женщины. Сидят обнявшись, пьют, горланят песни. Картина.

— Да, картина,— сказал Корнилов неодобрительно,— и вы, видать, мастер на такие вот картины.

— Христу повезло. Он умер до заката. Страдал, однако, он очень. Он изверился во всем, метался и бредил: «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» И еще: «Пить». Тогда кто-то из стоявших обмакнул губку в глиняный горшок, надел ее на стебель степной травы, обтер ему губы. В горшке была, очевидно, обыкновенная римская поска — смесь воды, уксуса и яиц: ее в походах солдаты пили. Тогда, вероятно, сознания у него уже не было. Один из воинов проткнул ему грудь копьем. Потекла кровь и вода — это была лимфа из предсердия. Так бывает при разрыве сердца, а в особенности в зной при солнечном ударе. Вот так умер Христос. Или, вернее, так народилось христианство.

Он остановился, вобрал в себя полной грудью воздух и сказал:

— То есть так произошло искупление, друзья мои. Человек был снова восстановлен в своих правах.

— Чтоб наш любимый вождь через две тысячи лет мог сказать: «Самое дорогое, что есть на свете,— это человек»,— ответил Корнилов.

— Ах, как он неосмотрительно сказал это,— покачал головой отец Андрей.— Ах, как неосмотрительно. И не ко времени!

Что они потом говорили и где были, Корнилов помнит очень плохо. Кажется, вдвоем они провожали Марью Григорьевну. Кажется, потом Марья Григорьевна проводила их. Затем как будто бы они шли вдвоем с отцом Андреем и тот ему о чем-то толковал. Отрезвление наступило внезапно. Впереди вдруг вспыхнул прямой зеленый луч фонарика, ослепил его и осветил высокую, тонкую женскую фигуру на тропинке. Голос из этого луча позвал:

— Владимир Михайлович...

— Даша! — крикнул он, бросаясь вперед, и сразу же стало опять темно. Пропал ли отец Андрей сейчас же или все время был с ними третьим, но стоял в темноте — он так и не помнит и потом тоже выяснил не с полной точностью. Во всяком случае, голоса он больше не подал.

— Дядю сегодня увезли,— сказала Даша из темноты.

— Что? Как? — крикнул Корнилов и стиснул ее руку.

С этой минуты все, что он говорил ей и слышал от нее, он помнит в каких-то отрывках, словно в скачущем луче фонарика. То свет, то темнота. Он хорошо помнит, что она сказала:

— Постучался один военный. Очень вежливый. Поздоровался. Попросил поехать с ним на час. Сказал, что потом доставит обратно. Я ждала, ждала, потом пошла к вам.

— Я ничего не знал,— быстро ответил он зачем-то, а потом добавил: — Это, наверно, по поводу Зыбина. Ведь его тоже...

Она вцепилась ему в руку.

— Как?

— Да вот так,— ответил он.

Потом они стояли, молчали, подавленные всем этим, и вдруг он обнял ее за плечи и сказал:

— Ничего, ничего, все образуется! — и в эту минуту ему действительно стало казаться, что все образуется. Что все так не важно, что об этом не стоит и думать. Потом Даша вдруг заплакала. Просто уткнулась ему в грудь и заплакала тихо, горько, как маленькая. А он гладил ее по волосам как сильный, старший и повторял: «Ничего, ничего».

И спросил:

— А бумажку какую-нибудь он показывал?

Оказалось, нет, не показывал. Просто военный сказал: «Я вас попрошу только на час, а потом сам вас довезу до дома...» И дядя как-то незаметно вздохнул и ответил: «Ну что ж, едемте!» И поглядел на нее, будто хотел что-то сказать, но так ничего и не сказал. Просто снял пиджак, оделся и вышел за военным. А на дороге, под горой, стояла, светила лиловыми фарами машина, и за рулем сидел шофер. Вот так все и случилось.

— Да,— сказал Корнилов,— да, это уже случилось. Ну что ж, пойдемте ко мне.

И опять он был совершенно спокоен.

Когда они вошли, он повернул выключатель. Зажегся свет.

— Вы смотрите, починили-таки электростанцию! — удивился он, и хотя это было совершеннейшим пустяком, он почему-то очень обрадовался. Подошел к столу, отодвинул стул и сказал Даше просто и обыденно: — Садитесь, пожалуйста! Не убрано у меня, конечно, и грязюка страшенная, но...

— Ничего, ничего! — ответила она так же обыденно, по-школьному и — вот странность — улыбнулась!

И он тоже улыбнулся.

Отчаянность и бесшабашность, как крепкое вино, били ему в голову.

— Ничего, как увезли, так и привезут,— сказал он бодро и твердо.— Вот что с нами-то будет...

Она воскликнула:

— С вами?!

— С нами,— кивнул он головой,— со мной, с Зыбиным.

— А его не...— Она сидела выпрямившись и смотрела на него блестящими, большими от слез глазами (в комнате было очень светло).

— Нет,— ответил он,— нет, его-то не отпустят, он ведь не ваш дядя. Нет, нет, нас если берут, то уж совсем. Придут с ордером, возьмут, и тогда, как говорится, отрывай подковки!

Ему доставляло какое-то жестокое удовольствие и сознавать и говорить это.

— Как, как?— переспросила она.— Отрывай...

— Подковки, подковки,— повторил он, улыбаясь,— так дед-столяр говорит. Ну тот старик, что был как-то у вас в гостях вместе с директором.

Даша все смотрела на него.

— А за что?— спросила она.

Он рассмеялся.

— Милая, да это вы их спросите. И знаете, как на этот вопрос они вам ответят?

— Как?

Он опять улыбнулся и махнул рукой.

— Даша, Даша,— сказал он с какой-то страдальческой нежностью,— какая вы еще маленькая.

И такой у него был ласковый и хороший голос, когда он произносил вот это «маленькая», что она невольно улыбнулась сквозь слезы. Он подошел и обнял ее за плечи.

— Вот слушайте, что я вам сейчас скажу,— произнес он, наклоняясь над ней.— Дядя ваш, может быть, уже сейчас дома. Но придете, не говорите ему, что вы были у меня.

— Почему?

— Ну просто не надо, и все. Слушайте дальше. Его привезут, и он, наверно, с час будет молча ходить по комнате. Потом выпьет водки. Много. Наверно, стакана полтора. Потом подзовет вас и скажет, чтоб вы никому не рассказывали о том, что его куда-то увозили. «А то пойдут лишние разговоры. Зачем? Не надо»,— скажет он. Вы ему должны ответить: «Хорошо, дядя».— «И Корнилову ни-ни»,— скажет он. И вы опять ответите:

«Хорошо». Вот и все. А дядя ваш, вот вы увидите, как он изменится с этой ночи. К лучшему, к лучшему, Дашенька! Будет ласковым, тихим, общительным, только, пожалуй, один на один начнет еще больше на вас цыкать, чтоб вы не распускали язычок. Гости у вас начнут появляться всякие, компании одна веселей другой.

— Дядя всегда любил гостей,— сказала Даша, словно защищаясь от чего-то. Она сейчас смотрела на него почти испуганно.

— А это не то, не то! — отмахнулся Корнилов.— Не тех гостей он любил. Вы теперь совсем новых увидите. Таких, которых раньше он и близко не подпускал, называл сволочами, трепачами, элементом.

— Я не понимаю вас,— сказала Даша жалобно.— Я ничего не понимаю, что вы такое говорите. Вы мне объясните, пожалуйста.

А он все ходил по комнате, и веселая злость захлестывала его все больше и больше.

— Впрочем, он, может быть, будет и совсем другим — гостей тогда вы больше вообще не увидите. Он сделается угрюмым и неразговорчивым. Кроме работы, ничего не захочет знать. В компанию его не затянешь, скажет: «Ну их всех! Надоели!» Но это вряд ли. Очевидно, все пойдет так, как я вначале говорил.

— Как?

— Очень весело и шумно.

— Вы очень страшно говорите,— сказала Даша жалобно.

— Да, страшно. Да ведь все то, что сейчас происходит, это очень страшное и, главное, непонятное, ну то есть я-то этого понять не могу, а другие-то все понимают. Вот, например, Георгий Николаевич, вы ведь, кажется, хорошо к нему относитесь? Этот все, все понимает. До точки. И не только понимает, но и объяснить все может. Своими словами! А своих слов у него сколько угодно, и все они как на подбор хорошие.

— Почему вы так говорите?

— А потому, что слышал, как вам он пел про изменников и предателей. Лежал рядом в кладовке и заслушивался. Очень современные мысли товарищ высказывал! Очень! Эх, много бы я дал за то, чтобы послушать, как он там-то с ними разговаривает! Нелегко им придется.

— Вы правда так думаете? — спросила Даша.

— Клянусь последним днем творенья! Следователь ведь может только орать и материться. А тут они в один голос с ним вдруг запоют. Кто кого перепоет!

Знаете, как волк с лисой спорил о том, кто больше медведя любит?

— Ну зачем вы так?— огорчилась Даша.— Он такой хороший.

— А мы что, плохие? Мы ведь тоже ничего себе. Одна только беда — не понимаем мы многого. Вот Зыбина посадили, и вы не понимаете, как, за что и почему, а вот если бы вас посадили бы или меня, он сразу понял бы и почему и за что. Он ведь историю французской революции назубок знает! Он столько вам умных да красивых слов выскажет о том, что никому на свете верить нельзя, кроме него, конечно. Он — сама истина. А вот видите — оказывается, и истине этой кто-то взял да и не поверил.

— А вы радуетесь?— спросила Даша горько.

Корнилов с разбегу остановился и посмотрел на нее.

— Радуюсь?— повторил он как бы в раздумье, печально и вдруг согласился, кивнул головой.— Да, пожалуй, я радуюсь. Горько радуюсь: ведь и меня ждет то же самое! Возьмут, привезут куда надо и спросят: «А почему ты медведя не любишь?» И ничего не поделаешь — не люблю! Ох как не люблю его, мохнатого! А ведь это смертный грех — не любить медведя! А вот Зыбин любит! Только сейчас ему другие люди — тоже языкастые — объясняют, что он еще недостаточно медведя любит, что он еще недостаточно идеологически, недиалектично его любит. А любить медведя не так — это страшный грех. Медведя надо любить не за то, что он мохнатый и столько людей подрал и пожрал — нет! это боже избави! — а за то, что он рвет и ревет: «Помните, самое ценное на свете — человек».— И Корнилов засмеялся длинно, оскорбительно, глумливо.

— А что, разве не так?— спросила Даша.

— Чепуха! Бред собачий! «Дрянь и мерзость всяк человек»,— сказал Гоголь, вот это точно! Так оно и есть! Тряпка рваная больше стоит, чем человек! Навоз и то удобрение, и то его не бросают зря. А меня вот взяли однажды ночью за шиворот из того дома, где я родился, выбросили. Даже вещей как следует собрать не дали! Три дня на ликвидацию дел — и лети, буржуй, воробышком! За что, почему, как? Никто не объяснял! «Высылка без предъявления обвинений» — есть у нас такая юридическая формула. С тобой не говорят, тебя не спрашивают, тебе ничего не объясняют, потому что объяснять-то нечего. Просто кто-то, кто тебя и не видел никогда, решил по каким-то своим шпаргалкам, что ты опасный человек. И вот тебя взяли за шиворот и выбросили. Ходи по какому-нибудь районному центру

и не смей поднимать глаз. На тебя взглянут, а ты поскорее глаза в сторонку, голову пониже и бочком, бочком мимо. А самое-то главное — не смей никому говорить, что не знаешь, за что тебя забросили сюда. Должен знать! Обязан! И переживать свою вину тоже обязан! А главное — каяться должен! И вздыхать! Иначе же ты нераскаянный. Ничего не понял. А знаете, как теперь допрашивают? Первый вопрос: «Ну, рассказывайте».— «Что рассказывать?» — «Как что рассказывать? За что мы вас арестовали, рассказывайте».— «Так я жду, чтобы вы мне это рассказали».— «Что? Я тебе буду рассказывать? Да ты что? Вправду ополоумел! Ах ты вражина! Ах проститутка! А ну-ка встань! Как стоишь? Как стоишь, проститутка?» — там это слово особенно любят. «Ты что, проститутка, стоишь, кулаки сучишь? В карцер просишься? У нас это скоро! А ну рассказывай!» — «Да что, что рассказывать?» — «Что? Мать твою! Про свою гнусную антисоветскую деятельность рассказывай! Как ты свою родную советскую власть продавал, вот про что рассказывай!» И матом! И кулаком! И раз по столу! И раз по скуле! Вот и весь разговор.

— Нет, вы шутите? — спросила Даша.

Он усмехнулся.

— За такие шуточки сейчас знаете?.. Шучу? Нет, это не я шучу. Это еще кто-то с нами шутит, и бес его знает, до чего он дошутится. Но до чего-то до своего он обязательно дошутится. До собачьего ящика себе, кажется, дошутится! В это я верю! Ну да ладно, что об этом говорить. Так вот, любопытствую я очень, что им сейчас на эти самые вопросики отвечает Зыбин? Опять что-нибудь про французскую революцию? Он мастер на это! А вот что я-то запою... Даша,— воскликнул он вдруг,— что с вами, дорогая? Ну я же вам сказал, вернется, вернется ваш дядя. Он им совсем не нужен. Мы, мы им нужны: я, Зыбин.

Она вдруг встала и подошла к нему.

— Если вас возьмут, Владимир Михайлович,— сказала она твердо,— тогда я не знаю, что со мной и будет. Вот так и знайте.

И сама обняла его за шею.

Глава II

Он ожидал чего-то страшного и немедленного: то ли обыска, то ли ареста, то ли вызова в органы. Но о нем словно забыли. Даша больше не показывалась. Директора телефонограммой вызвали в военный округ, и он

не вернулся. Из музея не звонили. Только приехал кассир и раздал рабочим деньги. И под конец Корнилов не выдержал — он пошел к леснику, забрал у него меч Ильи Муромца (он оказался обыкновенной бутафорской шпагой), и Потапов, хмурый и иронически брезгливый, довез его на колхозном «газике» до музея. «Ну, с легким паром до будущих веников»,— сказал он на прощанье, и это была единственная шутка, которую Корнилов услышал за эту неделю (о разговоре с Дашей Потапов, видимо, ничего не знал).

В кабинете директора сидел ученый секретарь: лощеный молодой человек, недавно переброшенный в музей из политпросвета. Когда Корнилов вошел в кабинет, лицо ученого секретаря сразу посуровело и стало напряженным, как футбольный мяч. Но Корнилов как будто ничего не заметил — он поздоровался и передал находку. Молодой человек так в нее и вцепился.

— Что? Откопали? Ну наконец-то показались ощутимые научные результаты! Докладную приготовили?

Он раньше преподавал историю в пятых классах, потом заведовал отделом музеев в наркомате, но ровно ничего не понимал ни в истории, ни в раскопках.

Корнилов терпеливо все ему объяснил, а от докладной отказался.

— Я ведь не специалист по древнерусскому оружию,— сказал он.— Вот уж вернется товарищ Зыбин...

И тут ученый секретарь даже подскочил в кресле.

— То есть это как же он вернется? — спросил он скандализированно.— Зыбин арестован органами.

— Что-о? — У Корнилова это получилось почти искренне.

— А вы разве не знали? — изумился ученый секретарь.— То есть как, совсем ничего?..

— Ну откуда же,— пробормотал Корнилов.— Откуда? Я ведь в горах был. Он сказал, что директор вызывает, может задержать на несколько дней. Я решил: послали в командировку.

— Как, как? — оживился ученый секретарь.— Задержать? В командировку? И это он вам так сказал? Обязательно расскажите это следствию.

Корнилов простодушно развел руками.

— Так меня никто ни о чем не спрашивает.

Секретарь подумал и решил:

— Вот что, поезжайте сейчас же обратно. У вас тут больше никаких дел нет?

— Дел-то нет, но я хотел...

Ученый секретарь поморщился и сказал резко и раздельно:

— Знаете, я бы вам очень посоветовал сейчас ничего не хотеть и никого не видеть. Поезжайте обратно. А этот меч что? Он найден уже без него? Ну и отлично! Всего доброго!

Корнилов пошел, но на пороге остановился.

— А за что арестован Зыбин? Неизвестно?

— Как то есть неизвестно? — строго и холодно отбросил вопрос секретарь.— Он арестован как враг народа.

Тон был твердый и исчерпывающий.

— А-а,— сказал Корнилов и вышел.

Через час, трясясь на маленьком голубом автобусе — такие ходят по пригородам,— он вспоминал: а ведь Зыбин был с этим фруктом приятелем. Вместе пили, вместе куда-то ныряли и один раз даже вместе в милицию попали.

Автобус осторожно пробирался по горному шоссе. Утренние горы поднимались спокойные, ясные, в матовом серебре и сизом сорочьем оперении. «Как он их любил! — подумал Корнилов и впервые почувствовал, что Зыбина ему все-таки жаль.— Да, отрывай подковки. А если все бросить и уехать к шаху-монаху?! Деньги же в кармане! Нет, правда, вот сойду сейчас и поеду обратно! А Даша? Да что мне Даша?..»

— Колхоз «Горный гигант», конечная остановка,— сказал громко шофер и вышел из кабины.

«Ну что ж,— подумал Корнилов и поднялся тоже,— ехать так ехать! Так, кажется, сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост из клетки. Будем ждать».

Ждать, однако, не пришлось. На следующий же день его вызвали в контору к телефону. Звонили оттуда. Лейтенант Смотряев поздоровался, назвал себя и спросил, свободен ли он завтра, и если свободен, то не может ли вот в такое же время, ну, чуть позже, чуть пораньше, зайти в Наркомат внутренних дел в двести пятую комнату. Пропуск будет выписан. Голос у лейтенанта был такой, что можно было подумать: никакого значения своему звонку Смотряев не придает и тревожит Корнилова только потому, что так уж положено. Вот это Корнилову почему-то не понравилось больше всего. Вечер он провел у грустной Волчихи (отец Андрей как ушел тогда, так и не показывался), а утром минута в минуту уже стучал в комнату двести пять. Чувствовал он себя очень неважно. Уж самое здание на площади всегда убивало его своей однотонностью, безысходностью и мертвой хваткой. Было оно

узкое, серое, плоское и намертво зажимало целый квартал. Но внутри все было как в дорогом отеле: светлые лестницы, красные дорожки на них, распахнутые окна, холлы и даже пальмы. В комнате двести пять сидели и скучали два великолепных парня. Смотряев оказался молодым, хотя уже и порядком потяжелевшим лейтенантом. У него были голубые воловьи глаза с поволокой. Он был на редкость румян, белокур и белозуб. А китель сидел на нем как влитой. Через расстегнутый ворот выглядывала свежайшая белая майка. На соседе же напротив и кителя не оказалось — одна голубая шелковая майка. Корнилову они оба очень обрадовались. Ну еще бы — свежий человек! Археолог! С гор! Если бы он знал, горный человек, до чего нудно сидеть в такое прекрасное солнечное утро над бумагами. Из окна — оно открыто прямо в детский парк — так и тянет сосной! Вон солнце залило всю комнату! А шуму-то, шуму! Ребята визжат! Качели скрипят! Оркестр играет! Затейники в рупор орут! А ты вот сиди тут! И ничего не попишешь — такая работа. Тут оба сразу посерьезнели и начали расспрашивать Корнилова о раскопках. Потом про музей. Потом про золото. Затем Смотряев к слову очень складно рассказал об одном огромном кладе, зарытом запорожцами лет триста назад возле его родного города.

— Но жив еще один казачий есаул,— сказал он,— вот этот, говорят, точно знает, где зарыт клад. Сын его на коленях умолял открыть место, но старик притворился чокнутым, и все! И наш классный руководитель тоже чуть не помешался на этом кладе. Соберет нас, бывало, и начнет: «Триста пудов валюты, вы сочтите, ребята, сколько это тракторов и локомотивов!» И каждый год нас таскал землю рыть. Рыли мы, рыли, а ничего, кроме старой шашки, не нашли. Но старик упорный был! Фанатик! Все равно, говорит, не уйдет! Загоню я его! Всем учреждениям рассылал письма под копирку. Из школы все уйдут, а он сидит в канцелярии, печатает.

— Ну уж это, правда, того...— сказал тот, в шелковой майке.

— Вроде бы! Ну а под конец совсем рехнулся. В прошлом году был я у родителей, зашел к нему. Живет на самой окраине у какой-то ларешницы. Детей своих нет, так ходит играть с ними в городки на чужой двор. Пчел у него три колоды собственные в саду. Целый день с ними возится. Заговорил я с ним про клад. Он только рукой машет: «А-а! Глупость! Ничего нет!» «А как же вы искали?» Молчит. Заговорили о политике. «Не интересу-

юсь».— «Да как же? Вы ведь историю преподавали?» — «А что мне история? Вот живу, пенсию получаю, а если какая-нибудь власть найдет мое существование излишним — так она сразу меня и уничтожит». Вот и весь его разговор. А ведь был революционер. Каторгу отбывал. Только Февральская освободила.

«Да ведь ты небось к нему в этой форме и приперся»,— подумал Корнилов.

— Меньшевичок, наверно,— отозвался тот, в майке.— Они под старость совсем обалдевают. Читают газеты и думают, что это все про них.

— Нет, он и газеты не читает. Выписывает «Вестник палеонтологии», и все.

— Палеонтология, палеонтология... постой, это...

Тут на столе зазвонил телефон.

— Младший лейтенант Суровцев слушает,— весело гаркнул в трубку тот, в майке.— Есть, товарищ капитан!— Он вынул из ящика стола какую-то папку, запер ящик на ключ, подергал, ключ спрятал в карман и сказал Смотряеву: — Ну, это, значит, опять до ночи. Так я к тебе забегу. До свиданья, товарищ Корнилов. Я вам тоже хотел кое-что рассказать. У меня одна древняя книжка есть, «Феатр истории». И такое вот круглое «Ф» с перекладиной. Это что такое — феатр? Театр?

— Театр.

— Да ровно книга-то не театральная. Все про этих царей да цезарей.

Он ушел, а Смотряев вздохнул и сказал прочувствованно и задумчиво:

— Да, Иван Петрович Шило — мой классный руководитель. Ничего не скажу — хороший был преподаватель, многим мы ему обязаны. Старой школы человек. Знаете, «сейте разумное, доброе, вечное...». Вот Иван Петрович такой был.— Он сунул Корнилову коробку «Казбека».— Курите? Нет? Счастливый человек! А я вот не могу! Так вот, у меня будет с вами один маленький разговор, или, вернее, даже обмен мнениями. Но сначала я бы хотел,— он наклонился над столом, вынул из ящика папку и открыл ее,— кое-что вам...

Но тут опять зазвонил телефон. Смотряев снял трубку, послушал и сказал:

— Да! Да! Да! Нет! Слушаюсь, товарищ майор. Иду!— И слегка дотронулся до плеча Корнилова.— Пройдем к майору.

И захватил с собой папку.

У майора и фамилия оказалась подходящая — Хрипушин. Хрипушин сидел за столом, сцепив на настольном стекле большие квадратные пальцы, и неподвижно смотрел на них.

— Здравствуйте,— сказал он, еще помолчал, посмотрел на Корнилова и прибавил: — Садитесь!

Они сели. Каждый на свое место. Смотряев прошел к письменному столу и уселся сбоку, Корнилову же показали столик у стены. Майор, не спуская с Корнилова глаз, достал портсигар, выбрал папиросу, звонко щелкнул и закурил.

— Я хочу задать вам несколько вопросов,— сказал он.— Какого вы мнения о Зыбине?

Корнилов добросовестно подумал.

— Да ведь я его только по работе и знаю,— сказал он.

— А что по работе знаете?

— Ну что? Он мой начальник. Директор его хвалил,— ответил Корнилов.

— Это за что же?

— Ну, за эрудицию, за работоспособность, за дисциплинированность.

— Так ведь он горький пьяница! — воскликнул Хрипушин и возмущенно посмотрел на голубоглазого Смотряева.

— Да, зашибает, зашибает мужчина, крепко зашибает,— добродушно подтвердил и Смотряев.

— А напившись, несет черт знает что! — раздраженно крикнул Хрипушин и грозно взглянул на Корнилова.

Тот молчал.

— Ну, несет?

Корнилов слегка развел руками.

— Не знаю.

— То есть как же вы не знаете? — грозно удивился Хрипушин.

— Не пил с ним и не знаю.

— Вы что же, трезвенник? — усмехнулся Хрипушин.

— Нет.

— Так что же?

— Ну просто с Зыбиным пить не приходилось.

— Почему? Объясните! Не доверял он вам? Сторонился?

— Да нет как будто...

— Так почему?

— Не получалось как-то...

— Как-то! И он ни разу не предложил выпить?

— Нет.

— И в свою компанию не звал?

— Нет.

— Хм! — Хрипушин вынул снова портсигар и открыл его. — Курите?

— Нет.

— Не пьете, не курите, насчет женщин тоже, кажется, не шибко? Ну правда, что с такого человека спрашивать? Но вы ведь вот только что сказали: в свою компанию он меня не звал. Значит, какая-то компания у Зыбина была и вы про нее знаете, так?

— Да нет, не так, товарищ майор, — искренне ответил Корнилов. — Я же только ответил вам на ваш вопрос, приглашал ли Зыбин меня в свою компанию, — нет, не приглашал.

— А куда тогда он вас приглашал?

— Да никуда не приглашал. Сидели мы, правда, однажды с ним как-то за одним столом. Но там было много посторонних. Так это и компанией не назовешь. Это когда мы продали костный материал Ветзооинституту.

— О Ветзооинституте мы с вами еще поговорим, — многообещающе взглянул на него Хрипушин. — Так, значит, вы сидели за одним столом, пили нарзан и молчали как убитые, так?

— Нет, зачем же, наоборот, много разговаривали о работе, но ведь вас же не это интересует.

— А что нас интересует?

— Ну, очевидно, вас интересуют его настроения, так я про них ровно ничего не знаю.

— И никаких антисоветских высказываний вы, его ближайший сотрудник, работая бок о бок с этим убежденным врагом, от него не слышали?

— Нет, конечно. Почему он со мной должен откровенничать? Мы не были близки.

— А близкие люди, по-вашему, ведут меж собой антисоветские разговоры?

Это был вполне бесполезный разговор — толчение воды в ступе. Ни черта лысого тут не могло получиться. Это понимали все трое. Корнилов смотрел на Хрипушина и видел его насквозь. Тот, кто сидел перед ним, был бездарной и скучной скотиной, выуженной ловцами душ человеческих, вернее всего, со дна какого-то вуза, где он вяло перетаскивался с курса на курс. Его приметили и вытащили за душу, распахнутую настежь, за любовь к искренним разговорам и исповеди в кабинете профкома, за способность все понимать и все считать правильным, за то, что среди студентов у

него была масса собутыльников и ни одного друга. К тому же он был мускулист, горласт и на редкость бессовестен. Если бы кто-нибудь к тому же его назвал еще аполитичным, он, конечно, искренне обиделся бы, но он был действительно глубоко аполитичен, и аполитичен по самому строю души, по всей сути своего сознания и существования. То есть он был, конечно, аполитичен в том специальном готтентотском смысле этого слова, когда человек считает справедливым только такой строй, который нуждается в таких людях, как он, выделяет их, пригревает и хорошо оплачивает. Все остальное, что несет этот строй, такие люди принимают автоматически, но преданы-то они действительно не только за страх, но и за совесть, и поэтому враги существующего порядка вещей и их враги. В этом Хрипушин действительно не лгал. Врагов он ненавидел и боялся. Эта-то особенность, конечно, учитывалась и ценилась паче всего. Но кроме того у него, наверное, были и другие какие-то качества, делающие его пригодным для той работы, которая заглатывает человека целиком, без остатка и возврата, а дает взамен не так уж и много — повышенное жалованье, ускоренную пенсию, удобную квартиру, особый дом отдыха, а главное — пустоту и молчаливый страх вокруг, страх, в котором непонятным образом смешалась обывательская боязнь, мещанское уважение и нормальная человеческая брезгливость.

— Так-так,— сказал Хрипушин, поднялся из-за стола и прошелся по кабинету,— так-так! Занятно! Значит, близкие люди ведут меж собой антисоветские разговоры. Ну вот что! — Он вплотную подошел к Корнилову.— Что нам тут валять дурака? Вы же советский человек. Так мы все здесь считаем. Прошлое прошло и кануло, а ваше настоящее у нас перед глазами. Вы советский человек, Владимир Михайлович?

— Спасибо,— ответил Корнилов растроганно,— вы абсолютно правы! Я гражданин Советского Союза и я...

— Ну вот видите! — радостно воскликнул Хрипушин.— Видите! Помогите же нам, Владимир Михайлович, вы же знаете, в какое время мы живем. Около нас несколько месяцев бок о бок работает враг. Самый настоящий, умный, энергичный, хорошо замаскированный враг. И свою подрывную работу проводит очень умело.

— Да,— убито кивнул головой Корнилов.— Если так, то на редкость умный и хорошо замаскированный.

— Ну вот видите! Но вы сумели его разглядеть, понять его, да?

— Да, да! Теперь-то и я его понял. Он мне же, негодяй, говорил то же самое, что и вы.

— Что такое? — Хрипушин обрадованно вцепился ему в плечо.— Что он говорил?

— Говорил: «Вы, Володя, знаете, в какое время мы живем? Надо быть бдительным».

— Да? Вот как? — отшатнулся от него Хрипушин.— Интересуюсь, по какому же поводу он вам так говорил?

В кабинет мягко постучались, и сейчас же, не ожидая ответа, вошел человек в глухой военной форме. Он был плечист и низкоросл; у него были мясистые африканские губы и курчавая шевелюра. А глаза, не в пример Хрипушину, у него были острые, быстрые, мышиные и не бегали, а сверлили. Он слегка кивнул Корнилову, улыбнулся Смотряеву, спросил нарочито почтительно Хрипушина: «Разрешите присутствовать?» Дождался разрешения, прошел к столу и встал около стены.

— Ну, поводов было много,— ответил Корнилов,— события на Западе, речь Вождя, арест нашего завхоза.

— Ну и что он конкретно говорил про аресты? — спросил Хрипушин.

— Говорил, во всем виновата наша идиотская болезнь благодушия. Вот проглядели преступника. Надо быть бдительным.

— Кому же он так говорил? — с интересом спросил губастый, взял со стола дело и начал перелистывать. Дело было толстое, с закладками, с жирными красными пометками и отчерками на полях.

— Мне он говорил, директору, бригадиру Потапову, много кому.

— Ну а еще что он говорил? — спросил губастый, продолжая листать дело.

— Рассказывал о французской революции.

— Ну? О французской? — весело изумился губастый, нашел что-то отчеркнутое, показал Хрипушину и снисходительно улыбнулся. Хрипушин тоже прочел, кивнул головой и вперился в Корнилова.— Как-то не совсем естественно это у вас получается,— сказал губастый, отрываясь от дела.— Прочел Зыбин статью в газете о врагах народа, сказал «надо быть бдительным» и сразу же начал рассказывать о французской революции. Франция-то Францией, а что про врагов-то народа он говорил?

— Он говорил о том, как трудно распознать врага. Вот, говорит, Азеф был руководителем боевой организации — это самое святое святых, что было у эсеров, а оказался предателем. Так он говорил.

— И все? — спросил Хрипушин, а губастый опять нашел что-то в деле и поднес Хрипушину. Тот прочел, нахмурился и впился глазами в Корнилова: и чего ты, мол, туман нагоняешь? и так все ясно.

«Ну и дураки,— подумал Корнилов в ответ,— на что покупаете. Да этой штуке в обед сто лет».

— Ну и все,— ответил он даже резковато,— больше никаких разговоров не было.

— Вы вот что...— Хрипушин ударил пальцем по столу и начал было медленно подниматься, но тут губастый ласково спросил:

— И он никогда не заикался о своем желании перейти китайскую границу?

И Хрипушин сел опять.

— А зачем бы он мне стал бы говорить об этом? — искренне удивился Корнилов.— Чем бы я ему мог помочь?

Тут губастый быстро вынул из кармана блокнот, что-то написал и сунул Хрипушину. Тот прочел, кивнул головой, некоторое время они оба сосредоточенно листали дело. Потом Хрипушин сбычился на Корнилова, помолчал и сказал:

— Ну ладно. Сегодняшнее ваше показание мы записывать не будем. Это не показание даже. Через несколько дней мы вас вызовем опять и потолкуем. Постарайтесь быть к этому разговору более подготовленным, а сейчас... Товарищ лейтенант!..— И он сделал какое-то приглашающее слабое движение рукой по направлению Корнилова.

— Да, да,— поднялся Смотряев,— нам тоже нужно товарища Корнилова на пару слов. Идемте, товарищ Корнилов, поговорим.

— Так вот какое дело,— сказал светловолосый и светлоглазый лейтенант Смотряев, усаживая Корнилова напротив.— Вы сейчас беседовали с майором, но я хочу, чтоб вы знали: не майор вас вызывал, вызывали мы, а майор просто захотел попутно с вами побеседовать вот об этом Зыбине. Но у нас-то к вам дело совсем иного порядка... Я вам рассказал про своего старого учителя, так вот...

Кабинет, в котором они сидели, был таким маленьким, что в нем только и умещался стол и пара стульев.

Не кабинет, а бокс, таких боксиков много в любом помещении наркомата, судов, прокуратуры, следственных корпусов. Зато окно, распахнутое в тополя, казалось огромным. Тополей было много, целая аллея тополей — весь внутренний двор и тюрьма, которая помещалась в этом дворе, были обведены такими аллеями.

«Интересно,— подумал Корнилов,— то ли это окно. То окно было самое крайнее, мы доходили до забора и оказывались прямо против него. Когда прогулки были днем, там сидела высокая блондинка. Она нам казалась красавицей. Впрочем, все женщины тогда нам казались красавицами — машинистка или секретарша. Да, правильно: это то самое окно. Что ж она тут делала?»

Он украдкой заглянул в него, но бокс помещался на четвертом этаже, и двора он не увидел. «Когда она появлялась, мы громко кашляли, вздыхали, хмыкали, смеялись. Конвой кричал: «Разговорчики!» — и тогда она смотрела на нас и украдкой нам улыбалась».

— Так вот,— сказал Смотряев и закрыл окно.— Я вспомнил этого старика сегодня не случайно. Вот уже месяц как лежит у нас материал на другого старика. Вы догадываетесь, о ком я говорю?

Корнилов пожал плечами.

— Нет.

— Ну о вашем сослуживце — Андрее Эрнестовиче Куторге. Что? Неужели вы его не знаете?

«А ведь здорово получается,— пронеслось в голове у Корнилова,— когда Зыбина забрали, днем я работал, а весь вечер просидел у Волчихи, и вот поп свидетель».

— Не только знаю,— сказал он,— но недавно проработал с ним целый вечер.

Смотряев прищурился.

— И пили небось?

— Был грех,— вздохнул Корнилов.

Смотряев расхохотался.

— Ну, ну! И я, наверно, видел его там же, где и вы. Вы у той красивой украинки были? Ну, ну! И я как раз там с ним познакомился. Приехал к приятелю, горючее у нас кончилось. «Стой, говорит, пойдем за подкреплением». Вот мы и завалились. И смотрим, сидит за столом старичок, выпивает и грибочками закусывает. Очень он мне тогда понравился. Очень! Лицо такое спокойное, достойное, борода как на иконе. Разговорились. Он мне сразу: «Я служитель культа — поп».— «А вы, говорю, какого-то писателя мне напоминаете».— «А я, говорит, и есть писатель, я, товарищ лейтенант, вот уже десять лет обдумываю одну книгу».— «Какую

же?» — «О страданиях Христа».— «Ну за это, говорю, у нас сейчас издательства деньги не платят».— «А мне, говорит, их денег не надо, я хлеб себе всегда заработаю. Я и лесоруб, я и рыбак, я и землекоп, я, если надо, и крышу поправлю и печь сложу». Очень он мне тогда понравился. А через месяц поступает ко мне этот самый милый материалец. Взгляните-ка.

Он раскрыл папку, достал из нее двойной тетрадочный лист и протянул Корнилову.

— Тут, видимо, двое работали. Писал один, а печатал-то другой, напечатано-то грамотно.

«Как был до советской власти музей собором,— прочитал Корнилов,— так собором он и остался. И теперь в нем попов даже больше, чем раньше. Собрали их со всего города и отвели им ризницу — они сидят там и не работают, а за милую душу распивают и говорят: «Ну чем же нам это не жизнь?» И такое им доверие, что какой экспонат им не по нраву, он сразу же и уничтожается. Он же нигде не отраженный. Что ж, не понимает всего этого директор? Нет, он отлично все понимает, но молчит и допускает».

— Ну что за чепуха! — воскликнул Корнилов.

— Читайте, читайте,— улыбнулся Смотряев,— это пропустите, а вот тут читайте.

«Самый же злостный и заядлый из всей этой святой компании — бывший губернский архиепископ Куторга. Он у всех на виду занимается антисоветской деятельностью. Клевещет на советскую действительность, на наш колхозный строй. Говорит: «Строили, строили, а есть нечего, зерно выдают на трудодень по граммам». Рассказывает анекдоты про товарища Сталина и его славных соратников. А про себя заявляет такое: «Что я тогда при губернаторе пил-ел — так это как в сказке. И я этим жидам и босикантам, что я такую жизнь потерял, я с того света приду мстить. Я еженощно служу про себя литургию и всех их предаю анафеме».

— Господи, да наоборот, как раз наоборот. Это он ту жизнь проклинал, а этой он, наоборот, доволен! — воскликнул Корнилов.

— Вот,— сказал Смотряев удовлетворенно и отобрал лист у Корнилова,— вот этого мы от вас и ждали. Для этого и потревожили. Видите, какое дело: каждое такое письмо у нас на особом учете. Получив его, мы обязаны дать свой отзыв и либо расследовать, либо закрыть дело, но чтоб закрыть, обязательно нужен другой документ. Вот получив это письмо и обсудив его, мы так и поступили. Вызвали Зыбина, сняли с него свидетельские показания о Куторге, а потом со спокой-

ным сердцем отправили все это в архив. То есть дело потушили. Так оно было до прошлой недели, а сейчас Зыбин сам арестован. Значит, то, что раньше было оправданием, стало обвинением. Понимаете теперь, зачем мы вас позвали?

— Нет,— покачал головой Корнилов. Он верно ничего не понимал.

— Ну как же?— мягко упрекнул его светлоглазый, светловолосый лейтенант Смотряев.— Если начнется опперразработка, то моментально будет установлена личность автора письма. Это дело несложное. Вызовут его как свидетеля, снимут показания, и анонимка превращается в материал. Тогда старик пропал. Дело будут вести товарищ Хрипушин и его заместитель товарищ Нейман, вы их обоих сегодня видели. Пару нужных свидетелей они всегда подберут. А мы вот чувствуем, что Куторга — старик правильный, хороший, никакой он преступной деятельностью не занимается. Просто сидит и пишет свое Евангелие — и все. Понимаете теперь, почему мы к вам обратились? Нам нужно честное, совершенно беспристрастное показание человека, который заслуживает доверия. Стойте, стойте, никакой лжи! Если старик виноват действительно, распускает язык — ну что ж? Ничего не попишешь. Шило, как говорится, в мешке не утаишь. Так нам и напишите — грешен! Все равно найдется такой советский человек, который известит органы об этом, сейчас всякий покажет все что знает. Если же нет, если старик правильный, мы надеемся на вас. Вашего показания будет достаточно.

Он помолчал и спросил отрывисто:

— Вот вы о чем с ним говорили? Политики касались?

— Ни в коем случае. Толковали о земной жизни Христа.

Корнилов улыбнулся.

— И хозяйка это слышала?

— Да, и хозяйка. А о советской власти он как раз говорил очень хорошо. Спасибо, говорит, что она избавила от лжи.

Смотряев довольно рассмеялся и даже руки потер.

— Ну вот видите, как хорошо, что мы вас вызвали. Вы готовы подписать такие показания? Отлично! Спасибо! Но не сейчас, конечно. Сейчас мы ничего записывать не будем. Ведь тогда все-таки была случайная встреча. Видел он вас впервые, так что мог и не раскрыться. Кроме того, мы вызовем хозяйку, и у нас будет второе показание. А вас мы попросим вот что:

встретьтесь с этим отцом святым еще раз. Выпейте, посидите, поговорите толком — он старик компанейский, поговорить любит. Заведите речь хотя бы о том же господе нашем Иисусе Христе. Ну а потом мы вас вызовем и составим протокол. И эти ваши сегодняшние показания запишем тоже. Идет?

Лейтенант Смотряев смотрел на Корнилова чистыми голубыми глазами, улыбался, говорил искренне и просто. Чувствовалось, что никакой ловушки в его предложении нет. Просто ему почему-то захотелось спасти старика, и все. «А кто же мог состряпать эту пакость? — подумал Корнилов. — Массовичка, что ли? Да, вероятно, она. И грамотность ее! Ах сволочь. И это, конечно, не единственная ее жертва. Поди, в аресте Зыбина есть и ее капля меда».

— Идет, — сказал он. — Согласен. По какому телефону мне звонить?

И вынул блокнот.

Прошло несколько совершенно пустых дней, кончилась одна неделя, началась другая, страшная тишина окружала Корнилова. Мир, в котором он жил — эти сады и пригорки, — так опустел и обезлюдел, что иногда ему казалось: никакого Зыбина и вообще не было на свете. И люди, к которым он уже привык или привязался, тоже вдруг исчезли. Директор находился где-то далеко, Даша не показывалась, бригадир не заходил. А рабочие копали землю и молчали. Если бы Корнилов был чуть поопытнее, он знал бы, что такое всегда наступает после арестов. Прежними остались только печальная Волчиха да отец Андрей. Он вдруг снова появился у Волчихи. Веселый, довольный, сияющий, с огромным портфелем в руках. Оказывается, какой-то приятель уступил ему на несколько вечеров машинку, и вот он сидел в городе и печатал и только вчера кончил.

— Так не дадите почитать? — спросил Корнилов. Он был уверен, что отец Андрей под каким-нибудь предлогом откажет, но тот, наоборот, даже обрадовался.

— Конечно, берите, — сказал он. — Вот я вам дам второй экземпляр, выверенный. И посмотрите, кстати, слог, а то я по старинке ведь пишу, тяжело и обстоятельно, а теперь, говорят, нужна легкость.

«Ну, вот мне и материал для разговора со Смотряевым, — подумал Корнилов, возвращаясь домой с рукописью. — Больше ничего и не надо». Но его все не вызывали и не вызывали, и он уже не понимал, хорошо

это или плохо. И в музее все было спокойно и тихо. В кабинете директора по-прежнему сидел ответственный молодой человек, и раз в неделю Корнилов отвозил ему рабочие и научные сводки. Он их брал, листал, спрашивал с быстрым смешком: «А коня Ильи Муромца не нашли?» — и прятал бумаги в ящик стола. Но однажды он попросил его подождать — в кабинете было много людей — и, когда все ушли, сказал:

— Вас попросили позвонить. Не позже чем завтра.

И протянул листок блокнота.

Корнилов посмотрел на листок, сказал «разрешите» и подошел к телефону.

— Конечно, конечно,— учтиво всполошился ответственный молодой человек, тихонько встал и закрыл дверь на ключ.

Поднял трубку, однако, не Смотряев, а его сосед по кабинету — лейтенант Суровцев. Корнилов поздоровался и сказал, что вот он случайно оказался в городе и поэтому мог бы зайти сейчас же.

— А книга при вас? — спросил Суровцев.

— Да,— ответил Корнилов.

— Заказываю пропуск,— сказал Суровцев.

Корнилов вдумчиво опустил трубку, постоял, кивнул головой ответственному молодому человеку, застывшему в скромной позе чуткости, понимания и невмешательства, и вышел.

А по дороге остановился и остро подумал: «А не игра ли это с огнем? Ведь вот этот уж уверен, что я там работаю! Надо мне это?» Но труд отца Андрея лежал в портфеле, пропуск был заказан. Суровцев ждал, и единственное, что оставалось сейчас, это идти побыстрее.

Лейтенант Суровцев сидел за столом Смотряева. На нем был серый коверкотовый костюм и яркий галстук.

(О, эти коверкотовые костюмы! О, эти цветастые галстуки! Это микросрез целой эпохи. Тогда только что уступили, продали, променяли, отдали за так японцам Китайско-Восточную железную дорогу, и в магазинах появились неслыханные товары — консервированная соя и тонкие благородные ткани — трико, коверкот. В магазинах за ними давились. На прилавке они испускали нежное, тихое сиянье и были нежны и прекрасны, как копенгагенский фарфор. А через пару месяцев секлись и превращались в тряпку.)

Когда Корнилов вошел, Суровцев поднялся, поздоровался и показал ему на стул.

— Ну вот,— сказал он.— Вы имели дело с лейтенантом Смотряевым, но сейчас он в командировке. Так что пока придется беседовать нам с вами, не возражаете? Ведь речь, как я понимаю, идет все о том же отце благочинном? Да? Отлично! Итак, вы разговаривали? О чем же?

— О суде над господом нашим Иисусом Христом.

— О чем, о чем?—вскинул брови лейтенант Суровцев, и у него даже глаза забегали, как у разыгравшегося кота.

Корнилов повторил.

— Вот сила-то!—засмеялся Суровцев.— И что же он такое говорит? Я ведь эту историю читал когда-то! Это оттуда Иуда предатель?

— Так вот как раз о нем у Куторги целый труд.

— А ну-ка, ну-ка!—Суровцев взял рукопись и стал читать.— Как сказано!—воскликнул он вдруг.— «Когда судья выносит несправедливый приговор, Бог отворачивает от него свое лицо, но если он справедлив хотя на час, то и весь мир становится от этого крепче». До чего же здорово! Это что же, высказыванья тогдашних законодателей?!

— Да,— ответил Корнилов,— вот тут в скобках есть ссылка.

— Ага, ага!—кивнул Суровцев.— Да, да, ссылка! Нет, таких я не слышал. У нас ведь историю права читали, но так, бегло, очень бегло!—Он снова наклонился над рукописью. Дочитал до конца главу, закурил, сказал: «Да...»—и прошелся по кабинету.— А все-таки, знаете, что мне больше всего понравилось?—сказал он, усаживаясь за стол.— Вот это правило: «Суд, осуждающий на казнь раз в семь лет,— бойня. Да зовутся же члены его членами кровавого синедриона». Да, тут задумаешься, прежде чем осудишь. Знаете, что я вас попрошу? Оставьте-ка мне это дня на три, ведь он вам их не на один день дал, верно?

— Да, конечно, берите,— сказал Корнилов.— Но только в конце концов мне все равно придется их вернуть. Он мне их дал для того, чтобы я поправил стиль.

— Ну конечно, верну, как же иначе!— успокоил его Суровцев.— Ну а еще о чем вы говорили?

— Так вот об Иуде.

— О! Вот это очень интересно! Я ведь знаю только то, что он предатель и вот говорят еще «поцелуй Иуды». Это что же, он подал такой знак при обыске и аресте?

— Совершенно точно. Согласно Матфею он сказал

воинам так: «Кого поцелую, тот он и есть. Возьмите его». Иуда очень волновался, трусил, торопился, и у него ничего не оказалось приготовленным, кроме вот этого совершенно бессмысленного: «Радуйся, учитель».— «Да, это действительно я»,— ответил ему Христос, и тогда его схватили.

— Так-так,— сказал Суровцев,— но тут как раз все понятно. Тут и писать работу, пожалуй, не о чем.

— Так вот пишет Куторга — как раз во всей этой истории кроется какая-то огромная путаница. Ведь Христос-то не скрывался, а выступал публично. Его и без Иуды прекрасно могли схватить каждый день. «Зачем эти мечи и дреколья,— сказал он при аресте,— каждый день вы видели меня, и я проповедовал вам. Что ж тогда вы меня не взяли?»

— Логично,— улыбнулся Суровцев.— То есть, конечно, логично только для Христа. Арестованные часто спрашивают об этом. Им невдомек, что бывают еще оперативные соображения. Ну а в истории с Христом в чем дело?

— Ну и тут, конечно, сыграли роль эти оперативные соображения,— улыбнулся Корнилов,— как же без них? Дело в том, что Христос был очень осторожен. Словить на слове его не удавалось. На самые провокаторские вопросы он давал резкий отпор. Был остроумен и находчив. И вообще следовал в этих случаях принципу: Божье — Богови, кесарево — кесарю. То есть вот земля, вот небо. Землю берите себе, небо оставьте мне, и давайте помиримся на этом. Но, конечно, в семье учеников, с самыми близкими людьми он и о земле говорил иначе. Так вот, чтобы засечь эти разговоры, нужен был кто-то из учеников. И не один ученик, а по крайней мере два. А так как государственного обвинения в то время не было, то без этих свидетелей не только обвинить, но и привести в суд было невозможно. Доставлялся преступник обвинителем, истцом. Так вот таким истцом был Иуда, и в этом случае за что ему платили тридцать сребреников — понятно. Причем и обстановка создана подходящая — уединенное место за городом, пустующее помещение, глубокая ночь, кучка заговорщиков, какая-то смутная тайна, окружавшая этот арест. Но в таком случае должен быть еще один свидетель — тот, который не хватает, не обличает, не приводит стражу, а только молча присутствует. И потом дает показания. И такой человек в деле Христа был, но появился он только однажды секретно на заседании синедриона. Его выслушали, записали и отпустили. Поэтому кто он, мы не

знаем. Только это был кто-то из людей, очень близких Христу,— такой близкий, что, когда учителя арестовали, а потом поволокли на судилище, он ходил и плакал вместе со всеми. Можно же себе представить, что почувствовал Христос, когда его увидел там и он заговорил. Но тайна так и осталась за закрытыми дверями. Христос ее так и не сумел передать своим ученикам.

— А сам Иуда?

— И Иуда не захотел передать, хотя мог бы. Роль его была иная. Он должен был привести толпу, то есть предать явно и публично. Так от него потребовали его хозяева. Почему он пошел на собственную гибель — неясно. Должно быть, уж слишком сильно запутался. Ведь он был казначеем, то есть самым деловым лицом в свите Христа. Вероятно, он исполнял и какие-то другие поручения. Был связным, ну, или что-нибудь в этом роде, и его поймали. Во всяком случае, менять денежный ящик Христа на тридцать сребреников синедриона, это по старому счету двадцать два рубля золотом, ему явно никакого смысла не было. А синедрион потребовал от него за эти тридцать монет не только голову Христа, но в придачу еще его собственную шкуру и душу. Ведь таким судам нужны иногда свидетели, которые публично предают других, только губя себя,— то есть через свой собственный труп.

— Да, да.— Суровцев бросил на Корнилова какой-то косой, быстрый взгляд и снова заходил по комнате. Прошелся, встал, снова сел. Вынул из стола сигареты, но курить не стал, а так и забыл их в руке.— Скажите, а Христос о том, втором, никак не догадывался? Или, может быть...? — спросил он.

— Нет, с уверенностью можно сказать, что нет. Только про Иуду он откуда-то узнал заранее, и эта последняя ночь, то есть тайная вечеря, для него была очень томительная. По Куторге, это типичная ночь перед арестом. Тогда Христос испытал все, что приходится испытывать в таких случаях: тоску, одиночество, загнанность, безнадежность, надежду — «а может быть, еще и обойдется как-нибудь», хотя было совершенно ясно, что — уже все! И под конец вот это: «Ну скорее же, скорее! Что вы медлите! Идите же, идите, идите!» И в припадке предсмертного томления он сам торопит Иуду: «То, что задумал делать,— делай скорей». И Иуда уходит.

— А тот, второй?

— А тот, второй, сидит и ждет. Ему ничего не надо делать, никуда не надо идти. Его сами позовут и в свое

время, и он покажет, этим его роль и кончится. Но в ту ночь он, конечно, страшно волновался — а вдруг Христос все-таки что-то узнал? И только когда учитель сказал: «Сегодня един из вас предаст меня»,— он успокоился. Раз един, а не два, значит, не он и Иуда, а один Иуда, значит, все в порядке.

— Слушайте,— воскликнул вдруг Суровцев с настоящим волнением,— а не может быть, что этот второй кто-то посторонний, не из учеников, а так... Ну провел Иуда кого-то на чердак и спрятал, или у дверей поставил, или там занавеской где-нибудь укрыл... Ведь он, говорите, был казначеем, значит, заведовал хозяйством, а они по дворам ходили... И помещение тоже, очевидно, отыскивал он, так что спрятать любого мог. Таких случаев сколько угодно. Так вот не мог это быть посторонний?

И Корнилову показалось, что почти мольба прозвучала в словах следователя, но он помотал головой.

— Увы, вряд ли. В той старой книге, где написано об этом втором — а это иерусалимский Талмуд, изданный в тысяча шестьсот сорок пятом году в Амстердаме,— прямо сказано: «Показали на него два ученика и привели его в суд и обвинили». Ученики! Но ведь мы-то знаем только одного — Иуду. Где же второй-то?

— Да,— сказал Суровцев.— Да, правильно, где же второй? Печальная история.— Он посидел, подумал, улыбнулся.— Вот когда еще были известны оперативные разработки по делам об агитации. Вот когда! — Он еще посидел, еще поусмехался.— Да, чисто сделано! Не подкопаешься! Работали люди! И вот смотрите, как будто все законные гарантии налицо, и суд праведный, и свидетели беспристрастные, а если надо закопать человека, закопают, при всех законах закопают! Вот все говорят: «Суд присяжных, суд присяжных». А кто Катюшу Маслову упек? Суд присяжных. Дмитрия Карамазова кто на каторгу угнал? Суд присяжных. Кто Сакко и Ванцетти на электрический стул посадил? Присяжные. Классовый суд! Как его ни обставляй, ни ограничивай, он свою власть в обиду все равно не даст. Ну и мы не даем свою — так в чем же дело? — И, сказав это, он сразу же заторопился: вынул чистый лист бумаги, положил его на стол и сказал: — Ну что ж, Владимир Михайлович, зафиксируем?

— Что? — испугался Корнилов.— Это?

— Да нет, не этот наш разговор, конечно,— улыбнулся следователь,— а вот что-нибудь вроде этого: «Считаю своим долгом довести до вашего сведения, что такого-то месяца, такого-то числа во столько-то време-

ни я по вашему поручению беседовал с гражданином Куторгой. Разговор происходил в присутствии гражданки такой-то (тут имя), которая и может подтвердить все мной показанное. Гражданин Куторга рассказывал про свои научные изыскания из области истории церкви, никаких иных вопросов Куторга не затрагивал, о политике не говорил, идеологически вредных высказываний не допускал...» Все! Подпись. Можно еще прибавить, если это правда: «Жизнью своей он доволен, а о советской власти говорил: «Спасибо ей, что избавила меня от лжи». Вы ведь так в прошлый раз говорили? Согласны?

— Да, конечно,— ответил Корнилов,— только вот нельзя ли убрать это: «считаю своим долгом довести до вашего сведения...» и «по вашему поручению...»?

— А что вас тут смущает?— слегка улыбнулся Суровцев.— Разве это не правда?

— Правда-то правда, конечно,— замялся Корнилов,— да...

— Никакого «да», Владимир Михайлович,— со строгой благожелательностью отрезал Суровцев.— Ваши показания имеют цену только потому, что мы сами попросили вас помочь нам. Потому мы и доверяем вашим отзывам и показаниям. Иначе все это ни к чему. Неужели вы этого не понимаете?

— Да, но...

Суровцев строго взглянул на него и вдруг рассмеялся:

— Ну и странный же вы человек, Владимир Михайлович, уж не обижайтесь. Очень странный. Опять у вас «но»... Ну чего вы, в самом деле, боитесь? Какое там «но». Вы ведь не тот первый известный свидетель и не тот неизвестный второй. Вы не ученик и не истец. Вы просто-напросто устанавливаете невиновность человека. Опровергаете донос! Почему это вас смущает, а?

— Да нет, конечно, не смущает. Спасибо.

— Ну, так, значит, и пишем, «считаю своим долгом...».— Суровцев наклонился над бумагой.

Когда донесение было написано и подписано, он встал, положил на плечо Корнилова руку и сказал:

— Меня-то благодарить вам, конечно, не за что. А вот вам-то действительно спасибо! Очень интересный разговор был тут. Есть о чем подумать.

И еще прошла неделя. Сад стоял грустный, мокрый и пустой. Яблоки сняли, бригадира перекинули на другое место. Корнилов все ждал приказа свернуть

работы, а его некому было отдать. «Вот уж приедет хозяин, он тогда распорядится»,— отвечал политпросветчик и загадочно улыбался. Неужели, мол, до тебя не доходит? Ведь не глупенький же. А что до него, собственно, должно было доходить? Он именно и вел себя как глупенький. В каждый свой приезд он обязательно звонил Суровцеву, и тот его принимал немедленно. И они сидели в обширном светлом кабинете с картой мира на стене, с окнами в детский парк, пили минеральную и разговаривали. Говорили о всяком: о кладах, о том, что пьеса братьев Тур и Шейнина «Очная ставка» — прекрасная, острая жизненная пьеса на самую нужную тему («А кстати, вы не прочли статью Вышинского в «Известиях»? Обязательно прочтите! Там есть любопытные факты!»). О Зыбине, о раскопках («Так что ж, еще не прислали вам нового человека? Как же вы тогда работаете?!»). Затем переходили к старику («А что старик? Он свое прожил, его не переделаешь. Пусть себе сидит пишет»). И под конец составляли одну и ту же бумагу. Начало ее: «Считаю своим долгом поставить вас в известность...» Конец ее: «...о советской власти отзывался положительно».

Так продолжалось неделю, а потом случилось вот что. Однажды, когда они уже кончали работать, в кабинет с папкой в руках вошел Хрипушин. Он коротко кивнул Суровцеву, прошел к столу и наклонился над Корниловым.

— Ну, порядок! — сказал он, усмехаясь.— Скоро мы этого батюшку будем в партию принимать, к этому дело идет.

— Что ж? — слегка улыбнулся Суровцев.— Заслужит — и примем.

— Заслужит, заслужит! Я уж по вашим бумажкам вижу, что заслужит! — энергично заверил Хрипушин. Он развязал папку, вынул оттуда «Суд над Христом» и потряс им перед Корниловым.— Вот работка-то! Да, ничего не скажешь: здорово!

— Что здорово? — спросил Суровцев.

— Здорово свою линию поп проводит!

Суровцев что-то хмыкнул, а Корнилов удивленно, ну, конечно, подчеркнуто удивленно, поглядел на майора.

— Какую линию-то? — ответил ему Хрипушин.— А вот какую: что б там ни писали об этом Маркс — Энгельс — Ленин — Сталин, а Христос-то был!

— То есть был человек по имени Иисус, которого евангелисты произвели в звание Христа,— осмелился Корнилов.

— А это уж не важно, это совершенно не важно,— махнул на него огромной лапой Хрипушин,— тут уж кто как захочет, так и поймет. Главное — был! Во-вторых, вот смотрите, как тогда гуманно судили. А мы, чекисты, на эту поповскую гуманность плевали,— вдруг взревел и взорвался он.— Так вот, как того поп хочет, так никогда не будет. А будет так: заслужил — получай! И полной мерой! А третье — самое главное. Вот распяли безбожники господа бога нашего, а он на третий день, смертью смерть поправ, воскрес и вознесся.

— Слушайте, так вот как раз этого в рукописи и нет! — крикнул Корнилов. Он действительно был ошеломлен.

— То есть как это нет? — гневно повернулся к нему Хрипушин.— Как это нет, когда черным по белому тут все это и написано. Что вы мне-то голову морочите?! — Он кинул рукопись на стол.— Возьмите это ваше святое Евангелие! Суровцев, отберешь расписку, что материал возвращен.

— Что? — Корнилов вскочил с места.— Я же просто так все это дал, без всякой расписки. Зачем же вы...?

— Как? — Хрипушин повернул к нему свое страшное лицо и посмотрел на него оловянными глазами.— Так вы что, играться сюда к нам пришли?

— Я... — начал было Корнилов.

— Вы что? Материал органам представили или книжку «Роман императрицы»?! Лейтенант Суровцев!..

— Да, да,— заторопился и забегал руками по бумагам Суровцев,— мы сделаем, сделаем! Владимир Михайлович, ну такова же форма следственного производства.

— Да что ты с ним объясняешься, что ты объясняешься? — совсем зашелся Хрипушин.— Ты его лучше спроси, кто он! США или советский гражданин? Обязан он или нет помогать органам? Ах ты! — Он стиснул кулаки, и скулы у него налились.— И кончайте эти детективные истории немедленно! А то развели мне богословия на сто листов! Нет так нет, и голову нечего морочить! Но смотри, Суровцев! Ты у меня смотри, пожалуйста! С тебя весь спрос! — И он стремительно вышел из кабинета.

Несколько секунд оба молчали. Надо сказать, если Хрипушин хотел произвести впечатление, то он его произвел. Саженный вышибала с напружиненными кулаками и холуйским, блестящим, по ниточке пробором посередине, он произвел впечатление! Впрочем, он, может быть, и ничего не хотел производить. Просто,

переступая иекие пороги, он совершенно автоматически, как актер, входил в нужиое состояиие. Он вконец развиитил себе нервы, и его всегда била истерика. Бнла, когда он допрашивал арестоваиного, била, когда прижимал свидетеля, била, когда иачиил орать, била, когда кончал орать, потому что поиимал — орать сейчас бесполезно.

И еще одно, пришедшее к иему в последиие месяцы,— никогда ои еще не чувствовал себя так твердо обеими иогами иа земле, как сейчас. Ои знал, что не зря его вытащили сюда из захолустья и присвоили звaиие майора, что в мире очень многое перемеиилось и вот-вот наступит тот долгождаииый час, когда Вождь даст наконец иа вооружеиие своим славным чекистам выработаииые им совершеннейшие методы ведеиия следствия, что, исходя из глубокого творческого поиимаиия идеи марксизма и сталииского аиализа идеи междуиародиой рабочей солидариости, Вождем уже подведена некая непоколебимая теоретическая база под эти иовые методы, вернее, под эти иовые формы классовой борьбы. И тогда эти аппаратчики, которые сейчас смотрят иа иего сверху вииз, заткиутся навсегда, ибо потребуется не только иаука и формочка, а еще и нечто нное, живое, а не мертвое. А это у иего есть, и он готов, а они еще — как сказать, как сказать. Поэтому все эти месяцы ои жил в повышенном состоянии, в напряженном н непрерывном ожидаиии чего-то большого, славного и громкого. И именно поэтому же и заводился он и орал сейчас чаще, чем обычио.

— Ах, как нехорошо вышло,— бесполезио поморщился Суровцев, когда Хрипушин ушел,— н надо же было вам говорить... Ну иичего, иичего. Вот вам бумага, пишите...— Ои задумался.— Пишите, значит, так: «Из дела по оперразработке А. Э. Куторги мною, Владимиром Михайловичем Корииловым, получена обратио рукопись иа двухстах двадцати четырех листах машииописи «Суд иад Христом» как ие представляющая оперативной ценности». Подписались. Дата. Все! Давайте сюда! Фу, черт, как все иеудачио вышло. Воды хотите? (Кориилов мотнул головой.) Да ничего, иичего! То ли у иас еще бывает. Я скажу вам, почему майор злится: ему самому влетело.

— От кого?

— От начальника. Как раз вчера подполковник меня вызвал с делом. Я ему доложил все по порядку. Он полистал, полистал вот «Суд», взял, листика три прочел, потом н говорит: «Ну что же, кажется, верно — ерунда! Сумасшедший дед, и все! Будем, навер-

но, закрывать — но только знаешь? Не вполне солидно это как-то у нас выглядит. Вот пять донесений и во всех одно н то же: не допускал, не допускал. А что же он допускал? Рассуждение о Божественной литургин, что ли? Да говорили ли они вообще или просто водку пили? А вдруг он просто затанлся. Вот мы дело закроем, а тут он и каркнет во все воронье горло — что мы тогда будем делать?» Я молчу, сказать-то нечего. Вот он подумал еще и решил: «Ладно! Подождем еще с недельку — вреда от этого не будет, а оснований прибавится...» Ну и на майора, конечно, поднапер в этом смысле. А майор на нас. Вот и все.

— И надо же было мне высовываться с этими листами,— с горечью сказал Корнилов.— Кто меня просил их вам прнносить? Кто тянул меня, дурака, за язык? Ах ты...— И он стукнул себя кулаком по лбу.

— Ну что вы, что вы! — огорчился и взволновался Суровцев.— Ведь это такой великолепный оправдывающий материал! Мы уже имеем и отзыв на эту работу! Нет, это вы отлично сделали! А что касается разговора...— он вдруг засмеялся и махнул рукой,— плюньте, честно говорю, плюньте! У нас тысячу таких на дню бывает! Честное слово.— Но, подпнсывая пропуск, вдруг снова посерьезнел и сказал уже без всякой улыбки: — Только теперь и я уж вас попрошу. Дело действительно идет к концу. Будьте поактивнее. Начните разговор сами и о политике.

Всю эту неделю состояние у Корнилова было преотвратительное. Погода над горамн окончательно размокропогодилась. Дожди, дождн, дожди. Алмаатинка вздулась, ревет, катит камни. На месте раскопок серая и рыжая слякоть. Палатка протекает, пришлось перетаскивать койку и подставлять кастрюлю. А тут еще собака повадилась ночью выть — встанешь сонный, швырнешь в нее чем-нибудь — отскочит немного, сядет и опять, подлюка, воет, воет.

А дождик нудит и нудит—день и ночь, день и ночь— мелкий, серенький, косой, такой, что и жить не хочется. На его фоне н происходит черт знает что. Но всего неприятнее была все-таки встреча с Линой. Он зашел к ней в институт, приотворил дверь кабинета, позвал, и она сразу же выскочила, ослепительная, светлая, радостная, он чуть не вскрнкнул: какая она! А она увидела его и сразу потухла. И ничего у нее не нашлось для него, кроме: «Ах, это вы, Владнмнр Мнхайлович». Так, стоя в корндоре прн полуоткрытой дверн, онн и поговорили — о раскопках, о горах, о дождике, о яблоках — не надо ли помочь достать. Он

может! Нет, спасибо, ничего не надо! Потом он заикнулся о Зыбине, и она быстро сказала: «Знаю — говорили. Ну что же? Не виноват — разберутся, выпустят...» Вот так. Вот и все. Он ушел, а настроение у него после этого было такое, что хоть сейчас в Алмаатинку.

И отца Андрея он тоже видел только один раз, и то на три минуты. Рядом под бугром стоял колхозный «газик», и там сидели его дочка и кто-то из правления. Отец Андрей залетел за рукописью. Взял ее, спросил: «Прочли? Понравилось? Нет? Ну потом, потом!» — и скатился с бугра, старый смешной попик в широкой поповской шляпе, плаще, похожем на рясу, в сапогах и глубоких калошах.

Вот все это — мелкое, пасмурное, несуразное, ноющее, как больной зуб,— донельзя, до болезни развинчивало и просто выпихивало со света Корнилова. И он понимал: от этого не сбежишь, не спрячешься, оно всюду и всегда с тобой, потому что оно и есть — ты. И еще мучило сознание — ну куда, зачем он сунулся? Кто его тянул за язык? Захотелось спасти батюшку? Так, спаситель, спаси сначала себя самого. И вот теперь его вызывают, приказывают что-то писать, дополняют, поправляют, кричат, угрожают, а он должен вертеться и оправдываться. Почему? Ради какого дьявола? И сколько же тогда он стоит со всеми его клятвами, и что он вообще понял на этом свете? А самое-то главное — что ему сейчас делать с собой? Напиться? Он и напивался: напился у Волчихи раз, напился у нее два. Ребята какие-то за водкой пришли, гармошку принесли, он на ней поиграл слегка. Они его на свадьбу начали звать, он отказался. А потом так надрался с рабочими, что его два дня рвало желчью и он не мог головы оторвать от подушки — все кружится, все болит, ничего не хочется и на все наплевать. Поднялся он только на третий день. У порога его снова вытошнило — и стало сразу легче: он поднял голову, обтер рот прямо ладонью, рука дрожала, он сам весь дрожал, и пошел. Шел и шатался, но до «Голубого Дуная» все-таки дошел. Там было полным-полно, над бочкой орудовала пухлая розовая буфетчица — ни дать ни взять подарочная баба с чайника из магазина сувениров. Он слепо через толпу пошел на нее и заказал сразу шесть кружек пива. Кто-то донес их до свободного стола. Он сидел и пил не отрываясь. Одна кружка, другая, третья — все они рядком стояли на столе. Люди смотрели на него и сочувствовали. А подначивать — никто не подначивал, потому что все понимали. Потом он встал

и пошел. А на половине пути вдруг тучи прорвало и хлынуло солнце. Сразу все кругом запестрело, заблистало, застрекотало, зачирикало. Стало светло, тепло, горячо, просторно. Он опустился под куст. Посидел, подумал, сходил куда-то. Стало совсем ладно. А солнце грело, светило, слепило, валило его на траву — и как упал, заснул, он совсем не помнит.

Проснулся вечером и сразу же вскочил. Он был весь как воздушный — не то он есть, не то его и нет вовсе. Все стало легким до обалденья. Легко он вознесся на гору, легко сунул голову в палатку и застыл. Перед столом сидел отец Андрей в очках и писал.

— Андрей Эрнестович! — воскликнул он восторженно.— А я-то...

Отец Андрей повернулся и посмотрел на него. Взгляд у него был, как пишут беллетристы, влажный. Значит, уже того...

— А я ведь записку вам пишу,— сказал он.— Пришел, смотрю, вас нет, а все открыто, разбросано. Как же так можно? Тут и костюм новый, и патефон, и «лейка». И все валяется. Велосипед на улице. Сейчас в горах вон сколько народу съехалось, стянут, и поминай как звали. Вот решил подождать, пока не придете. Ну что вы, а?

Корнилов рывком подскочил к нему, схватил его за плечи, обнял и даже всхлипнул — такую нежность сейчас почувствовал он к этому старику, так было хорошо, что он пришел.

— Ну, ну,— сказал отец Андрей, улыбаясь.— Что это с вами? Небось опять перебрали? У Волчихи?

— Нет, не у Волчихи,— ответил Корнилов, с умилением рассматривая его сухое иконописное лицо, острую бородку, милые мелкие и тонкие морщины,— нет, не у Волчихи, Андрей Эрнестович, а со своими ребятами. Рассчитывал их, вот и...

— Ну они и обрадовались! Свои-то не все ухнули? На хлеб-сахар осталось? Ну и ладно! Небось голова болит?! Идемте, подправлю.

— К Волчихе, отец Андрей?

— Нет, не к Волчихе, уважаемый товарищ Корнилов,— гордо произнес отец Андрей и слегка откинул голову,— а в мою собственную резиденцию. Да-с! Я теперь холостяк! Дочка на свиданье с мужем в Сочи уехала! А я, значит, сам себе голова. Вот и пошли ко мне. Покажу я вам свою келью под елью. Только «лейку» забирайте, забирайте. А то доброму вору все впору.

Своей кельей под елью отец Андрей называл зимнюю застекленную террасу. Она была очень длинная и выдавалась, как выдвинутый спичечный коробок. Бог его знает, кто и зачем строил такие дачи. Первое, что бросилось Корнилову в глаза, это книжные полки. Они тянулись из конца в конец и от низу до верху. Он посмотрел: комплекты «Нового мира» и «Красной нови», перевязанные бечевкой, собрание сочинений Чехова (приложение к «Огоньку»), полное собрание Ленина, разрозненные толстые тома сочинений Маркса и Энгельса и много переводной беллетристики двадцатых годов — пестрые бумажные обложки с броскими рисунками тушью и кармином.

— А где божественное? — спросил Корнилов.

— Вот мое божественное,— сказал отец Андрей и подвел его к небольшой полке над письменным столом. Там стояли сплошь медицинские книги, в том числе несколько учебников по акушерству.

Он недоуменно посмотрел на Куторгу.

— И это приходилось! — кивнул ему головой Куторга.— Все приходилось! На то и Север! Золотая Колыма, как ее там называли. Я ведь в лагере особые фельдшерские курсы окончил. Но это, конечно, пустяк, как там вывих вправлять или банки поставить, руку перевязать, это я и раньше умел, а вот то, что я пять лет со знаменитым, можно сказать, с мировым светилом проработал, ему ланцеты да пинцеты подносил — вот это уж не пустяк! Я, если хотите знать, полостные операции делал! А один раз в рыбачьем поселке аппендикс прямо тут же на столе вырезал, только стол приказал отпарить да отдраить ножом добела, и вся дезинфекция.

— И без наркоза? — удивился Корнилов.

— Ну, было у меня кое-что, но так, почти символическое. Вообще-то я в ту пору больше на спирт полагался. Сразу подношу полную жестяную кружку и приказываю: «Пей духом, ну!» — выпил и на стол. Ну, конечно, не живот потрошил, но, бывало, даже пальцы вылущивал. Вы что же, не верите! Эх, не желаю я там вам побывать, но если побываете да живым выйдете, о! Многое тогда в жизни поймете. Хорошо, я пойду по хозяйству, а вы тут пока книжечки посмотрите, это все дочкино приобретенье, мои, говорю, только эта полка, там-то есть что посмотреть.

Когда он вернулся, Корнилов стоял у письменного стола и вертел в пальцах бронзовый бюстик.

— Что такое, Андрей Эрнестович? — спросил он.— Откуда это?

Отец Андрей посмотрел на него.

— Часть письменного прибора,— ответил он,— привинчивалась к чернильнице. Ну и что вы любопытного скажете об этом, а?

Это был бюст Дон Кихота. Он, пожалуй, ничем существенным не отличался от образа, созданного Доре и после него повторенного сотни раз художниками, карикатуристами, скульпторами, оперными и драматическими актерами. Та же лепка сухого благородного лица, те же усы и бородка, тот же самый головной убор. Но этот Дон Кихот смеялся; он высовывал язык и дразнил. Он был полон яда и ехидства. Он торжествовал. Он сатанински торжествовал над кем-то. И был он уже не рыцарем печального образа, а чертом, дьяволом, самим сатаной. Это был Дон Кихот, тут же на глазах мгновенно превращающийся в Мефистофеля. И тогда становилось ясно, что совсем не шлем у него на голове, а капюшон и под ним рога, что у него бесовский острый подбородок и усы, как у адского пса.

— Ну так что вы скажете?— спросил отец Андрей.

Корнилов все смотрел на бюст.

— Ну что ж, и такое может быть решенье,— сказал он наконец.— И против него нечего возразить.

— Какое?— спросил отец Андрей.

— А вот какое: рыцарь бедный, Ян Гус, Дон Кихот, Франциск Ассизский...— он съел какое-то имя,— ну еще кое-кто. Что они принесли в мир, зло или добро? Кто ж это поймет! Не пытают ли они мир добром и жалостью? Ведь вслед за ними, их добром идут убийства, сумасшествия, за святым Франциском — святая инквизиция. За Гусом — гуситские войны, нищета. Одним словом, после мучеников всегда идут палачи. Так как вы приобрели эту вещь?

Отец Андрей подошел и сел рядом.

— От отца досталась! Отец был у меня, Владимир Михайлович, замечательный человек, можно сказать, история русской общественной мысли! Журналист, поэт-шестидесятник. И превеликий грешник! Вот я его грехи, наверно, и замаливаю. В «Отечественных записках» писал. Герцену письма слал. К Чернышевскому в Астрахань ездил. Все хотел спросить: что ты высидел в вилюйском остроге, мученик? какая последняя истина там тебе открылась? Слышите — последняя! Страшные вопросы! Но не задал он их, не задал! И кроме разговора с Ольгой Сократовной, ничего у него не получилось. Вернулся и запил. Он ведь страшно пил! Не запойно, но страшно. Напьется и ревет. Именно

ревет, а не плачет. От этого еще сравнительно молодым и погиб. Я его еле помню. Атеист он был ярый. Впрочем, может быть, и не атеист, а богоборец — такие тоже тогда бывали. Мать, как только отец умер, этого черта на чердак выбросила, а я уже после революции копал грядку под капусту и откопал его. Вот с тех пор он у меня и стоит, прижился.

— Да,— сказал Корнилов,— да!

Он вздохнул и поставил бюст на место.

— Нехорошо что-то мне все эти дни, Андрей Эрнестович.

— А что такое?

— Не знаю...

— А это у вас не...? Как говорится... Не зубная боль в сердце?

— Это та, от которой, по Хайне, отлично помогают свинцовые пломбы и зубной порошок Бертольда Шварца? Нет, не она.

— А что же тогда?

— Не знаю. То есть знаю. Конечно, знаю. Напьюсь, может быть, скажу. А потом, ведь это же анахронизм. Ну, вот эти пилюли-то, анахронизм! Где я их возьму? Это благородному Вертеру подходит, а не нам. Для нас мышьяк, пятый этаж, чердак, петля! Вот это точно наше. Как по-вашему, отец?

Отец Андрей нахмурился.

— А как по-моему? По-моему, единственный грех, который Бог не прощает христианину,— это самоубийство. Самоубийцы извергнуты на веки веков из лона милосердия Господнего. Их ни отпевать, ни хоронить в освященной земле нельзя. Вот на кладбище для скотов, туда пожалуйста — стащат, выроют яму, бросят и закидают землей. И все! Лежи!

— Да? — вздохнул Корнилов.— Жестокий же у вас Бог, очень жестокий. И никакого прощенья, значит? Здорово! Дайте-ка мне еще раз вашего черта! Смеется, подлый! Он так и вашему отцу-атеисту в лицо смеялся? А кстати, как он умер-то?

Отец Андрей поднял бутылку и налил стаканы.

— Повесился. На чердаке.

Они выпили одну стопку, налили другую. Отец Андрей начал рассказывать о Севере. Рассказывал он хорошо, артистически акал, и Корнилов все время смеялся. Особенно ему понравилась история артельной стряпухи — баронессы Серафимы Барк. Руки у нее были шершавые, как кора, но в некоторые дни она

надевала браслеты и золотой перстень с печатью. Однажды при нем она рыбацким матом пуганула здоровенного верзилу — пришел за водкой — и тут же повернулась к отцу Андрею и объяснила по-французски: «Это ужасно, как приходится обращаться с этим народом, но, увы (hélas, hélas), иного языка он просто не в состоянии понять. Теперь он понял, что это решительный отказ, повернется и уйдет». И действительно, верзила ушел.

— Кстати, с этой бабкой Фимкой большой конфуз вышел,— сказал отец Андрей,— какой-то институт лет пять назад организовал фольклорную экспедицию. Искали по всему Поморью старых сказителей. Но где ж найдешь? Нету! Кто-то по дурости, что ли, или по озорству, не знаю уж как, и направил их к бабке Фимке. Она и напела им десятка два песен. Прямо по Авенариусу шпарила, есть у него такая книга «Былины в обработке для детей среднего возраста». У тех инда глаза на лоб полезли. Вот это материал! День и ночь сидели. Все валики исписали, ведро водки выдули! Бабка употребляла! Уехали. Снова приехали. Тут она им сказки по Сахарову са-амые что ни на есть озорные преподнесла! На Севере этого добра ведь хоть отбавляй! Те опять все валики исписали. А на самый последний день при прощанье она им после шампанского и тостов и поднесла, кто она такая и откуда,— озорная была старуха, прости ее, господи. Так начальника экспедиции чуть удар не хватил! Он, как клушка, закудахтал! «То есть как же так? Как-как? Смольный! Да это же государственные деньги! Ведь эт-то, эт-то...» Вот тебе и это! — Отец Андрей рассмеялся и махнул рукой.

«А что, если бы он узнал, куда я хожу с его рукописью?» — подумал Корнилов и вдруг брякнул:

— А ведь меня туда вызывали.— Он мгновенно ошалел, потерялся и, не зная, что сказать, еще настойчивее повторил: — Туда! Туда! Вот туда! — И наподобие ученого секретаря потыкал пальцем в потолок.

Отец Андрей взглянул на него, опрокинул стопку в горло и затряс головой.

— Ч-ч-черт! — прошипел он.— И крепка же окаянная! Градусов на семьдесят, пожалуй! — Он перевел дыханье и встал.— Ну что ж, Владимир Михайлович, все там будем! «Се предел, его же не перейдешь». Стойте-ка, я вот за огурчиками сбегаю.

Странно, но на Корнилова этот почти голый спирт как будто и не подействовал. Необычайная трезвость и ясность вдруг сошли на него. Он сидел и думал.

«Все это, конечно, хорошо, и поп, и его вишневка, и то, что я сказал,— все хорошо, но вот дальше-то что? Вот скоро вернется директор. Я разочтусь, уеду, уйду, и вот им всем нос! А Даша? А Лина? А Зыбин? Ну, Лину, конечно, к дьяволу, но вот Даша».

И он стал думать, как он встретится с Дашей и что он тогда ей скажет. Думать об этом было приятно, и он даже улыбнулся.

Отец Андрей пришел и принес тарелку с огурцами.

— Вот пробуйте,— сказал он,— личное мое производство! А они всех вызывают, они и меня вызывали.

— Как? — ошалел Корнилов.— И вас?

— И меня. Вы кушайте, кушайте, пожалуйста! Да, вызывали. Ну а что я могу знать? Георгий Николаевич в музее — вот,— он поднял руку к потолку,— а я — вот.— Он опустил руку до пола.— Кто я такой? Поп! Отставной козы барабанщик! А Георгий Николаевич — персона грата! Провел он раз с нами инструктивную беседу, как карточки заполнять, вот и все, только я его и видел. Так я сказал, и они даже и записывать не стали.

— А кто вас допрашивал?

— Допрашивал! — усмехнулся отец Андрей, покачал головой и вздохнул.— Слова-то, господи, какие! Меня не допрашивали! Допрашивают подсудимых! Со мной раз-го-ва-ри-ва-ли! А разговаривал со мной лейтенант Голиков. Вас не он вызывал?

— Нет, не он.

— Ну, конечно, их там много! Вон ведь какое здание! Ну что ж? Меня к одному, вас к другому, меня про одно, вас про другое — вот, пожалуй, правда и выплывет.

— Какая правда-то? — нахмурился Корнилов.— Как, по-вашему, за что Зыбина взяли?

Отец Андрей улыбнулся и пожал плечами.

— Ну все-таки, за что?

— Не знаю, Владимир Михайлович, и даже не интересуюсь. Мирская власть — хитрая механика. Таких людей, как ваш шеф, чаще всего берут не за что-нибудь, а для чего-нибудь.

— Как, как?

— Ну, или во имя чего-нибудь. Чтоб не мешал, значит. Власть что-то задумала, а он не согласен и мешает. Или способен помешать. Ну вот его загодя и убирают по принципу: «Лучше нам, чтоб один человек умер за людей, нежели чтоб весь народ погиб». Вот по этому принципу и берут.

— Что это такое?

— Да опять-таки Евангелие. Знаменитая одиннадцатая глава от Иоанна. Ну что ж, с точки зрения мирской власти, это вполне логично.

— Здорово,— поглядел на него Корнилов и вдруг взбеленился: — «Лучше нам»! А кто это «вы»? Хотел бы я хоть на минуту взглянуть на ваше светлое лицо! Просто узнать, от чьего имени и во имя чего вы сейчас бандитствуете, благодетели! Хотя да, да! — махнул он рукой.— «Несть власти аще не от Бога» — у вас ведь на все есть цитаты! Эх вы, отцы, отцы! — Он мутно улыбнулся, помолчал, покачал головой.— Но вот в одном вы правы. Если человек опасен — его уничтожают. Чик — и нет. Значит, кто-то кому-то доказал, что Зыбин опасен, вот и все. Но я другое не понимаю — вот вы? Вы ведь тоже опасная личность, из бывших, а вот сидите, водку пьете со мной, сочинение мракобесное пишете, и вас не трогают. Почему? Есть причина, а?

— Хм! — усмехнулся отец Андрей.— Это с каких же пор я стал опасной личностью? Что я поп, мракобес, вредный элемент — это все так. Но вредный, а не опасный! Прошу вас заметить! Я ничем и никому не грожу. Меня упразднили, и все! И вот я уже не вреден, а полезен. Потому что работаю. Лес валю, в море хожу, за отца, за праотца спину ломаю. А что же делать-то? Пить-есть надо! Ну не хмурьтесь, не хмурьтесь, вижу я, как вас моя поповская беспринципность возмущает. Ну не буду больше. Да и вообще, что это мы с вами затеяли? Вот вы скажите лучше, как вам мое сочинение-то понравилось?

Корнилов сжал граненый стакан так, что у него занемели пальцы.

— Понравилось,— сказал он тихо, а в глазах у него все прыгало.— Очень понравилось! И не только мне, а и товарищу Суровцеву.

— Это что же за товарищ Суровцев? — спросил отец Андрей, разрезая огурец.

А Корнилов все набирал и набирал высоту. Он уже парил над всем. И ему нужно было с этой высоты выплеснуть все, что его переполняло, перехлестывало через край. Он по-настоящему уже изнемог.

— Не знаю кто,— сказал он, усмехаясь,— следователь или оперативник, ну, в общем, сидит в большом доме и специально интересуется вами.

— И он попросил у вас рукопись? — мирно спросил отец Андрей.

— Зачем попросил? Я сам ее принес. Как только получил от вас, так и принес. Он меня вызвал и спросил: «Кто такой Куторга?» Я сказал: «Поп». «А

чем он сейчас дышит?» — «Сидит над книгой о Христе». — «Это какая же такая книга?» — «Могу, если угодно, принести». — «Принесите». Я принес. Он взял, спрятал в стол, а через неделю позвонил: «Придите заберите свое евангелие». Я пришел и взял. Вот и все.

Он выплеснул все это разом, в холодном ожесточении, почти в горячке, боясь остановиться, упустить хоть полсекунды, потому что если упустил бы ее, остыл, то больше ничего и не сказал бы. А сейчас он говорил и говорил и не мог остановиться. Ему не только это хотелось рассказать, ему хотелось еще и дальше рассказывать. Рассказывать о себе и о своей нелепой, смешной жизни, про то, где он родился, как и на кого учился, как его неудачно в двадцать один год женили, и про все остальное тоже рассказать — про отца с матерью, про старшую сестру, про ее мужа — крупного военного, как они его любят, о нем хлопочут, посылают ему посылки и бандероли, а ему ничего не надо, только бы его оставили в покое, только бы не трогали! Да, да, в покое, в покое! Затем ему не терпелось, просто необходимо было рассказать про своего первого следователя и как он его, подлец, тогда купил. Он стал бы говорить про это даже и тогда, если бы отец Андрей возмутился, прервал его, сказал бы, что порядочные люди этак не делают, — кто позволил ему носить его рукопись в этот дом? О, тогда бы он просто забил бы его словами! Он бы тогда клокотал от возмущенья! Эх, Андрей Эрнестович, Андрей Эрнестович! Губернаторский исповедник! Какой же из вас, к дьяволу, отец духовный, если вы даже в этом не разбираетесь?

Но отец Андрей смотрел на Корнилова как-то очень обыденно, и Корнилов ничего не сумел прочесть в его прямом взгляде. Он просто наткнулся на него и стих.

— Мирская власть! — сказал отец Андрей задумчиво. — Что ж тут попишешь? А поставь нас на их место, мы бы за пару месяцев все пустили ко дну. А тут, видите, плывет, плывет кораблик. — Он помолчал, подумал, постучал пальцами по столу. — А то, что вы показали мое сочинение, — это правильно. Теперь они успокоятся. Поп и есть поп, и нечего с него спрашивать! Вот только из музея, пожалуй, турнут! Ну да бог с ними.

— Ну! — возмутился Корнилов. — Что вы, Андрей Эрнестович! Зачем вы так говорите?! Да наш директор никогда не согласится.

— Согласится директор, согласится, — чуть улыбнулся отец Андрей. — Почему, спрашивается? Понятно

почему: чтоб не работал мракобес в культпросвете. Ну что ж? Не в первый раз и не в последний! Я к таким концам давно уже приучен! Ладно! Работы я не боюсь! Вон взгляните на мою ладонь! Нет, пощупайте, пощупайте! Как дерево, правда? Еще месяц, и наступит самый мой сезон — поеду наниматься в лесосовхоз. А в этом деле я уж не поп, а профессор! Ну-ка давайте выпьем за эту мою профессию. Берите стопку. Да, впрочем, что нам стопка! Подождите, я стаканы принесу!

— Мирская власть,— сказал отец Андрей, отфыркнулся и отодвинул пустой стакан,— она ведь вещь хитрая. Ее не поймешь, у нее тысяча одно соображенье. В этом смысле история с Пилатом очень показательна! Ведь и до сих пор не разберешься, как он относился к Христу. Мнения об этом разошлись, можно сказать, диаметрально. Вот и вы: «Председатель воентрибунала! — осудил и руки вымыл! Так что ж? Значит, хоть и распял, а не виноват?» А я бы вот, представьте, не смеялся. Я бы понял, что и такое бывает тоже! Потому что хитрая, хитрая вещь — мирская власть! Вот власть духовная — та много проще. А в истории Христа с этой стороны так все даже очень просто. Не понравился Христос — его схватили, судили, осудили, убили, вот и все. Хотя осудить было тоже нелегко.

— Нелегко?

— Поначалу даже очень нелегко. Потом уже пошло проще, а вначале все чуть совсем не сорвалось. Ведь сразу к лжесвидетельствам не приступишь, нужен какой-то разбег, отчаянность! И на следствиях тоже не сейчас же начинают орать — надо какое-то время, чтоб попривыкнуть к подследственному, так сказать, наглядеться на него вдосталь. А тогда было все в тысячу раз сложнее. Вот послушайте, с какой речью обращается председательствующий к свидетелям.— Отец Андрей подошел к письменному столу, открыл папку и вынул оттуда тетрадочный лист.— «Может быть, вы говорите предположительно, по слухам, с чужих слов и не знаете, что, прежде чем мы примем ваше показание, мы испытаем вас раскаяньем и исследованьем. Помните, что если дело идет о деньгах, то деньгами все и может быть искуплено, но вот в этом деле кровь невинного и кровь всех неродившихся потомков его до скончания веков будет лежать на лжесвидетеле, ибо не зря о Каине сказано Господом: «Голос кровей брата

твоего Авеля вопиет ко мне». (Слышите? «Кровей», а не «крови»! «Кровей всего неродившегося потомства Авелева»). Затем и был создан Адам единственным, чтоб научить тебя — погубивший единую душу губит весь мир, а спасший невинного спасает все человечество. Ибо если человек с одного своего перстня снимет тысячу отпечатков, то все они будут одинаковы, а Бог с одного Адама снял облик всех людей, и так, что хоть они равны, ни один не похож на другого. Вот поэтому ты и должен считать: весь мир был сотворен единственно ради того, кто сейчас стоит перед нами и чья жизнь зависит от твоего слова». Вот такое напутствие. После этого и начинается опрос свидетелей, и подходят они по одному. А обстановка такая: глубокая ночь (петух кричал второй раз, значит, все происходило от второго до третьего часа), горят медные семисвечники, помещение огромное, каменное, пустое, половина его всегда во тьме. Семьдесят два судьи на полу на подушках, два полукружья, лицами друг к другу, чтобы каждый видел глаза другого. В центре три секретаря — один записывает речи подсудимого, два других — показания свидетелей. Один — обвинительные, другой — защитительные. Ну ясно, что лжесвидетели при такой обстановке сбиваются, путаются. «Многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства эти не были достаточны»,— говорится в Евангелии от Марка, то есть ни один из свидетелей не подтвердил полностью слова другого. Но вот выступили порознь два свидетеля, показания которых как будто бы совпадали.

— Это Иуда и тот другой?

— Не знаю, может быть, и они. Ведь все, что касается этого ночного судилища, очень неясно. Кто мог знать, что там происходило? Суд тайный, посторонних не было, а обвиняемого уже тоже нет — казнили. Так вот, выступили два свидетеля и оба показали, что Христос поносил храм. Более страшного преступления вообще нельзя было представить, но и эти показания были отведены. По Марку, Иисус будто бы сказал: «Я разрушу сей храм рукотворный и через три дня воздвигну другой, не руками построенный». У Матфея же это звучит иначе: «Я могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». О! Видите, какое противоречие!

— Нет, не вижу,— сказал Корнилов,— по-моему, это одно и то же.

— Ха! По-вашему! Плохой же вы юрист. Громадное расхождение! Вы подумайте-ка: «Я разрушу этот храм». Этот! Страшно определенно — то есть вот этот самый, о котором мы сейчас говорим. Тут стоит

определительный артикул. Тот, в котором хранится скиния завета — святая святых народа израильского,— храм Соломонов. И воздвигну другой — нерукотворный! Это, позвольте спросить, какой же? Твой собственный? Храм Иисуса? Сына Иосифа и Марии? Того, у которого братья Яков, Иосиф, Иуда, Симон и еще сколько-то сестер? Какой же храм своего имени ты нам сулишь построить, пророк, вместо этого Соломонова — таков смысл показанья первого свидетеля.

— Ну а второй что показал?

— А второй показал: «Я могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». По смыслу, конечно, не могу, но мог бы — наклонение сослагательное, но неважно! Вот какой я, мол, сильный. Какой храм? Определительного артикула нет, значит, любой! А ведь их множество. Ведь все храмы Божии! Так ты в три дня можешь построить нам синагогу? Ну и хвастун же ты, строитель! Сколько денег, наверно, зря с дураков содрал. Рассмеялись и отошли. Вот и все. Так что объединить оба показания не удалось. Обвинения захлебнулись. Иисуса надо было отпустить.

— Куда? Обратно к возлюбленным ученикам Его? К Петру? Фоме и Иуде? — Корнилов и сам не понимал почему, но то, что его признание не произвело на отца Андрея, кажется, ровно никакого впечатления—он просто выслушал да и заговорил о другом,— как-то очень больно ударило его по нервам. Лучше бы уж выругался, или ударил, или прогнал, а то получается так, что иного от Корнилова и ждать было невозможно.

— А что вы Петра-то так невзлюбили? — усмехнулся отец Андрей.— Он ведь как-никак был единственный, кто не покинул учителя, остальные, как сообщает Марк, «оставив его, все бежали». Вот вы знаете, почему вся эта печальная история кажется мне совершенно достоверной? Уж слишком все тут почеловечески горько и неприглядно. Разве это апостолы? Разве это мученики? Больше того, да разве это христиане? Ведь христианин должен

На смерть идти, и гимны петь,
И в пасть некормленого зверя
Без содрогания смотреть.

Или, как сказал святой Игнатий, «я пшеница Божия и пусть буду измолота зубами зверя, чтоб стать чистым хлебом Господним». А тут что? «Даже атаман разбойников, предводитель шайки негодяев, и тот никогда не бывает предан своей сволочью, если только он сам не предавал их». Это Порфирий, лютый ненавистник

Христа и христианства, сказал об апостолах! Да разве вы первый иронизируете насчет Петра? «Как может быть фундаментом церкви тот, который, из уст какой-то жалкой рабыни услышав слово «Иисус», так смертельно перепугался, что трижды нарушил свою клятву?» Это тот же Порфирий. А сам Христос? Помните? «Разбудив их, начал ужасаться и тосковать и сказал им: — Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И еще: «Отче, все возможно Тебе, пронеси сию чашу мимо меня». А на кресте: «Или, или, лама савахфани, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня», — а в некоторых рукописях и того резче: «Зачем ты унижаешь меня». А потом эта мольба: «Жажду!» И добрые палачи суют ему губку с уксусом. Где, в каких житиях вы найдете подобное? Недаром же другой ненавистник, Целий, тот уж прямо ехидничает: «Если уж он сам решил принять казнь, повинуясь отцу, так что ж звать его на помощь и молить об избавлении: «Отец, да минует меня чаша сия»? Почему он не стерпел на кресте жажду, как ее часто переносит любой из нас?» А тот же Порфирий еще добавляет: «Все эти речи недостойны не только сына Божьего, но даже просто мудреца, презирающего смерть». Увы, все это так. И ответ только один: «Се — человек!» И ничего с этим человеком евангелисты поделать не смогли! Не посмели!

— А хотели?

— Ну конечно хотели! «Трижды и четырежды, — пишет Целий, — переделывали они первую запись Евангелия, чтоб избегнуть изобличенья!» Да! Самого страшного из изобличений — изобличения в правде. И все-таки это вот немощное, мятущееся, бесконечно человеческое, болящее вычеркнуть не посмели! И Бог — немощный и слабый — все равно остался Богом! Богом людей. Понимаете? Да нет, где вам понять!

— Да нет, понимаю, — серьезно заверил его Корнилов. — И вот знаете, что мне сейчас вспомнилось? Лессинг писал где-то, что мученик — самая недраматическая фигура в мире. Об нем и трагедии не напишешь. У него ни поступков, ни колебаний, ни переживаний — одно терпение. Его мучают, а он терпит, его искушают, а он молится. Тьфу! Тоска! Но вернемся к нашим баранам. Значит, свидетели зашились?

— Так зашились, что приходилось отпускать подсудимого. Но, как говорится, не для того берут, чтоб отпускать. Председательствующий обращается к Иисусу с заклятием. «Заклинаю тебя Богом живым, — говорит он, — скажи нам, ты ли Христос, сын Божий?»

О! Это уже крупнейшее нарушение закона. С таким заклятием можно было обращаться только к свидетелям. Если бы Христос теперь отрекся или ответил на вопрос председателя как-нибудь эдак невнятно, двусмысленно — его обязаны были отпустить. Но он чтил дело своей жизни больше самой жизни, больше матери, сестер и братьев, закона и храма, и в этот самый страшный момент его жизни он не посмел! — слышите, просто не по-смел! — это дело предать. Ведь скажи он только: «Нет, я совсем не тот, за кого меня выдали» — и все! Синедрион победил. Семьдесят два судьи, а за ними стража, свидетели, секретари, служки, в общем, человек сто, вся орава их торжественно выводит его на площадь. На ту самую площадь, где он проповедовал, ставят перед толпой и учениками и провозглашают: «Мы судили сего человека и нашли, что он чист. Он никогда не выдавал себя за Христа, он не обещал вам от себя царство Божье. Он только по своему уму и разуменью толковал вам пророков, а вы его не поняли». И все. И Христа нет. В мире ничего не состоялось. История прошла мимо. А он знал, что такое искушение когда-нибудь наступит и надо его преодолеть смертью, но умереть осмысленно и свободно, не как Сенека христианствующий, а как сын человеческий.

— А что ж, по-вашему, Сенека умер не свободно?

— Может быть, и свободно, да не так. Он скорее не умер, а сбежал. Для Сенеки смерть была освобождением от компромиссов. А в них-то Сенека ох как был грешен! Вот осознав все это, он и написал однажды такое. Очень красивое. Он умел писать красиво. «Куда ты ни взглянешь — ты везде увидишь конец своих мучений. Видишь эту пропасть? В глубине ее твоя свобода. Вот искривленное дерево — низкое и уродливое — твоя свобода болтается на нем. Видишь это море, реку эту, колодец этот? На дне их твоя свобода». Но Иисус и так всю жизнь чувствовал себя совершенно свободным, свободным, как ветер, как Бог. Евангелие донесло до нас это ощущение. «Вот человек, который любит есть и пить вино», — говорили о нем другие. «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, и имели с избытком», — говорил он о себе сам. Жизнь для него была радостью, подвигом, а не мученьем. И вот именно поэтому на вопрос председателя он не смог ответить «нет», он ответил «да». Евангелисты передают его ответ по-разному, но в общем, он сказал это как-то очень просто, односложно, лишь бы поскорее отделаться. Порфирий упрекает его за это. Ему кажется, что в такой решающий момент человек должен вырасти со

скалу, разразиться громом и молнией, глаголом сжечь сердца судей. «То ли дело,— говорит он,— Аполлон Тианский! Как он обличал императора Домициана!» Но Христос не Аполлон, он истомился и измаялся смертельно, его тошнило от всего, что происходило, он хотел в этот момент только одного: скорее, скорее, скорее! Может быть, он боялся даже, что не выдержит и рухнет. Но и судьи тоже торопились. «Итак, ты сказал». Председательствующий рвет свою одежду до пояса. Это все равно что переломить судейский посох. «Повинен смерти»,— говорит он. «Повинен смерти»,— подтверждают семьдесят один. Конец. «И поднялось все множество их и повело к Пилату». В дело вступает Рим — проконсул Иудеи Понтий Пилат.

Он, видимо, никогда не считался человеком первого сорта. Он происходил из богатой самнитской семьи. Ведь самниты — это так называемые союзники, а не римляне. У них и гербы разные: у римлян — волк, у них — бык. Если помните, были даже три союзные войны, и тогда быки стадом шли на волков. Но это было и прошло. Теперь Понтий Пилат, во всяком случае в Иудее, чувствовал себя римским патрицием, белым человеком в дикой восточной стране. Характер у него был деятельный и энергичный. Таких в Риме в ту пору звали homo novus, новый человек то есть, в этом прозвище нечто непередаваемое — пренебрежительное, этакий легкий щелчок по носу. Нувориш, выскочка, мещанин во дворянстве, «из грязи в князи». Евсевий пишет, что Пилата прислал в Иудею Сеян — был такой свирепый негодяй у Тиберия. Потом его, разумеется, тоже казнили. Так вот, этого Понтия Пилата Сеян как будто назначил проконсулом именно за его ненависть к евреям. Очень может быть. Во всяком случае, такого тирана Иудея еще не знала. «Взяточничество, насилие, казни без суда, бесконечные ужасные жестокости» — так, по Филону, писал о Пилате царь Агриппа Первый Тиберию. Что ж? Так оно, вероятно, и было. Но Христа казнить он все-таки не хотел. Почему? Вот отсюда и начинается путаница. Христианские писатели страшно все усложнили. Тут мне припоминается давний разговор с одним академиком. Он мне сказал: «А что ж, батюшка, в нем вы находите непонятного? Вот уж где воистину никакой загадки нет. У нас, например, в нашем просвещении такими пилатами хоть пруд пруди. Это типичный средний чиновник времен империи. Суровый, но не жестокий, хитрый и знающий свет. В вещах

малых и бесспорных — справедлив и даже принципиален, в вещах масштабом покрупнее — уклончив и нерешителен. А во всем остальном — очень, очень себе на уме. Поэтому хотя и понимает истину, но при малейшем тумане начинает крутить, умывает, так сказать, руки. В случае с Христом это проявилось особенно ясно. Вот и все». Ну тут, как я сейчас понимаю, академик был не совсем прав. Действовали еще и особые причины.

— И какие же?

— Ну, первая та, что я уже назвал. Терпеть он не мог этих грязных иудеев. А так как и иудеи платили ему тем же, то все и запутывалось окончательно. И в этих хитросплетениях Пилат порой даже терял голову. Он, человек хитрый и трезвый, все время жил в таком запале, что порой забывал обо всем. И был в такие моменты вздорен и не умен. Бык, осаждаемый шакалами! Где мог — унижал, кого мог — уничтожал! У Луки есть такое место: Христу рассказали однажды о галилеянах, кровь которых Пилат во время богослужения смешал с жертвами их. И Христос спокойно ответил: «Что ж вы думаете, эти галилеяне грешнее других?» Видите, как коротко и просто! За что про что перебил невинных, об этом и спроса нет, перебил, и все! Самое обыденное дело. Такое обыденное, что оно и разговора не стоит. Но благодарное население хоть убивать-то себя и давало, а все брало на заметочку и посылало в Рим «вопли». И когда они попадали в руки императору, Пилат получал нагоняи. От него требовали объяснений. Тиберий был опытный администратор и много шума из ничего терпеть не мог. Да! «О, род рабов!» Да! Люди — льстецы: рабы, трусы и предатели, но и с ними нужно уметь обращаться. У меня они вот не орут, даже когда я их душу. Почему же орут у тебя, проконсул?

— Это Тиберий, кажется, ввел кары и казни за каждое оппозиционное слово?

— Он, он! 58, пункт 10. Закон пятнадцатого года! «Критика действий императора приравнивается к оскорблению величия Римского народа». За это сразу же секли башку.

— Хорош опытный администратор!

— А чем же плох? Идеалист, конечно, но далеко не единственный в истории. Их и через две тысячи лет не очень поубавилось. Как бы там ни было, кончил Пилат плохо. По одним источникам, покончил с собой при Калигуле. По другим — его казнил Нерон, по третьим — его сослали в Швейцарию, и он там утонул в Люцернском озере. В Альпах есть вершина, которая называет-

ся Пилат. В Великую Пятницу — день суда — на ней появляется огромная тень и все моет, моет руки. Вот там, в Швейцарии, году в двенадцатом я и видал мистерию — представление Страстей Господних. Зрителей было тысяч десять. Все происходило под открытым небом в альпийской долине. Луга и снежные вершины! И под ними движется шествие: легионеры, разбойники и большая белая фигура — Христос. Тогда я вспомнил Шекспира! Хроники его! Вот кто мог бы написать трагедию о Христе! И знаете? Почти ничего не пришлось бы присочинять. Все уже есть у евангелистов. Образы, характеры, обстоятельства, бессмертные диалоги, где одной строчкой сказано все. Если бы еще кое-что заимствовать из некоторых апокрифов. Вот послушайте.

Пилат: Ты царь иудейский?

Иисус: Это ты сам спрашиваешь или повторяешь, что тебе сказали другие?

Пилат (усмехаясь и пожимая плечами): Да разве я иудей? Это твой народ, твои первосвященники привели тебя сюда ко мне. Что ж ты сделал? Ты царь?

Иисус: Если бы царство мое было от мира сего, то разве мои подданные допустили, чтоб я был схвачен и предан тебе?

Пилат(настойчиво): Но ты все-таки царь?

Иисус: Это ты так говоришь. Я же говорю: я пришел в мир, чтобы установить истину.

Пилат (с брюзгливой усмешкой): Истина, истина! А что такое истина?

Иисус: Она то, что с неба.

Пилат (усмехается): И поэтому ее на земле нет, так?

Иисус: Ты же видишь, что делают на земле с людьми, говорящими истину! Их предают таким, как ты.

Пилат: Откуда ты? (Иисус молчит.) Почему ж ты молчишь? Ведь я могу и распять и отпустить тебя.

Иисус: Вот видишь — ты можешь, а у тебя не было бы власти на это, если бы тебе она не была послана свыше! Что ж! Ты не виноват, судья! Грех на тех, кто привел меня к тебе.

Пилат (думает и что-то решает): Идем!

(Выходит из помещения во двор, наполненный народом, и садится на «судилище» — мраморное кресло судьи, стоящее на возвышении. Воины выводят за ним Иисуса. Шум.)

Пилат: Вот ваш царь.

(Взрыв криков: «Смерть ему, смерть! Распни его, распни!»)

Пилат (нетерпеливо): Тише! Вы! Послушайте! Вот вы его доставили ко мне как возмутителя народа. Я при вас его допрашивал, исследовал все обстоятельства и не нашел его виновным. Я посылал его к Ироду — и он тоже не нашел его виновным. Так вот я его накажу и отпущу. (Негодующие крики.) Стойте! Идет Пасха. У вас обычай, чтоб я отпускал одного из узников по вашему выбору. У меня сейчас находится Варавва. Он осужден за убийство во время мятежа. Кого же нам отпустить? Разбойника или Иисуса, называемого Христом?

Крики: Варавву! Варавву! Распни его! Смерть ему!

Пилат (кричит в запале): Что ж? Царя ли вашего я распну, несчастные?

(К Пилату подходит один из первосвященников, говорит тихо, едко и внушительно: «У нас нет царя, кроме кесаря, проконсул! Если ты отпустишь его, ты не друг кесаря. Всякий, называющий себя царем, враг кесаря, проконсул».)

Крики: Распни его, распни! Варавву, Варавву!

Пилат (выйдя из себя, почти безнадежно): Но какое зло он вам сделал?

Крики: Распни его! Распни!

(Пилат молча смотрит на толпу. Потом делает знак, служанка вносит сосуд и полотенце.)

Пилат (моет руки): Я не виноват в крови этого праведника. Смотрите и решайте сами.

(Вой толпы. Воины уводят Иисуса. В это время к ним подходит первосвященник.)

Первосвященник: Эй, разрушающий храмы и в три дня созидающий их вновь! Вот спаси теперь сам себя, сойди-ка с креста!

(Смех толпы и крики: «Да будет распят! Да будет распят! На нас его кровь! На нас и детях наших!»)

— Вот примерно как это звучит, если изложить рассказ евангелистов драматически. Я ввел только ремарки да очень неясное место насчет того, что есть истина, дополнил по апокрифическому Евангелию Петра. Итак, иудеи Пилата не любили. Они писали и писали в Рим, плакали и плакали и наконец все-таки доплакались. Пилата отозвали. Понятно, какое ожесточение до этого развивалось с обеих сторон. Так вот, первая причина колебаний Пилата. Он просто не хотел никого казнить в угоду иудеям. Но было и второе соображение. Уже государственное. Дело-то в том, что Христос — или такой человек, как Христос, — очень

устраивал Пилата. Удивлены? А ведь все просто. Два момента из учений Христа он уяснил себе вполне. Во-первых, этот бродячий проповедник не верит ни в революцию, ни в войну, ни в переворот; нет, человек должен переделать себя изнутри, и тогда все произойдет само собой. Значит, он против бунта. Это первое, что подходит Риму. Второе: единственное, что Иисус хочет разрушить и все время разрушает, это авторитеты. Авторитет Синедриона, авторитет саддукеев и фарисеев, а значит, и, может быть, даже незаметно для самого себя, авторитет Моисея и храма. А в монолитности и непререкаемости всего этого и заключается самая страшная опасность для империи. Значит, Риму именно такой разрушитель и был необходим. А это еще и умный разрушитель. Он отлично знал: когда хочешь разрушить что-то стародавнее и сердцу милое, никогда не говори — я пришел это разрушить, нет, скажи, что ты хочешь укрепить, поддержать, подновить, заменить подгнившие части, и когда в это поверят и отойдут, тогда уж твоя воля, пригоняй людей с ломами и давай! Круши, ломай! Вот знаменитое начало Нагорной проповеди: «Не нарушать законы я пришел, а исполнить»; а вот конец: «Вы слышали, сказано древними: «ненавидь врага», а я говорю, любите врагов, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих и гонящих вас». Здорово? А все вместе это называется «скорее погибнет земля и небо, чем потеряется хоть одна йота из закона». Ну какая же тут йота? Тут уже все полетело. Теперь представьте себе состояние мира в то время и скажите: разве эти заповеди в устах галилеянина не устраивали Пилата? Ведь это за него, оккупанта, предписывалось молиться и любить его. И разве Пилат — человек государственный, знающий Восток и страну, которую он замирял,— не понимал, что это и есть та самая сила, на которую ему надлежит опереться? А что Христос именно такая сила — это он чувствовал. И смутно чувствовал он и другое: всякая кротость — страшная сила. Вы не помните, кто это сказал?

— Толстой, наверно?

— Нет. Достоевский. Он в последние годы много думал о Христе, только не знал, как же с ним поступить, и проделывал с ним разные опыты. То оставлял ему кротость и любовь, а бич и меч отбирал, и получался тогда у него Лев Николаевич — князь Мышкин — личность не только явно нежизненная, но и приносящая горе всем, кто к нему прикасался; потом возвращал ему меч, а все остальное отбрасывал — и

получился Великий инквизитор, то есть Христос, казнящий Христа. Но Пилат в этом отношении был куда реалистичнее и Достоевского и его инквизитора: Христа он понимал таким, каким он был, и такой Христос ему подходил.

— А значит, революционную, разрушительную силу проповеди Христа он даже не подозревал?

— А кто тогда мог что подозревать? И много позже никто в ней не мог разобраться. Через сто лет Плиний Младший пытался было уяснить себе, что это такое, но ничего, кроме «дикого суеверия, доведенного до абсурда», в нем так и не увидел. Так он и написал императору Траяну. А Тацит выразился и того чище: «ненавистные за их мерзости люди, которых чернь назвала «христианами». И дальше (дело идет о пожаре Рима): «они были уличены не столько в поджоге, сколько в ненависти к роду человеческому». Цитирую по памяти и поэтому не совсем точно. Так вот как думали и писали о христианах утонченнейшие, умнейшие, светлейшие умы человечества, и уже через много лет после казни Иисуса. Но Пилат так не думал. Он знал: этот бродячий проповедник Риму очень нужен. Его слушают, ему верят, за ним идут. Он способен создать новую космополитическую религию, приемлемую для власти. Ошибся он или нет — и до сих пор неясно. Мнения об этом разошлись резко. Так вот — вторая причина, но была еще и третья: какого дьявола они его пугают и шантажируют? Почему он должен исполнять роль синагогального палача? У них отнято jus gladii, право меча, так вот они хотят снести неугодную им голову его руками. Руками римского патриция! Да иди они к Вельзевулу! А сколько они ему гадили! Работы по строительству водопровода и то сорвали! Они ведь свиньи, им чистая вода ни к чему — они и в луже прополоскаются, а он им хотел провести иорданскую воду! Не дали! Подумать, изображенье Цезаря, боевые римские знамена — и то не позволили внести в Иерусалим! Не позволили, и все! Даже щиты пришлось убрать из Иродова дворца — на них, видите ли, портрет императора. И все им сходит с рук. И он же оказался виноват — не сумел к ним подойти. Да кто они такие? Рабы! Грязные восточные собаки! Лжецы и предатели! И вот он — сама персона императора, первый человек страны — должен по их приказу и показу казнить этого несчастного только потому, что он нужен ему, Пилату, и именно за это ненавистен им. И ничего не поделаешь — придется! Ах, если бы он был хотя бы Галлионом! Знаете, кто это?

Родной брат Сенеки. Проконсул Ахайи. Его резиденция была в Коринфе, и вот что там однажды случилось. Это место я наизусть помню: «Напали иудеи единодушно на Павла и привели его перед судилищем, говоря, что он учит чтить Бога не по закону». Слышите, совсем как в истории с Христом. Но то был Галлион, и вот чем это окончилось. «Когда же Павел хотел говорить, Галлион сказал: «Иудеи, если бы была обида или злой умысел, то я бы слушал вас, но когда идет спор об учении, об именах и законе вашем, то разбирайтесь сами, я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. И все эллины, схватив ябедника — «начальника синагоги», били его перед судилищем, а Галлион не препятствовал». Великолепная сцена и великолепный патриций: «Разбирайтесь сами»; но вот так сказать Пилат не мог, не посмел просто. Палестина была не Греция, Иерусалим не Коринф многоколонный, а он не Галлион, а попросту Понтий Пилат, homo novus. И поэтому когда он услышал это страшное: «Если ты отпустишь его, ты не друг кесаря», он сдался, вымыл руки и казнил. Вот как мы с вами! Дорогой мой друг,— отец Андрей схватил Корнилова за плечо,— вот вы говорите: они вас вызвали и забрали у вас мою рукопись. Потому, мол, забрали, говорите вы, что не хотят они меня распинать. Значит, вы там с теми же пилатами говорили. С теми же несчастными пилатами, от которых ровно ничего не зависит. С убийцами и резниками во имя чужого Бога! С бедным Иудой, которого и простить даже невозможно, потому что не за что! Ибо не они все виноваты, а те ничтожества, что сидят за семью стенами и шлют им шифровки: «Схвати, суди, казни!»

— Ох,— сказал Корнилов, морщась от дурноты и звенящей боли в висках,— о ком это вы?

Отец Андрей нависал над ним большой, костлявый, с сухим табачным лицом и совершенно круглыми дикими глазами, такими огромными, что в них хоть провалиться.

И опять Корнилову показалось, что все это сон, что сейчас что-то дрогнет, двинется, прорвется тончайшая радужная пелена, на которой все это изображено, и он проснется в своей постели. Стоит только захотеть.

— Про кого я говорю? — спросил отец Андрей грозно и тихо.— Вы понимаете про кого! Про этих двух. Про румяного карлика и полоумного Моисея. Про двух вурдалаков этих я говорю.

«Ну сон,— думал Корнилов,— ну скверный, пьяный сон, сейчас это прорвется, и я проснусь».

И пробормотал:

— Ну что вы говорите, отец Андрей,— какой такой карлик? Какой Моисей? Налейте-ка лучше мне еще.

И тут отец Андрей вдруг заплакал. Сел, уронил голову на руки и тихонечко, тихонечко, по-ребячески заплакал. Это окончательно привело Корнилова в себя. «Ничего,— подумал он,— дача пустая. Ночь. Никто ничего не слышит. Ничего!»

— Отец Андрей! — позвал он тихонько.

Поп вздохнул, медленно поднял голову и вдруг пристально посмотрел на Корнилова. Глаза у него опять были обычные, стариковские и только блестели от слез.

— Эх, милый вы мой,— сказал он горько и просто.— Сколько раз я эту историю рассказываю, никто ничего в ней не понимает. Ничего! И вот вы тоже ничего не поняли. А ведь она проста. Очень проста. Но за нее умирают или предают! — Еще с минуту он с непередаваемой горькой улыбкой смотрел на Корнилова, а потом слегка вздохнул, подвинул графин и сказал: — Ну что ж! Верно, выпьем еще по одной! На прощанье!

На другой день Корнилов проснулся как от толчка, сел, огляделся. Черт! Так и есть, валялся поверх одеяла в башмаках! Позор, позор! Этак иногда рухал на койку («костьми») Зыбин, а он его ругал: «Что за свинство, уж лень даже и разуться!» Да, но ведь утром Зыбин-то вскакивал как встрепанный, и бежал на раскопки, и весь день был на ногах, а он вот проснулся и сидит, и башка-то у него разламывается, и ничего-то ему на свете не надо, только бы никто не трогал. Часы, конечно, стали, но интересно, сколько все-таки сейчас времени? Через покорябанное целлулоидовое окошечко сочился желтоватый, как топленое молоко, вялый рассвет. Он встал, морщась и постанывая, дополз до цинкового бачка, жадно выпил одну за другой две кружки и снял клей с запекшихся губ. Как будто немного отлегло. Он сел на табуретку, и вдруг его как будто подбросило! Господи! Ведь он же пропал! Ведь он же попал в то самое, чего боялся! Что же такое было вчера? Этот проклятый поп проврался и вывалил все, что у него было в печенках! И теперь конец попу! И конец ему, если он его покроет! И Корнилову вдруг захотелось сразу же покончить со всем. Полностью рассчитаться. Прийти и сказать: вот вам еще мои

показания — последние! Вот вам еще моя подпись — последняя! И оставьте меня за-ради господа бога в покое! «Политических разговоров не было!» Все! Не было их!

— И надо же,— сказал он громко,— и надо же было мне, дураку проклятому...

Он встал, умылся, почистил брюки, вылез на дорогу, встал на обочине и поднял руку.

Одна пятитонка прошла — не остановилась, другая легковушка прошла — не остановилась, третья замедлила было ход, но из нее вдруг выглянула пара таких развеселых пограничников, что он сразу же опустил руку.

«Видно уж, не судьба,— подумал он, снова карабкаясь в гору.— Ну и черт с ним. Понадобится — приедут. У них это не заржавеет».

Приехали они за ним, однако, только через неделю. В бодрое, ясное утро прискакал вестовой, соскочил с лошади, лихо козырнул и вручил ему повестку и раскрытую разносную книгу (был как раз обеденный перерыв, и он немного задержался в палатке). «Вот здесь»,— сказал вестовой, подавая карандаш.

Он прочел:

«Гр. Корнилову В. М. Предлагается Вам явиться завтра .... к тов. Смотряеву по делу ... в комнату № .... в качестве ....
В случае неявки подвергнетесь приводу».

Бумага была плотная, печать крупная, и вообще как будто и не повестка вовсе, а пригласительный билет на первомайскую трибуну.

— День, час и минуты. Сейчас одиннадцать,— сказал вестовой.

— Ясно,— ответил Корнилов, раписываясь.— Ясно, дорогой товарищ! Я всегда за полную ясность.— Он отдал книгу.— Скажите — явлюсь.

— Это вы сами уже скажете,— улыбнулся вестовой, дотронулся до козырька и вышел из палатки.

А в горах уже наступала полная осень. Дожди вдруг перестали, и необычайная краткость и ясность проступали в природе. Деревья, вершины холмов, снежные шапки вставали четкие, чеканные, как бы врезанные в воздух. Но только там, вверху, над купами деревьев и сохранялась еще эта ясность. Внизу же все жухло, желтело и гнулось. Садовые мальвы, серые и шерша-

вые, шуршали, терлись друг о друга, и на них было холодно глядеть. Корнилов согнул повестку, сунул ее в гимнастерку и пошел, пошел по холмам — настроение у него было опять отличное. Завтра же он покончит со всем этим и придет в музей за расчетом, и будьте тогда вы все прокляты — раскопки, пьяный поп, Зыбин, все! Вот только, правда, Дашу жалко немного. Но он представлял себе, как утром нежданный-негаданный заявится он к сестре в ее московскую квартиру на пятом этаже. «Принимаете, гражданка, ссыльнопоселенного? Что? Никак и не узнала?» И сестра обомлеет, вскрикнет: «Ой, какой же ты...» — и повиснет у него на шее. А он усмехнется мужественно и грубовато: «Что, плох, сестра? Ты спроси, как я ноги-то унес». И прямо подойдет к телефону обзванивать друзей. Он шел, думал об этом, улыбался, и тут вдруг его позвали. Он оглянулся. Около тополя стояла Даша и смотрела на него. Он радостно вскрикнул и подбежал к ней, и она сама собой потянулась к нему. Они стояли возле ограды дома Потапова. Вот сколько он прошагал по холмам и не заметил этого.

— Дашенька, Дашенька,— повторял он, задыхаясь от какой-то высокой и восторженной нежности, и вдруг схватил ее за руки и завертел.— Ну дайте же, дайте же на себя хорошенько посмотреть! Ну красавица же, ну полная же красавица! И одета как!

На Даше, верно, было коверкотовое пальто, голубой полушалок, а в руках сияющая, как черное зеркало, сумка. Она смутилась, а он вдруг схватил ее, смял, взъерошил и звонко расцеловал в обе щеки:

— Вот вам!

— А я ведь вечером собиралась к вам,— сказала она, осторожно освобождаясь.

— Зачем вечером, сейчас, сию минуту пойдем! — крикнул он.— Мне столько нужно вам сказать!

— И мне тоже,— улыбнулась она.

— Да? Вот бывают совпадения! Так идемте же, идемте!

— Нет, сейчас я не могу. Позже, после восьми, когда дядя уедет в город.

— А не обманете? — спросил он и снова поймал ее за руку.

— Нет, нет, не обману.— И она как-то по-новому улыбнулась.— Вы знаете, меня посылают в Москву.

— Да? — изумился и обрадовался он.— Вот это уж по-настоящему здорово! Я ведь тоже еду в Москву. Вот и будем жить вместе. Я вам все галереи покажу, в театры сходим! Отлично!

— Да! Мне там еще вступительные по мастерству надо будет сдать,— страдальчески взглянула она на него.

— Пустяки! Сдадите!— Ему действительно все сейчас казалось сущими пустяками.— Вот вечером я вам дам такой монолог Лауренсии из «Фуэнте овехуна», что они все закачаются.

— Нет, правда?

— Истинный святой крест,— выговорил он серьезно и перекрестился.

Она что-то хотела ему сказать, но вдруг шепнула: «Дядя!» — и отскочила.

Бригадир Потапов — сейчас в своем черном ватнике он очень походил на солидного жука-навозника,— серьезный и хмурый, зашел со стороны калитки и стал ее отпирать. За спиной у него был мешок, а в нем какие-то ящики.

— Он сегодня яблоки в Москву отправляет,— шепнула Даша.

«Проворен, дьявол»,— подумал Корнилов и спросил:

— А как он сейчас вообще?

— Идемте, идемте, он опять сейчас выйдет,— шепнула Даша и утащила его за кусты.— Вы это зря, Владимир Михайлович,— сказала она вдруг серьезно.

— Что зря?

— Да все зря! Ну что вы тогда мне наговорили? Ну помните? И все это ведь неправда.

— Да что неправда? Что, горе вы мое?

— Ну что дядю кто-то вызывал и что-то ему там предлагал, все это неправда.

— Здорово! — воскликнул он ошарашенно.— Это он вам так сказал?

— Он. И еще он сказал: «Чего он к Волчихе повадился? Ничего у нее там интересного нет. Одна голимая водка!» Эту Волчиху давно бы и из колхоза погнали, если бы не дядя. А она вот как...

В голосе Даши вдруг появились какие-то совершенно новые, потаповские нотки. На него она не глядела.

— Ну а еще что ваш дядя говорит? — спросил Корнилов.

— А еще он говорит, что вы напрасно связались с этим попом. Он горький пьяница. Наперсный крест с себя пропил. Он всем говорит, что утопил в море, но это он врет — пропил! От него уж и родная дочь отказывалась. («Раз заставили»,— ввернул он.) Да никто ее не заставил, а если он такой отец, ну так что ж?

И правильно! Он и в тюрьме уже насиделся, и лес в Сибири валил. К нему участковый прошлый год каждый день приезжал на мотоцикле. Сегодня он здесь, а завтра там. Разве он вам товарищ?

— А кто же тогда мне, Дашенька, товарищ-то?— спросил Корнилов мирно.— Зыбин? Так его тоже посадили.

Она молчала. Он схватил ее за руку.

— Дашенька, милая, умница вы моя! Ну что вы мне сейчас наговорили? Что, сами-то вы в это верите? Нет ведь? Не верьте вы ради всего святого этому! Всего этого нет, нет. Ну просто совсем нет на свете. Это люди выдумали, это хмара, затмение, наваждение, стень какая-то, как моя нянька говорила. Дошла стень эта до вас — дядя к вам ее занес оттуда,— вот вы и заговорили на ее языке. А он ведь вам чужой, чужой! что делать, бывают, бывают, наверно, в истории такие полосы. Планета наша окаянная, что ли, не туда заходит, или солнце начинает светить не так, не теми лучами — но вот сходят люди с ума, и все тут!

Она долго молчала, а потом сказала:

— И еще вам нужно скорее уезжать отсюда.

Он усмехнулся.

— Ну поедем, поедем! Поедем в Москву!

— Нет, не в Москву,— упрямо ответила она,— вам надо не в Москву, а подальше куда-нибудь, туда, где вас никто не знает.

Он посмотрел на нее.

— Вот это блеск! Это что же, опять дядя? Вы, значит, в Москву, а я от Москвы? Здорово! Ну скажите ему, чтоб не тревожился. Я вас там не побеспокою. Так и скажите.

Он повернулся, чтоб отойти, но она вдруг схватила его за руку, кажется, хотела что-то сказать, но слов у нее не нашлось, не нашлось и дыхания, и она только молча привалилась к нему лицом.

— Даша?— спросил он изумленно.

Она молчала.

— Даша.

Она вдруг взметнулась, неловко поцеловала его (так, что поцелуй пришелся в нос) и побежала.

— Даша! (Она все бежала.) Да Даша же! Ну хоть обернитесь!

Она обернулась.

— Я приду, я обязательно приду сегодня, Владимир Михайлович, ждите! Приду!— Она говорила почти шепотом, но он ясно слышал каждое ее слово.

Она не пришла. Он пролежал до рассвета с открытыми глазами, а утром встал и поплелся на шоссе голосовать. И только что сошел с холмов, как увидел Волчиху.

Она стояла на обочине опустив голову и как будто кого-то ждала. Он подошел поближе и тронул ее за плечо. Она подняла голову, посмотрела на него и туго улыбнулась.

— Вот Андрея Эрнестовича провожала,— сказала она,— вещички помогла ему снести.

— Куда ж он уехал? — спросил Корнилов («Вот еще новое дело»).

— Туда, на Север. На Белое море рыбу ловить. Ребята письмо отписали. Пишут, приезжай скорее. Пускай, пускай едет. Он это любит. Пускай. Я радая!

И отвернулась, чтоб не заплакать.

На этот раз в кабинете были оба его хозяина. Суровцев стоял возле открытого окна и глядел во двор. Смотряев растерянно листал какую-то папку и что-то разыскивал. Корнилов вошел. Смотряев отложил папку и, воскликнув что-то вроде «ну вот и он!», «ну и легок на помине!», пошел ему навстречу. В общем, все получилось так, как будто встретились старые добрые знакомые. Корнилов спросил, как отдыхалось в Крыму, Смотряев махнул рукой и ответил, что какой там, дьявол, Крым! Он сейчас из больницы, а не из Крыма. Да как же так? А вот так, очень просто — пожарился два дня на солнышке да и нажил ни больше ни меньше как катаральное воспаление легких. Месяц провалялся, а сейчас с утра температура нормальная, а часам к пяти тридцать семь и пять. Вот и губы обметало.

— Так ты, значит, на бюллетене? — забеспокоился Суровцев.— Ну так и надо лежать, а не ходить.

— Нельзя,— коротко вздохнул Смотряев,— дела! — Он кивнул головой на папку.— Вот берите-ка, Владимир Михайлович, стул, присаживайтесь, и будем разговаривать.— Он распахнул папку.— Ну, мы собираемся докладывать начальству и дело закрывать и только ждали вас. Вы принесли нам что-нибудь новое? Отлично! Давайте!

— Только имейте в виду, это уж последнее,— сказал Корнилов, доставая тетрадку,— он уехал.

— Уехал? — изумился Смотряев.— Как?

— Да вот так. Взял и уехал.

Смотряев помолчал, поглядел на него.

— Но это точно?

Корнилов пожал плечами.

— Во всяком случае, говорят,— я дважды заходил к нему, на дверях замок.

— Вот это здорово! — Смотряев раздраженно захлопнул папку.— Это называется доработались! А более точно ничего не знаете? Как, когда?

Корнилов опять демонстративно пожал плечами. Он чувствовал себя очень твердо.

Смотряев посидел, подумал, похмурился и сказал:

— Ну ладно, давайте, что вы принесли?

— Да черт с ним! Путь бежит от греха подальше,— сказал вдруг Суровцев от окна.— Он все ведь, кажется, на Север, в Сибирь все укатывает? Ну и скатертью дорога! Там люди занятые, им не до анонимок! Что, не так разве? — обернулся он к Смотряеву.

— Да, с одной стороны, так,— недовольно поморщился он,— а с другой... Но вы хоть последний раз поговорили с ним начистоту?

— Даже и на даче у него был.

— О! Так! Значит, и с дочкой познакомились?

— Дочка сейчас в Сочи.

— А, вот почему старик разгулялся,— засмеялся Смотряев,— понятно! По-нят-но! Ну вы, значит, пили и опять весь вечер проговорили о господе боге Иисусе Христе, иде же ни плача, ни воздыханий, так, что ли?

— О всяком мы говорили,— ответил Корнилов сухо, ему уж не терпелось скорее отвязаться.— О Севере он, например, рассказывал, как он там хирургом был, животы и пальцы резал.

— О! Вот это поп! А, Алеша? — весело обернулся Смотряев к Суровцеву.— Вот ведь образованные времена настали! А меня наш деревенский батюшка чуть не утопил. Не заткнул ноздри и р-раз головой в купель. Вытащил, а я уже пузыри пускаю. Бабка меня потом водкой оттирала.

— Наверно, поп-то того...— щелкнул себя по горлу Суровцев.

— Да уж, конечно, не без этого и поп, и отец крестный, и тетя, и дядя, вот и этот премудрый тоже, видать, пьяница хороший.

— Ну тут я с тобой никак не соглашусь,— сказал Суровцев.— Он человек ученый! Академия! Вон какую диссертацию отгрохал.

— Значит, был Христос? — спросил вдруг в упор Смотряев Корнилова.

— Был! — ответил Корнилов.

— Прекрасно! Алексей Дмитриевич,— повернулся он к Суровцеву,— это дело надо кончать.

— Безусловно,— коротко кивнул Суровцев.

— Кончать, но смотри, что получается,— вот в этой папке пять докладных, и все они кончаются на один манер: «В течение всего разговора никаких антисоветских высказываний не допускал». А что значит «не допускал»? Просто уходил от разговора? Может быть, потому и не допускал, что не доверял, понял, что его выспрашивают,— ведь и такой вопрос возможен.

— Законен,— вставил Суровцев.

— Да, даже законен. Ведь время сейчас того... острое. Так с чего мы должны верить, что этот поп битый-перебитый, прошедший огонь, и воду, и медные трубы, и волчьи зубы, будет — на тебе пожалуйста! — вывертывается наизнанку. Он ведь не дурак! Он знает, чтó теперь за длинный язык бывает. Вот поэтому он его и держит за зубами. Пить-то пьет, конечно, а ум не пропивает! Что, может возникнуть такое сомнение? Может, конечно, и что мы на него ответим?

— Я говорил уж об этом Владимиру Михайловичу,— наклонил голову Суровцев.

— Ну и что? — Смотряев посмотрел на Корнилова.— Что вы на это ответили, Владимир Михайлович? Факты-то, факты-то где?

Корнилов открыл портфель и вынул тетрадку.

— Здесь я набросал все очень начерно,— сказал он,— все равно ведь переписывать. У вас для этого есть определенные формы.

— Нам важны не формы, а содержание,— сурово отрезал Смотряев и строго посмотрел на Корнилова.— Что у вас там есть? Показывайте.

«Считаю своим долгом поставить вас в известность о том, что 25 сентября сего года я согласно вашему поручению посетил Андрея Эрнестовича Куторгу. Куторга живет у своей дочери Марии Андреевны Шахворостовой, работающей агрономом колхоза «Горный гигант», в избе, расположенной на территории бригады колхоза. В означенный день 25 сентября Куторга, зайдя ко мне, сказал, что ввиду того, что дочь его уехала в Сочи встречать мужа, он остался полным хозяином и поэтому желает пригласить меня к себе. Памятуя о поручении, данном вами, я поспешил согласиться. Мы отправились. В избе, предоставленной колхозом агроному Шахворостовой, три комнаты. Куторга занимает одну из них и прилегающую к ней зимнюю террасу. Пока он накрывал стол, я знакомился с обстановкой квартиры. Мое внимание привлек книжный шкаф. В нем помимо беллетристики находилось

собрание сочинений Ленина, «Капитал» Маркса и «Вопросы ленинизма» товарища Сталина. Тут же были книги по медицине. Они, как объяснил мне тов. Куторга, составляют его личную собственность и доставлены им с Севера, где он одно время работал фельдшером в рыболовецкой артели. Об этом периоде своей жизни Куторга рассказывал охотно. Он вспомнил также, что ему приходилось работать с крупными специалистами и учеными».

— А фамилий ведь не спросили?—с упреком покачал головой Смотряев.— Что ж вы так? Материалы должны быть абсолютно точными и такими, чтоб их можно было в любую минуту проверить по документам.

«Куторга рассказал мне про своего отца, которого он назвал «старым шестидесятником», рассказывал, что он ездил к Чернышевскому за правдой. После этого Куторга поднял тост за советскую власть и лично за товарища Сталина. Он назвал товарища Сталина «великим кормчим, ведущим нас от победы к победе, к конечному торжеству коммунизма». Согласно заданию, полученному от вас, я выразил сомнение и предложил ему некоторые вопросы, на которые он ответил горячо и искренне, а меня назвал маловером, недостойным той великой эпохи, в которую мы живем».

— И даже так?—остро взглянул на Корнилова Смотряев.— Ну и поп!

«После этого разговор перекинулся на ученые работы Куторги, и все остальное время мы проговорили о Христе. Как я мог уяснить себе, Куторга понимает его историю совершенно реалистически и отвергает всякую мистику. Я ни разу не услышал, чтоб он назвал Христа Богом или Богочеловеком. В этот раз я просидел у Куторги около шести часов, после чего он с фонарем проводил меня до дому. За верность всего изложенного ручаюсь. В. Корнилов».

— А почему «В. Корнилов»? Разве у вас нет псевдонима?—удивился Смотряев.

— Какого псевдонима?—Корнилов удивленно повернулся к Суровцеву, но тот только поморщился и отмахнулся.

— Ну ладно!—Смотряев поднял папку со стола и встал.— Хорошо! Этого, пожалуй, достаточно! Пройдемте к полковнику.

— Посидите здесь, я сейчас...

На какую-то долю секунды Корнилов увидел окно под волнистой кремовой занавеской, секретарский сто-

лик под окном, пестрый от всякой всячины — папок, цветов, карандашей,— и над ним что-то молодое, сверкающее, цветастое — голубая кофточка, золотые волосы, чистое лицо, черты тонкие и породистые, как в кинематографе. Потом дверь с мягким придыханием захлопнулась, и Корнилов остался один в коридоре. А коридор был узкий, темноватый, с тускло поблескивающими зелеными стенами. В общем, ужасный казенный коридор, истинный символ тоски и ожидания. Но ее появление перекрывало все. И он вспомнил, что и тогда еще, во время его первого сидения и позорного провала, когда он подписал все что ни подсовывали, тоже присутствовала такая же женщина. Она легко заходила, легко уходила, заходила снова, спрашивала о чем-то следователя, тот весело отвечал, и они смеялись. Раз она принесла ему билеты на какой-то там знаменитый концерт, он сперва было отказался — «некогда»,— но она сказала: «Ну как вам не совестно! Когда же вы это еще услышите?» — и он сейчас же послушно вынул бумажник. Вообще все между ними происходило так, будто подследственного Корнилова вообще нет, а следователь не следователь, а просто отличный человек Борис Ефимович и сослуживица Софа или Мура принесла ему из месткома билеты. А еще посидишь, послушаешь — и вообще покажется, что и следственного-то корпуса особого, секретного, чрезвычайного нет, а есть какое-то добродушнейшее штатское учреждение с секретаршами, уборщицами, чаями, отметками ухода-прихода и в нем, как и везде, дела идут, контора пишет, а местком распространяет билеты. Иначе на каком же основании, во имя какого права человеческого и божеского появилась здесь эта женщина? Что ей здесь нужно? Кто у нее здесь работает (работает!)? Муж? Брат? Жених? Ох, как ему хотелось поговорить с ней, но это было даже и физически невозможно — его бы попросту не услышали. И тогда он так и не сумел разрешить это невероятно безнравственное чудо ее появления тут. А потом пришло многое другое, и он совсем забыл о ней. И только сейчас вспомнил все опять. Такая женщина здесь! Ведь это же неспроста, не случайно, это значит, что все в порядке, люди, не шарахайтесь от нас! Вот местком, вот профком, вот стенгазета — все у нас так же, как и у вас.

Хорошо! А фальшивка? А то, что в ваших кабинетах по пять суток не дают спать? А карцеры, эти проклятые пеналы со сверкающими стенами, где вечно — день и ночь, день и ночь — лупят диким светом лампы с

детскую голову так, что под конец начинают выходить из углов белые лошади,— это что?

Да что вы, что вы, граждане! Как вам не стыдно даже верить эдакому? Не будьте же обывателями! Мы мирные люди и после работы с семьями ходим в концертный зал слушать знаменитого скрипача. Вот познакомьтесь, пожалуйста, Валя, работница нашего отдела, жена моего товарища. Разве есть тут что-нибудь похожее на то, о чем вы говорите? Валя, а Валя! Ну видите, она же смеется! Что вы, что вы, граждане!

Дверь отворилась, и высунулась голова Смотряева.

— Полковник вас ждет,— сказал он ласково.

Кабинет был огромный, чистый, светлый, с высокими окнами на детский парк. Там играла музыка и кто-то радостно выкрикивал: «И-раз! И-два! Два притопа! Три прихлопа».

Полковник — был он маленьким, тщедушным человечком с бугристым нечистым лицом — сидел на другом конце кабинета за массивным столом. Другой стол — очень длинный и узкий — был приставлен перпендикулярно. По всей длине этого стола тянулась посуда — пепельницы, сухарницы, полоскательницы, вазы, большие овальные блюда; и стульев к нему было приставлено много. За стол тут могло усесться пятнадцать — двадцать человек. «Значит, и тут бывают производственные совещания»,— подумал Корнилов.

— Я вас позову,— сказал негромко маленький полковник Смотряеву, и тот наклонил голову и вышел.

Полковник подождал, пока закроется дверь, потом встал, взял со стола знакомую Корнилову зеленую папку и подошел к нему.

— Это все ваши показания?— спросил он, листая бумаги.

— Мои.

— И эти?

— И эти тоже.

— Отлично! И вот наконец ваше сегодняшнее показание, так?— Полковник быстро вынул лист и пробежал его глазами.— Значит, вы утверждаете, что этот самый Куторга — человек наш, советский?

Корнилов пожал плечами.

— Судя по его высказываниям, видимо, так.

— Видимо!— усмехнулся полковник.— «Видимо»! Не очень много это «видимо», конечно, стоит, но, во всяком случае, вы все высказыванья его на эту тему

отразили правильно? Ничего не упустили, не исказили? Нет? Отлично! Тогда я попрошу прочесть вот это. Почерк вам знаком? Кто это писал?

— Куторга?

— Куторга! Читайте!

Корнилов начал читать и после первых же строчек воскликнул:

— Да что он, с ума сошел, что ли?

— Читайте! — повторил полковник и положил на плечо Корнилова маленькую сухую руку. — Читайте!

«В дополнение к моему прежнему показанию могу добавить следующее. 15 сентября по вашему совету я зашел к гр. В. М. Корнилову и зазвал его к себе. Как и в прошлый раз, Корнилов, выпив, начал хулить советскую власть и, в частности, Вождя. Так, касаясь известной речи Вождя «Самое дорогое на свете — человек», он оскорбительно смеялся, и иронизировал, и говорил: «Все это ерунда! Человек в нашей стране ценится меньше половой тряпки. Меня вот взяли и выбросили. И даже объяснять ничего не стали». Желая окончательно уяснить его настроение, я позволил себе несколько резких клеветнических высказываний. Гр. Корнилов выслушал их с полным одобрением, поддакивал и поощрял меня к дальнейшему. Из сего я мог заключить, что...» Корнилов хотел перевернуть лист, но полковник положил на него ладонь и спросил почти сочувственно:

— Ну что, довольно? Эх вы! Ведь он же вас погубил, подлец! Взял и снял с вас голову! Мы же теперь вас не выпустим отсюда!

— Да ведь это же вранье! — вскочил Корнилов.

— Сидите, сидите, — брезгливо махнул рукой полковник. И забрал папку. — Какое уж там вранье! И слушали, и поддакивали, и сами трепались.

— Да... — опять вскочил Корнилов.

— Ну хорошо! Ну дадим мы вам с этим типом очную ставку — и что будет? Ну? Да ровно ничего не будет, потому что все ведь правда. Ну с чего бы ему, скажите, на вас наговаривать? Вы что — передрались там спьяну? Или эту бабу не поделили? Зачем ему врать — объясните?

— Очень просто. Он думал, что я его продал, и вот... — Он осекся.

— Ну, ну, — мягко подстегнул его полковник. — Это уж что-то разумное. И вот он спешит вас опередить? Так? Допускаем. Очень, очень возможно. Но, значит, было в чем вам его продавать? Да? Ну, да или нет? (Корнилов молчал.) Да! Да! Да! Было, было, Владимир

Михайлович, было, дорогой! А вы нам голову морочили. Да как! Ведь вот верно Хрипушин сказал, что такого попа, как вы его описали, сразу же надо в партию принимать! Мы вам верили, а вы нам врали! Вот такие, как вы, нечестные и малодушные, и сеют недоверие между советским обществом и органами! Учат никому не верить! Ну да что там говорить! Плохо, все очень плохо.— Полковник махнул рукой, взял папку и ушел к себе за стол. Вынул ручку и что-то отметил на листке календаря. Потом набрал какой-то номер и что-то приказал. А затем оба сидели и молчали. «Я верил вам, а вы мне лгали всю жизнь»,— как ветерок пронеслось в голове Корнилова. Что это? Откуда? Чье? Железная горсть схватила и закогтила его сердце. Отпустила и снова сжала. И весь он был полон ржавого железа и тоски. И тоска эта была тоже железная, тупая, каменная. Не тоска даже, а просто страшная тяжесть. Все! Сейчас его заберут. Вот так для него и закончится воля — без обыска, без ордера и даже без ареста. Он полез в карман, нащупал семечки, погремел ими и чуть не заплакал. Всего час тому назад он купил эти семечки у старухи на мосту, но такое это уже было далекое, милое, потустороннее. Даша, яблочный сад, раскопки, эти семечки. Боже мой, боже мой!

Постучали. «Да!» — сказал полковник. Вошли Смотряев и Хрипушин.

— Корнилов, выйдите в коридор,— спокойно приказал полковник и подождал, пока дверь не закрылась.

Он сидел час, другой, третий, на четвертый час двери отворились, и в коридор посыпали люди: военные — кто так, кто в ремнях; девушки-блондиночки с гривками, дамочки в пестрых кофточках; прогрохотали железом трое рабочих, и один на плече тащил лестницу; затем куриными шажками прошелестела строгая благообразная старушка, такая, что ее хоть в президиум, хоть в храм божий. На секунду перед Корниловым всплыло что-то, и он подумал, что да, женщин здесь не меньше, чем мужчин. Но теперь это уже не удивляло и не трогало. Сотрудники шли и шли — ему было неудобно торчать на дороге, он сидел у стены,— и все они как бы проходили через него. Он встал и ушел к окну. За окном был сосновый парк, играла музыка, кричали дети, скрипела карусель. Минут через пять коридор опустел, и он вернулся на свое место (это было жесткое плоское сиденье, вделанное в стену, чтоб сесть

иа иего, его иадо было оторвать от стеиы; когда человек вставал, оио с шумом захлопывалось). В это время и прошли мимо иего трое: чахлый полковник и оба следователя. Полковник говорил что-то не вполне понятное.

«Нет, нет! — говорил ои и махал ручкой.— Пороги для меия иичто! Я ее хоть двадцать раз перетащу. Вот мошка — это да!» Оии ухнули в стеклянную дверь в конце коридора, и все опять замолкло (там, за стеклом, была лестиица, и иа лестничиой клетке стоял часовой). Примерно через час коридор сиова зашумел людьми и опять опустел, снова стояла тишииа. Только иногда кто-иибудь из сотрудников, прижимая к груди бумаги, быстро проходил из одного кабинета в другой. Он сидел и смотрел иа окио. Это было едииствеииое живое пятно среди этих стеи. Ои видел, как оно мутиело: из белого и золотистого становилось голубым, потом синим, потом фиолетовым. Когда оно стало совсем черным, через стекляиную дверь вошла медлительная седая дама, похожая иа Екатерину Великую, открыла что-то иа стеие и повериула выключатель. Зажглись голубые незабудки, и зелеиые скользкие стены матово залосиились и полиловели. Еще через час кабииеты как по комаиде опять открылись и выпустили иовый поток сотрудииков. Но теперь это уже были плащи, коверкот и кожа. А навстречу этому потоку тек, шурша, другой — тоже прорезииеииый, коверкотовый, кожаиый. Снова открылись и закрылись кабинеты. Чериое окно вдруг вспыхнуло ярким зеленым светом, и Корнилов увидел в ием сияющую призму фонаря и черио-синие чуткие острые листья тополей. Где-то пробило десять, потом одиннадцать. Потом иаступила пустота, потом сразу пробило час. Он было вскочил, но его ударило в грудь, он ойкнул, сидеиье под ним щелкнуло, и он сел на пол. Все тело разламывалось. Было больно дышать. Ведь ои часов двеиадцать просидел скрючившись. Он оперся рукой об пол, встал, растянулся, прижался к стене, откинул голову и распял руки. Так ои простоял мииут десять, и его отпустило. Ои отошел к окну и сел на подокоиник. Часовой молча глядел иа иего через стекляиную дверь. Это был уже не тот часовой, того уже давио сменили. И скоро часовой, коридор, стекляииная дверь исчезли. Что-то большое, горячее, праздничиое охватило Корнилова. Ои стоял иа эстраде, кругом горели прожектора, гремел оркестр, а кто-то махал руками и ликующе скандировал:

— Музыканты, музыку! Музыку и музыку! Музыканты, музыку!

И вдруг с него сорвали сон, как одеяло. Он увидел людей. Они опять шли по коридору одни туда, другие обратно, а над ним стоял Хрипушин и тряс его за плечо.

Со сна он еле шел. Шел и мотал головой, чтоб сбросить тяжесть, тело опять ломило. Хрипушин завел его в кабинет, усадил на диван. Посмотрел, покачал головой: «Хорош, ну хорош!» Позвонил куда-то и приказал принести чаю покрепче.

— Да ты что?— спросил он, наклонясь над ним как-то очень по-простому, по-человечески.— Заболел, что ли?

— Да нет, ничего.

— Что уж там ничего! Еле сидишь! Я же вижу!

Вошла буфетчица в чепчике, белая, скромная и опрятная, похожая на Гретхен из старой немецкой книжки, поставила на край стола поднос и стала составлять стаканы.

— Вы оставьте,— сказал Хрипушин,— я потом вам позвоню. (Буфетчица кивнула головой и вышла.) Вот бери чай и пей. Пей. Пей, пей, он горячий. Совсем ведь зашелся.— Он прошелся по кабинету.— Умная у тебя голова, да дураку досталась! Что, не так? (Корнилов что-то хмыкнул.) Теперь видишь, кого ты хотел прикрыть? А? Отца благочинного! Вот он и покрыл тебя, как хороший боров паршивую свинью. Ты хотел выказать свое благородство, а ему на твое благородство, оказывается,— тьфу! Плюнуть и растереть. Эх вы! Ну что, скажи, ты хотел этим доказать, ну что?

— Да ничего я...

— Молчи, молчи, противно слушать. Все равно ничего умного не скажешь. Вот бери бутерброды, пей чай и закусывай. Эх и загремел бы ты сейчас лет так на восемь в Колыму, где закон — тайга, а прокурор — медведь. Слыхал такое? Ну вот, там бы на лесоповале услышал. Да ешь ты, ешь скорее. Еще писать будем.

— А что писать-то?

— Как что?— удивился Хрипушин.— Как что? Опровержение всем твоим показаниям. И признание. Простите, мол, меня, дурака. Кругом виноват, больше не повторится. Ну если и после этого ты слукавишь! Ну если слукавишь! Тогда уж лучше и в самом деле не живи на свете! Органы раз тебе простили, два простили, а на третий раз главу прочь! Вот так! Ну что ж ты чай-то не пьешь? Пей!

Корнилов поставил стакан.

— Потом допью, скажите, что писать?

Хрипушин неуверенно посмотрел на него.

— Да разве ты сейчас что дельное напишешь? Завтра уж придешь и напишешь. А пока вот тебе лист бумаги, садись к столу и пиши.— Он подумал.— Так! Пиши вот что: «Настоящим обязуюсь хранить, как государственную тайну, все разговоры, которые велись со мной сотрудниками НКВД. Об ответственности предупрежден». Подписывайся. Число. Запомни, в последний раз расписываешься своей фамилией. Теперь у тебя псевдоним будет. И знаешь какой? Овод. Видишь, какой псевдоним мы тебе выбрали. Героический! Народный! Имя великого революционера, вроде как Спартака. Такое имя заслужить надо! Это ведь тоже акт доверия! Давай пропуск подпишу. А теперь вот еще на той повестке распишись. Тоже: «Корнилов». Где-нибудь переночуешь и придешь завтра в одиннадцать как штык! Прямо к полковнику. Вот увидишь, какой это человек. Честно будешь работать — много от него почерпнешь. Он ученых любит. Ну, спокойной ночи. Иди!

Но когда Корнилов взялся за ручку двери, он остановил его опять.

— Ты вот что,— сказал он серьезно, подходя.— Ты в самом деле не вздумай теперь еще финтить. Ведь к кому тебя полковник пошлет, ты не знаешь, так? А без проверки он тебя теперь не оставит. Он десять раз тебя проверит, понял?

— Понял,— ответил Корнилов.

— Ну вот, не прошибись, чтоб опять не вышло такого же! Больше пощады не будет! Иди! Спокойной тебе ночи!

«Овод,— подумал Корнилов, спускаясь с лестницы,— отчего я его сегодня уж вспоминал? Что такое? Вот тут и вспоминал. Ах да, да. «Я верил вам, как богу, а вы мне лгали всю жизнь». Да, да! Вот это самое, я верил вам, а вы мне лгали».

Он лежал лицом в подушку, и ему было все равно и на все наплевать. Всю дорогу он сидел скорчившись в уголке автобуса и думал: только бы добраться до гор, до палатки, до койки и рухнуть костьми. Там у него есть еще бутылка водки. И чтоб никто не приходил, ничего ему не говорил, ни о чем не спрашивал ни сегодня, ни завтра утром, никогда. Ему ничего и никого не было жалко, он ни в чем не раскаивался и ничего не хотел. Только покоя! Только покоя! Его как будто бы

уже обняло само небытие — холодные, спокойные волны его. Недаром же Стикс — не пропасть, не гроб, не яма, а просто-напросто свинцовая, серая, текучая река. Он был уверен, что окончательно погубил Зыбина — дал такую бумагу, а потом, после правки полковника, переписал еще раз и подгонял под материалы дела. Но и на это ему было наплевать. Он понимал и то, что теперь его собственный конец не за горами, но и это совершенно его не трогало. Может быть, потому, что болевые способности исчерпались, может быть, потому, что это было неизбежно, как смерть, а кто же думает о смерти?

Пошел дождь, перестал и снова пошел — хлесткий, мелкий, дробный. Под этот дождь он и заснул. Проснулся среди ночи и увидел, что около двери кто-то стоит, но ему никого было не надо, и он затаился — опять закрыл глаза и задышал тихо и ровно, как во сне. И верно заснул. И опять сон был тихий, без видений. Проснулся он уже утром. В целлулоидовое желтоватое окно жгуче било солнце. Перед экспедиционными ящиками, положенными друг на друга, стояла Даша, смотрелась в зеркальце для бритья и закалывала волосы. Рот ее был полон шпилек. Аккуратно сложенное пальто лежало рядом на другом ящике. Она увидела в зеркало, что он проснулся, и сказала, не поворачиваясь:

— Доброе утро!

Он вскочил с постели и сразу же рухнул опять. Он ничего не понимал: зачем тут Даша? откуда? Но почему-то очень испугался.

— Как вы здесь очутились, Даша? — спросил он.

Она повернулась к нему.

— Я тут и ночевала,— сказала она спокойно,— вот тут спала.— И она кивнула на циновку в углу.

— А,— сказал он бессмысленно.— А!

Сейчас она казалась ему такой молодой и красивой, что прямо-таки обжигала глаза.

— Я вошла, вижу, вы спите, хотела уйти, а вы забредили, застонали, подошла, пощупала лоб, вы весь мокрый. Я подумала: вот случится с вами что-нибудь, и воды подать даже некому.

— А,— сказал он,— а!

Он смотрел на нее и все не мог сообразить, что ему сейчас надо делать или говорить. Он не знал даже, рад он ей или нет.

— А как же дядя? — спросил он бессмысленно.

Она нахмурилась.

— Уехал,— ответила она не сразу.

— Так,— сказал он,— так, значит, я вчера бредил? А что в бреду говорил, не помните?

— Кричали на кого-то и все время «плохо мне, плохо». Два раза дядю помянули, а перед утром затихли совсем. Тут я и заснула.

Он сделал какое-то движение.

— Нет-нет, лежите, лежите. Я сейчас за врачом сбегаю.

Он послушно вытянулся опять. «Что же теперь делать?» — подумал он.

— А куда дядя уехал? — спросил он. (Она покачала головой.) — Что, не знаете? Как же вы тогда к нему ехали?

— Я к вам приехала,— сказала она и взглянула ему прямо в глаза,— попрощаться. У меня уже билет.

С него как будто свалилась огромная тяжесть. И в то же время стало очень, очень печально. «Ну, значит, все,— подумал он.— Она уедет, и ни о чем не придется ей рассказывать».

— Ой, до чего же это здорово! — сказал он с фальшивым оживлением.— Вот вы и вырвались от всех этих дядей Петей и Волчих. Увидите Москву. Будете учиться. Актрисой станете. Ой, как это здорово.

Она внимательно смотрела на него, а глаза у нее были полны слез.

— Вы правда так думаете? — спросила она тихо.

— Ну конечно! — воскликнул он невесело.

— А вы как? — спросила она и вдруг сказала тихо и решительно: — Я же вас люблю, Владимир Михайлович.

«Ну вот и пришла расплата,— подумал он,— и без промедления ведь пришла, в те же сутки. И нечего уже крутиться и гадать, так или не так. Это все».

— Подойдите-ка сюда, Даша,— сказал он. Он хотел сесть, но только оторвал голову от подушки, как опять страшная головная боль свалила его. Все вдруг задрожало, заколебалось, предметы сошли со своих осей и заструились, как вода, заломило и закислило в висках. И он сразу сделался мокрым от пота. На секунду он даже потерял сознание и пришел в себя от голоса Даши. Она полотенцем обтирала его лоб и чуть не плакала.

— Боже мой, да что это они с вами сделали? — говорила она.— Как же я вас оставлю?.. Надо же доктора вызвать!

— Ничего не надо,— сказал он, морщась от дурноты,— никуда не ходите. Мне тоже кое-что надо вам сказать. Сядьте вот.

Она села.

«Да ну же, ну же,— толкал его кто-то злой и трезвый, притаившийся в нем.— Сейчас же говори все, все. Не скажешь сейчас — уже никогда не скажешь. Ты же знаешь себя, слабак». Он посмотрел на нее и поскорее отвел глаза — не мог! Он глядел на нее, такую хорошую, покорную, целиком принадлежащую ему, и не мог ничего сказать.

«Ну ладно,— подумал он,— ну, положим, ты смолчишь. А вот через два дня тебя вызовут и спросят именно о ней, и как ты будешь вертеться? Говори все сейчас же! Ну, ну, ну!»

— Меня нельзя вам любить,— сказал он сухо,— я не тот человек.

— Неправда,— сказала она.— Вы тот, тот, тот. Это я не та, помните, что я вам наговорила! И еще обманула, не пришла! А вы тот, тот, тот! А все это,— она кивнула на пустую бутылку от водки,— из-за вашей неустроенности. Вас очень больно и ни за что обидели, вот вы... А со мной вы не будете пить. Вот увидите, не будете, вам самому не захочется.

Она выпалила все это разом, не останавливаясь, и он понял: она именно с этим, вот с такими именно словами и шла к нему.

— Даша, милая, я ведь не об этом,— сказал он, морщась.

— А о чем же? — спросила она.

Он промолчал и только вздохнул.

«Ну вот и все,— подумал он,— и конец! Больше я ей уже ничего не скажу. Пропустил нужную минуту».

— Вот меня интересует одна вещь,— сказал он задумчиво.— Откуда берется страх? Не шкурный, а другой. Ведь он ни от чего не зависит. Ни от разума, ни от характера — ни от чего! Ну когда человек дорожит чем-нибудь и его пугают, что вот сейчас придут и заберут, то понятно, чего он пугается. А если он уже ничем не дорожит, тогда что? Тогда почему он боится? Чего?

Она вдруг поднялась с места и набросила косынку.

— Я пошла за доктором,— сказала она,— лежите, Владимир Михайлович, я мигом вернусь. Только не вставайте, пожалуйста.

Она хотела подняться, но он взял ее за руку и посадил опять.

— Почему вы не пришли тогда? — спросил он сурово.

— Я...

Она помолчала, потом тихо сказала:

— Ничего. Это моя вина. Пусть.

— Что пусть? — огрызнулся он.
— Пусть все будет как было. Все равно!
— Да что пусть, Даша? Что было? О чем это вы?
— Я знаю, вы в тот вечер пошли к Волчихе, и она вас напоила,— сказала она тихо.
— Ах вот вы о чем,— горестно усмехнулся он,— да, да, да, я был у Волчихи, и она меня напоила. И не только тогда, вот в чем беда! И я встретил там отца Андрея Куторгу. Бывшего отца благочинного. Вы не знали его?
— Знала.
— Вот и я узнал. И как еще узнал! Все его лекции о Христе прослушал. О Христе и двух учениках. Один предал явно, другой тайно и так ловко, черт, подстроил, что даже имя его до сих пор неизвестно. Первый — явный, Иуда,— повесился, а вот что со вторым было — никто не знает. И кто он — тоже не знает. Ох, сколько бы я дал, чтобы узнать!
Он говорил и улыбался, и лицо у него было тихое и задумчивое.
— Зачем это вам? — спросила Даша испуганно.
— А просто для интереса. Ах, если бы узнать, как он жил дальше, а ведь ничего, наверно, жил! Побожески, остепенился, женился, забыл о своем учителе. Еще, наверно, его во всем обвинял. Говорил небось: «Он и меня едва не погубил. Так ему и надо!» А может быть, наоборот, ходил чуть не в мучениках. Называл учителя «равви», «отче». «Когда мы однажды шли с равви по Галилее...», «и однажды отче сказал мне...» Так, наверно, он говорил. А вешаться ему было незачем, он ведь тайный! Это ведь явные вешаются, а тайные нет, они живут! Так вот меня завтра призовут и спросят о Зыбине — спросят: что вы о нем знаете? И я отвечу: «Ничего не знаю хорошего, кроме плохого. Он меня чуть не погубил».— «Отлично. Напишите и распишитесь». Напишу и распишусь.
— Ой, что вы! — вскрикнула Даша.— Как же так?
— А что? — спросил он.
— Так ведь он...
— А так ему и надо. Да, да, он и меня едва не погубил. А впрочем, чепуха, он — сегодня, я — завтра. Какая разница? Ну так что? Что вы мне сейчас говорили?
Она потупилась и молчала.
— Ах, ничего.
— Я люблю вас, Владимир Михайлович,— сказала она и обняла его.— Люблю, люблю! — Она повторила это как в бреду. Видимо, он тоже заразил ее безумьем.

— Да? Великолепно.— Он грубо засмеялся, какой-то бесшабашный веселый черт играл в нем, и ему было все уже легко и на всех наплевать.— Так-таки любите? Здорово! А знаете, говорят, что у того, второго, не явного предателя, была любящая жена. Наверно, так оно и было. Но вот мне интересно, рассказал он ей что-нибудь или нет? Как вы думаете, Даша? Наверно, рассказал, и та сказала: «Слушай, забудь об этом! Нельзя быть таким чутким и мучить себя всю жизнь какой-то чепухой». Вот как сказала она ему, наверно, та, любящая. Потому что любовь, Дашенька, это все-таки, если посмотреть с этой стороны,— преподлейшая штука!

Он умер и сейчас же открыл глаза. Но был он уже мертвец и глядел как мертвец.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Он посмотрел на себя в зеркало, отошел — и тотчас забыл, каков он.

Послание Иакова I, 24.

Глава I

— Товарищ Сталин уже проснулся. Доброе вам утро, товарищ Сталин! Солнышко-то, солнышко какое сегодня, товарищ Сталин, а?

Солдат усмехнулся, опустил железное веко глазка и отошел. Это была особая камера. Около нее не надо было ни стучать, ни кричать, потому что это была даже и не камера вовсе, а карцер, и не простой карцер, а особый, для голодающих. Этот зек сидел здесь четвертый день. Ему каждое утро приносят хлеб и жестяную кружку с кипятком, кипяток он берет, а хлеб возвращает. А сегодня и кипятка тоже не взял, это значит, с простой голодовки он перешел на решительную, смертельную. О смертельных голодовках коридорный обязан был немедленно извещать корпусного. Так он и сделал сегодня утром. Корпусной пришел сейчас же и, подняв круглую железку, долго смотрел на зека.

А зек лежал.

Он как-то очень вольготно и приятно лежал: скрючил ноги, вобрал голову, свернулся калачиком и покоился как на перине. В обыкновенных карцерах полагаются на ночь деревянные плахи: просто три или четыре

плотно сбитых горбыля. Их приносят в карцер в одиннадцать часов и забирают с подъемом в шесть; они голые, они мокрые и сучковатые, и лежать на них очень трудно, но в этой камере и таких не было. Заключенный лежал просто на цементе. Днем лежать не полагалось, и корпусной для порядка стукнул пару раз ключом и крикнул: «Эй, не лежать! Встаньте! Слышите, зек? Встаньте сейчас же!» И отошел. А зек и не шевельнулся.

— Прокурора вызывает? — спросил он у коридорного.— Ну будет ему, кажется, прокурор. Стой здесь, не отходи. Пойду докладывать.

— И чего они с ним нянчатся? — болезненно скривился заместитель начальника тюрьмы по оперативной части, выслушав все.— Хорошо! Я приду.

Корпусной хотел ему рассказать, что заключенный каждое утро здоровается с товарищем Сталиным да и днем тоже обращается к нему по нескольку раз, но подумал и ничего не сказал. А только, выйдя от начальства, опять зашел в коридор и объявил надзирателю:

— Черт с ним, пусть лежит — но только головой к двери! И еще смотри, чтоб рубашку не скидывал!

Скинутой рубашки здесь боялись. В прошлом году один зек исхитрился, разорвал пиджак на полосы, свил петлю, прикрепил ее к спинке кровати, лег и как-то очень ловко и быстро сумел удавиться лежа. Но случилось это не в карцере, а в камере. А в карцере и петлю привязать не к чему. Пусто. Но все равно часовой стукнул ключом несколько раз в железную обшивку: «Заключенный, повернитесь головой ко мне! Заключенный, вы слышите?»

Заключенный, конечно, гад такой, слышал, но даже не пошелохнулся. Да и солдат кричал не особо, он понимал, что здесь его власть, и даже не его, а всей системы,— кончилась. Потому что ничего уже более страшного для этого зека выдумать она не в состоянии. Поэтому солдат только пригрозил: «Ну подожди же!» И отошел от глазка.

И чуть нос к носу не столкнулся с прокурором.

Прокурор входил в камеру в сопровождении начальника тюрьмы, полного и с виду добродушного казаха. Зыбин знал его. В прошлое благословенное лето тридцать шестого года в городе сразу открылось несколько новых кабачков и пятачков, и все они были превеселыми. А начальник обладал характером легким,

жизнерадостным и своей мрачной должности соответствовал не больно (то есть, конечно, соответствовал, и вполне даже, иначе разве бы его держали? Но, очевидно, соответствие это шло по особым каким-то, простым глазом не видимым основаниям). Как бы там ни было, они встречались довольно часто, а один раз даже преотлично и весело просидели целый вечер в ресторане. Ели шашлык, пили коньяк, заказывали музыку и угощали друг друга анекдотами. Сейчас, войдя в камеру и увидя зека на полу носом к стене, задом к ним, начальник мгновенно побагровел и гаркнул: «Встать!» Но зек даже и не шевельнулся. Начальник скрипнул зубами, наклонился и схватил зека за плечо. Но прокурор сделал какой-то почти неразличимый жест, и начальник сразу же спокойно выпрямился.

— Здравствуйте, Георгий Николаевич,— почтительно сказал прокурор,— моя фамилия Мячин. Я пришел по вашему заявлению. Вы говорить можете?

Зек повернулся, поднялся и сел.

Прокурор по спецделам Мячин был упитанным, хорошо выглаженным, краснощеким, благоухающим товарищем. Он носил зачес назад и роговые очки.

«Какие они все благородные!» — вскользь подумал Зыбин и хмуро сказал:

— Я вас жду уже пять дней.

— А я вернулся из командировки только вчера,— мягко съязвил и даже слегка словно поклонился Мячин.— Здесь не вполне удобно говорить, так, может, пройдем в кабинет?

Выводить голодающих из камеры не полагалось. Тюрьма не отпускала их даже на допросы (поэтому следствие тормозилось, следователи гуляли — начальство терпеть не могло такие истории, и опытные, старые зеки этим широко пользовались). Зыбин свободно мог отказаться, но он оперся о пол, встал. И тут его так мотнуло и качнуло, что он больно приложился о косяк.

— Тише! — крикнул начальник тюрьмы, бросаясь вперед и вытягивая руки, но зек удержался. Он прислонился к стене и несколько секунд простоял так. Потом вздохнул, открыл глаза и вышел в открытую дверь.

— Помогите же! — шипанул прокурор коридорному и не оглядываясь пошел вперед. Эта история здоровс начинала ему действовать на нервы. И какого черта они с ним путаются? Ведь уже ясно, что тут где сядешь, там и слезешь. Вот следствие только началось, а он уже сидит в карцере, объявил голодовку. А сегодня с

утра смертельную — что же дальше? Бить его? Вязать? Ну молоти его, пожалуй, вяжи ему ласточки, а он будет держать голодовку, и все. А ты полмесяца пробудешь в простое и получишь строгача! А потом и вообще по шее! И иди в коллегию защитников или директором картины «Амангельды». Потому что надо соображать, а не воображать! Не надо воображать из себя черт знает что! За братцем ты погнался! За начальником следственного отдела прокуратуры Союза. Как он сочиняет процессы в Москве, так ты хочешь того же в Алма-Ате. Дурак! Да до братца тебе, как свинье до неба! Обрадовался приказу наркома об активных методах допроса. Болван! Приказ этот для настоящих людей — троцкистов, японских и немецких шпионов, начальников железных дорог, секретарей ЦК. А это кто? Говнюк! Пьяница! Трепач! Таких, как он, только в этом году стали подбирать по-настоящему, а ты его хочешь оформлять в лидеры!

Прокурор зашел в кабинет начальника тюрьмы по оперработе, махнул ему рукой, чтоб он не вставал, и сказал:

— С Зыбиным надо кончать! Я вчера просматривал его дело. Вот буду говорить с Нейманом. Что они там затеяли, честное слово! Здесь даже и на одиннадцатый пункт не натянешь. Ведь кроме него никто не привлекается, значит, ОСО, восемь лет Колымы, вот и все.

Прокурор был симпатяга, он не строил из себя Вышинского и не показывал, что он какого-то другого, высшего, угэбэвского круга. А просто приходил, садился за стол, и если ты пил чай, то и он с тобой тоже пил чай. А за чаем делился вот подобными соображениями. И служащие тюрьмы это ценили и тоже не позволяли себе принимать его простоту в полный серьез, задавать вопросы или советовать. Люди тут были дисциплинированные, и каждый сверчок отлично знал свой шесток. Поэтому сейчас зам по оперчасти только скромно развел руками.

Прокурор удобно уселся, протянул ноги и поднял газету.

— «Новые времена»! — прочел он. — Чарли Чаплин! Так что ж, покажут нам, в конце концов, Чарли Чаплина или нет? Мы, выходит, уже самые последние, до нас весь город посмотрел.

— Хотели завтра сделать ночной сеанс,— ответил замнач. по оперчасти,— да женщины запротестовали: мы, мол, хотим детей привести, а куда же ночью! Странно, конечно, что ж, на весь город один экземпляр, что ли? — Он пожал плечами.

— План, план!—проворчал прокурор.— Хозрасчет, дорогой! Валютка! Потому его и не покупают у нас. А наше культурное воспитание дело десятое. Слава богу, двадцать лет революции! Сами уж других должны воспитывать!

Он усмехнулся, показывая, что хотя это и так, но говорит он все-таки не в полный серьез, несколько, так сказать, сгущает краски, опошляет действительность, как он непременно квалифицировал бы эти слова («высказывания»), если бы их произнес не он, а кто-то другой, и не в кабинете начальника, а, скажем, выходя из кино.

— Да, это точно,—согласился замначальника по оперчасти, улыбаясь и показывая этим, что он все эти оттенки понимает отлично,—да, это так.

Он обожал ходить на закрытые особые просмотры. Происходили они в самом здании наркомата после работы. Иногда действительно ночью. В просмотровый зал тогда сходились все—от наркома до машинисток и работников тюрьмы. Зал был большой, светлый—горели белые трубки,—очень уютный, в скромных зеленых сукнах. И люди рассаживались неторопливо, по-семейному здороваясь, улыбаясь, уступая друг другу дорогу. Каждый старался держаться как можно дружелюбнее и скромнее. А в длинном узком фойе висели картины самого что ни на есть мирного штатского содержания: «Грачи прилетели», «Девятый вал», «Аленушка», «Мишки на лесозаготовках» (за эту вот шуточку кое-кто и в самом деле поехал на лесозаготовки к этим самым мишкам), «Вождь за газетой «Правда», «Великая стройка». И около буфета, где стояли столики с пирожным и пивом, тоже было тихо, скромно и уютно. Каждый, конечно, знал свое место, но все уважали друг друга и были как одна семья. Тут замнаркома, например, мог запросто опуститься около коридорного и завести с ним разговор о матче «Спартак»—«Динамо» либо справиться, где тот думает проводить отпуск, и даже порекомендовать что-нибудь стоящее из собственного опыта, скажем, ехать не в Сочи, а в Геленджик: там народу меньше. Или рассказать очень по-простецки о том, как они взялись раз с товарищем плыть наперегонки да и заплыли до самой запретки, а береговая охрана прилетела за ними на моторке: «Кто вы такие? Откуда? Предъявите документы». И тут оба собеседника добродушно смеялись: тоже ведь бдительность проявляют! Вот это приобщение, эту вхожесть в высший мир замнач. по оперчасти ценил больше всего. И, пожалуй, не только от одного

чувства приобщенности, но еще и потому, что вместе с этим он приобретал еще целый ряд чувств, ему при его работе совершенно необходимых. Он тут ощущал «чувство локтя», спайку коллектива — одним словом, настоящую демократию. Все, с кем он тут встречался — от наркома до такого же маленького администратора, как он,— все друг с другом были вежливы, добропорядочны, честны. И невольно припоминалось другое, совсем недавнее. Когда жена работала в детской кухне и приходила поздно, усталая и взбудораженная, и сколько же всяких разговоров о склоках, подсиживаниях, доносах, анонимках, подхалимаже, хамстве, мелком ловкачестве приносила она ему каждый день! Разве здесь могло быть что-нибудь подобное? Да никогда! Здесь чистота! Но было и еще одно. Таинственное и жутковатое. Там, в гражданке, все эти начальники, замы, завы, просто служащие слетали с места, как чурки в игре в городки,— шумно, легко, бестолково. Они ходили, жаловались, сплетничали, писали заявления то туда, то сюда, оправдывались, валили на других, и иногда это им даже удавалось.

Здесь люди просто пропадали. Был — и нет. И никто не вспомнит. И было в этом что-то совершенно мистическое, никогда не постижимое до конца, но неотвратимое, как рок, как внезапная смерть в фойе за стаканом пива (он видел однажды такое). Человек сразу изглаживался из памяти. Даже случайно вспомнить о нем считалось дурным тоном или бестактностью. Зона всеобщего кругового молчания существовала здесь, как и везде... Но тут она была совсем иной — глубоко осознанной и потому почти естественной, свободной (назвал же кто-то из классиков марксизма свободу осознанной необходимостью).

И лишь однажды Гуляев — какая-то очень высокая и особая шишка — нарушил этот закон. На том сеансе их места оказались рядом, и, пока еще было светло, Гуляев спросил его:

— Вы своего нового начальника совсем раньше не знали?

Речь шла о том, что прежний начальник тюрьмы был вызван в Москву на совещание и исчез сразу же. Осталась от него только одна телеграмма: «Долетел благополучно. Целую».

И в тот же день в его кабинете появился новый человек из охраны первого секретаря ЦК. Первого секретаря точно так же месяц назад вызвали в Москву, и он оттуда уже давал уличающие показания. И по ним тоже сажали. Так и попал комендант его дачи в

начальники тюрьмы. А когда-то они оба работали дежурными комендантами в так называемом тире (а это был тот тир!), и раз случилось, что на наркоматовских соревнованиях по револьверной стрельбе их обоих наградили одинаковыми грамотами и именными часами.

Он сказал об этом Гуляеву. Этой подробности Гуляев почему-то не знал и очень ей обрадовался.

— Ах, значит, вон он откуда! — воскликнул он и вдруг спросил: — А с Назаровым (тем исчезнувшим) вы, кажется, ладили?

Вопрос был задан легким, ничего не значащим тоном, поэтому он так же легко и ответил:

— А что же не ладить? Выпить он, правда, любил. А так что же...— Сказал и спохватился: а не лишнее ли? Но Гуляев только улыбнулся и коротко кивнул ему головой. А тут уже и свет потушили. И так и осталось у замначальника впечатление легкой интимности, мимолетной откровенности, которая связала их обоих — Гуляева и его.

Нет, любил, любил замначальника тюрьмы по оперчасти эти закрытые, недоступные простым смертным кинопросмотры.

— Надо вообще ввести какие-то определенные дни для просмотров,— сказал вдруг деловито прокурор Мячин.— Почему обязательно ходить в кино ночью? У меня вот дочь приезжает из Москвы на каникулы.

Потом он сразу посерьезнел.

— Сейчас буду разговаривать с Зыбиным,— сказал он и поморщился.— После голодовки он падает — так чтобы не подниматься на второй этаж, можно у вас?

— Да, пожалуйста, пожалуйста,— учтиво всполошился замначальника и начал поспешно собирать бумаги.

— Да нет, сидите, сидите, вы, может быть, как раз и понадобитесь,— остановил его прокурор,— он что, так все время и лежит?

— А что с ним поделаешь? — развел руками замначальника.— Он ведь уже бредит.

— Бредит? — удивился прокурор.

— Бредит. Я подошел раз к двери, а он лежит и с товарищем Сталиным беседует.

— То есть как же? — встрепенулся и всполошился прокурор.— С товарищем...? — И они оба невольно обернулись к двери.— Ругает его?

— Нет! Просто говорит: «Товарищ Сталин идет обедать. Товарищ Сталин сел за стол. За столом гости. «Посмотрим, чем нас будут кормить»,— говорит товарищ Сталин гостям». Вот так.

— Черт знает что! — выругался прокурор. — А вы следователю говорили?

— Да нет, только вот вам, — сказал замнач. по оперчасти и искренне поглядел на прокурора.

Прокурор с минуту молча смотрел в окно и о чем-то думал.

— Вот что, — решил он наконец, — вы его психиатру покажите. Я распоряжусь. Не по следственной части, а сами, от тюрьмы. Может, он просто сумасшедший. Я слышал, и на воле-то он был тоже фик-фок! Может, тут и дела нет никакого, а отправить его в Казань в специзолятор, и пусть там сдыхает.

В это время в дверь постучали, привели зека.

Зек шел твердо и ровно. По дороге он попросился в уборную и там несколько раз накрепко обтер ладонями лицо. Утром он объявил сухую, а уж на второй день сухой рот воспаляется, губы трескаются, сочатся и начинает пахнуть трупом. Зыбин знал это и поэтому сегодня тщательно ополоснул рот и вычистил пальцем зубы. Однако пить ему еще не хотелось.

Вместе с ним вошли начальник тюрьмы и корпусной.

— Вот, пожалуйста, сюда, — сказал ласково прокурор и показал Зыбину на шахматный столик около окна.

Зыбин сел и чуть не вскрикнул. Окно было большое, полное солнца и выходило оно на тюремный двор в аллею тополей. Тополя эти посадили еще при самом основании города. Тогда тут была не тюрьма, а просто шла широкая дорога в горы, и вдоль ее обочины и шумели эти тополя.

И Зыбин растерялся, сбился с толку перед этим несчитанным богатством. Веток, сучьев, побегов. Все они шумели, переливались, жили ежеминутно, ежесекундно каждым листиком, каждым отросточком, каждой жилкой! Они были веселые, свободные, живые. И ему, в течение стольких дней видевшему только серый цемент пола, да белую лампу в черной клетке, да гладкую стену цвета болотной тины, на которой глазу не за что зацепиться, это сказочное богатство и нежность показались просто чудом. Он уже и позабыл, что и такое существует. А ведь оно-то и есть самое главное.

Он смотрел и не мог глаз отвести. Гулял небольшой ветерок, и листья поднимались, опадали, ползли — дерево дышало, по его жилкам пробегала зеленая

кровь, в нем бились миллионы крохотных сердечек. И какими же живыми, дружественными, сердечными, настоящими показались ему эти тополя. И плевать ему было в ту минуту на начальников! И плевать ему было на тюрьму, прокурора, оперативников!

И, наверно, это отразилось на его лице, потому что прокурор глядел на зека и тоже молчал. Наконец зек вздохнул, оторвался от окна и повернулся к нему. Все! Он опять был в тюрьме, сидел в камере и держал смертельную голодовку.

— Так я получил ваше заявление,— сказал прокурор ласково.— Но я не особенно понял, что вы хотите.

— Следствия,— ответил Зыбин.

— А это не следствие?

Зыбин пожал плечами.

— Ну так что, следователь кричит на вас, бьет, искажает ваши показания? Вы говорите одно, а он пишет другое? Чем вы конкретно недовольны? Но только конкретно, конкретно!

Зыбин подумал.

— Следователь хочет, чтобы я сам себе придумывал дело, а меня это не устраивает, я на это не подряжался. Хочет получать зарплату, пусть работает. Это ему не баранку крутить!

— Какую баранку?— снова удивился и улыбнулся прокурор.

— Ну он же из бывших шоферов. Раньше начальников возил, а теперь сам начальником стал.

— Ай-ай-ай! «Из грязи в князи». Так? Нехорошо. Недемократично!— сказал Мячин с легкой укоризной.— Значит, по-вашему, все дело в следователе. Этот следователь плох и поэтому держит, а другой, хороший, взял бы да отпустил. Да как же вы не понимаете того, что если бы он, я, майор Нейман вместе с вами бы сели за этот стол и стали придумывать, как бы вас вызволить и освободить, то и тогда из этого ничего не вышло бы!

— Да, пожалуй,— согласился Зыбин,— это тот лабиринт! Войти войдешь, а выйти — черта выйдешь.

— Вот именно!— воскликнул Мячин.— Преступление всегда лабиринт! Вот поэтому я смотрю на вас и удивляюсь: умный человек, а доводит себя черт знает до чего. Что невозможно — то невозможно. Ну вот стена — бейтесь об нее головой, что выйдет?

— У одного вышло,— усмехнулся Зыбин.

— Что?

— Сдох!

Прокурор засмеялся.

— И вы верите этим парашам? Нет, Георгий Николаевич, ничего тут выйти не может. Шишку набьете — это да, а сдохнуть не дадим! Лабиринт! Так что глупо все это,— он развел руками,— и карцеры ваши глупые, и голодовка глупая, и то, что вы от воды отказываетесь,— глупо все это.

— Да,— согласился Зыбин,— очевидно, в этом вы правы — глупо. Но все равно работать я за вашего работника не буду. Пусть сам себе ломает башку.

— Ну а правду-то говорить будете?

— Да я только и делаю, что говорю ее. Только не нужна она тут никому.

— Ну так вот мне она нужна. Давайте-ка потолкуем немного. Без всякой записи. Тут и для вас кое-что прояснится. Скажите, ваша работа в музее вас удовлетворяла? Вы были довольны тем, как работаете?

Зыбин подумал. Работали они плохо, и он ответил коротко:

— Нет.

— Отлично,— мотнул головой Мячин,— чему же вы это приписываете? Себе? Своим сотрудникам? Руководству?

— Прежде всего себе, конечно. Хуже всего было то, что мы влезли в эту экспедицию. Надо было просто писать в Москву и требовать специалистов. Но мы решили, что раз это просто разведка, то покопаем, обнаружим что-нибудь стоящее, тогда и напишем. Вот и копали. А копать не умели. Я не археолог, Корнилов — тот археолог, но никогда он в поле не был. Получалось не то.

— И все же это с ведома директора?

Зыбин помолчал, подумал.

— Да, конечно. Но что вы из этого заключаете?

— Ну вот,— засмеялся Мячин,— вот теперь мне и понятно, что у вас происходит со следователем. Где вам надо ему отвечать, там вы его спрашиваете. Нет, Георгий Николаевич, тут спрашиваю только я. А вы отвечаете мне. И таким образом мы оба и доходим до истины. А какое я буду из этого делать заключение — это вас не касается. Понятно? Идем дальше. Вот про эту самую экспедицию. Какой ветер занес вас в этот фруктовый колхоз? Яблочек вам захотелось? Или ближе к городу? Утром там, вечером тут?

— Да очень просто. Нам принесли черепки крупных сосудов с узорами согдианского типа, и мы решили...

— А, извините, кто это вы? Вы, Георгий Николаевич? Корнилов? Директор ведь ничего не решал, он мог только поверить вам на слово и отпустить средства.

Он и отпустил. И вы на них поехали на колхозные прилавки и начали раскапывать старое скотское кладбище. Отчего пошли всякие слухи о сапе и прочие неприятности. А золото, настоящее, натуральное золото, которого никогда не было в этих местах, тем временем спокойно утекло. Прямо из музея. Из-под вашего, так сказать, носа. Ясно?

— Меня тогда там не было.

— Правильно, не было, а вы обязаны были быть. Вы же все время говорили и даже писали, что золото где-то ходит по рукам. Почему же, как только директор показал вам это золото, вы не плюнули на ваши бараньи мослаки, не сели в его машину и не поехали в город? Вот и цело было бы золото! Ну? (Зыбин молчал.) Ну, ну, Георгий Николаевич! Как это надо нам расценивать?

— Как бесхозяйственность?

— А если поточнее?

— Халатность?

— А если еще точнее?

— Преступная халатность?

— Не то, не то, Георгий Николаевич, не те слова, не тот язык.

— Злоупотребление по должности? Должностное преступление?

— Уже ближе, но тоже не то. Вы все выражаетесь бытовым языком, газетным языком, а вы перейдите на язык политический — и мы сразу сговоримся. Скажите «вредительство». И все.

— Здорово!

— Да нет, еще не здорово. Пойдем дальше. Копали вы около города, диадему нашли тоже около города, только в другой стороне, на реке Карагалинке, а арестовали-то вас на Или, за пятьдесят верст от города. После пропажи вы сразу туда махнули. Что вам там понадобилось? Вы никому ничего не объяснили. Быстро собрались, накупили продуктов, забрали с собой свою сотрудницу и исчезли. Ей сказали: поедем, мол, купаться! Странно? Странно! Дальше. Как выяснилось, в музее вы потребовали себе все карты — все они крупномасштабные, с подробным обозначением, я смотрел их. А места эти вплотную прилегают к границе.

— Да карты же археологические! Им в обед сто лет!

— Да хоть порнографические! С бабами! Важно не название, а масштабность и район. А что в обед сто лет, то ведь рельефы-то тут все в основном сохрани-

лись. Скажите, как все это объяснить? Я вот не знаю как.

— Хорошо! Вы сказали, что я взял сотрудницу. Какую роль вы ей отводите?

— Ну вот опять вы меня спрашиваете. Действительно бедный ваш следователь. Так вот, Георгий Николаевич, пока никакой роли я никому не отвожу, а только прошу мне объяснить. Ведь как разворачиваются события? В музей поступают сигналы: где-то обнаружено археологическое золото. Вы быстро сколачиваете так называемую партию и едете копать землю в колхоз «Горный гигант», то есть туда, где никакого золота заведомо быть не может. Копаете, конечно, впустую. Тут приезжает к вам директор и сообщает, что где-то возле Карагалинки обнаружен большой клад. Показывает вам кое-что, говорит, что завтра эти люди к нему явятся и он с ними отправится на место находки. Вы очень этому радуетесь, но в город почему-то с ним не едете, чего-то как будто ожидаете. Чего? На следующий день вам сообщают, что в музее произошла кража. Кладоискатели выкрали свои документы и скрылись. Тут вы уж сразу прилетаете в город и берете старые архивные карты. Но изучаете-то вы их как-то странно. С директором смотрите карты Карагалинского района, а у себя в кабинете просматриваете карты Или, то есть пограничного района. Даже заносите в блокнот какой-то чертежик. К пропавшему золоту он никакого отношения не имеет. Дальше, вы закупаете много водки, уйму всяких продуктов и, сговорившись с той самой сотрудницей, которая последняя видела пропавших златоискателей, самым ранним поездом отправляетесь на Или. Еще раз подчеркиваю, Георгий Николаевич, на Или, а не на Карагалинку. Зачем? С кем вы там должны были встретиться? Кому предназначалась эта водка? Для вас одного много даже при ваших уникальных способностях, девушка вообще не пьет — так что ж, вы действительно купаться поехали или хотели кого-то встретить и распить все это? Объясните, пожалуйста.

Зыбин молчал.

— Видите, на все эти вопросы при всей вашей находчивости вы ответить не можете. Хорошо, сейчас у нас не допрос, вы подумаете и ответите следователю. Дальше. Вы жалуетесь на Хрипушина? Хорошо. Мы назначим другого. Но давайте сразу же — вот тут, при товарище начальнике — сговоримся: вы будете не спрашивать, а отвечать, рассказывать. И расскажете все. И об этой странной поездке расскажете, и о том, что

происходило в музее в последнее время, расскажете, и о вашей настроенности, и о вашем окружении, ну и так далее.

Зыбин поднял голову. До сих пор он сидел и слушал.

— Если вас интересует мое настроение, то я могу хоть сейчас.

Прокурор засмеялся.

— Настроенность! Настроенность, а никак не настроение нас интересует, Георгий Николаевич,— сказал он.— Настроение — это одно, сейчас оно такое, через час другое. Оно для романов хорошо, а не для следственного производства.— Он обернулся к начальнику тюрьмы по оперработе.— Так вот, Георгий Николаевич голодовку снимает. Переведете его в хорошую камеру, дайте хлеба, воды, пусть немножко отдохнет. А дня через три переведете опять в прежнюю. Ну,— он поднялся,— я надеюсь, Георгий Николаевич, что на этом наши недоразумения кончились. Будем работать вместе.

Он сказал, что товарищ Сталин проснулся. Он зря это сказал. Было еще десять часов утра, и товарищ Сталин спал. Он спал на спине, спокойно, ровно, крепко, ни разу не пробуждаясь, но, как и всегда, тяжело. Вчера он из Москвы вернулся поздно, прихватил с собой еще несколько человек, и они часов до двух сидели за столом, и он за разговором, потихоньку-помаленечку, а рюмка за рюмкой выпил, наверно, с полбутылки красного вина. Вино это было из самых его любимых — красное, терпкое, очень кислое, такое делали только в одной местности в Грузии. Году в восьмом или девятом он в этом местечке по обстоятельствам, теперь уже забытым, а тогда для него чрезвычайно важным, прожил целое лето и пристрастился к этому вину. Там был такой дядя Шалва, который всегда ставил перед ним на стол целый глиняный кувшинчик. С тех пор прошла целая вечность, и он забыл и это место, и дядю Шалву, и длинный строганый стол в холодном полутемном погребке, где они сидели, разговаривали и потягивали вино. И вдруг совсем недавно в Тбилиси перед ним на столе появился точно такой же кувшинчик из той же крепкой красной глины, и в сопровождении первого секретаря вошел самый настоящий дядя Шалва — такой же усатый, быстроглазый, жуликоватый, как в те годы, и лет ему было примерно столько же. Оказалось, что племянник дяди Шалвы,

замнаркома НКВД. Это пришлось очень кстати, у Лаврентия в этом отношении был безупречный нюх. И только они уселись и он пригубил стакан, как вместе с острой терпкостью, терновой кислинкой и вкусом сырости и свежести к нему пришли все обстоятельства того лета, и он вспомнил как есть все.

Память тела, вкус, запахи, мускульные ощущения у него всегда были очень сильны и крепки. Достаточно было какой-нибудь малости — запаха, ветерка, песни, ветки, ударившей по лицу,— и он сразу вспоминал все давно забытое. С иной памятью у него становилось с последними годами хуже. Кое-что он забывал совершенно или вспоминал не так, как оно было. Но сейчас с этим вином у него сплелась история совсем иного рода. Вчера Берия передал ему письмо одного заключенного. Он прочел его и засмеялся. И весь остаток дня был в хорошем настроении. Это была хорошая, грустная и веселая история. Ее можно было рассказывать за столом и даже, пожалуй, пустить в народ.

Завтракая, а потом просматривая газеты, он все еще был под этим впечатлением и внутренне улыбался, пока ему не попался номер «Большевика» со статьей Молотова. Тогда он вспомнил, что вчера между прочим зашел разговор и о ней, то есть о том, что нельзя сейчас поручать техническое обследование предприятий, если поступили сигналы, одним специалистам, какого бы высокого ранга они ни были. Вредители, диверсанты, троцкисты прошли хорошую партийную выучку, точно такую же, как и все они, старые большевики, и всегда сумеют обвести вокруг пальца самого прозорливого специалиста. Об этом говорил Молотов, и говорил, как всегда, когда его особенно что-то задевало, в повышенном тоне, краснел и заикался больше чем обычно. И он, хозяин стола, догадывался, чтó стоит за этим разговором. Очевидно, Молотову кто-то аккуратно и ласково положил что-то на стол или просто ткнул носом. Лаврентий умеет это делать вежливо и неотвратимо. Он, Сталин, никогда не был особенно по-человечески привязан к Молотову, но ценил его чрезвычайно. Молотова, например, невозможно было заставить сорваться. Он был туп, упрям, последователен и, как утюг, начисто выжигал и проглаживал полосу за полосой. И это было таким его исконным природным качеством, что даже то, что последнее время он бывал груб, нетерпим, запальчив и мог на каком-нибудь совещании хозяйственников (всегда, впрочем, не особенно ответственном) оборвать оратора на полуслове, а то и выставить из зала, никак

не отменяло это качество. Тут, на этих малых высотах, он просто разрешал себе разряжаться. И это тоже было правильно. Ну а Берия, конечно, мог поднести ему любую пилюлю. Перелистывая журнал, Сталин нашел то, о чем говорили вчера. Это была, так сказать, директивная статья ЦК. Вся печать ее обязана была перепечатать. Он читал:

«Секретарем парткомитета на Уралвагонстрое был вредитель троцкист Шалико Окуджава. Несколько месяцев как вредители разоблачены. В феврале сего года по поручению Наркомтяжпрома для проверки вредительских дел на Уралвагонстрой выехала специальная авторитетная комиссия. Во главе этой комиссии были поставлены такие тт., как нач. Главстройпрома товарищ Гинзбург и кандидат в члены ЦК ВКП(б) Павлунский. Эта комиссия не привела ни одного факта вредительства на стройке. Получается, что матерый вредитель Марьясин вместе с другим вредителем, Окуджавой, сами на себя наклеветали. Между тем, пока комиссия ездила на Урал, Марьясин дал новые показания, где более конкретно указывает, в чем заключалась его вредительская работа на стройке. Он указывает при этом на целый ряд фактов вредительства на Уралвагонстрое, которые прошли мимо глаз уважаемой комиссии».

Это место он прочел еще раз и поморщился: опять Наркомтяжпром! Распустил же Серго эту публику! Бесценный был когда-то работник, борец, герой, а уже, оказывается, давно не годился в дело. Было ему отчего в горький час раздумья и раскаянья пустить себе пулю!

От мысли о Серго ему стало грустно. Но по-хорошему, по-красивому грустно. Он уважал и любил себя в такие минуты. Он встал и подошел к двери. Она вела на террасу, большую, открытую, каменную, перед ней на небольшой лужайке росла молодая березовая рощица, вся белая, светлая насквозь, сияющая каким-то особым, ясным внутренним светом.

Он спустился с террасы и пошел к ней. Вина его, конечно, совсем не в том, в чем обвинила его эта сумасшедшая Зинаида. Когда они все приехали на квартиру Серго, она лежала на диване без чувств. Как вбежала в кабинет на выстрел и увидела мужа на полу возле письменного стола, а рядом браунинг, так вот и рухнула. Потом уж ее перенесли на диван, и когда она пришла в себя и увидела их всех — его, Молотова, Кагановича, Микояна, Ежова и Берию,— то вскочила и крикнула: «Вы не сумели его сохранить ни для меня, ни

для себя!» Тогда и он не выдержал — сам был подавлен и расстроен и вообще терпеть не мог бабьих истерик, его начинало мутить от них,— тогда он выступил вперед и сказал ей тихо и вразумительно: «Зина, держи язык за зубами! Ты меня знаешь! Я очень прошу, держи язык за зубами». И тут она разревелась, а он вышел. Да, хороший был человек Серго, очень хороший.

И вдруг чей-то голос совершенно явственно спросил его: «А разве Авель Енукидзе, крестный отец твоей жены, был плох?! А этот Окуджава? А...? А...? А...?» Он проглотил ряд имен.

Да в том-то и беда вся, что плох или хорош сюда не подходит. И это вот «Каин, Каин, где твой брат Авель?» тоже не подходит. Ничего сюда не подходит, никакое человеческое чувство, никакое веление сердца. Он потому и победил, что с юности знал,— это не подходит. И раз навсегда избавил себя от всяких сомнений. Все на свете может быть, ничего нельзя предрешить или принимать на веру, если дело касается людей. Всяк человек слаб, грешен и податлив, ни про кого нельзя сказать: «На это он не способен». Каждый, про кого ты думал так, тебя продавал, когда приходил его срок,— начни с жены, кончи Серго, а сколько людей и привязанностей легло еще между ними!

Он шел по березовой рощице, вдыхал горьковатый запах травы, земли, березы и думал (вчерашний разговор, очевидно, дал его размышлениям соответствующее направление) — значит, после того, как правительственная комиссия сделала благоприятные выводы для Марьясина и Окуджавы и уехала восвояси, Марьясин снова был вызван к следователю и дал, как пишет «Большевик», новые, уличающие его показания. И этим, конечно, подписал смертный приговор себе и Окуджаве. А вот Окуджава тогда ничего не дал — ни на себя, ни на Марьясина. Да он, очевидно, и сначала ничего не давал. Вот грузин! Если стоит, так уж до смерти! Вот таким был и Авель. Черта с два от него можно было чего-то добиться! Орджоникидзе! Покончил, а не покаялся! Упрямые, упрямые люди! Марьясин показал, а Шалико Окуджава нет! А ведь допрашивали их одинаково. И вот Марьясин — да, а Окуджава — нет.

Эти слова все звучали и звучали у него в уме, пока он не дошел до своего любимого уголка, дощатого помоста с плетеным ивовым креслом, и не сел на него. Он любил грубую, непритязательную мебель, как вообще любил все простое, добротное и удобное. И поэтому такие кресла стояли по всему саду.

Прокурору по спецделам от ЗК (имя, фамилия, установочные данные — то есть где арестован, где содержится, с какого времени, какая статья предъявлена /статья 58, пункт 10 — антисоветская агитация/).

Хочу внести полную ясность в наши отношения. В лиге самоубийц я не состою и гробить себя не согласен. О чем и предупреждаю. Я не шпион, не валютчик, не изменник, я — лояльнейший и вернейший гражданин Советского Союза, если хотите — просто обыватель. Политики боюсь. Не мое она дело. Все это я изложил следователю Хрипушину, и он мне ответил: «Не подпишешь добром, подпишешь под кулаком. Понятно?» Как не понять? Это-то я давно понял, только и Хрипушин пусть поймет: кулак-то есть и у меня, а бью я, пожалуй, похлеще Хрипушина. А так как в делах подобного рода «крайняя степень недобросовестности связана с необыкновенной юридической тщательностью» (А. В. Луначарский), то в результате получит Хрипушин пшик, а крови я испорчу ему целое ведро. На мне лишние лычки не заработаешь — пусть это запомнят все великие инквизиторы, которыми, по словам Хрипушина, здесь хоть пруд пруди.

К сему З ы б и н.

Нач. внутренней тюрьмы НКВД
от ЗК (те же данные)

Объяснение

На Ваш вопрос: «К кому конкретно из работников органов относятся ваши оскорбительные антисоветские выпады?» — отвечаю: конкретно ни к кому, я писал вообще. Если же, как Вы мне сообщили, никто ничего на мне не собирается зарабатывать, а просто ведется следствие, то ясно, что никому я ничем не пригрозил и никого никак не обозвал.

На Ваш второй вопрос: «Что заставило вас представлять советское правосудие как великую инквизицию?» — объясняю: не что, а кто — мой следователь Хрипушин. Он обещал сделать из меня «свиную отбивную» и сказал, что ему в этом патриоты помогут — «их у нас знаешь сколько?». Если сомневаетесь, устройте очную.

А вот с товарищем Луначарским мне устраивать ее не надо. Он уже давно спит в «земле сырой», не в

земле, а в стене. Заинтересовавшее же Вас, как Вы определили, «антисоветское высказывание» находится в книге А. Франса «Жизнь Жанны д'Арк» (предисловие).

На вопрос: «Расскажите чистосердечно об антисоветской террористической организации «лига самоубийц» и о вашем участии в ней» — отвечаю: никак эта лига не могла быть антисоветской, так как она существовала еще до Советов. По причине моего тогдашнего малолетства участвовать я в ней никак не мог. Впрочем, ее кажется и вообще не было. Вероятно, ее придумал какой-нибудь тогдашний Хрипушин с какой-нибудь тогдашней Сонькой Золотой Ручкой.

На вопрос: «Объясните, какими конкретно актами террора вы грозите следствию?» — отвечаю: актами я не грожу, а если ударят, то отвечу здорово. И из камеры больше не выйду. Придется вам меня тащить на руках. И сразу же объявлю голодовку. И прокурора республики вызову. Но так как Вы сказали, что «меры» только для «стоящих» и «настоящих», а об такого говнюка, как я, даже руки марать не стоит, то, значит, и говорить не о чем.

Еще очень прошу прислать библиотекаря: целый месяц в камере лежат «Как закалялась сталь» и «Княжна Джаваха» Л. Чарской, а я эти труды успел проштудировать еще до тюрьмы. Прошу не отказать.

К сему ЗК Г. Зыбин.

— Да дело не в тоне! Тон как тон! Они часто так пишут! Главное «к сему»! Главное — это наглое, издевательское «к сему Г. Зыбин». Ну показал бы я тебе, Г. Зыбин, «к сему»! Сразу бы все стало тебе ни к чему! Барин пишет дворнику! Ах ты! — Нейман раздраженно швырнул по столу оба заявления, вынул трубку и стал ее набивать. А набивал ее он не просто, а по некоему высокому образцу: выбирал из коробки «Герцеговина флор» пару папирос, обрывал мундштуки, срывал папиросную бумагу, уминал табак в люльку оттопыренным большим желтым пальцем, под конец же высекал из зажигалки огонь, закуривал и с наслаждением затягивался. «Ух,— говорил он,— хорошо».

Прокурор Мячин молча смотрел на него. Не любил он Неймана. То есть он этого толстого, жизнерадостного, розовощекого и ясноглазого карапуза с его туманным загадочным взором попросту терпеть не мог.

— Так покажите! — сказал он любезно.

Нейман взглянул на него и выпустил длинную струю дыма.

— А почему вас заинтересовал Луначарский? — спросил он отрывисто.

Прокурор привстал, поднял со стола оба заявления, спрятал их в портфель, запер его и только после этого ответил:

— Он же какое-то время работал в его секретариате порученцем!

— А-а, да-да, был, был! Еще студентом! — кивнул головой Нейман.— И вы, значит, подумали, что нарком мог пооткровенничать в добрую минуту со своим студентом.— Он вдруг добродушно засмеялся.— Нет, нет, дорогой Аркадий Альфредович, такое исключается. Философствовать Анатолий Васильевич — ваша правда — очень любил. И разговаривал со студентами тоже свободно, легко, широко. Я когда учился на историческом, слышал, как он разливается,— но чтоб такое... нет, нет, никогда!

— Ну хорошо, а что же мы все-таки будем решать вот с этим красавцем? А? Очевидно, теперь уж ничего не поделаешь — придется послать в ОСО. Как вы?

Нейман по-прежнему курил. Мячин уколол его очень больно. В Особое совещание, как правило, посылались только фактически уже проигранные дела — такие, которые даже суды не принимали. «На нет и суда нет, но есть Особое совещание»,— острили заключенные, а за ними и потихонечку следователи. Высокому начальству эти шуточки совсем не нравились. Циников оно не любило, потому что больше всего ценило идеалы.

«Будьте щепетильны, будьте крайне щепетильны в отношении ОСО,— заклинал на общем собрании наркомата Роман Львович Штерн, высокий гость из Москвы и двоюродный брат этого самого Неймана.— Не теряйте чувства стиля! Каждый должен получить то, что заслуживает! Да! Верно! Троцкист, диверсант, агент иностранной разведки — это все поручики Киже, «арестанты секретные, фигуры не имеющие». Из нашей жизни эти черные тени должны исчезать бесследно и бесшумно. Ваш наркомат должен быть могильным склепом для этих врагов народа. Но, повторяю,— врагов! А вот, например, такой случай: арестовывается какой-нибудь любитель политических бесед и анекдотов. Скажем, бухгалтер Иван Иванович Иванов. А вместе с ним заодно Марья, Дарья и тетка Агафья — и вот вся эта компания пропадает без суда и приговора. Вот это уже

крупный просчет, товарищи! Ибо что, по совести, может сказать рядовому человеку вот такая бумажка: «Ваш родственник осужден тогда-то постановлением Особого совещания на восемь лет лагерей за КРД?» Ведь это же темный лес, товарищи! Что это за совещание? Почему оно Особое? Где оно? Зачем оно, если есть суды? И почему в бумажке какие-то буквы, когда в Уголовном кодексе цифры? Я вот даже не представляю, как вы сможете все это объяснить! И совсем другое дело суд. Тут — председательствующий, заседатель, защитник, прокурор. Свидетель уличает, защитник защищает, прокурор обвиняет, судья осуждает. Обвинили, осудили, усадили в «воронок» и покатили! Подавайте кассацию! Адрес такой-то! Срок для обжалования такой-то! Все ясно, зримо, просто. К сожалению, далеко-далеко не всегда бывает так. Попадаются случаи, и их даже немало, когда следственные работники стараются спихнуть любое неприятное дело в ОСО. Но почему именно в ОСО? Отвечаю: для суда надо свидетелей, а их нет! Ну знаете, когда я от вашего работника слышу эдакое, я ему очень ласково и тихо говорю: «Дорогой товарищ! А не рано ли вас поставили на эту труднейшую работу?» Потому что перед настоящим следователем преступнику все время хочется упасть на колени и никакие тут свидетели не нужны. Товарищи, берегите ОСО! Это острейшее орудие борьбы за идейную чистоту и сплоченность нашего общества. Просто невозможно, чтоб кто-нибудь из нас использовал его для оправдания своей плохой, неряшливой работы! Ведь тогда и ошибки возможны! Впрочем, я уж давно отказался от этого слова. Я говорю — преступление! «Объективно или субъективно — это все равно» — так сказал наш Вождь. И последнее. Будьте гуманны и справедливы. Оттуда уже не возвращаются! Там нет ни пересмотров, ни амнистий! Кто осужден вами, тот осужден навеки! Вы — его последняя инстанция, и мы, прокуроры, не глядя — слышите, не глядя и не споря — подписываем ваши заключения! Потому что не имеем права заглядывать в них! Никогда никому не было оказано такого доверия! Только вам! Только вам! Вдумайтесь, товарищи, хорошенько в это!»

После этой речи Романа Львовича количество дел, поступающих в ОСО из наркомата КазССР, резко сократилось: Москва стала оценивать работу следователя в зависимости от количества дел, прошедших через суд. Неймана это не затронуло. Он всегда умел доставать свидетелей.

— Ну что ж,— сказал он,— если ничего так и не отыщем, пошлем в ОСО. Не выпускать же! — И добавил: — Испортил мне песню, дурак!

— Это вы так о Белоусове? — улыбнулся Мячин.

— О нем, идиоте! Шерлок Холмс говенный! «Только сейчас, только сейчас! Сейчас к нему баба приехала! Как возьмем по горячему следу — он сразу колонется! Он же псих!» Вот и взял. И схватил полную пригоршню горяченького! Предъявить-то нечего!

— А десятый?

— Во-во-во! — словно обрадовался Нейман.— Этого дерьма мне только и не хватало! Ходило ботало десять лет, ну и еще бы походило годик! Может, что-нибудь и получше себе за этот срок наговорил бы! Десятый! Бросьте, пожалуйста! Я от шпионов и террористов задыхаюсь, а вы мне десятый! — Он схватил трубку, закусил ее и выхватил обратно.— Кадров у меня нет! Кадров! Захлебнулись! Вот вы позавчера не приняли у моего следователя обвинительное заключение. Ну что ж, правильно. Ну а кто у меня работает, вы знаете? Практиканты, курсанты третьего курса! Племянницу свою к нам сватаю! Только что кончила с отличием, девчонке отдохнуть надо, а я ее сюда! Сюда! А в городской пересылке вы уже бывали? Ну и что, понравилось? — И Нейман снова закурил.

— Да-а,— протянул прокурор,— да, пересылка! Картина, как говорится, достойная кисти Айвазовского.

Он и в самом деле был потрясен до глубины души. Не тюрьму он увидел, а развеселый цыганский табор, вокзал, барахолку, москворецкий пляж! Огромный квадрат двора администрация заставила палатками, шалашами, юртами, чем-то вроде харчевок. Когда прокурор вместе с начальником проходил по двору, вся эта рвань высыпала наружу. Кто-то что-то сказанул и все загрохотали. «А ну порядочек! А то сейчас эти веселые пойдут в карцер!» — крикнул для приличия старший надзиратель, прохаживающийся между палатками, но его так и не услышали. А взглянув на зека, прокурор понял и другое. Эти оборванцы и доходяги были счастливейшими людьми на свете. Они уж ничего больше не боялись! Их не расстреляли. Их не забили. И все страшное — глазированные боксы, цементные одиночки, ледяные карцеры, стойки, бессонница — осталось позади. Они снова топтали траву, мокли под дождем, жарились на солнце. А чего же человеку, по совести, еще надо? Шум, гам, смех висели над этим проклятым местом. Оправдывалась старинная тюремная прибаутка: «Там вечно пляшут и поют». Да, и

плясали, и пели, и, кроме того, еще забивали козла, гадали на бобах, меняли хлеб на тряпки, тряпки на сахар, сахар на махорку и все это на конверт, марку и лист бумаги — письмо можно будет выбросить по дороге на вокзал или даже из окна вагона. Всюду сидели «адвокаты» и строчили жалобы. Писали Сталину, Кагановичу, Ежову. А с воли просачивались вести одна отрадней другой. Вот посажен начальник тюрьмы, на столе у Вождя лежит проект нового Уголовного кодекса — расстрела нет, самый большой срок пять лет; на приеме какой-то делегации иностранных рабочих Вождь сказал: «Мы можем дать такую амнистию, которую еще мир не видал»; на Колыме второй уж месяц работает правительственная комиссия по пересмотру. Только бы скорее попасть туда, а там уж... и менялись адресами, и звали друг друга в гости, и назначали встречи. «Через год — дома»,— говорили они.

И только начальник пересылки, старая острожная крыса, работавший в тюрьме с начала века, знал и сказал прокурору, что через год из них останется половина, через два года четверть и только, может быть, один из десяти дотянет до свободы.

(Их осталось четверо из сотни, и, встречаясь, они удивлялись, что их столько уцелело! «Нет, есть, есть бог»,— говорили они.)

— Именно,— сказал Нейман,— именно картина, достойная Айвазовского! Так вот, Аркадий Альфредович, с теми данными, что мы имеем, я бы Зыбина никогда не стал брать. Я бы ждал. Это фигура с горизонтами, за ним много что ходит. Пускать его сейчас по десятке, да еще через ОСО,— это просто преступление. Я так работать не привык. И вот видите, приходится. Да, да, оперотдел подвел.

— А золото? — поддразнил прокурор.

— Что? Зо-ло-то? — как будто удивился Нейман.— Так для золота и требуется зо-ло-то, уважаемый Аркадий Альфредович! Это вам не разговорчики, а благородный металл! Вот сейчас, если он мне пришлет полное признание, я изорву и брошу в корзину. А его пошлю в карцер. Потому что это значит, что опять что-то надумал подлец. Нет, из этого, видно, уж ничего не извлечешь! ОСО! Конечно, если бы мне разрешили санкции... Но вы ведь не разрешите? — спросил он в упор.

Мячин слегка передернул плечами.

— Я? Нет! Я просто не имею права на это. Вы же знаете директиву! Просите свое начальство, он может. Вот ведь...— Он полез зачем-то в портфель.

— Не надо,— с отвращением отмахнулся Нейман.— «С ответственностью! Как исключение! В оправданных случаях! В соответствующих обстоятельствах! К бешеным агентам буржуазии! К смертельным врагам!» — После каждого восклицания он вскидывал ладонь.— А Зыбин проходит как болтун, а не как бешеный пес!

— А если так, по-домашнему? Закрыть глаза на все,— улыбнулся прокурор,— вызвать двух практикантов поздоровее да часа в два ночи и поговорить с ним, а? — Было непонятно, говорит ли он всерьез или опять поддразнивает.

— Да,— грубо усмехнулся Нейман,— как раз! И закатит он мне хорошую голодовку и будет держать ее с полмесяца. А врачи, которые будут кормить его через задницу, подадут на меня рапорт. И вы тоже напишете: «Без всяких разумных на то оснований майор Нейман усложнил следствие. Профессиональная беспомощность майора привела к тому, что...» Это же ваш стиль! И получу я по вашей милости хо-о-роший выговор. А если он сдохнет, тогда что?

Прокурор засмеялся.

— Еще вам и этого бояться! — сказал он.— При ваших-то...— Он нарочно не окончил.

— Во-во! — подхватил азартно Нейман.— Во-во! Вот это самое и есть! За это самое вы меня все и ненавидите...

— Ну! Я вас ненавижу,— снова улыбнулся прокурор и сделал движение встать. Нет, он, конечно, не ненавидел этого Неймана, это не то слово, просто Нейман, этот мясник с лицом младенца, ему был физически противен, но сейчас он еще и недоумевал: в первый раз он видел, чтоб Нейман отступал перед своей жертвой. И под каким еще дурацким предлогом! Закатит ему этот болван голодовку! Придется его кормить! А вдруг сдохнет? Действительно, нашел, кому дурить голову! Да пусть все они подыхают! Первый раз, что ли, майору Нейману вбивать человека в гроб! И вдруг его как кольнуло. Глядя в голубые загадочные глаза Неймана, этого брата своего брата, он остро подумал: «А ведь это, пожалуй, неспроста! Верно, что-то такое случилось в Москве, чего никто еще не знает. Может быть, спущены новые установки? Может быть, Вождь что-то изрек? Или кто-то из руководящих проштрафился? Уже было однажды такое!»

Приподнявшись, он неуверенно смотрел на Неймана, не зная, что сказать или сделать. И тут зазвонил телефон. Нейман хмуро снял трубку, послушал и вдруг заулыбался.

— А, доброе утро, доброе утро, дорогая,— сказал он очень по-доброму.— То есть те, которые работающие, те уж давно отобедали, а всякие бездельницы да мамины дочки... Да, представь себе, уже два часа. Ну как нога-то? А кто у тебя был? Так и сказал? Ну слава богу! А теперь вот подумай: что, если бы ты трахнулась не коленкой, а головой. Ну да тебе на все наплевать, а вот что бы я моей дражайшей сестре стал бы говорить? Ну вот то-то и оно-то! Теперь возьми карандаш, запиши: Анатоль Франс. «Жизнь Жанны д'Арк». Знаю, что нет. Позвони в библиотеку. Если и у них нет, пусть от моего имени закажут в Публичной. Да, очень надо! Слушай, да не будь ты уж чрезмерно-то догадливой! У нас был один чрезмерно догадливый, так ему потом родственники посылки посылали. Да, вот так. Буду как обычно. Лежи смирно и никого не приглашай. Отлично! Исполняйте!

Он повесил трубку и поглядел на прокурора. Лицо его было теперь ласковым и простым. А глаза, как глаза у всякого пожилого, потрепанного жизнью человека,— усталые и с прожелтью.

— Вот какая она у меня,— похвалился он,— лед и пламень!

— А что это у нее с ногой?— поинтересовался Мячин.

— Да сумасшедшая же, дура!— выругался Нейман нежно и восторженно.— Поехала на моем велосипеде ночью провожать подругу, ну и шарахнулась в темноте о столб. Когда подруга позвонила мне и я примчался, у нее на месте коленки была пачка подмокшего киселя, меня даже замутило, не переношу кровь! Видеть не могу! А она смеется! Что же, видно, родовое, отец — грузин. Тамара Георгиевна Долидзе — как? Звучит?

— Звучит,— улыбнулся Мячин, удивленно приглядываясь к Нейману, таким он его еще не видел.

— Но и наша кровь тоже есть в девчонке! Мой дед был кантонистом, а отец...

Снова зазвонил телефон, теперь вертушка. Нейман снял трубку и сразу погрузнел и потяжелел.

— Да,— сказал он скучным голосом,— майор Нейман вас слушает. Да, слушаю вас, Петр Ильич. Так точно! Так Аркадий Альфредович как раз сейчас у меня. Да вот сидим, разговариваем о жизни. Слушаюсь. Ждем.— Он положил трубку.— Сейчас полковник придет, какие-то вопросы у него к вам.

Он плотно уселся в кресло, вынул трубку, набил и закурил.

— Ух! Хорошо!— сказал он.

Глава III

— Ну, привет громадянам,— сказал Гуляев, входя.— Привет, привет!

Был он низкорослый, тщедушный, мальчишистый (его дразнили хорьком), в огромных роговых очках. Когда он снимал их, то становились видны его неожиданно маленькие, постоянно моргающие и воспаленные глазки. И тогда все его лицо теряло свою зловещую и таинственную значительность. Мужик как мужик.

— Куда же ты это пропадаешь, прокурор?— продолжал он, проходя к столу.— В прокуратуру звоню, говорят — ушел в наркомат, звоню в прокурорскую комнату, говорят — был, да весь вышел. Так куда же ты это все выходишь, а?

— Да вот видишь куда,— хмуро усмехнулся Мячин,— сидим уже час, вентилируем твоего Зыбина.

— А что такое?

— Ноту он нам прислал,— объяснил Нейман.

— Ноту? Ну это он умеет,— равнодушно согласился Гуляев, ожидая, пока Нейман встанет и уступит ему свое место,— этому-то мы его обучили! — Он сел, вынул блокнот и положил его перед собой.— «Полина Юрьевна Потоцкая,— прочитал он,— сотрудница Ветзооинститута» — говорит вам это что-нибудь?

— Мне даже очень много,— усмехнулся Нейман,— коронная свидетельница Хрипушина. Его от нее чуть удар не хватил. Ну как же? Вызвал ее повесткой на дом — не явилась! Оказывается, дома не было, а повестку подруга приняла. Тогда вручили на службе лично — и опять не явилась! В институте нет, дома тоже. Только через три дня узнали: попала в больницу. У нее там какой-то привычный вывих, вот и обморозилась в горах.

— Так что ж, так и не допросили? — удивился Гуляев.

— Ну почему же нет! Допросили! — Голос Неймана иронически подрагивал.— Да еще как! Десять листов с обеих сторон они с Хрипушиным на пару исписали. Потом еще пять прибавили. Принес он их мне. Я прочел и говорю ему: «Ну вот, теперь все это, значит, чистенько перепечатайте, сколите и отошлите в «Огонек», чтоб там печатали с картинками. Гонорар пополам».

— И что там, так ни одного дельного слова и нет? — засмеялся Мячин.

— Ну как нет! Там пятнадцать страниц этих слов. Целый роман! Море. Ночь. Луна. Он. Она. Памятник какой-то немыслимый, краб величины необычайной.

Они его с Зыбиным под кровать ему засунули, потом вынули, в море отпустили. Вот такой протокольчик! А не хочешь, говорю, посылать его в журнал, тогда тащи-ка его в сортир. Так сказать, по прямому его назначению. Ну а что вы об ней вспомнили?

— Так вот, звонит она мне. Просит принять.— На минуту Гуляев задумался.— Ну так что ж, может, тогда и отослать ее к Хрипушину? Или вы с ней сами поговорите?— Он взглянул на Неймана.

— Ну нет! Пусть она идет к своей бабушке,— серьезно сказал тот,— может, вот Аркадий Альфредович захочет ее увидеть. Вот ведь!— Он прошел к столу, достал из него папку, из папки черный конверт с фотографиями, выбрал одну из них и подал Мячину.— Взгляните-ка! Как?

— Да-а,— сказал Мячин, вертя фотографию в руках, и вздохнул.— Да-а,— он протянул фото Гуляеву,— посмотри!

— «Люблю сердечно, дарю навечно»,— прочел Гуляев.— Да что это она? Такая барыня, и вдруг...

— А это юмор у них такой особый,— зло ухмыльнулся Нейман. Он был раздражен и взвинчен, хотя и старался не показать этого.— Для нас, дураков, конечно. И он ей тоже — «Во первых строках моего письма, любезная наша Полина, спешу вам сообщить...» или: «К сему Зыбин». Остряки-самоучки, мать их так!

— А прическа-то, прическа,— сказал Гуляев.

— А наимоднейшая! Как у звезд! У этой прически даже особое название есть. Путти? Мутти? Лили? Пути? Аркадий Альфредович, не слышали?

— Нет, не слышал,— сказал серьезно прокурор и отобрал у Гуляева карточку,— у Лилиан Путти не прическа, а стрижка, и очень низкая, вроде нашей польки. А она тут под Глорию Свенсон. Такие прически года три тому назад были очень модными.

— В самом деле?— Гуляев взглянул на прокурора (тот все рассматривал фото) и снял трубку.— Миля,— сказал он,— тут сейчас будет звонить опять Потоцкая, так я у Якова Абрамовича в триста пятидесятой — ведите ее сюда. А вообще меня нет.— Он положил трубку и прищурился.— Аркадий Альфредович,— сказал он деловито,— вот мы в прошлом году отмечали твои именины. Это сколько же тебе исполнилось?

— Тлидцать тли,— недовольно ответил прокурор и отдал карточку Нейману.

— Точно, точно! Тридцать три плюс пятнадцать! И ты все еще о каких-то футти-нутти думаешь? Вот что значит отец — присяжный поверенный! А ты взгляни на

майора! Ему этих пути... на дух не нужно! А ведь не нам с тобой, старичкам, чета, молодой, здоровый, румянец во всю щеку! А ты его когда-нибудь с женщиной видел? Он — как это в стихах пишется? — анахорет!

— А может, я у себя оргии устраиваю,— неприятно скривился Нейман.

— Да сразу видно, что устраиваете! Вот ты, прокурор, все по этим путти, кутти, ножки гнути стреляешь, а он знаешь чье сердце покорил? Марьи Саввишны, то-варища Кашириной! Управляющей нашими домами! Ну ты ее знаешь — Екатерина Великая! В буклях! Ее ни одна пила не берет. Дочку развела и мужа ее посадила. А когда она о Якове Абрамовиче говорит, у нее голос, как у перепелочки,— то-о-ненький! «Ну чистота! Ну порядок! Взглянуть любо-дорого! Взойдешь — и не ушел бы. И воздух свежий! Все фортки настежь! И порядок! Порядок! Как у барышни! И у каждой вещи свое место. Все сразу отыщешь». Вот как об нашем о Якове Абрамовиче наш рабочий класс отзывается. О нас черта с два так скажет. Что ж? Анахорет!

— Да,— сказал прокурор рассеянно,— это очень, очень...

— Но знаете, чем вы ее больше всего купили, Яков Абрамович,— обернулся к Нейману Гуляев.— Своими монетками! Такая, говорит, у них красота, такая научность! Все монетки в особой витрине, ровно часики в еврейской мастерской. И все одна к одной! Серебряшечки к серебряшечкам, медяшечки к медяшечкам, а золотые, ну, те уж, конечно, в отдельной коробке, в сундуке. Они не показываются, а есть, есть! Я такой красоты, говорит, даже у купцов Юховых не видела, когда с ними по ярмаркам ездила.

Пропадал, пропадал в полковнике Гуляеве незаурядный характерный актер. Недаром говорили, что мальчишкой он пел в архиерейском хоре. До последнего года он даже активно участвовал в драмкружке, которым руководил заслуженный артист республики — добродушный пухлячок, вечно подшафе, но обязательно жаждущий самых-самых распоследних ста грамм. С ним Гуляев дружил и провел его сначала в агентуру, а потом в заслуженные. Нейман знал об этом, потому что после последней стопки, когда его вели уже домой, заслуженный внезапно садился на тумбу, начинал плакать и говорил, что он пропал, абсолютно и безусловно, потому что... И очень драматично рассказывал почему. Но обязанности свои при этом выполнял аккуратно, был на хорошем счету и, кажется, даже поощрялся. Эту историю Нейман держал еще про запас.

— Постойте,— спросил Мячин ошалело,— да вы что? Нумизмат, что ли?

Он был в самом деле не только огорошен, но даже и огорчен. В их домах собирали всякое: открытки, голыши из Ялты и Коктебеля, фарфор с Арбата, мебель со всяких распродаж. У его предшественника в спальне над кроватью висел даже ящик с африканскими бабочками, а в столовой на особом столике блистала и переливалась голубым и розовым перламутром горка колибри (мир праху вашего хозяина, птички!). Все это было в порядке вещей, но чтоб какой-нибудь следователь занимался нумизматикой! Да еще такой следователь, толстый местечковый пошлячок и ловчила, в этом для сына столичного присяжного поверенного, старого московского интеллигента, было что-то почти оскорбительное. Но, впрочем, если подумать, то и это норма! Мало ли археологов и историков провалились в землю через полы тихих кабинетов пятого этажа! А дальше все уже было проще простого: сначала «и с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества», затем «столько-то килограмм белого и желтого металла по цене рубль килограмм».

— И много у вас монет?— спросил прокурор.

— А ты знаешь, что у него есть?— воскликнул Гуляев.— Рубль Александра Македонского! На одной стороне он в профиль, а на другой конница! Нет, ты представь себе, сам Александр Благословенный две тысячи лет тому назад этот рубль или дубль держал в руках! Да за него любой музей мира сейчас отвалит десять тысяч золотом!

— И давно вы их собираете?— спросил Мячин.

— Да занимался когда-то,— небрежно махнул рукой Нейман.

Рука у него была толстая, с пухлыми пальцами, перетянутая у запястья красной ниточкой (он отлично понимал чувства прокурора, и они попросту забавляли его).

— Я даже, если хотите знать,— продолжал он,— два года ходил на семинар профессора Массона.— Он усмехнулся.— «Дела давно минувших дней»!

— А вот мы заставим показать нам их,— жизнерадостно крикнул Гуляев.— А правда, Яков Абрамович, а что бы вам не пригласить нас к себе? Ведь сейчас и хозяйка у вас имеется! Прокурор, ты не знаком с племянницей Якова Абрамовича? Ну! Сразу всех пути-кути забудешь! Вот только прячет он ее от нас. Ну ничего, ничего, поступит к нам работать, тогда уж мы...

— Да нет, товарищи, что вы, что вы,— запротестовал Нейман,— я и сам думаю, как бы ее ввести в наш тесный круг, да вот видите, какая беда-то, лежит она!

— Да, а врач был?— спросил Гуляев.— Может, ее госпитализировать?

И все трое вздрогнули. Это было очень страшное слово. Почти каждый день приходилось кого-то госпитализировать; вчера госпитализировали директора элеватора с отбитыми легкими, позавчера свезли двоих: у одного были раздавлены пальцы, у другого случилось внутреннее кровоизлияние. Это часто бывает от удара сапога.

— Да нет, какая там госпитализация,— поморщился Нейман,— ненавидит она всякие больницы, совершенно безумная девка!

— Ну, ну,— улыбнулся Гуляев,— не надо на нее так! Очень славная девочка, умница, тонкая душа! Из нее получится настоящий следователь. Это, наверное, у вас наследственное, Яков Абрамович! Вы знаете, что она мне сказала, когда побывала на допросе вашего Зыбина? «По-моему, у вас с Хрипушиным ничего не получится, товарищ полковник, надо идти иным путем. Ищите женщину!» Поняли, что она хотела сказать? Нет? А я вот сразу понял! Надо следовательницу! А? Что скажете? Во всяком случае, какая-то творческая мысль в этом есть? Может, попробуем?

Наступила короткая тишина.

— А вы знаете — верно!— воскликнул вдруг прокурор и ударил кулаком по спинке кресла.— Вообще-то я не верю в этих молодых следовательниц, двадцатипятилетних прокурорш и оперативниц. Старухи — другое дело.— Он хохотнул.— Вы знаете, что выкинул Пуришкевич в тысяча девятьсот двенадцатом году? Какой-то дамский журнал прислал ему анкету о женском труде, и он написал крупными буквами поперек нее: «Их труд — когда их трут». А? Голова, сукин сын! Но точно, работники они никудышные. Сначала крутят без толку, потом рубят, тоже без толку. Раз его в карцер! Два его в карцер! Три его в карцер! Он сидит, а время идет. И следствие, конечно, стоит, и получается чепуха. Надо снимать. Их снимаешь, а они плачут. Но в данном случае я, пожалуй, согласен. Можно бы было попробовать и следовательницу. Можно бы! Но тут у меня возникает вот какой вопрос, с ним я и пришел к вам,— повернулся он к Нейману.— Чего мы от него, собственно говоря, добиваемся? Три дня тому назад я с ним говорил в присутствии замначальника тюрьмы, и

у меня создалось вполне определенное впечатление. Конечно, он лжет, вертится, чего-то не договаривает, что-то скрывает. Вообще личность грязная, болтун, пьяница, антисоветчик, все это так. Но это и все, товарищи. А дальше пустота. Так стоит ли мудрить? Тем более что вы сами мне сказали, Яков Абрамович, что из-за одного десятого пункта вы бы с ним сейчас связываться не стали. Так для чего нам тогда менять следователя? Что это может дать конкретно? Та же болтовня, то есть десятый пункт! Правда, не через ОСО, а через суд. Конечно, это более желательный исход, но, право же, Яков Абрамович, стоит ли из-за одного этого...

— Нет, нет, Аркадий Альфредович,— энергично замотал головой Нейман,— совсем не из-за одного этого. Я же все время вам повторяю: не из-за этого. Зыбин — птица крупная. Он не болтун, он деятель, а болтает он, может, так, для сокрытия всего остального. И деятельность свою он начал рано. Вот это дело с изнасилованием студентки...

— Извините, как вы сказали? — встрепенулся прокурор.— Я ведь ничего не знаю.

— Да не можем, не можем мы ему это предъявлять,— ворчливо сказал Гуляев. Он терпеть не мог ни такие разговоры, ни бессильные потуги навязать что-то лишнее.— Он вообще тут с боку припека: заступился за товарища, и все. Его тогда же отпустили. Что об этом попусту говорить?! И дела у нас этого нету, одни выписки.

— Разрешите не согласиться, товарищ полковник,— упрямо и скромно наклонил голову Нейман,— конечно, сейчас уж ему ничего не предъявишь, это безусловно так, но я думаю, что именно с этого началась его карьера. Было собрание, выступил Зыбин и весьма квалифицированно сумел повести за собой весь коллектив. В результате полетела резолюция, подготовленная райкомом партии. Я думаю, что это все совсем не случайно. Тут работала целая группа. Один выступал, другие поддерживали. Но дело в конце концов даже не в этом. Дело в вопросе: что его сюда привело? Ведь Алма-Ата — край ссыльных. Половина его товарищей очутились либо в Сибири, либо тут. Кого же он из них тут искал? И если искал, то, конечно, и нашел, так? На этот вопрос опять-таки ответа нет. Но вот посмотрите.— Он взял конверт и встряхнул его над столом. Выпало несколько фотографий. Он выбрал из них пару.— Вот одна интересная деталь. Он перед фасадом какого-то дома стоит, прижимает к груди какую-то

книгу. Фотография как фотография, но знаете, что это за дом? Это улица Красина, номер семьдесят четыре. Госархив.

Прокурор взял снимок, мельком взглянул на него и положил.

— Ну и что? — спросил он.

— А то, что этот дом известен всему миру как дом Льва Давыдовича Троцкого. Здесь он жил во время ссылки в двадцать девятом году, тут был его штаб, сюда собиралась его агентура, из этого дома его и выпроводили за границу. Так вот Зыбин стоит около бывших апартаментов врага народа и прижимает к груди какую-то книгу. Формат ее как будто точно соответствует тому из собрания сочинений Л. Троцкого. Я справлялся: такое выходило в двадцать третьем году. А посмотрите, как встал, апостол же с Евангелием!

— Любопытно, — сказал прокурор и опять покосился на Гуляева, но тот по-прежнему смотрел в окно, курил и скучал. — Очень, очень даже здорово! Но в облсуд такую фотографию представить нельзя — не примет! — Он положил снимок и снова взял карточку Потоцкой. — Не сочтет облсуд это за вещественную улику, — продолжал он, рассматривая карточку. — Работал человек в архиве и снялся возле. А в доме этом не один архив — я его знаю, — там еще и Союз писателей, так что там много кто фотографировался.

— А книга? — спросил Нейман.

— А что книга? Он скажет: «Это сочинения Пушкина, том третий, а года издания не помню», — вот и все.

— А ОСО и спрашивать ничего не будет, — решительно сказал Гуляев и повернулся от окна, — так что посылаем в ОСО, и конец. Ну а в бумагах-то его вы ничего не обнаружили? Там он много их что-то исписал. И письма есть. Правда, почерк... Курица лапой водила. Так что, ничего там нет?

— Да как сказать, — пожал плечами Нейман, — чтоб явного, так опять ничего, а любопытного много. Ну вот, например, выписки из сочинения Карла Маркса «18 брюмера Бонапарта». Не из самого сочинения, а из предисловия.

— Ага, — оживился Гуляев. — Чье предисловие?

— Да нет, Энгельса, — поморщился Нейман, — так что ничего мы тут... но вот выписки интересные. Сделанные со значением. Выписано место, где Энгельс отказывается от революционных мер борьбы. Зачем нам идти на баррикады, когда мы можем просто голосовать и собирать большинство? Пускай уж тогда

буржуазия идет на баррикады. В общем, идея желтых профсоюзов.

— Ну, положим, не желтых профсоюзов,— строго поглядел на него Гуляев,— а Фридриха Энгельса, так что не мешайте божий дар с яичницей.

— Во-во-во!— фыркнул Нейман.— Он мне примерно так и отрезал. Готовился к политзанятию и выписывал тезисы.

— Логично, очень логично,— улыбнулся Мячин.

— Еще бы не логично! Я говорю, крупная птица! И была у него какая-то цель, а может быть, даже и задание! Определенно была! Вот вы его спрашивали, Аркадий Альфредович, зачем он на Или поехал? Что же он вам сказал? Ничего он вам не сказал! Но ведь ездил же! Ездил! Да и как! Вдруг его словно кольнуло. Утром в воскресенье неожиданно собирается, берет водки, закуски, сговаривается с девушкой и едет на товарняке. Зачем?

— Ну там, пожалуй, все ясно,— усмехнулся Гуляев,— водка, закуска, девка, воскресенье! Нет, это понятно!

— Ну вот так он и режет. Люблю выпить по холодку. Река течет, людей нет, девочка под боком, выпил, закусил, спрятал «железный звон свой в мягкое, в женское» и порядок.

Все засмеялись.

— Тут даже у него и психология есть,— сказал прокурор.

— Извиняюсь,— покачал головой Нейман,— но вот психология-то его как раз тут и подводит. Ведь если бы он хоть неделю, хоть три дня назад до того поехал, тогда и спрашивать, конечно, было нечего. Но ведь тут что получается? Приезжает эта самая Полина, его давнишняя любовь, он сам не свой: ждет ее, готовится, убивается, что вот никак они не встретятся. Он и в камере все время бредит ею. То они с ней купаются, то на гору лезут, то под гору, то он ее на руках куда-то тащит. Хорошо. Сговариваются на вечер воскресенья, и вот он утром в воскресенье забирает секретаршу и дует с ней куда-то к черту на рога — на Или, в колхоз «Первое мая». Зачем? Неизвестно.

— Да,— сказал прокурор задумчиво.— Да, я спрашивал, он молчит.

— Вот он молчит!— возбужденно воскликнул Нейман.— Он и будет молчать — не дурак! А вы знаете, что там за места! Я специально ездил! Это два часа от города. Голая пустая степь, скалы и река. Ни одной души. И так до самого Китая. А по берегу километров

на сорок рыбацкие землянки. Ловят маринку. И кто там рыбак, а кто просто так, ни один дьявол не знает. Ни паспортов, ни прописки, ни участкового — ничего нет. А сведенья нам попадают: там и раскулаченные, и беглые, и даже, может, перебежчики из Китая, и черт знает кто еще.

— Ловили? — спросил прокурор.

— Да всякую шпану ловили, а крупная рыба, конечно, уходила сразу же. Ведь туда незаметно не подойдешь, все пусто — степь! За десять верст человека видно. А ночью они, конечно, свои посты расставляют. Так вот зачем он туда сунулся? Да еще с водкой? С девкой? Узнала бы его любовь про девку, что было бы? А?

— Да,— сказал прокурор,— действительно, тут что-то не так. А вы этой Полине ничего не говорили? А то ведь бабья ревность в наших делах — великая сила. Если ее умело использовать.

— Ой,— покачал головой Нейман,— разве же их проймешь? Я вот велел Хрипушину сказать ему: «Будешь молчать, мы ее посадим!» Порядочный человек, конечно, призадумался бы: а вдруг правда! Так эта сволочь к Хрипушину чуть не на шею: «Правильно! Посадить! Пусть сидит, меня дожидается! А то я тут, а она там будет с кем-то гулять? Какая же это справедливость!»

Гуляев посмотрел на прокурора, и они оба опять рассмеялись.

— Силен бродяга,— сказал прокурор с удовольствием.

— И она так же отвечает — я ей про Или и с кем его захватили, а она мне: «Ну вот видите, товарищ следователь, я же сразу вам сказала, что у нас были чисто товарищеские отношения и не больше. Он и там меня знакомил со своими приятельницами». Вот и весь ее ответ.

— Да! Так когда же ваша племянница встанет? — вдруг спросил Гуляев.— С неделю еще пролежит? Вот когда встанет, мы ей это дело и поручим, как вы думаете, Аркадий Альфредович?

— А не получится первый блин комом? — осторожно спросил прокурор.— Ведь хотя тут, кроме десятого пункта, пока ничего не собрали, но вот сейчас я соглашаюсь с Яковом Абрамовичем: это дичь крупная, она требует особого подхода. Деликатного. Выпускница может и не справиться.

— Хм, выпускница! — усмехнулся Гуляев.— Допотопное у тебя представление о нашей молодежи, про-

курор! Яков Абрамович, а ну в двух словах расскажите нам про то краснодарское дело. За что Тамара Георгиевна получила благодарность от начальника управления. Она ведь, прокурор, целую отлично законспирированную антисоветскую организацию открыла. Что, неужели не слышал? А ну, Яков Абрамович, просветите прокурора.

— Да вы, наверно, слышали,— поморщился Нейман.— Сначала задержали в станице старуху шинкарку. Ну, конечно, самогон, там все его гонят. Шестьдесят восемь лет ей, ни одного зуба, кривая, косая, не слышит, ходит еле-еле, хотели уже выгонять, да спохватились. Как так: и самогон гонит и шинкарствует, а живет на одном хлебе и молоке — и денег нет. Где они? Начали спрашивать — ревет, и все: «Да сыны вы мои! Да деточки вы мои милые! Ничего у меня нет! Где хотите, там и смотрите. Только на похороны и накопила себе малость». «Да где они? Покажи, мы не возьмем, только посмотрим!» «Ой, сыночки мои, нету их у меня, нету! Сын приезжал, отдала на сохранение». А сын зимовщиком где-то. Далеко-далеко! «Была у меня бумажка, сколько дала, да затеряла, видно, а то все за иконой лежала!» Ну и совсем решили уже выгонять. И дали моей племяннице оформить окончание дела. Так она бабку вызвала, с утра до полуночи просидела и все до точки выявила. Оказывается, десять лет в районе под самым носом властей работала организация «Лепта вдовицы». Не только старые станичники, но и их дети, невестки, внуки отчисляли по пять процентов со всех доходов, и шло это на помощь осужденным попам и религиозникам. Работали так, что любо-дорого. Бабка эта в агентах состояла. А был еще казначей, экспедиторы, даже счетовод. Посылали посылки, передачи делали, вызывали родственников на свиданья и дорогу оплачивали. Нанимали защитников, чтоб те подавали кассационные. А самое главное — в нескольких случаях даже переквалифицировали статьи и снижали срок до фактически отбытого. Вот какие чудеса творились у нас за спиной. Вот тебе и наша бдительность!

— Действительно черт знает что! — возмутился прокурор.— Ну и чем это все кончилось?

— Очень хорошо кончилось,— гордо воскликнул Нейман,— трем по десятке, четырем по пяти, двенадцать человек на высылку, адвокатам-голубчикам всем по пяти Колымы. Один не доехал: урки в дороге придушили. Вот что девчонка сделала! А мы сидели, слюни распускали!

— Да, внушительно, внушительно,— согласился прокурор,— молодец девчонка. А бабке что?

— Да бабку на другой день после этого допроса пришлось госпитализировать. Нет, нет, ничего такого, просто сердце, и кажется, что с концами: в приговоре не числится. Да и, собственно говоря, она уже была не нужна.

— Да, что хорошо, то хорошо, ничего уж тут не скажешь, молодец, молодец,— повторил прокурор.— Ну что ж,— обернулся он к Гуляеву,— по-моему, давайте попробуем!

В дверь постучали.

— Ага, пришла,— встал с места Гуляев,— значит, так. Начинаю разговор я, передаю его тебе как представителю надзора, товарищ Нейман нам помогает.

Он собрал со стола фотографии, засунул их в конверт и крикнул:

— Войдите!

Вошла секретарша, а за ней та, чью фотографию они только что все трое рассматривали и критиковали.

И пахнуло духами.

Однако на звезду она не походила. И прическа у нее была не такая, как у Глории Свенсон, и ресницы не были длинными, и даже губ она не накрасила. Так что, конечно, не Глория Свенсон, а может быть, даже героиня фильма о советских женщинах. Она вошла и остановилась на пороге.

— Здравствуйте,— сказала она.

— Здравствуйте, здравствуйте, Полина Юрьевна,— гостеприимно и просто ответил ей Гуляев,— проходите, пожалуйста, садитесь. Вот в это кресло. Итак, какая нужда вас к нам занесла?

— Я пришла поговорить,— сказала она.

— Ага! Отлично! Поговорим! О чем!

— Меня вызывали по делу Зыбина!

— Ага, значит, с Яковом Абрамовичем вы знакомы. Я начальник отдела, моя фамилия Гуляев Петр Ильич, а это облпрокурор по спецделам. Все налицо. Так что, если есть у вас какие вопросы и неясности... Это что у вас? Заявление? Давайте-ка его сюда!

Он взял бумагу и погрузился в чтение. Читал он внимательно, взял красный карандаш и что-то длинно подчеркнул в тексте.

— Так,— сказал он,— понятно!— И протянул бумагу Нейману.— Но ведь такие справки, Полина Юрьевна, мы на руки не выдаем. Пусть нас официально запросят — мы ответим. Вас что, кто-нибудь направил сюда?

— Нет, я сама пришла,— ответила она.

— Сама! Тогда совсем непонятно, зачем вам понадобилась такая справка? Вы специалист, советская гражданка, читаете лекции студентам. Так что кто у вас может потребовать? Совершенно непонятно!

Нейман прочел заявление и молча отдал его Гуляеву.

— Разрешите, я поинтересуюсь? — перехватил его руку прокурор.

Он быстро пробежал листок и засмеялся.

— Вот где сидят-то настоящие остряки-самоучки! — сказал он Нейману.— Да шлите вы их всех, Полина Юрьевна, подальше со всяким их сомнением и вопросами! Обыватели, и все!

— Да нет, они ни при чем,— сказала Потоцкая,— просто когда в ректорат пришел ваш работник и стал про меня расспрашивать, то по институту загуляли всякие слухи. Это же понятно. Когда ваши органы интересуются человеком, все становится очень непросто.

— Когда наши органы интересуются человеком, Полина Юрьевна,— объяснил Нейман,— то они поступают очень просто: просят его прийти для разговора в определенное время. И тогда этому человеку лучше всего и проще всего так и сделать и явиться в назначенный час. Вы, конечно, Полина Юрьевна, очень интересная женщина, но, простите, следствию до этого никакого дела нет: в данном случае мы интересовались не вами, а вашим добрым знакомым Зыбиным. Для этого мы вас так упорно и звали. Послали две повестки. Впрочем, вы сказали правду, при первом же разговоре выяснилось, что отлично можно было бы вас и не беспокоить.

— Что так? — удивился Гуляев.

— Да вот не пожелала нам помочь Полина Юрьевна, никак не пожелала,— вздохнул Нейман.

— Ну зачем же так, Полина Юрьевна? — укоризненно покачал головой Гуляев.— Следствию нужно всемерно помогать. Зачем же что-то скрывать? Чем скорее мы выясним правду, тем всем нам будет лучше.

— Все, что я могла сказать, я сказала,— ответила посетительница.

— Ну если так, то, значит, вы многое еще не можете нам сказать, Полина Юрьевна,— мягко и зло улыбнулся Нейман.

— Ну так что же, было что-то выяснено или нет? — нахмурился Гуляев.

— Да вот, пожалуйста, могу продемонстрировать. Все под руками.— Нейман встал, вынул из стола папку с документами и стоя стал их перебирать.— Вот первая встреча. Вот вторая. Прогулка — одна, вторая, третья. Разговоры о живописи. К современному монументальному искусству он равнодушен, она — нет. Вот они купались. Вот они в ресторане сидят втроем. Вот опять-таки втроем они — третий какой-то отдыхающий — гуляют всю ночь со студенческой компанией. Разжигают костры. Вот вдвоем полезли на гору, там старое, заброшенное кладбище. Ангел какой-то там неимоверный мраморный — это все собственноручные показания. Вот послушайте: «Памятник при луне был прекрасен. Когда пошли обратно, камни сыпались из-под ног, и если бы не сторож с разбитым фонарем...» Страница о стороже. «Он жил в склепе» и т. д. Спустились и пошли домой. Конец. Вот пятнадцать страниц, и все они такие. Словом, то, что могла написать любая случайная знакомая. А у него — что верно, то верно! — их было... было...!

— Да ведь я и есть случайная знакомая,— сказала она и как-то очень хорошо улыбнулась,— я ведь тоже из этого «было... было»!

Она сидела совершенно свободно, даже руки вот положила на поручни кресла и говорила так, как будто совсем не на площади Дзержинского, не в кабинете триста пятидесятом происходил этот разговор, а просто забежала она на минуточку в свой деканат и там ее усадили заполнить анкету. Прокурор смотрел на нее, не скрывая улыбки,— на таких он клевал. Гуляеву было просто скучно. Он участвовал и не участвовал в разговоре. И вдруг Нейман почувствовал дуновение приближающегося бешенства. В такие минуты ему становилось горячо: предметы начинали косо прыгать перед глазами, а голос дрожал и становился мурлыкающим. Он уважал себя за эти минуты гнева, остервенения, ярости, потому что они — хоть они-то! — были настоящими, но сейчас все это было ни к чему, он подавил, проглотил удушье и сказал:

— Ну зачем же так скромничать? Вы случайная курортная знакомая? Ну вы же сами знаете, что это не так! Вспомните-ка!

— Ну, конечно же, не случайная,— ласково подтвердил прокурор и даже чуть ли не подмигнул.

— Ну, если вы говорите о том, что Зыбин помог мне выбраться из очень неприятного положения,— сказала она,— конечно, вероятно, вы правы. Но ведь так же он помог бы и другому.

— А если не секрет, то что за история? — спросил прокурор и поспешно оговорился: — Если, конечно, тут нет ничего интимного...

— Да какое там интимное,— слегка поморщилась Потоцкая,— я купалась, поскользнулась и вывихнула ногу. Было очень больно...

— А, вот в чем дело,— с почтительным пониманием кивнул прокурор.

— Да. И случилось это очень рано. Часов в шесть утра. В это время пляж совершенно пуст — позвать было некого. Я лежала и стонала, наверно, и тут вылез какой-то парень. Подошел ко мне. У меня на платочке лежала всякая мелочь: ну, ручные часы, перламутровый бинокль, сумка. Он схватил это и кинулся бежать. Я стала кричать. И тут откуда-то наперерез ему бросился Зыбин, нагнал его и отобрал. Вот так мы и познакомились.

— Ну я же говорю, иллюстрированный журнал «Огонек», роман с продолжениями,— усмехнулся Нейман,— что говорить! Умеете, умеете подносить события, Полина Юрьевна. А дело-то было так. Когда этот босикант подхватил сумку, Полина Юрьевна, конечно, закричала, а тут где-то шатался с великого перепоя и ждал похмелиться — это он сам нам объяснил — рыцарь Зыбин. Когда он услышал эти крики, он и гаркнул во всю глотку: «Ложь взад!» — а глотка у него луженая, труба. Босикант испугался, кинул сумочку и драпанул, а Зыбин подобрал и чин чином вручил все Полине Юрьевне. Вот так они и познакомились. Говорю все это с его слов и его слогом. История, конечно, чудесная, но нам она вроде бы ни к чему. Так что я велел Хрипушину изложить ее в самом сокращенном варианте.

— Нет, верно, все так и было? — спросил восхищенно Мячин.

— Примерно,— кивнула головой Потоцкая.— Если не вдаваться в некоторые детали. Но вы тоже умеете подать материал, товарищ майор!

— Да уж будьте спокойны! Как-нибудь! — с легкой наглецой ответил Нейман.

— Но, значит, было и еще кое-что? — скромно поинтересовался прокурор.

— Было,— кивнула головой Потоцкая.

— Так вот это как раз «кое-что» нас больше всего и интересует,— сказал Нейман,— но вы как раз этого-то нам и не открыли.

— Ну, может быть, там какие-нибудь деликатные женские подробности,— шутливо нахмурился прокурор.— Вот все вам так уж и выложить! Нельзя!

— Нас женские подробности ни с какого бока не интересуют, товарищ прокурор,— жестко обрезал Нейман, чувствуя, что удушье его захватывает все глубже и глубже. На допросах он с ним справлялся сразу же: рявкнул, топнул, раз по столу, р-раз по скуле зека, и словно прорвался в горле и груди какой-то давящий пузырь, и начался обычный продуктивный допрос без всяких дурочек.— Нас никакие женские дела абсолютно не интересуют,— продолжал он с тихой яростью,— мы просто просили Полину Юрьевну рассказать нам о политических настроениях Зыбина. Ну хорошо, встречались, купались, гуляли, так что ж, и все это молча? Были же и высказыванья какие-то! Конечно были!

Она ничего не сказала, только как-то особо поглядела на него. И от этого взгляда его снова замутило — он подошел к столику с графином, осторожно налил стакан до краев и так же бесшумно опорожнил его. Но удушье, то единственное в своем роде чувство — что сейчас все сорвется и полетит к черту, что сию минуту он заорет, застучит, заматерится, и разговор будет кончен,— не уходило. Но в то же время он отлично понимал, что ровно ничего не произойдет. Было ли это чувство мгновенной, все перехлестывающей ярости настоящим, или же он сам его придумал и взрастил, то есть и вообще чувство ли это было или профессиональное приспособление, необходимое для его работы,— об этом Нейман никогда не думал и, следовательно, даже и не знал этого.

— И не надо нам говорить, что таких разговоров не было,— сказал он, отставляя стакан,— в наше время каждая колхозница, каждый дед на печи говорят о политике. Будет война или нет? Как с хлебом? Будет ли снижение?

— Так это дед на печи, а не Зыбин.

Он ее сейчас по-настоящему ненавидел! За все: за то, что она сидела слишком вольно, что сейчас же воспользовалась разрешением курить и курила так, как в этом кабинете, кажется, еще никто до нее не курил — откинув острый локоть и легко стряхивая пепел в панцирь черепахи — его ей поднес прокурор,— за взгляд, который она бросила на него, за прямую и открытую несовместимость с этой комнатой.

— Да, конечно, Зыбин говорил не как дед на печи,— согласился Нейман, медленно выговаривая слова,— и поэтому, скажем, будет война или нет, его должно было интересовать.

— Это его, конечно, интересовало,— согласилась она небрежно и, как ему показалось, насмешливо,— я

даже помню такой разговор. Мимо нас по дороге шли пионеры и пели «Если завтра война, если завтра в поход», и он послушал и сказал: «Да, точно! Вот мы с вами планы строим, а если, верно, завтра война и завтра в поход? Тогда что?»

— Ну и что тогда? — спросил Нейман.

— Не знаю. Мы заговорили о другом. Слушайте,— взмолилась она вдруг,— да что у нас, других разговоров не было, что ли? Вы гуляли когда-нибудь с интересной женщиной хотя бы в парке Горького? И что, вы с ней о войне тогда разговаривали?

— Нет, меня уж прошу оставить в покое, но вы же сами сказали,— несколько сбился с толку Нейман, потому что прокурор тихонько фыркнул,— сами же сказали, что его интересовали такие вопросы, как...

— Ну правильно,— согласилась она, уже улыбаясь ему как маленькому,— интересовали! Но я-то, наверно, его интересовала еще больше. А о войне у него было с кем поговорить!

— Было?

— Да, было, было! Был у него такой человек, с которым он охотно говорил о войне, о политике и о всем таком...

— А фамилию не помните?

— Почему не помню? Роман Львович Штерн.

Надо сказать, что удар был мастерский. Его даже по-настоящему качнуло. На некоторое время он вообще выбыл из строя, просто сидел и глядел на нее.

— А кто это такой? — спросил он наконец.

— Отдыхающий,— ответила она очень просто.

— Так о чем же они говорили?

Он очень медленно собирался с мыслями, но все-таки собирался.

— Но откуда же я знаю? Его спросите.

В кабинете было тихо. Даже прокурор приумолк.

— А как спросить? Вы же не знаете его адреса?

— Почему? Знаю. Пожалуйста. Прокуратура Союза. Следственный отдел. Он его начальник.

— А...— двинулся было Мячин, но его прервал спокойный голос Гуляева:

— А еще он кто, не знаете? Ну этот ваш знакомый по пляжу. Кто он? Ну собеседник Зыбина, ну говорил с ним о политике, ну начальник отдела прокуратуры, а еще кто?

— Писатель? — спросила она неуверенно.

— Правильно! Писатель! Член Союза писателей Советского Союза! А еще кто, знаете? Так вот я вам скажу: еще он брат Якова Абрамовича Неймана, в

кабинете которого мы сейчас находимся и который ведет дело вашего знакомого.

Он говорил твердо, сухо, и на какое-то время Потоцкая смешалась и покраснела.

— И все это вы отлично знали, Полина Юрьевна. Поэтому и звонили и вчера и сегодня, что знали. Только это вас и интересовало. А не какие-то там бумажки. И если бы мы не были предупреждены заранее тем же Романом Львовичем, то действительно могли бы на первое время растеряться и повести себя как-нибудь не так, но мы все отлично знали. Так что вы не поразили нас, Полина Юрьевна, нет, никак не поразили.

— Да я и не собиралась вас поражать,— пролепетала Потоцкая.

Она сидела бледная и напряженная.

— Да?— добродушно удивился Гуляев.— Так не надо, не надо нас ничем поражать! Не к чему! Да и к тому же мы очень не любим, когда нас чем-нибудь поражают! Мы ведь сами мастера поражать! Где у вас пропуск?— Он быстро подписал его.— Пожалуйста! Только прошу, если захотите куда-нибудь ехать, то известите, пожалуйста!

Но тут вмешался прокурор — в тот момент, когда была названа фамилия Штерна, он вздрогнул, вытянулся и застыл, просто сделал настоящую охотничью стойку, а потом засопел, задвигался, полез зачем-то в карманы, словом, постарался показать, что он страшно поражен и заинтересован.

— Извините,— сказал он почти заискивающе и поглядел на Потоцкую,— но скажите, как вы могли быть уверены в том, что вас не обманули? Ну мало ли в домах отдыха всяких самозванцев? Ведь удостоверение вы не смотрели? Правда? Так как же вы?..

— Нет, смотрела,— коротко кивнула головой Потоцкая.

— Странно!— пожал плечами Мячин (нарочно, ну конечно нарочно — ничего ему не было странно).— Служебное удостоверение — это такой документ, который... А вы не напутали чего-нибудь, Полина Юрьевна?

— Нет, не напутала. Он же мне сделал предложение.

— К-а-ак?— почти каркнул прокурор и на секунду верно лишился языка.— Да он же женатый человек! Мы же знаем его жену! Нет! Нет!

— Возьмите ваш пропуск,— сказал Гуляев,— вот! До свиданья!

Потоцкая протянула руку, взяла пропуск, встала и пошла к двери.

— Одну секунду,— кинулся к ней прокурор.— Что же вы ему ответили? Нет же, это надо знать,— объяснил он Гуляеву и Нейману.— Так что? — Они оба стояли в дверях.

— Я поблагодарила и сказала, что не могу.

— Потому что в это время...— вдохновенно изрек прокурор.

— Да, потому что в это время мне нравился другой человек, и как раз в этот день я собиралась сказать ему это.

— И это был...

— Да, это был Зыбин.

Гуляев встал, подошел к двери и открыл ее.

— Прошу,— сказал он любезно, но настойчиво,— очень был рад вас увидеть. Вы действительно прояснили нам очень многое. Так справочку я сегодня же вам изготовлю и пришлю. И знаете, если вам потребуется — вполне можете ехать куда хотите! До свиданья. Желаю всего наилучшего, Полина Юрьевна!

Глава IV

Нейман от здания наркомата жил недалеко и домой возвращался всегда пешком. Правда, утром ему все равно приходилось забираться в голубой служебный автобус. Автобус этот аккуратно подкатывал к их дому в восемь часов утра — стоял, порыкивал, и в него постепенно собиралось почти все население дома. Дом был наркоматовский, постройки Хозу НКВД (значит, один из лучших в городе), а верхний этаж занимал первый заместитель.

Сейчас, однако, Нейман пошел не как всегда по проспекту, изумительно прямому и правильному, вычертанному лет восемьдесят тому назад взмахом стремительной генеральской руки, а побрел через широкие проходные дворы с саманными избушками, через пышные багровые сады с мелко полыхающим осинником и барбарисом, по скверу с вялыми, утомленными кленами, сладкими липами и дальше, дальше, мимо глиняных заплотов, плетенок, частоколов и водоразборных сторожек — белые, в этот час они сначала голубели до синевы, а потом синели дочерна. Было часов десять. На углах зажглись фонари, и почти сейчас же и разом в окнах вдруг вспыхнули красные, зеленые и синие занавески. У ворот на лавочках сидели люди, лузгали

семечки, смеялись и по-вечернему мирно судачили. Кто-то быстрый, невидимый проскользнул мимо и тихо его поприветствовал, в ответ он слегка пригнул голову. С тех пор как он замещал несколько месяцев начальника одного из оперотделов, такие встречи для него были не редкостью. Он дошел до Головного арыка и остановился. «Так-так,— сказал он вполголоса,— значит, вот эдак». Он любил эти тихие часы, это место и его каменную ледниковую прохладу. Здесь около бетонного мостика кончался город: горел первый загородный фонарь и стояла последняя городская скамейка. Внизу по круглому цементному ложу бесшумно и стремительно неслась с гор снеговая вода. В такие глухие вечерние часы он скидывал со своих плеч, как тяжелую ведомственную шинель, все это серое длинное здание с площадью Дзержинского, со всеми его постами, секретками, кабинетами, несгораемыми шкафами, тюремными камерами, голыми коридорами и бессонными лампами — и оставался простым немудрящим человеком. Ведь он и верно был таким по ограниченности желаний и потребностей, по самой сути своего скучного, бедного существованья. Даже вспышки ярости, которые он теперь испытывал все чаще и чаще, и те, по существу, ничего не меняли. Это было как ракета над заснеженным таежным лагерем. Он видел однажды такие. Она взорвалась, взлетела, побежала, рассыпалась десятками звезд и огненных перьев, пустила по фиолетовому снегу длинные панические тени — все бежит, полыхает, все куда-то рушится, а прошла минута — и снова ничего нет, и только безмолвно летят в сугроб с неба черные картонные трубки.

«Я так же беден, как природа»,— прочел он раз в каких-то арестованных и поэтому, очевидно, преступных стихах и рассмеялся. Вот писака-то! Вот чудило мученик! Он беден, как природа! А откуда же все тогда берется?! И пишут вот такую чепуху. Но, наверно, это была все-таки не чепуха, а часть какой-то правды, а может быть, дело даже не в этой правде, а в том, что эти строки имели и какой-то особый, более обширный смысл. Одним словом, как бы там ни было, но в минуты раздумья он всегда про себя повторял эту строку. И сейчас, когда надо было ему идти домой и написать обо всем брату, он несколько раз, словно убеждая самого себя, повторил: «Я просто беден. Я беден, и все тут», потому что домой его никак не тянуло.

В такие тихие сумрачные часы он часто прикидывал, а что случится, если он вдруг сорвется и однажды среди работы встанет из-за стола, оденется и тихонеч-

ко-легонечко, никого ни о чем не предупреждая, выйдет и пойдет прямо-прямо до последней городской скамейки. Тут как раз стоят автобусы, он сядет в любой из них: все они идут в горы. Проедет первый мостик, проедет второй, тут кончается предместье, и к шоссе подступают горы — посвежеет, запахнет снегом, хвоей и землей,— и замелькают станции со странными ласковыми названиями: Веригина Гора, Лесной Питомник, Каменское Плато, Березовая Роща, Горельник — и наконец стоп! Конец пути — Мохнатая Сопка, дом отдыха «Медео». В доме этом всегда шумно, весело, бестолково, толпятся лыжники, инструктора спорта, просто студенты и школьники. Когда автобус подойдет, они все кинутся к нему, зашумят, закричат, загремят котелками и полезут все разом, а он спрыгнет и пройдет через мостик к буфету. Тут у него давнишняя хорошая знакомая Мариетта Ивановна. Она увидит его и сейчас же заулыбается. Она пышная, белокожая, розовощекая, как тот осенний георгин, что всегда стоит в хрустале над ее коробками, вазами и бутылками. И он тоже улыбнется ей, потому что соскучился по всему этому и рад, что наконец добрался сюда. Он знает про Мариетту все: то есть то, что она живет с пятилетней дочкой, служит в буфете уж третий год, а мужа нет — не то его забрали, не то он сбежал. И Мариетта знает про него тоже все: то, что он геолог какой-то редкой специальности, раньше работал в своем управлении, теперь же перешел в органы, в отдел охраны недр, поэтому его часто посылают в командировки. Во время одной такой командировки от него ушла жена, не то что уж больно любимая, но все-таки... все-таки... И главное, обидно, что он не заслужил такого! И вот он растерян, огорчен, порой даже тоскует, и тогда он приезжает сюда. Человек он тихий, безвредный, ну а что он еврей — так что ж? Ведь есть жиды и есть евреи. В «Медео» он берет только пиво. Выйдет на балкон, выберет столик, сидит тихо, пьет, закусывает бараночкой и смотрит на горы. Разговаривают они тогда через буфетное окно. Она все время приглашает его в гости, а он отшучивается. А в этот раз пошел бы. Заказал бы не пива, а, скажем, фин шампань, потребовал бы шоколадный набор «Москва» и пошел бы с ней. «Ну что ж,— сказал бы он и налил бы пару стопок,— что ж ты тут поделаешь, Мариетта Ивановна? Раз такая уж жизнь у нас. Сегодня день моего рожденья. Выразите мне свои соболезнованья и давай поднимем бокалы». И они бы выпили по одной — колом, по другой — соколом, по третьей — мелкой пташечкой.

Дальше этого его воображение не шло, потому что он отлично знал, что даже и это неосуществимо. Попробуй уйди-ка! Войдет секретарша, увидит, что бумаги на столе, а плаща нет, позвонит по одному телефону, по другому, там тоже позвонят куда-нибудь, и начнется кутерьма. Вызовут четырех практикантов, усадят их, жеребцов, по двое на мотоциклы, и одна пара полетит по городу, а другая в горы. Найдут и примчат к Гуляеву. А Гуляев потом скажет: «Ну это не в счет! Вот если бы я удрал в горы...» Но ни Гуляев, ни он, Нейман, никогда никуда не удерут. А он, кроме прочего, парторг отдела, крепкий, опытный работник и подлинный мастер своего дела. Вышинский на каком-то совещании сказал: «Я всегда предпочту пусть уклончивое и частичное, но собственноручно написанное признание любому полному, но написанному рукой следователя». Так вот, все признания, которые Яков Абрамович представлял в прокуратуру и начальству, были только собственноручные. И брат всегда хвалил его за это. А он такие похвалы брата ценил превыше всего. И вообще он любил вспоминать и думать о брате: о его словах, хохмочках, рассказах, о его легкой удачливости, о веселом бодрящем цинизме; но с некоторых пор к этим мыслям стало примешиваться и что-то другое — непонятное и тревожное. Был у них один разговор наедине, когда брат, обычно сдержанный и осторожный — это у него отлично сочеталось с простотой и душой нараспашку,— рассказал об одной встрече на курорте. Он не назвал ни фамилии, ни места, где это произошло, но сегодня, допрашивая Потоцкую, эту неискреннюю и нечестную свидетельницу, Яков Абрамович представил себе, как это все примерно было. Нарочно заводя и растревоживая самого себя, он снова вспомнил, как она сидит в кресле, как курит, далеко отставляя локоток, улыбается, заводит этого олуха царя небесного Мячина, отмалчивается, изворачивается, а когда ей все это надоедает, попросту швыряет им, как говорится, на отмазку голову брата. И тогда уже охотно отвечает на вопросы прокурора. И черт знает до чего бы они договорились, если бы не умница Гуляев. Он сразу поставил все на место.

Эх, брат, брат! Эх ты, дорогой мой Роман Львович, лицо чрезвычайное и полномочное, как же это ты угодил в эдакую поганую лужу! Ведь слушки же пойдут, анекдотики, хохмочки с подковырочками, рассказы на ушко, под самое честное-пречестное! Эх, брат, брат! И надо же так, чтоб случилось это как нарочно при этом паршивце Мячине! Ты помнишь, как он раз

потешал публику? Тогда ты рассказал что-то из своей практики, а он после этого подошел к тебе, взял тебя за локоть и по-голубиному застонал, заиграл белками: «Вот вы рассказывали, а я сидел и думал, почему они это не напишут! Куда же подевались наши советские Чеховы? Вот увижу своего боевого друга Александра Александровича и прямо без всякого якова скажу ему: «Саша! Посади-ка ты, брат, своих маститых на жесткие пайки, пусть порастрясут свои зады и подумают, а то пишут черт знает что!» И он посадит, я его знаю». (С Фадеевым Мячин как будто учился в гимназии и каждое лето гостил у него на даче. «Вот уж мы дрозда тогда задали! Чудо человек! Простой, ясный! Бесконечно его люблю!») А ты ведь тоже, брат, тогда подсмеивался. Вхожий! Авторитетнейший! Второй Чехов! Он ведь тебе и такое поднес — второй Чехов: мол, рассказы о следователях в русской литературе хорошо писали только Чехов да вот вы, Роман Львович, но если уж по совести говорить, то я предпочитаю вас! Чехов писал понаслышке, а вы пишете про пережитое, поэтому у вас все получается жизненно, рельефно, впечатляюще! И ты слушал и улыбался, брат. Так вот посмейся сейчас над собой! А помнишь это дерьмецо, этого лощеного субчика в желтых туфлях-лодочках, с наколочками, писателя, мать его так! «У нашего Ромаши масса наивности и неистраченного природного юмора! Не знаю, как уж ему удалось сохранить эту первозданность при его страшной, тяжелейшей работе, но когда он смеется, то у него, как говорили про Пушкина, все кишки видны!» Так вот покажи-ка им, сукиным детям, кишки! Эту жидконогую дрянь с папироской — в собачник! А прокурора в желтых лодочках так шугани, чтоб он засунул свой поганый язычок куда поглубже. Да уж не сделаешь, не сможешь, попал уж на крючок!

Эх, брат, брат! Хоть не брат ты мне на самом деле, но... Да, братья-то они были, конечно, сомнительные — троюродные, даже четвероюродные, хотя и жили в одном доме. Только брат Роман жил, как тогда почтительно говорили, в «бельэтаже», а он, брат Яков, ютился в полуподвале, и это никого не удивляло: отец Романа был владелец самой большой в уезде мельницы, а отец Якова служил метранпажем в городской газете и безмерно боялся двоюродного или троюродного брата! «О, это аидише копф,— говорил он чуть не с суеверным страхом, прикладывая ко лбу изуродованный прессом, похожий на кривой корень палец,— это же голова!» Когда брату Роману исполнилось четырнадцать, он

стал бойскаутом и ему купили велосипед. С тех пор он носил костюм цвета хаки, ходил в поход, пел какие-то особые песни, ночевал вместе со всем отрядом в вигваме собственной постройки и хвалился, что может разжечь костер одной спичкой. А скоро у него появился еще фотоаппарат «кодак» и пистолет «монте-кристо». Из гимназии он приносил и показывал украдкой сестрам романы «Яма», «Санин» и «Записки госпожи Ванды Захер Мазох». Он читал их и говорил, что современному человеку все это надо знать, потому что в этом нерв века. Когда ему исполнилось пятнадцать, открылось, что он гений. Он написал драму в пяти актах «Смерч», перепечатал, прошнуровал розовой ленточкой и послал Вере Холодной (он долго носил по городу эту бумажную трубу с надписью «Санкт-Петербург, кинематографическое заведение Хонженкова»). Из писателей рукопись читал фельетонист газеты «Родной край» Анджело Кальяри, хвалил и говорил, что автор очень талантлив, но печататься ему пока рано: надо поглубже узнать жизнь во всей ее красоте и многообразии. Все это, однако, протекало там, вверху, и до Якова доходило только какой-то стороной. В его полуподвале не было ни взрослых романов, ни мечты о Вере Холодной, там всегда стоял подводный сумрак, и читал он не «Записки госпожи Ванды Захер Мазох», а Ника Картера и Ната Пинкертона, жидкие грошовые книжечки в пестрых обложках, и компанию его составляли типографские пацаны. Они вообще-то были неплохие ребята и когда участвовали в «громке» фруктовых садов или водили в казаки-разбойники, то лучше их и не найдешь, но, скажем, играть с ними в козны или расшибалочку на интерес было скверно. Когда кто-нибудь ему проигрывал, то сердился и начинал его звать Абрам или, еще того хуже, Абхам, с гнусным картавым «р», хотя все отлично знали, что он Яков, «Яшка — медная пряжка», а Абрамом был его отец — тихий тайный выпивоха, золотые руки, смирнейший и добрейший человек в мире, всегда чем-то безмерно удрученный и в чем-то виноватый и тихо оправдывающийся. И еще дразнили типографские его «узе, узе»: «Вы узе куда же пошли, а-а-а?» И пели, убегая (у него были здоровые кулаки): «Жид пархатый номер пятый, на булавочке распятый». А попробовал бы кто-нибудь спеть такое при брате, гимназисте, бойскауте, писателе, шикарном мордастом молодом человеке с черным «кодаком» через плечо и желтой кобурой у пояса. Крикнули бы они это юродивое «узе, узе» Роману Львовичу Штерну, названному Романом не просто, а в честь дома

Романовых, сыну почетного попечителя острога, чья фамилия через день жирным шрифтом красовалась в отделе реклам в газете, а газету эту читал весь город. Отец, Лев Яковлевич, в свою очередь благоговел перед ловкостью, светскостью и талантливостью сына, он ничего ему не навязывал, но мечтал, чтоб тот стал столичным адвокатом и переехал в Петербург. «А там он может писать сколько ему заблагорассудится»,— махал рукой отец и подсовывал сыну речи Плевако. Но сын отвечал друзьям: «Да плевать я хотел на этого Плеваку! Подумаешь, дело об убийстве в Варшаве артистки Васновской! Ну и что? Когда я стану писателем, разве я про такие дела писать буду?»

Когда произошла Февральская революция, Роману было восемнадцать, а Якову четырнадцать. Когда Яков кончал школу, Роман был председателем учкома, участвовал в педагогическом совете и, очевидно, выполнял первые деликатные поручения (во всяком случае, именно такой у него был вид). Когда через несколько лет, поддавшись уговорам, Яков перешел с истфака в некую особую юридическую школу, Роман уже занимал в прокуратуре особую комнату с надписью «Стучать».

Да, так вот настоящими братьями они никогда не были, и дистанция между подвальным этажом и бельэтажем продолжала существовать и дальше. Тем не менее друг к другу они чувствовали настоящую приязнь и разговаривали обо всем совершенно свободно. А один разговор — тот, о котором Яков вспоминал сейчас,— даже был чрезвычайно, чрезмерно значительным. Яков в то лето возвращался с курорта и делал остановку в Москве. А брат тоже только что вернулся с курорта и жил с женой на даче. Вот там вечёром в саду и произошел этот чрезвычайный разговор. Начал Роман издалека. Сначала он похвалил Якова за то, что тот до сих пор еще не женился, потому что, сказал брат, он фактически женат был трижды, один раз официально, и вот, оборачиваясь назад, он просто ужасается, неужели все это был он. «Ты знаешь,— сказал он, хватая Якова за руку,— ни одна подлая профессия, даже палача и стукача, ни одно самое подлое правительство — даже гитлеровское — не может так выдавить душу по капле, как скверная баба. Знаю, брат, по себе. А ты бы поглядел, что делается в нашем Солнечногорске, в нашем дачном городке! Обычная семья: мать (необязательно!), муж, жена и ребенок. Муж и жена обрыдли друг другу до того, что и глядеть друг на друга не могут. Вот как сокамерники, что год просиде-

ли вдвоем. И знаешь, иногда в театре я наблюдал, как во время действия вдруг муж неожиданно отворачивается от сцены и с такой ненавистью взглядывает на жену. Тут, мол, музыка, красивые женщины, свобода, а со мною рядом вот ты, ты... И она это понимает, тупится и тоже отворачивается. И все это молча, молча! Они и ссорятся не так часто, потому что незачем им ссориться, а вот унизить, осечь, осмеять — это пожалуйста! Это для них радость! Сразу поднимается настроение, отольет ей и ходит, улыбается: «Ага, стерва! Проглотила язычок! То-то! Ага!»

— А ребенок? — спросил Яков.

Роман поморщился.

— А ребенок давным-давно их понял: говнюки, дешевки, боталы, трусы, хамы! Вырастет, уйдет и забудет, если в нем есть что-то, а если такая же сволочь, ну что ж? Тогда еще проще! Теперь ты мне вот что скажи. Мы говорим «жена», «самый близкий человек», «мать моих детей», ну и разное такое! И ведь все это верно, верно! Ну, а при всем том, разве у нас муж может поделиться чем-нибудь с этим самым близким человеком? Да что ты! Да никогда! И не потому что нельзя, нет; а иногда даже можно, а просто — ну зачем? Она только испугается до смерти. Ведь этот подлый страх у нее всю жизнь в печенках сидит, хоть она и чурка, а видит же — был человек, и ау! Сгорел, и дыма не пошло! Вот ходит она, ходит, хвост как у павлина, хвастается: «Вот что у нас есть! И вот еще что! И вот, вот...» — а ведь отлично знает, что ни хрена собачьего у нее нет! Все это не ее.

Крепче, кажется, брат не выражался даже на допросах.

— А чье же оно? — спросил Яков и даже передернул плечами.

Чрезмерность этого разговора действовала на него почти физически, его по-настоящему знобило.

— А я знаю? Черт ее душу знает чье! — широко выругался Роман. — Дядино! Вот она знает, что дядино, и нюнит, и сопит, и плачет. А тебе слезы ее проклятые нужны? Нос ее разбухший, красный, губы раскисшие подлые бабьи — тебе это надо? Нет, брат, коль тебе станет плохо, так ты тогда уж молчи! Ты тогда уж лучше как проклятый молчи! Ты отыщи в поле какую-нибудь развалюшку или старый курятник, залезь туда, и чтоб ни одна душа не знала, где ты. Вот тут уж плачь или вешайся, это уж сам решишь по обстоятельствам. Ведь жизнь-то, она не твоя, а государева, а вот горе, оно уж точно твое и больше ничье. Никому ты его не

спихнешь, потому что тебе-то смерть, а всем-то смех! Всем-то хаханьки! «Что, получил свое, сволочь?», «За что боролся, на то и напоролся??!» Вот так-то, брат.— Он остановился и как-то очень жалко, беспомощно взглянул на Якова.

А у Якова уже и голова зашлась. Он не знал, как все это понять. Неужели же с братом что-то стряслось и вот теперь он сообщает об этом ему первому?

Но тут Роман взглянул на него и улыбнулся.

— Постой, вот тут скамейка, давай присядем. Нет, это я пока не про себя, то есть не все про себя. И в пустой курятник мне пока тоже лезть незачем, тут, брат, другое. На жизнь я оглядываться стал. Ведь чем я все время себя тешил? Что все это у меня еще впереди и это так... временное, я, мол, еще покажу, каков я таков. Ведь я писатель, черт возьми! Творец! У меня не только следственный корпус со смертниками, но еще и творчество. Я не только «Ромка-Фомка — ласковая смерть», как меня тут зовут мои покойнички, но и еще кто-то. Ведь вот выйду я из этих серых стен, пройду два квартала, и сразу друзья, поклонники, поклонницы, актрисы одна лучше другой. Они же все таланты, красавицы, умницы. Но вот понимаешь, смотрю я на этих своих друзей-писателей, гигантов мысли, и думаю: кем бы я хотел быть из них? Да никем! Смотрю на своих красавиц и думаю: какую бы я из этих стерв хотел бы в жены? Да никакую! А вот с некоторого времени запала у меня другая мысль. А что, если бы меня полюбила хорошая молодая девушка? С кудряшечками? Такая, чтоб я в ней был уверен! Знал бы, что она не перебежит! А главное, в случае чего, будет меня помнить! Не вспоминать, а именно помнить! Ах, какое это великое дело, брат, чтоб тебя помнили! Это все, все! Меня тут один случай потряс. И случай-то такой пустяшный. Понимаешь, арестовали органы одного газетчика из таких — штаны клеш, из молодых, да ранний. Ну что про него сказать? Я таких видел-перевидел: Фрейд, Джойс, Пикассо, Модильяни, театр «Кабуки» и все такое. И знает, что нельзя трепаться, а трепется же, болван. Ну а дальше все понятно — лучший дружок и сдал, а органы тоже не поскупились, отсыпали червончик, там папа у него еще какой-то не такой был, так вот уже и за папу. Отправили в Колыму, литера ТД — троцкистская деятельность,— понятно, что это такое? И вот когда ко мне пришла его жена, такая тоненькая, беленькая, в кудряшках, видать, хохотунья, заводила, я посмотрел на нее и сказал — не-не-не! не по обязанности, не мое это дело, а

так, по-доброму, по-хорошему: «Выходите-ка вы, дорогая, замуж. А с разводом поможем». И знаешь, что она мне ответила: «А что вы с моим вторым мужем сделаете?» И ушла! Ушла, и все.

Он замолчал.

— И все? — спросил Яков.

— Все до точки, брат. А через день рано утром мне позвонили...

Он снова замолчал и молчал так долго, что Яков спросил:

— Ну и что?

— Ничего! Нашли ее рано утром на шестидесятом километре, где-то возле Валахернской, под насыпью. Тело изломало, изрезало, а голову отбросило в кусты. Мне фотографию принесли. Стоит голова на какой-то подставке, чистая, белая, ни кровинки, ни капельки, стоит и подмигивает. Вот тогда меня как осенило: вот какую мне надо! Ее! С ее смешком и кудряшками! Но где же мне такую взять? Разве у нас на наших дачах такие водятся? Да, вот так я, брат, подумал, и стало мне очень невесело.

— Но ты ведь сам сказал, что пишешь, — робко напомнил Яков, — и что компания есть, друзья, женщины. Так неужели они...

— Ну вот и понял ты меня, — скорбно улыбнулся Роман, — как есть все понял! Пишу! Я пишу, а ты вот монеты собираешь, — крикнул он вдруг, — ты вон ведь сколько их насобирал! Ученым хотел стать, да? Так что ж не стал ученым-то? А? Что помешало? Почему ты не этот самый... как его? Не нумизмат, а? Что тебе помешало?

— Постой, постой, это-то к чему? — по-настоящему растерялся Яков. — Ну, когда учился на историческом, я собирал монеты, а потом...

— А потом они стали тебе ни к чему. Так? Историку-то они были, конечно, к чему, а следователю-то они зачем? Так? Ну так? — Он спрашивал яростно, настойчиво, так, что Яков неохотно ответил: «Ну, положим, так, но что ты из этого...» — Ага, ни к чему, вот ты и бросил собирать, и правильно сделал! И я вот правильно сделал, что свое настоящее писанье бросил! Я теперь случаи из практики описываю, «Записки следователя», и все охают. Такой гуманный! Такой человечный! Такой тонкий! И монета кругленькая идет! Еще бы — «Записки следователя»! Это же все равно что мемуары бабы-яги. Все хотят знать, как там у нас кипят котлы чугунные. Вот и покупают. И издают! И переиздают! И во всех газетах рецензии!

— И что это, плохо?—спросил Яков.

— Да нет, наоборот, очень хорошо! Отлично! У нас же с моей легкой руки все теперь пишут! Мы самый пишущий наркомат в Союзе! Да нет—в мире! Мы все мастера психологического рисунка! Мы психологи, мать вашу так! У нас и наивысшее начальство сочиняет драмы в пяти актах для МХАТа. И чем начальство выше, тем психологичнее у него выходит.—Он засмеялся.—А что? «Слабо, не отработано, вот возьмите почитайте рецензию и подумайте над ней, а потом поговорим». Нет, это не для нас! Это к черту! У нас такие номера не проходят! Какая там, к дьяволу, рецензия и черта ли мне ее читать! Ты сядь, отредактируй, допиши—на то ты редактор или режиссер, за то тебе, олуху, и деньги государство платит! А мое дело дать материал и протащить его где надо, вот и все! А в театре аншлаг. Билеты в драку, все пропуска отменены. Сидят в проходах. Вот как! Да ты что, не видел сам, что ли! Неужели у вас в Алма-Ате не то же самое?

— Да нет, и у нас то же самое, конечно,— засмеялся Яков,—только я удивляюсь почему. Ведь все эти драмы-то, по совести...

— Ну вот, по совести,—усмехнулся Роман,—тебе что? Совесть нужна? Так читай Фадеева и Федина! Они по части совести мастера. Нет, ты в другой конец смотри—вот свет погас, занавесь взвилась, и открылось тайное тайных, святая святых—кабинет начальника следственной части НКВД. За столом полковник, вводят шпиона. Часы на Спасской башне бьют полночь. Начинается допрос. «Кем и когда вы были завербованы гестапо? Ну?!» От одного этого у зала душа в пятки ушла. Ведь этого ни одна живая душа не видела и не слышала, а если видела, то она уж и не живая. И потому это вовсе не литература, а акт государственного доверия советскому человеку! Психологи называют это эффектом присутствия. От этого самого эффекта у зрителей зубы мерзнут. Посмотри, как они расходятся! Тихо, тихо! А буфет торгует коньяком в два раза больше, чем, скажем, на «Ревизоре». Наши психологи и буфет точно засекли! Так вот я и без этого эффекта проживу. Потому что я настоящий писатель. Вот! Я когда еще бегал по нашему двору и играл с тобой в расшибалочку (никогда не бегал Роман по двору и не играл с ним в расшибалочку), чувствовал в себе этот огонь.

— Это когда ты свой «Смерч» посылал?—не удержался Яков.

— Оставь! Глупо!—поморщился Роман.—Так вот

со всеми этими настроениями я уехал отдыхать. И встретил одну беспартийную особу. И, как говорят наши социально близкие друзья-уголовники, упал на нее. Потому что смертельно она мне понравилась.

— А кто она?—спросил Яков.

— Да ровно никто! Баба! Хорошая, красивая, умная—это что, мало? Да этого до ужаса много, брат! Вот я и заметался и затосковал. Вообще-то, говоря по совести, я сейчас понимаю, что все это было вроде как гипноз. «Амок»—слышал такое слово? Это когда с ума сходят. Так вот и со мной случился амок. Но, получив отказ, я пришел к себе, рухнул на постель и подумал уже по-умному, по-трезвому: ну вот она сказала «нет», а если бы сказала «да», тогда что? Как бы я ее потащил на себе, с собой? С ее остротой, холодком, свободой, ясностью, с эдакой женской терпкостью? Как кто-то из них сказал, «с муравьиной кислинкой». Как бы я мог присвоить все это себе? Она и я—ведь это же бред! Бред же это собачий, и все! Первое, что случилось бы, это бы мы смертельно возненавидели друг друга, не так, как я свою Фаину ненавижу—я ее спокойно, равнодушно, даже порой любовно ненавижу,—а остро, до тошноты, до истерики! И тогда бы она попыталась свернуть мне шею! Потому что перевоспитать меня—пустой номер, не такой я товарищ. Значит—катастрофа. И погибла бы, конечно, она, а не я. Понимаешь?

— Нет,—ответил Яков добросовестно,—абсолютно не понимаю! То есть я вот что не могу понять: если ты все это хорошо знаешь и предвидишь, зачем же...

— А ты всегда делаешь, что предвидишь? Оставь! А потом, я же говорю—амок,—досадливо поморщился Роман,—амок, и все. Или еще, по-нашему, солнечный удар. Есть у Бунина такой рассказ. А точнее сказать, конечно, все дело было в моем настроении. Ух, какой я тогда был разнесчастный! Какие у меня в душе кошки скреблись! А вот встретился с ней, и все прояснилось: и мир стал хорош, и люди хороши, да и сам я ничего.

— А как ты с ней встретился, если не секрет, конечно?—спросил Яков.

— Да как вообще встречаются на курорте? Шлялся по пляжу и встретился. Она там с одним фертом ходила, знаешь, из этаких, из свободных художников. А я с ним как раз случайно познакомился дней за десять до этого, то есть встретились мы тогда случайно, но я его сразу узнал, как только он заговорил со мной: вызывал я его свидетелем лет семь тому назад по одному скандальному делу. Тоже с выкидончиками тип!

Я его по этим выкидоичикам и запомиил, а ои меия иет. Так вот ои мне первый иа пляже и закричал спьяну: «А, мой полиочный друг, докучный собеседник! Один? Ну-ка, идемте, познакомлю с иитересной женщиной!» Ну, мы целый день и прошатались, в развалюху одну зашли, вино пили, я одии целый кувшин выдул. Ну и виио! Ох и виио! Умирать буду, не забуду! Вспомнишь — до сих пор скулы сводит. Я ведь, зиаешь, иасчет вииа и вообще-то не больно... а тут такое попалось! Это на жаре-то, после трех часов ходьбы!

— Так после этого ты и упал на нее? — рассмеялся Яков.— Эх, брат, брат! Какой же тут, к дьяволу, амок? Тут пьяиая башка, жара да усталость. Вот и все. Есть о чем говорить!

— Есть, брат, есть! — серьезио качиул головой Ромаи.— Я ведь и пить-то никак не хотел. Я, понимаешь, и выпил только потому, что она иа меия смотрела. Я как-то вдруг случайно поднял на нее глаза, поглядел да чуть и не рухнул: такая она сидела передо миой. И вдруг я почувствовал, как бы тебе это объясиить,— высокое освобождение! Освобождение от всего моего!! От моей грубости, грузности, недоверчивости и уж ие знаю от чего! Она такая была свободная, легкая, простая, раскованиая, как говорят актеры, что я чуть не взвыл! Правда, правда! И вспомиил вдруг свою Фаииу, как утром она ходит по комиатам в халате, потом возле зеркала стоит зевает, зуб ковыряет, и тут вдруг телефон звонит, какая-то подруга вызывает. Разговаривает с ией, смеется, какие-то иамеки, полувопросики, полуответики, недоговорки, фырк, фырк! «А-а? Да? А-а?» Там ведь все понимается по одиому звуку. Трубку положит, начнет мне шарики вкручивать, щупает, какое у меня иастроение, то есть что ей сегодня можно, что нельзя. Вот представил я себе все это и такую муть в душе почувствовал, что даже застонал. Ну нет, думаю, конец! Бери свои цацки и иди от меия к чертовой матери. Не могу больше! Так сижу, мычу, а она через стол дотронулась до моей руки и спрашивает: «Вы что-то сейчас неприятное вспомнили, про дом, наверио?» Ну как вот она сумела понять, как? А?

— Эх, брат, брат,— повторил Яков и слегка поворошил ему волосы.— Эх, брательник ты мой знаменитый! Ну что, плохо тебе живется? Свободы тебе мало? Так если уж так дома невтерпеж, что? Разве не можешь иа стороне завести? Квартиру ей сиять? Денег иет? Давай я подброшу, если ты уж так обедиел! Смотри —

накаркаешь! Судьба, она такая! Ее рассердишь — будет худо! Я с некоторых пор в это очень верю!

Брат ничего не ответил, только тихо снял его руку и молча крепко пожал ее.

— Да я ведь сам понимаю, что глупость,— сказал он угрюмо.— Да, да! Видно, не часто мне в жизни бывало хорошо! Это верно!

Он замолчал и молчал так долго, что Яков спросил:

— Ну а дальше-то что?

— А дальше вот что. Пришел домой часа в два ночи и долго, что-то дней десять, не видел ее. Куда-то она уезжала. А приехала — сразу позвонила: «Знаете, я уж по вас соскучилась». И опять мы все втроем шатались по берегу. А потом купались в море, оно знаешь какое вечером? Оно ласковое, парное, по нему от весел, от рук голубые светлячки бегают. Ты вот на море ни разу почему-то не был, а зря, зря — его твои горы никак не заменят! Там и дышится, и думается, и чувствуется совсем иначе.

— То-то ты там...

— Да, да, может быть, и от этого! От моря, может, это отчасти! Но сколько раз я на море бывал, а ничего похожего не испытывал. Не знаю, брат, ничего тут не знаю и не понимаю. Так вот купались мы, на луну смотрели в морской бинокль, а уж под утро пристали к какой-то студенческой компании — и пошло! На гору с ними лазили, хворост собирали, я костер разжигал, мне за это хлопали! Затем водку и вино откуда-то принесли. Была пара стаканов, так женщины из них пили, а мы по кругу из консервной банки. Хорошо! — Он покрутил головой и засмеялся.— Потом какую-то невероятную «моржу» они затянули, а я подпевал. И тут вот что случилось. Стало прохладно, и этот ферт снял пиджак и ей на плечи набросил, а она его под руку взяла. Тут одна студентка меня спрашивает: «Это его жена? Какая красивая!» И тут меня что-то ровно толкнуло. «Нет,— отвечаю,— это моя жена такая красивая». И так спокойно, даже строго ей сказал, как будто в самом деле это так и что за глупые вопросы. И сразу в меня как будто вступило: «Ну и правильно! Жена! Встретил, так не отпускай! Это твое счастье на тебя набрело, дурак! А она пойдет, ты ей понравился, а больше ей и не надо». Нет, ты чувствуешь этот ужас? Так чего же я, дурак, олух царя небесного, тогда ищу? И чего я в ней нашел? Если ей ничего не надо? Бред же? Вот как ты правильно сказал — пьяный бред с перепоя. А вот в таком бреду люди и творят черт знает что.

— Стой,— нахмурился Яков,— а что ж такое они

творят? Убивают? Сами стреляются? Или по пьяному делу расписываются черт знает с какой? Ну что, что? Ты уж говори до конца! Я же понять хочу.

— Да нет,— поморщился Роман,— ты опять все не про то, как бы тебе это объяснить, чтоб ты понял.— Он задумался.

— Да сначала ты себе объясни, а там и я пойму как-нибудь,— усмехнулся Яков.

— Да, это верно,— погладил себя по волосам Роман и вздохнул.— В том-то, конечно, и беда, что я и сам-то себе никак не... Но тут, вероятно, надо, как говорит мой шеф, судить по аналогии.— Он подумал.— Вот когда я вернулся оттуда, мне передали дело каких-то федосеевцев, есть такая секта на Кавказе. Так вот что случилось там. В субботу они, преподобные, оделись в белые рубахи до колен, с рукавами вот такой длинноты, вот такой широты, вышли в колхозное поле, запели что-то свое дикое, улеглись навзничь, рукава раскинули, а у каждого в кулаке по горящей свечке. Лежат, поют и ждут. Вот-вот слетят к ним ангелы и, значит, заберут их в царство небесное. Ну понятно, народ сбежался, стоят, смотрят: они лежат, поют свое загробное, свечи горят, бабы воют. Народ на колени повалился, с одним припадок. Жуть, конечно! Живые же трупы! И так часа три было, пока кто-то не догадался позвонить. Ну, тут все быстро завертелось. Через десять минут прилетели на мотоциклах ангелы-архангелы в красных фуражках, похватали, побросали в пятитонки и на полном газу в город. А потом рядовых в ДПЗ, а главарей в Москву. Я приехал, а их дело у меня уж на столе. Следователь в неделю со всеми справился, потому что все ясно, никто ничего и не отрицает. Отдали шефу. Ну шеф полистал дело и приказал отправить ко мне на заключение, чтоб я, значит, определил состав преступления и интерпретировал это их лежание в белых рубахах по соответствующим статьям УК. Я же еще с двадцать восьмого года считаюсь специалистом по всяким духовным делам. Помнишь тех расстрелянных братьев Шульцев? Один инженер, другой преподаватель иностранных языков. Ну вот, с тех пор все христосики идут ко мне. Я посмотрел — дело ясное: чистая пятьдесят восемь-десять, часть вторая, «антисоветская агитация с использованием религиозных предрассудков, приведшая к народным волнениям»,— десятка или вышка. Но знаешь, что меня больше всего поразило? Они в камере верили, что чудо было! То самое, которое не совершилось, понимаешь? Ангелы к ним прилетели!

— Нет,— ответил Яков,— не понимаю, что же это, галлюцинация была? Массовый гипноз?

— Да какой там, к шуту, гипноз! Вот разговариваешь с ним: «Так вы же не полетели! Вы же как легли, так и пролежали, пока вас не похватали! Ну так или не так?» — «Так точно! Что верно, то верно: похватали и морды еще начистили».— «Так какие же тогда ангелы, а?» Молчит. «Так, значит, не было никаких ангелов?» — «Так точно, не было».— «Не было?» — «Для вас нет».— «А для тебя?» — «А что я? Я темный мужик, вахлак, дурак, для меня и бог есть, и ангелы есть, и власть есть, для меня все на свете есть». Вот и весь тебе разговор. И учти, не юродивые — один кузнец, другой тракторист, третий шофер, коновал! Однажды они меня так довели, что я не выдержал и сказал их вожаку: «Вот получишь пулю, тогда и будут тебе ангелы!» А он мне: «Так точно, гражданин начальник, вот и будут мне ангелы и будет небесное жито — все правильно, гражданин начальник, все по Писанию: не пострадаешь — не спасешься. Как от нас это ни прятали, а мы давно это поняли».

— Расстреляли? — спросил Яков.

— Да в лагере уже, наверно, расстреляли за саботаж, они ж там не работают, а поют. Мы-то не стали мараться, сунули по десятке и отправили, ну а там уж, конечно... Пойдем походим, а то что-то прохладно.

И пока они ходили по саду, все лился и лился из окон второго этажа золотистый свет, громыхал рояль и пели две женщины.

— Слышишь? — усмехнулся Роман.— Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Поет, поет моя канареечка, уничтожает пренебрежением.

На секунду рояль замолчал, затем вдруг ржанул, взвизгнул и рассыпался на сотни острых осколков. И женщины тоже взвизгнули, и в воздухе заскакалозаплясало что-то мелкое, подпрыгивающее и подмигивающее. И рояль тоже стал подпрыгивать с ножки на ножку.

— Французский шансонет — это она себе такую подружку нашла,— очень серьезно прокомментировал Роман,— дочку моего оппонента, одного адвоката из самых, самых главных. Третий муж уж ее, стерву, выгоняет, вот она и упражняется, хочет четвертого заполучить. Это убиться надо, как моя таких вот любит! — Он вздохнул и взял Якова под руку.— Я как соображаю, Фаина к ее папаше насчет меня ныряла, там они и познакомились. Не знаю, что уж он ей посоветовал. Ведь накануне той моей встречи она

собиралась писать на меня в ЦК. Конечно, о бытовом разложении, на большее-то у них котелок-то не варит. Причем не просто в ЦК, а Хозяину, слышишь, как произносится? С большой буквы и с этаким клекотом в горле: «Хооо-зяину! Я твоим друзьям писать не буду, я Хо-ооо-зя-ину напишу. Он семьянин, прекрасный муж! Он меня сразу поймет». И смотрит на меня, как факир на кобру: а вдруг я сорвусь да ляпну что-нибудь про этого-то верного мужа, как он свою-то жену...

— Зачем это ей?— удивился Яков.

— Ну вот, зачем! Тогда, по ее бабьему рассуждению, я сразу буду у нее за пазухой, под самыми ее сиськами! Говорю же — безмозглая! — Он встал со скамейки.— Идем ужинать! А то и коньяка-то не попробуем! Фаина-то пьет мало, а адвокатская дочка хлещет, как лошадь!

Он уж засыпал, когда к нему пришел Роман.

— Тс, тсс,— пригрозил он ему пальцем,— тихо! — В руках у него был поднос, а на подносе бутылка коньяка и две стопки.— Из моих подкожных запасов, тихо! Она за стеной! По идее, я сейчас сижу в кабинете и работаю и спать там же лягу на диване. Ну-ка на грядущий, чтоб сны были легкие.

— А не перебор это? — посомневался Яков.— И закуски нет!

— Да ты что, адвокатская дочка? Трюфеля любишь? Какая тебе закуска? Хотя постой, постой, кажется, у меня... ага, есть! — Он выгреб из кармана горсть конфет.— Заключенных угощаю, когда в перерыве пьем чай. Да смотри какие — «Мишка на Севере». Бери! Ну за все хорошее! — Они тихонько чокнулись, и Яков закусил конфетой.

— Богато живете,— сказал он.

— Ну а ты что думал! Москва! — усмехнулся Роман.— А во Франции и того чище, там перед гильотиной ромом угощают, мы еще до этого не дошли.

— А может, Зиновьева и Каменева тоже...

— Не знаю, не присутствовал,— слегка поморщился Роман,— я от этого отказался раз навсегда. Нервы слабые. Ну что ты! Какой там ром! Слушай, а что, если нам вот с такой штучкой да закатиться в Сандуны, в особое номерное отделение, там у меня такой чудесный грузин есть, он так промассирует, что либо с ходу инфаркт схватишь, либо десять лет с плеч сбросишь. Пойдем?

— Там видно будет.

— Ну и отлично! А теперь я тебе вот какую загадку загадаю. Вот как, хорошо я живу? Просторно или нет? Ведь все это,— он сделал круг в воздухе,— это ведь все не казенное, а кровное, так сказать, благоприобретенное. Так с какого же дохода оно? В американской разведке я не работаю, взяток не беру, существую на зарплате плюс премиальные и командировочные. Пакетов нет. Всего этого и на одну комнату не хватит, а у меня их восемь! И своя машина! Так откуда же это, а?

— Правительственный подарок?— спросил Яков.

— Да что я — Папанин или академик?— рассмеялся Роман.— Нет, брат, нам такое не подносят. Ну, я тебе открою. Все это цена одного газетного подвала в «Известиях» на четыреста строк.

— Да неужели там так платят?— обомлел Яков.— Один подвал?

— Да, всего один подвал. Только потом я этот подвал переделал в рассказ, рассказ в либретто, либретто в сценарий, сценарий в драму, драму в радиопередачу — собрал все до кучи, слепил и смотрю — дача. Это пока что дача, а там еще капает, капает. Правда, приходится делиться, но пока я в прокуратуре второе лицо, это еще так... не очень чувствительно — берут, но по-божески, смущаясь. Драть потом уж будут.

— Пока ты еще...!— воскликнул Яков.

— Тише,— поморщился Роман,— ну-ка повторим,— он налил еще по стопке,— на-ка еще парочку трюфелей. Когда-то я той в адвокатский ее ротик... Она и губки вытянет! Страсть как она, стерва, сладенькое любит...— Он проглотил какое-то ругательство.— Да, брат, думаю, думаю. Во-первых, и заработаю я в десять раз больше, а во-вторых, силы уже не те. Нервишки зашалили. Знаешь, все чаще что-то вспоминаю Гамлета. Хорошо это место во Втором МХАТе у Чехова выходило: «Я бы в ореховой скорлупке чувствовал себя царем вселенной, когда б не сны». Так вот недавно такое привиделось, что в холодном поту вскочил. Так только во сне можно испугаться. Вскочил, смотрю: рядом жена лежит, гудит-дудит, полипы у нее, что ли, там? Мощно гудит, как ведерный самовар перед бедой, помнишь, как у нас в семнадцатом году самовар гудел? Я помню. Моя нянька все ходила и обмирала: быть беде, быть беде! Вот так и моя гудит. Зажег свет: лежит на боку, рубашка задралась, а бок крутой, сырой, лошадиный, лоснится, как у пони. Ах ты! И такая тоска опять на меня навалилась. Такая смертельная, что я даже замычал в подушку.

— А с доктором ты не советовался? — осторожно спросил Яков.

— Нет еще, с этим я не тороплюсь. Когда все согласую, обговорю, тогда и пойду за заключением. Ну-ка давай-ка еще по последней и спать, спать, а то слышишь, там за стеной что-то загудело.

— А сон расскажешь?

— Расскажу потом, в другой раз, сейчас не могу, а то, чего доброго, опять приснится.

Однако сон свой брат рассказал тут же, минут через двадцать. К тому времени бутылка была уже опорожнена, а сам Роман сидел на стуле верхом, держался за спинку и покачивался, а Яков смотрел на него и думал: «Плохо, совсем плохо! Вот что значит наша работа! Сверхсрочный выход на пенсию. Брат, видать, уже весь вышел». Но а сон был-то как раз как сон. Обыкновенный сон переутомившегося следственного работника — ничего удивительного в нем не было. Брату приснилась его черноморская чаровница. Будто ее арестовали и он ее допрашивает. Ну что ж? И такое иногда случается, и никто от этого на стену не лезет. Опять-таки — такова уж профессия. Будто она стоит перед Романом, вперилась в него и молчит. А он отлично знает, что у нее или в ней таится какой-то страшный секрет, и как только этот секрет откроется — а для этого ей только стоит заговорить, — так ему тут же и конец. И вот он сидит за столом, смотрит на нее и не знает, что сказать, что сделать, как зажать ей рот. А она стоит, руки назад, пуговицы срезаны, смотрит на него и молчит.

— Так ты что, и срезанные пуговицы заметил? — спросил Яков.

— Их-то всего яснее, — ответил Роман, — обратил еще внимание: черные ниточки болтаются. Так вот так я испугался, так испугался! Будто дверь сейчас отворится, войдут и схватят меня. И от этого такая слабость, такая слабость! Будто вот — а-аа-а! — и упаду. И главное, сказать я ничего не могу, голоса нет, и смотреть на нее тоже не могу, вот так.

— А у тебя было что-нибудь подобное? — спросил Яков. — Ну, когда знакомого приходилось...

— Было, — поморщился Роман. — Даже и хуже того было.

— И что?

— Да ничего. Когда я в своем кабинете за столом, у меня в голове полный порядок, я власть, государство, Закон! Ну а как же мой шеф с Николай Ивановичем, своим благодетелем, можно сказать, посаженым отцом своим, «разумом века», недавно разговаривал в

одном кабинете? А ведь того тоже без шнурков, без пуговиц привезли. Как-нибудь расскажу тебе про это.

— И ничего?— спросил Яков.

— Еще как ничего! На самом высшем уровне ничего! А-аа! Ты хочешь спросить, так как же я тогда пишу, что людям нужно доверять, что бдительность и подозрительность ничего общего между собой не имеют и все такое. Ты ведь это хочешь спросить? Так вот так и пишу. С легкой душой пишу. И рассказы и трагедии об этом пишу. Вот психологическую драму собираюсь еще выдать на эту тему. Под Стриндберга, во всех театрах пойдет. В сукнах! Посмотришь— наплачешься!

— О чем же?

— О духовном перерождении бывшего вредителя под влиянием гуманных методов советского следствия. Монодрама. Хотя нет. Участвуют только два человека. В сукнах. Вот так. И никакого тут противоречия нет. Там— идеальное, тут— реальное, там должное, тут существующее, там художественный вымысел, тут наша суровая советская действительность. Что, удовлетворяет тебя такая форма?

— Вполне,— усмехнулся Яков.— Сам придумал?

— Да нет, где же мнé! Это за меня один подследственный выдумал. Ну что ты так на меня смотришь? Правда, правда! И все мои драмы мне подследственные пишут: сидят в одиночке и того... строчат, строчат! А я их за это «Мишками» потчую. А когда уж очень здорово потрафят, так, что до слез продерет, я им коньяк приношу. Не ром, нет, у нас его не производят, а три звездочки или старку. Опять не веришь? Зря! Сейчас у меня такой американский резидент сидит, что я его думаю сразу за трехтомную эпопею усадить— на материале капиталистических разведок. И в это не веришь? Эх ты, Фома неверующий!

Но тут вошла Фаина в японском халате с голубыми цветами и цаплями, а сзади нее показалось улыбающееся козье лицо дочки адвоката,— засмеялась, заужасалась, замахала на них развевающимися душистыми рукавами, погнала мужа наверх и потушила свет.

И стало темно и тихо.

Он долго лежал в этой теплой темноте и тишине, вспоминал и думал. А ведь у Романа это все неспроста: их бабушка по матери, как тогда говорили, сбилась с панталыку тридцати пяти лет от роду и еще столько же провела в одном частном пансионе для тронутых. А про его собственного отца, Абрама Ноевича, говорили, что он, конечно, прекрасный, сочувственный, честный че-

ловек, золотые руки, работяга, если нужно, может сутками не выходить из типографии, только вот не в пример брату: маленько он тряхнутый, из-за угла пыльным мешком его ударили, пьет много, а пьяный рассуждать любит, жена рано померла, сына оставила, а сын тоже не утешает, растет ворлаганом, по двору целый день бегает, голубей гоняет, с типографскими в бабки сшибается, и никому-то до него дела нет. Так выйдет ли из него толк? Ой, сомнительно!

Вышел толк, папа, вышел. Посмотрел бы ты сейчас, Абрам Ноевич, какой я мундир ношу, с какими он у меня нашивками, значками, опушечками, в каком кабинете я сижу, чем занимаюсь! Небось расстроился бы, замахал бы руками заплакал: «Ой, Яша, зачем же ты так? Разве можно!» Можно, старик, можно! Теперь уж не я перед людьми виноват, а они передо мной. И безысходно, пожизненно, без пощады и выкупа виноваты! Отошли их времена, настали наши. А вот к лучшему они или к худшему, я уж и сам не знаю. Ну ничего, торопиться нам некуда — подождем, узнаем. Все скоро выяснится! Все! Теперь ведь до конца рукой подать. Я чувствую, чувствую это, папа!

Зыбин проснулся внезапно, среди ночи, как будто от толчка и увидел, что кровать напротив занята. На ней лежит кто-то длинный, худой и старый. Желтобурая кожа лица, впалые черные виски, острый колючий подбородок.

— Черт,— сказал Зыбин ошалело.— Неужели опять кого-то подбросили из городской колонии?

Он осторожно поднялся, так, чтобы ничего не звякнуло, и сел. Да, скорее всего этот тоже из лагеря — узбек или таджик. А впрочем, может быть, кавказец. Как-то он видел целую колонну таких. Посреди мостовой их вели в тюрьму. Конвой шел рядом вразвалку, заходил на тротуар, глядел по сторонам, улыбался встречным. Да и арестованные чувствовали себя довольно вольготно, разговаривали, смеялись, курили, махали руками. Обычно этапируемые так себя не ведут. Было много прохожих, и они стояли, смотрели.

— Что это? — спросил Зыбин у стоящего рядом усатого дядьки.

Тот махнул рукой.

— А перебежчики,— ответил он с каким-то непонятным и неприятным подтекстом.— Из Синьцзяна. Видишь, так и несет их в тюрьму! Водят и водят.

— И что им будет?— спросил Зыбин.

— А известно что — два года,— пренебрежительно улыбнулся дядька,— раз в тюрьму с Дзержинского погнали, то это верные два года.

— Могут и вышака дать,— сказал хмуро какой-то парень рядом.

— Не-е,— мотнул головой дядька.— Которому вышака, тот там и остается, а если вывели, то два года.

Так вот, очевидно, такой перебежчик и находился сейчас перед Зыбиным. Да, не молод, очень даже не молод, но жилист и еще крепок. Очень высок, ступни в шерстяных носках упираются в стену. А на столе квадратиком лежит комбинезон и плотная серая куртка железнодорожника на крюках. Под столом туго набитая и зашнурованная туристская — именно туристская, а не красноармейская!— сумка с лямками. Тут же ботинки. Все приведено к некоему несложному, но строгому лагерному идеалу. И он, видно, тоже идеальный лагерник. Вот как и Буддо. Так что ж, его тоже привезли на переследствие? Может быть, но и на Буддо он не похож. Он похож еще на кого-то и, кажется, того же плана, но на кого же, на кого же? Он осторожно встал и зашел с другой стороны. Спит ровно, спокойно, непробудно. Крепким хозяйским сном. Видно, что ко всему привык: тюрьма, лагерь, переезды — это его стихия. Ну ладно, пусть спит. Утром посмотрим.

Наутро он разглядел его как следует. Да, это был старик, высокий, очень худой — остро выделялись ключицы,— с черными клочкастыми жесткими бровями, но глаза под этими разбойничьими бровями были тихие и какие-то выжидающие.

— Позвольте представиться,— произнес старик с какой-то даже легчайшей светскостью и поднялся с койки,— Георгий Матвеевич Каландарашвили. Имею восемь лет по ОСО. Вчера ночью на самолете был доставлен сюда. Как полагаю, на новое следствие.

«Недурно,— весело подумал Зыбин.— И этот на новое следствие! Ну халтурщики!»

Он назвал себя и, не вдаваясь больше ни в какие подробности, спросил: а не знает ли Георгий Матвеевич такого Александра Ивановича Буддо, он тоже был привезен из лагеря на новое следствие, и они сидели в одной камере.

— Как говорите? Буддо?— нахмурился старик.— Нет, в нашем лагере такого не было. А вы верно знаете, что он из Карлага? Ах, из городской коло-

нии! Ну так это совсем другое дело. У него какая статья-то?

Зыбин сказал: 58—8 через 17. Старик снисходительно улыбнулся.

— Болтун! Посочувствовал кому не надо. Нет, встречаться с ним мы никак не могли. Таких, как я, в городских колониях не держат. У меня же ПШ! Караганда, Балхаш, Сухо-Безводное — вот наши родные края. И давно, Георгий Николаевич, вы имеете честь тут припухать?

— Как вы сказали? — удивился Зыбин. — Припухать?

— Припухать, припухать,— улыбнулся старик.— А вы разве не слышали этого слова? Как же это сосед-то вас не образовал? Дело в том, что у нашего брата, лагерника, бывают только три состояния: мы можем мантулить (или, что то же самое, «упираться рогами»), то есть работать, или же кантоваться, то есть не работать, и, наконец, припухать, то есть ждать у моря погоды. Вот мы с вами сейчас припухаем. Хорошо! А вот вы не знаете, с какого конца сейчас оправка? С того? Ну, это значит, еще минимум полчаса придется ждать, тут коридоры большие. Тогда извините.

Он отошел в угол к параше.

«И все-то ты знаешь»,— подумал Зыбин неприязненно. И спросил:

— А что такое ПШ?

— О-о, это серьезное дело,— ответил Каландарашвили, возвращаясь.— С этими литерами вы не шутите — это подозрение в шпионаже. А получил я эту литеру потому, что прожил в Грузии беспрерывно с рожденья по тридцатый год, значит, присутствовал при основании и падении так называемой кукурузной республики. Ну, конечно, был знаком кое с кем из будущих грузинских эмигрантов. А они, как следует из газет, все шпионы. Так что тут логика полная, но то, что я сейчас здесь, никакого отношения ни к кукурузной республике, ни к ПШ не имеет, это у меня уже благоприобретенное, заработанное в лагере!

«Ну все как у Буддо,— отметил про себя Зыбин.— Ах ты господи! Хорошо, хорошо, не буду забегать вперед, сам все скажет». И неожиданно сказал:

— Ну возобновят вам старый срок, и все!

— Срок! — покачал головой старик.— Да я бы старый срок у них с закрытыми глазами схватил бы. Но для этого они меня не стали бы вывозить на самолете. На месте сунули бы,— и все! Нет, тут дело иное, серьезнее!

— А какое же? — не удержался Зыбин.

Каландарашвили взглянул на него и улыбнулся.

— А вот какое, — сказал он, протянул костлявый палец и приставил его к переносью. — Вот какое, — повторил он и слегка щелкнул себя по виску.

— Господи, да за что же это? — невольно воскликнул Зыбин. — Вы извините, конечно, что спрашиваю...

— Ничего, ничего, спрашивайте. Да нет, ничего особенного я не сотворил. Никого не убил, не зарезал, не ограбил, просто в один прекрасный день написал и отправил одно частное, чисто деловое письмо в Москву. Потребовал у должника его еще дореволюционный должок. Вот и все. И никаких там высказываний, эмоций или упреков — ничего!

— И что же, письмо это задержали? И полагаете, что вас за это...— Голос у Зыбина насмешливо дрогнул.

— Да нет, раз взяли, значит, оно точно дошло по адресу, — не заметил его тона старик. — Ну, конечно, сглупил я страшно, потребовал, как говорится, у каменного попа железной просфоры, а поп этот — человек действительно каменный, без всяких там сантиментов, он на это письмо посмотрел с государственной точки зрения.

— И что ж теперь будет?

— Да плохо будет. Начальник намекнул, когда меня выводили из лагеря, что очень плохо будет. Ему, бедняге, самому, конечно, здорово влетело. Выходит, что скорее всего получу я из всей суммы девять копеек натурой. И все!

— Это что ж такое? — спросил Зыбин. «Игра? Провокация? Просто порет чепуху? Да нет, не похоже что-то».

— Вот сразу видно, что вы в лагере не были, — засмеялся Каландарашвили. — Это, так говорят, выразился один из адвокатов в защитной речи. «Мой подзащитный, граждане судьи, не стоит даже тех девяти копеек, которые на него затратит наше государство». Следователи очень любят этот анекдот. А впрочем, вряд ли это и анекдот. Теперь адвокаты мудрые. Они научились говорить с судьями на понятном для них языке. Так! — Он вдруг сделался совершенно серьезным. — А теперь, разрешите, я на минуту займусь своим хозяйством. — Он поднял сумку и поставил ее на стол. — Понимаете, меня выдернули ночью с такой скоропалительностью, — продолжал он, распуская шнурки, — что даже и не обыскали. А этот вот рюкзачок принесли на машину прямо из каптерки. Так что я и друзьям даже не смог ничего оставить. А как раз

недавно посылка была. Да еще от старой оставалось.— Он наклонился над сумкой.— Вы курите, Георгий Николаевич? Ах, жалко, жалко! В лагере или в тюрьме это большая поддержка, особенно когда волнуешься. Ну а курящих-то вы ничего, выносите?

— Да ради бога,— всполошился Зыбин,— я даже люблю, когда дымят...

— Благодарствуйте! Но только вы не стесняйтесь, я теперь дымлю не много, так что мне и двух оправок утром и вечером вполне хватило бы.— Он вынул из сумки и положил на стол несколько коробок.— Ну вот взгляните, что за папиросы-то мне прислали! «Герцеговина флор»! Раньше мне никогда их не присылали, так что, может быть, это и намек! Вы знаете, кто их курит? Нет? Вот!— Он быстро двумя пальцами пририсовал себе усы.

— Так вы!..— воскликнул Зыбин и вскочил.

— Тс-с, садитесь, садитесь, потом, если меня не выдернут. А сейчас мы будем пить чай.— Он снова наклонился над сумкой.— Да, сегодня нам есть с чем попить. Поразительно, что здесь ничего не отобрали, даже не осмотрели! Ох, боюсь я этих добрых данайцев! У них беспричинных даров не бывает. Так! Чай! Настоящий, фамильный, с цветком. Сейчас сварим. Вот и кружка для этого лежит. Даже ее не отобрали, чудеса! «Мишки». Целый пакет, попробуйте, пожалуйста, очень, очень прошу. И вот — наш кавказский сыр. Эх, хорош он с молодым вином да на чистом воздухе! Так уж хорош! Но не все его понимают и любят, и поэтому вот — кусок рокфора. Вот его-то надо быстро кончать, а то, видите, уже черствеет. Сахар. Масло. Икра. Смотрите, какие у меня дома умные, все разложили в розовые туалетные коробки из пластмассы. Их не отбирают. Ну вот и разговеемся! А скептики говорят, что еще жизнь не прекрасна! Нет, она прекрасна, вот существованье-то часто невыносимо, это да! Но это уж другое.

Загремел ключ, дверь приотворилась, и в образовавшуюся щель въехал и закачался на половине порога большой медный чайник, а полная белая женщина протянула в эту щель две аккуратные горбушки и на них четыре кусочка сахара.

День начался.

Чай они пили молча и сосредоточенно, то есть сосредоточенно пил его он, а Каландарашвили сидел, ломал маленькие кусочки хлеба и аккуратно намазывал

их маслом, для этого у него была хорошо обструганная и отполированная щепочка, что-то вроде деревянного ножа. Один раз он поймал на себе взгляд Зыбина и улыбнулся.

— А вы кушайте, кушайте, пожалуйста, Георгий Николаевич! На меня не обращайте внимаиия, я вот утром никогда много не ем, а все это надо быстро уничтожить, видите, какая жара.

И Зыбин ел, ел, наконец он с некоторым усилием отставил от себя кружку и откинулся к стене.

— Ух,— сказал он,— спасибо! Уже забыл, что все это существует. А теперь...— Он лег, вытянулся, закрыл глаза и словно в колодец ухнул. Это было как обморок.

Когда он снова поднял голову, стол был пуст, а Каландарашвили сидел и читал какую-то очень толстую, как карманный молитвенник, киижку в белом переплете.

— Вот здорово!— сказал Зыбин изумленно.— Заснул. Никогда со мной так не бывало.

— Ну что ж, на здоровье,— очень добро сказал Каландарашвили и отложил книжку.— Но меня вот что удивляет: они что, разрешают вам спать когда угодно? У вас что, следствие, что ли, кончилось?

— Нет, не думаю,— покачал головой Зыбии.— Хотя черт его знает! Может, они его и кончили, уже недели три как не вызывают. Тут такое дело: держал голодовку, только неделю как ее снял.

— Ах вот что,— кивнул головой Каландарашвили.— И что ж, этот Буддо сидел с вами до голодовки или во время ее? Они ведь хитрят, первые три дня оставляют в той же камере, и, значит, голодовка не считается.

— Да нет, мы с ним встретились как раз во время допросов, и даже очень активных допросов.

— Ах так...— Каландарашвили с полмииуты думал.— А он вас о чем-ибудь расспрашивал? Ну за что вас забрали, что вам предъявляют, кто следователь, как следствие идет?

— Да пожалуй что нет. А вообще, что я бы мог сказать? Не о следствии, а о своем деле. Я ведь иичего не знаю. Решительно ничего. И в чем виноват, тоже ие знаю.

— Угу,— кивнул головой старик,— так бывает при доиосе, когда не хотят выдать доносчика. Послушайте, раз так, то я вам дам действительно ценный совет: твердо помните три тюремных правила — иичего ие бойся, ничему не верь, иичего не проси! Если вы будете им следовать, то все образуется.

— То есть они меня выпустят? — усмехнулся Зыбин.

— Сейчас? Нет, вряд ли. А вот потом, конечно, отпустят. А затем другое — ведь в лагере люди живут и из лагеря людьми выходят. И даже неплохо живут и выходят. Друзей настоящих имеют, книги хорошие читают, учатся, но только к этому надо уже сейчас готовиться — подобраться, затянуться, все на себя прикинуть, все мысленно пройти, быть ко всему готовым, а главное, всегда помнить эти три правила — вот это, конечно, самое трудное.

— Запомнить-то их нетрудно,— усмехнулся Зыбин.

— Придерживаться их трудно, ох как трудно, Георгий Николаевич! У них же все в руках, а у вас ничегошеньки, только одно — «нет!». А нет и есть нет — пустое место. Как бы вы ни держались, они все равно вас на чем-нибудь да проведут, надо только, чтоб это было не самое главное, чтоб они вам черное в белое не превратили. Хм,— он чему-то усмехнулся,— насчет черного и белого у меня есть одно хорошее воспоминание. Как-то меня допрашивал мой коллега, мы одного с ним выпуска, даже на фотографии наши медальоны стояли рядом, я на «К», он на «М», и потом как-то раза два с ним встречались. Он, когда приезжал на Кавказ по делам, заходил ко мне советоваться, я ему одно дело еще помог выиграть, кроме того, он писал, правда, не больно охотно, его печатали, все больше в безгонорарных альманахах, но ведь важен сам факт — писатель! Тогда это очень много стоило, ну а после Октября он сразу же пришел в органы и сделался важной шишкой! Еще бы! Высшее образование, опыт, хитер, начитан, и язык подвешен хорошо, там таких сейчас совсем нет. Вы видели, кто вас допрашивал? Ваньки! Так вот, когда меня арестовали в Москве второй раз, вызвал он меня к себе. Тюрьма была переполненной, я же очень кашлял, так что засунули меня в одиночку — такой каменный чуланчик без окон: все время лампочка горела. А привели к нему — так тоже люстра горит. А на окнах плотные шторы. Встретились по-дружески: он меня усадил, чаем с печеньем угостил. Курили. Вспомнили тех и этих. Ну, конечно, одних уж нет, а те далече. А потом начали спорить. Про мое дело не было, потому что, собственно говоря, и дела-то не было, одна принадлежность. Так что мы с высшей точки зрения спорили, скорее даже не о политике, а об историософии.

— Что, и такие у них были времена? — удивился Зыбин.

— Да, были в самом начале. Когда в этом милом учреждении еще сидели люди, а не ваньки-встаньки с большими кулаками. Я ему и говорю под конец: беда в том, дорогой имярек, что наш спор нескончаем, это старый, как мир, вопрос — что есть истина? Христос, как вы помните, Пилату на это не ответил. А он мне: «Ну а вы, дорогой Георгий Матвеевич, ответили бы? Для вас тут, по совести, все ясно?» — «Да вот если именно по совести, то все ясно».— «То есть?..» — «Белое есть белое, а черное черное».— «Понятно! Ну а как же различить-то, где черное, где белое?» — «Очень просто: надо смотреть».— «Да, тогда действительно все просто. Ну хорошо.— Подошел к окну.— Вот тут между двумя нашими корпусами есть прогулочный дворик. Вы там, я видел, как-то гуляли. Так вот не помните ли, какие стены у этих корпусов: черные или белые?» — «Белые, штукатуренные».— «Это точно?» — «Точно!» Отдернул занавеску, а там ночь, ночь! — Ну какие же они белые, если, смотрите, они черные?» — «Ну, ночью они, конечно, черные...» — «Ну какие же они черные, если они белые. Вон фонарь горит, подойдите, посмотрите — белые?» — «Там,— говорю,— белые».— «Так черные или белые? Видите, оказывается, не так-то легко ответить на это, по природе-то оно, может, и белое, а по сиюсекундной сущности своей черное. Вы, либералы, работали средь бела дня, а потом вышли из игры, а мы пришли черной ночью, вот цвета-то у нас с вами и оказались разные. Вот так». Ну что, глупо, скажете?

— Да не особенно умно,— ответил Зыбин.— Словесная игра, фокусы какие-то.

— Да, согласен, неумно, но вместе с тем и совершенно неопровержимо. И беда в том, что с этими глупыми, но неопровержимыми вещами и порядками приходится встречаться теперь каждый день.

Он снова взял книгу и стал ее листать.

— Что это у вас? — спросил Зыбин.— Латинский молитвенник?

— Да нет, не молитвенник, посмотрите, посмотрите,— улыбнулся Каландарашвили.— Любопытная книжица. В тюрьме особенно. Тацит. Амстердам, тысяча шестьсот семьдесят второй год. Таскаю ее с собой вот уже четверть века.

— И у вас не отобрали? — удивился Зыбин.

Он взял томик и стал его перелистывать. Геометрически четкая планировка страниц, поля, шрифт, похожий на мелкие выпавшие кристаллики,— это успокаивало, как глоток ледяной воды. Такие книги для него

были как бы сама вечность. Ни в чем другом XVII век так независимо, как равный к равиому, не обращался к XVIII, XIX, XX, XXI, XXII векам, как тут. И была в иих еще какая-то высшая корректиость истииы, то вечиое, что никогда не дряхлеет.

— Говорят, эти шрифты отливали из серебра,— сказал Зыбин.

— Может быть, хотя я ие зиаю, для чего это было бы иужио,— улыбиулся Каландарашвили.— Да, все тюрьмы и ссылки прошла со мной эта киижица. Отец подарил мие ее, когда я защитил магистерскую. Видите, иа первой странице разрешение иа выиос. Старое, а действует. Вы по-латыни-то читаете?

— Когда-то читал довольно бойко. Но ие Тацита. Тацита мие трудио читать. Уж слишком сжат и своеволен.

— Да, это есть. А я его очеиь люблю. Ни одии историк меня так не интересует, как ои. Вот все думаю, и думаю, и понять ие могу — кто ж ои, обделенный и разочаровавшийся соучастиик злодеяиий или смирившийся и уцелевший свидетель их? Никак я его ие пойму.

— Иитересно будет поговорить,— сказал Зыбии, глядя на старика. Он сидел легко и непринужденно, поставив локти иа стол, прямой, стройиый, задумчиво улыбающийся.

— Что ж, будет время, обо всем поговорим,— пообещал он.— Только вряд ли оии меня тут долго продержат. С такими делами копаться не любят.

— С какими такими?

— Совершеиио ясными. Ведь расследовать нечего. Письмо иаписаио моей рукой. Я ие отрекаюсь! Ну и все! Слушайте, а что, если я, глядя иа вас, тоже прилягу? Как это будет?

— Да конечно, ложитесь. Никто вас ие потревожит.

— В карцер могут посадить. Ну хорошо, попробую.

Он снял ботинки и лег. Полежал так с мииуту с закрытыми глазами и вдруг засмеялся и сел.

— Нет, не усну. Привычки нет. А вот я лежал и думал. С детства я мечтал о полете, раза два в юиости даже билеты брал иа круговые полеты над городом. Одии раз еще в гимиазии, другой — в уииверситете. Оба раза не вышло. Первый раз инспектор увидел, отругал и за ручку к отцу привел, другой раз ливень пошел. В двадцать шестом году уж совсем собрался лететь в Кёнигсберг к кузиие, так арестовали! И вот уж всякую надежду потерял — что ж, лагерь, восемь лет, я старик, и вдруг вызывают меия вчера и прямо на самолет. Лечу

и думаю: ну теперь мне и умирать не страшио — все уже видел. Как земля из-за туч выглядит, и то видел. А больше человеку, наверно, и видеть не положено. Прилип к стеклу, смотрю, а часовой рядом глядит и улыбается — смотри, дед, смотри. Он, конечно, уже знал, на что меня везет. Им ведь намекают об этом. Вы никогда не летали?

— Нет.

— Так вы обязательно, обязательно полетайте! Это ж такое впечатление! Когда над тучами летишь, кажется, что на другую планету попал — на Уран или Сатурн, и они все в снегу, во льдах, в айсбергах каких-то. Ничего живого не осталось, все там окоченело, одни глыбины мерзлой углекислоты. И вдруг мелькнуло чистое, ясное окошечко с разноцветными прозрачными стеклами: желтые, синие, зеленые! Это уж наша Земля — города, поля, пустыни, леса. В них птицы поют, дети по грибы и ягоды ходят. До чего хорошо! Да! А история-то моя простая, очень простая — слушайте, я расскажу.

История и верно оказалась очень простой, но в то же время и совершенно необычайной.

Ранняя весна 1937 года была очень тяжелой и злой для ЗК того засушливого степного лагеря, где находился Каландарашвили. Злой по всем статьям. Сначала прокатилась волна совершенно непонятных увозов. Утром заходили в барак нарядчик с надзирателем. В руках у нарядчика была обычная фанерная дощечка (все списки в лагере пишут на фанере — она не мнется, не рвется, хорошо соскабливается стеклышком и поэтому всегда чистая и свежая). Нарядчик смотрел на нее и вызывал пять или шесть человек с вещами. Надзиратель их спешно обыскивал, выводил за ворота и передавал военному спецконвою. Тут их всех снова выкликали по фамилии — в руках старшего был формуляр, — считали, затем погружали (лицом назад) в грузовичок и увозили на станцию. Вот, собственно, и все. Этап как этап. Из одного барака вызвали пятерых, из другого тройку, из третьего десять человек. В основном брали работяг, но пару раз заходили и в инвалидные бараки. А один раз выкликнули оттуда такого дремучего паралечного деда, что его пришлось тащить на носилках. Это сбило все догадки. Раньше говорили о новом лагере и спецработах, теперь стали толковать о переследствиях. Таких разговоров в лагере всегда хватает. Пишут в лагере все. Пишут Генеральному

прокурору, в Верхсуд, в ЦК партии — и в ответ получают одинаковые красиво отстуканные узкие бумажки: «Ваше заявление о пересмотре получено, проверено и отклонено ввиду отсутствия оснований». И внизу подпись — эдакая стремительная фиолетовая, зеленая или черная молния. Правда, все эти отказы тоже много не стоили — после них порой получали иногда и такое: «Ваше дело вытребовано для проверки». И опять молния. Только тогда уж что-то в слишком многие лагерные головы ударяли эти анилиновые молнии, но, может быть, говорили еще, полоса такая нашла? Может, нарком новый назначен? Но в кабинете начальника над столом по-прежнему висела та же хрупкая хорьковая мордочка с острыми глазками.

А брать все продолжали. Прошел еще один смутный месяц, и тут наконец поступило первое в чем-то вполне достоверное известие. Одного вернули обратно. Оказывается, забрали не того Прокофьева. Вернулся он сильно поддавший, хмурый, раздражительный и дня три спал. А потом поползли слухи. Оказалось, всех везут в один и тот же ОЛП (отдельный лагерный пункт). Стоит этот ОЛП в стороне от железной дороги в степи, и никакого объекта рядом с ним нет, так что и работать там негде. По словам плотников, строивших его, это огромная голая зона и пятнадцать новеньких, пахнущих смолой пустых бараков. Вот и все. Потом кто-то из строителей вспомнил, что однажды ночью туда привезли решетки и сгрузили их в каптерку. Хорошего во всем этом, конечно, было мало. Возвращенный рассказал: теперь в каждом бараке человек по двести. Спят на полу. На окнах решетки, на дверях замки. Прогулок нет. Жарища, дышать нечем. Кормят так: утром пятьсот грамм хлеба и кружка кипятка; в обед черпак «байкала» (рыбной баланды, прозрачной, как вода) и полчерпака жидкого могара; на ужин тот же «байкал». Сахар не положен, на работу не водят — просто сидят и ждут чего-то, а чего именно? Никто не знает. И Прокофьев тоже не знал. Дня через три у него опухли ноги и открылся безудержный лагерный понос, от которого спасенья нет. Его спешно отправили в больницу, и надзиратель, провожая его до ворот, сказал: «А я ведь думал, что он после этого сто лет обязан жить». И опять никто ничего не понимал, потому что главного-то Прокофьев так и не сказал. Все выяснилось только через неделю.

Утром собрали всех на линейку. Там возле клуба и щита для объявлений стоял уже стол под кумачом, висела стенгазета «Перековка» — экстренный выпуск —

и прохаживалось несколько надзирателей. Две тысячи человек в течение доброго часа стояли на солнцепеке по команде «смирно» перед этим пустым столом (надзиратели похаживали и покрикивали: «Как стоите! Животы! Разговорчики!»). Потом раздалось: «Внимание!» — дверь клуба открылась, и оттуда вывалилось сразу несколько человек: сержант, лейтенант, старший лейтенант, капитан и под конец вышел кто-то очень толстый и косолапый, без всяких знаков различия. У него были квадратные плечи и огромное серое ноздреватое лицо, похожее на сырой кирпич. В руках он держал афишку, скатанную трубкой. Ему принесли стул. Он сел и скомандовал:

— Здравствуйте, заключенные!

Ему бодро ответили. Он раскатал трубку и встал.

— Так вот, зачитывается вам приказ Гулага за номером пятьсот. Приказ Гулага номер пятьсот: «За злостный саботаж и вредительство, а также за попытку к побегам с целью нанесения убытка Гулагу, то есть за совершение преступлений, предусмотренных статьей пятьдесят восемь УК РСФСР пунктами семь (вредительство), восемь (террор), девять (диверсия), выездная сессия военного трибунала, рассмотрев в своем закрытом заседании без участия сторон дела заключенных (следовало сорок фамилий с именами-отчествами), приговорила,— восторженно и грозно поглядев на колонны,— заключенных,— далее следовали те же сорок фамилий, их он пролетел бегом, бормотом,— к высшей мере наказания. Расстрелу!» — Стукнул кулаком.— Приговор приведен в исполнение,— произнес удовлетворенно и сел.

По рядам раздался вздох, или толпа словно разом простонала.

Он тоже перевел дыхание.

— Вот, заключенные,— сказал он и кивнул надзирателям на афишу, те сразу ее прикололи на щит «Перековка».— Вот, заключенные, я прочел вам приказ Гулага за номером пятьсот. Убедительный приказ, заключенные, правда? И так будет со всеми, кто думает продолжать свою вредительскую деятельность. И правильно! Тебе дали полную возможность перековываться, да? Жилье, белье, трехразовое горячее питание, клуб, стенгазета — дали тебе, так? Значит, трудись! Значит, осознавай! Не осознал? Ну и все! Советский народ панькаться с тобой и все такое не согласен. Заслужил — получай! Вот так, заключенные! Вопросы есть? Можете расходиться.

Из сорока человек расстрелянных пятеро были из этого ОЛПа. Однако никто возле этой афишки не останавливался. Но скоро на доске появился второй и третий приказ. К ним привыкли, стали читать и разыскивать своих.

А людей все выдергивали и выдергивали, и поначалу еще можно было нащупать если не логику, то какую-то свою сумасшедшую систему: брали троцкистов; повторников; вернувшихся из-за границы; отказчиков от работ (то есть тех, кого местный фельдшер — начальник санчасти — счел симулянтами),— но потом начали таскать и бытовиков, и колхозников, и работяг, а под конец дошла очередь до самых истовых лагерных псов: нарядчиков, старост, бригадиров — и ох как они выли, как ругались, божились, размазывая слезы кулаками по лицу, когда их выводили за ворота. Взяли даже одного старого врача, латыша Диле,— мрачного негодяя, известного любовью к латинским цитатам, угодливостью и безжалостностью. Видимо, какие-то люди с маслом в голове уже поняли что к чему и успешно подключились к кампании.

И вдруг все разом прекратилось. Сняли афиши, вернули последний этап. И эти вернувшиеся рассказали то, о чем смолчал Прокофьев. Расстреливали там утром около глинистого оврага, под звуки танго, то есть под шум двух заведенных тракторов,— это чтоб не слышно было криков (хотя кому они там помешали бы?). Приходили и вызывали по списку. Было ли очень страшно? Нет, очень страшно, пожалуй, не было. Кое-кто даже радовался: «Эх, дайте-ка доем последнюю пайку и пойду! И шли бы вы все к едрене фене! Я уже свое отмучился!» Забирали всегда после раздачи хлеба. Именно после, а не до. И может быть, в этом порядке (сначала хлеб, потом пуля) отразился слышанный кем-то рассказ о последнем завтраке осужденного.

Недели через две в лагерь пожаловала комиссия; они прошелестели — белые ангелы — по стационару, заглянули в бараки, побывали в столовой, проверили в кухне закладку в котел, спросили, часто ли меняют белье, хороша ли баня, и исчезли, как светлые виденья. После этого уже громко заговорили, что красномордого сняли, разжаловали и расстреляли. То, что его сняли, это было бесспорно, а вот во все остальное верили мало. Но все равно слушать о конце негодяя было приятно, и все слушали.

Таково было первое несчастье, постигшее лагерь весной 1937 года.

Старик рассказывал о нем сухо, жестко, четко, без всяких отклонений и объяснений. О втором несчастье он в этот день рассказать-таки не успел. Пробил отбой, а порядок в этом отношении был очень строг. За разговоры в ночное время сразу уводили в карцер.

— Так что же это все-таки было? — спросил на другое утро Зыбин. Его всю ночь мутило от этого рассказа, а тон старика так даже и раздражал. Что он, в самом деле, из себя строит? Кому нужна эта дурацкая бравада?

А старик был опять в хорошем и ясном настроении. По коридору уже двигались чайники, и он хлопотал за столом, готовя завтрак.

— Что было-то? — Старик вынул папиросу и слегка размочалил ее конец.— Не возражаете? Да кто же это знает, Георгий Николаевич. Разное тогда говорили на начальство, например, через бригадиров пустили слух, что это была японская диверсия.

— Здравствуйте! Это как же?

— А очень просто. Ехал из Магадана на океанском пароходе вновь назначенный начальник лагеря. Ну, конечно, патриот, гуманист и все такое. А к нему в каюту забрался японский диверсант; ну и дальше как по фильму: свернул ему шею, выбросил в окно, а сам переоделся в его форму, забрал документы и приехал на место назначения. Стал выполнять заданье. Все. А разоблачили его случайно: жена приехала и увидела, что это не тот. Вот такая была версия.

— И верили? — спросил Зыбин злобно.

— Ну это кто как. Я-то, например, не очень.

— Ну господи, что за чепуха! — тоскливо воскликнул Зыбин.

— Э нет, дорогой Георгий Николаевич, это не чепуха! Это далеко не чепуха! Вы подумайте: диверсант два месяца уничтожал людей и все считали, что это в порядке вещей. Это значит, что вы японского диверсанта от сталинского сокола по его поступкам никак уж не различите. Значит, правового чувства нет ни у кого — ни у того, кто врет, ни у того, кто его слушает. Вот в чем страшный смысл этой японской легенды. А вы — чепуха!

— Да, да,— вздохнул Зыбин,— совершенно правильно! Слышал, слышал! Факультет иеиужных вещей. Право — это факультет ненужных вещей. В мире существует только социалистическая целесообразность! Это мне моя следовательница внушала.

— Да-а? — слегка удивился старик. — Ну, значит, вам очень эрудированная следовательница попалась! Очень! Дама с ясным философским умом! Но только знаете, она самую-самую чуточку запоздала. Пришел товарищ Вышинский и снова все поставил на место. Не бойтесь, сказал он, права, мы с ним отлично уживемся. Вот только кое-что ему вырежем. И вырезал, к общему удовольствию. А ведь десять лет тому назад, в двадцатые годы, тогда профессора вот это самое «долой право!» заявили прямо с высоты университетских кафедр. Да какие еще профессора! Светочи! Мыслители! Мозг и совесть революционной интеллигенции! Так и говорили: право — это одна из цепей, которой буржуазия оковала пролетариат! Но мы освободим его от этого бремени. И освободили. Их была целая стая, таких славных.

— Послушайте! — воскликнул Зыбин. — Но ведь из этой стаи славных, если не ошибаюсь, один оказался агентом охранки.

Старик засмеялся и замахал руками. Он был, кажется, очень доволен.

— Не доказано, не доказано! И потом это, как говорится, уж совсем из другой оперы. Так вот вам первая версия — японский диверсант. Существовала и вторая — это была мера предупредительная. Мол, выяснилось на процессе Тухачевского, что этот заядлый враг народа считал лагерников своими кадрами. Вот эти кадры-то и уничтожались. Ну это что-то уже гораздо реальнее. Под этим, пожалуй, и товарищ Вышинский подписался бы. Но мне кажется, что дело было еще проще. Состоялось генеральное решение о том, как окончательно разрешить вопрос о врагах народа. Мы идем к коммунизму — это доказано. При коммунизме преступников не будет — это тоже доказано, но идти к нему нам мешают враги — это совершенно бесспорно. Так вот, врагов уничтожить, а бытовиков, то есть заблуждающихся, разогнать: иди и больше не греши! Помните, у Маяковского: «Нужная вещь — хорошо, годится, не нужная — к черту, черный крест»?

— А вы любите Маяковского? — спросил Зыбин.

— Раннего? Очень любил. Ну а этого, позднего, мне в начале тридцатых годов прочел мой следователь и сказал: «А вы, уважаемый имярек, в нашем социалистическом хозяйстве вещь не только совершенно не нужная, но и объективно вредная. Поэтому мы на вас поставим крест. И что вы мне толкуете о праве? Право помогало вам бороться с нами — вот вы за него и уцепились. Но мы давно поняли, что это за штучка. У

нас много Сперанских, чтоб построить право, но где нам найти хоть одного Разина, чтоб разрушить его?» Знаете, кто это сказал? Увы, я-то знал!

— Это тот охранник?

— Нет, нет. Только его преданный ученик и поклонник. Честнейший коммунист. Теперь тоже, кажется, сгорел или близок к этому. Слишком они уж открыто обо всем этом трубили: «Уничтожить! Уничтожить!» Не надо было так. Потише, похитрее надо было. Вышинский это правильно понял. А вот на охранника вы зря нападаете. Он человек убежденный. Ведь по любому праву его надо было бы засадить по крайней мере на пять лет. Он, конечно, послабее Окладского, это тому дали десять, а этот по закону вот этой самой социалистической целесообразности имел и кафедру, и почет, и признание, и учеников. И все это было правильно, ибо целесообразно.

— А совесть?

— Ну а что совесть, Георгий Николаевич? Да что это за понятие вообще? Тут ведь почти пилатовский вопрос: «Что есть истина?» Это что? «Ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают»? Ну если так, то, конечно, она страшная вещь, но то же пушкинская совесть.

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю.

А есть и другая: «А совесть у тебя есть?» — спросил карась у щуки. А щука разинула пасть да и проглотила карася. Вот и сказочка вся. Это уж другая совесть, щучья. Читайте, Георгий Николаевич, Щедрина, обязательно читайте. Это многое вам в мире объяснит. Вы знаете, как его наш Вождь уважает?

— Так у этого светоча какая же совесть? Щучья?

— Э нет. Она у него профессорская! Он бы вам популярно объяснил, что совесть — понятие строго классовое, исторически детерминированное, и поэтому просто-напросто совести как таковой вообще-то и нет! Это раз. А затем он бы вам сказал и вот что: «Молодой мой друг! Настоящих ценных людей я не трогал: я знал, кто они, и работал в тесном контакте с историей средь субъектов, объективно вредных,— эсеров, эсдеков, кадетов, меньшевиков, анархистов, бундовцев и прочей гнили, нечисти и накипи истории — это два. В-третьих, благодаря этому мелкому, в сущности, моему компромиссу я сохранил для социализма такую великую ценность, как моя жизнь, а она нужна пролетариату в сто раз больше тех хлюпиков, которых потом

все равно нам пришлось бы сгноить в лагерях. А посмотрнте, какую молодежь я вам вырастил! Красивую, сильную, передовую. Вы же сами на них молитесь как на святых». Вот и все! И ои был бы со своей точки зрення безусловно прав. Ах, Георгий Николаевич, Георгий Николаевич! Совесть-то совестью, конечно, но у каждого есть своя собственаиая модель, и он в нее верит свято. В особеииости если он негодяй!

— И даже свято?

— Безусловно! Потому что он не верит, а верует! Но «верую, верую, Господи, помоги моему неверию» — это одно. Бог возьмет да и не поможет. Есть другое — демаркациоиная линия в нашем лукавом и хитреньком мозгу. Оиа, как при роже, ие пропускает через себя яды разложенья. Человек ие притворяется, а действительио иммунеи к правде. Ну не ко всей, конечно, а к иекоторым ее сторонам. Все опасное остается по ту сторону линии. И это не от лукавого — нет, иет! Это сознание не хочет умирать и ставит щит перед смертью: «Уходи! Все правильно! Все хорошо! Все разумно! Не верю клеветникам и паиикерам! Они слепы, как кроты. Все правильно, все хорошо, все разумно!»

— А приказ номер пятьсот?

— А вот он-то и есть святая истина! Раз по нему расстреливают, значит, он, сударь мой, и есть сама правда! Ладно, кончаем! Это такая древняя сказка, что о ней и говорить скучио. Лучше теперь я расскажу вам о второй нашей беде. Она в конце коицов и привела меня сюда. Да, подвела меия моя демаркациониая лииия.

Беда — это был голод. Он давно подкрадывался к лагерю. Весиой лагерь почему-то всегда голодает, иачииаются непонятные перебои: то хлеба ие выдали (печь развалилась), то мясо заменили тюлькой, то крупы нет, один сухой картофель, баланда от него горькая и чериая, а то и вовсе вместо баланды раздают «байкал». То хоть спасали посылки, а теперь вдруг и нх как обрезало. То ли, верно, дорогу размыло, не подвезешь, то ли экспедитор сошел с ума от водки и лежит в больнице (это бывало уж неодиократно). А уиизительнее голода в лагере нет ничего.

— Ведь тут, Георгий Николаевич, ведь что страшно: ие совесть люди теряют, а голову. Мы, пятьдесят восьмая, красть ие умеем, а крадем. Нас за это бьют смертным боем, а мы отлежимся и опять за свое. И еще раз, и еще — пока ие сдохнем. Это раз. Затем на

компромиссы, на всякое унижение, на любую расплюевщину падче нас нет. И понятно: у воров все, у нас ничего. Так мы им за сто грамм хлеба или черпак баланды готовы всю ночь «тискать романа». Марочки (платки носовые) мы им стираем, пятки чешем, еще на всякое непотребство идем — так как же им нас-то, скажите, не презирать? Я голову склоню перед этим презрением, правы они, сто раз правы! А потом мы еще ведь и ученые, сидим по-научному и вычисляем: двести грамм сахара на килограмм хлеба — как это? выгодно это или нет? сколько калорий? Вот и сидим высчитываем калории! Блатари от смеха давятся. И от презрения тоже. От самого заслуженного, справедливого презрения. К тому же эти ужасные помойки! Ах! — На его лице появилось выражение гнева и омерзения.— Все собираем! Селедочные головки, картофельные очистки, кости всякие, любую гнусность! От некоторых несет на версту! Ходят обвешанные банками, склянками, вонючими мешочками и вот с такими карманищами! Целый брезентовый мешок подшит под бушлат и доверху набит разной дрянью. Или вот еще. Получает какой-нибудь интеллигент пайку хлеба, это, значит, грамм четыреста — пятьсот, кладет их в полведерную банку из-под огурцов и варит, варит, варит, пока не получится какая-то бурая эмульсия, потом чинно садится на нары и начинает ее хлебать ложкой. Представляете? Это значит, литров пять соленой воды он в себя влил. Ну, конечно, результаты буквально сразу налицо. Опухает, как клоп, под глазами вот такие водяные мозоли, ноги слоновьи, подавишь — ямина, идет, шатается. А ведь профессор, а может даже, и академик. А в лагере ему одно названье — водохлеб! По любому пункту бродят всегда два или три таких милых призрака. А одного вот профессора так в помойном ящике заперли. Он туда залез за «калориями», вот его и подкараулили. Хорошо, что летом было, а то бы сдох. Но все равно достали еле живого. Вот смеху-то было!

— Смеху? — спросил Зыбин. Его пугал и смущал беспощадно злорадный тон старика, и было странно и страшновато: можно ли так издеваться над человеческой нуждой и слабостью? Ну хорошо, если ты такой огнеупорный, но другие-то чем виноваты, если они не такие? Они-то за что страдают?

— Да, смеху,— жестко подтвердил старик.— И потому что это действительно смешно. Вы что думаете, что человек недостаточно силен? Что он не может не затаптывать себя в грязь? Не делаться предметом издевательства? Эдакой жестянкой на собачьем хвосте.

Чепуха, дорогой! Может, сто раз может! И что самое, пожалуй, гнусное: ведь культурная оболочка — этакие словечки, притязания, эрудиция, гордый вид — это все у нас сохраняется. Как же — венец творения, «будьте любезны... не могу ли я вас попросить?.. не будете ли вы столь добры», все, все как в лучших домах Филадельфии.— Он коротко хохотнул.— Вы никогда не слышали про Сидора Поликарповича и Фан Фаныча? Ну в лагере вам и расскажут и покажут. Это мы с вами — культуртрегеры и интеллектуэли! Те, что по помойкам лазают и о рыцарях духа говорят. Ах ты...— Он что-то сглотнул про себя.— У блатных даже есть замечательная сценка об этих самых господах. Но это надо уметь рассказывать! Я не умею. А среди блатных попадаются такие актеры! Таких и во МХАТе сейчас не найдешь. Вот они бы вам изобразили!

— Так вы хоть перескажите,— попросил Зыбин.— Ведь это, наверно, очень интересно.

— То есть это страшно интересно! Животики надорвешь, как интересно! Но на это надо особый талант.— Он подумал.— В общем, так. Фан Фаныч — значит, вы — уходит на работу и просит Сидора Поликарповича — значит, меня — сохранить до его прихода паечку!— Старик произнес это слово размягченным, дрогнувшим от нежности голосом.— Приношу я ее и говорю: «Сидор Поликарпыч, разрешите, будьте добры, оставить у вас паечку».— «Пожалуйста, пожалуйста, Фан Фаныч». Прихожу с работы. «Здравствуйте, Сидор Поликарпыч, как вы себя чувствуете?» — «Благодарю вас, Фан Фаныч, прекрасно, прекрасно...» — «Ну и слава богу, разрешите-ка мою паечку».— «Вы знаете, Фан Фаныч, я вдруг ощутил такой голод, что съел ее».— «Как же так, Сидор Поликарпыч, пайка-то моя».— «Я убедительно прошу меня простить».— «Да на кой хрен мне ваша просьба, что я, ее себе в задницу, что ли, засуну? (Говорят, конечно, крепче.) Давайте пайку — вот и все».— «Не кричите на меня, будьте любезны, Фан Фаныч».— «Да я вас сейчас в рот употреблю (крепче, крепче, конечно), Сидор Поликарпыч!» — «Я вас сам туда же, Фан Фаныч».— «Сосали бы вы, Сидор Поликарпыч...» — «Сами сосите, если голодны, Фан Фаныч». Ну и драка, и волосы летят.— Старик опять зло и даже как-то мстительно захохотал.

У двери что-то звякнуло — это коридорный подошел и поглядел в глазок, поднявши его железное веко.

— Да, не полагается! Смеемся!— сказал старик.— Хорошо, не будем. Так вот в это милое время сидит ваш покорнейший слуга с одним своим старым другом

на лавочке после баланды из тухлой капусты и тюльки и говорит: «Есть, собственно говоря, один должок, только не знаю, как его востребовать». А должок вот какой. Когда-то, еще при царе Горохе, когда Иосиф Виссарионович отправлялся в Енисейск, я и одолжил ему пятьдесят рублей — как сейчас помню, — а кроме того, медвежью шубу и прекрасные валенки из тонкой белой шерсти с красным узором на бортах. А то одет он был очень легко, а должны были ударить морозы. Я знал его еще до этого, мне его поручали встретить, когда он выходил в ссылку из Петербургского арестного дома. Вот тогда мы — несколько товарищей-кавказцев — провели целый день вместе. Даже в цирке были. И знаете? Он мне тогда очень понравился — рассказывал много интересного, ничего не преувеличивал, не хвастал, был такой живой, простой, общительный и даже — вот, я знаю, в это трудно поверить — по-настоящему остроумным был. Во всяком случае, мы смеялись. Таким он мне и запомнился. И вот через несколько лет я узнал через двоюродную сестру — она ходила на свидания к арестованным, — что он опять арестован и сидит совершенно без денег. Ехать ему не в чем. Я тогда жил в Москве, уже женился, практика была богатая: провел несколько крупных дел в Баку и Тифлисе — одно даже банковое, — так что деньги были. Вот я с верной оказией и послал ему денег и эти вещи. И написал, что, если что потребуется еще, пусть не стесняется, а сразу даст знать. И в ответ получил телеграмму, вот как сейчас помню: «Благодарю. Больше ничего не надо. Очень тронут предложением. Ваш...» И вскоре после этого его отправили по этапу.

Зыбин сидел и слушал, забыв про все. Этот рассказ был чудесен так же, как его постоянные мучительные сны об этом человеке или страшная сказка. Он знал, что все оно так и было, но все-таки представить, что Сталин ходит с этим стариком (впрочем, тогда они были молоды, молоды!), сидит с ним за одним столом, занимает у него деньги, благодарит, пишет «ваш» — все это выглядело совсем как чудо. Хотя это и было, конечно, чудо. «Время — отец чудес», — говорят арабы.

— И больше вы его не видели? — спросил он.

— Да нет, видел. Раз он даже собирался отдать мне что-то, но я засмеялся и сказал: «Отдадите после революции или когда я буду в таком положении, как вы были тогда». Ну, конечно, рассмеялись и заговорили о чем-то другом. Вот это я и рассказал товарищу. «Да, — говорит товарищ, — точно, этот должок стребовать было бы неплохо, только как это сделать-то? Ведь

письмо не дойдет, вернут и в карцер еще посадят, иадо, чтоб кто-нибудь бросил конверт в ящик в самом здаиии ЦК на Старой площади. Да и то гарантии нет». А что за это письмо могут голову снять — об этом иикто из нас и не подумал. На этом разговор и кончился. И вот примерно через месяц приезжает мой сын. А надо сказать, что за этот месяц у иас все переменилось. Все! Так только в лагерях бывает. Сначала начальиика посадили, затем вот эта самая комиссия наскочила. Сразу всю задолжениость погасили. Сахару каждому досталось около килограмма. Это же в лагере богатство! Старого пьяиицу фельдшера — в шею! Назначили молодого врача из только что кончивших. Он сразу всех больиых отправил в больничку. Нас с Ашотом — он был армяиии — в первую очередь. И вот тут в больницу приезжает сын. До этого я от него полгода ие только посылок, но и писем не имел, все, оказывается, шло обратно. Несмотря иа это, он все время хлопотал о свидании, ио ему на заявления даже не отвечали, а тут случай подвернулся. У него друг вышел вдруг в большие люди — стал заведующим секретариатом одного воротилы. Сыи ему и пожаловался: вот женюсь, мол, хочу, по обычаю предков, привести невесту к отцу, так сколько ни пишу, так, сволочи, ии разу ие ответили. «Ну, это мы быстро устроим»,— сказал друг, и через три дня пришло разрешение. Вот они и приехали. И навезли мне, навезли всего! Командованье иа это уж сквозь пальцы смотрело. В лагере всегда так: или жить не дают, либо ничего не видят и не знают. Хорошо. Встречаюсь я с сыиом, приглядываюсь, прислушиваюсь к нему, все думаю: иадо попробовать! Надо, надо! Чем черт не шутит. Тут ведь иикакой политики нет. Личиый долг — вот и все! И вот перед самым отъездом, уже после отбоя, я и спрашиваю товарища — а мы все время в бараке устраивались рядом: «Ашот, ты помнишь иаш разговор о должке?» — «Помню,— говорит,— да ведь ты, по-моему, раздумал».— «Наоборот,— отвечаю,— только думаю».— «А, так! — говорит.— Ну, думай, думай». И отвериулся к стеие. Хорошо! Теперь, значит, никак уж иельзя отступать. И вот утром после завтрака пошел я в красный уголок и написал цидулю. Помню наизусть:

«Гр-ну Джугашвили (Сталиiу). Иосиф Виссарионович, иаходясь в затрудиительном материальном положении, напомииаю Вам, что в 1904 году на станции Еиисей мною Вам в порядке помощи в столыпииский вагон были переданы: 50 рублей деньгами, шуба иа меху стоимостью в 120 руб. и пимы сибирские стоимостью

5 руб. Всего 175 руб. Прошу вернуть долг по курсу. Напоминаю, что вышеуказанные вещи принадлежали мне и не имели отношения к партийной кассе». Подпись. Число. Месяц. Год.

Вот такое, значит, письмецо. Написал я, склеил конверт из толстой ватманской бумаги, выпросил у культурника сургуча от чернильных пузырьков, запечатал, написал: «Члену ЦК такому-то. Лично, для передачи...» — и отдал сыну. «Вот очень важное дело». Сын, как прочел адрес, даже в лице изменился. «Папа, что? Опять жалоба? Но почему же ему? И зачем лично?» — «Потому, сын, и лично,— отвечаю,— что в этом конверте важнейшая тайна, и если ее посторонний прочтет — я погиб».— «А какая тайна, сказать не можешь?» — «Нет, прости, не могу».— «Ну, а как же я передам? Ведь я его (того воротилу) совсем не знаю».— «Вот через своего друга и передай».— «А если не возьмет?» — «Возьмет! Ты только поклянись ему, что это дело государственной важности. А вскрывать не давай. Ну а если что — уничтожь». Побледнел слегка. «Хорошо. Сделаю». Ну попрощались мы, даже прослезились, а невеста его, та даже навзрыд расплакалась у меня на плече. Очень, скажу вам, Георгий Николаевич, она мне понравилась. Очень! Такая высокая, стройная, красивая блондинка. Вы хорошо помните «Рождение Венеры» Боттичелли? Видите ее сейчас? Ну вот она точно такого же типа. Мне кажется, что даже совершенно такая же. Но это, конечно, только кажется. Обнялись мы. Сын говорит: «Ну терпи еще, папа, ты у меня железный».— «Терплю, сынок, терплю,— отвечаю.— Но доколе же еще терпеть?» Вспомнил я тогда, конечно, из Аввакума «до самыя смерти, Марковна», оба мы, наверно, вспомнили, потому что он улыбнулся. Ушел сын. Пришел я в барак выздоравливающих, Ашот спрашивает: «Ну как?» — «Простились,— говорю.— Отдал!» — «Отдал? Ну теперь жди — либо пулю, либо свободу».— «За что свободу-то?» — «За то, что не забыл своего добра».— «А пулю тогда за что?» — «А чтобы больше не вспоминал про свое добро».— «Да,— отвечаю,— это логично». «Только боюсь,— говорит Ашот,— пожалеет сын тебя, не передаст».— «И это может быть»,— отвечаю, хотя знаю — мы не из жалостливых. Ну, ждем-пождем, нет ничего. К тому времени нас из больнички перевезли в зону тоже выздоравливающих — это что-то вроде лагерного санатория. Работать только в зоне на самообслуживании — ну там клумбы разбивать, солнечные часы из кирпичиков выкладывать, бараки подметать. Питание у

половииы больничное — диетиое, у половины полное рабочее, это тоже неплохо. Так что голодиых нет. Я вам так скажу, Георгий Николаевич, отвлекусь немного от темы,— лагерь перемалывает только самых крепких, самых сильиых, категорию ТФТ и СФТ — тяжелый и средний физический труд,— вот те идут на лесоповал, в забой, тачки возить, топь мостить. Это нечеловеческий труд. В условиях лагеря его иикак ие выдержишь, какой бы тебе паек ни давали. Двенадцать часов на такой работе, считая дорогу и развод,— с семи до семи — иет, это никогда ие выдержишь! Ведь выходных фактически иет, жилье плохое, одежонка гнилая, доктора освобожденье дают только умирающим. Значит, работай, работай, работай, пока не упадешь. Ну а там уж очень быстро все пойдет. Я вам скажу, что сильиый мужчина куда уж скорее доплывет, чем какой-нибудь доходяга, скелет в бинтах. В лагере действительно скрипучее дерево два века живет. Ну а совсем негодиые для эксплуатации, тем и помирать не надо. Слепые, глухонемые, помешанные, безрукие, безногие, волчаиочные, сифилисные — те живут и живут. Из амбулатории в стационар, из стациоиара в больиицу, из больницы в больничную зону, из больничной зоны в инвалидный лагпункт, и опять весь круг по новой. И таких много! Очень много таких! Да при самой жестокой дисциплине в лагере половина ие работает. Ведь, по существу-то, весь лагерь — это фабрика уродов, огромный агрегат, работающий на самоперевариванье. Не подбрось ему вовремя свежей человечины, он сразу задохнется. Но подбрасывают и подбрасывают. А он перемалывает и перемалывает и снова просит. Вот так, дорогой. Впрочем, это я опять в сторону. Так вот, месяца через два попали с Ашотом мы в лагерь выздоравливающих. Я старшим дневальиым, то есть старостой барака, старик Ашот садовником. И как взял он ящик с рассадой, так и рассмеялся: «Ну накоиец я работаю опять по специальности». Он был профессором Петровской академии. А посылки мне поступают регулярно, в иачале месяца и в конце. И в каждой посылке видна она — то надушенный лавандой платочек, то рубаха с моими инициалами шелком, то опись ее рукой сделана. Так прошло еще два месяца. Ашот говорит: «Ну теперь живи, ждать уж нечего. Порвал твой Георгий твое письмо. И хорошо сделал. Видишь ведь, какое время...»

И через два дня после этих его слов меня и выдернули. Да как! Ночью! Пришел сам начальиик отделения вместе с иачальником лагпуикта — так еще

никого не забирали. Даже и на расстрел так не забирали. Проверили по формуляру и велели собираться с вещами. Уж по дороге начальник лагеря спросил тихо: «Писал ты?» — «Писал».— «Ну вот и дописался на свою голову». Когда я шел мимо нар, весь барак молчал. Ашот лежал около меня, спал. Когда пришли, даже глаз не открыл, только когда я уже, выходя, наклонился над ним, он, так же не открывая глаз, сказал тихо: «Прощай, Георгий! Прости. Понадеялся я на скота. Ну ничего, скоро все там будем. Я тоже теперь уже и постараюсь, не задержусь». Вот так я и очутился в одной камере с вами. Вот и все.

Он вздохнул, лег на койку и вытянулся.

Взяли старика на другой день после обеда. Вызвали на допрос и через десять минут пришли за вещами. Забрали все, даже матрац и одеяло. И опять рядом с койкой Зыбина стоял голый черный железный скелет. Он глядел на эту железку и думал: «Вот и кончилась жизнь хорошего, доброго человека — Георгия Матвеевича Каландарашвили. Всю жизнь он верил в право, и ему полностью показали, что оно такое. Почтим же его память мысленно вставанием, потому что по-настоящему мне вставать сейчас не хочется да и незачем. Мир праху твоему, товарищ! Ах, почему тебя действительно не отговорил этот старый армянин. И ведь вот беда, смерть пришла к тебе как раз в тот момент, когда тебе снова захотелось жить. Стеклышки, стеклышки — зеленые, красные, синие,— ведь всегда дело только в них!»

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава I

За золотыми и перламутровыми стеклами в парке играл оркестр: труба, саксофон и мелкие-мелкие тарелочки.

Зыбин шел по лестнице между двумя конвойными и как ни старался, а все равно отставал. Развилась, как говорил дед-столяр, нога, и каждый шаг был болезнен. В камере он этого не замечал, его уже месяц не выводили гулять. «Тут не положено,— объяснил ему дежурный,— вот переведут в следственный...» В каком же корпусе или коридоре он был тогда? Дежурный на этот вопрос не ответил, но он уже и сам стал замечать

кое-что. Например, начиная с его камеры, коридор был зачем-то обтянут плотным серым брезентом. Однажды, идя с оправки, он нарочно привалился к нему плечом и почувствовал тугие отбрасывающие тенты. Да, к такой стене уж не прижмешься спиной!

— Пощупай, пощупай! Вот я тебе пощупаю! — крикнул на него солдат.

А утром во время обхода сдающий дежурство сказал:

— Предупреждаю: еще раз так сделаете — получите карцер.

— Или пойдете в те же камеры,— добавил принимающий.

— В какие — те же?

Опять ничего не ответили. Повернулись и вышли.

А те камеры находились в другом конце. В них-то и вел коридор, обтянутый брезентом. Днем оттуда всегда доносился глухой гул большого людского присутствия. Очевидно, кроме одиночек, там были еще и общие. Туда три раза в день по звонкому плиточному полу пропихивали круглые бачки и огромные медные чайники. Раза же три в неделю после отбоя мимо его двери проходило какое-то молчаливое шествие. Прижавшись к двери, он прислушивался: шагали четыре пары сапог и пара ботинок. Дальше шаги сразу пропадали — там лежали дорожки. Пауза. Где-то щелкала дверь. Гул сразу обрывался. Тишина. Потом дверь щелкала вторично, и все опять смолкало. Теперь уж до утра. Значит, кого-то выкликнули, велели собираться и увели. Куда? Зачем? Почему ночью? Он скоро понял, зачем, куда и почему. Однажды испортилась канализация, и его на оправку повели в другую уборную. Она находилась в противоположном конце — огромная, цементная, похожая на баню с душевыми щитками в потолке и деревянными решетчатыми плахами на полу. В стену была врезана железная дверь, заложенная засовами, и из-под нее несло ледяным ветром. Вот куда, значит, уводили этих людей! Его сбивало только то, что он никогда не слышал криков — значит, можно заставить человека идти на смерть, как на оправку. Или просто приравнять смерть к оправке. Он догадывался, что даже очень можно, только не понимал, что для этого нужно. И однажды понял. Его тогда для чего-то перевели в соседнюю одиночку (справа и слева его камеры почему-то всегда пустовали). Он вошел в нее, и у него все так и оборвалось. Было утро, а в этой камере стояли редкие сырые сумерки. Вместо окна под потолком мутно желтела решетчатая полоска света

шириной в кирпич. Деревянная кровать уходила ножками в цемент. Параша сидела на цепи и на замке. Из стены торчала дощечка — стол. Четверть камеры занимала массивная, как русская печка, выпяченная кирпичная стена. Ходить было негде. Он сел на кровать, поднес к лицу руку и не увидел ладони. Через час ему казалось, что он провел тут уже много часов, еще через час он потерял счет времени. Когда его наконец вечером перевели в прежнюю камеру с книгами, миской, с кружкой и ложкой, он взглянул на них и чуть не заплакал от тихой радости. Да, понял он, проведя в таком ящике месяц, и на смерть пойдешь посвистывая. Чья-то умная башка позаботилась об этом.

...Труба за золотым окном вдруг рявкнула и замолкла, и сейчас же мерзко зазвенели тарелочки.

— «Тили-тили-ти-ли бом, загорелся кошкин дом»! — пропел он и остановился, чтоб передохнуть.— Что там?

— Разговорчики! — прикрикнул разводящий и даже постучал ключом о ключ. Но сейчас же и посочувствовал: — К врачу надо проситься! Что же ты так? Ведь вот еле идешь.

— Ничего! — ответил он.— Уже прошло. Пошли! Пошли.

— Праздник там,— сказал солдат виновато.— Бал с призами.

Они поднялись на площадку и вышли в коридор. Там шел ремонт. Стояли ведра и банки. Пахло мокрой известью и олифой. Щит со стенгазетой «Залп» стоял у стены.

— Руки назад,— шепнул разводящий и постучался в кожаную дверь.

— Войдите,— ответили ему.

Они вошли. Задний конвойный остался стоять. Очевидно, его еще только натаскивали.

Нейман — такой же, как и месяц назад, румяный, культурный, чисто выбритый — сидел за столом и смотрел на него.

— Здравствуйте,— сказал Нейман.— Пожалуйста, вот сюда.— И указал на стул в углу.

Он подписал пропуск, отпустил солдата и поднял на Зыбина голубые круглые глаза, и опять Зыбин подметил в них то же выражение глубоко запрятанного страха и тревоги, но само-то лицо было ясно и спокойно.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Ничего, спасибо.

— Не стоит благодарности. Но сейчас-то вы отдох-

нули, окрепли? Мы же нарочно вас не тревожили столько времени и перевели в наш самый тихий уголок. И следователя вам тоже сменили. Так что теперь у вас будет... Да! Войдите.

Вошла та высокая, красивая, черноволосая секретарша, которую Зыбин уже видел у Хрипушина. Не глядя на подследственного, она подошла сбоку к столу и положила перед Нейманом какую-то тонкую голубую папку. Тот открыл, посмотрел, радостно сказал «ну и отлично» и встал.

— Я буду у себя,— сказал он, выходя.— Позвоню.

Секретарша подождала, пока дверь закрылась, потом отодвинула кресло и села. «Да, распустилась сучка!— подумал Зыбин.— Только она, конечно, не Неймана, а кого-то повыше. У Неймана до таких штучек еще нос не дорос. Небось какой-нибудь зам из Москвы прихватил. Но хороша! До черта хороша! Или мне с отвычки все уже кажутся красавицами? Да и так может быть. Ах ты канальство!»

Черноволосая сидела прямо, молчаливо улыбалась и давала себя разглядеть со всех сторон. Да на нее и следовало поглядеть, конечно. Все в ней было подобрано, подтянуто, схвачено; жакет в крупный бурый кубик, талия, манжеты, прическа, тугие часы-браслетка. Кажется, не русская, но и на еврейку, пожалуй, не похожа. Розовый маникюр. Лицо смугловатое, почти кремовое, с какой-то неуловимой матовой лиловатостью у глаз; брови вычерчены и подчищены. Синие загнутые ресницы. Взгляд от этого кажется каким-то мохнатым. Зато рот стандартный — такие выкроенные из малинового целлулоида губы можно увидеть в любой мало-мальски порядочной парикмахерской. В общем, отличная модель — года двадцать три, да тертая. «Интересно бы смотаться с ней в горы. Хотя нет, такие на меня не клюют. Я всегда у них в замазке. Вот Корнилов, тот сразу бы ее разобрал по кирпичикам. А сейчас он небось Лину обрабатывает. Ах ты дьявол!»

— Здравствуйте, Георгий Николаевич! — вдруг ласково и очень отчетливо сказала секретарша, но он думал о Лине, смешался и ответил невпопад:

— Здравствуйте, барышня.

Она улыбнулась.

— Да не барышня я, Георгий Николаевич.

«Да неужели ей еще и такое разрешают?! Ну Нейман! Ну болван! Сломаешь ты на ней себе умную голову»,— изумился он и сказал любезно, на штатских нотах:

— Извините, но не столь опытен, чтобы мог...

— Я ваш следователь, Георгий Николаевич,— мягко сказала она.

«Вот это номер,— ошалел он.— Ну, теперь держись, Мишка, начинается! Первая — психическая. Для слабонервных. Сейчас станет материться. Но против той, московской, наверно, все равно не потянет».

Про ту, московскую, он слышал года четыре назад. Рассказывали, что она не то начальник СПО — секретно-политического отдела,— не то его заместитель, во всяком случае не простая следовательница. Говорили также, что она из старой интеллигентной, либеральной семьи. Красива, культурна, утонченна, может и о Прусте поговорить и Сельвинского процитировать. А ее большие и малые загибы потрясали молодых воров. Они визжали от восторга, цитируя ее. Он же, слушая их, не восторгался и даже не улыбался, а просто верил, что она действительно сестра одной известной талантливой советской писательницы, специлизировавшейся на бдительности, жена другого литератора, почти классика — его проходят в седьмом классе,— и свояченица генерального секретаря Союза писателей.

— Я просто вне себя от восторга,— сказал он,— видеть в этих мрачных стенах такую очаровательную женщину, слушать ее! Говорить с ней! О!

— Да уж вижу, вижу, Георгий Николаевич,— улыбнулась она почти добродушно.— Вижу ваш восторг и понимаю, чем он вызван. Ну что ж? Я тоже думаю, что мы столкуемся. Я человек нетребовательный, и много мне от вас не надо.

— Буду рад служить, если только смогу,— сказал он.

— Сможете, Георгий Николаевич, вполне сможете. Ничего сверхъестественного от вас мне не надо. Ваших интимных дел касаться не буду. В случае нашего доброго согласия могу даже устроить свидание в своем кабинете. А вы расскажите мне только о вашей поездке на Или. Вот и все. Сговорились?

— Буду рад...

— Ну, может быть, и не очень рады будете, но придется. И знаете почему? Потому что ругаться я с вами не буду: во-первых, не научилась, а во-вторых, как я понимаю, это не больно-то на вас и действует. Так?

— Святая истина, гражданочка следователь, святые ваши слова! Я... Простите, вот не знаю вашего имени-отчества.

— Да, да! Давайте познакомимся,— улыбнулась она.— Следователь Долидзе. Так вот, Георгий Николаевич...

— Извините, а имя-отчество?

— Да ни к чему оно, пожалуй, вам, мое имя-отчество-то. В наших же отношениях будет фигурировать только моя фамилия. Лейтенант Долидзе. Этого вполне достаточно. Так вот, Георгий Николаевич, говорить правду вам все-таки придется. Потому что если я увижу, что вы лжете или вертитесь, то попросту, не ругаясь и не нервничая, тихо и мирно отправлю вас в карцер, понимаете?

Он улыбнулся мягко и снисходительно.

— Вполне понимаю, гражданочка следователь лейтенант Долидзе. Какое же это следствие без карцера? Это что, у тещи в гостях, что ли?

Она добродушно засмеялась.

— Знаю, знаю, как вы это умеете. Только не надо пока. С Хрипушиным еще это было хорошо, а со мной ни к чему...

— Слушаюсь, лейтенант... Нет, как хотите, а это невозможно. Вы меня вот называете по имени-отчеству, как милая и культурная женщина, а я вас должен, как хам какой-то, звать по фамилии да по званию! Нехорошо. Я человек деликатный, это меня травмирует. Я смущаюсь.

— Ну хорошо,— сдалась она.— Тогда Тамара Георгиевна.

— Вот это уже другое дело. Прекрасное у вас имя и особенно отчество, Тамара Георгиевна. Мы, Георгии, чего-то стоим. Была бы у меня дочка, тоже была бы Георгиевна. Так вот в карцере я, Тамара Георгиевна, уже сидел. Десять суток там провел. Всю жизнь свою там продумал. Выйду — роман напишу.

Она покачала головой.

— Да нет, Георгий Николаевич, в таком вы еще не были. Я ведь вас в темный, в холодный отправлю. С мокрым полом, так что не ляжете и не сядете. И дует! В таком больше пяти суток не держат. Вот я вас через пять суток вызову и спрошу: «Ну что, будем говорить правду?» И тут может быть два случая: или вы скажете «нет» — и тогда я вас отправлю снова на пять суток и вы там, как говорится, дойдете, или вы скажете «да» — и мы с вами начнем по-деловому разговаривать, но тогда к чему же были вот эти пять суток? Ведь они тогда просто как налог на глупость.

«Ну, если ты сейчас поддашься,— сказал он себе, за этот месяц он научился разговаривать сам с собой,—

если ты сейчас скривишься или состроишь морду, я просто, как горшок, расшибу тебя о стену, дурацкая башка! И будет тебе конец! Это совершенно серьезно, слышишь?» «Слышу,— ответила ему его дурацкая башка,— не беспокойся, не подведу. Все будет как надо».

— Ну что ж,— сказал он,— буду все эти пять суток думать о ваших черных глазах и вспоминать нашего великого поэта: «Прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла». Она была ваша тезка и соотечественница.

Она поморщилась.

— Всякая историческая параллель рискованна, Георгий Николаевич, данная параллель — просто бессмысленна. Известно вам, чьи это слова? Тамара — феодальная царица, я — советский следователь, она избавлялась от любовников, я расследую дело преступника, ею двигала похоть, мной — долг. Так что, видите, ничего общего нет.

Ее кроткий деловой тон сбил его, и он впервые не нашелся.

Она посмотрела на него и сняла трубку.

— Да, вот так!.. В триста пятидесятую комнату за арестованным Зыбиным!.. Ну, во всяком случае, мы теперь познакомились. Для нас обоих будет лучше, если мы н сговоримся... Во всяком случае, запомните: и не зла и не коварна. И если что обещаю, то выполняю. Но если за что взялась, то выполню. Вот мне поручили ваше дело — и я его закончу. Даю вам в этом честное слово, Георгий Николаевич!

Глава II

Было девять или десять часов вечера. Моросил дождичек — мелкий, серенький, прилипчивый. Длинные струйки текли по стеклу. И было ветрено; по двору на свет большого желтого фонаря летели листья. Дядька дня три уже находился в командировке. В кухне мыла полы и пела под нос что-то тягучее и божественное старушка Ниловна. А она вообразила себя школьницей, залезла в легкий синий, еще студенческий халатик да так до вечера и не вылезала из него. Сидела с ногами на софе, грызла огромное красное яблоко и думала: Гуляев при первом же деловом разговоре наедине, выслушав ее, сказал, что раз так, он просит ее представить ему докладную н изложить все свои доводы.

— Вы понимаете,— сказал Гуляев,— то, что вы н ваш дядя предлагаете, это, по существу, изменение

всей формулы обвинения. И тут, конечно, встает вопрос: а зачем? Стойте, стойте! Есть новая инструкция: все дела такого рода, если они тянутся более полутора месяцев, посылать в Москву. Хрипушин обязательно этим воспользуется и подаст на вас рапорт. Вот я и размышляю, дорогая моя Тамара Георгиевна: а не лезем ли мы с вами с самого начала не туда, а? Потому что очень уж не хотелось бы, чтобы наш первый блин да вышел комом. Ведь мы тогда очень огорчим всех наших доброжелателей. Вы этого не боитесь, а?

Он говорил с ней уважительно, ласково смотрел в лицо, и она ему ответила так же:

— Нет, Петр Ильич. Вот вы сказали «дела такого рода». Так вот это как раз дело совершенно иного рода. За ним ясно выступает второй план.

Он поморщился.

— Ох уж эти мне планы — вторые, и третьи, и четвертые. Очень я их всегда боюсь! Ведь у нас не театр. («Значит, знает, что я два года проучилась в ГИТИСе»,— быстро решила она.) У нас же следствие, то есть аресты, тюрьмы, карцеры, этапы, а не... Вот смотрите,— он слегка похлопал ладонью по папке, которая лежала перед ним,— оперативное дело по обвинению Зыбина Гэ Эн по статье пятьдесят восемь, пункт десятый, часть первая УК РСФСР. Девяносто шесть листов. Кончено и подшито. Но надо еще ведь и следственное. По нему и по нашей спецзаписке этот самый социально опасный и нехороший гражданин Зыбин безусловно получит свои законные восемь лет. А там будет видно. Вел это дело майор Хрипушин. Вел, правда, не с полным блеском, мы у него за это дело забираем и передаем вам. Теперь: чем же вы-то нас порадуете? Стойте, стойте! Все, что вы сказали, это ведь общие соображения, а я хотел бы знать, как вы поведете самое следствие. С чего начнете?

— С того, что задам этому социально опасному и нехорошему гражданину Зыбину всего-навсего один вопрос и послушаю, что он мне на него ответит: «Почему вам так внезапно понадобилось поехать на реку Или?»

— Ну, он вам нахально и скажет — этого ему не занимать: «Да ничего мне там особенного и не было надо. Просто купил водку, захватил девку да и поехал. Водку пить, а девку...» — Он засмеялся и вдруг закашлялся. И кашлял долго, мучительно, затяжно.— Ну и что вы ему ответите? — сказал он, переводя дыхание и обтирая платком рот и лицо.— Ведь это и в самом

деле не погранзона, не полигон, не секретное производство. Туда, может, еще полгорода по таким делам ездит.

Она хотела что-то возразить.

— Постойте. Я-то вас понимаю: все это очень подозрительно. Сорвался внезапно, водки накупил невпроворот, девушку зачем-то захватил — и все это произошло в тот день, как приехала его раскрасавица, а тут еще и золото через пальцы утекло,— разумеется, что-то не так. Но все это будет иметь значение только при одном непременном условии: если у вас есть еще хотя бы один бесспорный козырь. Так вот ищите же его. Снова просмотрите все дело, проверьте все документы, перечитайте все протоколы, вызовите его самого, прочувствуйте хорошенько, что это за штука капитана Кука, и тогда уж бейте наотмашь этим козырем. А что у Хрипушина тут ничего не вытанцевалось — это пусть вас не смущает. Ведь известно: плохому танцору всегда... ну, скажем для деликатности, каблуки, что ли, мешают? — Он засмеялся и опять закашлялся и кашлял снова долго, сухо и мучительно.— И не слушайте дядю!— кричал он надсадно в перерывах.— Сами думайте! Сами! — Он вынул платок, обтер глаза — пальцы дрожали — и некоторое время сидел так, откинувшись на спинку кресла. Лицо его было совершенно пусто и черно. Она в испуге смотрела на него. Наконец он вздохнул, улыбнулся, выдвинул ящик стола, вынул из него плоскую красную бумажную коробочку, разорвал ее, достал пару белых шариков и положил себе в рот. Потом пододвинул коробку к ней.

— Попробуйте. Мятное драже. Специально для некурящих.

Она покачала головой.

— А я курю.

Он строго нахмурился.

— Девчонка! В институте, поди, научилась?

— Нет, еще в восьмом классе.

— Вот когда бы надо было вас выпороть,— сказал он мечтательно.— И здорово бы! А я уж свое три года как откурил! — Он опять пошарил в столе и достал коробочку папирос «Осман».— Будьте любезны. (Она покачала головой.) Да нет, курите, курите! — Он достал из кармана зажигалку и высек огонь.— Специально для курящих держу — никогда почему-то у них спичек не бывает.

Пришлось закурить. Гуляев сидел, перекатывал языком за щекой драже и улыбался.

— Вы к врачу-то обращались? — спросила она.

— А-а! — безнадежно и тихо отмахнулся он.

Тут ей вдруг стало очень жалко его, и она сказала.

— В общем-то, вы прекрасно выглядите.

— Да? — Он проглотил драже, зло улыбнулся, встал, вышел из-за стола, подошел к шкафу и поманил ее.

Она подошла, он одной рукой слегка обнял ее — вернее, только прикоснулся сзади к ее плечу тремя пальцами,— а другой распахнул дверцу. Косо метнулся и погас синий зеркальный свет.

— Посмотрите,— сказал он.

Стояли двое.

Красивая черная молодица — гибкая, длинноногая, длиннорукая, с целой бурей волос — и рядом, по плечо ей, заморыш в военном френче. Он казался почти черным от глубоких височных впадин и мертвенно-серой кожи, похожей на больничную клеенку, и особенно жалко выглядела его немощная лапка, лежащая на плече молодицы.

— Ну,— сказал он.— Как я, по-вашему, выгляжу? Хорошо?

Она не нашлась, что сказать, и они еще немного простояли так. Потом он снял руку с ее плеча, закрыл шкаф, возвратился к столу и сел.

— Ладно,— сказал он,— лет на десять меня еще хватит. А больше, наверно, и нэ трэба. К этому времени уже коммунизм построят и всех нас в пожарники переведут. Будем в золотых касках ездить по городу. Чем плохо?

— И давно это у вас? — спросила она.

Он подумал.

— Да как сказать. Наверно, с детства, но в детстве я только так... покашливал. Да как же не кашлять? Для вас «проклятое старое время» — это так, присказка, а я-то его нахлебался досыта. У меня отец холодный сапожник был, то есть без вывески. Подметки и каблуки подкидывал. А жили мы, как полагается, в подвале. Большая комната на пятерых. Шестая — сестра матери из деревни с больным ребенком. Вот кричал, вот кричал! В комнате, как положено, всегда темно. Во-первых, окна маленькие, подвальные, их не намоешься, а во-вторых, на подоконниках вот та-акие бальзамины: матери они от какой-то старухи генеральши достались по наследству — она у нее пол мыла. Так мать их никому трогать не давала: «Это от чахотки первое средство — от них воздух лечебный». И действительно,— он усмехнулся,— чахоткой не болели. А это у

меня бронхиальная астма после плеврита. Я в Сочи его схватил, в правительственном санатории. Вот такой анекдот.

— Ну от бронхиальной астмы не умирают,— сказала она.

— Хм! И как уверенно ведь говорите! От нее-то, положим, не умирают, а вот с ней-то умирают, да еще как! Ладно, давайте, как говорится, уж не будем. Так вот, девочка, берите дело и двигайте его со всей своей молодой энергией. Только не слушайте никого. Пошлите этих всех советчиков...— Он махнул рукой.— А мне подайте рапорт с подробным обоснованием, план следствия, чтоб я имел документ.

...И вот она сидела, перечитывала свои выписки, грызла яблоко и думала. На листке блокнота у нее было записано: «Изложить З. весь план следствия. Ругаться не буду, буду сажать. Затем ответьте:

1) К чему была такая поспешность?

а) Именно в этот день?

б) С Кларой? Ведь приехала Лина;

в) Зачем столько водки — четыре пол-литра. Это на четырех здоровых человек. Кто ж они?

2) Что он думает о пропавшем золоте? (Его милицейская записка.)

3) Козырь».

После этого «козыря» стояло множество вопросительных знаков — наверно, столько, сколько поставила рука,— и один большой восклицательный знак.

Позвонил телефон. Она сняла трубку. «Слушаю»,— сказала она. В трубке молчали. «Да!» — повторила она. В трубке молчали и дышали. «Ну, когда надумаете, тогда и позвоните»,— сказала она и бросила трубку.

Вошла Ниловна, сухонькая беленькая старушка с желтой ваткой в ухе: у нее постоянно что-то стреляло в виске.

— Звала? — спросила она.

— Ниловна, вы смотрите, какая красота! Держите! — И она ловко кинула старухе пару яблок.

— Спасибо. Не ем. Ну разве в чай для запаха. Вот видишь,— она пальцем обнажила сиреневую десну и показала бурые гнилушки,— только кутние и остались! Что звала-то?

— Да нет, это телефон зазвонил.

— А-а! Это у нас бывает. Станция путает. Кушать тут будешь или в столовую пойдешь?

— Да я уж накушатая,— ответила она.— А вы сами-то поели?

— Да неуж голодная буду сидеть? — усмехнулась Ниловна.— Тут тебе из библиотеки звонили, велели какую-то книгу, не то франсу, не то францию принести, если уж не нужна. Сказали, ты знаешь.

— Спасибо, Ниловна, знаю.

Она подошла к полкам — ходить все-таки приходилось, опираясь на палочку: нога еще болела,— сняла «Жизнь Жанны д'Арк» Анатоля Франса, снова забралась на софу, открыла книгу на закладке и переписала в блокнот:

«3) Козырь??

«Прокуроры рисковали более, нежели остальные граждане, и не один, проходя по двору, где приводили в исполнение смертные приговоры, вероятно, размышлял о том, что не пройдет года, как его будут судить на этом месте» (А. Франс, «Ж. Ж.», с. 177) — на полях написано хим. кар.: «А наши дураки ни о чем не размышляют и ничего не боятся — зря! На них и фонарей не хватит».

Она наткнулась на эти отчеркнутые строки и пометку на поле, когда ей только что прислали эту книгу с посыльным и она стала ее просматривать. Тогда же она показала это место Якову Абрамовичу, он посмотрел и печально сказал: «Да, только почерк-то не его. Но все равно задержи, это вообще-то очень любопытно. Он тоже пользовался этой библиотекой».— «А что, это вообще-то что-то стоит?» — спросила она. Он удивленно посмотрел на нее и негромко воскликнул: «Умница! Да это же готовые восемь лет!» Так книга у нее и осталась.

Снова зазвонил телефон. Теперь женский голос очень уверенно попросил Якова Абрамовича. Она ответила, что его нет. В трубке помолчали, а потом спросили, скоро ли он придет,— голос был молодой, гибкий и, как ей показалось, немного пьяный.

— Не знаю,— ответила она и предложила оставить телефон. (В трубке опять наступила тишина.) — Это говорит его племянница,— добавила она.

Тут, наверно, трубку на секунду отняли от уха, потому что она слышала перезвон стекла, голоса и обрывок фразы: «...предпочитаю чему угодно». Голос был грубый, мужской: очевидно, там пили.

— Да нет, ничего особенного,— сказала трубка,— это звонит одна из его знакомых.

— А-а,— сказала она.

— Из «Медео»,— добавила трубка, смущенно засмеялась и замялась.— Я просто хотела пригласить Якова Абрамовича на свои именины.

— Ах так,— сказала она,— ну спасибо. Позвольте вас тогда тоже поздравить. Я обязательно передам. Я его племянница.

В трубке помолчали, подумали и потом спросили:

— А вы тут живете?

— Да нет,— объяснила она словоохотливо.— Я недавно только приехала из Москвы. Закончила институт и приехала отдохнуть, а там видно будет. Может, работать буду.

— А здесь работы много,— заверила трубка.— Вы по дядиной специальности?

— По дядиной,— ответила она весело. Ей очень нравилось так трепаться с неизвестной женщиной.

— Здесь геологи очень требуются,— сказала трубка серьезно.— Так милости прошу и вас с дядей. Я теперь не в «Медео», правда, но это я ему позвоню, лично объясню. Меня звать Мариетта Ивановна.

— Спасибо, Мариетта Ивановна. Приеду. «Медео» — ведь это в горах?

— В самых, в самых горах. В ущелье. Только я-то теперь... не совсем там — ну да я еще позвоню. Праздновать-то там будем.— Трубка совсем успокоилась и сейчас просто ворковала. Наверно, там уже пили.

— Спасибо, спасибо, Мариетта Ивановна. Обязательно постараюсь приехать.

Она опустила трубку, усмехнулась и пошла на кухню. Ниловна стояла над столом и зубным порошком чистила ножи.

— Дозвонилась? — спросила Ниловна.

Она засмеялась и села на табуретку рядом со старухой.

— Вот пригласила Мариетта Ивановна из «Медео»,— сказала она.— Это далеко?

Ниловна положила нож.

— Так туда от зеленого базара автобусы ходят. Как сядешь, так на последней и слезешь. Дальше они не идут. А что это за Мариетта? Я ровно такой не слышала. Не та, что книгу приносила?

— Та, та самая! («Ах Яков Абрамович! Ах шустряк, геолог!»)

— Ну съезди, съезди, горы там замечательные! Мохнатая Сопка,— сказала Ниловна.— Там, и перекусить, и отдохнуть, и заночевать есть где. Там, не доезжая три остановки, у вас ведь дом отдыха, меня раз туда Мария Саввишна возила, кто-то приезжал, так надо было залу убрать, посуду помыть...

— А дядя там часто живет? — спросила она.

— Яков Абрамович-то? Нет, их туда на аркане не

затащишь. Их дело — вот! Волга, они на нее все летают да к морю. А туда нет. «А что я там не видел? Я на эти сопки каждый день из окна гляжу. Надоели!..» Вот и весь их разговор.

«Так, прекрасно,— подумала она, выходя от Ниловны.— Яков Абрамович, вы у меня в кармане! Мариетта Ивановна, скажи пожалуйста! А видать, молодая, стеснительная! Яков Абрамович, вы пропали!»

— Ну кого еще на ночь глядя господь посылает! — проворчала Ниловна и пошла в переднюю.

Она же быстро юркнула к себе. Для гостей, конечно, поздно, но это не дядя — у него ключ.

В передней щелкнул замок и зазвенела цепочка. Молодой сочный бас — она узнала Мячина — произнес:

— А вот и его хозяйка! Марья Ниловна, молитвенница вы наша! Принимайте дорогого гостя! Это брат Якова Абрамовича — Роман Львович, наш самый-самый большой начальник.

— Ну-ну, не пугайте хозяйку! — сказал гость.— А где же наша молодая очаровательная родственница? Спит или в гостях?

Она тихонько наложила крючок и на цыпочках подошла к шкафу, бесшумно открыла его, посмотрела и сняла вечернее платье, но потом подумала, отложила его и вытащила строгий костюм в клетку.

Это был Штерн — десятая вода на киселе, ее троюродный или четвероюродный дядя. В доме о нем почти не говорили, но после того, как она поступила в институт, его имя там ей приходилось слышать почти каждый день. Говорили, что это добродушный, обаятельный и страшноватый человек. Великий мастер своего дела. Остряк! Эрудит! О встрече с ним она мечтала давно.

Утром в дверь ее комнаты громко застучали, а затем веселый басок не то пропел, не то продекламировал:

Я пришел к тебе с рассветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно...

— С приветом, а не с рассветом,— поправила она с софы через дверь.

— Наплевать. Что оно та-та-та светом по та-та затрепетало! Вставайте, соня! Вы посмотрите, что на дворе-то делается!

Она открыла глаза и тотчас же зажмурилась. Вся комната была полна солнцем.

— Сколько сейчас? — спросила она.
— Здравствуйте пожалуйста! Уже полных десять. Вставайте, вставайте! Я уже и кофе сварил.
— Встаю,— сказала она.— Через десять минут буду.
— Да не через десять, а сию минуту! Сию минуту! А еще следователь! Следователь должен быть... Знаете, каким он должен быть? У-у! Ладно, вставайте, я расскажу вам, каким он должен быть.
Но в столовой она появилась не сразу. Сначала перед зеркалом бритвой подчистила брови — они у нее всегда норовили срастись,— потом прошла в ванную и пробыла там нарочно долго. Вышла с еще влажными волосами, свежая и сверкающая.
Роман Львович, толстенький, добродушненький, в полной форме, в ярком костюме приветствовал ее, стоя над кофейником. Она протянула ему руку, он почтительно приложился к ней.
— Вам крепкого? — спросил он.
Она кофе не пила, пила чай, но ответила, что да, самого крепкого, без молока.
— О, это по-нашему,— похвалил он.— Знаете, Екатерина Вторая раз угостила чашкой кофе фельдъегеря. Он только что прискакал к ней с пакетом, а она любила красивых молодых людей, так вот, когда он выпил ее кофе, у него закружилась голова. Вот какой кофе делали в старину!
Был Роман Львович роста невысокого, но сложения широкого и крепкого и также, как и Яков Абрамович, лицом походил он на толстого полнощекого младенца, радость мамы,— так в старину рисовали амуров, а на старых картах так, с раздутыми щеками, изображались четыре ветра. «А человек он хоть и не умнейший, но подлейший»,— вспомнила она чью-то сказанную про него в их доме фразу.
— Ну, дорогая, дайте хоть посмотреть на вас при солнце,— сказал Штерн,— а то вчера я вас даже и увидеть не сумел. Что вы так сразу скрылись?
— Ну, у вас были свои разговоры,— сказала она с легким уколом.
— У меня разговоры? С прокурором? — как будто удивился он.— Да нет, какие? О чем? Да, а брови и глаза-то у вас батюшкины. Давно, давно я не видел Георгия, как он?
Она слегка пожала плечами.
— Хорошо.
— А более конкретно?
— Жив, здоров, работает.

— И по-прежнему на пятый этаж бегом? — Он вздохнул. — Вот что значит родиться на Кавказе, а не в Смоленске или на Арбате. Скажите ему — когда мне будет совсем плохо, приползу и рухну у него в кабинете, потому что больше никому не верю. И я знаю — он все для меня сделает.

Она слегка улыбнулась. Да в том-то и дело, что для него, человека постороннего и ему неприятного, отец действительно сделает все. Георгий Долидзе был знаменитый сердечник — человек пылкий, страстный, взрывчатый; спортсмен, альпинист, охотник, прекрасный товарищ, заботливый, как все считали, семьянин, из таких, которые не потерпят, чтоб их семья нуждалась в чем-то, но в то же время — и это почти никто не знал — совершенно к этой семье равнодушный. Равнодушен он был и к дочери. И из этого самого равнодушия, вернее, ласкового безразличья, так и не поинтересовался, в какой именно юридический институт она поступила, бросив ГИТИС, и что ее кольнуло бросить его на четвертом курсе. Родственников же со стороны матери Георгий Долидзе совершенно не терпел, хотя говорил об этом мало и слова об «умнейшем и подлейшем» принадлежали не ему — Штерна он вообще даже и очень умным не считал.

— Да, давненько, давненько мы с вами не виделись, — сказал Роман Львович. — Последний раз я был у вас когда? — Он задумался. — Да, летом двадцать восьмого года. Тогда привез я вам из Тбилиси от родственников ящик «дамских пальчиков». Вот ведь когда я вас увидел в первый раз. Вы тогда в саду играли в индейцев. Так с луком я вас и помню. Лихой индеец вы были! Волосы на лицо, а в них белые перья какие-то! Помните, а? — Он засмеялся.

Она не помнила, конечно, но воскликнула: «Конечно!» И так искренне, что сама себе удивилась. (Опять эти обрыдшие ей индейцы! Этот проклятый лук и стрелы. Взрослые решили за нее, что она обязательно должна запоем читать Майна Рида, бредить индейцами, скальпами, бизонами, томагавками, и она, чтоб не подвести их, с воинственными криками носилась по саду, собирала гусиные перья и пачкала лицо дикими разводами под глазами — марать одежду ей запрещали.)

— Да! А вот теперь застаю такую очаровательную взрослую племянницу. Это, конечно, всего приятнее. Я слышал, вы тут будете стажироваться?

— Работать я тут буду, Роман Львович, — сказала она, — служить. Меня берут по разверстке. Я еще думаю тут собрать материал для диссертации.

— Это на какую же тему? — спросил он.

— «Основы тактики предварительного следствия по делам об КР агитации». — Она отбарабанила это быстро, не задумываясь, потому что эту тему ей подсказал и сформулировал руководитель кафедры, в которого она была давно и, видимо, безнадежно влюблена. Тот самый молодой специалист по праву, которого однажды пригласили в ГИТИС консультантом на учебную постановку их курса. Тогда они и стали встречаться.

— О-о, — сказал Штерн уважительно и стал вдруг очень серьезен. — Прекрасная тема. Но и труднейшая. Всецело связанная, во-первых, с новым учением товарища Вышинского о преступном соучастии и сообществе — знаете? слышали? это не гроздь, а цепочка, — а во-вторых, с новой советской теорией косвенных улик. Мы, советские правоведы, впервые... С сахаром, с сахаром! — закричал он и сунул ей сахарницу. — Два куска на чашку! И пейте мелкими глотками. А ГИТИС что же? (Она слегка повела плечами. Так ли, не так ли, а уже не переиграешь, и потом, это куда более теплое и верное место под солнцем.) Он отечески положил ей руку на плечо. — Ничего, — сказал он, — жалеть не будете. Я вот тоже готовился стать писателем!

— Но вы же и есть крупный писатель! — сказала она.

Он махнул рукой, и на его лице промелькнуло и исчезло быстрое выраженье боли, наверно, впрочем, наигранное.

— А-а, что там говорить! Прокурор я! Прокурор Прокурорыч, самый доподлинный работник надзора! И все!

— Ну вот видите, а сначала учились в Брюсовском институте. Это я вам отвечаю на ваш вопрос.

— Понимаю. Простите. Ну, со мной все было проще простого. Просто сунули мне в комитете комсомольскую путевку и сказали: «С завтрашнего дня будешь ходить не сюда, а туда». Вот и все. Я и пошел не сюда, а туда. С тех пор и хожу.

— И не жалели?

— Ну как то есть не жалел? Очень даже жалел. Спал плохо. Бежать хотел, комсомольский билет забросить. Ну еще бы! Мечтал о доблести, о подвиге, о славе, а тут зубри судебную статистику, дежурь в отделении, составляй протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия. Да еще и на вскрытие потащат. А люди-то какие? Товарищи — это милицио-

ры, агенты, сексоты, патологоанатомы, а противники — абортмахерши, бандерши, карманники, убийцы — тьфу! И всю, значит, жизнь с ними?! А в той жизни остались и литература, и Художественный театр, и Блок, и Чехов, и Пушкин, и Шекспир — вот как я думал тогда.

— А в результате через несколько лет стали известнейшим писателем,— польстила она.— Ваш «Поединок» в «Известиях» у нас ходил с лекции на лекцию целую неделю.

Он слегка поморщился.

— Да ведь это однодневка, очаровательница. (Подбирал же он подходящие словечки.) Прочел — и в урну его! На полках такие вещи не стоят. Нет, моя люба, настоящую вещь я напишу, если хватит силенок, лет так через десять — пятнадцать, когда выйду на пенсион, а это все так вехи, вехи! Этапы большого пути! Да, писателем я не стал. Но,— он строго нахмурился,— то, что я выбрал именно эту дорогу, я теперь не раскаиваюсь! Нет! Тысячу раз нет! И знаете почему? Потому что скоро понял, что никуда я от того же Чехова и Шекспира ие ушел. Все они оказались со мной, в моем кабинете.— Она хотела что-то сказать, но он перебил ее.— Стойте! Слушайте! Вот приходит ко мне человек. Ну, скажем, раз уж мы об этом заговорили, герой «Поединка», то есть тот врач, судебный эксперт, который убил на квартире свою жену, разрубил ее на куски, а потом пришел ко мне в прокуратуру ее искать. Мы здороваемся, я усаживаю его, любезно осведомляюсь о здоровье, о настроении. Он скорбно улыбается: «Ну какое там настроение, когда у меня такое горе!» — «Понимаю, понимаю! Ищем, принимаем меры! Авось иайдем!» Вот так сидим, курим, потом переходим к самой сути. Тоже полегонечку. Я подвигаю к себе бланк протокола допроса свидетеля. Ничего особенного. Вопрос — ответ, вопрос — ответ. Записываю все беспрекословно. Он уж успокоился. И тут вдруг я высовываю уголочек своего джокера: «А скажите, уважаемый коллега, почему, если, как вы предполагаете, ваша жена ушла от вас с кем-то, осталась ее любимая серебряная пудреница? Ведь женщины с такими вещами не любят расставаться». Он смотрит на меня. Я на него. И он сразу все понял, молодец, быстро парирует: «Это был мой подарок ей в день свадьбы, она, наверно, не хотела его брать». Ну что ж? Деловой ответ, но уже все, все! Что-то щелкиуло во мне, и вот человек, сидящий передо мной, редеет, редеет, и выступает совсем иное лицо — преступника, убийцы, не теперешнего, а того, прошлого, который убил жену и

расчленил ее труп на части; и я уж ясно представляю, как это он сделал, что при этом думал и как заметал следы. И он понимает тоже, что я расколол его, и начинает вдруг метаться, путаться, проговариваться, завираться. Страх все перепутал, все сместил. Ведь до сих пор он жил в одиночке, отгородившись от всех, и думал, что нет к нему входа никому, и вот вдруг дверь распахнулась — и на пороге стою я. Все! Сопротивление кончено, и он сдается.

— Как тот врач? — спросила она.

Роман Львович бросил на нее быстрый острый взгляд, встал и подошел к окну. За окном был мирный, обычный двор, акации, зной, пыльные мальвы, обессилевшие куры в пыльных ямках, солнцепек и розовые, синие маки на проволоке. Он постоял, посмотрел, вернулся к столу, сел и спросил:

— Ну, еще кофею?

Это дело с врачом кончилось тайным, но грандиозным провалом. После вынесения смертного приговора убийце (а он был осужден как террорист. Ну как же! Разве советские люди убивают? Значит, убийца — личность антисоветская. Так по какой причине антисоветчик может убить советского человека — свою жену? Только потому, что его жена, как человек советский, хотела разоблачить антисоветчика. Значит, это не простое убийство, а убийство на политической почве, то есть террор),— так вот после объявления приговора в зале появилась вдруг убитая. Дело в том, что Роман Львович перемудрил. Слишком уж широко он пустил по свету историю врача-убийцы. И попался номер «Известий» с его «Поединком» и к соседям убитой. А она в то время уже третий год преотлично жила на Дальнем Востоке с новым мужем. Но ведь есть люди, которым всегда нужно больше всех. Начались скандалы. Пришел участковый. Составил протокол. Пришлось срочно ехать в Москву и являться. Никому другому, кроме Романа Львовича, эта дурацкая хохма не сошла бы с рук — но как можно обидеть такого чистого, прекрасного, наивного, честнейшего человека? Ни у кого из властей на это рука не поднялась бы! Только посмеялись и ткнули: «Вот! И не считай себя тоже богом!» — и поместили в каких-то закрытых бюллетенях статью в рубрике «Из судебной практики».

— Да,— продолжал Роман Львович, отодвигая чашку,— преступника надо отпереть, как запертый сейф, и вот вы равномерно перебираете ключи — один, другой, третий. Не дай бог вам нервничать! Это только покажет ваше бессилие. Нет, будьте спокойны, улыбайтесь и

пускайте в ход ключи: психологический, логический, эмоциональный и наконец — увы! — когда это необходимо, большой грубый ключ физического принужденья. Пусть он будет у вас последний, но и самый надежный. Понятно? Самый надежный!

— Не совсем,— сказала она.— Что это такое... Бить? Ругаться?

Он поморщился.

— Ну, товарищ следователь, от вас я таких вопросов мог бы меньше всего ожидать! Люба моя! — закричал он.— А вы умеете, умеете вы бить, ругаться? Так что же вы спрашиваете? Не бить и не ругаться, а просто подать рапорт — вам в институте объяснили, что это такое? Так вот, подать рапорт начальнику, а у него уж там есть карцеры на любой вкус: и холодные, и горячие, и стоячие, и темные, и с прожекторами, и просто боксы, а для самых буйных мокрая смирительная рубаха из хо-орошего сурового холста. Люди после нее становятся добрыми и послушными! Но это надо сделать вовремя, вовремя — не раньше и не позже, а в некий совершенно определенный момент. И тут я вам скажу: вы не зря были в ГИТИСе. Это великая школа для следователя. Все всецело зависит от вашей способности входить в образ, перевоплощаться. В этом и писатель, и следователь, и артист едины. Потому что если такая способность у следователя отсутствует, то грош ему цена. Ломаный! Если он не чувствует, что такое трагизм мысли... а ведь даже из наших великих мало-мало кто понимал, с чем эту штуку кушают! Достоевский — вот это да! Этот понимал! Я часто думаю: какой бы из него следователь вышел! Вот с кем бы мне поработать! Он знал, где таится преступление! В мозгу! Мысль — преступна. Вот что он знал! Сама мысль! Это после него уже забыли накрепко! Все начинается с нее — задушите ее в зародыше, и не будет преступленья. Да, так вот, если следователь не способен понять всего этого, ему у нас делать нечего, пусть идет в милицию. Там всегда нужда в честных и исполнительных. А нам нужны творцы.

— Так, значит, следователь — творец? — спросила она.

На следующий день был выходной. К четырем она уже кончила докладную записку и отпечатала ее на дядюшкином «ундервуде». Тут к ней и постучался Роман Львович.

Он только что вернулся из наркомата и весь сиял и лучился.

— Ну племянница! — сказал он, входя. — Ну умница! Очаровали вы нашего почтеннейшего гомункула. После делового разговора — я тут выполняю одно препотешное поручение, после расскажу — он меня вдруг спрашивает: «Ну а как вы отнеслись к тому, что ваша племянница стала нашей сотрудницей?» И так лукаво-лукаво на меня смотрит. «Ну как, — говорю, — радуюсь и горжусь». — «Да, — говорит, — она у вас, видать, умница». — «А в нашем роду, уважаемый Петр Ильич, — отвечаю ему, — дураков не бывало, я — самый глупый!» — Он довольно засмеялся. — Вы его слушайте. Он с башкой и, как ни странно, человек не особенно плохой. И всегда может подсказать что-то дельное. Ну, пошли пить кофе.

В столовой он сказал еще:

— И узнал я от него, что он отобрал от Хрипушина и передал вам дело Зыбина. Знал я этого Георгия Николаевича когда-то.

— Вот как! — негромко воскликнула она.

— Да, было такое! Встретились в Анапе. — Он разлил кофе по чашечкам. У Якова Абрамовича были специальные, крошечные, розовые, тончайшие, почти прозрачные. — Даже раз выпили с ним. Было, было дело. Впрочем, с тех пор три года прошло. Теперь он, наверно, переменился.

— А каким он был тогда? — спросила она.

Он засмеялся.

— Тот типус! Очень себе на уме. Скользкий, увертливый. Хотел быть душою общества. Таскался там с одной дамочкой и всех зазывал в свою компанию. Ну и меня подхватил. Прямо с пляжа. Скука была страшенная, и я пошел. Ездили мы на какую-то экскурсию, пили, пели, она что-то там читала. Кстати, и она тоже сюда прилетела! Вам, наверно, придется ее вызывать, хотя глубоко уверен, что это бесполезно: хитрейшая баба! Да, а почему я не нашел в деле вашего протокола? Ведь вы уже встречались.

— Именно мы только встречались, — улыбнулась она.

— Ну и ваше впечатление?

— Да, пожалуй, похоже на ваше. Хитрый и скрытный. Все время стремится прощупать. Не прочь, пожалуй, спровоцировать на крик и ругань. Но я его предупредила, что ругаться с ним не буду.

— Правильно! — воскликнул он. — Умница!

— Да и уговаривать тоже.

— Правильно.

— Но если он будет саботировать следствие или

затеет со мной игру в жмурки, я его просто отправлю в карцер.

— Вот это уж, пожалуй, неправильно. То есть правильно, но рано. Подследственный ничего не должен знать о ваших планах. Это одно из непременных условий. Ну, в данном-то случае это, положим, не важно, но вообще-то все повороты в ходе следствия должны следовать абсолютно неожиданно. В особенности с такими, как Зыбин,— это тип, тип! Я видел, как он с этой дамочкой обрабатывал одного — правда, тот оказался хитрее, но тут им все было пущено в ход: лодка, водка, луна, гитара! Ну а как он держится, скажите?

— Очень раскованно! Как в гостях! Я смотрела протоколы Хрипушина. Страшно много накладок. Очевидно, их все придется уничтожить: ничего существенного там нет. А следователь, кажется, опытный, так что странно.

Штерн посмотрел на нее и усмехнулся.

— А Гуляев вам ничего не объяснял? (Она покачала головой.) А Яков Абрамович?.. Ну ясно! Кому охота сознаваться в своих глупостях? А тут даже и не глупость, а политическая незрелость. Они же, олухи царя небесного, да простит мне бог, что так про своего любимого брата говорю, они, олухи, хотели тут, в Алма-Ате, большой групповой процесс организовать: вредительство в области литературы, науки и искусства в Казахстане. Этот несчастный Зыбин — авантюрист и пройда — должен был быть главным обвиняемым. С его показаний все бы и началось. У них еще с десяток подсудимых намечалось. В общем, все, как в Москве,— с полосами в газетах, речью прокурора, кинохроникой и все такое. Тут на них из Москвы хорошенько и цыкнули. Это что вам за всесоюзный культурный центр — Алма-Ата! Почему все вредители туда переползли, а Москва чем же им не понравилась? А во-вторых, если уж хотите организовывать процесс, то прежде всего начинайте трясти алашординцев, националистов и прочую нечисть, их тут хватает, а при чем тут русские? Это же политически неграмотно. Русские в России вредят, а казахи в Казахстане! Зачем же все путать и затушевывать националистическую-то опасность? Для Зыбина же облсуда, в крайнем случае ОСО, хватит. Вам никто ничего не говорил об этом?

— Нет.

— Ну конечно! И хорошо, что арестованный сразу не поддался, очевидно, почувствовал что-то не то, а то стал бы валить одного за другим, и наломали бы они дров. Такие дела делаются только по прямому указа-

нию Москвы, а они, видишь, хотели сюрприз ей преподнести. А потом и совсем скандал разыгрался. Каким-то образом все это дошло до директора музея: вот, мол, что хотят устроить. В общем, кто-то его предупредил. Тот, не будь дурак,— в Москву. Добился приема и все там изложил. Человек он умный, грамотный, весь в орденах, все подал как нужно. В результате и нагоняй. А что теперь делать с Зыбиным? Вот следствие и забегало. Пускать просто по десятому пункту — обидно, пускать по измене родине — невозможно. Вот придумали сейчас какое-то пропавшее золото двухтысячелетней давности! Сказка! Опера! Что вы качаете головой?

— Золото не выдумано,— сказала она.— Оно действительно было. Вот послушайте...

И она стала ему рассказывать. Он выслушал до конца не перебивая и сказал серьезно:

— Да, если все обстоит действительно так, как вы изложили, то да, этим стоит заняться. Таинственная пропажа, посещенье ларешницы, таинственный отъезд, водка на четырех человек... и никто из них не известен. Ах, ну что же они, идиоты, не дали этому Зыбину доделать все до конца? Ведь все бы сейчас было в наших руках! Ну идиоты! У вас уже есть план допроса? Ну-ка покажите.

Он прочел план до конца и потом сказал:

— Молодец! Умница! Действуйте. Я только чуть-чуть изменил бы редакцию вопросов. Ну-ка пойдем к вам, посоветуемся.

Она вызвала на допрос деда Середу — столяра центрального музея. Старик оказался широк в кости, высок и крепок. На нем был брезентовый дождевик — такие несгибаемые и несгораемые носят возчики — и крепкие кирзовые сапоги в цементных брызгах. Снять дождевик он отказался, сказал, что только из столярки, а там краски, клей, опилки, стружка, как бы не запачкать дорогую мебель. Она не настаивала. Так он и сидел перед ней — большой, серо-желтый, каменный, расставив круглые колени, и вертел в руках огромный бурый платок.

Лицом он был хотя и темен, но чист, брил щеки и носил усы. А нос был как у всех пьющих стариков — сизый и с прожилками.

Она поначалу пыталась его разговорить, но отвечал он односложно, натужно, иногда угодливо смеялся, и она, поняв, что толку не будет, перешла на анкету. Тут

уж пошло как по маслу. Старик на все вопросы отвечал точно и подробно.

Кончив писать, она отложила немецкую самописку с золотым пером и спросила Середу, как к нему обращался Зыбин. Старик не понял. Она объяснила: ну по имени, по имени-отчеству, по фамилии — как?

— Дед! — твердо отрезал старик. — Он меня дедом звал.

Она покачала головой.

— Что же это он вас в старики-то сразу записал? Ведь вы же еще совсем не старый.

Он слегка развел большими пальцами рук.

— Звал.

— А вы его как?

Старик опять не понял. Она объяснила, ну как он к нему обращался — по имени, отчеству, фамилии — как?

— А я его, конечно, больше по имени, ну иногда по отчеству, а если при чужих людях, то, конечно, только товарищ, товарищ Зыбин.

— Значит, вы были в довольно-таки близких отношениях, так? Ну и какое он производил на вас впечатление? (Старик поднес платок к лицу и стал тереть подбородок.) Ну, резкий он, грубый или, наоборот, вежливый, обходительный, как говорится, народный?

Старик отнял платок от лица.

— Я ничего от него плохого не видел.

— А другие?

— Про других не знаю.

— Ну как же так? Ведь вот он вас «дед», вы его по отчеству, значит, были в приятельских отношениях. Так как же не знали-то?

— Хм! — усмехнулся старик. — Какое же у нас может быть приятельство? Он сотрудник, ученый человек, а я столяр, мужик, вот фамилию еле могу накорябать — так какое же такое приятельство? Он мне во внуки годится.

— Ну и что из этого?

— Как что из этого? Очень даже много из этого. У него и мысли-то, когда он отдыхает, все не такие, как у меня.

— А какие же?

— Да такие! Пустяшные! Познакомиться, встретиться там с какой-нибудь, конпанией куда-нибудь смотаться, патефон еще забрать, пластинки добыть — вот что у него на уме. Какое же тут приятельство? Удивляюсь!

— А вы, значит, во всем этом не участвовали?

— Да в чем я мог участвовать? В чем? В каких его конпаниях? Вон где вся моя конпания — на кладбище!

— Ну какие же страсти вы говорите! — рассмеялась она.— Вы совсем еще молодец! Мой дед в восемьдесят на двадцатилетней женился. (Старик молчал и рассматривал бурый ноготь на большом пальце.) Ну а выпить-то вы с ним выпивали?

— Было,— ответил дед.

— Было! И часто?

— Счета я, конечно, не вел, но если подносил, как я мог отказаться?

— Ну да, да, конечно, не могли. Так вот, пили и говорили? Так?

Дед подумал и ответил:

— Ну не молчали.

— О чем же говорили-то?

— О разном.

— Ну а например?

— Ну вот, например: в этом году яблок будет много — они через год хорошо родятся. Надо посылку собрать. Ты мне, дед, ящики с дырками сбей, чтоб яблоки дышали. Или: что это у нас перед музеем роют — неужели опять хотят фонтан строить? Или: я кумыс никак не уважаю, у меня от него живот крутит. Ну вот! — Дед улыбнулся.

— Ну а о себе он вам что-нибудь рассказывал? Как он раньше жил, почему сюда приехал? Долго ли тут еще будет?

— Нет, этого он не любил. Он все больше шутейно говорил! Смеялся.

— Над чем же, дедушка?

Дед посидел, подумал, а потом мрачно отрезал:

— Над властью не надсмеивался.

— А над чем же?

— Над разным. Вот массовичку нашу не любил, над ней надсмеивался.

— А еще над кем?

— Ну над кем? Мне тогда это было без внимания. Ну вот секретарша главная в научной библиотеке была. Что-то они там не поладили. На нее он здорово серчал.

— За то, что не поладили?

— Нет, за падчерицу.

Она подвинула к себе протокол.

— А что с ней? Он что-нибудь там...

— Нет.— Дед резко крутанул головой.— Отца ее, врача, забрали, а секретарша все вещи его попрятала, а дочку перестала кормить: «Ты мне не дочь и иди куда хочешь». Так она по людям ходила ночевать. Вот ее он очень жалковал. Меня спрашивал: может, ее к нам в

сменные билетерши взять? Я говорю: «Поговори с директором».— «Поговорю». Вот не успел.

Старик замолк и стал снова рассматривать большой палец.

— Что, болит?—спросила она участливо.

— Да вот молотком по нему траханул. Сойдет теперь ноготь.

Помолчали.

— Жалко вам его?

Он поднял голову и посмотрел на нее.

— Ничего мне не жалко! Что мне, сват он, брат, что ли? Всех не пережалеешь,— сказал он досадливо.

— Ну хорошо,— сказала она,— а вот золото у вас пропало.

Старик молчал.

— Да ведь как пропало-то? Прямо из музея утекло. Что ж он так недоглядел? Это как, по-вашему? Его вина?

— Не было его вины. Он тогда в горах сидел. Мы его туда извещать ездили. А был бы он—он бы этих артистов с первого взгляда понял.

— А что же ему понимать? Он же их хорошо знал.— Она как будто удивленно посмотрела на старика.— Ну что ж вы, дедушка, говорите? Он же отлично их знал! Отлично! Нет уж, тут не надо вам...

Старик молчал.

— И он же вам сам говорил, что их знает?

Старик молчал.

— Ну говорил же?

— Никак нет,— ответил старик твердо.— Этого не говорил.

— Ну как же так?—Она даже слегка всплеснула руками.— Как же не говорил, когда говорил. Он и сейчас этого не скрывает.

Старик молчал.

— И они вам тоже говорили, ну, когда вы сидели с ними в этой самой... Ну как ее зовут, стекляшка, что ли?

— Так точно, стекляшка-с!—Старик ответил строго, по-солдатски и даже «ерс» прибавил для официальности.

Она поглядела на него, поняла, что больше ничего уж не добьешься, и сказала:

— Ну хорошо, оставим пока это. А как вообще он жил? Ведь вы же у него бывали.

— Ну как жил, как вобче все люди живут. Бедно. Только в комнате ничего, кроме кровати да стульев. Ну книги еще. Посуда там какая-то. Ну вот и все.

— А как к нему люди относились?

— А какие как. Плохого от него никто не видел. Если какой рабочий попросит на кружку — никогда не отказывал. Ребят леденцами оделял. Они увидят его — бегут.

— А еще кто с ним жил?

— Кто? Кошка жила. Дикая. Кася! Он ее где-то в горах еще котенком в камышах нашел. С пальца выкармливал. Зайдешь к нему рано — они постоянно вместе спят. Он клубком, она вытянувшись. Касей ее звал. Высунется из окна: «Кася, Кася, где ты?» Она к нему! Через весь двор! Стрелой! Знаменитая кошка!

— А сейчас она где?

— Забрал кто-то. А все равно каждое утро она в окно к нему лезет. Дверь-то запечатана, так она в окно. Мявчит, мявчит, тычется мордой, стучит в стекло лапами. Ну потом кто-то выйдет, скажет ей: «Ну чего ты, Кася? Нет его тут». Она сразу же как сквозь землю.

— А наутро опять?

— Обязательно. Опять! Я вот вчера шел по парку. Слышу: сзади ровно она мявкает. Остановился. А она стоит и смотрит на меня во все глаза. Забрали его, говорю, Кася, больше его уж тут не будет, и не жди. А она смотрит на меня, как человек, и в глазах слезы. Мне даже страшно стало. А хотел ее погладить — метнулась, и нет!

— Так что же? Она теперь бродячая? — Ей почему-то стало очень жалко дикую кошку Касю, в их доме кошек любили.

— Да нет, не похоже, гладкая! Нет! Забрал ее кто-то к себе.

— Что же, он так кошек любит?

— Так он всякую живность любил. Соколенка ему раз ребята принесли, из гнезда выпал. Так тоже выкормил. Все руки тот ему обклевал, а такой большой, красивый вырос. Яшей он его звал. «Яша, Яша!» Яша прямо с комеля ему на плечо. Сядет, голову наклонит и засматривает ему прямо в глаза. Так было хорошо на них смотреть.

— И уживался с кошкой?

— А что им не уживаться? Он вверху, на болдюре, она на кровати или на усадьбе мышкует. А вечером он придет с работы, принесет нарезанного мяса и кормит их вместе. Очень утешно было на них смотреть. Ребята со всех дворов сбегались.

— Да вот, кстати, — напомнила она и открыла дело, — вы рассказывали следователю одиннадцатого сен-

тября, читаю показаиия. Слушайте внимательио. «Вопрос: Как вы знали иаучного сотрудника Цеитрального музея Казахстаиа Георгия Николаевича Зыбииа? — Оиа взглянула на деда.— Ответ: Георгия Николаевича Зыбииа я знаю как разложившегося человека. Он постояиио устраивал у себя ночиые пьянки со случайиыми жеищииами и подозрительиыми жеищинами. Даже дети были возмущены его оргиями»,— вот даже как,— усмехиулась оиа,— «оргиями»... Дедушка, а что такое «оргия»?

Дед усмехиулся:

— Ну, когда пьют, орут...

— Понятно! Раз орут — зиачит, оргии. Но откуда же иочью дети? Или он и днем? А как же тогда директор?.. «Когда однажды сыи нашей сотрудницы попросил его прекратить эти безобразия, ои обругал его иецеизурио, задев его мать. Оиа с возмущением рассказала мне про это». А почему фамилии нет? Кто это такая?

— Да Смириова же! Зоя Николаевиа же оиа! — болезненно сморщился дед.

— А-а.— Ей сразу стало все ясио: в протоколе о Смирновой было записаио: «Отиошеиия неприязнеиые».— Так почему они все ссорились? Из-за этих вот пьяиок?

— Да иет. Она и в этом доме не живет. Из-за портретов. Ну висели у иас портреты тружеников полей. Зоя Николаевна и говорит: «Снять! Они год иазад были труженики, а сейчас они, очень легко может быть, вредители. Берите лестницу и снимайте!» А ои иет. «Вы что же,— говорит,— целому иароду ие доверяете? Нельзя так». Вот и поругались. Я тогда же все это рассказывал, только следователь записывать ие стал.

— Ну а что же с мальчишкой было?

— А с мальчишкой этим при моих глазах было. Подбегает ее мальчишка к Зыбину, скосил глаза и спрашивает, свиненок: «Дядя Жо-ора, а что это к ва-ам всякие жен-щины хо-одят, а?» — Дед очень натурально и голосом и глазами изобразил этого свинеика.— А Георгий-то Николаевич усмехнулся и говорит: «Скажи своей маме — женщины тоже люди, потому и ходят. Понял? Так точно и скажи».

— Понятно. «...Допускал в разговорах резкие выпады против советской власти, рассказывал антисоветские анекдоты, клеветал иа мероприятия партии и правительства». Было это?

Дед хмыкнул.

— Так было это, дедушка, или нет?

— Раз тут записано — значит, было.

Она строго поглядела на него.

— То есть как это «раз тут записано»? Вы это бросьте. Здесь записано только то, что вы говорили. Так что давайте уж не будем.

Дед молчал. Она поднесла ему протокол.

— Ваша это подпись? Экспертизы не надо? Не отрекаетесь?

— Так точно, не надо,— вытянулся дед.

— А от того, что записано, тоже нет? Так вот, мы вам дадим очную ставку с Зыбиным, и вы это все ему повторите. (Старик пожал плечами и отвернулся.) Ну что вы опять? Не желаете очной ставки?

Старик усмехнулся.

— Ну равно в гостях разговариваете. Ей-богу! «Желаете — не желаете». Да что я тут могу желать или не желать? Тут ничего моего нет, тут все ваше. Надо — давайте!

— А вы сами не хотите его увидеть?

— А что мне хотеть? Какая мне радость видеть арестанта? Зачем я ему нужен? Чтобы потопить его вернее? Так он и без меня не выплывет. Вон какие стены! Капитальное строительство! Мы такие только в монастырях клали!

Тут она вдруг поняла, что, идя сюда, дед, наверно, пропустил малость и сейчас ему ударяет в голову. Она быстро подписала пропуск и сказала ласково: «Идемте, я вас провожу».

Дед неуклюже поднялся было с места, но что-то замешкался, что-то завозился, и тут она увидела, что на стуле стоит туго стянутый узел — красный платок в горошек.

— Что это? — спросила она.

Дед засопел и развел бурыми руками.

— Да вот,— сказал он неловко,— яблочки. Может, разрешается. Шел сюда — ребята сунули. Это, мол, с тех мест, где он копал. Может, передадите, а?

Но как же он, старый черт, умудрился протащить этакий узлище? Хотя в этом дождевике... Так вот почему он не хотел его снимать! Вот дед!

— Эх, дедушка Середа! — сказала она.— Ну к чему это?

Голос у нее звучал неуверенно. В ней что-то ровно повернулось не в ту сторону. Она могла взять и передать этот узелок Зыбину. Вполне могла! Подобную ситуацию даже, пожалуй, следовало разработать в диссертации о следственной практике: резкий эмоци-

ональный поворот, положительная эмоция, исходящая от следователя и своей неожиданностью разбивающая привычный стереотип поведения преступника. Это все так. И все-таки... все-таки... Она словно чувствовала, что с этой передачей далеко не все ладно. Есть в ней особый смысл, привкус каких-то особых отношений, и он-то — этот смысл — собьет с толку не только арестанта, но и следователя. Она еще не понимала, как и чем опасен этот узелок — старик торопливо отдернул край платка, и тогда сверкнули крутобокие огненные яблоки, расписанные багровыми вихрями и зеленью,— но она совершенно ясно чувствовала, что эти яблоки и следствие — вещи несовместные. И тут она, кажется, впервые подумала о том, что же такое вот это следствие. В духе следствия — вот этого следствия, по таким делам, в таком кабинете, с такими следователями — была развеселая хамская беспардонность и непорядочность. Но непорядочность узаконенная, установленная практикой и теорией. Здесь можно было творить что угодно, прикарманивать при обысках деньги, материться, драться, шантажировать, морить бессонницей, карцерами, голодом, вымогать, клясться честью или партбилетом, подделывать подписи, документы, протоколы, ржать, когда упоминали о конституции («И ты еще, болван, веришь в нее!» Это действовало, как удар в подбородок),— это все было вполне в правилах этого дома; строжайше запрещалось только одно — хоть на йоту поддаться правде; старика заставили лгать (впрочем, зачем лгать? Просто ему дали подписать раз навсегда выработанные формулы. Так, милиция всегда в протоколах пишет «нецензурно выражался») — и это было правильно; то, что она, приняв по эстафете эту ложь, или, вернее, условную правду эту, собиралась укрепить и узаконить ее очной ставкой — это тоже было правильно (это же операция, а на операции дозволено все); то, что за эту узаконенную ложь, или условную правду, Зыбин получил бы срок и, конечно, оставил бы там кости — это была сама социалистическая законность,— все так. Но во всей этой стройной, строго выверенной системе не находилось места для узелка с яблоками. Она это чувствовала, хотя и не понимала ясно, в чем тут дело.

И поэтому сказала первое, что ей пришло в голову.

— Эх, дедушка! — сказала она.— Ну к чему это? Ведь вы не знаете, может, он на вас такое наговорил...

— Да знаю, знаю,— поморщился старик.— Все знаю! Зачитывали мне. Лодырь, пьяница, раскулаченный! Никакой я не раскулаченный, я век в городе жил.

(«Вот это здорово! Ай да Хрипушин! Ай да свинья! Нашел что придумать!» — подумала она с омерзением и уважением.) Я вот что вам скажу. Я, когда отсюда домой шел, все думал. Вот вы видели, как гицеля ловят собак по городу. Они их сачками по всем улицам захватывают. Набьют ими клетку доверху и везут. Как, значит, телега где зацепится, качнется — так они все друг на друга полетят и все в клубок! Только клочья летят! Даже про клетку забыли. Гицеля: «Кыш вы, окаянные!» — да по клетке веревкой, а им хоть бы что! Грызутся! А телега-то все едет и едет, все везет и везет их на живодерню! А там с них и шкуру долой железными щипцами. Вот так и мы. Так что ж нам гневлиться друг на друга? Он на меня, я на него, а телега все идет своей путей. А там всем будет одна честь. Так что пустое все это.

— Но вы ведь правду показали? — спросила она. Спорить с пьяным дедом было ни к чему.

— Что-с? Правду-с? — Дед вздохнул и усмехнулся. — Ему сейчас что правда, что кривда — все едино! Раз взяли, значит — все! Покойников с кладбища назад не таскают. Ни к чему! Они уже завонялись. А яблочки вы возьмите, передайте. В этом ничего такого нет. У нас их на Пречистый Спас на могилки кладут. Около крестов. Чтоб покойнички тоже разговелись. Возьмите, это его любимые! Он им радый будет. Пусть поест, пусть!

И она взяла.

И вторая встреча, отнюдь не менее примечательная в ее жизни, случилась в тот же день. Она уже собиралась уходить и, стоя в плаще, запирала стол, как вдруг постучали. Пожаловал Штерн. Он весь лучился.

— Знаю, — сказал он еще в дверях. — Имею полнейшую, развернутую информацию. Сегодня один старый алкоголик принес одному гражданину следователю под полой полный мешок яблок для заключенных, и гражданин следователь ничтоже сумняшеся мешок этот принял. Было так или не было?

— Было, — ответила она, — но меня поражает ваше...

— Все-то ее поражает! Да я уж выговор за вас получил: «Что же, как же вы воспитываете вашу дорогую родственницу?» А что я? Я говорю, она не со мной, она все с дядей Яшей, с дядей Яшей... С него и спрашивайте! Нет, шучу, шучу, конечно. Только посмеялись. Они к вам все там прекрасно относятся. Но на будущее помните: начальство должно знать все. Особенно то, что вы от него скрываете. Вот телефон —

звоните. А ну-ка покажите мне этот сидор! Как? Не знаете, что такое сидор? Вот так следователь. Мешок! Сумка! Ой, какая красота! Да такими яблочками, пожалуй, любой змей любую Еву купит. Специально подбирали, сволочи! Передайте! Обязательно передайте! Потом рапорт подадите! Вот прямо в этом кабинете, как будто омрачитесь в нарушение всех правил и передайте. А когда он будет развязывать сидор, вы будто немного затуманьтесь, вздохните: «Эх, Георгий Николаевич, как же так, а?» Ну, вас этому не учить, конечно, ГИТИС!

— Конечно, не учить,— подняла она перчатку и подумала: «Ведь вот как все просто, а я, дуреха...» — «При хорошо продуманных следователем неожиданных эмоциональных поворотах,— строго сказала она,— ломается стереотип поведения преступника, и он не сразу в состоянии обрести прежнюю линию». Это из моей будущей диссертации — годится?

— Умница! — засмеялся Штерн. — «Стереотип поведения»! Умница! Прекрасно сформулировано.

— И поэтому,— продолжала она,— беря этот узел, я решила: так, сначала я ему яблоки, а потом очную ставку с их автором.

— Еще раз умница. Правильно решила. Только вот еще что: когда вы начнете его спрашивать о золоте, он может, особенно после этой очной ставки, просто замолчать. Вот не давайте ему этого. Всячески вовлекайте в разговор. В любой. Пусть в самый к делу не относящийся — только бы не молчал. Кто говорит, тот обязательно проговорится. Вот, скажем, эти яблочки. «Ах, какие прекрасные яблочки! Откуда они в Алма-Ате? Ведь таких нигде нет. А достать их легко? А где? В горах? Ах, это там, где вы копали?» Ну и так далее. А что он еще любит?

Ей вдруг почему-то все это стало очень неприятно, и она отрезала:

— Кошек любит, зверье любит, чужих детей любит.

— Вот, вот, вот! Обязательно заинтересуйтесь зверями. Кстати, вспомните ему рассказ О.Генри: «Вы, любящий зверей и истязующий женщин, я арестовываю вас за убийство жены». У Якова есть О.Генри, прочтите. И это будет переход к разговору о жалобах на него со стороны женщин. Кстати, там вместе с украшениями они нашли женский череп. Вот второй переход к золоту. Продумайте и выработайте его. Ну? Рабочий день у вас кончился. Насчет яблочек уж завтра позвоните. Значит, пошли со мной. Покажу я вам одного замечательного старикана. Настоящего экселен-

ца — аристократа духом. Друга молодости товарища Сталина.

— А как ои здесь очутился?

— А так же, как все! По тяжким грехам своим, конечно. Десять лет пробыл за колючей проволокой и вот освобождеи по личному приказу Вождя. А на меня лично возложеи приятный долг принять, освободить и доставить в Москву, а там уж его сын встретит. Вот ведь жизнь, час назад он сидел и думал, зачем выдернули: убьют или помилуют. Здорово?

— Здорово,— вырвалось у иее. Несмотря иа то что она почти четыре года приучала себя к мысли о работе в этом месте и обо всем, с иим связаниом, что она отбывала практику, присутствовала на допросах и сама вела их, даже сумасшедшую бабку сумела расколоть прямо с ходу, несмотря на это, то, что она увидела за эти два дня, поразило ее своей фантастичностью, неправдоподобиостью, привкусом какого-то кошмара.

— Очень даже здорово! — подтвердил Штерн.— И знаете еще почему? Ведь старик, по всему видать, далеко не мед. Я смотрел его дело. Так вот, следователь, бедняга, ие выдержал и влепил ему за гнусный нрав и коварство, кроме ПШ — подозрение в шпионаже, литеры, так сказать, обыденной,— еще и ТД, троцкистская деятельиость. Чувствуете? С такой литерой, чтоб уцелеть, надо под особой звездой родиться. Но вот видите, родился, освобождают.

— Ну а я вам зачем нужна?

— А вот зачем, моя хорошая. Сейчас его нам приведут побритого, помытого, постриженного, в новом костюме с галстуком, и повезем мы его в крейковский ресторан.— Он засмеялся.— Действительно, черт знает, где это еще может быть? Только у иас! Недаром говорят «страна чудес». Да, а сидел-то он с вашим возлюблениым Зыбиным. И, судя по рапортам дежурных, говорили они там не переставая день и ночь, целые сутки. Затроиули, конечно, и золото.

— Ну и что? — спросила она.

Он пожал плечами.

— Да вот, к сожалению, ничего. Оперативная-то часть не сработала. Говорит, не имела инструкций. Я ведь тоже ничего ие знал. А тюрьма и понятия ие имела, зачем его привезли. Вот и произошла, как вы говорите, иакладочка. Так вот теперь вам предоставляется полная возможность на неофициальной почве, в личной беседе о том о сем, после бокала хорошего вина, в креслах... Мы ие будем скрывать, что вы следователь, но вы такой... Вы — хороший следователь.

У них у всех есть легенда о хорошем следователе, волшебная сказка, что сидит где-то один честный, порядочный, человечный следователь. А старик, видать, все эти годы не видал женского лица, и ему будет приятно... Так вы не возражаете?

Она пожала плечами.

— Делайте, конечно, как считаете необходимым. Я такая же гостья, как и он. Если это нужно...

— Это нужно, дорогая! Нужно! Так вставайте, пойдем, это этажом выше. В кабинете замнаркома. Кстати, он только что вернулся и вас не видел. Пошли.

Вот что произошло за неделю до этого. В столице нашей Родины Москве, верстах где-то в двадцати пяти от нее, в тот вечер было еще светло, тепло и даже, пожалуй, солнечно, хотя небо с утра усеивали легкие белые тучки.

Товарищ Сталин работал в саду. Перед ним на столике лежали бумаги, и сколотые и просто так,— он уже успел пробежать их все и сейчас просто сидел, откинувшись на спинку ивового кресла, смотрел на тучки, на верхи деревьев и отдыхал. «Вот солнышко выглянуло,— думал он,— хорошо! Вот ветерок прошумел в березнячке, тоже очень хорошо! А ночью, может, еще и дождик пойдет, это хорошо для грибов, их в этом году что-то совсем нет, а какое же лето без грибов?»

Он уже разговаривал с садовником — нельзя ли что-нибудь такое придумать, чтобы тут росли белые и подберезовики? «Нет,— твердо ответил садовник,— ничего уж тут не придумаешь, вот шампиньоны, те пожалуйста, те вырастим, где прикажете, а боровики, подберезовики, подосиновики и даже маслята — это грибы вольные, чистые, лесные, они где вздумается, там и растут».

«Да что ж они себе такие вольные? — спросил он, развеселившись, уж больно уважительно говорил садовник о маслятах.— Где вздумают, так там, значит, и растут? Это же ведь непорядок, а?» И засмеялся. И садовник тоже слегка посмеялся, но так — очень-очень в меру; смеялся, а в глаза не смотрел, смотрел не выше подбородка. Хозяин терпеть не мог, когда ему глядели прямо в глаза. Но и взгляд мимо тоже подмечал и делал вывод: «Нехороший человек, неискренний, говорит, а в глаза не смотрит. Значит, совесть не чиста».

А сейчас он снова вспомнил этот разговор и опять засмеялся.

— Вольный гриб боровик! — сказал он с удовольствием. — Где ему вздумается, там он и вырастет! Ах ты...

И в это время солнышко — рассеянный и жаркий луч его — упало прямо на белое ивовое кресло, залило, ослепило, затормошило, и товарищ Сталин минуты три посидел так, закрыв глаза и ласково щурясь. Но потом на солнце набежала тучка, все погасло, и он разом резко выпрямился и взял со стола тонкую книгу большого формата и открыл ее на закладке. Это был типографски отпечатанный и сброшюрованный в большой лист «Циркуляр Министерства внутренних дел департамента полиции по особому отделу от 1 мая 1904 года за номером 5500».

Он усмехнулся. 1 мая 1904 года — этот день ему запомнился особо. Провел он его в Тифлисе, за городом, на маевке, среди деревьев и камней. Было тогда солнечно, весело, вольно. Много произносилось речей, поднимались тосты, пили сперва за революцию, за рабочий класс, за партию, за гибель врагов, потом за всех присутствующих, потом за всех отсутствующих, затем за всех, кто томится в ссылках и тюрьмах (в каторге из членов РСДРП, партии большинства, не было никого — департамент полиции в то время большого значенья ей не придавал). За тех, кто из них вырвался и находится среди нас, за то, что, если погибнуть придется...

В общем, было очень хорошо, тепло и спокойно, и уж совсем не вспоминались ни Сибирь, ни та темная и холодная половина сырой избы, которую он снимал у одинокой старообрядки, чернолицей старухи, строгой и молчаливой, ни побег, ни все, с ним связанное. И хотя обо всем этом на маевке и говорилось, но так, очень, очень общо, без всяких подробностей. Просто: и среди нас есть такие мужественные и несгибаемые борцы за свободу рабочего класса, которые... и т. д. до конца.

И далеко не все из присутствующих, а может, только два или три человека, знали, что это говорится о нем, и тосты поднимаются тоже за него. Это были, пожалуй, первые тосты за него и первые речи о нем. Поэтому он и запомнил их.

Да, да, думал он тогда, если придется погибнуть в ссылках и тюрьмах сырых, то дешево он свою жизнь не отдаст. Он был весь переполнен этим высоким чувством паренья и освобожденья от всего личного и мелкого.

Так рождаются герои, так совершаются подвиги. Так бросают бомбы в скачущие кареты и идут на смерть.

Но погибнуть ему не пришлось. Руки у департамента полиции тогда оказались коротковатыми. А циркуляр этот расползался по стране, переходил из рук в руки, от него отпочковывались новые циркулярные и розыскные листы, и, может быть, что-то подобное находилось даже в кармане у кого-то из присутствующих. Но он не боялся. Он не мог, конечно, знать об этом циркуляре, но что его разыскивают и, может, даже нащупали место, где он сейчас находится, это он знал твердо. И был поэтому как взведенный курок — пил, но не пьянел, шутил, но не расслаблялся, был беззаботен, но зорок и каждую секунду был готов ко всему — таким он остался и сейчас, через тридцать лет.

Это чувство постоянной настороженности дает ему полную свободу выбора, право молниеносно и единолично принимать любые решения и видеть врагов всюду, где бы они ни притаились и какие бы личины ни надевали. И это уже даже не чувство, а что-то более глубокое и подсознательное и перешедшее в кровь и кожу.

«Господам губернаторам, градоначальникам, оберполицмейстерам, начальникам жандармских, губернских и железнодорожных полицейских управлений, начальникам охранных отделений и во все пограничные пункты...»

Да, солидно было поставлено дело. Это обложили так обложили, нечего сказать, работали люди. Сколько же они разослали таких тетрадок? Штук тысячу, не меньше. Во все пограничные пункты! Во все железнодорожные управления! Во все охранки! Нет, конечно, наверно, много больше тысячи!

«Департамент полиции имеет честь препроводить при сем для зависящих распоряжений...»

Он всегда любил этот язык — точный, безличный, литургический, застегнутый на все пуговицы. Он отлично чувствовал его торжественную плавную медь, державно плывущую над градами и весями, его жесткий абрис, сходный с выкройкой военного мундира. Одним словом, он любил его высокую государственность... На таком языке не разговаривали, а вступали в отношения. И не люди, а мундиры и посты их. На таком языке невозможно было мельтешить, крутить, отвечать неясно и двусмысленно. Как жаль, что сейчас в делопроизводство не введено ничего подобного. А надо бы, надо бы! Подчиненный должен просто глохнуть, получив от начальства что-то подобное.

Нет, стиль — это великое дело. Раньше люди это

отлично понимали. Вот он тоже старый человек и поэтому понимает.

Итак: «Список лиц, подлежащих к розыску по делам политическим, список лиц, розыск которых надлежит прекратить, и список лиц, разыскиваемых предыдущими циркулярами, в отношении коих по обнаружению оных представляется нужным принять меры, указанные ниже».

Хорошо. Но вот под этой тетрадкой лежит другой список: «Посылаю на утверждение четыре списка подлежащих суду военного трибунала. Список номер один. Общий. Список номер два. (Бывшие военные работники.) Список номер три. (Бывшие работники НКВД.) Список номер четыре. (Жены врагов народа.) Прошу санкции осудить всех по первой категории. *Ежов*».

Таких списков он получил уже несколько сотен. В каждом тысячи человек. Первая категория — пуля в затылок. Мужчинам и женщинам, старым и молодым, ужасное дело! А вот берешь в руки — и не страшно, и ни капельки не страшно. И не потому, что привык, а потому что — «посылаю на утверждение», «прошу санкции», и не смерть, а «первая категория». Слова, слова, канцелярщина!

Но тут, положим, чем меньше слов, тем лучше. Это прочтут два-три человека, остальные — машинистка, начальник тюрьмы, исполнители — не в счет. На них тоже, когда придет их время, будет особый список.

Но вот ведь и приговоры пишутся так же, а ведь это документы, которые прочитают сотни миллионов, агитаторы их заучат наизусть и будут на собраниях читать как молитву. «Являясь непримиримыми врагами советской власти, такие-то имярек, по заданию разведок враждебных государств...» Ведь вот как сейчас пишется. «Являясь»! Передовица, фельетон Заславского! Кольцов уже так не напишет! Нет, не просто «непримиримыми врагами советской власти», а «ныне разоблаченными врагами народа» их надо называть. Злодеями-убийцами! Предателями Родины! Иудами! Чтобы эти слова вбивались в голову гвоздями, чтобы невольно вылетало из глотки не просто, скажем, Троцкий, а непременно — «враг народа, иудушка Троцкий!». Не оппозиция, а «банда политических убийц»! Эти слова понятны всем.

Итак:

«Список № 1 лиц, подлежащих розыску по делам политическим. Страница 20, № 52. Джугашвили Иосиф Виссарионов (вот он, казенный язык,— не Виссарионо-

вич, а именно Виссарионов, значит по-старому, согласно крепостному праву), крестьянин села Диди-Лило, родился в 1881 году». Неточно, неточно, на два года раньше, милейшие, а может, и больше. А записывали так, чтобы позже забрали в солдаты. Впрочем, это было вам хорошо известно. Но форма есть форма.

«Обучался в Горийском духовном училище и в Тифлисской духовной семинарии». Точно. Забыли прибавить, что исключен в мае 1899 года за революционную деятельность. «Холост». Точно. Не то время было, чтобы жениться! «Отец Виссарион Иванович, по профессии сапожник, местонахождение неизвестно». Точно. Неизвестно вам его местонахождение! И мне до сих пор неизвестно тоже. Знает только мать, но попробуй-ка дознайся у нее! Вот и она: «Мать Екатерина, проживает в городе Гори Тифлисской губернии». Точно. Все точно.

Он встал и пошел по саду. Сильно пахло осенними увядающими травами и палой листвой. Запах был терпкий и какой-то постоянный. Он во все входил и был частью всего — и этим садом, и вечерним небом, и травой, и даже им самим — Иосифом Виссарионовым Джугашвили, как было написано в этой розыскной карте. Потому что на короткое время он действительно как бы стал тем Джугашвили, которого разыскивали по этому циркуляру еще 1 мая 1904 года...

Иосиф Джугашвили поднял с земли желтый лист и растер его между пальцами. Вот когда это случилось с отцом, тоже была осень. Он уже засыпал и очнулся от негромкого тревожного возгласа матери, и сразу же там, за закрытой дверью, зашумели, зашептало много людей, сначала громко, возбужденно, но все-таки приглушенно, а потом все тише и тише. Он поднялся и хотел выйти, но тут быстро вошла мать с керосиновой лампой в руках. Глаза у нее были красные и сухие. Она слегка уперлась ладонью в его лоб и приказала: «Спи». Люди же за дверью говорили все тише и тише, и вдруг что-то там случилось еще, кто-то вошел или вышел, и за ним вышли все, и мать вышла тоже. А утром, когда он проснулся, отца не оказалось. Все его нехитрое сапожническое хозяйство осталось на месте: табуретка, ящик вместо стола, колодки, иглы, кусок вара, клубок дратвы,— а его не было. И осеннее его пальто осталось, и хороший костюм, и почти ненадеванные сапоги, все осталось, а его не было. Наутро мать сказала: «Нас теперь двое. Отец уехал».— «Куда?» — спросил он. «В Баку,— ответила она,— а потом, может, и дальше».— «А когда он вернется?» — спросил он. «Когда можно

будет, тогда и верието ся,— отрезала мать.— А пока мы с тобой вдвоем... Только ты об этом иикому не говори».— «Почему?» — спросил ои. Оиа хотела что-то ответить, ио вдруг слегка ударила его по затылку. Даже не ударила, а быстро провела рукой сверху вниз по волосам. «Я же сказала, что не иадо об этом». Ои молчал и смотрел на нее. «Ну, вчера была большая драка,— объяснила она неохотно,— кто-то пырнул одного человека иожом. Кто — иеизвестио. А отец с убитым был в ссоре и грозился его зарезать. Ну вот, того и зарезали, а отцу приходится бежать. А то его тоже зарежут. А наш дом опечатает полиция, и нас выбросят иа улицу... Понял, да?» Он понял. Когда с ним так говорили дома, он понимал. Понимал он последиее время и другое — с отцом иепремеино должно что-то случиться. Последиее время в их доме нависло и все сгущалось что-то чериое, тяжелое, иедоговоренное, а при нем даже не произносимое. До этого оии жили, как все люди, а сейчас в их доме то кричали, то говорили шепотом, то молчали. До этого отец часто приходил иавеселе, и мать тыкала ему в лицо бутылкой: «На, съешь ее! Оиа тебе дороже всего!» А тут он одиажды пришел совершенно трезвый, и, как только мать отворила ему дверь, он ударил ее по лицу. Потом выхватил кривой сапожный нож и, замахнувшись, пошел на иее. «Вот,— сказал он,— помни, у иас в роду еще никогда...» Но мать закричала, бросилась в дверь, и он ушел. Пришел только под утро пьяиый, и мать его уже не ругала. За этим наступила пора молчаиия. Никто ни с кем не говорил. Мать утром кормила отца, отвечала на кое-какие вопросы, смотрела на него спокойно и страшиовато. А затем все пошло как обычио. Но он уже знал — с отцом обязательио скоро что-то должио случиться. С этнх пор на их дом опустилась тайиа, то есть тишииа. Ои чувствовал эту тайну почти физически. Она мешала ему вольио дышать, болтать, интересоваться постороиним, сидеть иа одной парте с товарищами, бегать на переменах. Сиачала все это страшио тяготило его: ничего о себе, иичего о родителях, иикого к себе и никуда из дома. Да и товарищи поглядывали иа него страниовато, и ему казалось, что перешептывались. Был один верзила, который усмехался, когда он проходил, и одиажды оии с иим даже подрались, ио тут зашел законоучитель, молодой высокий преподаватель гомилетики Давид Эгнатошвили, и хотя ударил первым он, иичего ие спрашивая, подошел прямо к верзиле, взял его за плечо, сильио тряхиул туда и сюда и увел за собой. А

потом возвратился и тихо сказал: «Джугашвили». В комнате, куда он его привел, сидели двое учителей, и один из них, старший, ласково сказал ему: «Ну разве можно верить каждому дураку? Мало ли что он тебе ляпнет! Ты хороший ученик, иди учись, если снова к тебе полезут, только скажи мне. Понял?» — «Не полезут»,— ответил за него Давид и как-то очень значительно улыбнулся. И действительно, с тех пор к нему не лезли. А время шло, и тайна стала легкой и почти невесомой. В семинарии он так сжился с ней, так сумел ее приручить, что вскоре создал свой особый, принадлежащий только ему мир. Он был почти такой же, как у всех, но только там, в его мире, все подчинялось только ему одному, и он был в нем самым главным, самым удачливым, красивым, ловким и умным. Русское слово «мудрый» он уже знал, но оттенков его не чувствовал, и мудрец для него всегда был стариком. А красивым он не был никогда. И когда из этого мира переходил в тот — к матери, к училищу, к товарищам,— то и понимал это очень здраво и спокойно: нет, никак не красавчик, не джигит, но и незачем быть ему джигитом. Так тайна не только стала ограждать его от мира и неприятностей, но и поднимать над ними. Он был единственным и понимал это. «Мать Екатерина проживает в городе Гори». Да, она и после ни за что не хотела переезжать. А тогда, тридцать три года назад, она была еще молодой и красивой. В последний раз они виделись за месяц до его ареста. Потом, после ограбления банка, к ней приезжали, допрашивали, думали, что он, может быть, прячется у родственников, у соседей, спрашивали ее об этом, и она отвечала как надо, то есть ничего. Так от нее и отстали ни с чем. Это он узнал от людей. Молодец мать! Кремень! Сталь! И как хорошо, что он выдался весь в нее, а не в отца. Погиб бы тогда, как отец, вот и все.

«На основании высочайшего повеления, последовавшего 9 мая 1903 года, за государственное преступление выслан в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции и водворен в Балаганском уезде Иркутской губернии, откуда скрылся 5 января 1904 года». Все верно, все точнее точного. Только бежал он в самый день Нового года, когда все начальство лежало в лежку: собрал в сумку краюху хлеба, соль, нож, шматок сала в чистой тряпке, дошел до последнего погоста, а там его уже ждали сани. Вот и все.

«Приметы: роста два аршина четыре с половиной вершка, производит впечатление обыкновенного человека. (Здорово! Вот уже когда в полиции поняли, что он

особый человек и только «производит впечатление обыкновениого».) Волосы на голове темно-каштаиовые, иа усах и бороде каштаиовые». Да, темиеет ои с годами. Темнеет. Мать-то была совсем рыжая. «Вид волос прямой (грамотеи — сразу видио, что тут уже работал каицелярист), без пробора, глаза темио-карие, склад головы обыкновениый, лоб прямой, иевысокий, иос прямой, длиниый, лицо длиииое, смуглое, покрытое рябииками от оспы». Тут он улыбнулся, вспомиил — на квартире Горького, когда была знамеиитая встреча Вождя с литераторами, один старый дурак расчувствовался и иачал ему жаловаться: «Уж больио прижимает нас Главлит и редактора, товарищ Сталин. Вот у вас, Иосиф Виссариоиович, на лице рябинки, а ие иапишешь ведь об этом»,— проблеял этот старый идиот.

«На правой стороие иижней челюсти отсутствует коренной зуб. Рот умереииый, подбородок острый, голос тихий, уши средней величины, на левой ноге второй и третий пальцы сросшиеся».

Так, все верио. Действительно сросшиеся. «Примета аитихриста», как сказал ему кто-то еще в семинарии. И тогда это ему понравилось. Но сейчас об этом иельзя говорить, сейчас это клевета, ложь, он во всем совершеиеи — и никаких там рябииок, выбитых зубов, сросшихся пальцев.

А вообще-то, коиечио, приятный документ. Он сегодия прииесет его дочери. Пусть знает, что было время, когда отец ее был самым обыкновенным грузиом. С рябииками и без кореииого зуба и что ои был каштановый, почти светлый.

Тут ои увидел, что к нему подходит рефереит по делам государственной безопасности вместе с провожатым, поднялся, собрал бумаги и пошел им навстречу. И рефереит тоже увидел хозяиина. Веселого, добродушного, улыбающегося. Он посмотрел иа провожатого, и тот сразу растаял в воздухе.

Оии прошли в дом, и тут хозяин быстро прошел вперед и сел за стол в малеиькой комиате, примыкающей к террасе.

В такие комиаты, уютиые, иебольшие, с выходом иа улицу, с большим мягким диваном и нешироким столом (широкий стол стоял только в его настоящем законном кабииете), Вождь любил переселяться время от времеии.

— Ну что же ои там натворил? — спросил он, усаживаясь.— Кстати, о том ли самом мы говорим? Ведь это целая семья.

— Я захватил фото тех лет,— ответил референт и раскрыл папку.

— Сын дал? — спросил хозяин, беря и рассматривая снимок.

— Сын.

Фотографию, конечно, не сын дал, ее забрали вместе с другими материалами и должны были сжечь за ненадобностью, но каким-то чудом она сохранилась. Хозяин смотрел и улыбался. Он любил держать в руках такие осколки мира, разбнтого им вдребезги. А фото, конечно, было именно таким осколком. На широком паспарту цвета голубоватого пепла с серебряным обрезом стояли и смотрели в упор на Вождя народов двое — красивый молодой грузин с острыми усами и белая, ажурная, сказочная красавица. А сзади них громоздилась несложная вселенная поставщика его императорского величества, его фамилия н звание золотой загогулиной вились внизу паспарту, все эти зеркала, пальмы в кадочках, пни из папье-маше и, наконец, нарисованный на холсте дремучнй лес н луна среди косматых вершнн. Молодые стоялн совершенно прямо. Рука невесты с букетом ландышей была опущена долу. Юноша смотрел на Вождя с выражением, в котором перемешались дикость и беспомощность. Жесткие полы его фрака резали глаза. Все это производило неясное, тревожащее и, во всяком случае, совсем не свадебное впечатление.

— Поставщнк двора, а дурак,— сказал крепко хозяин,— ну зачем эти зеркала и пальмы? Это что тебе, ресторан? Караван-сарай? Бардак? Народный дом графини Паниной? — Он положил фотографию.— Русская?

— Княжна Голицына,— ответил референт.

— Ну вот и все! — качнул он головой.— Вот и вся наша кавказская демократия! Недаром он вскоре и вышел из партни. Сын этот от нее? Да,— повторил он, обдумывая,— да, да! Красивый был человек, красивый.

Он знал, что кроме этого полукабинетного портрета в папке у референта обязательно должен лежать и другой сннмок, наклеенный на тюремную учетную карточку, и на нем снят тот же самый человек, постаревшнй на тридцать лет, но эту фотографию лучше не смотреть.

Он отложил портрет в сторону.

— Докладывайте,— сказал он референту.

— Лагерных нарушений не числится,— сказал референт,— в бараках усиленного режима не содержался, три года назад был сактирован по поводу сердца.

Последний раз лежал в больнице трн месяца назад, работает в инвалидном бараке старшим дневальным.

— А выдержит? — осведомился хозяин.

— Да он не так чтобы уж очень стар,— ответил референт.

Хозяин посндел, выстукал трубку н сказал:

— Вот недавно мы тут обсуждали лесную н угольную промышленность. А затем я вызвал обоих наркомов и спросил: «Почему вы так плохо работаете, товарищи?» А онн мне отвечают: «Потому что нет рабочих. Навязалн нам договор с Гулагом, прнслали заключенных, и пошел у нас полный развал; приписки, подтасовки, прямое вредительство — н виновных не найдешь». Вот отчего это так, почему Гулаг поставляет такой негодный матернал? Как думаешь?

К этому разговору референт тоже уже был подготовлен.

— Ну, причин тут несколько,— ответил он солидно.— Во-первых...

— А-а, во-первых! — обрадовался хозяин.— Значит, сначала у тебя будет во-первых, потом у тебя будет во-вторых, потом пойдет в-третьих, а напоследок еще, может быть, и в-четвертых. А я скажу просто — заключенные н работают как заключенные, так?

— Так,— ответил порученец (все шло пока как надо).

— Значит, это надо учитывать,— негромко прнкрикнул Сталин н взмахнул трубкой.— Кормить! Кормить, одевать, обувать, лечить, поощрять. В особых случаях даже освобождать, н так, чтобы все знали об этом. Объявлення вешать по лагерям, с фамилиями. Вот хорошо работал и освободился до срока.— Он подумал и посмотрел в упор на референта.— В царское время казенная норма хлеба была трн фунта — сейчас сколько даете?

— Сейчас больше даем,— сказал референт,— на подземных работах выписываем мясо, молоко н даже рис.

— Рис? — удивился хозяин.— Ну, ну! Нет,— сказал он печально,— нам рнс не давали, тогда это был заграничный продукт, колониальный, как тогда говорили, но сыты мы были. Говорите, стар, болен? Значит, не доживет.

Референту объяснили, что хозяин, очевндно, пожелает освободить старнка — своего близкого знакомого, живого свндетеля его боевой славы, но прн всем том нужно быть очень осторожным: нельзя проникать в мысли Вождя. Нельзя подсказывать, забегать вперед,

великодушничать, надо, чтобы все получалось само собой.

— Ну а что у него за дело? — спросил хозяин.

Референт достал из папки бумагу и протянул хозяину, но тот только взглянул и отдал обратно.

— Агитация! Так как же все-таки будем решать? — спросил он.

Теперь референт понял так: хозяин хочет освободить старика, но решение об этом взваливает на него, то есть на советский народ — что скажет народ? Это была его постоянная позиция. Ведь Вождь никого не карает, его дело — борьба за счастье людей, на все остальное партией и правительством поставлены другие люди: пусть они сами все и решают, с них за это и ответ. «Партия,— говорил он работникам УГБ,— поручила вам острейший участок работы и сделала все, чтобы вы с ней справились. Если еще чего-то вам не хватает, просите — дадим. Но работайте! Не щадите ни мозгов, ни сил!» Все это повторялось сотни раз, и только очень-очень немногие из ЦК и из самых-самых верхов наркомата знали о том, как конкретны, четки и определенны всегда были указания Вождя: взять, изолировать, уничтожить, или, как он писал в резолюциях, «поступить по закону». Посылались и просто списки смертников за тремя подписями членов Политбюро, это называлось «осудить по первой категории». И конечно же, ни один вопль, ни одно письмо из внутренних тюрем или смертных камер не доходили до Вождя. То, что вчера Берия передал Вождю одно такое письмо, был случай совершенно необычайный. Это референт понимал.

— Вину свою он признал полностью,— сказал референт.

— Да я не об этом,— поморщился хозяин,— вина, вина! Меньшевик он, вот и вся его вина. Но как ГПУ (он так всегда называл органы) считает, можно его освободить или нет? Вот можем мы, например, возбудить ходатайство перед президиумом ВЦИКа о помиловании? Как вы считаете?

— Безусловно! — воскликнул референт.

Вождь молчал.

— Прикажете подготовить такое ходатайство, товарищ Сталин?

Вождь молчал.

— Да,— произнес он наконец.— Вот — подготовить ходатайство. Но как же мы, вот, например, я, будем обращаться во ВЦИК? На каком же законном основании? Я ведь не самодержец, не государь император

всероссийский, это тот мог казнить, миловать, мог все, что хотел,— я не могу. Надо мной закон! Что из того, что этот Каландарашвили был хорош? Советской власти он — плох! Вот главное!

Референт молчал. Он понимал, что все испортил, и даже не успел испугаться, у него только защемило в носу.

— Наши товарищи,— продолжал Вождь методически и поучительно, глядя на референта,— признали его социально опасным, я не имею причин им не верить. А решение о временной изоляции социально опасных элементов было принято Политбюро и утверждено ВЦИКом. Так на каком же основании мы будем его отменять?

«Пропал старик, и я, дурак, пропал вместе с ним,— решил референт.— И сын его пропал, и начальник лагеря пропал, и оперуполномоченный пропал — все-все пропали!»

Вождь встал, прошелся по комнате, подошел к стене и что-то на ней поправил, потом вернулся к столу.

— На каком основании? — спросил он.— Я совершенно не вижу никаких оснований! — И слегка развел ладонями.

Порученец молчал. Вождь хмыкнул и покачал головой.

— Но вот он болен, умрет он в тюрьме, а сыновья будут обижаться,— сказал Вождь, словно продолжая ту же мысль.— Зачем, скажут сыновья, советская власть держала в лагере больного человека, разве больной человек враг? Он калека, и все. Так что же будем делать, а? — Он смотрел в упор на референта. «Ну думай же, думай! — говорил этот взгляд.— Крути же шариками, ну? Ну?»

Шарики в голове референта вращались с бешеной, сверхсветовой скоростью. Все вокруг него гудело и свистело. А Вождь смотрел и ждал, но ничего не приходило в голову. И вдруг Вождь лукаво улыбнулся, чуть подмигнул, слегка погладил себя по левой стороне френча. И тут ослепительный свет сразу вспыхнул перед референтом.

— Можно обойтись и без ВЦИКа,— сказал он.

— Это как же так? — поднял брови Вождь.— Просто отпустить, и все? Так?

Но референт уже крепко держал в руках за хвост свою жар-птицу и не собирался ее упускать. Он провел языком по пересохшим губам.

— Очень просто,— сказал он методично, даже не торопясь.— Согласно УПК больного, которого невоз-

можно излечить в условиях заключения, освобождают от отбывания наказания согласно четыреста пятьдесят восьмой статье. Вот! — Он полез в папку.

— Не надо,— милостиво поднял руку хозяин.— Верю вам. Да, да, я теперь вспомнил, есть у нас такая статья. И очень хорошо, что она у нас есть.— Он поднялся, подошел к референту и как-то по-доброму косиулся его плеча.— Видите, как она может пригодиться. Так вот, надо освободить больного старика Георгия Матвеевича Каландарашвили, как того требует от нас гуманный советский закон. Вот это так. Пойдем побродим по саду. Солнышко-то, солнышко какое!

Кабинет был огромный, светлый, с розовыми, цвета зари, шелковыми занавесками, с пальмами в кадках и кожаной мебелью. Когда она вошла, уже собралось несколько человек. За письменным столом сидел сам замнаркома. Смуглолицый круглый человек неопределенных лет в роговых очках. Чем-то, может быть, сверканьем крепких зубов и улыбкой, он напоминал японца. Поодаль, за двумя другими боковыми столиками, находились: женщина в военной форме, рядом с ней лежала красная папка, и высокий ясноглазый молодой человек с красивым породистым удлиненным лицом и светлыми волосами назад. Он походил на поэта или философа. Его портфель, туго набитый, оттопыривающийся, лежал на отдельном столике.

Замнаркома, улыбаясь, с кем-то разговаривал по телефону. Увидя их, он быстро что-то сказал в трубку и бросил ее на рычаг.

— Почему же так долго? — спросил Штерн недовольно.— Уже два часа прошло, я звонить должен.

— Обработку-то кончили, да вот звонят, что костюм не подберут, я сказал, чтоб Шнейдер занялся.

— Да, костюм обязательно должен сидеть хорошо,— серьезно заметил Штерн,— его могут захотеть увидеть лично.

— Имею это в виду,— кивнул замнаркома,— ну ничего, Шнейдер все сделает. Он у нас волшебник. Так! А это, если не ошибаюсь, и есть наша новая сотрудница... племянница нашего уважаемого...

— И моя тоже,— без улыбки, так же серьезно заметил Штерн,— моя точно такая же, как и его.

— Ну, очень рад.— Зам вышел из-за стола и почтительно отрекомендовался и пожал ей руку.— Очень рад,— повторил он,— скажу по совести, у нас работать

можно. Люди мы простые, коллектив у нас крепкий, дружный, много молодежи, спортсменов, альпинистов, есть школа западных танцев. А вы, кажется,— он поглядел на Штерна,— на артистку учились?

— Кончила,— ответил за нее Штерн.

— Слушайте, так вы для иас, так сказать, клад! Находка!— даже как будто слегка удивился замнаркома.— Моя жена третий год в драмколлективе занимается. Вы знаете? Мы получили вторую премию на республикаиском смотре.

— Только вторую! Значит, в Москву опять не поедете,— засмеялся Штерн.

В дверь робко постучали.

— Попробуйте,— сказал замнаркома.

Вошла с чериым ящичком в руках молоденькая красивая женщина, почти девушка, в белом халате, похожая на левитановскую осеннюю березку. Молодой человек встал и быстро подошел к ией.

— Спасибо,— сказал он, беря ящик,— я скоро приду, Шура. Ты коичила? Иди прямо домой.

Березка украдкой кивнула на его портфель. Он кивнул ей ответно. Она улыбнулась и вышла.

— Так что это такое?— спросил Штерн, кивая иа ящик.

— Прибор, купленный за валюту,— ответил молодой человек.— Определяет кровяное давление.

— Зачем?

— Чтоб я заранее знал, будет у вас инфаркт или нет.

— Будет! У меня уж обязательно будет,— вздохнул серьезно Штерн.— Еще год-два такой работы...

— А у меня есть к вам один разговор, Роман Львович,— сказал тихо молодой человек.— Дело в том, что моя жеиа врач-гематолог... И вот у иее есть предложение...— Он подошел к портфелю.

— Нет, брать я ничего не буду,— строго обрезал его Штерн,— мие сейчас просто даже запрещено что-нибудь брать. Я завтра уезжаю в Москву.

Но молодой человек словно и ие слышал. Ои подошел к столику, открыл портфель, достал из него толстую переплетенную рукопись и вынул из нее лежащий сверху красиво отпечатаниый отдельный лист с десятью или пятнадцатью строками.

— Вы только взгляните,— сказал ои с мягкой настойчивостью.

Штерн недовольно взял лист в руки, прочел что-то, затем поглядел на молодого человека, усмехнулся и подал лист Тамаре.

— Откройте мой портфель, суньте туда,— сказал он и снова, но как-то уж по-иному, поглядел на молодого человека.

— Хорошо. Я возьму. А вы, видать...

В дверь постучали снова.

Ввели старика.

Был он высок и очень худ, но наркоматовский портной Шнейдер и в самом деле оказался магом и волшебником: костюм сидел отменно, и галстук был подобран к нему тоже отменный — пестрый, цветастый, такие тогда любили. Да и воротничок, лиловатый от свежести, и манжеты с малахитовыми запонками — все было одно к одному. Замнаркома подошел и протянул старику руку — Штерн держался в стороне.

— Садитесь, пожалуйста, Георгий Матвеевич,— сказал замнаркома серьезно и радушно,— рад вас приветствовать. Мы всегда радуемся, когда человека освобождают, а тут...

— Благодарю,— ответил старик, опускаясь в кресло, и слегка наклонил голову.

Она — Тамара Георгиевна Долидзе, следователь первого секретно-политического отдела (идеологическая диверсия),— смотрела на старика во все глаза. Ведь это, наверное, были первые его шаги без конвоя за много лет. И вот он вошел, сел и сидит, положив руки на поручни кресла. Он очень костляв. У него широкая кость. На висках темные впадины и лицо тоже темное. Через некоторое время она заметила, что к тому же он сутул, а когда он снова поднялся, поняла, что он походит на черного худого одногорбого верблюда — такого она раз видела из окна вагона, проезжая по Голодной степи.

— Вы как себя чувствуете? — спросил замнаркома.— Ну и прекрасно! Костюм на вас сидит как влитой. Тут, Георгий Матвеевич, надо будет провести кое-какие формальности. Ну, паспорт вам, во-первых, выдать. Вы же в Москву едете. Вот сидят хозяева этого дела — наш доктор и наша заведующая учетно-статистическим отделом, товарищ Якушева, я же тут, откровенно говоря, лицо совершенно постороннее, даже случайное. Вот Роман Львович...

Но Штерн уже подходил кошачьим шагом, мягкий, добродушный, округлый, прозрачный весь до самого донышка.

— Вы проверьте все данные, Георгий Матвеевич,— сказал он серьезно и благожелательно.— Правда, все

взято из вашего формуляра, так что ошибки как будто не должно быть, но все-таки...

Но старик только листнул паспорт, сунул его в карман и расписался на каком-то бланке.

— Благодарю,— сказал он.— Все правильно. Благодарю.

Штерн посмотрел на врача и как-то по-особому улыбнулся.

— Теперь, доктор, дело за вами,— сказал он.— В состоянии Георгий Матвеевич следовать в Москву на самолете...

Молодой человек подошел к старику, установил около него на столе свой прибор, открыл его и сказал:

— Я попрошу вас расстегнуть манжеты.

Потом он щупал пульс, слушал сердце и легкие. Обследованье продолжалось минут пять, затем молодой человек сказал «спасибо», отошел к другому столу и сел писать.

— Ну как?— спросил Штерн, подходя и пристально вглядываясь в его лицо.— Мы сможем завтра лететь?

— Да, конечно,— ответил молодой человек, легко встречаясь лучистыми ясными глазами с потяжелевшим внезапно взглядом Штерна.— Но сейчас я бы порекомендовал Георгию Матвеевичу покой. Просто пойти и лечь. И попытаться заснуть.

— А что?— спросил Штерн, не меняя ни взгляда, ни голоса.— Что-нибудь тревожное?

— Да нет, ну умеренные шумы в сердце и легких — это уж возрастное, а затем несколько пониженное давление кровяного русла — отсюда слабость, а так...— Он сделал какой-то неясный жест.

— А так?— спросил Штерн.

— Надо на месте, конечно, показаться врачу. Он, вероятно, порекомендует какой-нибудь санаторий.

— Переливания крови не потребуется?— спросил Штерн с нажимом.

— Нет, не потребуется,— улыбнулся врач.

— А если потребуется — у вас соответствующая группа найдется? Запас есть?

Штерн все не сводил с него глаз, а тот невозмутимо застегивал свой портфель.

— Конечно,— ответил он просто.

— Хорошо. Вы свободны,— кивнул Штерн.

Врач подхватил ящичек, портфель, поклонился и вышел.

— Что это вы его так?— спросил зам. Он с самого начала смотрел на обоих.

— А эта Шура, которая приходила, его жена?— кивиул Штерн на дверь.

— Да. Приятная женщина, правда?

— А где она у вас работает?

— В больнице. В хирургическом отделении. Больиые ее обожают. Мягкая, заботливая, добрая.

— На переливаиии крови сидит? Диссертацию об этом готовит?—Он что-то проглотил и повернулся к Каландарашвили.— Ну, дорогой Георгий Матвеевич, теперь вы свободны как ветер. И разрешите вас...

Старик вдруг встал с кресла. Он, наверно, очень волиовался, если перебил гражданина начальника иа полуфразе.

— Я хотел бы обратиться с одной просьбой,— сказал он тихо и даже как-то руки прижал к груди.

— Хоть с десятком,— великодушно разрешил Штерн.

— Если она будет в нашей компетенции, с большим удовольствием,— слегка пожал плечами замнаркома.

— У меня здесь, в комендатуре, остался мешок с продуктами,— сказал старик,— я привез их из лагеря. Я бы хотел попросить, нельзя ли передать моему соседу по камере.

— Ну об этом,— слегка иахмурился зам,— иадо будет говорить со следователем. Если ои ничего ие имеет...

— Узнаем, узнаем, поговорим, — засмеялся Штерн.— Я сам поговорю. Так разрешите вас познакомить. Моя племянница Тамара Георгиевиа. Для иас с вами, стариков, просто Тамара. Наш молодой сотрудник. Недавно кончила институт по кафедре права. Да, и такие у нас теперь есть, Георгий Матвеевич! И такие!

Старик поклоиился. Тамара протянула ему руку. Он дотронулся до нее холодными мягкими губами.

— Ну вот!— весело провозгласил Штерн.— Будьте здоровы, полковник. Пошли.

Старик вдруг взгляиул иа нее. И тут произошло что-то такое, что у нее было только однажды, когда она заболела малярией. Все словно вздрогнуло и расплылось. Словно кто-то играл ею — играл и смотрел с высоты, как это получается. Она чувствовала иеправдоподобие всего, что происходит, как будто она участвовала в каком-то большом розыгрыше. Все казалось тонким, неверным, все дрожало и пульсировало, как какая-то радужная пленка, тюлевая занавеска или последний тревожный сон перед пробуждением. И казалось еще: стоит еще напрячься — эта тонюсенькая пленочка прорвется, и проступит настоящее. Потом она только поияла, что это шалило сердце.

— Я буду вам по гроб жизни благодарен,— сказал почтительно старик, обращаясь к ней тоже,— если вы исполните мою нижайшую, покорнейшую просьбу.

— Поможем,— сказала она,— мы поможем, конечно.

— Ну как ваше самочувствие?— Следовательница мельком взглянула на зека и снова наклонилась над бланком допроса.

Зыбин сидел на своем обычном стульчике у стены и смотрел на нее. Такие стульчики — плоские, низкие, узкие, все из одной дощечки — изготовлялись в каком-то лагере специально для нужд тюрьмы и следствия. Сидеть на них можно было только подобравшись или вытянувшись. Так он сидел, прямой и сухой, с обрезанными пуговицами, но все равно вид у него был молодецкий. Он даже ногу закинул на ногу и слегка покачивал ботинком без шнурков. «Ну подожди, подожди, герой»,— подумала она и спросила:

— Так вы хорошо продумали все, о чем мы с вами говорили в прошлый раз?

— Ну конечно!— воскликнул он.

— Отлично! Работаем.— Она быстро заполнила бланк и положила ручку.— А под конец я вас порадую маленьким сюрпризом.

— Это от гражданина прокурора?— усмехнулся он.— Так зачем под конец — бейте уж сейчас. Наверно, довесок к старой статье — пил, гулял, нецензурно выражался, опошлял советскую действительность, что-нибудь из этой оперы, да?

— Ну, этого добра, по-моему, и без меня у вас хватает. Вот целый том,— она погладила папку.— Нет, просто мне пришлось беседовать с вашим приятелем, дедом Середой. Очень он мне понравился.

— Дед — клад,— охотно согласился Зыбин.— Выделки, как он сам говорит, одна тысяча восемьсот семидесятого года. Так что кое с кем даже ровесничек! Так что он вам про меня показал?

— Ну, что показал, на это будет свое время. А передал он вам узел с апортом и лимонками. А с кем вы там пили, гуляли и нецензурно выражались — это меня, Георгий Николаевич, меньше всего интересует. Вот вы мне другое, пожалуйста, объясните. В день вашего ареста вы в семь часов утра вдруг отправляетесь на Или, там вас и забирают. В чем смысл вашей поездки? Что вам понадобилось на Или?

Он слегка пожал плечами.

— Да ничего особенного,— ответил он легким тоном,— поехал немного проветриться, покупаться, на солнышке поваляться.

Она улыбнулась.

— Да уж верно, там песочек! Я была там, Георгий Николаевич, смотрела. Негде там купаться и валяться, одни кремни да колючки. А берег словно из камня вырублен. Так что нет, не поваляешься.

— Это вы, Тамара Георгиевна, там не повалялись бы, а я...— ласково ответил он.

— И вы тоже. Хорошо. Записываю вопрос: объясните следствию, с какой целью в день ареста вы отправились на Или?

— Ну, а что это, криминал — поехать на Или в выходной? — поморщился он.— Ну хорошо, если вы так хорошо обо всем осведомлены, то, значит, знаете и с кем я поехал. Пишите: хотел отдохнуть, поразвлечься. Мне наши музейные дела во как горло переели, ну вот и сговорился я с молоденькой сотрудницей и поехал с ней в выходной. Так вас устраивает?

— Записываю! — Она записала ответ и положила ручку.— Тут все бы нас устраивало, если бы не одно. Уж слишком вы не вовремя, как вы говорите, решили поразвлечься. Извините, тут приходится касаться ваших интимных дел, но... Весь этот день вы метались, через десять минут звонили по телефону, вас вызвали в угрозыск по поводу пропажи, так вы там устроили скандал, что вас задерживают, вы пропускаете свидание, вырвались наконец, бросились к парку, звонили из будки — не дозвонились!!! Пришли домой и тут наконец нашли свою Лину вместе с этой вашей сотрудницей. Через час они ушли, вы их проводили, вернулись и легли спать. Все. И вдруг утром вы срываетесь, сговариваетесь с этой девчонкой по телефону, что-то ей там такое заливаете и мчитесь с ней на Или. Как все это объяснить? (Он молчал.) Ну, я жду. Говорите.

Он вдруг как-то очень озорно улыбнулся и даже как будто подмигнул ей.

— Так что ж тут еще говорить! Наверно, сами уже обо всем догадались! Грешен батюшка.

— А вы без шуточек,— сказала она строго, не принимая его улыбки.— Говорите — я буду писать. Так в чем вы себя признаете виноватым?

— В том, что хотел обойтись без ума. Ну как же? Приезжала моя любимая. А у девочки глаза красные, нос с грушу! Что делать? Скандал! Подумал и решил: завтра же, до того, как снова увижу Лину, под любым

предлогом увезу девчонку на Или и там с ней накрепко поговорю. Хоть узнаю, чем она дышит и что от нее можно ожидать. В городе она и убежать может, и сдуру что-нибудь сотворить и раскричаться. А там что сделаешь, куда побежишь? Пустыня! Вот сказал ей, что есть казенная надобность, назначил время выезда, она согласилась, мы и поехали.

«Резонно,— подумала она,— вот тебе и козырь!» Главное, что с этого его уж не собьешь. Эх, дура! Развела канитель, начала правильно, а свела черт знает к чему! Но у нее оставалась еще одна выигрышная карта, и она ее сразу швырнула на стол.

— Ну, положим, я вам поверила,— сказала она.— Оставим женщин в покое. Но вот опять странности. Вы прежде всего заявились в контору колхоза и стали спрашивать каких-то людей. Каких? Зачем? Затем — вот протокол вашего личного обыска: четыре бутылки по ноль пять русской горькой, бутылка рислинга, круг колбасы восемьсот пятьдесят грамм, кирпич хлеба семьсот грамм, пара банок бычков в томате — солидно, а? Вот чем вы это объясните? Неужели все было нужно для объяснения с девушкой? Это же для хо-орошенькой компании на пять-шесть мужчин. Ну что вы на это скажете? (Он молчал.) Видите: куда ни кинь — всюду клин.

Наступило молчанье. Он сидел, склонив голову, и о чем-то думал. «Ничего не знают и не подозревают и никого, конечно, не разыскивали. Это хорошо, держись, Мишка! Больше у них за пазухой, кажется, нет ничего. Но сейчас узнаем».

— Да,— сказал он тяжело,— надо, пожалуй, говорить. Надо!

Она встала и подошла к нему.

— Надо, надо,— сказала она, убеждая просто и дружески, и даже коснулась его плеча.— Вот увидите, будет лучше. Поверьте мне!

Он слегка развел ладони.

— Что ж, приходится верить. Ничего не попишешь. Да, вы, конечно, не Хрипушин! Так вот... ваша правда. Замышлял! — Он остановился, поднял голову и произнес: — Замышлял серьезное преступление против соцсобственности. Указ от седьмого восьмого — государственная и общественная собственность священна и неприкосновенна. Хотел подбить колхозников на хищение государственной собственности. Не учтенной и даже не выявленной, но все равно за это десять лет без применения амнистии — ах ты дьявол!

Он снова замолчал и опустил голову.

— Да говорите, говорите! — прикрикнула она. — Вы хотели забрать золото и... ну говорите же!

Он поморщился.

— Да нет, какое, к бесу, золото! Откуда оно там! Маринку хотел купить тайком у рыбаков — килограмм пять, вот и все!

— Какую еще маринку? — возмутилась она. — Что вы мне голову крутите?

— Да ничего я вам не кручу! Обыкновенную маринку. Там же ее ловят и коптят! Она ведь только на Или и водится! Вот я и хотел ее обменять у колхозников на водку. Заходил в правление, узнавал где что — ничего не узнал. Сидела какая-то чурка. Так как это будет? Покушение или приготовление? Через девятнадцатую это пойдет или через семнадцатую? Это ведь в сроках большая разница.

— Постойте, — сказала она. Происходило опять что-то несуразное, но она еще не могла ухватить что. Сознавался он или опять ускользал. — Маринка? Зачем вам маринка? В день приезда...

— Так именно в день приезда! Именно! — воскликнул он. — Так сказать, великолепный трогательный дар не только сердца, но и памяти. О память сердца! Мы же с Линой ходили рыбу ловили. Краба необычайного купили у рыбака. Не знаю, может, он тоже посчитался бы государственной собственностью, но тогда, кажется, не было еще такого указа. Так вот, хотел споить рыбаков и забрать рыбу. А она государственная. Обнаружил преступный умысел. Пишите — сознаюсь. Десять лет строгой изоляции с конфискацией имущества и без применения амнистии! Эх, поел я рыбку на Или и других угостил! Пишите.

Гуляев прочел протокол допроса, отодвинул его в сторону и сказал:

— Да! — И снова: — Да-а! — Потом улыбнулся и спросил: — А что ж вы не курите? Вы, пожалуйста, курите, курите. Вот пепельница, пожалуйста.

— Да нет, я... — слегка замешалась она, — тут только один вопрос и ответ. Он просил прервать допрос. Ему было трудно говорить. Он чуть не расплакался.

— Даже так? Курите, курите, пожалуйста. (Она вынула папиросы, потому что он уже держал зажигалку.) Ну что ж. Раз сознался, отошлем дело в суд.

— Вы считаете, что можно прямо в суд?

— Ну а как же? Раз есть сознание, то пошлем прямо по месту жительства в районный нарсуд.

— В нарсуд? — Ей показалось, что Гуляев оговорился. В этих стенах, в этом кабинете, а особенно у этого человека слово «нарсуд» слышалось почти хохмачески, как цитата из рассказов Михаила Зощенко, где оно попадается наряду с другими такими же смешными словами: «милиционер», «самогонщица», «отделение», «карманник», «карманные часы срезал», «мои дорогие граждане». Она выглядела такой расстроенной, что Гуляев взглянул на нее и рассмеялся:

— Ну что вы так смотрите? А куда еще посылать это дело про рыбку маринку? До облсуда никак не дотянем. Мелковат материалец. Ведь это не само же хищение и даже не покушение на хищение, а на-меренье! Вот как у вас стоит: обнаруженье умысла». А оно вообще по другим преступлениям не наказуемо. Тут, конечно, иной коленкор — закон от седьмого восьмого — раз, сама личность подсудимого — два; значит, судить его будут, ну а уж там что бог даст.

— А ОСО? — спросила она безнадежно.

— Ну, ОСО! ОСО-то тут и вообще ни при чем. Оно хищениями не занимается. Ведь пакета сюда не приложишь.

— Почему? — Это вырвалось у нее почти криком.

— Ну а как его прилагать-то? К чему? В пакете — меморандум, а седьмое восьмое — преступление открытое, хозяйственное. Тут никаких секретов быть не может. Поэтому референт в Москве наш пакет и вообще не распечатал бы. Посмотрел бы на заголовок и завернул все обратно, «мы такими делами не занимаемся. Посылайте в суд». Вот и все.

— И все, — повторила она бессмысленно.

— И все до копеечки, Тамара Георгиевна. И знаете, что будет? Уйдет ведь от нас Зыбин! Как колобок в сказке, уйдет! Такими делами занимается или прокуратура, или, в крайнем-крайнем случае, экономически-контрреволюционный отдел — ЭКО, а мы СПО — секретно-политический. Правду говорят, что политика от экономики неотделима, но это не про нас. — Он улыбнулся и провел маленькой худенькой ладошкой сначала по чахлому, но резкому мартышечьему лицу, потом по прекрасным иссиня-черным волосам на зачес. — Значит, дело пойдет в районный суд, а он на Ташкентскую аллею в общую тюрьму. Это, очевидно, сейчас и есть предел его мечтаний.

— А суд? — спросила она.

— А суд будет его судить по УКА. Вы бывали в районных судах? Ну, понравилось? Там демократия

полная. Заседания открытые, с участием сторон. Адвокат выступает, свидетелей вызывает. Вот он их и вызовет. Директора, деда, Корнилова, а эту самую его штучку, с которой ездил за рыбкой, вызовет уж сам суд. И что получится? На работе у него ажур, растрат и хищений нет. Даже наоборот, имеет почетную грамоту за проведение инвентаризации. Выявлены и учтены какие-то ценности. Об этом и в «Казахстанской правде» было. Все это он, конечно, сразу же выложит на стол. Свидетели покажут то же — там они бояться не будут, не та обстановочка! Значит, что же остается? Намеренье? Намеренье незаконно приобрести у рыбаков рыбу. А он скажет: «Нет, я хотел приобрести через правление, а ездил узнавать, есть вообще рыба или нет». Да и у кого, скажет он, индивидуально я хотел ее приобрести? Что это за люди? Где они? Я их и не видел ни разу. Да их и вообще на свете нет. Вот вы, скажет он, допрашивали ларешницу, к которой я заходил. Она говорит, я называл ей какие-то фамилии, но она их не помнит. Граждане судьи, да если бы такие люди бы действительно состояли в колхозе, как бы она не помнила их фамилии? Логично ведь? Ну конечно вспомнила бы. Это и я вам скажу.

— Так неужели же оправдают? — воскликнула она.

— Не исключено! Будем, конечно, стараться, чтоб лет пять ему все-таки сунули, но не исключено, что и оправдают. За отсутствием состава преступления. Или пошлют на доследование — он оттуда уйдет. Ну хорошо, не оправдают, влепят пять лет. Так он из колонии писать будет, родные его начнут бегать — дело бытовое — и года через два очутится на воле, а там вполне может встретиться с вами на улице и раскланяться. А что вы удивляетесь? Ведь неопровержимы только мы, а все остальное... Демократия же! — Он махнул рукой и засмеялся.— Так что вполне может и раскланяться. Он, говорят, человек вежливый, так это?

— Не будет этого! — вскочила она с места.— Головой, честью ручаюсь, не будет! Разрешите идти?

— Не разрешу! — Он улыбнулся, встал, подошел к ней и слегка по-давешнему обнял ее за плечи.— Ух! Уже загорелась, закипела, вот она, кавказская кровь! Сядьте, сядьте, я вам говорю.— Он нажал кнопку, вызвал секретаршу и заказал два стакана чая.— Ну и хитрая бестия этот Зыбин! Не то за ним действительно ничего нет, не то он такое натворил... Не знаю, не знаю!

— А вы допускаете, что, может быть, и ничего нет?

Он вдруг быстро и строго взглянул на нее.

— Я-то допускаю, а вот вы допускать этого не имеете права. Раз я его передал вам, значит, он точно виноват. Вот как вы должны думать. И еще: кто посидел на нашем стульчике — тому уж никогда не сидеть на другом, это два. И третье — раз вы работаете здесь, то вы не можете допускать мысли об ошибке.

— А вы для себя допускаете такую мысль?

— Безусловно,— улыбнулся он и снова стал добрым и простым,— а как же иначе? Как же иначе я могу проверять вашу работу, девочка? Как я буду знать, кто у меня сколько стоит? Куда кого передвинуть? Без таких сомнений я и шагу ступить не могу. Я должен знать все. Все как оно есть на самом деле.

— Все? — спросила она. И вдруг ей показалось, что Гуляев пьян. «Неужели?» — подумала она, вглядываясь в его чистые, ясные глаза. Он поймал ее взгляд и засмеялся.

— Все, все, девочка, все! — сказал он веселой скороговорочкой.— На то я и начальник. А начальство — оно ведь все знает. А вот и чай принесли. Берите свой стакан, посидим, поговорим и подумаем. Вы кончили на его признании. Знаете? Давайте-ка попробуем вот как...

— Ну вот,— сказала она,— мы кончили на вашем признании. Значит, так: закон от седьмого восьмого. Десять лет без применения амнистии (он молчал и глядел на нее) — так? Смотрите.— Она вынула из папки протокол, аккуратно сложила его вдвое, потом вчетверо и медленно (он смотрел), со вкусом разорвала над пепельницей.— А теперь я вас спрошу,— продолжала она,— не хватит ли, а? Не хватит ли считать, что все вокруг дурачки и только вы один умник? А? А вот я возьму да, как обещала, действительно и отправлю вас в карцер. За издевательство над следствием. Вот прямо сейчас. Как вы на это смотрите?

— Прямо сейчас? — спросил он, что-то соображая.

— Да, прямехонько с этого вот стула. Так суток на пять.

— На пять? — опять спросил он.— Ну что ж. Хоть отосплюсь там.

— За пять-то суток? Конечно, поспите, подумаете, а если ничего не придумаете, то мы продолжим еще на пять и еще на пять...

— Значит, получается уже на пятнадцать,— подытожил он,— полмесяца. Да, это впечатляет, но разрешите один вопрос: меня в карцер, а вас куда?

— То есть как? — удивилась она. — Я останусь тут.

— В этом самом кабинете? Вот это уж навряд ли. Что же вы в нем будете делать-то? Книги читать? Ведь положение-то вот какое: у каждого из вас только один зек. Только один! На большее вас не хватит. Вы и он почти одно существо. Вы сидите на нем и выдавливаете из него душу по каплям. Месяц, два, три! И двух взять на себя никак не можете. Это была бы уже работа в пол-лошадиной силы. А двух лошадок вы через ваш конвейер никак не протащите. Не та это машинка. Положим, первые пять суток у вас пройдут легко, начальник вам все подпишет, а вот когда начнутся следующие пять, то вызовет он вас да и скажет ласково: «Вы что же, девочка, гулять к нам пришли? Зек в карцере, а вы сидите, романы расчитываете? Зачем же мы тогда Хрипушина-то сняли? Он хоть работал, а вы что?» Вот и конец вашей следовательской карьере, лейтенант Долидзе.

— Ну и воображение у вас, — покачала она головой, — что откуда берется. Просто я возьму маленькое дело, какую-нибудь самогонщицу, и отличнейшим образом за полмесяца все кончу.

— Да нет у вас маленьких дел! Нет! И самогонщиц у вас тоже нет! А есть у вас одни мы, враги народа, бешеные псы буржуазии. И нас у вас столько, что скоро мы у вас будем сидеть друг на друге. Попы говорят, что так сидят грешники в аду. Так что бездельничать вам не дадут. А я после десяти сразу же схлопочу еще десять. Просто приду и обложу вас матом прямо при вертухае. Ну и что вы будете делать? Ну меня, конечно, тут же забьют сапогами — у вас же все тут рыцари. Но, как говорится в том еврейском анекдоте, «чем такая жизнь»... А вас пошлют в УСО, к майору Софочке Якушевой карточки заполнять. Знал я когда-то эту Софочку, еще в одной школе с ней учился, аккуратная такая девочка, чистюлечка, мамина дочка. Или в оперативку засунут, это значит на студенческие пикники ездить, сводки строчить, ну что ж? Наружность у вас подходящая — там женские привлекательные чуткие кадры вот как нужны! А то набрали шоферюг да колхозниц! Вот что у нас с вами получится. Хотите, давайте попробуем.

Он говорил спокойно, ровно. Было видно, что все это у него давно продумано. «Зря я впуталась! Может быть, заболеть?» — подумалось ей, но именно только подумалось, отказаться она не могла. Но и вспыхнуть, разозлиться, почувствовать себя хозяйкой положения

тоже не могла. Вместо этого к ней пришло совсем другое — сухая досада, раздражение на себя. Ведь если у этого прохвоста хватит духу сделать то, что он обещает...

— Неужели вам невдомек,— сказала она досадливо,— что отсюда уже не выходят. Я человек тут маленький, не было бы меня, так был бы другой. Ни повредить вам, ни помочь я не могу. Хоть это-то вы должны понять.

— Да, должен, должен,— согласился он,— и, конечно, понимаю. Спасибо, что хоть тут сказали правду. Только не хочу я понимать и принимать эту вашу правду, нет, никак не хочу! Вот в чем дело-то, лейтенант Долидзе.

— Правду? — И тут ее вдруг наконец взорвало. Но это была не злость на него, а какое-то чувство глубокого неуважения к себе, к той роли, которую ее заставили играть. Что, ему на потеху ее отдали, что ли? Да разве она по своей вольной воле сказала бы с ним хоть одно слово или хоть бы просто подошла к нему? На дьявола он был бы ей нужен. А ведь нужен же, нужен! Больше всех на свете нужен! Он действительно часть ее. Она все время о нем думает, гадает, старается проникнуть в его мысли, характер, настроение. Ни об одном любимом человеке, даже о нем, о нем самом, она так много не думала, как вот об этом развязном оборванце.— А что вы знаете о нашей правде? — спросила она.— Да и вообще о всякой правде, если она не касается вашей шкуры? Что вы знаете? Вот такой, как вы?

— А какой же я-то? — спросил он очень спокойно.— Шпион? Диверсант? Приехал с заданием взорвать эту вашу малину? Убить железного чекиста Хрипушина?

Она поморщилась. Все опять понемногу вставало на свои места. Тоже мне террорист!

— Да нет,— сказала она,— ну какой же вы террорист? Террорист — это масштаб, мужество. А вы просто алкоголик, или, как говорят блатные, шобла, ботало. Интеллигентская шобла, конечно. С простыми-то легче, они честнее, а вы просто скользский, юркий, неприятный человечишко. Неряха! Вот штаны у вас все время спадают, вы их подтянете, а они снова сползут... Знаю, знаю — пуговицы обрезали? Так ведь у всех обрезали, а в таком виде на допрос что-то ходите только вы один. И эти ваши дурацкие раскопки, пьянка, бутылки, девка, хохмочки, анекдотики, маринка! Ох как все это несимпатично! Во время гражданской таких, как вы, просто ставили к стенке, а сейчас

вот приходится возиться, что-то писать, оформлять, как вы говорите верно, валять дурака...

Она старалась говорить спокойно, а внутри ее все ходило, и голос тоже подрагивал. Она взяла папироску и закурила.

— Только я вот одного не понимаю,— продолжала она тоном легким и разговорным,— зачем вам сейчас дурака валять? Ведь вы этак действительно ноги протянете. Ну хорошо, вы добились своего — меня сняли. Ну и что дальше? В этом вот здании шесть этажей, и мы сидим на третьем. А комната эта — триста двадцать пятая. В каждой такой комнате по два человека. Говорит вам это что-нибудь?

— Да,— ответил он задумчиво, как-то даже печально.— Да, шесть этажей, комната триста двадцать пять... Говорит, говорит, и очень даже много говорит, лейтенант Долидзе! В прошлом-то году этажей было пять, в позапрошлом четыре, а когда я приехал, тут вообще стояло серое длинное двухэтажное здание. Разносит вас, разносит, как утопленников. Года через три придется уж небоскребы возводить. Вы же чудесное учреждение. Сами на себя и сами для себя работаете. И чем больше сделали, тем больше остается несделанного.— Он усмехнулся.— Есть такая былина, как перевелись богатыри на святой Руси. Видели, наверно, «Богатырский разъезд» Васнецова. Ну вот, выехала эта троица в степь. Едут, посвистывают, в седлах покачиваются. А навстречу по шляху, по обочинке, ковыляет, ковыляет себе старикашечка — калика перехожий, серенький, старенький, в лапоточках, сумочка у него за плечами эдакая, идет аккуратно, дорогу посошком пробует. Как налетела на него эта богатырская силища! Рубанул его Алеша Попович и развалил до пояса. И стало двое старичков. Ах ты вот как! Ты оборотень! На! Раз! Раз! И стало четыре старичка, потом дважды четыре, потом четырежды четыре! Тут уж вся эта сволочь богатырская в дело вступила. Бьют, рубят, топчут, в крови с ног до головы, а старичков-то все больше и больше. И наконец как сомкнулась эта несметная рать! Как гаркнула она! Как двинулась — и побежали богатыри. А те, рубленые, обезглавленные, битые, потоптанные, за ними гонятся, гикают, хлещут, давят! И догнали их так до самого Черного моря, а там богатыри в скалы и превратились. Дошел до вас смысл этой истории? Только скал-то из вас не получится, а так, песочком рассыплется, перегноем, горсткой пепла.

— Так вы нас ненавидите? — спросила она. Это единственное, что сейчас ей пришло в голову.

— Вас? То есть лейтенанта Долидзе?— Он слегка развел руками. Она давно приметила у него этот жест. Он так разводил ладонями, когда искал какое-то нужное слово и не сразу его находил.— Нет, вот вас мне, пожалуй, даже жалко. Да, определенно жалко. Ну а что касается остальных... так что же, пожалуй, тут ненавидеть. Они ведь даже не существование, а так, нежить. Сами не знают, что творят. А зло от них расходится кругами по всему миру. Ведь это они вырастили Гитлера.

— Новое дело!— воскликнула она.— Как же так?

— А так, очень просто. При Ленине Гитлер был бы невозможен. При Ленине он ведь в тюрьме сидел да мемуары сочинял... При Ленине только этот шут гороховый, Муссолини, мог появиться. Но как явились вы, архангелы, херувимы и серафимы — как это поется: стальные руки-крылья и вместо сердца пламенный мотор — да начали рубить и жечь, так сразу же западный обыватель испугался до истерики и загородился от вас таким же стальным фюрером. Конечно, его могли бы обуздать еще рабочие партии. Но вы их тоже натравили друг на друга, и такая началась среди них собачья свалка, что они сами же встретили Гитлера как Иисуса Христа. А как он пришел, так и война пришла. И вот теперь стоит война у порога, стучится в дверь, и получается: сейчас мы с вами сидим по разным концам кабинета, а придет Гитлер, и мы будем стоять рядышком у стенки. Если вы, конечно, к тому времени не переметнетесь, но ох! переметнетесь, очень похоже, что переметнетесь вы. И еще нашими расстрелами, поди, будете командовать.

— Да как вы смеете!— воскликнула она.

— Да что ж тут не сметь?— спокойно пожал он плечами.— Кто вы вообще такие? Кто ваши вожди? Чему вы служите? Вот я приду к Гитлеру и спрошу его: «Адольф, зачем ты людей уничтожаешь? Погромы устраиваешь, жидов бьешь, половину человечества истребить сулишь, каких-то чистых и нечистых выдумал». А он ответит мне: «Ты читал мой труд «Майн кампф»? Это же я обещал народу, когда еще не фюрером был, а узником, и с этим я и пришел в мир». И что я отвечу? Только одно: «До чего же ты, фюрер, последователен!» — «Да,— скажет он,— и потому я фюрер, а ты шайзе, говнюк, и иди от меня, говнюк, вон, не мешай мне переделывать мир по-моему». А что ж? Ничего не поделаешь, пойду — он прав. А теперь я вас спрошу: вот над вами висит товарищ Сталин, так знает он, что вы тут его сапогами творите или нет? А может

быть, у вас есть от него какая-нибудь специальная инструкция? Может, он сам велел вам так работать? Может, по его, это сталинский путь к социализму? Скажете, что да — я поверю!

— Замолчите! — крикнула она и вскочила с места.— Сейчас же замолчите, а то...— Она была в самом деле испугана.

Он улыбнулся.

— Слабо, слабо! Мата вам не хватило! Вот Хрипушин нашел бы, что ответить. Но вообще это то, что и следовало доказать. Вы не можете ответить ни так, ни этак, ни да, ни нет. Знаете игру: «Барыня вам прислала сто рублей, что хотите, то купите, «да» и «нет» не говорите, черное с белым не берите; что вы купите?» Вот в это мы с вами сейчас и играем. «Да» и «нет» не говорим, боимся. Так вот, с Гитлером все ясно и честно — он растет из своей людоедской теории, а вы-то откуда взялись? Кто ваши учителя? Ведь любой, кого вы ни назовете, сразу от вас шарахнется. «Нет,— скажет,— чур меня, не я вас таких породил». Так опять-таки: кто же вы такие? Планктон, слизь на поверхности океана? Ну исторически так и есть — слизь! Но лично-то, лично — кто вы? Воровская хаза? Шайка червонных валетов? Просто бандиты? Фашистские наймиты? Вот вы, например, безусловно не с улицы сюда пришли, а кончили какой-то особый юридический институт. Конечно, самый лучший в нашей стране. Ведь у вас все самое лучшее. И очевидно, там преподавали самые лучшие учителя, профессора, доктора наук, это значит, что вам четыре или пять лет вдалбливалась наука о праве и о правде, наука о путях познания истины. А она ведь очень древняя, эта наука. Ее вырабатывали, проверяли, шлифовали в течение тысячелетий. Небось вы по ней и всякие курсовые работы писали на кафедре «Теория доказательств». И вот, все познав, поняв и уразумев, вы приходите сюда, садитесь в это кресло и кричите: «Если не подпишешь сейчас же на себя то-то и то-то, то я из тебя лягушку сделаю!» Это еще вы. А ваш мощный предшественник — тот сразу матом и кулаком по столу: «Рассказывай, проститутка, пока я из тебя лепешку дерьма не сделал! Ты что, в гости к теще пришел, курва?» Ну а наука-то, наука ваша куда девалась? Та самая, что вам пять лет вкладывалась в голову? Не нужна она вам, значит,— мат и кулак нужен! Так что ж — вы и наука несовместимы? Так что же вы на самом-то деле? Или это опять ложь, клевета?

Он заметно волновался (она никогда его таким еще

не видела), тихонько и быстро провел рукой по лбу и украдкой обтер руку о пиджак. Это почему-то вдруг тронуло ее.

— Воды хотите? — спросила она.

Он покачал головой.

— Выпейте, выпейте.

Она налила ему полный стакан, вышла из-за стола и поднесла стакан к его губам. Губы у него были сухие, запекшиеся. Он взял стакан, пальцы дрожали, и осушил его не отрываясь. Она покачала головой, налила еще и поднесла ему, но он отвел ее руку, и она, поколебавшись, поставила стакан на пол рядом со стулом.

— Ну что же вы с собой только делаете,— сказала она,— зачем? Может, отправить вас в камеру? — Она снова покачала головой.

— Нет, нет, я отлично себя чувствую. Поговорим еще,— сказал он бодро.— Вы говорите, мы изолируем социально опасные элементы. Скажите, вы девочкой любили играть у моря в камешки?

— В какие еще камешки? — спросила она досадливо.

— В самые обыкновенные: белые, черные, серые, красные. Собирать их, отбирать, сортировать? Одни в одну кучку, другие в другую?

Она пожала плечами.

— Ну и что? — спросила она, ничего не понимая.

— А вот то, что подошел бы к вам какой-нибудь добрый дяденька и сказал бы: «Девочка, девочка, можешь мне дать только одни светлые камушки?» — «Ну, делов-то!» Взяла и отобрала светлые, а темные в море бросила. «Вот, пожалуйста!» И сказал бы вам добрый дядя: «Умница!» Вот и вы сейчас отбираете, только людей, а не камушки. Но ведь камень-то — он цвета не меняет, а человек — он, сволочь, хитрый, переменчивый. Сегодня он светлый, а завтра он темней осенней ночки. И вот ваши светленькие у вас в руках сереют, сереют, через месяц-другой совсем станут черными. Но это внутри, внутри, а снаружи цвет у них все тот же. Даже, поди, они еще посветлеют. Вы вспомните, как вам свидетели отвечают. Что вы ни спросите, то они и подтвердят; что ни попросите, то они и выложат: чужую жизнь — так жизнь, честь — так честь... С превеликим удовольствием даже! От угодливости и преданности аж по носу пот течет! Подлость по всем прожилкам гуляет! В голову бьет. Только бы выбраться из этой морилки! Вышел! Боже мой, вот счастье-то! Жив, жив! Свободен, свободен! Люди ходят, солнце

светит, ветер дует, а я живой и домой иду! А что друга своего лучшего продал — так кто ж виноват? Государство потребовало — вот и продал. Все это так, но почему тогда ему же и вас, судей неправедных и бессовестных, не продать, когда ваш черед подойдет? Да с превеликой радостью он вас продаст кому угодно. Меня-то он, как свою душу, только по великому страху и горькой нужде отдал, а вас-то с великим ликованием и облегчением отдаст. Есть все-таки бог, сволочи, есть! Вот получайте! В одной римской трагедии муж спрашивает жену: «В каких меня винишь ты преступленьях?» И жена отвечает: «Во всех, свершенных мною для тебя!» Вот за эти свои преступленья он вас и продаст. И будут вас сажать и стрелять как паршивых псов! И не кто-нибудь, а ваши собственные коллеги! Пробьет для вас такой час! Обязательно он пробьет! И вы увидите тогда лицо своего брата. Своего брата Каина! И узнаете, сколько таких братьев сидело с вами за одним столом! И ждало только часа! Да только поздно будет! Вот в чем настоящая беда! Вы защищаете страну? Эх вы! Каинов вы выводите! Вот что вы делаете!

— А вы разве не брат Каин? — спросила она.

— Да нет,— ответил он просто.— Я вообще вам не брат, а потому и не Каин. Ладно! На других наплевать, вот вас-то мне очень жалко!

— Нас? — спросила она тупо.

— Да нет, черт с вами со всеми! Вас одну жаль! Одну вас, Тамара Георгиевна! — Он поднял с пола стакан и спокойно выпил его до дна.— Ну что ж, потешу вас еще одной сказочкой. У персидского царя Камбиза был судья неправедный. Так царь повелел его казнить, кожу содрать, выдубить и обить ею судейское кресло, а потом на это кресло посадил сына казненного и велел ему судить. И, говорят, тот судил уже правильно. Так поинтересуйтесь когда-нибудь, сколько кож на этом вашем кресле. Ведь нормальная жизнь следователя вашего толка — пять лет, а потом в собачий ящик. Ну а что еще делать с уголовником, когда он свое сработал? Шкуру с него долой — и в яму! И нарком ваш там, и все его помощники там же! И начальники отделов — все, все смирехонько рядышком лежат! И вам туда же прямой путь! А мне жаль вас, молодость вашу, свежесть, а может быть, даже и душу — все, все жаль! Не такая она у вас уж скверная, как вы себе это внушили, лейтенант Долидзе! И выглядит она совсем не так, как вам кажется. Взбалмошная она, глупая, вот беда! Ведь и сейчас вы играете

роль, а не ведете следствие. Артисткой вам бы быть, а не следователем. Эх, девочка! Куда вы полезли? Зачем? Кто о вас плакать-то будет? Отец-то жив?

«Но как он узнал о ГИТИСе,— подумала она, почувствовав косую тоскливую дрожь,— как узнал? Но узнал же, значит, значит...»

Она вздохнула и подняла трубку — вызвать конвой, а он поглядел на нее, хотел что-то сказать еще и вдруг увидел, что ее нет, как нет стола и комнаты с серо-желтыми обоями, а есть только какая-то мутная пелена, что-то ровное, подернутое легкой рябью, зеленое и черное. Оно слегка колебалось, падало и поднималось, над ним мелькали белые пятна — чайки, что ли?

«Как бы меня не стошнило,— подумал он,— в углу плевательница, надо...»

...Когда зека заколотило и затрясло и он стал зеленым, страшным и мертвым, с вытянувшимся лицом и какими-то перекрученными руками и ногами, она бросила трубку и кинулась к нему. И тут он встал, постоял с секунду очень ровно и рухнул во весь рост, не сгибаясь. Тут стоял маленький столик, и он угодил виском прямо об его угол. Она закричала.

Он лежал недвижно, на его лбу набухала красная груша. Она опустилась на колени и осторожно подняла его голову. Под ее пальцами все время по-стрекозиному билась упрямая тонкая жилка, пальцы у нее сразу стали липкими.

В Большом доме по-прежнему стояла тишина, шла ночная смена, никого не было на этом этаже, кроме них двоих, и она стояла перед ним на коленях, держала его голову и повторяла сначала тихо, а потом уже громко и бессмысленно: «Ну что же я... Ну что же я... ну что же я в конце концов...» А трубка висела, раскачивалась, и в ней уже слышались голоса.

Так их и застал конвой.

— И вы так ни разу не болели? — спросил Штерн.— Ну чудо! Ну просто чудо, и все. В больнице-то хоть раз лежали?

— Да нет, не лежал,— ответил Каландарашвили и вдруг как-то очень прямо с улыбкой поднял на Штерна глаза. «Ты вот мне подыгрываешь, а я с тобой не играю»,— поняла его улыбку Тамара.

Они сидели в отдельном кабинете ресторана НКВД. Помещался этот ресторан в самом Большом доме, в нижнем этаже его, и поэтому окна их кабинета выходили во двор — на длинное и низкое здание внутренней

тюрьмы. Но сейчас тюрьмы видно не было. Ее закрывали нежно-золотистые занавески. И от этого в кабинете стоял тихий, мягкий полусвет и все выглядело уютным, белым и спокойным: скатерть, бокалы, фарфор, серебро.

— Да, но тогда вы поистине железный человек,— вздохнул Штерн,— не то что мы, совслужащие, люди эпохи Москвошвея. У нас и то и се; и гастрит, и колит, и бронхит, и еще черт знает что. Но я вам вот что скажу: лагерь у вас тоже был какой-то особенный, не лагерь, а северная здравница! Ну как бы там ни было — за ваше! За ваше мужество, жизнестойкость, жизнерадостность, Георгий Матвеевич, за то, что вы с нами. Тамара, а как вы?

— Я не буду,— ответила она тихо.

— Ну и не надо, дорогая. Не надо! Красивая женщина не должна пить. А вот мы за вас... Ух, хорошо! Давно такой коньяк не пил. И все-таки, Георгий Матвеевич, какой же лагерь-то у вас был? Может, инвалидный какой-нибудь?

— Да нет,— пожал плечами гость,— зачем инвалидный? Лагерь как лагерь. Как все концлагеря Советского Союза — зона, барак, колючая проволока, частокол, вышка, часовой на вышке, за вышкой рабочий двор, ночью прожектора. Подъем в семь, съем в семь. Уходишь — темно, приходишь — темно. Рабочая пайка — семьсот грамм, инвалидная — пятьсот, штрафная — триста. Вот и все, пожалуй. Если не касаться эксцессов.

— А если касаться?

Старик поднял бокал из дымчато-рубинового стекла с геральдическим золотым леопардом в медальоне и посмотрел его на свет. Потом слегка щелкнул по краю — звук получился нежный, печальный, замирающий.

— Фамильная вещь,— вздохнул старик.— Венецианское стекло. В музей бы его. Если касаться эксцессов, Роман Львович, жизнь там была тяжелая. Бывали времена, когда утром не знаешь, доживешь ли до вечера. Ну да вы сами знаете, что было.

Лицо Штерна сразу посуровело.

— Не только знаю, но вот этой рукой, что поднимаю за вас бокал, подписывал обвинительное заключение. Все эти негодяи прошли по военному трибуналу. Так что большая часть из них вот...— он слегка щелкнул себя по виску.

— Да? — взглянул на него старик.— Хорошо.

— А вот в лагере заключенные небось об этом

ничего не знают,— усмехнулся Штерн.— Думают, что они сейчас домами отдыха командуют. Так?

Старик усмехнулся.

— Да нет, пожалуй, не совсем так. Что их расстреляли — в это верят.

— И что ж говорят об этом?

— Да разное говорят. Одни говорят, что это были японские шпионы и их за это расстреляли...

— Здорово! Умно! А другие?

— А другие говорят, что это были советские люди и их тоже за это расстреляли.

Тамара не выдержала и хмыкнула.

— Да,— согласился Штерн и тоже улыбнулся.— Смешно, конечно («Смешно»,— подтвердил старик), но ведь и печально, Георгий Матвеевич. Неужели никому из этих здравых взрослых людей не приходит в голову самая простая мысль, что все эти расстрелы были вражеской диверсией, и не японцев, конечно, нет, это глупость, а вот этих бандитов — троцкистов, ягодинцев, блюмкиных, людей, у которых руки по локоть в крови?! Неужели не приходит?

— Нет,— покачал головой старик,— это в голову никогда не приходило.— Он вдруг усмехнулся.— Да и как оно может прийти? Ведь все мы были диверсанты, их люди. Так, значит, диверсанты пробрались в лагерь, чтоб уничтожить свои же кадры? Зачем? Непонятно.

— Чтоб возмутить народ! — вставила Тамара.

Старик повернулся к ней.

— Да, действительно, очень нужны мы, диверсанты, советскому народу. Ведь на следствии нам растолковывали, что народ все знает и ненавидит нас как бешеных псов и наймитов капитала. Поэтому, мол, и дети отрекаются от отцов, а жены сажают мужей. И разве вы сами не говорите своим подследственным, что если бы не органы, то народ давно бы разнес нас по кусочкам («К счастью, еще не успела»,— подумалось Тамаре),— нет, мудрено! Очень это уж мудрено, Роман Львович. Никак эта сложнейшая стратегия не уместится в наши примитивные зековские головы.

— А что власть может без всякого закона уничтожать своих граждан — это в примитивные головы легко укладывается? — горько покачал головой Штерн.— Эх, люди, люди! Граждане великой страны, творцы пятилетки! И легковерны-то вы, и слабы, и малодушны, и как только прижмет вам палец дверью, готовы вы... Да что говорить! Сам человек и сам, наверно, такой!

— А бить эта власть может,— сурово перебил его старик,— а отбивать легкие на следствии она может?

Сажать отца за сына она может? А «слушали — постановили» — это что такое? Мы же юристы, Роман Львович, так скажите мне — что это такое? А?

Штерн пожал плечами.

И по кабинету на мгновенье, как призрак, прошла короткая, до предела напряженная, душная тишина. Тамара привстала, взяла графин, налила себе половину фужера и выпила. Все молча, отчетливо, резко.

— А вас били? — спросил Штерн обидчиво. Ему испортили его любимейшую арию, не дали допеть до конца.

— Меня нет, — с каким-то даже сожалением покачал головой старик. — Нет, меня они что-то не били. Слушайте, Роман Львович, да я отлично знаю, что это делала не советская власть.

— Тогда кто же?

— Не знаю. Черт! Дьявол! Сумасшедший! Но только умный сумасшедший! Такой, который отлично все понимает. Ведь как было? Приезжает...

— Георгий Матвеевич, милый вы мой! — вдруг взмолился Штерн и поднял к груди обе толстые волосатые руки с золотыми запонками. — Ну зачем нам опять все это? Пайки, расстрелы, карцеры! Ну к чему они? Вот графинчик, вот закуска! Я виноват — завел эту бодягу, а дама вон уже соскучилась и начала без нас. Давайте и мы...

— Нет, я вас очень прошу, продолжайте, — сказала Тамара железным голосом. — Приезжает...

Старик посмотрел на Штерна, тот вздохнул.

— Да, заставили мы даму ждать, заставили! Вот она и... Нехорошо!

— Приезжает... — повторила Тамара зло, не сводя глаз с Каландарашвили.

— Ну, если вам так уж угодно... — слегка пожал плечами старик. — Приезжает на рабочую трассу новый начальник. Пять машин, охрана, свита, женщины в белом, штатские. Их уже неделю ждали. Работают вовсю. Тачки по доскам так летают, что доски гудят. Бригадир ходит, поглядывает, покрикивает. Как будто никто никого и не ждал. Обычный бодрый лагерный денек. И вдруг — «Внимание!» Все застыли. Пять машин. Вылезает из первой самый главный начальник и подходит к бригадиру. Здоровается. Принимает рапорт. «Ладно. Одень, одень шапку! Это твои все орлы? Та-ак! А что же ты, бригадир, с такими орлами план-то не выполняешь, кубики стране не даешь? Ведь ты у меня в отстающих числишься. А?» — «Да, гражданин начальник, да я бы... Но ведь то-то и то-то...» — «Та-ак!

Объективные причины, значит? Работаешь по силе возможности? Кто ж у тебя главный филон?» — «Да филонов нет, а вот такой-то, верно, отстает».— «Да? А ну, такой-то, подойди сюда». Подходит такой-то. «Вот ты какой, значит! Хорош! Слышал я о тебе, слышал. Какая статья-то? ОСО? Что, КРТД? А! Троцкист, значит? Бывший партийный работник? Что ж ты, бывший партийный и такой несознательный? Тебе власть дала полную возможность заслужить перед народом свои преступленья, а ты все гнешь свою линию? А? А?» — «Да болею я, гражданин начальник. Сердце у меня! Ноги все в язвах — вот, взгляните!» — «Закрой, закрой! Не музей! На то врач есть, чтоб глядеть! Врач, ну-ка иди сюда. Так что ж ты мне больного-то на работу выгнал? Ведь вот он говорит, что еле ходит, а ты гонишь его на работу! Как же так?» А врач тот же заключенный. У него зуб на зуб не попадает. Он сразу в крик: «Да какой он больной, гражданин начальник! Филон он, филон! А на ногах сам наковырял!»

— Да, вот так они и губят друг друга,— солидно вздохнул Штерн.— Правда, правда.

— Да нет, врач тоже не виноват! У него же норма! Не больше двух процентов больных. Так те проценты все на блатных уходят. Они к нему на прием с топором приходят! «Так,значит, говоришь, злостный филон. Как был врагом, так им и остался? Да? Нехорошо! Ладно! Мы с ним поговорим, убедим его! Посадите в машину». Все. Походили. Уехали. А через неделю приказ по ОЛПам: «Такой-то, осужденный ранее за контрреволюционную троцкистскую деятельность на восемь лет лагерей, расстрелян за саботаж». Вот и все. А то и еще проще. Тащили двое работяг бревно, и один носком зашел за зону, то есть черточку на земле пересек. Конвоир приложился и положил его. Здесь же бьют сразу! Снайперы! Конвоиру отпуск на две недели, работяге на вечные времена. Тоже все. Так что же это, приказ? Закон? Пункт сторожевого устава? Или сумасшедший из смирительной рубахи выскочил да и начал рубить направо и налево? Не знаю да и знать не хочу. Знаю только, что такого быть не может, а оно есть. Значит, бред, белая горячка. Только не человека, а чего-то более сложного. Может быть, всего человечества. Может. Не знаю!

Он говорил спокойно и только под конец немного разволновался, но тоже не повысил голос, а просто пальцы стали подрагивать, а сам он как-то странно и натянуто заулыбался.

«Так как же его освобождать?— подумала Тамара.— Ведь он будет ходить и рассказывать. Тут и расписка о неразглашении ни к чему».

Она не могла сидеть и встала, но Штерн больно сжал ее руку у запястья, и она села.

— Конечно, все это ужасно,— сказал он,— и я понимаю, что делается с самой психикой заключенных, но...

Старик вдруг тихо, добродушно засмеялся.

— Да аллах с ними, с заключенными,— сказал он просто.— Они враги народа, ну и получают свое. Вы знаете,— обернулся он вдруг к Тамаре,— нигде, наверно, нет столько самоубийств, как в лагерях среди вольнонаемных или военнообязанных. И все они какието беспричинные, сумасшедшие.

— То есть как же это беспричинные?— неприятно осклабился Штерн.— Совесть их замучила, вот и вешаются или стреляются. Ведь вы это хотите сказать нам, Георгий Матвеевич? Совесть!— Он засмеялся.— Вы на их ряшки посмотрите и увидите, что у них за совесть! Вы знаете, сколько они там загребают? Здесь не каждый нарком столько в год получает, сколько какой-нибудь начальник отделения за лето оторвет! А вы — совесть! Идеалист вы, Георгий Матвеевич, вот что я вам скажу.

— Да нет, я ведь не говорю, что это совесть,— слегка нахмурился старик.— То есть нет, нет! Это, конечно, совесть, но совесть-то не человеческая, а волчья, что ли.— Он замолчал, собираясь с мыслями.— Ведь что получается?— заговорил он снова.— Вот ОЛП — отдельный лагерный пункт. Он действительно от всего отделенный. Вокруг него тайга или степь, и он как остров в океане. Люди свободные тут не живут и там не появляются, и получается две зоны — одна внешняя, охрана, другая внутренняя, зеки. Два круга земли. В каждом круге свои законы. Зеки работают весь день, а ночью спят. У них вся жизнь по квадратикам — подъем, работа, съем, ужин, отбой, сон, подъем. Вот и все. Но чтоб прожить по этим квадратикам, их еще надо выгадать. Ежечасно, ежеминутно, на протяжении всего срока выгадывать. Потому что если не выгадаешь, то пропадешь. Придет к тебе Загиб Иванович — и все! Смерть тут мужского пола, и зовут ее по имени-отчеству, как нарядчика. Тосковать, размышлять, грустить, вспоминать тут некогда. Так во внутреннем круге. А во внешнем другое — там и жизнь. И ее тоже надо выгадывать на десять лет вперед. И выгадывают — работают. А работа — пятьсот или тысяча жи-

вых трупов: куда их тащат — туда они и волокутся. Но только это очень хитрые покойнички — это упыри,— они притворяются живыми, а все от них пропахло мертвечиной, и вот на вольных, гордых, независимых советских гражданах начинает сказываться трупное отравление. Это очень мягкий, вялый, обволакивающий яд, поначалу его даже не почувствуешь — так, что-то ровно подташнивает, мутит, угарно как-то, расслабленно, а в основном-то все хорошо. Работа — не бей лежачего, баб хватает, тут их зовут чуть не официально дешевками, так что заскучаешь — утешат. Денег навалом. За плитку чая можно любой костюм в зоне получить. Паек военный, спирт свой — пей, пока не сорвет. Вот и пьют. Сначала стопками, потом стаканами, а затем поллитровками. Каждый вечер драки. Дерутся молча, только сопят; а бьют страшно: сапогами по ребрам, втаптывают в снег. И вот в одну темную ночь — это все больше происходит осенью или зимой — чепе! Застрелился часовой. Прямо на вышке. Скинул сапог и большим пальцем нажал спуск. Череп, конечно, вдребезги. Весь потолок в мозгах. Причины неизвестны. Наутро в красном уголке собрание. Комиссия, выговоры, речи, покаяния. Недосмотрели. Не учли. Не проявили бдительности. Постановили, осудили, дали обещание. А через неделю опять чепе. Только теперь посерьезнее. Пустил себе пулю в висок старший лейтенант, и такую он записку на столе оставил, что ее сразу же на спичке сожгли. Опять комиссия. Теперь уже московская. Старший же лейтенант! Вызывают по одному, спрашивают, и опять ничего никто понять не может. Человек был как человек, работал добросовестно, по-советски. Имел благодарности, копил деньги, сберкнижку показывал. Фото в бумажнике носил. Домик беленький на Черном море. Это он себе присмотрел. Ему уж и срок выходил. Пил? Ну а кто здесь не пьет? Много не пил. Значит, видимых причин нет. А невидимые... чужая душа потемки. Но вот в этих самых потемках он и запутался, и затосковал, и заискал выхода. И нашел его. Вот как это бывает. Непонятно? Непонятно, конечно! Но я же и говорю — бред! Угар! Белая горячка! Отравление трупным ядом!

Тамара сидела и накручивала на палец кончик скатерти, рвануть — и все посыплется на пол.

— Да! — Штерн крякнул и поднялся с места.— Пойду потороплю официанта. Что-то они хотят, я вижу, нас голодом заморить.

Он пошел и вдруг, проходя, наклонился над Каландарашвили.

— Спасибо вам за это, Георгий Матвеевич, большое спасибо! Образно говорите! Очень образно. Заблудился в собственной душе. Хорошо. Вот нашим бы писателям такой образ найти! Да, вы правы, плохо получается. Жаль наших солдат. Очень их жаль, бедняг. Спасибо вам за вашу жестокую человечную правду. Но пусть теперь эти вопросы вас больше не волнуют. Мы подумаем. А вы свободный человек! Тамара, моя хорошая, а что вы ровно затуманились? А ну-ка налейте нам скорее по полной! Вот так, вот так! Ура, Георгий Матвеевич! — Он опять пошел и опять задержался.— А сына вы не огорчайте такими вот вопросами, ладно? Зачем? Наша вина, наш и ответ. Мы сами справимся. А за вашу правду спасибо, большое спасибо. Она вот как нам нужна! Ладно, иду за официантом[1].

Нейман вернулся из командировки на следующий день на попутной машине. И сразу же, не заезжая домой, подъехал в Большой дом. Его гнали неясные предчувствия. И недаром. Его вдруг посетил нарком. Такого еще, кажется, не бывало. Нарком ниже шестого этажа (там помещался его секретариат) вообще не спускался, а если надо — вызывал к себе на седьмое небо, так работники Большого дома окрестили надстройку, где помещался личный кабинет и крохотный зал заседаний.

Стоял ясный осенний вечер. Нарком постучался, вошел и поздоровался. Был он тихий, благожелательный, в сиреневом костюме со светлым галстуком.

— Сидите, сидите,— милостиво приказал он Нейману,— а я вот...— Он подошел к полуоткрытому окну, распахнул его и вдохнул всей грудью воздух.— Благодать,— сказал он,— нет, надо, надо и мне к вам сюда перебраться, а то у нас такая вверху парилка.— Он опять втянул воздух.— Хорошо! Морем пахнет. Сосна, сосна! — Он еще постоял, поглядел на деревья, на красные, зеленые и синие гирлянды огня в аллеях, послушал детский крик, скрип каруселей, потом подошел к столу и сел сбоку.— Что это вы подписываете? А-а! Ох уж эти бумажки! Одна с ними морока!

Это были запросы второго секретно-политического отдела. По этим запросам оперуполномоченному лагеря надлежало вызвать такого-то зека, находящегося там-

[1] Звали его по-настоящему барон Бибинейшвили. Он умер через несколько дней после освобождения. (*Рассказал писатель Чабук Амирэджиби.*)

то, и снять с него свидетельские показания. Чаще всего человек, о котором запрашивали, ходил еще по воле и был не просто знакомым опрашиваемого, а либо его недругом, либо другом, давшим «уличающие» показания на суде или по очной ставке. Поэтому и предполагалось, что сейчас, когда зеку наконец разрешили, он охотно сведет счеты с другом или врагом. (В этом случае и в этих стенах и «друг» и «враг» звучат примерно одинаково.)

— Так,— сказал нарком, выслушав Неймана о том, что запросов посылается много, а выполняют их медленно и спустя рукава,— но вот тут, я вижу, вы получили полный отказ. И даже, я бы сказал, отказ с ехидцей, «знаю его как советского человека и патриота». А кто снимал показания? Лейтенант Лапшин! Ну и дубина же этот лейтенант! Наверно, из только что мобилизованных. И часто вы получаете вот такие цидули?

Нейман пожал плечами.

— Да бывают.

— Не надо, чтоб бывали. Скажите, вы думали, почему приходят такие ответы? Ну хотя бы в данном случае? Вот почему заключенный так ответил? Или тот тоже на него не стал показывать? Но если так, то и запрашивать его не стоило.

«А что его так заело?— подумал Нейман.— Ведь обычное же дело. Формальность! Тот так и так будет сидеть. И зачем он вообще пришел? В штатском. В желтых ботинках. Галстук! А ведь все в форме ходил. С женой поругался, что ли?»

— Да нет, показывать-то показывал,— ответил он,— но ничего существенного, правда, не сказал, да и повредить ему он уже не мог. Но вообще-то вы правы, товарищ нарком. Этот свидетель повторник, наглый, хитрый тип, в карцере у нас сидел два раза, можно было предвидеть, как он ответит.

— Значит, все дело в характере,— усмехнулся нарком и слегка двинул стулом.— Сидите, сидите! Характер, конечно, следует учитывать, но главное не это. Главное, кто допрашивает. Понимаете? Нет? Зря! Вот поступает ваш запрос к такому недавно мобилизованному Лапшину. Вызывает он зека. Сажает на стул, и что тот скажет — слово в слово записывает. Так ведь, а?

Нейман слегка развел ладонями. Он все-таки не понимал, что от него хотят.

— Так? Ну а как же иначе? Во-первых, он действительно там, в лагере, ничего не знает о деле, а во-вторых, ну на кой дьявол ему, откровенно говоря,

это дело нужно? Вот вы следователь управления, вы живете в столице, получаете хороший оклад, у вас прекрасная квартира, ну а он что? Он же ничего этого не имеет! И обязанность у него совсем другая—собачья,—и оклад другой, отсюда и психология такая: «А не пошли бы вы все...» Нет, я в эти заочные бумажки совсем не верю.—Он встал.—Тут путь один: если что нужно, поезжай сам. Приезжай в управление лагеря, садись в кабинет, вытребывай заключенного, обязательно со спецконвоем, продержи его денек в одиночке, пусть он там посидит, подумает что и как, а потом вызови, усади на кончик стула у стены и допрашивай. Но по-нашему, с ветерком, не так, как они там. «Знаю как советского патриота!» Ах ты... Если бы не наша теперешняя загруженность, я бы вообще всю эту бумажную самодеятельность давно запретил бы.

— Да,—солидно вздохнул Нейман,—загруженность у нас страшная. Мы-то, старые кадры, еще держимся, а молодые... Двоих мы уже отправили в нервную клинику, одного прямо на «скорой помощи» из кабинета.

— Ну вот, вот!—воскликнул радостно нарком.—Людей у нас уносят с работы на носилках, а они там думают: сидят столичные штучки, бездельники—и строчат. И все у них в кармане—театр! Первые экраны! Квартиры! Душ! Дача! Рестораны! А мы тут сидим в степи с заключенными и собаками да спирт глушим! Только у нас и радости! Да они рады любую пакость нам подложить.—Он поймал взгляд Неймана и хмуро окончил:—Ну не все, конечно. Ничтожное меньшинство, но все равно...

«Нет, с ним определенно что-то случилось,—решил Нейман.—Но что? Что?»

Был нарком штучкой столичной, приближенный, взысканный милостями, украшенный всяческими чекистскими добродетелями и орденами, вхожий в Кремль, въезжий в Кунцево, в «Ближнее», в «Дальнее», и то, что очутился он вдруг в Алма-Ате, вызывало разные толки. То есть формально-то то, что он, начальник областного Управления, стал наркомом большой республики, выглядело даже, пожалуй, как повышение, но люди-то понимали: Москву на Алма-Ату такие тузы так не меняют! Значит, что-то есть. Впрочем, рассуждали и иначе. Просто-напросто из столицы прислали новую метлу—работали мы плохо, вот и приехал на нас новый «Всех давишь». И если бы этот «Всех давишь» стал бы сажать с места в карьер, снимать и перемещать, то все было бы просто и ясно. Но в том-то и

дело, что он оставил все как было и даже тронную речь на общем собрании произнес не больно грозную.

Тогда заговорили о наркомше — волоокой, полной стареющей даме восточного типа. Она была младшей сестрой той, не то скоропостижно скончавшейся, не то (но тс-с! Только вам! А вы об этом, пожалуйста, никому!) — застрелившейся. (Застреленной! застреленной! конечно же застреленной!) Так вот, может, чтоб не вызывать ненужные ассоциации, и решили его из Москвы — сюда?! Что ж? Может быть, и так. А наркомша с первых же дней стала показывать себя: прежде всего она погнала всех вохровцев из прихожей в их сторожевые будки на улицу. Румяные полнощекие парни, конечно, взвыли. Наркомше попытались доказать, что это неразумно, не по правилам. Но она очень коротко спросила: а что ж, собственно, значит ВОХР? Внешняя охрана? Ну и пусть охраняют с улицы.

И вот вохровцы сидели в будках с окошечками, а наркомша вместе с девушкой Дашей и бородатым мордвином-садовником ходила по саду, обрезала розы и высаживала тюльпаны. За эти вот тюльпаны ее и возненавидели пуще всего. И, конечно, особенно те сошки и мошки, которые о наркомовской прихожей даже и помышлять не смели. Но помилуйте, так ли должна вести себя передовая советская женщина, жена наркома, члена самого демократичного правительства в мире? Пример-то, пример!

Но скоро все успокоились. Как-то внезапно выяснилось, что вместе с новым наркомом в Большой дом впорхнул и целый женский рой гурий — личные секретарши (их звали секретутками и боялись пуще огня), секретные машинистки, буфетчицы, официантки в наколочках и с белыми крылышками за плечами. Словом, такие валькирии и девы гор зареяли по всем семи этажам, что у солдат и молодых следователей при одном взгляде становилось тесно в брюках. А на седьмом небе, в башенке, где царил вечный сумрак и покой (висели золотистые занавески), заработала новая стойка и голубая комната отдыха. Наркомша там не показывалась, и это очень всех утешало. Это тебе, мадам, не тюльпаны сажать! Но опять-таки, снятые такое себе не разрешают. Снятых истерика бьет, они благим матом орут, они громыхают на собраниях, они гайки завинчивают так, что резьба с них срывается к дьяволу. Одним словом, вокруг наркома — тяжелого и широкоплечего человека с жесткими черными прямыми волосами и сизым сильным подбородком — все время стоял легкий туман недосказанности и недоумения.

А работал он споро и четко. Все читал сам, каждую неделю выслушивал отчеты начальников отделов. «А бумаги оставьте,— говорил он после доклада,— я посмотрю». И действительно смотрел, потому что возвращал с пометками. В Москве с ним считались. Быстро, без всяких дополнительных объяснений утвердили дополнительную смету на расширение штатов, а ОСО перестало возвращать дела на доследование. Областных прокуроров по спецделам новый нарком не жаловал и принимал туго, на ходу. Но прокурора республики, высокого, рябоватого, патлатого доброго пьяницу, любил и каждый сезон выезжал с ним в балхашские камыши на кабанов. Милосердия или даже простой справедливости новый нарком не знал и не понимал точно так же, как и все его предшественники, и до сути дела никогда не докапывался. На одном совещании он высказался даже так: есть правда житейская и есть правда высшая, идейная, в данном случае следственная. Для каждого работника органов строго обязательна только она. Однако лишнего накручиванья и усложненья тоже не любил, и когда, например, Нейман задумал устроить большой политический процесс с речами, адвокатами и покаяньем — это могло бы кончиться для него совсем скверно. Но помог братец — подоспел вовремя и все уладил. И, однако ж, все равно сердце начальника второго СПО было не на месте. И вдруг этот простой дружеский визит.

— А дело этого музейщика дайте-ка мне,— вдруг приказал нарком.— Кстати, его ведет ваша племянница? Так откуда у него на лбу такой рог?

«Этого еще не хватало! Значит, он и в тюрьме был»,— ошалело подумал Нейман.

— Не знаю,— ответил он поспешно,— я еще домой не заезжал. Только, поверьте, племянница моя тут ни при чем. Он же десять дней голодовку держал. Наверно, упал и об стену как-нибудь...

— А-а! Может быть! — согласился нарком.— Теперь вот что: я просматривал материал об этом золоте. Знаете, все как-то очень туманно. Вот поездка Зыбина на Или. Он заходил в правление колхоза, разговаривал с ларешницей, называл ей какие-то фамилии. Какие? Неизвестно? Ларешницу даже не вызывали. Почему? К кому он приезжал? Зачем? Девчонка из музея ровно ничего не знает. («Ах, значит, он и до девчонки добрался — ну, ну дела!») Как это все получается?

— Фамилии ларешница не помнит,— угрюмо ответил Нейман.— Я сам с ней говорил.

— Ах, не помнит,— нахмурился нарком, и лоб у него вдруг прорезала прямая львиная складка.— В камеру ее тогда без всякого разговора, пусть сидит — вспомнит. Поезжайте туда и доведите дело до конца. Завтра же и поезжайте. Доложите мне лично! Стыд! Позор! Она не помнит!

— Слушаю, товарищ нарком,— слегка наклонил голову Нейман.

Теперь нарком говорил резко, жестко, и даже глаза его блестели, как у вздыбившегося кота.

— Не слушайте, а делайте!— повысил он голос.— Чем фантазировать, вы бы лучше... У нас еще, дорогой товарищ начальник второго СПО, и Дома Советов для таких зрелищ, какие вы предлагаете, не выстроено! Колонного зала нет!.. Каяться преступнику негде — вот беда-то!— Он махнул рукой, подошел к окну и повернулся спиной.

«Но что все-таки с ним произошло?» — подумал Нейман. И тут вдруг Нейман услышал, как нарком быстро и неясно пробормотал «плохо, плохо» и раздался странный, не похожий ни на что звук — это нарком скрипнул зубами. Несколько секунд он еще простоял так, прямой, страшный, со сжатыми кулаками, и спина у него тоже была страшная и прямая. А затем он вдруг вздохнул и опал, как проткнутый мяч.

— Так поезжайте, поезжайте,— сказал он уже мягко, отходя от окна, и вздохнул.— Нажмите на эту чертову ларешницу. Пусть, пусть вспомнит. У этих баб память бесовская. Я еще в царское время одной пятак не отдал, так она мне после Октября вспоминала. А то фамилии она забыла... Вспомнит!

Зазвонила вертушка. Личная секретарша по всем кабинетам искала наркома. Срочно вызывает Москва. Из личного секретариата Николая Ивановича. Нарком осторожно опустил трубку на рычаг и как-то очень просто и даже покорно взглянул на Неймана. И в то же время что-то огромное мелькнуло на миг в его глазах. Он хотел что-то сказать, но резко повернулся и вышел.

— До свиданья, товарищ нарком!— запоздало вслед ему крикнул Нейман.

— Да, да!— ответил нарком уже на пороге.— Да, да, до свиданья! Поезжайте на Или, спросите получше. У них такая память...

Нейман пришел домой усталый, разбитый и только что переступил порог, как к нему из кухни бесшумно метнулась Ниловна.

— Здр...— начал было он, но она прижала ладонь к губам, кивнула на Тамарину комнату и поманила его за собой на кухню.

— Тамара-то наша,— зашептала она,— сначала все говорила сама с собой, я все слушала, думала, по телефону, нет, сама с собой! А до этого они с Роман Львовичем в ресторане были. А вернулась... Шаталась. Он ее под руку.

— Та-ак! — Нейман быстро скинул плащ, подошел к зеркалу, поднял с подзеркальника гребенку и провел по волосам. Они у него были волнистые, густые, и он гордился ими.— Так, значит, без меня весело жили. Хорошо! — Он подошел к двери ее комнаты, постоял, послушал. Она, верно, что-то говорила, но слов он не разобрал. Тогда он стукнул и спросил: — Можно?

— Это ты, дядя? — отозвалась она.— Войди, войди, ты кстати приехал, здравствуй. Письмо тебе тут от Романа Львовича.

Она встала с тахты, взяла со столика папку, распахнула, вынула оттуда большой, в лист, конверт, протянула Нейману. На конверте было написано: «Р. Л. Штерну. Лично».

— Откуда это у тебя? — удивился и испугался Нейман.— Роман забыл? Так зачем же ты его распечатала?

— Да он не был запечатан,— усмехнулась она,— лежал на самом виду на твоем столе. Так что смотри.

— Да зачем мне это? — воскликнул Нейман.— Совсем не интересуют меня дела Романа.

— А поинтересуйся, поинтересуйся,— продолжала она тем же тоном, не то насмешливым, не то презрительным.— Там бумажка вверху лежит, ты ее посмотри... Да я тебе ее прочитаю.

«...Метод переливания трупной крови является блестящим завоеванием советской медицины. Впервые он был применен в Институте Склифосовского в 1932 году, а в 1937 году разрешен на всей территории Советского Союза. Трупная кровь имеет следующие преимущества перед донорской: во-первых (слушай, дядя!), кровь внезапно, без агонии умершего (она повторила: без агонии) благодаря феномену фиброгенеза остается жидкой и не требует добавления стабилизатора.— Она взглянула на Неймана. Тот стоял и слушал.— Во-вторых, от трупа можно в среднем изготовлять до трех литров крови, что позволяет в случае надобности производить массивные переливания одному рецепиенту без смешения крови различных доноров. В-третьих, кровь признается годной только после вскрытия трупа. При изменении в легких, желудке, селезенке, печени

кровь бракуется как негодная. До сих пор, однако, добыча этого ценнейшего продукта была связана со случайностями и поэтому главным образом использовалась кровь погибших от уличных катастроф. Ныне же мы, работники медицинской части управления, учитывая обстановку и легкость получения свежей трупной крови, вносим рационализаторское предложение...»

— А ну перестань! — оборвал ее Нейман и стукнул кулаком по столу.— Дай сюда эту гадость.— Он вырвал пакет и отбросил его на тахту.— Ах ты сумасшедшая дура,— выругался он.— Березка! Боттичелли! Додумались, сволочи!

— Это ты про кого? — спросила Тамара.

— Не про тебя же.— Он съел какое-то слово.— И тот христосик тоже... Ух, я бы их!.. Брось об этом думать, а то додумаешься! Ну, она дура, психичка! Только и всего! А Роман тоже хорош, подбросил тебе эту штучку. Слушай, он ведь нехороший, этот Роман! Очень нехороший. Конечно, мне он брат и я его люблю, но все-таки... он... нехороший! Черт знает что у него в голове. Строит из себя что-то... Видишь ли, хочет при всем при том, что у него есть — а у него уже много что набралось,— остаться честным и хорошим. Чистеньким быть хочет. А что такое честность? Большая Советская Энциклопедия до этой буквы еще не дошла...

— А разве такие не все?

Нейман внимательно взглянул на нее, вдруг подошел и взял ее за руку.

— Слушай, мне что — звонить сестре, чтобы она немедленно приехала и забрала тебя? (Она молчала.) Ну говори же: звонить? Я позвоню! Вот сейчас и позвоню! Ведь эти штучки знаешь где кончаются? В печи! Следовательница! И я, дурак, верил, что ты можешь! На первом же алкоголике, засранце испеклась! Нечего тебе было тогда и ГИТИС бросать! Пела бы сейчас в оперетке. А я тобой гордился, я-то говорил: такая умница, такая чуткая! Ничего! Показала свой ум! Боже ты мой,— взмолился он вдруг,— Бог Авраама, Исаака и Иакова, как говорил мой отец. Как же нынешним всем мало надо! От одного щелчка валитесь! Если бы мы были такие, как вы, то была бы у нас советская власть?! Кончила бы ты юридический институт? Да просто вышла бы замуж за грузинского князька или таскалась бы с таким же вот, как этот Зыбин; и он бы стишки читал, а ты бы ему хлопала... Вот это вернее.— Он говорил и ходил по комнате. В коридоре вздыхала Ниловна.

— Да что ты такое говоришь?— воскликнула Тамара.

— А что? Не нравится? А мне тебя видеть такой нравится? Вот я сейчас опять ехать должен, так как же я тебя такую могу оставить?

— Куда ехать?— спросила она.

— На кудыкину гору журавлей щупать— не снеслись ли! По делу ехать. По этому же идиотскому делу и ехать. Ну как я тебя оставлю? Ведь ты же следствие ведешь. Следствие по делу настоящего врага. Уже по всему ясно, что он враг, а ты... Честное слово, не знаю, что мне и делать. Ведь уже до наркома что-то дошло! Ах ты...

Она вдруг подошла к нему, обняла его за плечи и потерлась, как в детстве, подбородком о его плечо.

— Ну, ну,— сказала она виновато н покорно,— не надо! Все будет в порядке. Просто меня этот прохвост действительно довел до ручки.

— Да чем же, чем?— воскликнул в отчаянии он.— Боже мой, чем же именно он мог тебя, умную, ученую, довести до чертиков? Чем?

— Не знаю. А скорее всего не он довел, а сама я расклеилась. У нас же в семье все немного.— Она покрутила пальцем возле лба.

— Даже и папа?— усмехнулся он.

Тамара успокоилась и снова села к столу.

— Ну, если он отпустил меня из ГИТИСа в ваш юридический институт,— улыбнулась она и украдкой сняла слезы,— значит...

Она подошла к зеркалу, взглянула на себя и, отойдя, сразу забыла свое лицо.

Начальника ОЛП трясла за плечо жена, а он только мычал и отбрыкивался. Вчера он набрался на свадьбе так, что завалился на хозяйской кровати, а потом его еле дотащили до дома.

— Миша, Мишенька, вставай, вставай. Тебе говорят, вставай!— надрывалась жена.— Прокурор приехал. Вот он сейчас войдет. Миша, Мишенька, неудобно же!

Миша только мычал и утыкался в подушку. Нейман вошел н, легко отстранив жену, спросил:

— Голова, Миша, болит?

— Угу,— ответил Миша не поворачиваясь.

— А опохмелиться хочешь? На вот, опохмелись.

— Ну?— сказал Миша не оборачнваясь, но протягивая руку.

— Вот. Бери. Да повернись ты, повернись! Давай, давай!

— Давай-давай знаешь чем в Москве подавился?— вдруг очень бодро спросил Миша, по-прежнему не двигаясь.— Ты кто?

Жена подошла с ковшом и вылила его на голову начальника. Тот сразу вскочил и заорал:

— Убью, стерва!— Но тут увидел Неймана со стаканом в руке.— Дай!— приказал он ему.

Тот отстранил стакан.

— Одну минуточку! Ларешница Глафира работает у тебя?

— Так я ее, стерву, убью,— сказал начальник спокойно и сел на кровать. Глаза у него были красные, как у кролика.— Заключенным водку продает. Это как? Убью и не отвечу. Ну что ты выставил его как... дай!

Он опять протянул руку, но Нейман опять отвел стакан и спросил:

— Сегодня ее смена?

— Она сейчас придет,— сказала жена,— она должна будет принести.

Начальник еще посидел, посмотрел на Неймана, и до него что-то дошло. Он вдруг встал, прихватил на себя одеяло и молча вышел из комнаты почти трезвой походкой.

— Извините,— сказал он уже из коридора.

Наступила неловкая пауза. Жена подвинула к себе стул и села. Она глядела то на пол, то на Неймана. Тот тоже взял стул и сел. Так они и сидели друг против друга. «Ну как будто конвоирует, сволочь»,— подумал Нейман и сказал:

— Воды у вас можно попросить?

— Можно,— ответила она, но не двинулась.

«Ах ты стерва!— опять подумал Нейман.— Вот стакан с водкой стоит, выпить разве?»

— Такая у вас жара,— сказал он.— Ехал на машине, так пыль на зубах скрипит.

Она молчала и глядела то на пол, то на него.

Вошел начальник. Он был уже в мундире.

— Извините,— сказал он строго.— Вчера поздно лег. Работа. Вы по делу?

— Не в гости, конечно,— ответил Нейман.— Надо допросить свидетельницу.

— Ваши документы?— так же хмуро спросил начальник.

— Так-таки сразу же тебе и документы?— улыбнулся Нейман и подал служебное удостоверение. Начальник взглянул и отдал обратно.

— Извините,— сказал он угрюмо.— Тут у нас вчера немного...

— Ну, дело житейское,— великодушно махнул рукой Нейман.— Так у меня дело к ларешнице.

— У нас их три. Ах да, вам Глафиру нужно, сейчас приглашу.

— А свободная комната у вас найдется?

— Это сколько угодно,— улыбнулся начальник.— Сейчас пригласим.— И потянулся к телефону.

Все обертывалось так, как и заранее можно было предположить. Ларечница Глафира Ивановна, пышная белолицая женщина лет тридцати пяти, очень похожая на кустодиевских купчих, испуганно глядела на него, мекала, разводила руками, даже раз пыталась заплакать, но вспомнить ничего не могла. Он настаивал, напирал, кричал, не верил в ее забывчивость, но отлично понимал, что баба действительно ничего не помнит. «Ну хоть бы ты, балда, соврала,— подумал он под конец,— ляпнула мне первые попавшиеся имена, я записал бы и уехал. Правда, потом пошла бы морока. Но там как-нибудь уж вылез бы. Так вот не сообразит же, дуреха». И дуреха действительно ничего не соображала, а только таращила на него светлые, со слезой, пустые от страха и бестолковости глаза н либо молчала, либо порола несуразицу. Тут в дверь постучали, н он с великим облегчением воскликнул: «Да!» Звал начальник. Когда он вошел, тот сидел за столом помятый, сердитый, с несчастным замученным лицом н хмуро кивнул на лежащую на столе трубку: «Вас».

Звонила Тамара, и с первых же ее слов Нейман сел, да так и просидел до конца разговора.

— Ричарда Германовича вызвали в Москву. Улетел на самолете, говорят, что не вернется,— сказала Тамара.— За тобой два раза присылал Гуляев — спрашивал, где ты. Я сказала, что не знаю.

— Так,— протянул Нейман, и больше у него не нашлось ничего,— так-так. (Ричардом Германовичем звали наркома.)

— Потом звонил замнаркома, спрашивал, где ты. Я сказала, что не знаю. Он велел сказать, если позвонишь, чтоб немедленно возвращался. Трех человек у вас из отдела забрали.

— Так,— сказал он.— Ну хорошо, пока.

Когда он вернулся, ларечница сидела и плакала. Просто разливалась ручьями. «Ах ты рева-корова. На кой черт ты мне сейчас нужна со всеми своими фамилиями».

— Ладно,— сказал он сердито,— идите.

Она вскочила и уставилась на него, и тут он вспомнил, где он ее видел. В «Медео», у Мариетты. Она была у нее подменной. Вот куда бы нужно было съездить! К Мариетте! Захватить здесь коньяку бутылки три, конфет — и туда! Вот это дело.

— Ну что стоишь? Иди! — сказал он с добродушной грубостью.

— А...— начала она.

Он встал, открыл дверь и сурово приказал:

— Быстро! Ну!

Потом постоял, подумал, вздохнул и решительно толкнул дверь кабинета начальника. Тот сидел за столом и уныло глядел в окно. Ворот он расстегнул. Когда Нейман вошел, он уставился на него раскаленными глазами.

— Где у тебя водка? — строго спросил Нейман.

— Что?!

— Водка! Водка где? — прикрикнул Нейман.— В столе? Давай ее сюда! У меня тоже башка трещит со вчерашнего.

— Хм! — почтительно хмыкнул начальник, и лицо у него сразу оживилось.

— Что хм? Буддо Александра Ивановича знаешь? Он что, у тебя все еще на топливном складе работает? Да нет, нет, пусть работает. Каждая тварь по-своему выгадывает. Так где водка-то? Ага! Давай ее сюда! А стакан? Один только? Ладно, выпьем из одного. Не заразные.

Они сидели рядом и выпивали. Сейчас начальник ОЛПа Михаил Иванович Шевченко представился Нейману совсем иным человеком: был он неторопливым и спокойным, говорил с широким волжским «о», а его простецкое, с русской курносинкой лицо, веснушки, желтые волосы никак не подходили к строгой военной форме и значкам. Среди этих значков был и почетный значок чекиста, и «ворошиловский стрелок», и даже что-то бело-голубое альпинистское. Так что сейчас человеком он представлялся не только серьезным и бывалым, но и с заслугами. Ему первому и сказал Нейман о наркоме — вызвали наркома в Москву, и вряд ли оттуда вернется. Говорить это, конечно, не следовало, но что-то уж слишком плохо было у него на душе. И хотелось хоть с кем-то поделиться.

— Да,— сказал Михаил Иванович равнодушно,— недолго же он у нас продержался, хотя, впрочем, как недолго? Два года! Срок!

— А может, еще вернется. Аллах его знает,— вслух подумал Нейман.

— Может и вернуться,— согласился Шевченко.— Да, пошла, пошла работка! Но вы подумайте, как все тонко у них там было разработано — ведь они все прошили насквозь, все! В любой дырке сидели! Ну еще бы, такие посты занимали! От них все и зависело! Ведь если бы они вовремя сговорились да и выступили, а?..

Нейман поморщился, он не любил такие разговоры: от них всегда веяло чем-то сомнительным, тут слово прибавь, слово отбавь — и вот уже готовое дело.

— И сколько надо было ума, чтобы всю эту адскую машинку расшатать, выдернуть по человечку,— продолжал Шевченко задумчиво,— сначала, конечно, кого поменьше, а потом и побольше, и побольше! И самого председателя Совнаркома за шиворот. И так умно, так точно задумал наш мудрый, что никто из них, негодяев, даже и не шелохнулся! Все сидели, как зайцы, ждали. Вот что значит работать под единым руководством!

Нейман нахмурился. Не то что Шевченко нес чепуху, нет, но вообще рассуждать о таких вещах не полагалось. Читай газеты, там все написано.

— Мы врагов никогда не боялись и никогда не считали, сколько их,— ответил он холодно, так, чтобы сразу оборвать разговор.— И было их все-таки ничтожное меньшинство.

— Да, это точно, ничтожно мало,— вяло согласился Михаил Иванович,— что уж нам говорить, когда партия и правительство свое сказали, но только они хитрые, до чрезвычайности они хитрые, они в любую дырку пролезут, но все равно, когда их час придет, никуда они не денутся. Свои же и сдадут.— Он помолчал, чему-то усмехнулся, чокнулся с Нейманом и продолжал: — У нас вот какой случай был. Прислали нам нового начальника чиса (снабженца). Такой асмодей был, что клейма негде ставить, молодой, шустрый, весь в коже, скрипит, но заключенным потрафлял: никаких замен — масло так масло, мясо так мясо, получи все до грамма. У него брат работал воротилой в управлении лагерей, так он ничего не боялся! Пил с заключенными, не со всеми, конечно, а со своими придурками. И вот загребли брата. Ну и за ним, конечно, должны были приехать, он раньше все узнал и со своими лучшими дружками — расконвоированными — поехал на станцию. Дружки-то все надежные, честняки, те самые, которые умрут — не продадут, ну как же? Он им и баб приводил, и зачеты один к одному писал, и даже в сберкассу на

их счет деньги клал, из ворованных, конечно! Но вот как они только в степь отъехали, эти дружки и говорят: «Давай, начальник, потолкуем теперь по-свойски, по-лагерному!» И по-тол-ко-вали! Да как! По лицу сапогами. Я потом, когда его привезли в санчасть, ушел: смотреть не мог! Нет лица! Били, били да в железнодорожное отделение и сдали! Вот, мол, поймали, бежать хотел! Нет, нашему брату никак не убежать! Некуда! Выдадут! Вот воры — те да! У тех дружки, бабы, паспорта, хавиры. А у нас что? Вот так-то! — Он вздохнул и поднял стакан.— Ну что ж, выпьем еще по последней, да и спать пора! Вы уж, наверно, сегодня не поедете, так я вам у себя в кабинете постелю. За ваше здоровье. Мария Николаевна, зайди-ка сюда! Они у нас останутся, а то припозднились! Куда им ехать!

«Да, не зря все это он мне рассказывает,— подумал Нейман и почувствовал, что ему стало горячо, как перед баней.— Значит, сообразил он, думает, что мне конец — наркома взяли и меня туда же! Поэтому и оставляет тут, чтобы сразу тепленького сдать! Сейчас звонить будет!»

— Я пить не буду,— сказал он.— Я пойду пройдусь!

«Вот что самое страшное на свете — секретная машинистка. Какая-то особо доверенная дрянь с персональным окладом и пайком! Вот сидит сейчас эта стерва и печатает на меня бумажку! Вот как та Ифарова! Ведь в комнату ее никто не смел войти, ее домой наркомовский шофер возил, если задерживалась. Печатала только наркому и его заместителям! А потом, конечно, на наркома и его заместителей. Четырех наркомов пересидела, пока кто-то не стукнул. Ее отец тут же, в городе Верном, имел капиталистическое предприятие: не то забегаловку, не то бардак. В общем, выгнали ее, окаянную, из наших святых стен. Сейчас в Союз писателей поступила, подстрочники гонит. Ничего, не обижается! Раньше писательские доносы друг на друга печатала, теперь их романы и поэмы с посвященьями друг другу шпарит. Встретил я ее раз, идет довольная, улыбается. «Ну как вы там? Не обижают?» — «Ну что вы! Культурнейшие люди! Совсем иная атмосфера! Я душой отдыхаю». Черт, гадина! И взгляд у нее гадючий, зеленый, и шея сохлая, как у гремучей змеи! Ее кто-то прозвал мадам Смерть. Вот такая сейчас и печатает на меня. Прислали мне однажды рисуночек. Я сижу строчу что-то за столом, а смерть сзади занесла надо мной косу! Эх вы, мои дорогие, да

разве у смерти сейчас коса?! У нее «ундервуд» и папка «На подпись», а вы мне какое-то средневековье шьете: косу, скелет! Мне это все пхе, как говорил папаша. Так что вполне может быть, что мы встретимся с Зыбиным на одной пересылке. И повторит он мне тогда то, что выдал однажды этому дурню Хрипушину. Тот ему начал что-то о родине, об отчизне, а он ему и отлил: «Родина, отчизна! Что вы мне толкуете о них? Не было у вас ни родины, ни отчизны и быть не может. Помните, Пушкин написал о Мазепе, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу и нет отчизны для него. Вот! Кто свободу презирает, тому и отчизны не надо. Потому что отчизна без свободы та же тюрьма или следственный корпус». Неужели Пушкин верно так написал: отчизна и свобода?! Да нет, быть не может. Это он сам выдумал, сам! И не зря он посажен! По глубокому смыслу он посажен! Виноват или нет, крал золото или не крал — другое дело. Но вот если я, мой брат драматург Роман Штерн, Тамара и даже тот скользкий прохвост и истерик Корнилов должны существовать, то его не должно быть! Или уж тогда наоборот! А впрочем, черт с ним! Мне сейчас дело только до той стервы с шестого этажа, что сидит и печатает свою бумажку. Свою бумажку на мою голову. Нет, ее бумажку на мою голову! Нет, стой, не так... Она сидит и печатает бумажку... печатает свою бумажку...»

Он остановился и провел ладонью по лбу — потный, потный лоб. «Степь, дует ветер, а я потный, потный. В жару. Хожу и разговариваю сам с собой. А ведь уже ночь, протяни руку — и не увидишь. Только вон там, на краю обрыва, как будто что-то светится, вот камень вижу, куст, а вот сейчас даже и совсем ясно каждую веточку видно. Э, да там костер! Неужели рыбаки это сидят у костра? Ночью-то зачем? Они ведь давно спать должны. А может, это беглые, беспаспортные? Их ведь тут много, беглых. Говорят, целая шайка развелась. Браунинг при себе, может, пойти и проверить? Фу, черт, я опять брежу! Мне браунинг сейчас для себя нужен, чтобы оставить этих прохвостов в дураках. Ведь тогда они и дело не начнут — побоятся, что упустили, не проявили вовремя бдительность. Напишут что-нибудь вроде «нервное переутомление». А может, и в самом деле... Ведь годы мучений, болезней, голода, унижений, а здесь пара секунд — и все! И все до копеечки! До последнего грошика! И не пожалеешь ведь никогда, не раскаешься потом! Потому что просто не будет этого самого «потом»...»

Он нащупал браунинг, его злую, шершавую, тяжелую рукоятку, вытащил до половины и толкнул опять: что просто? Что тебе просто, болван? Ты просто сошел с ума. И это у тебя не бред, а сумасшествие. Сумасшествие, и все!

Он подошел к краю обрыва. Внизу горел костер, и за ним кто-то сидел. На палках висел котелок. «Уха!— подумал он.— Маринку варят. Что ж, разве подойти? Хоть раз попробую, что такое маринка. А то как-то не доводилось. На этом берегу ее ловят и коптят, а больше ее, говорят, нет нигде в мире». Стой! Маринка! Что такое у него связано с этим словом?

Он постоял, подумал. Что-то очень многое промелькнуло у него в голове, но все туманно, путано, обрывисто, и ухватить этого он не смог. «Эх, не надо было пить»,— подумал он и стал осторожно спускаться с высокого берега.

Два человека находились на берегу. Один сидел у реки спиной к костру. Другой что-то варил в черном солдатском котелке. Костер горел высоким белым пламенем — так на озерах горит сухой камыш. Нейман вышел из темноты и подошел к огню.

— Здравия желаю,— сказал он.

Человек над огнем поднял голову, взглянул на него, потом опять наклонился над котелком и осторожно снял с варева ложкой какую-то соринку. Сильным коротким движением стряхнул ложку и только тогда ответил:

— Будем здоровеньки.

Был он низенький, плечистый, большеголовый.

Нейман подошел к костру вплотную и передернул плечами.

— Можно погреться?— спросил он.— Холодно!

Поднимался туман, от реки несло большой текучей водой и сырой глиной.

— А тут места всем хватит,— ответил большеголовый.— Садитесь, пожалуйста! Что, из города?

— Да,— ответил он.

Большеголовый наклонился, поднял с земли серую сумку из мешковины, достал из нее тряпочку, досуха обтер ложку и сунул обратно в сумку.

— Часов нет?— спросил он отрывисто.

Нейман посмотрел на браслетку.

— Десять скоро,— ответил он.

— Я утром тоже в город поеду,— сказал большеголовый.— Сапоги резиновые купить надо, а то видите: тут неделю — и башмаков нет.

Башмаки у него были солдатские, несокрушимые, с мощными оттопыривающимися швами.

— Не знаете, есть там кирзы?

— В любом количестве,— ответил Нейман.— Только идите сразу в магазин «Динамо», знаете, на Гоголевском проспекте?

— Знаю, бывал.— Он вздохнул.— Вот плиточного чаю еще подкупить надо. Чай у нас, товарищ, в большом количестве идет. Солоно живем. На рыбе! Ну что же, может, не погребуете отведать ушицы?

Он быстро подхватил котелок и снял его с костра.

— Вот так, так, так!— быстро проговорил он, притыкая его на земле.— Эх! Ушица! С лучком, с перчиком, с морковочкой! Отец, а отец!— обернулся он к реке.

— Ишьте!— ответил тот не оборачиваясь.— Я сейчас не буду. Я вот...— Он встал и подошел к чему-то темному и длинному, что лежало на земле, покрытое брезентом, и наклонился над ним.

— Рыба?— спросил Нейман.

— Утопленница,— неохотно ответил большеголовый.— С утра караулим. Откушайте, пожалуйста. Вот хлеб, ложка, пожалуйста.

— А он?— спросил Нейман.

— А ему сейчас никак нельзя. Он потом будет.

— Да, я потом,— подтвердил тот, у реки, и вдруг повернулся и прямо взглянул на Неймана.— А вы не фершал с лагеря?— спросил он.

И тут Нейман увидел его лицо. Было оно еще молодое, но с мелкими чертами, какое-то по-звериному заостренное, узкое, высматривающее, и поэтому человек напоминал лису. У них таким лицам не доверяли. А худ он был страшно: щеки при свете костра обозначались темными пятнами. Волосы же были светлые и жесткие, как у лесного зверя.

— Нет, я не из лагеря, не фельдшер,— ответил ему Нейман.

— А что же вы не кушаете?— спросил большеголовый.— Сейчас надо хорошо кушать, а то застынешь. Вон ветер какой! Ах, вы на утопленницу все смотрите? А что на нее смотреть-то? На то и река у нас, чтоб мы топли. Ешьте! На поминках тоже едят!

— А как она утонула?— спросил Нейман.— Унесло ее, что ли?

Он вспомнил разговор о том, что река Или очень коварная, нехорошая река — течет она как будто тихо, спокойно, а в ней омуты и водовороты: вдруг подхватит тебя, закрутит и потащит. Тонут в ней часто.

— Может, и унесло,— равнодушно согласился большеголовый.— А может, и утопили, хитрого тут ничего нет. Места здесь такие. Ладно, милиция приедет, все разберет...

— Снасильничали и бросили,— сказал Нейман.

— Да вы кушайте, кушайте,— повторил большеголовый.

Был он как будто неуклюж и неповоротлив, а на самом деле все у него получалось ловко, сноровисто; легко он прихватил снятыми рукавицами горячий котелок, мягко снял с огня и сразу крепко и прочно угнездил в камнях; потом быстро и ловко нарезал перочинным ножом крупные и ровные ломти хлеба и разложил их на какой-то фанерной дощечке, то есть как будто не только приготовил уху, но и стол накрыл.

— А вы из здешнего колхоза?— спросил Нейман.

— Бригадир шестой рыболовецкой бригады,— ответил большеголовый,— вот они, наши землянки.— И он кивнул головой в темноту у реки.

— Платье тоже не факт,— сказал вдруг тот, с лисьей физиономией,— у нас вот было: одна разрядилась во все ненадеванное да с моста и сиганула. Так и тела не нашли. Только туфли лаковые на мосту остались. Так это, может, и здешняя.

Что-то дурацкое, дурное нашло вдруг на Неймана, и он ляпнул:

Я страдала, страданула,
С моста в речку сиганула.
Из тебя, из дьявола,
Три часа проплавала.

— Нет, тогда не так было,— не согласился похожий на лисичку.— Тогда всем им двадцать четыре часа давали, а у нее свадьба уже была назначена. Жених с ней собирался ехать, а он на хорошем счету у себя был, вот она подумала да и...

— И дура,— сказал большеголовый крепко.— И большая она дура! Тоды что же нам-то надо делать? Тоды нам всей деревней прямо на шпалы ложиться? Только что так. Вот у меня трое маленьких было, сюда привезли — через два года ни одного не осталось. Все животом померли. Так что я теперь должен делать? А?

— Что раскричался, Лукич? На всю реку слышно.

Из темноты вышел старик — высокий, жилистый, весь седой, только бородка изжелта-белая, как от табака. Лицо у него было бурое, иссеченное, даже как будто не морщинами, а шрамами, и только глаза так и остались веселыми, бедовыми, совсем молодыми.

— Ну как тут у вас? — спросил он.

— Да вот,— ответил большеголовый и кивнул на утопленницу,— все вставать не хочет, уж ждем-ждем, взглянем, а она все лежит.

— Да? — покачал головой бородатый.— Неважное ваше дело. А гражданин начальник все не едет?

— Так он теперь третий сон видит, гражданин начальник-то,— усмехнулся большеголовый.— К утру теперь, наверно, надо его ждать. Он на нас надеется, не дадим ей убечь, скрыть свою личность.

— Это так, конечно,— вздохнул бородатый. И вдруг как будто только что заметил Неймана, хотя как появился, так на него и уставился.— Доброго здравия,— сказал он почтительно. Нейман кивнул ему.— Не из правления?

— Нет, я тут...— начал что-то неловко Нейман.

— А я подумал, из правленческих кто. Ты иди, иди, Лукич,— сказал старик, вглядываясь в темноту, и как будто только что увидел того, похожего на лисичку.— А, и ты тут, Яша, человек божий, покрытый кожей,— сказал он,— значит, всем частям сбор. Не заскучаешь. Когда будешь идти, скажи моей старухе, чтобы Мишку через два часа взбудила. А то, знаешь, нас из города-то не видно, могут и завтра к обеду пожаловать.

— Счастливо оставаться.— Большеголовый встал, подобрал мешок и пошел.

— Значит, ушицу варите? Хорошее дело,— сказал старик.

И тут резко дунул ветер. Пламя взметнулось, и осветились горбатый серый брезент и тонкая женская рука рядом на гальке. Рука была белая, с распущенными пальцами. Огонь прыгал, и пальцы словно шевелились.

— Цеплялась,— вздохнул старик.— Когда тонут, так завсегда цепляются. Я из Волги одного мальчонку тащил, так он чуть и меня не потопил.

Он встал, подошел и заправил руку под брезент, но она опять упрямо вылезла. Тогда он совсем сдернул брезент, и Нейман на минуту увидел красное платье, ожерелье и откинутую назад голову с распущенными волосами и полуоткрытым ртом. Глаза тоже были открыты. Огонь и тени прыгали по лицу, и казалось, что утопленница поджимает губы и щурится.

— Как заснула,— сказал старик.— Эх, девка, девка, да что же ты над собой сотворила?

Тени все прыгали и прыгали по лицу покойницы, и то, что она лежала совершенно спокойно и прямо, как будто действительно заснула или притворилась, что он

видел ее ровные крепкие зубы, а в особенности то, что глаза были открыты и стояла в них темно-молочная смертная муть, та белая мертвая вода, которую Нейман всегда подмечал в глазах покойников,— все это заставило его вздрогнуть как-то по-особому. И не от страха и даже не от щемящей мерзкой тайны, которая всегда окружает гроб, могилу, умершего, а от чего-то иного — возвышенного и непознаваемого.

— А что же ее не откачивали? — спросил Нейман.

— Часа четыре ломали и так и сяк,— ответил седой,— и фельдшер был и доктор — всех частей сбор. Один раз так трахнули, что кровь пошла, обрадовались, думали, жива. Мертвые, мол, не кровенят. Нет, куда там!

— Сволочь! — вдруг произнес громко Нейман.— Березка! «Кровь из трупов»... по-научному разработала все, сука! Ах ты!..— Он сейчас же опомнился и закусил губу. Но сменщик стоял и молча держал брезент.

— Ну, со святыми упокой,— сказал он и осторожно, словно спящую, накрыл утопленницу, а голову оставил открытой.— Ей лучше все знать! Издалека, видно, откуда-то приехала, специально.— Он постоял, подумал.— Вчера еще в это время жива была,— сказал он.— Ела, пила, ходила...

И тут вдруг сзади него раздался странный голос. Нейман оглянулся. Яша стоял около покойницы и весело, с хитринкой глядел на них. «Приидите, и последнее целование дадим, братья, умершей»,— пригласил он их просто и деловито. Потом помолчал немного и сказал:

— Кое разлучение, о братья, кой плач, кое рыдание в настоящем часе.— Он сложил руки на груди и поклонился покойнице.— «Приидите убо целуете бывшую в мале с нами,— сказал он,— предается бо гробу, камнем покрывается, во тьму вселяется, к мертвым погребается и всех сродников и другов ныне разлучается».

— «Бывшую в мале с нами».— Старик вздохнул.— Умели старинные люди говорить. Ведь каждое слово вот как камень.— Он перекрестился и поглядел на Неймана. И Нейман тоже богомольно наклонил голову и даже занес было руку, но сейчас же и опомнился. «Черт знает что! — подумал он.— Действительно, факультет ненужных вещей! Напился, дурак!»

А тот же голос теперь уже скорбно, просто, раздумчиво не говорил, а почти пел:

— «Восплачьте обо мне, братья и друзи, сродницы и знаемы: вчерашний день беседовал с вами и вне-

запу найде на меня страшный час смертный. Приидите все, любящие мя, и целуйте последним целованием».

Он сделал какой-то неясный приглашающий знак, и они оба, старик и Нейман, как по команде пошли к телу. Яша уже стоял в изголовье на коленях и держал короткую толстую церковную свечу. Она трещала, колебалась, горела желтым и синим огнем. Когда они подошли, он поднес ее к самому лбу покойницы. И тут мертвая предстала перед Нейманом в такой ясной смертной красоте, в такой спокойной ясности преодоленной жизни и всей легчайшей шелухи ее, что он почувствовал, как холодная дрожь пробежала и шевельнула его волосы. И понял, что вот сейчас, сию секунду он сделает что-то невероятно важное, такое, что начисто перечеркнет всю его прошлую жизнь. Вот, вот сейчас, сию минуту! Но он ничего не сделал, потому что и не мог ничего сделать, просто не было у него ничего такого затаенного, что б он мог вытащить наружу. Он только наклонился и коснулся губами лба покойницы. Лоб был ровный, холодный, чисто отшлифованный смертью, как надгробный камень. Голос на миг смолк, пока он прикладывался, а затем взлетел снова. Слов он не слышал или не понимал их, но знал, что они объясняют ему все, что сейчас перед ним происходит. Но теперь ему уж было все равно. Больше у него ничего не оставалось своего. Он отошел и сел к костру. Через минуту к нему подошел и старик. «Кто это?» — спросил Нейман.

Тот еще пел и кланялся покойнице. Горела свеча. Лоб покойницы был высок и ясен... Глаза открыты.

— Теперь их деклассированными элементами зовут,— усмехнулся старик,— с нами в артели работает, божий человек Яша. Учился, говорят, когда-то в семинарии, революция согнала. Потом сидел. На Севере был. Там ему циркуляркой пальцы отхватило. Сейчас вот каких-то бумаг из Москвы ожидает, чтоб к родным ехать.

— И всегда он так по умершим читает?

— Если пригласят, то всегда.

Опять они сидели у костра. Но сейчас к ним присоединился Яша. Сел и молча подвинул к себе котелок как свое заработанное.

— Теперь и они могут,— объяснил старик,— раз он свою литургию отпел, значит, может и закусить, а раньше ему никак нельзя было. Закон такой поповский. Ешь, ешь, Яков Николаевич, ешь! Уха богатая, с пшенкой.

Губы и крылья носа у божьего человека Якова еще подрагивали, рот кривился, он обтер его тыльной стороной ладони и молча сунул ложку в котелок.

— Хлеба? — сказал ему старик.

Яша взял ломоть, закусил его и заработал ложкой. Хлебал он жадно, не прожевывая и обжигаясь.

Старик стоял над ним, приговаривая:

— Кушай, кушай. Кушай, божий ты человек. Очень хорошо сегодня читал, душевно. Да, все суета! Это ты правду. Вот у меня какое богатство было: две коровы, две лошади, овец, свиней сколько-то...

— Все суета человеческая, елико не пребывает по смерти,— строго перебил его Яша и объяснил: — Не пребывает богатство, не существует слава. Все персть, все пепел, все сень.

— Да, да,— согласился сменщик и качнул головой.— Это так! Все сень. И мы — сень. Из глины в глину. Это неглупые люди надумали! Действительно так. Вот, скажем, она, вот лежит сейчас она красивая, ладная, как будто заснула, а прикатят те на своих мотоциклах, затрещат, загребут, положат на стол и почнут потрошить. Кожу сейчас на голове подрежут, красным чулком завернут, на лицо накинут — видел я это. Почнут в мозгу копать, искать, какая в ней порча была, что она на эдакое решилась, в своем она сознании была или нет.

Лицо Яши болезненно скривилось, и он ничего не сказал.

Нейман расстегнул пиджак, достал из бокового кармана бутылку и протянул старику.

— О, вот это к месту! — обрадовался старик.— Здесь где-то кружка. Возле камней я ее где-то хранил.

Но божий человек Яша уже протягивал ему через костер алюминиевую кружку.

— Ага! Вот это у нас точно по-православному выйдет. Поминки! Тогда первый Яша и приложится. Вот я ему полную налью. Пей, Яша.

И Яша, божий человек, взял кружку и молча опорожнил ее до дна. Потом опять обтерся ладонью, округлил губы, сделал сильный круглый выдох.

— Ее душенька еще тут, возле нас ходит, она сорок дней тело сторожит,— сказал он.

— И видит нас? — спросил Нейман.

— А как же,— усмехнулся Яша.— Она все видит. Вот мы плачем, и она с нами плачет; мы о ней, а она о нас, только слезы у нас едкие, земные, а у ней сладостные, небесные, легкие.

— О чем же она тогда плачет? — спросил Нейман.

— Об нас. От умиления и жалости она плачет, — ответил Яша, — ах вы, мои близкие, ах вы, мои сродные. Да что же вы обо мне так плачете, разливаетесь? Мне уж теперь хорошо, ничего ни от кого не надо. Теперь все земное — смерть, любовь плотская, горесть, гонения — это все вам осталось. А я теперь легкая, белая, наскрозь, наскрозь вся светлая. Все земное, как тряпку, я сбросила и в вечное облачилась. Оно уже на веки веков при мне, никакая сила его отнять у меня не может! Пожалуйста! Благодарим! — И он протянул пустую кружку старику.

— Это если она овца, — сказал старик и строго взглянул на Яшу. — А если не овца она, волк? Как тогда? — Он налил себе кружку, выпил ее не торопясь; налил Нейману, подождал, когда он выпьет, и продолжал: — Тогда она вся страхом исходит: «Ах, что же мне теперь будет? Да где же я теперь свой спокой найду? Ведь только сейчас мои мучения и начинаются, а конца им и не видится». Вот оно как!

— Разрешите добавочку? — попросил божий человек и подставил кружку. — Благодарствую. — Он спокойно осушил все до конца. («Ну вот», — буркнул старик.) Это мы, Тихонович, никак знать не можем, скрыто это от нас, но намеки, — он повысил голос, — но намеки имеем! Помните разбойника, что вместе с Христом был распят? Ведь он поделом муку принимал. А что ему Христос сказал? «Ныне же будешь со мной в раю». Как же так он ему сказал-то? Разбойнику, а? Ведь он убивал, сиротил, грабил?..

— Так ведь он покаялся, — недовольно ответил старик, — он ведь сказал: «Помяни, Господи, мя в царстве своем».

— А-а-а! Сказал! Вот это уж другой разговор! — согласился Яша. — Это вы действительно в самую точку бьете. В смертный час воззвал разбойник: «Спаси!» — и спасен был. Вот так и мы. Если воззовем от сердца, то и получим. Но только надо все это без всяких хитростей. А то мы ведь мастера на это. Мол, заставили меня! Делал и мучился. Или: дети! Это я за них своей совестью поступился! На эти штучки мы куда как востры! Нет, там это не принимают. Там знают: это опять в тебе тот же черт коленками заработал. Нет, ты другое пойми: от людей тебе прощенья нету! На то они и люди, чтоб не прощать, а взыскивать. Ты никого не жалел, и тебя никто не пожалеет. А вот там другое. Там смысел нужен. Вот до него ты и должен дойти. Хоть в самый свой остатний

час, а должен! Он не с земли, он с неба нам дaден! Смысел!

— Ну и что тогда будет?—покачал головой сменщик.— Что, другую шкуру тебе выдадут, что ли? Вот, мол, Яша, тебе новая кожура—иди заслуживай, был ты Яша, стал ты Маша. Так иди, Маша, добывай Яше рая. Нет, я тут что-то никак в толк не возьму. Сколько время ты грешил и вдруг...

— Да нет, ты вот что в толк возьми: смысел!— крикнул Яша и так разволновался, что вскочил.— Тут дела твои и время ни при чем. Тут что минута, что миллиарды лет—все одно. В Ветхом завете этого не было—там время было. А для Христа—время нет! Ему твой смысел важен, чтобы хоть в последнюю секунду уразумел все. Он всю жизнь твою в эту секунду сожмет. За одну эту секунду он даст тебе ее снова пережить. Вот почему он Спаситель.

— Значит, хорошо получается,— сказал насмешливо старик.— Был у нас такой Мишка Краснов, поповский сынок. Ну сволочь! Ну пес! Отца его красные стрелили, а он рядом стоял с красным бантом, плакал в платочек и поучал его: «Сами виноваты, папаша. Я вас упрежал!» И с белыми, и с красными, и с зелеными, и с какими-то желтыми—со всеми, пес, нюхался. Потом уехал в город. Учиться. Приехал комиссаром. Весь в черной коже, сапоги новенькие, до самых до... Ходит, блистает. Наган на боку. Царь и бог. В соседней деревне пять жилых домов осталось. Кто сбег, кого застрелили, кто с голоду сам пропал. Девкам проходу не давал. Встретит какую гладкую и: «Приходи, Марья, я с тобя допрос сниму». Ну и снимал всю ночь. И доснимался. Вышло письмо о головокружениях. А потом приказ—забрать поповского сына Мишку! Приехали его забирать! А он, паразитина, стоит на коленках в пустой хате дьячковской и поклоны бьет. Во какой шишак себе набил! И базлает. «Господи!— базлает.— Прости мне все великие прегрешения! Господи, смилуйся! Батя мой, мученик безвинный, моли господа за меня!» И башкой раз! раз! об пол. Это в пустой хате! В той, где он всю семью перевел. Ах, пес! Ах, холера тридцатого года! Говоришь, разбойник на кресте покаялся? Так этот и до креста покается! Да еще как! Он на собраниях как шило навострился. Только слушай его!

— Так от чистого сердца нужно! Ты!—крикнул Яша.

— Ах от чистого? А он не от самого что ни на есть расчистого? Ну как же, гавкал-гавкал, ломал-ломал!

Все ордена, дворцы заслуживал, а заслужил рогожку! Ну и схватился, конечно, за башку! «Ах я дурак! Ах я такой-то! Ах я сякой! Где же у меня глаза-то были? За что же я совесть свою, отца продал? За что боролся, на то и напоролся!» И это у него от чистого, от самого чистого пойдет!

«Да, тут уж не разберешься,— подумал Нейман.— Тут уж, очевидно, просто веровать надо. А я разве во что верю? И вот тоже конец мне пришел, а с чем я остался? Ведь даже «господи, господи» крикнуть и то некому!»

Уже почти совсем рассвело, когда Нейман встал и отошел от костра. Яша — божий человек — спал по-ребячьи калачиком. Его желтое узкое лицо, изрезанное хитрыми морщинами, лицо не то юрода, не то гения, не то просто хитрого и юркого прощелыги, было ясно и спокойно.

Сменщик вывел Неймана на высокий берег в степь и сказал:

— Вон видите фонарь? На него прямо н идите. Это контора, она на бугре. Там обязательно кто-нибудь есть. Либо сторож, либо уборщица.

— Спасибо,— слегка наклонил голову Нейман.— Я оттуда сразу позвоню в город, скажу, чтобы прислали к вам.

Когда он вышел в степь, небо на востоке было уж совсем светлое. Туда, в холодную, желтую ясность эту, летели черные птицы. Не стаей, а сеткой, точками, то падали, то поднимались. Такое большое рассветное небо над степью он видел впервые. И поэтому стоял и смотрел до тех пор, пока птицы не исчезли. Дул легкий косой ветерок. Земля лежала седая, растрескавшаяся, и из нее росла тонкая и длинная, похожая на конский волос трава. Он увидел большой белый куст и бросил на него зажженную спичку. Куст сразу же занялся весь прозрачным водородным пламенем, пока огонь не упал и судорожно не задохнулся на твердой, как глиняный горшок, почве.

Дом на бугре стоял тихий и темный, но он хитро обошел его, зашел со двора и увидел, что заднее окошко за белой занавеской светится. Он постучал, никто не ответил. Он постучал еще раз — метнулась кремовая тень и встала, присматриваясь. Тогда он стукнул трижды — четко, резко, сильно. Занавеска чуть колебнулась, и женский голос спросил: «Кто там?»

— Отворите,— сказал он.— Следователь.— И, внутренно усмехнувшись, про себя добавил: «Пришел сдаваться».

Как он вошел, так и застыл у порога. Перед ним в тусклом желтом свете стояла, придерживая полы халата, Мариетта Ивановна.

— Господи!—сказала она облегченно, узнав его, и упала на табуретку.— А я-то... откуда?

— А-а-а...?—начал он, да этим и кончил: больше у него не получилось ничего, но тут стояла вторая табуретка, и он тоже рухнул на нее.— А вы?—спросил он безнадежно.

— Так я здесь второй месяц!—ответила она.— Господи, как же я испугалась: следователь!—Она засмеялась.— Надо же! Перевели меня сюда на время отпуска заменить заведующую, вот и ишачу. Так я же вам звонила, приглашала на именины. Ваша племянница подходила.

— Да, да, да.

Он провел ладонью по голове. Болела даже не голова, а вся кожа, шкура, волосы.

— А Глафира?—спросил он.— Ведь она...

— Так она моя сменная! Живет на станции. А вчера ее... Слушайте!— Ее глаза вдруг округлились и побелели от ужаса.— Следователь?

«Да, хорошенькая история, черт бы меня побрал,— подумал он,— как нарочно! И ведь несет же меня куда-то бесу под хвост! Ладно! Сейчас я пьяный—и ничего не помню, не знаю и знать не хочу!»

Он поднялся, подошел к Мариетте и положил ей руку на шею.

— Нет, нет,— сказал он,— какой там следователь! Это я так—шутейно. Попугать вас, дурак, хотел. Какой из меня, к дьяволу, следователь?

— Ой, да вы весь пылаете!—воскликнула она.— Ну конечно, в одном плащике ночью в степи—здесь знаете утром какие холода! Вот что: ложитесь-ка. Я сейчас вам постель разобью. Да вы же мокрый, потный!

— А вы?—спросил он и перехватил ее за плечи.

— Я приду, приду! Мне сейчас товар принимать. Приму и приду. Его нам с ночным поездом привозят. Вон! Уже гудят. Это мне сигнал подают. Ложитесь, ложитесь. Я враз освобожусь. Боже мой, да вас хоть выжми! Наверно, с этими геологами пили? Ну да у нас тут целая партия их работает. Ой, Яков Абрамович, ведь они же все молодежь, а вы...

— Вот я с ними и пил! Около утопленницы сидели и пили.

— Ну, ну,— сказала она.— Идемте. Ложитесь, помогу вам раздеться. Утопленница! Что вы такие страсти к

ночи? Ой, да не трогайте вашу пушку, что вы за нее хватаетесь? Положите ее под матрац. Цела будет.

Предпоследняя мысль, когда она его раздевала, что-то ласково приговаривая, была: «Да как же я сюда все-таки добрался? Ведь с ног падаю»,— и самая последняя: «А вот и не выдаст! Вот так, начальничек, и не выдаст. Да!»

Проснулся он на миг под вечер и увидел, что в комнате никого нет. На столе лежат счеты, на стуле висит белый фартук — повернулся на бок и снова заснул.

Второй раз он проснулся оттого, что его кто-то тихонько тормошил за плечо. Он сразу же сел. На белой скатерти горела тихая зеленая лампа, стояла посуда, шумел самовар. Над ним наклонялась Мариетта.

— Вы что-то застонали, а я вас и разбудила,— сказала она.— Страшное что-то приснилось?

Он засунул руку под матрац и проверил браунинг.

— Да нет, очень хорошо выспался,— ответил он.— Спасибо. Ну и матрац же у вас — ляжешь и не встанешь.

Она засмеялась.

— Так, может, еще полежите? А то вставайте, а? Уже поздно. Я отторговалась, ужинать будем.

Он взглянул на свои часы: они стояли.

— Да сколько же я часов спал? — спросил он.

— Да все они ваши,— засмеялась она.— Ну так если не будете больше лежать, вставайте! Я сейчас стол накрою.

Он посидел, помолчал, накинул на себя одеяло. И вдруг вспомнил самое главное.

— А та? — спросил он.— Утопленница? Что она?

— А увезли ее,— беззаботно ответила Мариетта.— Утром еще за ней приехали. Всех нас опрашивали. А что нас опрашивать? Я ее никогда и не видела. Опохмеляться будете?

— Опохмеляться?

Голова не то что болела, а была какая-то совсем пустая, гремучая. Он скинул одеяло, оделся. Мариетта дала туфли. Спросил, где туалет, умывальник; пошел, привел себя в порядок и когда вернулся, на столе уже появилась бутылка и стаканы. Прежняя ясность и четкость возвращались к нему, и он думал, что ему нужно завтра же вернуться в наркомат. Конечно, приятного тут мало. То есть то, что увезли наркома, это его могло даже и не коснуться, но вот то, что сразу после этого забрали трех его сотрудников — это было

уже очень плохим признаком. Ведь даже его не дождались, так действует только Москва. Он, конечно, мог бы успокоиться на том, что ничего за собой не чувствует. Но так же, как и все граждане Советского Союза, он отлично знал, что вот это «чувствовал — не чувствовал» ничего не стоит. Но и это сейчас пугало его не особенно. Ну что ж, раз так, значит так. До сих пор ему везло. Он честно и четко выполнял все приказы хозяина. Не мудрствовал лукаво и ни во что не проникал. Но сейчас хозяин потребовал полного расчета, а за что — это он сам знает. Ну, значит, все. Кинуться не к кому. Оправдаться нечем, даже, как евангельский разбойник, крикнуть: «Господи, господи!» — и то нельзя. Там так же пусто, как и везде. По крайней мере для него.

Он сидел и смотрел на Мариетту, как она, большая, теплая, мягкая, бесшумно двигалась сзади него, куда-то выходила, входила, откуда-то что-то доставала, приносила и осторожно все составляла на стол. И наконец ее открытость и покорность дошли до него.

— Подойди,— сказал он.— Ну что же, выпьем?

— Выпьем,— ответила она и робко тряхнула головой.

— И ляжем спать,— приказал он.

— А что же еще делать? — усмехнулась она.

...На следующее утро — а по утрам здесь, как и в городе, горланили петухи и собаки — он сидел за столом строгий, чисто выбритый и пил чай, только один крепкий чай и больше ничего. Мариетта что-то порылась в тумбочке, подошла к нему, сказала: «А вот я вас сейчас спрошу...» — и поставила перед ним голубую жестянку. В таких при царе продавали монпансье.

— Ландрин? — спросил он.— Жорж Борман нос оторван? Что, пуговицы в нем хранишь?

— Пуговицы,— ответила она и вытряхнула коробку на стол.

Это было золото. То самое хитрое, древнее, узорное золото, из-за которого он сюда и приехал. Но это еще было и чудо, какого он не смел уже и ожидать. И произошло оно, как и всякое чудо, неожиданно и просто, по той внутренней логике, по которой всегда происходит все необычайное: просто открылась коробочка и из нее на стол посыпалось золото. Вот и все.

— Откуда это у тебя? — спросил он без всякого выражения.— Ах, рыбаки принесли? А-а! А они здесь? Далеко? Так, так.

Он встал, сунул коробку в планшет и сказал:

— Ну вставай, поедем.

— Куда?—спросила она и сразу помертвела.

— Как куда? К этим рыбакам.

Она испугалась, покраснела.

— А зачем?—пролепетала она.

— Ну, увидимся с ними, поговорим. Они что, хорошие люди? Ну вот и поговорим.— Он вынул браунинг, осмотрел его, сунул опять в кобуру.— Нет, нет, я им ничего не сделаю. Только опрошу. Поехали, поехали.

— Так это правда золото? А я думала...

— Вот там и узнаем, что это такое и откуда. Поехали.

Глава III

После того как Зыбина взяли с того допроса и дотащили до камеры, для него напрочь исчезло время. Он закрывал глаза — и наступала ночь; электричество горело ровно и светло, в коридоре было тихо, в хрупком, тонком воздухе за окном нежно и громко раздавались паровозные гудки. Лаяли собаки. Он открывал глаза, и было уже утро; часовой обходил камеры, стучал в железную обивку ключом: «Подъем, подъем!» По полу звонко передвигались ведерные чайники, открывались кормушки, женщины в серых фартуках бесшумно ставили на откидные окошечки хлеб и кипяток, чирикали воробьи. Потом приходили дежурные — один сдающий, другой принимающий — и спрашивали, есть ли заявления и жалобы. А какие у него могли быть заявления и жалобы? Не было у него ничего! Он плавал в светлой, прозрачной пустоте, растворялся в ней и сам уже был этой пустотой. А море в камеру больше не приходило. И та женщина тоже. И это было тоже хорошо. Не нужна она была ему сейчас. И только позывы тела вяло и безболезненно заставляли его подниматься и идти в угол. А воду он пил и хлеб ел, так что это не голодовка, и его не тревожили. И, сделав свое, он ложился опять на койку, смотрел на светлый потолок, на никогда не гаснувшую лампочку и разливался по тюрьме, по городу, по миру. И не было уже Зыбина, а была светлая пустота. Так продолжалось какое-то время, может быть, два дня, может быть, месяц. И однажды в его камеру вошли сразу несколько человек: начальник тюрьмы, надзиратель, светловолосый молодой врач интелли-

гентного вида, похожий на молодого Хомякова, и прокурор Мячин. Прокурор спросил, как он себя чувствует.

— Ничего, спасибо,— ответил он.

— И идти можете?

— Вполне.

— Сядьте-ка на кровать.

Он поднялся и сел.

— Он молодец,— улыбнулся врач, похожий на Хомякова.— Вот пропишем ему усиленное питание, введем глюкозу — и встанет.

— А что у него?— спросил прокурор.— Георгий Николаевич, что у вас?

— Ничего,— ответил он.

— Как ничего? Почему же лежите? Вы больны?

— Да нет,— ответил он.

— А что же с вами?— спросил прокурор.

— Ничего. Просто издыхаю, и все.— Он точно знал, что это так: не болеет, а издыхает, и ничегошеньки с него они сейчас требовать не могут. Он уже никому из них ничего не должен.

Наступило короткое молчание.

— Ну, это все, положим, глупости,— сказал прокурор.— Вы еще и нас переживете. Такой молодой! Вся жизнь впереди! Надо лечиться, Георгий Николаевич. Вот что! На ноги, на ноги вставать надо. Пора, пора.

И опять все ушло в туман, потому что он закрыл глаза.

Пришли за ним на следующее утро. Два надзирателя осторожно подхватили его под руки и повели. Тут в коридоре на секунду сознание возвратилось к нему, и он спросил: «Это в тот конец?» — «В тот, в тот»,— ответили ему, и он успокоился и кивнул головой. Все шло как надо. Сейчас появится и молодой красивый врач.

Но его привели не в тот конец, где стреляют, а в большую, светлую комнату. У стены стояла кровать, заправленная по-гостиничному — конвертиком. На столе поверх белой скатерти блистал графин с водой. Окна были закрыты кремовыми занавесками.

— Если будете ложиться под одеяло, обязательно раздевайтесь,— сказал надзиратель.— А одежду вешайте на спинку стула.

И верно: мягкий стул, а не табуретка стоял возле кровати.

Он лег, вытянулся и закрыл глаза. Но прежнее состояние не приходило. Не было той теплой, спокой-

ной вязкости, что мягко засасывала его. Была резкость во всем, было неприятное острое сознание. Сердце ухало в висках, и красный моток прыгал перед ним на белой стене.

Так он лежал с час, потом его что-то ровно толкнуло, и он открыл глаза.

Белое видение наклонилось над ним.

Сзади около двери стояла еще женщина, добродушная толстоносая тетка с никелированным подносом в руках. На подносе лежал шприц и тихо горела спиртовка. Он взглянул на белое видение и увидел ее лицо, такое ясное и чистое, что казалось, оно испускает сияние. «Ну паразиты,— подумал он, мгновенно наливаясь тяжелой злобой,— опять принялись за свое! Мало было Долидзе, теперь вот эта Офелия».

— Черт те что!— сказал он крепко.

— А что?— спросило белое виденье очень весело и просто.

— Не тюрьма, а какой-то пансион или солдатский бардак. Ну что всем вам от меня надо? Ну что? Все ведь! Понимаете, уже все! До копеечки! До грошика!— заорал он вдруг.

Она не обиделась, не отшатнулась.

— Ну зачем уж так?— сказала она, садясь на край кровати.— Я врач, а это наша хирургическая сестра. Вот будем вас лечить. Сейчас я возьму у вас кровь на анализ, посмотрим, что с вами, это ни капелечки не больно. А потом мы сделаем вам вливание, это тоже не больно. Ну что же вы хмуритесь? Вы же мужчина. Подумаешь — укол!

— Я-то мужчина,— сказал он хмуро,— а вот вы-то кто? Вы-то...

Он проглотил какое-то слово. Она все равно улыбалась.

— Разбушевался!— сказала тетка от двери.— Так разошелся, что хоть яйца пеки. Такие бы страсти к ночи! Давай, давай руку, профессор. «Вы-то». А ты-то что? Лежи уж!

Зыбин посмотрел на нее и засмеялся.

Так прошло несколько дней. Уколы действовали. К концу второго дня он стал вставать с кровати, и ему принесли целую стопку книг. Вместе с драмами Грильпарцера ему попался толстый фолиант, журнал «Пчеловодство» за 1913 год. Обе книги были переплетены одинаково.

«Наверно, тот дед был,— подумал Зыбин,— забрался куда-нибудь на прилавки и устроил там пасеку. С нее его и забрали. Не уберегся».

Березка — так он мысленно окрестил врачиху — приходила к нему два или три раза в день. У нее были прозрачные голубые глаза и белые, коротко остриженные волосы. Она была проста, скромна, никогда не говорила ни о чем постороннем, но когда она наклонялась к нему, выслушивая или выстукивая его, он ощущал на себе ее тепло. Однажды она предложила ему сделать переливание. Он спросил, что это даст.

— Ну как же,— удивилась она.— Да все это даст.— И глаза ее страшно поголубели, словно она говорила о своем самом дорогом.— Ведь Кровь,— она произнесла это слово с большой буквы,— Кровь! Река жизни. Когда она иссякает, то и жизнь прекращается. Если бы у нас под руками всегда был достаточный запас доброкачественной свежей крови всех групп... ух, что бы тогда мы делали. Мы мертвых бы подымали!

— А что, ее не бывает? — спросил он.

— Да откуда? — горестно всплеснула она прозрачными ладошками.— Просим не допросимся. Да когда и дают, тоже радости мало. Ведь это смерть — непроверенная, несвежая кровь, а нам и такую иногда присылают...

— Так как же вы обходитесь?

— А свою достаем,— ответила она просто.

«Ах ты золотце мое,— подумал он.— Она делится своей кровью с заключенными. И как такой солнечный зайчик только и попал сюда? Хотя вот доктор Гааз... Святой доктор. Главный врач тюремной инспекции. Упал в остроге на колени перед царем: «Государь, помилуйте старика». И тот помиловал».

Однажды, когда она выслушивала его, зашел тот высокий, светловолосый, светлоглазый, похожий не то на Христа, не то на философа Хомякова, молодой интеллигентный врач, который однажды его перевязывал, а неделю тому назад заходил в его камеру вместе с прокурором. Поздоровался, поманил Березку, отвел ее к окну. Они о чем-то тихо поговорили. Он услышал имя «Штерн», потом, погодя, несколько раз Нейман и застыл в бессильной злобе. И до нее, значит, дотянулись эти грязные мартышечьи лапы.

— Не знаю, что он теперь еще выдумает,— сказал врач.— Но шум идет.— И быстро вышел из комнаты. А она так и осталась у окна в каком-то оцепенении

«Ах ты моя бедиая,— подумал ои,— так с кем же тебе приходнтся иметь дело: Нейман, Штери, этот ублюдок. И он, наверно, еще он, главный, вот — приходнт, упрекает, грозит! И меня не постесиялся. Ах ты господи!»

Он хотел что-то сказать ей, ио она быстро попрощалась, ушла, и с тех пор ои ее больше не вндел.

А через иеделю пришел коридориый и вызвал его на разговор с прокурором.

Ои встал н оделся. Пожалел, что и сегодня ее было и ему не с кем попрощаться. Так — он знал — вызывают в конец корндора для исполнения приговора.

В маленьком кабинете собрались четверо. Двоих из них, прокурора Мячина и Гуляева, он уже знал. Двоих других — они были в штатском и сидели у стеиы — он видел в первый раз. Гуляев, маленький, хилый, черно-желтый, с великолепным блестящим зачесом, сидел за столом. Перед иим лежала голубая жестянка «Жорж Борман». Мячнн стоял возле окна. Когда завели Зыбина, Гуляев удивленно посмотрел на прокурора н развел руками:

— Ну что же вы мне говорили, что Георгий Николаевич не встает. Да он совсем молодцом,— сказал ои.— Садитесь, Георгий Николаевнч, есть разговор. Но, во-первых, как себя чувствуете?

— Хорошо,— ответил Зыбни.— Спасибо.

— Ну и отлично. Нет, ие на стул, а к столу садитесь. Вот напротив меия. Ну я же говорю вам, что археолог Зыбин ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Так вот, Георгий Николаевич, могу вас обрадовать, дело ваше закончено, мы расстаемся, и поэтому... Но прежде всего вот... узнаете?

Ои открыл голубую коробку.

Это было золото, частнчки чего-то, какне-то краешки, пластинки, бледно-желтые, тусклые, мутные, цвета увядшего березового листа — это было поистине мертвое золото, то самое, что высыпается нз глазииц, когда вырывают засосанный землею бурый череп; то, что мерцает между ребер, осаживается в могилах. Словом, это было то археологическое золото, которое ннкогда ни с чем не спутаешь. Мгновенио забыв про все, Зыбин смотрел на эти бляшки, крошечные диски, сережки, крючочки, какие-то спиральки и фигурки людей, лошадей, зверей.

В кабннете было тихо. Гуляев зиачнтельио взгляиул на Мячииа.

— Откуда это все? — спросил Зыбин.

— А вот еще, — улыбнулся Гуляев, выдвинул ящик стола и вынул другую коробку, длинную, картонную, с золотой надписью «Пьяная вишня». В ней на вате лежал кусок узорной золотой пластины, та самая серединная и самая большая часть ее, без которой диадема была бы только двумя фрагментамн, а не диадемой.

Зыбин взял ее, посмотрел н сказал:

— Да, теперь она вся. А я уж думал, что все пропало.

— Вот нашли, — улыбнулся Гуляев.

— А могла бы и пропасть, — сказал с упреком прокурор. — Если бы мы еще помешкали и не приняли энергичных мер, то и пропала бы. Ведь вы месяц крутили нам головы.

— Месяц? — спросил Зыбин. — А не больше? Неужели только месяц прошел?

Он поднял глаза на прокурора.

— Ну так что? — спросил он в упор.

И прокурор сразу осел от его тона.

— Не будем, не будем считаться, Георгий Николаевич, — сказал он быстро. — Все хорошо, что хорошо кончается. Вот все здесь. И у меня к вам только один вопрос: вы знали, где все это находится?

— А вы? — спросил Зыбин.

— Георгий Николаевич, — засмеялся Мячин, — вы опять за свое? Нет, вы отвечайте мне, а то мы окончательно запутаемся. Чтобы окончить дело, нам надо еще один протокол, но четкий, ясный, короткий. Понятно? Постойте (Гуляев закрыл обе коробки), не так. Мы, Георгий Николаевич, теперь поняли, зачем вы ездили на Или. Но почему же вы нам сразу не сказали этого?

— А что я должен был вам сказать? — спросил Зыбин.

— Да, по существу, только одно: где эти вещи были действительно найдены?

— А где они были действительно найдены? — спросил Зыбин.

— Ну на Или, конечно, — ответил Гуляев.

— Так. А что же тогда было на Карагалинке? — опять спросил Зыбин.

— Как на экзамене, ей-богу! На Карагалинке ровно ничего не было — ни камня, ни золота. Было на Или в разграбленном кургане. И вы это поняли сразу же. Но надо отдать вам должное, заморочили вы нас здорово. Мы смотрели ваши выписки из «Известнй Томского

университета за тысяча восемьсот восемьдесят девятый год», где список всех илийских курганов, и все-таки не понимали, в чем дело, зачем он вам и почему лежит в папке «Диадема».

Зыбин помолчал, а потом спросил:

— Так зачем же тогда эти люди приходили в музей?

— И это вы отлично поняли. Потому и пришли, что не знали, что они такое отыскали, действительно это золото или медяшки. Хотели проверить, получить ответ. Но ответить было некому, вы находились в горах, а директора без вас они обвели вокруг пальца как маленького. Вот это все так и получилось.

— Да, действительно попал в музей душка военный. Он и директорствует-то, на солнце оружьем сверкая,— усмехнулся Мячин.

— Директор тут ни при чем,— сказал быстро Зыбин и зло посмотрел на прокурора.

Мячин взглянул на Гуляева, и они оба рассмеялись.

— Ладно уж, не пугайте его,— махнул рукой Гуляев,— не наша это забота — проверять директоров. Но что шляпа он, то верно, шляпа! Это он и сам сейчас признает. А-а! Да не в нем в конце концов дело. Вот вам-то зачем все это было нужно? Сказали бы нам все сразу.

— А что было бы? — усмехнулся Зыбин.

— Ну как что?

— А я вам скажу что: золото сразу бы уплыло. Пришел бы в музей Нейман, забрал бы золото да и сдал бы его в какой-нибудь Госфонд или Госбанк на вес и в переплавку. А мелочь бы вы по карманам рассовали. А я как сейчас сижу, так и тогда бы сидел.

— Позвольте, это по каким же карманам? — сразу вспыхнул Мячин.

— Ну по каким? По хрипушинским, неймановским, по вашим, мало ли на свете подходящих карманов? Той, которая меня допрашивала, тоже что-нибудь, собаке, на орехи — на сережки или на колечко — обломилось бы.

— Да вы с ума сошли! — ошалело воскликнул прокурор.

Зыбин, усмехаясь, поглядел на него.

— Неужели? — спросил он насмешливо.— А такие протоколы вы видели — «кольцо из белого металла со вставленным стеклом». И платиновое кольцо с изумрудом шло за рубль. Видели?

— Подождите. А к моим рукам тоже что-то прилипало? — поинтересовался Гуляев.

— Про вас я ничего не знаю.

— Ну спасибо хоть за это. Так вот, и такие люди были, конечно, Георгий Николаевич, но они давным-давно изгнаны из органов. Кое-кто даже расстрелян. Что же касается Неймана...

— То его уже нет среди нас, — сказал прокурор.

— Фью! — присвистнул Зыбин. — Значит, он уже того...? Сыграл в белый металл и зеленое стеклышко? Успел попользоваться? У него вы это все и забрали? Ловко!

— Ну, об этом потом, — как-то невнятно сказал прокурор.

— А сейчас вот так... — властно перебил его Гуляев. — Неймана нет, и кончать это дело приходится нам. Курган эти молодцы, что принесли диадему, снесли бульдозером. Научил их кто-то, или случайно это вышло, пока неясно. Погребальный инвентарь весь у нас. Говорят, правда, что, может быть, есть там и вторая боковая камера, вот сегодня-завтра приедут специалисты, и тогда все окончательно прояснится. А сейчас вам казначей принесет деньги и вещи. Берите и идите домой. Там все в полном порядке. Ключ — вот. Советую — лечь и никуда больше не ходить, отдохнуть.

Он вышел из-за стола и подошел к Зыбину.

— Ну до свиданья, Георгий Николаевич, — сказал он как-то по-доброму, даже по-дружески, — поморочили мы друг другу голову, а?..

— Ну что касается меня... — начал холодно Зыбин, — то я...

— Ну ладно, ладно, — улыбнулся Гуляев. — Не начинайте снова, а про Неймана тоже плохо не думайте, он ведь все это и принес нам. И тех кладоискателей арестовал и привел под револьвером в илийское отделение милиции. Если бы не он, мы бы и до сих пор плутали в потемках.

— Да как же так? — изумился Зыбин, и у него даже голос дрогнул. — Но почему же тогда...

— Ладно, ладно, потом, потом...

Через час он вышел из узенькой, низенькой железной дверцы и пошел по улице. Она была совершенно пуста, но всю эту сторону ее занимал Большой дом с сотнями окон и занавесок, и за каждой занавеской, конечно, были люди. Он шел медленно, не оглядыва-

ясь, мимо сотен скрытых глаз. Прошел улицу до конца, пересек ее, поднялся по крошечной площади с памятником в шинели и завернул в сосновый парк. В парке тоже никого не было. Только сторож шаркал метлой возле узорчатых деревянных ворот, выгребая семечки и конфетные обертки. Лесная тишина и прохлада обняли его, только он вступил в аллею. Тут пахло хвоей и накаленным песком. На площадках под ветерком покачивались расписные деревянные кони-драконы все в разводах и ожерельях, в красных и черных яблоках. Посредине площади в беседке кто-то похрапывал. Боже мой! До чего же тих и спокоен мир! Он отыскал скамейку поодаль, сел, откинулся на спинку и почувствовал, как мелким комариным звоном дребезжит голова. «Не хватало еще разболеться»,— подумал он и вдруг понял, что смертельно, может быть на всю жизнь, устал.

Двое мальчишек в пионерских галстуках с рогатками промчались мимо. Потом оглянулись на него, остановились и зашептались. Очевидно, что-то в нем было такое, что привлекало их жадное мальчишеское любопытство. Ведь нет людей на свете более приметливых, чем они! Но его и мальчишки сейчас раздражали.

— Уу,— сказал он им и скорчил морду.

Они фыркнули и убежали. Он посидел еще немного, поулыбался, похмурился, потом поднялся и пошел.

И вышел в центр парка. Это место он знал хорошо. По вечерам тут гремел оркестр и стояла дощатая эстрада. На ней иллюзионисты показывали фокусы-покусы и пел пионерский хор. Здесь постоянно назначались встречи. Здесь дрались и танцевали. А сейчас было тихо и пустынно. Он посмотрел на мягкий песочек и подумал: «Эх, сейчас босиком бы по этому песочку, да по камешкам, да по хвое—хорошо!» И вдруг перед собой увидел телефонную будку. Боже мой, как же он мог забыть! Он вскочил в кабину, опустил монету и назвал номер Лины. Его соединили, но телефон не отвечал. Он постоял, подождал, подумал, что да, время-то он выбрал неудобное, это рабочие часы, а служебного телефона он не знает, придется ждать до 4-х часов! А что он будет делать это время? И тут вдруг детский голосок сказал ему:

— Алле.

— Позовите, пожалуйста, Полину Юрьевну,— попросил он.

— А они уехали,— ответили ему весело.

— Как? — Всего что угодно он ожидал, но только не этого.— Когда?

— Две недели назад, адреса не знаем,— заученно ответил ему ребятенок н положил трубку.

Он еще с минуту постоял, плохо соображая, что же ему надлежит теперь делать. Потом тихонько повесил трубку, повернулся и пошел. И увидел прямо перед собой Неймана. И пошел на него.

— Ну, мое почтенье,— сказал он грубовато.

— Здравствуйте, Георгий Николаевич,— ответил ему Нейман.— Звонили?

— Как видите.

— Так уехала наша Полина Юрьевна, уехала!

— Когда? — Зыбин схватил его за руку.

— Да после второго нашего вызова н уехала.

— Значит, вы и ее допрашивали? — спросил Зыбин.

— Ну а как же? Очень хорошо себя держала. О вас только самое лучшее.

— Так, так.— Зыбин шумно выдохнул.— Ну а вы тут что? Тоже гуляете?

— Гуляю. Вас жду.

— Это зачем же?

Зыбин старался говорить спокойно, даже с легкой улыбочкой, но внутри у него все дрожало и ухало. И так поламывало позвоночник, что он сам, не замечая того, выгибался как от боли.

— Зачем? — повторил задумчиво Нейман.— Да, зачем? Вот сам думаю про это. О Полине Юрьевне хотел вам рассказать. С освобождением поздравить. Если нужно, домой свести, в лавочку сбегать. Деньги-то вам отдали?

— А-а,— слегка наклонил голову Зыбин.— Ну, спасибо.

Сейчас, когда он стоял перед Зыбиным, а не сидел за огромным державным столом, заставленным телефонами и чернильницами, Зыбин увидел, какой же он неказистый. Так, воробышек, местечковый еврейчик, чеховский персонаж, Ротшильд со скрнпкой.

— А ведь мне сказали, что вы арестованы,— усмехнулся он.

— Вот как? — заинтересовался Нейман, впрочем, не особенно сильно.— А кто говорил? Прокурор? А-а! А Гуляев был при этом?

Онн уже шли по аллее.

— Так что же все-таки с вами случилось? — спросил Зыбин.

Он никак не мог взять в толк, что все это значит. При чем тут Нейман? При чем тут Лина? Здесь она или

нет? Свободна она или нет? Но особенно его поразило лицо Неймана, его глаза. Они сейчас были почеловечески просты и печальны. Но не было в них выражения того скрытого ужаса, который Зыбин приметил в первые же минуты их разговора месяц назад.

— Что со мной случилось?— повторил Нейман задумчиво.— Да по правде сказать, почти ничего. А по нынешним временам даже и вовсе ничего. Просто отстранен от всех дел — не больше.— Он помолчал.— Положение, конечно, нелепое: всех, кто работал со мной, взяли, а вот на мне что-то задержались. Почему? Непонятно. Ладно! Пойду администратором на киностудию. Ну, конечно, еще могут сто раз одуматься и забрать. Я бы, например, этому нисколько не удивился.— Он вдруг поглядел на Зыбина и засмеялся.

— Что вы?— удивился Зыбин.

— Да так, ничего. Вот вспоминаю, как вы своей следовательнице отлили: голенькая, голенькая вы! Ничего у вас ни на себе, ни при себе — ни профессии, ни специальности, один клочок бумажки, чтобы прикрыть срам.— Он засмеялся.— Ну, положим, у нейто еще есть что-то при себе: ведь молодая, красивая, а я вот действительно голенький старый жидок! Даже и бумажонки не выдали. Иди, жди, что будет.

— Вы что-то путаете,— нахмурился Зыбин.— Не говорил я это следовательнице.

— Ну как не говорили? Она сама бы этого не выдумала. Ну, а если верно, выдумала, то молодчина. Она в Москве сейчас.

«Э-э, да ты пьян, голубчик,— вдруг осенило Зыбина.— Тебя турнули, вот ты и запил. Постоянная ваша история!»

— А золото?— спросил он.— Вы действительно принесли его или... это тоже вроде вашего ареста?

Нейман улыбнулся.

— Ах, значит, Гуляев вам все-таки кое-что сказал! Нет, золото я действительно им принес. Мне ларешница его дала. Видно, с перепугу, что ли. Или думала, что я и так все знаю. Ну а я прямо к этим голубчикам. Тепленькими их прихватили. Они и отрекаться не стали, сразу все показали и отдали.

— И тогда, значит, меня и освободили. Понятно, но только знаете, что-то не особо мне верится, что из-за этого. Нет, тут еще что-то было. Золото-то, конечно, золотом, а...

— Ну безусловно было! Было то, что наркома взяли и сразу же весь отдел перешерстили. Только трое нас и осталось. Ну и освободили кое-кого.

— Так, так,— кивнул головой Зыбин,— значит, паденье кабинета и монаршая милость. И многих отпустили?

— Ну, многих! Какой же вы максималист! Если двоих-троих, то и то ладно.

— Хорошо! Как на святой Руси на благовещенье! — усмехнулся Зыбин.— Помните, «вчера я отворил темницу воздушной пленницы моей». Значит, пришло благовещенье, и выпустили птичку-синичку — арестанта Зыбина. Здорово! — Он посмотрел на Неймана и рассмеялся.— Слушайте, а тут зайти нам некуда?

Рассмеялся и Нейман.

— Ну как не быть, есть, есть! Вот она, палаточка нашей Марковны. Не смотрите, что палатка, в ней для чистых покупателей специальная комната сзади, мы ее и организовали. Сюда и ваш сотрудник Корнилов иногда ныряет. Может, еще и сегодня зайдет. Видел я его, тут, в парке, он шатался.

— И его сюда пускают? — удивился Зыбин. Он только что вспомнил, что на свете есть Корнилов.— Это за какие же такие добродетели?

— Ну, значит, есть такие добродетели, если пускают,— посмотрел на него Нейман.— А насчет зайти-то это вы умно придумали. Я сам хотел вам предложить, да побоялся, не пошлете ли вы меня... Нет, не надо меня сейчас посылать, я — хороший. Идемте выпьем за благовещенье! За справедливость выпьем! Кто же ее не желает, Георгий Николаевич? Да я такого человека еще не видел, который бы ее не желал. Все мы правду любим! Все! Вот я помню...— Он постучался.— Открывай, Марковна! Хорошие гости пришли, ставь нам мое! Мое ставь! То самое! Осторожнее, Георгий Николаевич, тут темно, ящики с бутылками, дайте-ка руку. Вот я помню: встречает меня однажды бывший курсант высшей школы — мы его отчислили за нехороший душок и неспособность,— встречает меня на улице и, ши-ибко теплый, хватает за руку. «Что такое? Что с вами?» «Победа, Яков Абрамович! Ягоду сняли, пришел Николай Иванович Ежов! Справедливость восторжествовала!» Так вот за справедливость! Чтобы она всегда, наша родная, торжествовала! За птичек-синичек! За благовещенье! Марковна, давай шампанское и коньяк, сейчас третий гость подойдет. Он тоже благовещенская птичка! Только он в клетке не сидел: просто

его взяли да и выпустили. Так у нас тоже бывает! Каждому ведь свое, Георгий Николаевич! Ну, за всех нас!

Часа через два Зыбин вышел из палатки и пошел прямо к телефонной будке. Но она была занята, и он сел на лавочку поодаль. Пекло еще сильно, но уже появлялись в аллеях первые вполне вечерние парочки, и где-то за елями кругло ударил барабан. Отряд пионеров в галстуках бодро промаршировал к воротам, и оттуда прозвучала труба. Открылся бар.

Посредине площадки между двумя конями-драконами стоял художник с мольбертом. Вокруг него уже собирались мальчишки, старички, подвыпившие, но он не обращал на них внимания и работал быстро, споро и жадно. Выхватывал из воздуха то одно, то другое и бросал все это на картон. У него было сосредоточенное лицо и строгие брови. Он очень торопился. Сегодня он припоздал и ему надо было закончить все до заката. И хотя в основном все было готово, но все-таки он чувствовал, что чего-то недостает. Тогда художник повернулся и посмотрел вдоль аллеи.

И увидел Зыбина.

А Зыбин сидел, скорчившись, на лавочке, и руки его висели. Это было как раз то, что надо. Черная согбенная фигура на фоне белейшей сияющей будки, синих сосен и желтого, уже ущербного мерцания песка. Художник вспомнил, что это кто-то из музейных, что их как-то даже знакомили, и крикнул, когда Зыбин хотел встать: «Не двигайтесь, пожалуйста! Посидите пару минут так!» И тот послушно сел.

В это время к нему подошли еще двое. Заговорили и уселись рядом. Художник поморщился, но зарисовал и их.

Так на веки вечные на квадратном кусочке картона и остались эти трое: выгнанный следователь, пьяный осведомитель по кличке Овод (все, видно, времена нуждаются в своем Оводе) и тот третий, без кого эти двое существовать не могли.

Солнце заходило. Художник спешил. На нем был огненный берет, синие штаны с лампасами и зеленая мантилья с бантами. На боку висел бубен, расшитый дымом и пламенем. Так он одевался не для себя и не для людей, а для космоса, Марса и Меркурия, ибо это и был «гений I ранга Земли и всей Вселенной — декоратор и исполнитель театра оперы и балета имени Абая — Сергей Иванович Калмыков», как он себя именовал.

И мудрые марсиане, наблюдающие за нами в свои сверхмощные устройства, удивлялись и никак не могли понять — откуда же среди серой, одноцветной и однородной человеческой плазмы вдруг вспыхнуло такое яркое, ни на что не похожее чудо? И только самые научные из них знали, что называется это чудо фантазией. И особенно ярко распускается оно тогда, когда Земля на своем планетном пути заходит в черные, затуманенные области Рака или Скорпиона и жить в туче этих ядовитых радиаций становится совсем уж невыносимо.

А случилась вся эта невеселая история в лето от рождения Вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина пятьдесят восьмое, а от Рождества Христова в тысяча девятьсот тридцать седьмой недобрый, жаркий и чреватый страшным будущим год.

10 декабря 1964 г.—5 марта 1975 г.
Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

Домбровский Ю. О.

Д 66 Факультет ненужных вещей: Роман / Вступ. статья И. Золотусского.— М.: Худож. лит., 1989.— 510 с.

ISBN 5-280-00907-5

«Факультет ненужных вещей» Ю. О. Домбровского (1909—1978) является продолжением опубликованного в 1964 году и получившего широкое признание романа «Хранитель древностей». Книга написана уцелевшим свидетелем трагедии 1937 года и основана на подлинном опыте автора.

Д $\frac{4702010201\text{-}339}{028(01)\text{-}89}$ без объявл. ББК 84Р7

Юрий Осипович
ДОМБРОВСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ
Роман

Редакторы Е. Дворецкая, Е. Федорова
Художественный редактор И. Сальникова
Технический редактор Л. Синицына
Корректоры Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 5680
Сдано в набор 01.11.88. Подписано к печати 02.02.89. Формат 84×108$^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88. Усл. кр.-отт. 27,3. Уч.-изд. л. 30,45. Тираж 500 000 экз. (1 зав. 1—250 000). Изд. № III—3392. Заказ № 224.
Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28


2р. 50к.


Юрий Домбровский